

Имя розы

symposium

Annotation

Умберто Эко (р. 1932) – один из крупнейших писателей современной Италии. Знаменитый ученый-медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре, профессор Эко в 1980 году опубликовал свой первй роман – «Имя розы», принесший ему всемирную литературную известность.

Действие романа разворачивается в средневековом монастыре, где его героям предстоит решить множество философских вопросов и, путем логических умозаключений, раскрыть произошедшее убийство.

Умберто Эко
Имя Розы

От переводчика

До того как Умберто Эко в 1980 году, на пороге пятидесятилетия, опубликовал первое художественное произведение – роман «Имя розы», – он был известен в академических кругах Италии и всего научного мира как авторитетный специалист по философии средних веков и в области семиотики – науки о знаках. Разрабатывал он, в частности, проблемы взаимоотношений текста с аудиторией, как на материале литературы авангарда, так и на разнородном материале массовой культуры. Несомненно, и роман Умберто Эко писал, помогая себе научными наблюдениями, оснащая свою «постмодернистскую» интеллектуальную прозу пружинами увлекательности.

«Запуск» (так говорится в Италии) книги был умело подготовлен рекламой в прессе. Явно привлекло публику и то, что Эко на протяжении многих лет ведет в журнале «Эспрессо» рубрику, приобщавшую среднего подписчика к актуальным гуманитарным проблемам. И все же реальный успех превосходит все ожидания издателей и литературоведов.

Экзотичный колорит плюс захватывающая криминальная интрига обеспечивают интерес к роману массовой аудитории. А значительный идейный заряд в сочетании с ироничностью, с игрой литературными ассоциациями привлекает интеллектуалов. Кроме того, общеизвестно, до чего популярен сам по себе жанр исторического романа и у нас, и на Западе. Эко учел и этот фактор. Его книга – полный и точный путеводитель по средневековью. Энтони Берджесс пишет в своей рецензии: «Люди читают Артура Хейли, чтобы узнать, как живет аэропорт. Если вы прочтете эту книгу, у вас не останется ни малейших неясностей относительно того, как функционировал монастырь в XIV веке».

Девять лет, по итогам национальных опросов, книга держится на первом месте в «горячей двадцатке недели» (на последнее место в той же двадцатке итальянцы почтительно помещают «Божественную комедию»). Отмечается, что, благодаря широкому распространению книги Эко, сильно увеличивается число студентов, записывающихся на отделение истории средневековья. Не обошел роман читателей Турции, Японии, Восточной Европы; захвачен на довольно большой период и североамериканский книжный рынок, что очень редко удается европейскому писателю.

Один из секретов такого ошеломляющего успеха открывается нам в теоретической работе самого Эко, где он рассуждает о необходимости «развлечения» в литературе. Литературный авангард XX века был, как правило, отчужден от стереотипов массового сознания. В 70-е годы в западной литературе, однако, вызрело ощущение того, что ломка стереотипов и языковой эксперимент сами по себе не обеспечивают «радости текста» во всей полноте. Стало ощущаться, что неотъемлемый элемент литературы – удовольствие от повествования.

«Я хотел, чтобы читатель развлекался. Как минимум столько же, сколько развлекался я. Современный роман попробовал отказаться от сюжетной развлекательности в пользу развлекательности других типов. Я же, свято веря в аристотелевскую поэтику, всю жизнь считал, что роман должен развлекать и своим сюжетом. Или даже в первую очередь сюжетом», – пишет Эко в своем эссе об «Имени розы», вошедшем в настоящее издание.

Но «Имя розы» – не только развлечение. Эко сохраняет верность и другому принципу Аристотеля: литературное произведение должно содержать серьезный интеллектуальный смысл.

Бразильский священник, один из главных представителей «теологии освобождения» Леонардо Бофф пишет о романе Эко: «Это не только готическая история из жизни итальянского бенедиктинского монастыря XIV века. Бесспорно, автор использует все культурные реалии

эпохи (с изобилием деталей и эрудиции), соблюдая величайшую историческую точность. Но все это – ради вопросов, сохраняющих высокую значимость сегодня, как и вчера. Идет борьба между двумя проектами жизни, личными и социальными: один проект упорно стремится к сохранению существующего, сохранению всеми средствами, вплоть до уничтожения других людей и самоуничтожения; второй проект стремится к перманентному открыванию нового, даже ценой собственного уничтожения».

Критик Чезаре Дзаккариа полагает, что обращение писателя к жанру детектива вызвано, кроме всего прочего, еще и тем, что «этот жанр лучше других смог выразить неумолимый заряд насилия и страха, заложенный в мире, в котором мы живем». Да, несомненно, многие частные ситуации романа и его главный конфликт вполне «прочитываются» и как иносказательное отображение ситуаций нынешнего, XX века. Так, многие рецензенты, да и сам автор в одном из интервью, проводят параллели между сюжетом романа и убийством Альдо Моро. Сопоставляя роман «Имя розы» с книгой известного писателя Леонардо Шаши «Дело Моро», критик Леонардо Латтаруло пишет: «В их основе лежит вопрос этический по преимуществу, обнажающий непреодолимую проблематичность этики. Речь идет о проблеме зла. Это возвращение к детективу, осуществляемое, казалось бы, в чистых интересах литературной игры, на самом деле устрашающе серьезно, ибо целиком вдохновлено безнадежной и безысходной серьезностью этики».

Теперь читатель получает возможность познакомиться с нашумевшей новинкой 1980 года в полном варианте[1].

Разумеется, рукопись

16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842)[2]. Автором перевода значился некий аббат Балле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV в., разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная.

В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift[3]. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.

Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Балле, в чем безусловно не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, – стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе.

Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к разысканиям. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная:

> Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. – Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azimo et Fermentatio, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis[4].

Vetera Analecta я тут же заказал в библиотеке Сент-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Балле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя: здесь – Montalant, ad Ripam P. P. Augustianorum (prope Pontem S. Michaelis)[5]. Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Адсона Мелькского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Адсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состоит из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст

Балле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности к Этьену Жильсону. чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание Vetera Analecta – это то, которым я пользовался в Сент-Женевьев. Посетив Ласурсское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом отцом Арне Лаанештедтом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Балле никогда не публиковал книг в типографии Ласурсского аббатства; похоже, что и типографии при Ласурсском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Балле теперь оказывалась вне досягаемости (в общем, я не видел способа получить ее обратно). Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия.

Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого («en me retraçant ces details, j'en suis á me demander s'ils sont réels, ou bien si je les al rêvés»). Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг.

Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970-м году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Коррьентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара «Об использовании зеркал в шахматах», на которую уже имел случай ссылаться (правда, из вторых рук) в своей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора – «Продавцы Апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание – Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мелькского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Балле и не отца Мабийона, а отца Атанасия Кирхера (какую именно его книгу – не уточнялось). Один ученый (не вижу необходимости приводить здесь его имя) давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде (а содержание всех трудов Кирхера он цитировал на память) великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мелькского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Балле (в частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может). Что бы ни писал впоследствии Беньямино Плачидо[6], аббат Балле существовал на свете – как, соответственно, и Адсон из Мелька.

Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования; как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия; ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство, а разнородные рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка; вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции (то есть где-то между Леричи и Турбией). Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно – конец ноября 1327; а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последнее десяти– или двадцатилетие XIV века.

Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен являть собой переложение с латинского издания семнадцатого века, якобы

воспроизводящего рукопись, созданную немецким монахом в конце четырнадцатого.

Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался: во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII и XIII веку.

Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Балле довольно свободно обошелся с оригиналом – и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого»[*], текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон может цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а, между тем, некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса[*] или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте, – в издании эпохи Тюдоров[7]. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Балле переписывал (так ли?) воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII в. «Большой» и «Малый» Альберы[8], уже с совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс[*], схолий[*] и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых.

Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Балле не переводил на свой французский – возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним: только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил, и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где, если герой француз, он обязан говорить «parbleu!» и «la femme, ah! la femme!».

В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг – призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего, странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.

Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Балле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоились, признав за писателем право на чувство собственного достоинства и что писать можно из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.

Это повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности; прочитав ее, следует, наверное,

повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем{*}: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его – в углу, с книгою».

5 января 1980 г.

Примечание автора

Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день – на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав скорее всего добавлены г-ном Балле. Однако для читателя они удобны, и, поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.

Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.

Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти путем сличения правила Св. Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы Бенедиктинцев»[9], следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:

Полунощница (Адсон употребляет и более архаичный термин *Бдение*) – от 2.30 до 3 часов ночи.

Хвалитны (старинное название – *Утреня*) – от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.

Час первый – около 7.30, незадолго до утренней зари.

Час третий – около 9 утра.

Час шестый – полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой, это также час обеда).

Час девятый – от 2 до 3 часов дня.

Вечерня – около 4.30, перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).

Повечерие – около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.

При расчете учитывалось, что в северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.

Пролог

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока денно и нощно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ея зрим токмо per speculum et in aenigmate[10], и оная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (увы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленною ко злу.

Близясь к закату греховного существования, в сединах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременяя тяжкой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергаменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую verbatim[11] лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования проницать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.

Сподобил меня Владыка небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл святое имя апостола (сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).

Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века – и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, – если, конечно, память справится с запутанными нитями из множества клубков.

В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий[*]; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною священной империи римской и возродить высшую мирскую державу, как было при цезарях.

На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола – вот он, очаг злейшей в мире распри.

Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик [*] взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и неспособны понять, что мир – наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах; все ради их сокровищ, кои

папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.

В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фредерика. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул[*] братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский[*], склонив слух к требованиям «мужей духа» – «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил, как истину веры, положение о бедности Христа, который со своими апостолами, если и владел чем-либо, то только usus facti[12]. Достойнейшее утверждение, признанное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился, как единоличный глава церкви, воспретить империи избирать епископов, при этом сохранивши за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии[*]Cum inter nonnullos.

Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных соратников. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов – Марсилия Падуанского[*] и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фредериком союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека – кроме Угуччона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал Шарра Колонна, господина той области.

Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской [*] обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бившегося у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил везти меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовало юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то, по совету полюбившего меня Марсилия, и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения – ради чего и тружусь ныне – в памяти тех, кто придет за нами.

Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря – не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения – неотступного, как я видел, – что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала Св. Иакова, покуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику и святокупцу

папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.

Впредь не займу сии листы описанием внешности людей – кроме случаев, когда лицо, либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Боэцию[*], всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он и все с ним жившие – ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела. (Только дух, волею Господней, сияет в вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.

В мое время люди были красивы и рослы, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон [*] ходит в лупанарии, Лукреций[*] обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бессчетные Господу хвалы за то, что я успел восприять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.

Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в моменты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками – их много у тех, кто рожден меж Гибернией[13] и Нортумбрией[14], – могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, думал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.

Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала. Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единым мускулом лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманящего зелья, – когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтоб жевать в минуты высшего напряжения сил (немало их ждало нас в монастыре!). Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах к простецам различаются paidikoi, ephebikoi и gynaikoi[15], так и с травами: что здорово старику францисканцу, негоже юному бенедиктинцу.

Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы

бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте[*], в сокровищнице походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей-траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки – можно подумать, только для удовольствия (а кругом в это время все множились трупы зверски убитых монахов). Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если б он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же отвечал, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.

Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что на мой взгляд пристало скорее механику (меня же учили, что всякий механик – moecus[16], прелюбодей, изменяющий умственной жизни, с коей чистейшим сочетавался браком). Но руки его, когда он трогал что-то непрочное – свежайшие, еще сырые миниатюры или съеденные временем листы, ломкие, как опресноки, – двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогает свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал «чудными орудиями». Орудия, говорил он, родятся от искусства, которое обезьяна натуры и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил: «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рогир Бэкон[*], наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратится к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки “без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздусех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах”. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».

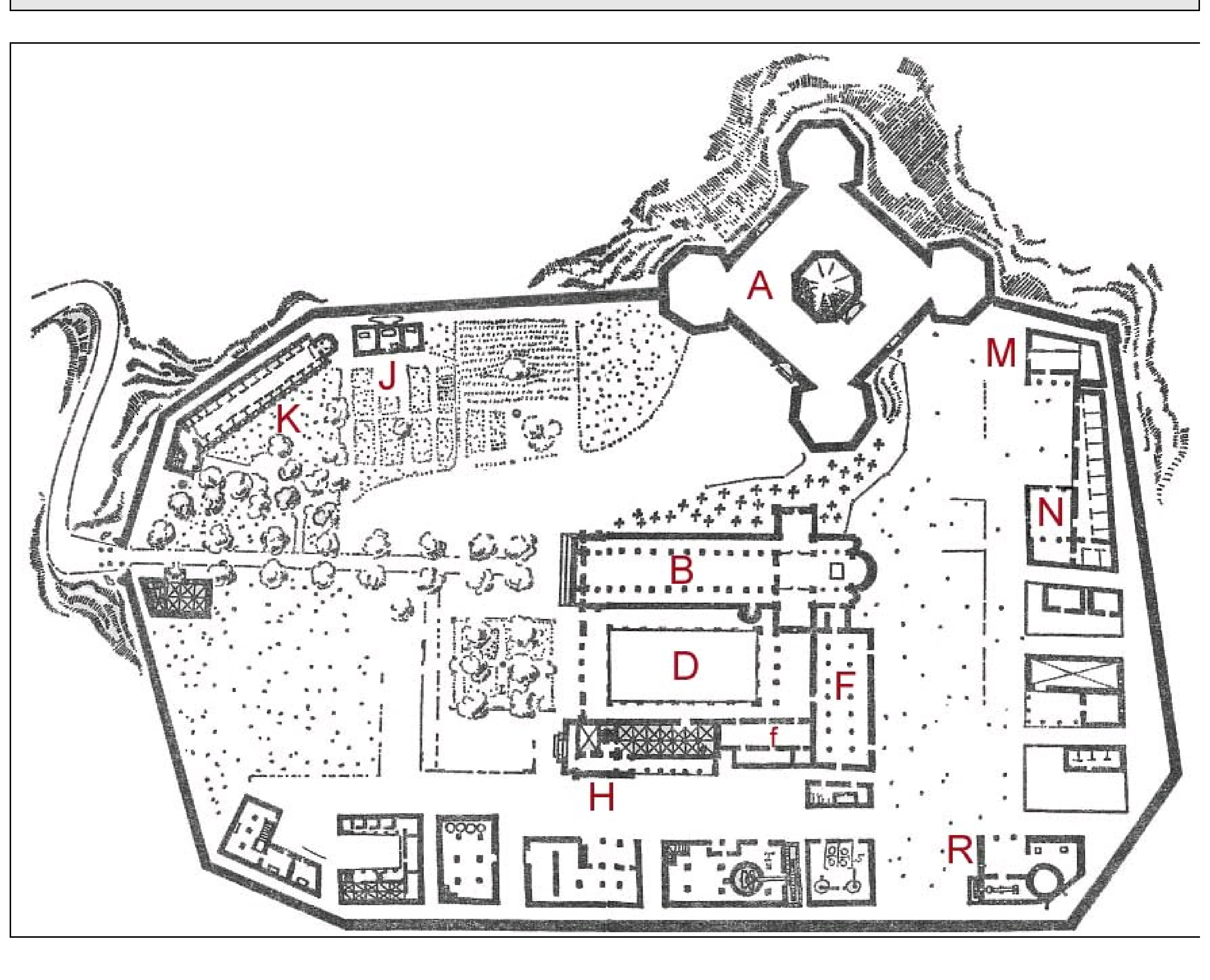
Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об оной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам[*] и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту неспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.

Вот, рассказал я о брате Вильгельме – видимо, бестолково. Хотелось в начале повести

собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его действий в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и престрашных, это несомненно.

Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах (их вспомяну при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.

Аббатство



A – Храмина. B – Церковь. D – Церковный двор. F – Спальный корпус. H – Капитулярная зала. J – Купальня. K – Лечебница. M – Выгребная яма. N – Конюшня. R – Кузни

День первый

Первого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность

Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен – такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, – а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле, и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных чисел, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь – число совершенства любого квадрата, четыре – число евангелий, пять – число зон неба, семь – число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок Даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.

Однако не скажу, чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого, что слишком заметны были дурные знаки, проявившиеся на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в святое хранилище слова Божия.

Наши мулы вскарабкались на последний уступ взъезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.

«Богатое аббатство, – сказал он. – Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».

Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом послышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал:

«Пожалуйте, отец мой, – сказал он, – и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем

приезде известили. Я – Ремигий Варагинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты, – обратился он к кому-то из свиты, – ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»

«Благодарю, отец келарь, – учтиво ответил учитель, – и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет – слишком умен».

«Вы когда его видели?» – спросил келарь.

«А мы его не видели, верно, Адсон? – Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. – Но это неважно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».

Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»

«Уж знаю, – ответил Вильгельм. – Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши остры, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».

На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю, грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку – славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца.

«А теперь откройте, – не утерпел я, – как вы догадались?»

«Добрейший Адсон, – отвечал учитель, – всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский[*]:

> всей вселенной нам творенье –
> будто бы изображенье,
> книга или зеркало, –

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них – яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие на левую тропу. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей – именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос… Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на

нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».

«Да, – кивнул я. – Но маленькая голова, острые уши, большие глаза…»

«Не знаю, что там на самом деле. Но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским[*], что лучшего коня "стать такова: невелика глава и плотно шкурою до кости облеплена, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны". Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, – тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, – если это ученый бенедиктинец».

«Ладно, – сказал я. – Но почему Гнедок?»

«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! – воскликнул учитель. – Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан[*], готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом коне, не находит более оригинальной клички!»

Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры, и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.

Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешились, а он вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.

«Я благодарен вам, Аббон, – сказал Вильгельм, – великая радость войти в обитель, осененную вашей властию и прославленную по обе стороны гор. Пилигримом я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».

Беря письмо с имперскими печатями, аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам отведенные помещения, конюхам – принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы, и нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и по середине гладкого луга, устилавшего чашеобразную впадину (альпу), которой оканчивалась вершина горы.

Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда (который, по всему судя, был единственною отдушиной в цельной стене) открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения – баню и больницу с травохранилищем,

прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше, по левую руку от церкви, возвышалась Храмина; между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первая появлялась ее западная башня, а рядом, чуть левее, стены Храмины врастали в монастырскую ограду и другие башни повисали над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиною и образовывавшие церковный двор: как заведено, почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошнейший фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, вдоль южной стены и затем вдоль восточной, загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские: конюшни, мельницы, маслодавильни, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, всхолмленного совсем незначительно, позволяла древним созидателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек, лучше чем могли бы требовать от кого бы там ни было Гонорий Августодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь – строго на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойла, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатства краше и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Клюни, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависавшей над остальными строениями, ни с чем не сопоставимой громаде Храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что Храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с пределами церкви, вернее наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали kosmos, то есть изукрашенный, он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуди благословен Создатель, определивший, по свидетельству Августина для каждой вещи число, тяжесть и меру.

Первого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу

Отец келарь был толстоват и простоват, но радушен; немолод, но крепок; невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи, вернее келью, приготовленную для учителя. Для меня, пообещал он, в течение суток выделят особый покой, поскольку я, хотя всего лишь послушник, но гость монастыря и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была постлана хорошая свежая солома. Это место, пояснил келарь, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной.

Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. Учитель не соблюдал строгое правило бенедиктинцев и вкушать в молчании не любил. Однако для беседы избирал предметы настолько добрые и достойные, что это выходило, как если бы монах читал нам жития святых.

За завтраком я не удержался и стал расспрашивать его о лошади.

«В любом случае, – начал я, – даже и прочитавши необходимые знаки на снегу и на ветвях, самого-то Гнедка вы все-таки не видели. А знаки эти так или иначе свидетельствуют о любой лошади, или хотя бы о любой лошади определенной породы. Значит, книга природы изъясняется только общими понятиями, как и учат многие именитые богословы?»

«Не вполне, милейший Адсон, – ответствовал учитель. – Разумеется, подобные отпечатки передают, если угодно, впечатление о коне как verbum mentis[17] и то же самое впечатление передадут они неизменно, в каком бы месте ни были увидены. Однако увиденные именно в этом месте и именно в этот час дня, они говорят мне, что, по меньшей мере, один из любых существующих коней определенной породы побывал тут, и так я оказываюсь на полупути между представлением об идее коня и знанием единичного коня. Как бы то ни было, в любом случае все, что мне известно о коне всеобщном, дается через следы, а след единичен. Тут я оказываюсь, можно сказать, в тисках между единичностью следа и собственным неведением, принимающим достаточно зыбкую форму всеобщной – универсальной – идеи. Если издалека смотришь на предмет и трудно разобраться, что это, довольствуешься определением “крупное тело”. Приблизившись, ты уже получаешь возможность сказать, что это вроде бы животное, хотя пока неясно, осел это или лошадь. Наконец, когда оно уже рядом, ты скажешь, что это конь, хотя и не знаешь, зовут его Гнедком или Воронком. И только оказавшись к предмету совсем вплотную, ты убеждаешься, что это Гнедок (то есть именно тот самый, единственный конь, а не любой; называть его можно как угодно). Вот это и есть полнейшее, совершеннейшее знание: проницание единичного. Вот так я час назад готов был строить предположения о любых конях – но не от широты своего разума, а от недостатка проницательности. Утолился же голод моего разума только тогда, когда я увидел единичного коня у монахов в поводу. Только в эту минуту я действительно удостоверился, что осуществленное рассуждение привело меня прямо к истине. А те идеи, которые я употреблял, прежде чем воочию увидел не виденного до того коня, это были чистые знаки, такие же знаки, как отпечатки конских копыт на снегу; знаки и знаки знаков используются только тогда, когда есть недостаток вещей».

Не раз я слыхал, как учитель скептически отзывается об универсальных идеях и гораздо

более уважительно говорит об индивидуалиях; мне всегда казалось, что это из-за его британства и францисканства{*}. Но в тот день у меня не было сил для богословских диспутов; еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон.

Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тюк. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе, разумеется, без тайного умысла, а лишь оттого, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели затаиться со смирением, что я и сделал.

Итак, Аббат вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле.

Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошадью. Как же все-таки удалось описать никогда не виденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббат пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля Фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором (ее, разумеется, предстоит обсудить особо), но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись проницательностью – но в то же время и великодушием.

«Особенно, – добавил Настоятель, – я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни Зло присутствует неотступно, – тут он быстро оглянулся, словно искал Врага прямо в нашей комнате, – но верю и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба{*}. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают у подследственного признание, как будто хорошим следователем может считаться тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения…»

«Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола», – сказал Вильгельм.

«Возможно, – уклончиво ответил Аббат, – ибо неисповедимы Господни пути. И все же не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ. И менее всего на вас, как на одного из них, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь. В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства и совета такого человека, как вы: умного и скромного. Достаточно умного, чтоб многое открыть, и достаточно скромного, чтобы скрыть (по необходимости) то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не предавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него. Но горе, когда паства перестает доверять пастырям».

«Ясно», – сказал Вильгельм. Я уже знал, что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает, приличия ради, свое несогласие или удивление.

«И посему, – продолжал Аббат, – я убежден, что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада, умеющий отличать и доброе от злого, и – прежде всего – существенное от несущественного. Я рад был узнать, что вы осуждаете преступников лишь в тех случаях…»

«…когда доказана действительная вина: отравление, растление малолетних или иная мерзость, кою мой язык не решается поименовать…»

«…вы осуждаете преступников лишь в тех случаях, – продолжал Аббат будто не слыша, – когда присутствие злого духа в обвиняемом очевидно для всех и потому оправдание может выглядеть еще возмутительнее, чем само преступление».

«Я осуждаю преступников только в тех случаях, – сказал Вильгельм, – когда доказано, что они действительно совершили преступления настолько тяжкие, что я с чистой совестью могу

отдать их гражданским властям».

Поколебавшись, Настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине – дьявольском наущении?»

«Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба…»

«Доктор Аквинский[*], – сказал тогда Аббат, – не робея, выводил бытие Всевышнего из оснований одного лишь разума, восходя от причин, через причины, к первопричине…»

«Кто я такой, – смиренно ответствовал Вильгельм, – чтобы противоречить доктору Аквинскому? Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким изобилием инородных свидетельств, что и его пути на том крепки? Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой отец, возглашали бы хвалу Всевышнему и явственность его существования, даже если бы у Фомы не доказывалось… – Вильгельм запнулся и добавил: – Думаю, так?»

«О, несомненно», – поспешил заверить его Аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластический диспут, судя по всему, тяготивший его. Затем продолжил свое:

«Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умерщвленный через отравление. Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я, по некоторым недвусмысленным показателям, предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действо совершено силой некоего постороннего вмешательства, на этот раз не человеческого, а диавольского? Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порою и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший Гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти? В любом случае дело кончится казнью, упокой Господи его греховную душу».

«Однако, помнится, три года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол, и вы его не оспаривали».

«Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла? В особенности если, – и Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод, – если в ходе процесса все, кто возбудил расследование, – и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые – все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу? Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола: это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его».

«Значит, – с тревогой спросил Аббат, – по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также – или даже в первую очередь – судьями?»

«А разве можно утверждать подобное? – переспросил Вильгельм. И я отметил: вопрос построен так, чтобы Аббату было неудобно настаивать на своем. Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему. – Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню…»

«Несомненно…» – ввернул Настоятель.

«…а ныне, – продолжал Вильгельм, – занимаюсь иными, не менее щекотливыми делами.

Готов заняться и вашим, как только вы расскажете, что же случилось».

Настоятель был, видимо, рад перейти к изложению вопроса. Рассказывал он осторожно, взвешивая слова, используя длинные перифразы и, где возможно, обходясь намеками. Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как к знатоку человеческой натуры и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расходованию толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма Отрайского, молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость, – искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами, – рано утром нашел козопас на дне обрыва под восточной башней Храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельма в хоре, а к полунощнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, и льдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град. Непогодой заправлял безудержный северный ветер. Снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки-лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. Бедная бренная плоть, да упокоит Господь его душу. Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение: то есть из какого именно окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон.

«Где вы похоронили несчастное тело?» – спросил Вильгельм.

«Разумеется, на кладбище, – ответил Настоятель. – Оно располагается от северной стены церкви до Храмины огородов».

«Понятно, – сказал Вильгельм. – Понятно и ваше дело. Если бы несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей (поелику возможность случайного падения из окна заведомо исключена), – на следующее утро вы должны были найти одно из окон Храмины растворенным. А между тем все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды».

Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный. Но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые, по Аристотелю, приличествуют важному и великодушному мужу: «Кто вам сказал?»

«Вы, – ответил Вильгельм. – Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство. И вы бы не могли допустить погребения его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты; и поскольку ни разу, даже в процессах о ведовстве, я не видел, чтобы непокаявшийся мертвец, при помощи Бога ли, или же диавола выбрался из пропасти ради того, чтоб замести следы собственного преступления, – я должен заключить, что предполагаемый самоубийца скорее всего был вышвырнут из окна человеческой рукой или, если вам так больше нравится, дьявольской. И теперь вы теряетесь в догадках, кто бы это мог его, ну если не в самом деле выбросить из окна, то хотя бы загнать, сопротивляющегося, на высокий подоконник. И неудивительно, что вы неспокойны, покуда в Аббатстве свободно промышляет злая воля, естественная или сверхъестественная – дело не в этом…»

«Да-да… – откликнулся Аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил. – Да. Но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?»

«От вас. Дул ветер. А окна открываются на восток».

«Мало мне рассказали о вашем уме, – проговорил Настоятель. – Все было так, и воды под

окнами не нашли, и я не мог понять почему, а сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу. Достаточно тяжко было бы уж и если один из моих монахов дошел до богомерзкого греха самоубийства. Однако есть причины полагать, что второй из них повинен в грехе не менее вопиющем. И не только…»

«Прежде всего, почему – второй из них? В аббатстве достаточно посторонних – конюших, козопасов, прислуги…»

«Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная, – важно подтвердил Аббат. – У нас на шестьдесят братьев сто пятьдесят человек челяди. Но прислуга ни при чем. Ведь преступление совершено в Храмине. Устройство Храмины вам, должно быть, уже известно: в нижнем этаже поварни и трапезная, в двух верхних скрипторий и библиотека. После вечернего стола Храмину замыкают, и доступ туда строжайше запрещен… – Тут Вильгельм, по-видимому, собрался что-то спросить, потому что Аббат угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно: – …запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но…»

«Но что?»

«Но… Для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно: осмелиться войти в Храмину ночью… – Тут по лицу Аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла, как угасает ночная зарница. – Что вы! Они смертельно этого боятся. Понимаете, когда хочешь что-то оборонить от простецов, запрет надо усилить угрозой: убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего потустороннее. Простецы верят, а вот монахи…»

«Ясно».

«Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться, объяснимая, хотя и противозаконная…»

Вильгельм заметил, что Аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника.

«Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили: и не только… Что еще имелось в виду?»

«Я так сказал? Ну… Никто не убивает без причины, пусть самой извращенной. И мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть инока на убийство собрата. Вот. Это все».

«Все?»

«Все, что я могу рассказать».

«То есть – все, что вам позволено рассказать?»

«Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат…» – Оба слова, и «вас», и «тебя», Аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал:

«Вижу: ты – служитель Господень».

«Спасибо, Вильгельм», – отвечал Аббат.

О Боже милостивый, какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники, один по велению отчаяния, другой по велению любопытства! Ведь даже я, жалкий послушник, не причастный еще тайн святого служения Господня, я, недостойный мальчишка, – понял, что Аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди. С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому, сопряженное с трагической кончиной Адельма. Потому-то, наверное, Аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, Аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника. Он надеялся, что мой учитель силою разума прольет свет на то, что сам он обязан укутывать тьмой во имя наивысшей силы – милосердия.

«Ладно, – сказал Вильгельм. – Я могу опросить монахов?»

«Можете».

«Я могу свободно перемещаться внутри аббатства?»

«Вы получите доступ повсюду».

«О моих полномочиях известят братьев?»

«Всех и сегодня же вечером».

«В таком случае я начну немедленно, до оповещения. Кроме всего прочего, я давно предвкушал, и даже полагал не в малой степени целью своего путешествия, посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде».

Тут Аббат вскочил на ноги. Лицо его окаменело. «Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда. Но, разумеется, это не касается верхнего этажа Храмины – библиотеки».

«Почему?»

«С этого объяснения следовало бы начать. Но я думал, что вы уже знаете… Дело в том, что наша библиотека отличается от остальных…»

«Да. В ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Боббио и Помпозы, Клюнийского и Флерийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новалесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, мелочь по сравнению с вашим собранием, и, надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека – единственный наш светоч; это лучшее, что может противопоставить христианский мир тридцати шести библиотекам Багдада, десяти тысячам томов визиря Ибн аль-Альками; знаю, что число ваших библий сравнимо с двумя тысячами четырьмястами каирскими коранами и что существование ваших запасов – блистательная явственность, посрамляющая наглую напраслину язычников, которые еще в отдаленные времена похвалялись (по близости своей ко князю неправды), будто их библиотека в Триполи наполнена шестью миллионами томов, населена восемьюдесятью тысячами толкователей и двумястами писцами…»

«Да, это так, благодарение Господу».

«Я знаю, что в составе вашей братии много пришельцев из других аббатств, из различных стран мира. Одни приходят ненадолго, чтобы переписать редкие в их краях рукописи и взять переписанное с собою на родину, а вам они за это предоставляют другие рукописи, редкие в ваших краях, чтобы вы, их переписав, приобщили к своему сокровищу. Другие же приходят на долгие годы, иногда на всю жизнь – ибо только у вас они получают книги, освещающие их область науки. Поэтому здесь у вас обретаются германцы, даки, испанцы, французы и греки. Знаю, что именно вас Фридрих-император много лет назад просил по его заказу составить трактат о пророчествах Мерлина и перевести его на арабский язык, чтобы послать в подарок египетскому султану. Наконец, я знаю, что даже в таком славнейшем монастыре, как Мурбах, в наши убогие времена не осталось ни одного переписчика; что в Сан-Галло только несколько монахов обучено письму; и что отныне не здесь, а в городах учреждаются корпорации и гильдии мирян, чтобы переписывать по заказу университетов; и что ваше аббатство сейчас единственное из всех ото дня ко дню умножает знания, и не просто умножает, а осиявает все более пышною славой родительский орден…»

«Monasterium sine libris[18], – подхватывая, повел Аббат, как будто забываясь, – се подобствует граду без воев, кремлю без стратигов, яству без приправ, трапезной без яств, без трав вертограду, лугу без соцветий, дереву без листвия… И наше братство, возрастая, стоя на двух заповедях – тружения и молитвословия, – всему знаемому миру является как свет, как поместилище науки, как воскрешение древнейшей мудрости, спасенной от бедствий многих: пожаров, грабежей, земли трясений; мы как бы кузня новейшей письменности и как хранилище вековечной… О, вам известно, до чего сумрачны наступившие годы; не выговоришь, не краснея, о чем недавно Венский совет был вынужден напомнить народам! О том, что монахи обязаны

рукополагаться! Коликие аббатства наши, две сотни лет бывые блистательными средоточиями высокоумия и святожительства, ныне прибежища нерадивцев! Орден пока могуч, однако городским смрадом дохнуло и в наших богоугодных местах: народ Божий все больше наклоняется к торговле, к междоусобицам; там, в огромных градских сонмищах, где не успевает повсеместно владычествовать дух святости, уже не только изъясняются (иного от мирян и ожидать нечего), но даже и пишут уже на вульгарных наречиях! Помилуй Господи и упаси от того, чтобы хотя единое подобное сочинение попало в наши стены – неминуемо переродится целая обитель в рассадник ереси! По грехам человеческим мир дошел до края пропасти, целиком охвачен бездною, бездну призывающей! А завтра, как и предуказывал Гонорий, люди станут нарождаться телесами мельче, нежели мы; так же как и мы мельче древних людей. Мир наш старится. Ежели ныне и имеет орден от Господа некоторое назначение, вот оно: противостоять этой гонке ко краю пропасти, сохраняя, воспроизводя и оберегая сокровище знания, завещанное нашими отцами. Провидение так распорядилось, чтобы всесветная власть, которая при сотворении мира обреталась на востоке, постепенно с течением времени передвигалась все сильнее к закату, тем и нас извещая, что кончина света также приближается, ибо гонка событий в мире уже дошла до пределов миропорядка. Но пока еще тысячелетие не исполнилось окончательно, пока еще окончательно не восторжествовало – хотя ждать и недолго – нечистое чудовище, Антихрист, нам надлежит оставаться на защите достояния христианского мира, сиречь Божия слова, кое дадено от Него Его пророкам и апостолам, и кое отцы наши повторяли благоговейно, не изменяя в нем ни звука, и кое в прежних школах благоговейно толковали, – даром что ныне в этих же школах змиеподобно угнездились гордыня, зависть, безрассудство. Перед наступлением грядущей тьмы мы единственный факел света, единственный светлый луч над горизонтом. И покуда стоят эти священные древние стены, мы должны пребывать на страже Святого Слова Господня…»

«Аминь, – благочестиво заключил Вильгельм. – Но какое отношение это все имеет к запрету на вход в библиотеку?»

«Видите ли, брат Вильгельм, – отвечал Аббат, – для того чтобы вершился святой неохватный труд, обогащающий эти стены, – и кивнул на громаду Храмины, видневшуюся из окна и возвышавшуюся над самыми большими постройками, даже и над церковью, – для этого благочестивые люди работали веками, соблюдая железную дисциплину. Библиотека родилась из некоего плана, который пребывает в глубокой тайне, тайну же эту никому из иноков не дано познать. Только библиотекарю известен план хранилища, преподанный ему предшественником, и еще при жизни он должен заповедать его преемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишила братство ключа к секретам библиотеки. Их знают двое, старый и молодой, но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным лабиринтам, только он знает, где искать книги и куда их ставить, только он несет ответ за их сохранность. Прочие монахи работают в скриптории, где они могут пользоваться списком книг, хранимых в библиотеке. В списке одни названия, говорящие не слишком много. И лишь библиотекарь, понимающий смысл расстановки томов, по степени доступности данной книги может судить, что она содержит – тайну, истину или ложь. Он единолично решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее затребовал, и предоставить ли вообще. Иногда он советуется со мной. “Ибо не всякая истина – не всякому уху предназначается, и не всякая ложь может быть распознана доверчивой душой.” Да и братья, по уставу, должны в скриптории заниматься заранее обусловленными работами, для которых потребны заранее оговоренные книги – и никакие иные. Нечего потакать всякому порыву безрассудного любопытства, рожденного слабостью ли духа, опасной ли гордынею, либо дьявольским наущением».

«Значит, в библиотеке есть книги, содержащие лжеученья?»

«И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и чрез немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца. Так же угодно божественному промыслу и существование магических книг, иудейской каббалы, сказок языческих поэтов и лживых учений, исповедуемых иноверцами. Верой столь незыблемой, столь святой одушевлялись те, кто воздвиг наше аббатство и учредил в нем библиотеку, что полагали, будто даже в клеветах ложных писаний око мудрого и набожного читателя способно прозреть свет – пусть самый слабый – свет божественного Знания. Но и для таких читателей библиотека пусть остается заповедищем. Именно по этим причинам, как вы понимаете, в библиотеку нельзя допустить всех и всякого. К тому же, – добавил Аббат, как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент, – книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук! Если бы все эти сотни лет всякий, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей, но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным Забвением, этим вековечным врагом Истины».

«Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж Храмины».

Аббат улыбнулся. «Никто не должен. Никто не может. Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама, она непроницаема, как истина, которую хранит в себе, коварна, как ложь, в ней заточенная. Лабиринт духовный – это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила и прошу вас соблюдать правила аббатства».

«Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осмотрю предполагаемое место преступления?»

«Брат Вильгельм, – отвечал Настоятель примирительным тоном, – человек, который смог описать моего Гнедка, никогда не видев его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен».

Вильгельм ответил поклонившись: «Ваше высокопреподобие и строгость свою облекает мудростью. Да будет как вам угодно».

«Если я когда-либо, волею Господа, и бывал мудр, – это единственно оттого, что умею быть строгим», – ответил Аббат.

«И наконец, – сказал Вильгельм, – Убертин?»

«Он здесь. Ждет вас».

«Когда?»

«В любое время, – улыбнулся Настоятель. – Вы его знаете. Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке. Зовет ее преходящим обольщением. Проводит дни в церкви, молится, размышляет…»

«Стар он?» – поколебавшись, спросил Вильгельм.

«Вы давно его не видели?»

«Много лет».

«Он устал. Отрешен от наших посюсторонних забот. Ему шестьдесят восемь лет. Но душа его, кажется, молода, как и прежде».

«Спасибо, отец настоятель. Я разыщу его немедленно».

Аббат пригласил нас трапезовать с братией после шестого часа. Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал, и очень сытно, и что предпочтет немедленно увидеться с Убертином. И Аббат откланялся.

Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль – так кричат смертельно раненые. Затем – другие крики, не менее ужасные. Что это?» – вздрогнул Вильгельм. Ничего, – ответил, улыбаясь, Аббат. – Об эту пору у нас колют свиней. У скотников много

работы. Не эта кровь должна вас заботить».

Так он сказал, и не оправдал свою репутацию прозорливца. Ибо на следующее утро… Но сдержи нетерпение, ты, разнузданный язык! Ведь еще в тот день, о коем речь, я еще до ночи совершилось много такого, и чем нужно поведать скорее.

Первого дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским

Аббатская церковь в великолепии уступала тем, которые я осматривал впоследствии в Страсбурге, Шартре, Бамберге и Париже. Сильнее всего она походила на те храмы, которые мне встречались и раньше в италийских землях: не устремляющиеся головокружительно ввысь к небесам, а накрепко сращенные с почвой, более широкие, нежели высокие. Но таково было только основание церкви. Над его крепкими стенами, как над скалою, были надставлены квадратные зубцы, чрезвычайно крепкие и могучие, и ими над нижней частью постройки удерживалась верхняя – не башня, а как бы новая большая вторая церковь, венчаемая островерхой крышей и опоясанная рядами строгих окошек. Надежная монастырская церковь, из тех, которые возводились нашими предками в Провансе и в Лангедоке, чуждая каких бы то ни было красот и излишеств, столь излюбленных современными строителями; и только шпиль, установленный, думаю, в самые недавние годы, отважно вонзался над хором в небесный свод.

Два отвесных, гладких столпа предстояли церковным воротам, которые издалека показывались как бы громадною слитною аркой; но от каждого столпа, от его верха, отходило по контрфорсу, и эти контрфорсы, ежели приглядеться, в вышине венчались все новыми и новыми арками, и их непрерывным полетом увлекался взор как бы в сердце разверзнутой бездны – вглубь, к настоящему порталу, издали неразличимому в полутьме. Над воротами нависал тяжелый тимпан, удерживавшийся с боков двумя массивными подпорками, а посередине – резным пилястром, делившим портал на два соседствующих прохода, в каждом из коих были установлены тяжелые дубовые окованные железом двери. В тот полуденный час бледное солнце почти отвесно ударяло в крышу и лучи попадали на фасад искоса, оставляя в полутьме наддверный тимпан, так что мы, миновавши два передних столпа, неожиданно очутились под переплетенным арочным сводом, почти что в лесу переплетенных аркад, отходивших от оголовья малых колонн, пропорционально укреплявших каждый контрфорс. Когда глаза свыклись с полумраком, вдруг немой разговор резного камня, обращенный к зрению и следом прямо к душе (ибо картина, се простецов писание), поразил мой взор и увел меня в мечту, каковую и ныне язык затрудняется передать.

Взглянул я как бы в духе, и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий. Лицо Сидящего было сурово и скорбно, распахнутые очи жгли человечество, пришедшее к пределу земного существования; власы с брадою величественно ниспадали у него по лицу и груди, как будто речные воды, равномерными ручейками, и ни один не был толще остальных. Венец, его покрывавший, был осыпан самоцветами и перлами; властительная пурпуровая туника, изукрашенная вышивками, браная золотом и сребром, пышными складками стекала ему на колени. В левой руке, опущенной на колени, он держал запечатанную книжку, правую же воздевал, знаменуя не то благовещение, не то угрозу. Лик его был озарен ужасающей красотою нимба, крестовидного и цветоносного; и я увидел, как переливается вокруг престола и над головою Сидящего радуга, подобная смарагду… Перед престолом, под ногами Сидящего, простиралось море стеклянное, подобное кристаллу, а вокруг Сидящего, вокруг престола и над престолом виднелись четверо ужасных животных, ужасных для меня, который глядел на них, как

бы захваченный, однако милых и сладчайших для Сидящего, которому все они неустанно возглашали хвалу.

Вернее сказать, не все они представлялись даже и мне ужасными, ибо весьма хорош и мил всем своим обликом глядел муж, что слева от меня, одесную Сидящего, протягивавший книжку. Но ужасен был, с противоположного боку, орел: клюв отверст, торчат встопорщенные перья, как бы железная кольчуга, кривые когти хищно закручены, широкие крылья разведены. Тут же у ног Сидящего, под двумя первыми образами, находились два других, телец и лев, и каждое из этих двух чудовищ, которое в когтях, а которое в копытах, держало, каждое, книгу; при тулове, отвернутом от престола, главы их были на престол устремлены, как будто бы выламывая и верх туловища и шею в какой-то дикой судороге, поводя боками, загребая лапами, разевая пасти, бия и щелкая закрученными хвостами, изогнутыми, как змеи, и завершавшимися, на оконечностях, языками пламени. Оба они крилаты, оба увенчаны ореолом, и, невзирая на устрашающий вид, оба рождены не адскою силой, а небесами, а ежели и показывались ужасными, это оттого, что рыкали в предвосхищении Сошедшего, идущего судить живых и мертвых.

Около престола, обок тех четырех животных и под ногами Сидящего, видимые как будто через прозрачную твердь глубин хрустального моря, заполняя собой почти весь простор видения, размещенные сообразно треугольному очертанию тимпана, снизу семь и семь, выше три и три, совсем сверху два и два, по сторонам престола, двадцать четыре старца восседали на двадцати четырех небольших престолах, облеченные в белые одежды и златовенчанные. У одних находились в руках гусли, у других – чаши, полные фимиама, а играл из них только один, все же прочие были охвачены восторгом, обернувши лик к Сидящему, которому возносили хвалу, и все члены их были вывернуты точно так же, как у четырех животных, с тем чтобы каждый мог лицезреть Сидящего, но у старцев искривление туловища выглядело не так по-скотски, а походило на колена священного танца – тому подобно, наверное, плясал Давид перед ковчегом завета, – и, как бы ни было вывернуто тулово, из любого телоположения зеницы старцев, в опровержение всех законов, определяющих устойчивость тела, глядели в одну-единственную сиятельную точку. Боже, какая гармония порывов и отпрядываний в наклонении их тел, противоприродном, но странно-красивом, в мистическом разговоре всех их членов, чудодейственно освобожденных от телесной тяжести; здесь заповедное число представало в новопринятой существенной видимости, как если бы на святейшее товарищество ниспослан был буйный ветр; здесь дыхание жизни, исступление восторга, вопль аллилуйя, силой чуда претворенный из звучания в святозрачный образ.

Тела и их части, обитаемые духом, озаренные откровением, лики, дивом преображенные, взоры, одушевлением пронзенные, ланиты, любовию воспламененные, зеницы, благоденствием распространенные; кто испепеляем мучительным блаженством, кто охвачен блаженнейшею музыкой, кто трепетом преображен, кто счастием омоложен, вот все они голосят с растроганными лицами, с развеянными платьями, со сладострастием и с напряжением во всем их существе новое славопение, и уста их полуоткрыты умилением вековечной хвалы. А под пятами этих старцев, и выгибаясь над ними, и поверх престола, и над евангелическою четвернею, сплетаясь в симметрические струи, почти не разнствуя между собой из-за роскошества тончайшей художности, сводящей разномастные их свойства к великолепнейшему тождеству, к разной равности и равной разности их, единых в инаковости и инаких в единстве, в семейственном содействии, в совершенной соразмерности сочленений, в сопряженности соцветий, как созвездие сладчайшего созвучия и связанности мастей по существу сторонних, как сочетание соприродное сонму струн цитры, как согласная и согранная, сопредельная соседственность, сродненная существенной нутряной силою, сосредоточенной на единообразии смысла даже в самой сумасшедшей игре разнообразного, как узорочье и соположение созданий

взаимно несоединимых, однако, соединяющихся во взаимности, как плод любовного союза, заключаемого всесильным советом, равнозначно и небесным и светским (наикрепчайшая, вековечная сопряженность мира с любовью, с добродетельностью, со строем, с могуществом, с правопорядком, с первопричиной, с жизнью, со светом, с сиянием, с видом и с образом), как многоразличное единство, ослепляющее блистательной обработкою, сообщающей стройную форму соразмерно расположенной материи, – так сплетались и переливались между собою всевозможные соцветия и листья, и лозы, и отростки, и побеги любых растений, которыми украшаются сады земные и сады небесные: и фиалка, и ракитник, и повилика, и лилия, и бирючина, и нарцисс, и лотос, и аканф, и душистая кассия, и мирра, и смолистый бальзамин.

Однако в то время как мой дух, увлеченный этим совмещением природного совершенства с величавыми сверхъестественными знаменованиями, готов был себя излить в счастливом песнопении, взор, постепенно продвигаясь вдоль строя резных каменных розеток под стопами старцев, падал на некие фигуры, которые, перекрещиваясь между собою, целиком сливались с пилястром, поддерживавшим тимпан. Что собою являли, какое символическое послание сообщали эти три четы львов, каждая переплетенная между собою как бы крестом, наискось наклоненным, каждый зверь был вздыблен дугою, задними лапами взрывая твердую почву, передними упираючись в спину собрата; разметаны змеевидными волнами шерсть и грива, пасти разверзнуты зычной угрозой, тугое тело каждого зверя к тулову колонны привязано, будто приплетено, как путами, резными лозами. Но чтоб успокоить потрясенный дух, как будто нарочно рядом с ними были поставлены укрощать диавольскую природу львов и претворять ее в символическую, направляющую дух к высоким помыслам и тайнам, по сторонам пилястра, симметрично, два человеческих истукана, оба неестественного роста, вытянутые, высотой с колонну, и оба – близнецы других, рядом стоящих двух, которые симметрично справа и слева соседствовали с первыми, подпирая массивные столпы под тимпаном, примыкая к каждому створу со внешней стороны, там, где тяжелые половины двери навешивались на косяки; это были четыре фигуры старцев, в которых по атрибутам я распознал Петра и Павла, Иеремию и Исаию, извивающихся в таком же танце, в каком и старцы на тимпане; воздеты длинные костлявые руки с перстами, расправленными, как крылья, и, как крылья, разлетаются по воздуху бороды и кудри, подъятые пророческим вихрем; складки долгополых одежд разметаны; долговязые ноги повертываются и движутся, колыхая ткани и складки, будто бьющиеся с львиными космами, хотя по плоти и соприродные оным космам. И, отворачивая очарованный взор свой, упоенный потаенным многозвучием этого странного сродства святолепных телес с адовыми извержениями, я узрел на боках портала, под глубокими аркадами, множество высеченных на контрфорсах в промежутках между хрупкими колоннами, поддерживающими и украшающими их, вьющихся посреди изворотов изобильной растительности, окутывающей оголовья этих колонн, и карабкающихся наверх к лесоподобным пролетам бессчетно повторяющихся арок – других видений ужасающего, жуткого вида, чье явление в этом священном приюте могло быть связано только с их параболическим и аллегорическим содержанием и с неким моральным уроком, который ими задавался; там видел я жену похабную, оголенную, со спущенной кожей, угрызаемую нечистыми лягвами, уязвляемую аспидами и уестествляемую толстобрюхим сатиром с крупом грифа, с ногами, утыканными жестким пером, и с бесстыжею глоткою, выкликающею ему же самому вечное посрамление; видел я и скупца, коченеющего смертным холодом на своем ложе под колоннами и навесами беззащитною жертвою злой бесовской когорты, на него бросающейся, рвущей с последними хрипами из греховной глотки душу в образе младенчика (но не для вечной жизни, о горе!, нарождающегося); видел и горделивца, которому лютый бес плотно сел на плечи, ткнувши когти тому в очи, в то время как двое чревоугодников рвали один из другого клочья мерзостного мяса, и видел других

существ, с козлиными рожами, львиными шкурами, пантерьими зубьями, плененных в огненном лесу, горячее их дыхание чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались под ними странные лики и члены тела: муж с женою, вцепившись друг другу в волосы; два аспида, высасывая очи у грешника; борец, который, скалясь, разрывал скрюченными руками пасть гидры; и все твари бестиария Сатаны, сошедшиеся собором, дабы хранить и венчать престол тот и поражением своим его восславить, – сатиры, андрогины[*], шестипалые уроды, сирены, гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы[*], змеехвосты, минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки, сколопендры, волосатые гады, саламандры, змеи-рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, гидрофоры с рогами как пилы, жабы, грифоны, обезьяны, псиглавцы, круготенетники, мантихоры[*], стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, василиски, чрепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи-посохи, амфисбены[*], летучие удавы, дипсады[*], мухоловки, хищные полипы, мурены и черепахи. Все исчадия ада будто сошлись тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению Сидящего на фронтоне, к лику его многообещающему и грозному. Те, кто сражен на Армагеддоне[*], стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев от видения и не сознавая, нахожусь ли в покойном месте, либо же в долине Страшного Суда, я совсем потерялся и силился сдержать слезы, и мнилось, будто слышу (или слышал взаправду?) тот же голос и зрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению Священного Писания, в ночи медитаций в Мелькском хоре. И затем, обмирая всеми чувствами, и прежде некрепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными, я услышал громкий голос, как бы трубный, говоривший: «То, что видишь, напиши в книгу» (чем ныне я и занят), и увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, очи – как пламень огненный. Ноги были подобны бронзе, раскаленной в печи. Голос подобен шуму вод многих, и в деснице он держал семь звезд, а из уст его выходил обоюдоострый меч. И вот, дверь отверста на небе, и Сидящий, лицом подобный камням яспису и сардису, и радуга вилась вокруг его престола, и исходили от престола молнии и гласы. И Сидящий, гляжу, берет в руки острый серп и восклицает: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела», и повергает серп свой на землю, и вот уже земля пожата.

Тут я понял, что не об ином глаголет видение, как о происходящем в монастыре. О том самом, что с неохотой открыли уста Аббата. И как часто в последующие дни ни приходил смотреть на портал, всегда убеждался, что переживаю страсти, им предреченные. И тогда же я понял, что мы взошли в оное место, дабы стать свидетелями великой богоугодной жертвы.

Я трепетал, как под зимним ледяным дождем. И тут послышался второй глас, но этот звучал позади меня и был совсем иным, так как шел с земли, а не из лучезарного средоточия моей мечты. И так чуждо звучал, что от него видение пропало, а Вильгельм (теперь я вспомнил о его присутствии), прежде углубленный в созерцание, обернулся на крик, как обернулся и я.

Тот, кто стоял за нами, походил на монаха, хотя его одежда была замарана и ветха, как у бродяги, а что до лица – оно не сильно отличалось от харь, испещривших капители. Во всю жизнь ни разу мне не довелось испытать то, что испытывали многие собратья, – явление диавола. Но я уверен, что если выпадет однажды ему предстать передо мною, тот, кого Господь по счастию не допускает полностью упрятывать свое естество под обликом человека, предстанет именно в таком обличье, какое имел наш тогдашний собеседник. Череп, лишенный волос – но не от епитимьи, а вследствие какой-то гноеточивой сыпи. Лоб до того низкий, что

если бы голова не облысела, мохнатые дикие брови сомкнулись бы с волосами. Круглые глаза с крошечными, очень подвижными зеницами, а взгляд то бесхитростный, то зловещий, в разные минуты по-разному. Носа, сказал бы я, не было вообще, но все же какой-то хрящ торчал у него между глазами, чуть выступая вперед, однако сразу и оканчиваясь. Под ним на гладком месте были две черные дырки – огромные, заросшие густым волосом ноздри. От этих дыр ко рту шел рубец. Уродливая перекошенная пасть была скривлена вправо, и между отсутствующей верхней губой и нижней – выпяченной, мясистой – виднелись неровные черные зубы, заостренные, как собачьи клыки.

Когда мы обернулись, рот стоявшего расползся в улыбке (по крайней мере мне так показалось), и он, предостерегающе воздев перст, промолвил:

«Всепокайтеся! Зряще како змию жрать твой дух! Смерть на нас! Будет тут змий каратель! Возмоли, святый да папа свобождает от греха! Ха! Ха! Видно, вам люб сей глум! Ведовство! Се хула на Господа Нашего Иисуса Христа! А вам любо? И счастье в боли, и стон в любови… Ох! Ох! Сгинь, черт! Тьфу, попутал в песнь! Песни ведут в ад. Сальватор вразумевши. Дом сей добр. Тут еда. И Господу Богу помолимся. Пропади прочее пропадом. И аминь. Так?»

Не раз еще придется, вперед подвигая повесть, рассказывать, и немало, об этом уроде и передавать его речи. Признаюсь, что это очень трудно, так как ни тогда я не понимал, ни сейчас не пойму, на каком языке он изъяснялся. Это не была латынь – язык, употреблявшийся в монастыре меж нами, образованными людьми. Это не было и наречие местности, окружавшей монастырь. И наречием какого-либо другого края это, сколько я могу судить, тоже не было. Думаю, мне удастся хоть отчасти передать манеру его речи, приведя тут выше (слово в слово, как запомнил) первые слова, услышанные от него. Когда позднее мне сделались известны подробности его бурной жизни и его скитания по разным странам, без мысли осесть в какой-нибудь земле, – я понял, что Сальватор говорил на всех языках и ни на одном. Вернее, он составил из обломков чужих наречий свой собственный язык, использовав множество других, с которыми соприкасался во время странствий. Мне даже пришло в голову, что в употреблении Сальватора до нашего века сохранился единственный образчик – нет, не того адамического языка, на котором говорило блаженное человечество с начала сотворения мира до постройки Вавилонской башни, и не какого-либо из языков, появившихся после рокового их разделения, а именно ужасного вавилонского языка первого часа господней казни, языка первоначального смятения. С другой стороны, лепетанье Сальватора даже и языком-то в полной мере назвать бы я не мог, так как в каждом человеческою языке наличествуют правила, и каждое речение обозначат ad placitum[19] некую вещь, подчиняясь гласному закону; так что невозможно сегодня называть кошку кошкой, а завтра собакой, и нельзя употреблять такие сочетания звуков, которым по взаимной договоренности людей не придан определенный смысл; невозможно изъясняться такими Словами, как «тра-та-та». Невзирая на это, с грехом пополам я ухитрялся понимать, о чем толкует Сальватор, и не только я, но и другие: это доказывало, что Сальватор говорил все же на языке, хотя и не на одном, а сразу на всех языках, и на всех – без законов и правил, черпая слова откуда придется. Как я заметил впоследствии, он мог именовать одну и ту же вещь сначала по-латыни, потом по-провансальски, и еще я заметил, что вместо того, чтобы составлять собственные фразы, он заимствовал откуда попадется готовые куски, disjecta membra[20] готовых фраз, некогда услышанных им, и подбирал их применительно к случаю и к предмету, на который направлялась речь. Так, о кушаньях он умел говорить только теми словами, которыми пользовались жители краев, где он это кушанье ел; выражать радость он был способен только припоминая речи радующихся людей, с которыми некогда радовался совместно. Его наречие было точно как его лицо, слагаемое множества обломков, частичек чужих лиц; или еще подобное видывал я в собраниях нетленных тел угодников (да не накажется,

милостивый Боже, мне magnis componere parva[21], или даже с божественным сопоставление бесовидного!), где святыни складывались, бывало, из частичек иных нетленных святынь. В ту минуту, когда я увидел его впервые, Сальватор представился мне и обличием, и привычкою разговора в виде некоего чудовища, соприродного тем волосатым и душераздирающим, скрестившимся, которых видел я на портале. Позднее я узнал, что он добросердечен и покладист. Позднее я еще узнал… Но нет, расскажу по порядку. К тому же не успел незнакомец обратиться к нам, как Вильгельм, заметно заинтересованный, сам приступил к нему с вопросами.

«Почему ты говоришь “всепокайтеся”?» – спросил он.

«Господине отче брате благ душою, – отвечал Сальватор, сгибаясь в каком-то странном поклоне. – Исус грядущ и в человецех покаяние бы. Так?»

Вильгельм пристально посмотрел на него: «Ты что, из монастыря миноритов{*}?»

«Не вразумел…»

«Я спрашиваю: ты, верно, жил у братьев Святого Франциска, встречался с так называемыми апостолами?»

Сальватор побледнел – вернее сказать, смуглая звероподобная рожа его посерела. Отвесив Вильггельму поясной поклон, он прошипел что-то вроде «Изыди», истово перекрестился и бросился прочь, непрерывно озираясь.

«О чем вы его спросили?» – обратился я к Вильгельму.

Тот стоял в задумчивости. «Не важно. Объясню после. Сейчас идем в церковь. Я хочу видеть Убертина».

Час шестый пробил совсем недавно. Бледный солнечный свет чуть сочился через западные, то есть мелкие и редко посаженные, проемы во внутренность церкви. Один неяркий луч все еще перетягивался через церковь к головному алтарю, покровы которого отсвечивали тонким золотистым блеском. Боковые приделы были окутаны полутьмой.

У входа в самую близкую к алтарю часовню, в левом приделе, на низкой витой колонне возвышалась каменная Богоматерь, высеченная в современной манере, с невыразимою улыбкой, выдающимся животом, младенцем у груди, в нарядном платье на узком корсаже. У подножия Святородительницы, глубоко уйдя в молитву, ничком лежал на плитах пола человек в одежде ордена клюнийцев.

Мы приблизились. Он, заслышав шум наших шагов, поднял лицо. Это был старец, безбородый, безволосый, со светло-голубыми глазами, с узким алым ртом, почти без морщинок, с костистым черепом, который так плотно обтягивался кожей, что вся голова у него походила на голову мумии, сохраненную в молочном растворе. Руки были белы, с тонкими удлиненными пальцами. Весь он был похож на девственницу, сраженную довременной кончиной. Он обратил на нас рассеянные глаза, видимо, с трудом пробуждаясь от экстатического виденья, и вдруг лицо его просияло.

«Вильгельм! – вскрикнул он. – Брате мой любимый! – Он с трудом поднялся на ноги и бросился на грудь моему учителю, обнимая и целуя того в уста. – Вильгельм! – восклицал он, и из глаз текли слезы. – Сколько лет! Но я узнал тебя с первого взгляда! Сколько лет, сколько бедствий! Сколько испытаний ниспослано нам от Бога!» – говорил он сквозь слезы. Вильгельм крепко обнял старца. Видно было, что он тоже взволнован. Мы находились пред знаменитым Убертином Казальским.

Об этом человеке я слыхал не раз намного раньше, и даже до того как сам отправился в Италию, – слыхал от францисканцев, живших при императорском дворе. Кто-то рассказывал даже, что величайший сочинитель той эпохи, Дант Флорентийский из семьи Алигьери, составил

некую поэму (прочесть ее я не сумел бы, так как она написана вульгарным языком), и к ней-де приложили руку силы земли и силы неба, и в ней-де многие вирши являли собою не иное как парафразы стихов, сочиненных Убертином, из его поэмы «Arbor vitae crucifixae»[22]. Но желая посильно облегчить будущему читателю понимание того, какую важность имела описываемая встреча, мне придется отвлечься и попытаться восстановить ряд событий миновавших лет, в том же виде, в котором сам я воспринимал их как во время путешествия по срединной Италии, из обрывочных замечаний, роняемых учителем, так и вдумываясь в те беседы, которые имел Вильгельм с настоятелями и монахами разнообразных монастырей в течение всего нашего путешествия.

Я буду стремиться воспроизвести все, что тогда понял и запомнил, даже когда не полностью уверен, что воспроизвожу верно. Мои наставники в Мельке не раз твердили мне, что-де трудно северянину разобраться в вероисповедных и политических тонкостях итальянской жизни.

На полуострове, где управление клира было по всей очевидности более полновластным, нежели в любой другой области, и где гораздо более явно, чем в любой другой области, клир царил с могуществом и роскошью, на этой земле за последние два века возникли и развились движения людей, влекомых к более бедной жизни, противников развращенного священства, за которым они не признавали даже прав богослужения, и объединялись в самодеятельные общества, равномерно преследуемые и феодалами, и имперскими властями, и магистратами городов.

В конце концов пришел Св. Франциск и начал проповедовать любовь к бедности, не противоречащую установлениям церкви, и его стараниями церковь сумела вместить в себя приверженность ко строгости нравов, присущую тем первоначальным движениям; но искоренила зародыши смуты, которые в них спервоначалу гнездились. И ожидалось, что наступит век благоденствия и мягких нравов, но, по мере того как францисканский орден разрастался и притягивал к себе лучших людей, он становился все более могуществен и все сильнее замешивался в мирские дела, и многие францисканцы стали стремиться возвратить его к прежней чистоте. Довольно труднодостижимая задача, учитывая, что орден в те времена, когда я приехал в обитель, насчитывал более тридцати тысяч сподвижников, разбросанных по всему миру. Но многих привлекала эта задача, и многие братья во Св. Франциске возмущались против правила, данного ордену сверху, и говорили, что ныне орден-де присвоил те пороки владычествующей церкви, для искоренения которых создавался. И что это стало происходить еще при жизни Франциска, и что его проповедь нагло предавали. Многие из возмущавшихся новооткрыли для себя книгу одного цистерцианского монаха, писавшего в начале XII века нашего летосчисления, зовомого Иоахимом, которому приписывали дар прорицания. И в самом деле он сумел предуказать наступление новой эры, в которую дух Иисуса Христа, уже давно извращенный усилиями его лжеапостолов, снова пресуществится на нашей земле. И он провозвестил определенные сроки, и потому всем было ясно, что он, сам того не зная, прорицал появление францисканцев. Каковому его прорицанию многие францисканцы порадовались, и, пожалуй, даже чрезмерно, потому что в середине столетия в Париже доктора из Сорбонны осудили учение того пресвитера Иоахима, но думается мне, что они его осудили главным образом потому, что к той поре францисканцы (как и доминиканцы) начали становиться слишком сильными, многознающими, вошли во французские университеты, и церковь захотела расправиться с ними как с еретиками. Но этого все же не случилось, что оказалось для церкви чрезвычайно полезно, ибо тем самым сохранилась возможность распространения трудов Фомы из Аквино и Бонавентуры из Баньореджо, которые, разумеется, вовсе не были еретиками. Из сказанного видно, что в Париже бытовали тогда взгляды весьма запутанные, вернее, что кому-то

выгодно было их запутывать. В том-то и таится, по мне, основное зло, которое приносит ересь христианскому народу: что она спутывает понятия и мысли и побуждает каждого становиться инквизитором ради собственной личной пользы. А ведь по тому, что я видел в аббатстве (и о чем готовлюсь здесь поведать ниже), может родиться мысль, будто очень часто сами инквизиторы порождают ересь. И не в одном том смысле, что объявляют людей вероотступниками, даже когда те таковыми не являются, но еще и в другом: они с таким неистовством выжигают еретическую заразу, что многие назло им, из ненависти, провозглашают себя ее защитниками. Истинно, диавольский замкнутый круг создается при этом, Господи помилуй и спаси нашу душу.

Но я рассказывал о ереси (если считать ее ересью) иоахимитов. Немного погодя в Тоскане появился францисканец, Герард из Борго Сан Доннино, распространитель проповеди Иоахима, горячо принятый в среде миноритов. Так в их среде создавались отряды приверженцев первоначального устава и противников исправления правил, проведенного великим Бонавентурой, впоследствии ставшим в ордене генералом. В последнее тридцатилетие века, когда Лионский совет, спасая орден францисканцев от угрозы полного роспуска, ввел его в права собственности над всеми благами, коими до того орден пользовался, а это признавалось правильным и законным в других, более старинных общинах, несколько монахов в Марках против того возмутились, ибо посчитали, что дух отеческого устава этим недопустимо извращается, поскольку францисканец не имеет права владеть никакой собственностью ни от своего лица, ни от имени братства, ни от всего ордена. Их пожизненно заточили. Мне не кажется, будто эти люди возглашали что-то противоречащее Евангелию, но когда дело идет о владычествовании над мирскими богатствами, трудно ждать, чтобы все действовали и распоряжались по справедливости. Мне сказали, что спустя несколько десятилетий новый генерал ордена, Раймонд Гауфреди, разыскал этих узников в Анконе и, освобождая их, рек: «Господу было угодно, чтобы все мы и наш орден запятнались этой виною». Это доказывает, что еретики говорят неправду и что и в лоне церкви отыскиваются еще люди величайших достоинств.

Среди этих выпущенных на свободу узников был Ангел Кларенский, который повстречался потом с одним провансальским братом, Петром, сыном Иоанна Оливи, распространявшим пророчества Иоахима, а потом – с Убертином Казальским, и так зародилось движение спиритуалов. В те годы восходил на трон папы святожительный муж, отшельник, Петр из Морроне, правивший как Целестин V, и его приняли с радостью. «Грядет святый муж, – ибо было предречено им, – и соблюдет заветы Христовы, будет он ангелической жизни, трепещите, злые прелаты!» Надо думать, Целестин оказался чересчур ангелической жизни, или, может быть, окружавшие его прелаты были слишком злы, только он не смог вынести напряжения, созданного весьма затянувшейся войной с императором и другими королями Европы. Так или иначе, вскорости Целестин отказался от своего правления и вернулся из мира в скит. Но в недолгий период при нем, протянувшийся менее одного года, ожидания спиритуалов были полностью удовлетворены: они явились к Целестину, и он учредил для них братства, называемые «Fratres et pauperes heremitae domini Celestini»[23]. С другой же стороны, в то время как папа выступал посредником, улаживая распри между самыми могущественными кардиналами Рима, некоторые из них, такие как Колонна и Орсини, тайным образом снова стали воспалять в монашестве жажду бедной жизни; кажется, довольно странные идеи для людей, живущих в неслыханном достатке, среди роскоши и богатств, и я так до сей поры и не понял, попросту ли они использовали спиритуалов в интересах своего правления или в какой-то мере искупали свою жизнь в плотских утехах тем, что обороняли духовность братьев-отшельников; однако вероятно, что справедливы оба моих предположения, сколь мало ни разбираюсь я в итальянской истории.

Одним словом, показательно, что Убертин был принят домовым священником ко двору кардинала Орсини именно в ту пору, когда за особую его признанность среди спиритуалов ему грозило обвинение в ереси; и тот же кардинал стал за него стеною в Авиньоне.

Однако, как часто бывает в подобных обстоятельствах, с одной стороны, Ангел и Убертин проповедовали в рамках церковного учения, а с другой – масса простецов брала на вооружение их проповедь и распространяла ее по городам и весям, совершенно выходя из-под контроля. Так очень скоро Италия наводнилась полубратьями[*], или братьями бедной жизни, которые многим обывателям казались опасными еретиками. Отныне становилось очень трудно разграничить предстоятелей Свободного Духа, сохранивших связи с церковными властями, и их простодушных последователей, которые попросту стали жить в отдалении от ордена, перебиваясь милостыней и существуя со дня на день добычею рук своих, не имея ни малейшего владения. Их народная молва прозвала полубратьями. Они во многом походили на французских бегинов[*], последователей Петра Иоанна Оливи.

Целестина V сменил Бонифаций VIII; новейший папа поспешил выразить крайнее нежелание попустительствовать спиритуалам и всяким полубратьям; в самые последние годы столетия, перед кончиной, он выпустил буллу Pluna cauleta, в которой клеймил скопом и христарадников, то есть праздношатающихся попрошаек, обращавшихся где-то на дальней окраине францисканства, и реформаторов-спиритуалов, уходивших от общественной жизни в скитничество.

Спиритуалы впоследствии неоднократно пытались заручиться поддержкой других понтификов, таких как Климент V, и безболезненно расстаться с орденом. Думаю, они бы в том и преуспели, когда бы не приход Иоанна XXII, лишивший их всякой надежды. Как только в 1316 году он был избран, он отписал сицилийскому королю о скорейшем изгнании спиритуалов из земель Сицилии, а их там попряталось немало, и тут же заковал в цепи Ангела Кларенского и спиритуалов из Прованса.

Это проходило, надо сказать, не очень легко. Некоторые в курии противились. В конце концов Убертина и Кларенского освободили и позволили им оставить орден; одного приняли бенедиктинцы, другого целестинцы. Но к тем их сподвижникам, которые оставались жить сами по себе, Иоанн не знал жалости. Он предал их в руки инквизиции, и многие были сожжены.

Тогда же Иоанн осознал, что для уничтожения полубратского духа, при том что строптивцы опирались на положения официальной церкви, следовало прежде всего разгромить те принципы, на которых они основывали свою веру. Они исходили из того, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, ни частной, ни совокупной. Папа же объявил данное утверждение еретическим. Надо сказать, это было не совсем обычно, поскольку папе как-то не полагалось бы оспаривать ту истину, что Христос был беден. Но дело в том, что годом раньше в Перудже прошел генеральный капитул францисканцев, поддержавший идею Христовой бедности. Таким образом, размежевываясь с полубратьями, папа размежевывался и с францисканцами. Как я уже говорил, капитул сильно мешал ему воевать с императором. В этом было дело. Из-за этого многие полубратья, слыхом не слыхавшие ни об императоре, ни о Перудже, горели на кострах.

Вот о чем вспоминал я, подходя к легендарному Убертину. Учитель меня представил. Старец тронул мне щеку горячими, будто горящими пальцами. Этим прикосновением объяснялось все, что слыхал я о святейшем муже, все, что прочел сам в его «Древе жизни». Я понял, каким мистическим жаром он пылал с тех пор, как, обучаясь в Париже, предался спекулятивному богословию и перевоплотился в кающуюся Магдалину, и что за страстная сила влекла его к святой Ангеле из Фолиньо, к той, кто открыла ему сокровища мистической жизни и поклонения кресту, после чего власти ордена, напуганные горячностью его проповедей, срочно

выслали Убертина в Верну.

Вглядываясь в лик, нежный, как у святой, с коей тесно он был соединен братской возвышеннейшей связью, я подумал, что в иные времена эти черты, наверное, бывали решительными и жесткими. К примеру, когда в 1311 году Венский собор своей декреталией Exivi de paradiso сместил руководителей францисканского ордена, преследовавших спиритуалов, но в то же время потребовал от последних смиренного подчинения ордену. И тогда Убертин (воплощенное самоотречение!) не принял хитрого компромисса и восстал, требуя учредить независимый орден спиритуалов – «мужей духа» – с максимально суровым уставом. Отважный боец, он проиграл свою битву, ибо именно в те годы Иоанн XXII предпринял крестовый поход на последователей Петра Иоанна Оливи (к которым некогда сам принадлежал), разгромив общины Нарбонны и Безье. Но Убертин бестрепетно выступил против папы, защищая память друга. Папа же, по великой святости Убертина, не посмел отдать его под суд – хотя соратников истребил. Более того, в создавшемся положении папа даже действовал во спасение Убертина, сперва рекомендовав, а после приказав ему войти в клюнийский монастырь. Убертин, который при всей своей хрупкости и беззащитности умудрялся находить единомышленников и покровителей везде, в том числе при папском дворе, для виду согласился вступить в Геймблахскую обитель во Фландрии, однако, по-моему, ни разу там и не показался, а остался в Авиньоне, под прикрытием кардинала Орсини, – защищать интересы францисканцев.

Однако в последнее время возникли слухи, будто звезда его при дворе закатилась и он бежал из Авиньона, а папа объявил розыск этого неукротимого гневливца как еретика, «векую шаташеся». Но следы его, по тем же слухам, потерялись. Из сегодняшнего разговора Вильгельма с настоятелем я понял) что прославленный Убертин укрывается в здешнем аббатстве. И вот сейчас я видел его воочию.

«Вильгельм, – говорил тем временем старик, – они хотели меня убить, знаешь? Я убежал от них ночью».

«Кто хотел твоей смерти? Иоанн?»

«Нет. Иоанн никогда меня не любил, но чтил всегда. Это ведь именно он десять лет назад спас меня от суда, заставив поступить к бенедиктинцам. Так всем врагам заткнули рты. Но долго они злословили обо мне, издевались: вот-де, поборник бедности, а входит в богатейший орден, живет на хлебах кардинала Орсини… Ты-то знаешь, Вильгельм, что для меня все их земные блага. Но только таким образом я мог быть в Авиньоне и помогать собратьям. Папа боится Орсини, он и волоса бы моего не тронул. Еще три года назад он доверял мне посольство к арагонскому королю…»

«Так кто же преследовал тебя?»

«Все. Курия. Дважды пытались меня убить. Чтоб я замолчал. Ты ведь знаешь, что было пять лет назад. За два года до того осудили нарбоннских бегинов, после чего Беренгар Таллони, хоть и был судьею на том процессе, обратился к папе с воззванием. Время было плохое. Иоанн выпустил две буллы против спиритуалов, и даже Михаил Цезенский сдался. Кстати, когда ты его ждешь?»

«Он будет здесь через два дня».

«Михаил… Давно я его не видел. Сейчас он думает иначе. Он понял, чего мы тогда хотели. Перуджийский капитул поддержал нас. Но это сейчас. А тогда, в 1318 году, он поддался папе и уступил ему пятерых спиритуалов из Прованса, отказавшихся подчиниться францисканскому чину. Их сожгли, Вильгельм… Ох, какой ужас…» – Старик закрыл лицо руками.

«Но все-таки что же произошло после воззвания Таллони?» – спросил Вильгельм.

«Иоанну пришлось снова объявить дискуссию, понимаешь? Он был вынужден. Потому что колеблющиеся были даже в курии. Даже куриальные францисканцы, эти фарисеи, гробы

повапленные, готовые продаться за пребенду[*], – даже они тогда сомневались. И Иоанн велел мне составить записку о бедности. Это была хорошая записка, Вильгельм, да не накажет Господь меня за гордыню…»

«Я читал, Михаил мне показывал».

«Сомневающихся было много. И среди наших тоже. Провинциал Аквитании, кардинал Сан Витале, епископ Каффский…»

«Идиот», – сказал Вильгельм.

«Да покоится в мире. Господь прибрал его два года назад».

«Не был Господь так милостив. Это ложный слух, идущий из Константинополя. Болван Каффа до сих пор с нами и, скорее всего, явится сюда с делегацией, спаси Господь и помилуй наши души».

«Но он за Перуджийский капитул», – сказал Убертин.

«Вот именно. Он принадлежит к тому роду людей, которые – просто находка для неприятеля».

«Честно сказать, – заметил Убертин, – он и тогда не слишком помог нашему делу. И вообще все кончилось ничем. Но все-таки идею не признали еретической, и это немаловажно. Вот чего они мне не могли простить. Вредили как могли. Говорили, что я был в Саксенгаузене три года назад, когда Людовик объявил Иоанна еретиком. При том что всем известно, что я в июле был в Авиньоне у Орсини… Говорили, что в декларации императора использованы мои идеи. Безумные домыслы…»

«Ничего безумного, – сказал Вильгельм. – Эти идеи подсказал императору я, почерпнув их частью из твоей Авиньонской декларации, частью из Оливи».

«Ты? – воскликнул Убертин со смешанным выражением недоверия и радости. – Так ты считаешь, что я прав?»

Вильгельм, похоже, смутился. «Это были подходящие идеи для императора в тот момент», – уклончиво пробормотал он.

Убертин смотрел с подозрением. «А-а, значит, на самом деле ты в них не поверил?»

«Рассказывай дальше, – сказал Вильгельм. – Расскажи, как ты спасся от этих сук».

«Ох, Вильгельм, и вправду суки, бешеные суки. Пришлось биться с самим Бонаграцией, понимаешь?»

«Но Бонаграция Бергамский за нас!»

«Теперь! После того как я с ним столько говорил! Только после этого он дал себя убедить и выступил против Ad conditorem canonum. А папа отправил его на год в тюрьму».

«Я слышал, что ныне он сблизился с моим другом, живущим при курии, с Вильгельмом Оккамским».

«Я его знаю. Он мне не нравится. Холодный человек, только голова, нет сердца».

«Но голова хорошая».

«Возможно. И заведет его в ад».

«Там мы с ним увидимся и будет с кем устроить логический диспут».

«Замолчи, Вильгельм, – перебил Убертин, улыбаясь с бесконечной нежностью. – Ты лучше всех твоих философов. Если б еще ты хотел…»

«Чего?»

«Помнишь, мы виделись в последний раз в Умбрии? Помнишь? Я тогда воскресал от моих недугов благодаря заботам этой дивной женщины… Клары из Монтефалько… – При ее имени лицо старика просияло. – Клара… Когда женское естество, от природы злопакостнейшее, воспаряет к святости – вот тогда может собой явить высочайшее средоточие благостыни. Ты-то знаешь, Вильгельм, что вся моя жизнь одушевлена чистейшим целомудрием, ты-то знаешь, – и

конвульсивно схватил Вильгельма за руку, – знаешь, с какой свирепой (да, верное слово!), свирепой страстью к смирению я умерщвлял в себе трепет плоти, дабы стать проводником единственного чувства, любви к Христу Распятому… И все же три женщины вошли в мою жизнь как истинные посланницы небесных сил. Ангела из Фолиньо, Маргарита из Кастелло (она предвосхитила завершение моей книги, когда я еще не написал и трети) и, наконец, Клара Монтефалькская. Счастливым промыслом Божиим именно я был назначен расследовать ее чудеса. И я убеждал толпу в их святости еще до того, как на это отважилась матерь пресвятая церковь. А ведь ты был рядом, Вильгельм, и мог бы помочь в святейшем подвиге, но не захотел…»

«Святейший подвиг, к которому ты призывал, – это отправить на костер Бентивенгу, Джакомо и Джованнуччьо», – невозмутимо вставил Вильгельм.

«Они сквернили собственной низостью ее память. А ты был инквизитор».

«И именно тогда попросил освободить меня от должности. Эта история мне не понравилась. Не нравится, честно сказать, и способ, которым ты заставил Бентивенгу признаться в его заблуждениях. Прикинулся, будто хочешь вступить в его секту, – еще неизвестно, была ли секта, – вызнал все тайны, и его посадили».

«Но так и обращаются с врагами церкви! Они еретики, лжеапостолы, смердят Дольчиновою серой!»

«Они друзья Клары».

«Нет, Вильгельм, память Клары оставь в покое!»

«Но они из ее группы…»

«Они минориты, звавшие себя мужами духа – а надо бы их звать публичными братьями! А известно тебе, что выяснилось на следствии? Что Бентивенга из Губбио выдавал себя за апостола и вместе с Джованнуччьо из Беваньи совращал монахинь, убеждая, будто ада не существует и позывы плоти можно удовлетворять, не гневя бога, и будто можно причаститься Тела Христова, возлегши (силы небесные, не прогневайтесь!) с монахиней, и что будто Господу предпочтительнее Магдалина, нежели девственная Агнесса, и будто кого зовут в народе бесом, это и есть Господь, так как бес – мудрость и Господь – также мудрость! Блаженная же Клара, наслушавшись их таковых речей, имела видение, и сам Спаситель оповестил ее, что они злонамеренные приверженцы Свободного Духа!»

«Они были минориты, и мозг их был воспален теми же виденьями, что у Клары. Часто от экстатического исступления до греховного один шаг», – сказал Вильгельм.

Убертин заломил руки, в глазах его показались слезы: «Не говори так, Вильгельм. Можно ли смешивать миг экстатической любви, обжигающий нутро фимиамом, с распущенностью чувств, от коих воняет серой! Бентивенга наущал братьев, чтоб трогали нагие части тел, утверждая, будто этим добывается свобода от чувственного соблазна: наг муж с нагою женою возлег…»

«Иже друг друга не познаста…»

«Вздор! Они искали сладострастия! И когда плоть одолевала, они за грех не считали для ея успокоения мужчине лечь с женщиною и друг друга лобызать во все места, и соединять его нагое лоно с ея нагим лоном!»

Должен сказать, что убертинова манера обличения навела меня не на праведные мысли. Учитель, наверное, заметил мое беспокойство и прервал старца.

«Ты равно горяч духом, Убертин, как в любви Христовой, так и в неприятии зла. Я только хотел сказать, что мало чем отличается жар Серафимов от жара Люцифера, ибо и тот, и другой воспаляются в невыносимом напряжении желания…»

«Нет, разница есть, и я ее чувствую! – вдохновенно отвечал Убертин. – Ты скажешь, что и

от вожделения добра до вожделения зла один шаг: оба суть вожделения. Это неоспоримо. Однако есть великая разница в предмете вожделения, он легко различим. Тут Господь, там диавол».

«Боюсь, что я разучился различать, Убертин. Не твоя ли Ангела из Фолиньо, когда рассказывала о восторге у гроба Господня, описала, как сперва поцеловала его в перси, и видит – лежит он смеживши очи; потом в уста поцеловала и ощутила, что исходит от тех уст невыразимый сладостный запах, а через некоторое время приложилась ланитой к ланите Христовой, и Христос поднес ладонь к другой ее ланите и крепко прижал к себе, и в этот миг ее радость – так, кажется, она выразилась – достигла предела?»

«При чем это к чувственной похоти? – сказал Убертин. – Это мистическое испытание, а тело было телом Господа нашего».

«Видно, я слишком привык к Оксфорду, – сказал Вильгельм. – Там мистические испытания выглядели несколько иначе».

«Опять все шло от головы?» – усмехнулся Убертин.

«Скорее от очей. Господь является в виде сияния. Его видят в солнечных лучах, в зеркальных отражениях, в растворении цвета среди частиц упорядоченной материи, в блеске дневного света на мокрой листве. Разве такая любовь не ближе к проповеди Франциска, возлюбившего Господа во всех его тварях, в цветах, в травах, в воде, в воздухе? Не думаю я, чтоб такое чувство могло привести к опасным последствиям. А вот любовь, которая идет ко Всевышнему от содроганий возбужденной плоти…»

«Святотатствуешь, Вильгельм! Я говорил не о том! Неизмерима пропасть меж возвышенным экстазом любви к казненному Иисусу и низменным, развратным экстазом лжеапостолов монтефалькских…»

«Не лжеапостолов, а братьев Свободного Духа. Ты же сам сказал».

«Какая разница! Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел предать гласности некоторые их признания – дабы ни на миг не опоганить тенью диавольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал такое, Вильгельм, такое! Они сходились по ночам в подземелье, брали новорожденного младенца и друг другу его бросали, пока он не погибал от ушибов… или от чего иного… и кому он доставался живым последнему, и в чьих руках испускал дух, тот становился главарем секты… А тело младенчика, растерзав, замешивали в тесто, чтобы готовить святотатственные просфоры!»

«Убертин, – решительно оборвал Вильгельм. – Все это говорилось много столетий назад об армянах-епископах и о секте павликиан… И о богомилах…»

«Ну и что? Нечистый туп, ходит кругами, спустя тысячелетия повторяет все те же козни и соблазны, он всегда себе подобен, оттого и признан повсеместно врагом! Клянусь тебе, в пасхальную ночь они палили свечи и водили в подземелье девушек. Потом свечи гасили и бросались на девушек, даже на тех, с кем были связаны кровными узами… И, если от соития рождалось дитя, снова заводили адское радение, ставши кругом полной винной чаши, потиром у них зовомой. Упивались допьяна, и резали ребеночка на части, и лили кровь в чашу, и детей еще живыми кидали в огонь, а после мешали останки детские с детскою кровью и упивались».

«Но это описано Михаилом Пселлом[*] в трактате о хитростях бесов триста лет назад! Кто тебе все это рассказывал?»

«Они сами, Бентивенга с прочими, и под пыткой!»

«Одна вещь на свете возбуждает животных сильнее, чем наслаждение. И это боль. Под пыткой ты как бы во власти одуревающих трав. Все, о чем ты слышал и читал, оживает в памяти, и ты будто переносишься душой – если не в рай, то в ад. Под пыткой ты скажешь не только все, чего хочет следователь, но еще и все, что, по-твоему, могло бы доставить ему удовольствие. Ибо

между вами устанавливается связь, и эта-то связь, думаю, действительно дьявольская… Я все это хорошо изучил, Убертин, ведь и я был среди тех, кто рассчитывает добыть истину каленым железом. Но запомни, что накал истины – иной, от иного пламени. Бентивенга под пыткой мог болтать любую несуразицу, потому что в тот миг говорил не он, а его сладострастие, говорили бесы его души…»

«Сладострастие?»

«Да, есть сладострастие боли, так же как сладострастие веры и даже сладострастие смирения. Если ангелам-бунтовщикам столь немногого хватило, чтоб огнь обожания и смирения стал в них огнем гордыни и бунта, что говорить о слабом роде человеческом? Ну вот, я рассказал тебе, какие мысли смущали меня при ведении следствия. Из-за них я отказался от должности. Не хватало духу преследовать слабости грешников, коль скоро у них те же слабости, что у святых».

Последнюю речь Вильгельма Убертин слушал, будто не слыша. По его лицу, исполненному искреннего и сердечного сочувствия, я понял, что он считает Вильгельма жертвой самых опасных заблуждений, но прощает, потому что очень его любит. Прервав собеседника, он сказал с горечью: «Ладно, неважно. Если были подобные мысли – хорошо, что бросил. С искушением надо бороться. Но без твоей поддержки мне пришлось туго. Вдвоем мы разгромили бы эту банду. А так – ты ведь знаешь, чем кончилось? Меня самого заподозрили в слабости к подсудимым и предъявили обвинение в еретической деятельности… А ведь речь могла идти и о твоей слабости, Вильгельм. Ты оказался слаб, не смог сразиться со злом. Зло, Вильгельм, зло повсюду… Когда избавимся от этой напасти, этой мрази, этой грязи, не дающей пить из самых чистых источников? – Он ближе пододвинулся к Вильгельму, будто опасаясь, что кто-то услышит. – Даже здесь, в святых стенах, назначенных лишь молитвам… Ты уже знаешь?»

«Знаю, Аббат ко мне обращался и просил пролить свет на эту тайну».

«Коли так – вынюхивай, выведывай, выглядывай рысьим взором, ищи две причины – сладострастие и гордыню».

«Сладострастие?»

«Сладострастие. Было что-то… от женщины, а значит – от дьявола в этом юноше, который умер. Глаза, как у девицы, вожделеющей сношения с инкубом. К тому же здесь и гордыня, гордыня ума; здесь, в этом монастыре, где все подчинено поклонению слову, похвальбе мнимой мудростью…»

«Если что-то знаешь, скажи».

«Нет, не знаю. У меня нет фактов. Но бывают вещи, которые чуешь сердцем. Спроси свое сердце, вслушайся в лица, речей не слушай… А впрочем, мы так долго говорим о мрачных вещах, совсем замучили нашего юного друга. – Он взглянул на меня своими синими глазами, поднял руку и длинными белыми пальцами дотронулся до моей щеки. Я инстинктивно дернул головой, но вовремя удержался, и правильно сделал, потому что мог обидеть старика, между тем как побуждения его были чисты. – Лучше расскажи о себе, – обратился он к Вильгельму. – Что ты делал все это время? Прошло…»

«Восемнадцать лет. Я вернулся в свои земли. Снова учился в Оксфорде. Изучал природу…»

«Природа – добро, раз она порождение Господа», – сказал Убертин.

«Господь должен быть добр, раз он породил природу, – улыбнулся Вильгельм. – Я много работал, встречался с учеными. Потом познакомился с Марсилием. Меня привлекли его соображения о власти, о народе, его проект нового законодательства для всех государств земли; и так я примкнул к группе членов нашего ордена – советников императора. Но все это тебе известно из моих писем. Я был просто счастлив, когда в Боббио мне сообщили, что ты здесь. Мы-то боялись, что потеряли тебя… А теперь, поскольку ты с нами, ты сможешь во многом нам помочь через несколько дней, когда появится Михаил. Драка будет сильная».

«Мало что я смогу прибавить к тому, что говорил пять лет назад в Авиньоне. Кто будет с Михаилом?»

«Несколько человек от Перуджийского капитула, Арнальд Аквитанский, Хьюго Ньюкасл…»

«Кто?» – переспросил Убертин.

«Гугон из Новокастро. Прости, не могу избавиться от родного языка, даже когда стараюсь говорить на правильной латыни. Затем Вильгельм Алнуик. Из авиньонских же францисканцев люди, на которых можно рассчитывать, – это дурак Иероним Каффа и еще, наверное, Беренгар Таллони и Бонаграция Бергамский».

«На все воля Божья, – сказал Убертин. – Эти последние не слишком-то рвутся ссориться с папой. А кто будет защищать позиции курии – я имею в виду, из жесткосердых?»

«Судя по имеющимся у меня письмам, приедет Лаврентий Декоалькон».

«Вредный человек».

«Иоанн д'Анно…»

«Этот хитер в богословии, имей в виду».

«Будем иметь в виду. И, наконец, Иоанн де Бон».

«Сразу сцепится с Беренгаром Таллони».

«Да, вот я и думаю, что мы повеселимся», – отвечал учитель в отменном расположении духа. Убертин глядел на него с улыбкой изумления.

«Не разберу, когда вы, англичане, говорите серьезно. Ничего веселого в этом деле я не вижу. Решается вопрос существования ордена. Твоего ордена, Вильгельм, а в глубине души до сих пор и моего… И все-таки я решил умолять Михаила не ездить в Авиньон. Иоанн подозрительно настойчив – зазывает его, просит, приглашает. Нельзя верить этому подлому французу. О Господи Пресвятый, в чьи руки попала твоя церковь! – И он обернулся к алтарю. – Блудницею заделалась, размякла в роскошествах, угрелась в похоти, как змея в тепле! От святой наготы вифлеемских яслей, от чистоты крестного древа – lignum vitae – к вакханалии злата и каменьев, ты видел, и здесь все то же, видел ты портал? Куда деваться от наглого великолепия этих образов? И вот наконец подходят антихристовы сроки, и я боюсь, Вильгельм! – И он озирался, заглядывая расширенными глазами в глубь темных нефов, как будто антихрист мог оттуда показаться с минуты на минуту, и я невольно ощутил, что сам готовлюсь к этой встрече. – Наместники его явились, им подосланные, как рассылал апостолов Христос по всему свету! И попирают Град Божий, и обольщают своими прелестями, лицемерят и насильничают. Настал черед Господу выслать рабов своих Илию и Еноха, которых еще живыми поместил к себе в земной рай, чтоб они пришли и рассеяли силу Антихриста. И придут они пророчить в покаянных рясах и станут проповедовать покаяние словом и примером…»

«Они уже тут, Убертин», – сказал Вильгельм, показывая на свою францисканскую рясу.

«Но не победили еще, и в некий час Антихрист в ярости своей велит умертвить и Еноха, и Илию, дабы каждый мог видеть их трупы и, видя, страшился бы вторить их примеру. Так и меня чуть не убили…»

Тут я ужаснулся, подумав, что Убертин охвачен какой-то божественной горячкой, и убоялся за его разум. Ныне же, когда минули года и мне известно то, что мне известно, а именно – что спустя несколько лет он был убит в одном немецком городе при невыясненных обстоятельствах и так и не узналось, кем, – я снова леденею от ужаса, так как вижу, что в тот вечер Убертин прорицал.

«Знаешь, аббат Иоахим сказал правду. Мы подошли к шестой эре истории человечества, и теперь явятся два Антихриста, мистический и истинный, и это случится теперь, в шестую эпоху, после того как был Франциск, пресуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса.

Бонифаций был мистическим Антихристом, отречение Целестина недействительно, Бонифаций се и есть зверь из моря выходящий, чьи семь голов – это семь оскорблений смертным грехам, а десять рогов, се хуление десяти заповедям, а кардиналы ему споспешествовавшие, се саранча, а плотью он – Аполлон! Число же зверя, если сочтешь по греческим литерам, – Бенедикт! – Он посмотрел, проверяя, хорошо ли я понял, и предостерегающе воздел перст. – Бенедикт XI и был истинным Антихристом, зверем восходящим от земли! И Господь допустил, чтобы этот выродок, воплощение порока и безнравственности, правил святою церковью! Лишь ради того, чтобы достоинства его преемника ослепили бы мир!»

«Но святой отче, – пролепетал я, набравшись духу, – ведь его преемник Иоанн!»

Убертин провел рукой по лбу, как бы отгоняя предательский сон. Он задыхался, глядел мутно. «Вот именно. Мы ошиблись в расчетах. Ангелический папа все еще ожидается. Но приходили Франциск с Домиником. – Он завел очи кверху и прочитал нараспев, как молитву (однако я был уверен, что читает он какую-то страницу из своей великой книги о крестном древе): – Первый явленный, серафическим счетом произнесенный, жаром небес уязвленный, огнем пылал… Следом за ним идущий, истинной святости слово несущий, свет в мир излил… Да, таковы были предвестия, и должен прийти ангелический папа».

«Да будет так, Убертин, – отвечал Вильгельм. – А я обязан позаботиться, как бы покуда не прогнали правителя земного. Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин…»

«Не поминай этого змия! – взвыл Убертин, и я впервые увидел, как он меняется, из благостного становится буйным. – Он опоганил учение Иоахима Калабрийского, превратил в грязь, смертью чреватую! Сущий прислужник Антихриста, самый что ни на есть! А ты, Вильгельм, говоришь все это, потому что на самом деле не веришь в антихристово пришествие, это твои оксфордские наставники научили тебя обожествлять разум, иссушив пророческий дар в твоем сердце!»

«Ты ошибаешься, Убертин, – отвечал Вильгельм очень серьезно. – Ты ведь знаешь, что из всех учителей самый мною почитаемый – Рогир Бэкон…»

«Любивший поговорить о летающих машинах», – язвительно вставил Убертин.

«Предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рогир учил, что есть только один способ укрепиться ввиду прихода врага: изучать тайны природы, приобретать знания ради исправления человечества. Можно готовиться к приходу Антихриста изучая целебные достоинства трав, свойства камней, даже выдумывая летающие устройства, которые тебя так смешат».

«Твоему Бэкону Антихрист – это только предлог, чтобы пестовать гордыню разума».

«Святой предлог».

«То, что нуждается в предлоге, не свято. Вильгельм, ты знаешь, как я люблю тебя. Знаешь, как я полагаюсь на тебя. Укроти разум, научись оплакивать язвы и муки Господа! Выбрось книги!»

«Все выброшу, кроме твоей», – улыбнулся Вильгельм в ответ. Убертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем. – «Глупый англичанин. Не слишком смейся над себе подобными. Над теми, кого не можешь любить, также не смейся: лучше их бойся. И поосторожнее в этом аббатстве. Оно мне не нравится».

«Да, я как раз собирался получше его рассмотреть, – ответил Вильгельм, направляясь вон. – Идем, Адсон».

«Говорю: здесь опасно, а ты собираешься рассматривать… Ох, Вильгельм!» – крикнул вслед Убертин, неодобрительно качая головой.

«Кстати, – добавил Вильгельм уже из середины нефа, – что это за монах: смахивает на животное и говорит по-вавилонски?»

«Сальватор? – обернулся Убертин, уже ставший на колени. – Он, можно сказать, мой подарок этому монастырю. Так же как и келарь. Расставаясь с францисканской рясою, я ненадолго посетил свою прежнюю обитель в Казале, где в то время несколько монахов попали в неприятное положение: братия заподозрила, что они – спиритуалы из моей секты. Так во всяком случае они выразились. Я постарался защитить монахов и добился для них разрешения последовать моему примеру. В прошлом году приезжаю сюда и вижу двоих из них: Сальватора и Ремигия. Сальватор… Он действительно похож на скотину. Но услужлив».

Вильгельм, поколебавшись, сказал: «Я слышал от него “всепокайтеся”…»

Убертин молчал. Потом махнул рукой, отгоняя назойливую мысль: «Да нет, вряд ли. Ты ведь знаешь этих мирских братьев. Темная деревенщина. Наслушались какого-нибудь бродячего проповедника и повторяют без понятия. Сальватора есть в чем упрекнуть. Он прожорливая похотливая тварь. Но по части благонадежности вне подозрений. Нет, Вильгельм, беда этого монастыря в ином: не в тех, кто ничего не знает, а в тех, кто знает слишком много. Среди них и ищи. И не воздвигай крепость подозрений на услышанном слове».

«Это не в моих правилах, – ответил Вильгельм, – я и из инквизиторов ушел, чтобы не делать этого. Но вообще-то слушать слова мне интересно. И думать о них».

«Слишком ты много думаешь. Юноша, – обратился Убертин ко мне, – не подражай учителю в дурном примере. Единственное, о чем стоит думать, как я убедился под конец жизни, – это о смерти. В смерти нам покой готов, завершенье всех трудов. Дайте мне помолиться».

Первого дня
ПЕРЕД ЧАСОМ ДЕВЯТЫМ,

где Вильгельм ведет учёнейший диалог с травщиком Северином

Мы снова пересекли центральный неф и вышли из-под портала на улицу. Все сказанное Убертином, все его слова до сих пор грохотали у меня в голове.

«Он такой человек… Странный…» – осмелился я заметить Вильгельму.

«Он во многих отношениях великий человек – во всяком случае, был… От этого и странность. Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными. Убертин мог бы быть одним из тех еретиков, которых сжег на костре. А мог бы – кардиналом святейшей римской церкви. И был, заметь, на волосок от обоих извращений. Когда я говорю с Убертином, мне кажется, будто ад – это рай, увиденный с обратной стороны».

Я не понял, что он хочет сказать, и переспросил: «С какой стороны?»

«В том-то и дело, – грустно покачал головой Вильгельм. – Прежде всего требуется установить, существуют ли стороны и существует ли целое… Да не слушай ты меня. И не смотри больше на этот портал, – добавил он, сопровождая последние слова легким подзатыльником, ибо я изо всех сил вывернул шею, не в силах оторваться от поразивших меня скульптур у входа. – На сегодня тебя достаточно напугали. Все кто мог».

Возвратив голову в естественное положение, я увидел пред собой нового монаха. Этот был одних лет с Вильгельмом. Он с улыбкой поздоровался и представился: Северин из Сант’Эммерано, монастырский травщик, ведающий купальнями, больницей и огородом. И если нам угоден сопровождающий по монастырскому хозяйству, он к нашим услугам.

Вильгельм сказал спасибо и добавил, что при въезде в аббатство заметил прекрасные грядки, занятые, по всей видимости, не только под съедобные, но и под лекарственные растения, – насколько удалось разглядеть под снегом.

«Летом или весною, когда всякий злак неповторимым соцветием изукрашен, сей огород дивным разнообразием много звонче восславляет Создателя, – отозвался Северин сокрушенным голосом. – Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям видит, что произрастает, и убеждается, что этот огород богаче, чем любые гербарии, и цветистей, чем лучшие в них миниатюры. Да к тому же разные добрые злаки растут и зимой, а иные я высаживаю в горшки и держу в лаборатории. В изобилии следует иметь корневища кислицы – они помогают от катаров, а отвар корешков шалфея идет на припарки от кожных болезней; лапушник выводит экзему, молотые и тертые отростки змеевика, или горлеца, хороши от поноса и женских недугов; дикий овес – прекрасное пищеварительное средство, мать-и-мачеха лечит горло; выращиваем мы и отличную горечавку для пищеварения, и глицирису, и можжевельник – варим можжевеловый настой. Из коры бузины готовим печеночный взвар. Мыльнянка – ее корни толчем в холодной воде, помогает от воспалений. Кроме того, мы выращиваем валериану, добрые свойства коей вам известны».

«Разные травы требуют разного климата. Как же вам удается…»

«С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа, расположившего наши угодья на гребне гор так, что посевы на южном склоне, обращенном к морю, получают много теплого воздуха, а те, что на северном склоне, глядят на более высокую лесистую гору, которая и прикрывает их и поит древесными бальзамами. С другой же стороны, я обязан ухищрениям

искусства, коего сподобился, недостойный, от добрых учителей. Ибо некоторые травы растут и в неудобном климате, если хорошо подготовить почву, правильно подкармливать и ухаживать».

«А есть тут травы, которые только едят?» – спросил я.

«Мой милый проголодавшийся жеребенок, запомни, что нет съедобных растений, которые не служат для врачевания. Важно соблюдать меру. От злоупотреблений болеют. Возьми тыкву. Она из влажной и холодной стихий, утоляет жажду. Но если объешься, будет понос, и придется сжимать кишки горчицей, растертой с рассолом. А луковицы? Состоя из теплой и влажной стихий, они потворствуют соитию… Разумеется, это для тех, кто не связан нашими обетами. Нам же лук тяжелит голову, с чем боремся молоком и уксусом. Вот из каких причин, – хитро добавил монах, – молодому иноку лучше в луке себя ограничить. Ешь чеснок. Сухой и горячий, он защитит от ядов. Но не излишествуй, ибо этот овощ сосет из мозга много гуморов. Фасоль гонит мочу и наращивает полноту, оба действия прекрасны для здоровья. Хотя от фасоли дурные сны… Но не такие опасные, как от иных трав, нагоняющих сонную одурь…»

«А что это за травы?» – спросил я.

«Ха, ха, наш маленький послушник слишком любопытен. Нет уж, к этому позволено прикасаться только травщику. Иначе каждый сможет вызывать видения и дурить людей зельями».

«Да достаточно пожевать крапивное семя, страстоцвет или масличник, чтоб защититься от силы сонных трав. Полагаю, в аббатстве выращиваются и эти необходимые злаки?» – сказал Вильгельм.

Северин искоса посмотрел на него. «Ты занимаешься гербаристикой?»

«Очень немного, – скромно отвечал Вильгельм. – Прочел несколько разрозненных книг… “Театр целительства” Абубхасима Бальдахского…»

«Бальдах Абул Гасан аль Мухтар ибн Ботлан».

«Он же, если угодно, Эллукасим Элимиттар. Интересно, отыщется ли здесь экземпляр…»

«Отыщется, и превосходный. Со множеством замечательных рисунков».

«Хвала небесам. А “Достоинства трав” Платеария?»

«Это тоже есть. И еще “О быльях” и “О растительном” Аристотеля в переводе Альфреда Сарешельского».

«Я слыхал, что на самом деле это не Аристотель, – заметил Вильгельм. – Точно так же, как, по всей видимости, не Аристотелю принадлежит “О причинах”».

«В любом случае это великая книга», – отвечал Северин, и учитель подтвердил с горячностью, даже не осведомляясь, какого труда касается высказывание – «О растительном» или «О причинах». Я же впервые услыхал как о первом, так и о втором, однако из их беседы сделал вывод, что оба сочинения надо знать и уважать.

«Я буду несказанно рад, – сказал на это Северин, – как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно».

«А мне еще полезнее, – сказал Вильгельм, – но мы нарушим правило молчания – основное в уставе ордена…»

«Устав, – отвечал Северин, – в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение и не поощрял изучения. А между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее. Устав требует общей спальни. Однако мы считаем, что монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью. Потому у каждого особая келья. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручными работами, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с собратьями. Но поскольку аббатство прежде всего сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знания. Поэтому

беседа, споспешествующая изучению предметов, считается законной и полезной. Если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений».

«А ты часто говорил с Адельмом Отрантским?» – внезапно спросил Вильгельм.

Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, Аббат уже рассказал, – промолвил он. – Нет. С ним я говорил не часто. Он был занят миниатюрами. Но я слышал, как он говорил с другими монахами, с Венанцием Сальвемексским и с Хорхе Бургосским, о работе. Я-то целыми днями не в скриптории, а у себя», – и указал на здание лечебницы.

«Так, – сказал Вильгельм. – Следовательно, ты не знаешь, были ли у Адельма видения».

«Видения?»

«Видения, какие случаются, например, от твоих трав».

Северин произнес каменным колосом: «Я сказал, что опасные зелья под охраной».

«Не об этом речь, – продолжал Вильгельм. – Я спрашиваю о видениях».

«Не понимаю вопроса», – упрямо ответил Северин.

«Я подумал, что монах, бродящий по Храмине ночью… А там, по допущению Аббата, могут происходить вещи… губительные для тех, кто приходит в запретный час… вот я и говорю, что подумал: а не явились ли ему дьявольские видения, сбросившие его в пропасть?»

«Я уже сказал, что в скрипторий не хожу – только если нужны какие-нибудь книги. Но большинство гербариев держу при больнице. И я уже сказал, что Адельм был очень близок с Хорхе, с Венанцием… и… разумеется, с Беренгаром…»

Даже я уловил в голосе Северина замешательство, не ускользнувшее, конечно, и от учителя: «С Беренгаром? А почему разумеется?»

«Беренгар Арундельский – помощник библиотекаря. Ну, они однолетки, вместе послушествовали… и, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду».

«Значит, ты это имел в виду», – повторил Вильгельм. Я удивился, что он не задает дальнейших вопросов. Более того, он резко переменил разговор. – «Надо бы побывать в Храмине. Проводишь нас?»

«Охотно», – ответил Северин с видимым, слишком видимым облегчением. И повел нас в обход огородов к западному фасаду Храмины.

«С огородов прямой вход в поварню, – пояснил он. – Однако поварня занимает только западную половину первого этажа, в остальной половине – трапезная. А из южных дверей, к которым ведет дорожка вокруг хора церкви, можно попасть сразу и в поварню, и в трапезную. Но мы пойдем тут: из кухни в трапезную есть и внутренняя дверь».

Вступивши в просторную кухню, я сразу заметил, что по середине всей постройки, с первого до последнего этажа, проходит восьмиугольный колодезь, образующий в самом низу восьмиугольный внутренний двор; как я понял впоследствии, ходов в этот колодезь не существовало, а на каждом этаже были пробиты такие же высокие окна, как и в наружных стенах Храмины. Кухня являла собой огромное зачаженное пространство, где уже копошилось там и сям с десяток служек, раскладывавших кушанья для вечери. Двое на огромном столе чистили зелень, чтобы приправить ячменную, овсяную и ржаную каши, крошили репу, салат, редиску и морковь. Рядом с ними другой какой-то повар возился с рыбами, сваренными в разбавленном вине; он намазывал их соусом из шалфея, петрушки и тимьяна, чеснока, перца и соли.

Огромный хлебный очаг у дальней стенки западной башни полыхал рыжеватым огнем. В башне, глядевшей на юг, тоже топилась печь. В ее громадном устье кипятились кастрюли, повертывались вертела. В эту самую минуту распахнулись другие двери, выходившие на ток позади церкви, и скотники через них стали втаскивать туши свежезаколотых свиней. Мы прошли

в эти распахнутые двери и оказались на току, на восточной окраине подворья, под стеною, вдоль которой цепью вытянулись службы. Северин показал нам, что левее всего расположена свалка навоза, далее идут конюшни, за ними – стойла, птичий двор и крытый загон для овец. Возле выгребной канавы свинари размешивали в огромном чане кровь заколотых свиней. Если сразу же ее хорошенько промешать, как нам объяснили, она может сохраняться свежей на этом прохладном воздухе несколько дней, и потом из нее можно будет приготовить кровяные колбасы.

Воротившись в Храмину, мы двинулись в противоположную сторону и, войдя в дверь трапезной, едва успели окинуть ее взглядом, так как сразу же свернули на лестницу, начинавшуюся от восточной башни. Внутренность двух башен, примыкавших к монастырской трапезной, была устроена так: в северной располагался громадный камин, в восточной – винтовая лестница, приводившая в скрипторий, то есть на второй этаж. Тут ежедневно подымались монахи на работу. Можно было, как выяснилось, подняться туда и по двум меньшим лестницам, не таким просторным, как восточная, зато проходившим в самых прогреваемых местах – за камином и за кухонной печью.

Вильгельм спросил, найдем ли мы кого-нибудь наверху в скриптории, несмотря на воскресный день. Северин, улыбаясь, ответил, что работа для монаха-бенедиктинца – это та же молитва. В воскресенья все службы протекают немного долее, чем в будни, но монахи, приставленные к книжному делу, все равно проводят сколько-то часов в читальне, преимущественно отдаваясь душеполезному обмену учеными наблюдениями, советами, размышлениями над Святым Писанием.

Первого дня
ПОСЛЕ ЧАСА ДЕВЯТОГО,

где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста

Поднимаясь, я заметил, что учитель осматривает окна лестницы. Я, наверное, становился не менее наблюдателен, чем он, так как сразу определил, что подобраться к ним почти невозможно. В то же время окна трапезной, единственные в первом этаже выходившие на откос, казались недоступными, учитывая, что высокой мебели под ними не было.

Лестница кончилась. Повернув снова, мы вступили в скрипторий из северной башни, и я вскрикнул от восхищения. Второй этаж не был разгорожен, как нижний, и открывался взору во всей поместительности. Гнутые вольты, не слишком большие (меньшие, чем в церкви, но более высокие, чем в любой виденной мною капитулярной зале), укрепленные мощными пилястрами, замыкали пространство, залитое изумительным светом от трех огромных окон в каждой большой стене и от малых окошек в каждой из пяти граней каждой угловой башни. Еще восемь вытянутых высоких окон, выходивших во внутренний восьмиугольный колодец, давали дополнительное освещение.

Благодаря изобилию окон все громадное помещение выглядело веселым. Свет поступал со всех сторон, не было ни теней, ни полумрака, хотя серый зимний день уже близился к своему закату. Стекла в окнах были не цветные, как это делают в церквах; здесь свинцовыми переплетами удерживались квадраты совершенно прозрачного стекла, чтобы свет в эту залу проходил без всяких примесей, не преображенный человеческими ухищрениями, и служил своей главной цели – озарять работу чтения и письма. Не однажды приводилось мне осматривать скрипторий, но ни в одном из них столь блистательно не представало мне в переливах физического сияния, заставлявших все кругом себя светиться и сверкать, то духовное начало, олицетворяемое стихией света – claritas, которое есть кладезь любой красоты и любой премудрости и неотъемлемое качество той гармонии, которая показывалась во всех пропорциях залы. Ибо три условия должны сойтись для нарождения красоты: прежде всего целокупность, сиречь совершенство, и потому мы считаем уродливыми незавершенные вещи; далее, достойная пропорциональность, сиречь соразмерность; и, наконец, яркость и светлота, и поэтому мы считаем красивыми вещи ясных цветов. И поскольку созерцание красоты доставляет покой в душу, а для нашей души едино, предаваться ли покою, добру или красоте, я и ощутил в душе своей величайшее успокоение и подумал, до чего, должно быть, приятно заниматься в таком чудеснейшем месте.

В тот послеполуденный час оно представало пред моими очами как некая дивная кузня всезнания. Впоследствии я посетил в Сан-Галло скрипторий похожего вида, и так же обособленный от библиотеки (в других монастырях пишущие трудились в комнатах, где сохранялись и книги), но не столь необыкновенно удобно устроенный, как этот. Антиквары, библиотекари, рубрикаторы и изыскатели сидели каждый у собственного стола, по одному столу под каждым из окон. И поелику тех окон было ровно сорок (число истинного совершенства, рождаемое удесятерением квадрата, как если бы десять заповедей учетверялись четырьмя основными добродетелями), четыре десятка монахов могли бы под ними союзно трудиться, хотя в миг нашего появления их и сидело не более тридцати. Северин разъяснил нам, что монахи,

посылаемые в скрипторий, освобождаются от богослужения третьего, шестого и девятого часа, дабы не вынуждаться прерывать свою работу в светлое время суток, и покидают они скрипторий только на закате, перед вечерей.

Самые светлые места были отданы антикварам, лучшим миниатюристам, рубрикаторам и переписчикам. На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк. У писцов под рукою, на гребнях покатых столешниц, были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернила и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках.

Но не было возможности вникнуть в их работу, потому что навстречу спешил библиотекарь – как мы уже знали, Малахия Гильдесгеймский. Он явно хотел выказать радушие, но я поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок, и при редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он шагал, окутанный черным орденским платьем, в его фигуре было что-то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На лице лежал отпечаток страстей, по-видимому усмиренных усилием воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так пристально, что, мнилось, проницали душу собеседника, читая тайные помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупиться, спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза.

Библиотекарь представил нам работавших. О каждом Малахия рассказывал, над чем тот трудится, и я с восторгом находил во всех глубочайшую преданность науке и познанию слова Божия. Так мы познакомились с Венанцием Сальвемекским, переводчиком с греческого и арабского, приверженцем того самого Аристотеля, который несомненно был и будет великомудрейшим во человецех. С Бенцием из Упсалы, юным скандинавом, знатоком риторики. С Беренгаром Арундельским, помощником библиотекаря. С Имаросом Александрийским – переписчиком книг, получаемых библиотекой на несколько месяцев из других мест. А также с миниатюристами из разных стран: с Патрицием Клонмакнойзским, Рабаном Толедским, Магном Ионским, Вальдом Герефордским.

Я мог бы продолжить этот перечень, о, всего на свете привлекательнее перечень в своей неизъяснимой наглядности! Но нужно передать беседу, так как в ходе ее частично объяснилось смутное беспокойство, ощущаемое всеми, и наметилось нечто невысказанное, но подразумевавшееся в речах.

Сперва учитель похвалил Малахии красоту и удобство скриптория и спросил о порядке пользования книгами, ибо – осторожно пояснил он – слышав множество похвал этой библиотеке, сам мечтал осмотреть ее сокровища. На это Малахия повторил то же, что мы слышали от настоятеля: что монахи просят у библиотекаря необходимые книги, а тот приносит их сверху из хранилища – если находит запрос обоснованным и благочестивым. Вильгельм спросил, как же узнать названия книг, хранящихся наверху, и Малахия указал на толстый прикованный золотой цепью к его столу кодекс, исписанный дробными столбцами.

Вильгельм сунул руки в рясу на груди, где она складывалась в некое подобие сумки, и вынул вещь, которую я в дороге уже видел и в руках у него, и на носу. Это была рогатка, приспособленная сидеть на носу у человека (в особенности на таком крупном, орлином носу, как имел учитель) – в точности как сидит всадник на коне и птица на жердочке. На концах рогатки, так чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждое с донце стакана. Читая, Вильгельм вздевал это на нос и заверял, что видит значительно лучше, нежели позволяют природное зрение

и преклонный возраст, особенно когда дневное светило склоняется к закату. Эта снасть помогала видеть не вдаль (вдаль он и без нее видел превосходно), а вблизь, благодаря чему он мог читать самый мелкий почерк, такой, что даже я затруднялся разбирать. Он объяснил, что каждый из людей, пройдя до половины жизнь земную, даже тот, кто был знаменит отменною зоркостию ока, ощущает, что зрение его отупело и зрачки разучились прилаживаться к рассматриваемому предмету, отчего многие ученейшие мужи, проводив пятидесятую весну, считай что умерли для чтения и письма. Суровая казнь мудрецам, которые, не будь того, долгие бы еще годы являли миру цвет своей учености. И потому надо возблагодарить Господа за то, что открыт и сделан чудеснейший снаряд. Тем самым, добавлял Вильгельм, оправдывается убеждение столь почитаемого им Рогира Бэкона, что одна из задач науки – продление человечьего века.

Монахи следили за Вильгельмом с любопытством, хотя расспрашивать не решались. Однако было ясно, что даже тут, среди людей, посвятивших жизнь чтению и письму, о замечательном изобретении пока не слыхивали. И я с гордостью подумал, до чего приятно сопровождать человека, способного поразить столь многознающих, прославленных во всем мире мужей.

Уставив против глаз свой снаряд, Вильгельм склонился к кодексу. Заглянул в списки и я, и взору открылись названия как совершенно неведомых книг, так и известнейших – всех имевшихся в библиотеке.

«“О звезде Соломоновой”, “Искусство изъяснения на еврейском языке и постижения оного”, “О свойствах металлов” Рогира Герефордского, “Алгебра” аль-Хорезми[*], переложенная на латынь Робертом Англом, “Пунические войны” Сильвия Италика, “Деяния франков”, “Хвала святому кресту” Рабана Мавра, “Флавия Клавдия Иордана о возрасте мира и человечества, с расположением по литерам и книгам, от A до Z”, – читал учитель. – Великолепные труды. Но каков порядок их размещения? – И он наизусть повторил отрывок из неизвестного мне, но явно знакомого Малахии руководства: – “Смотрителю ж имать память накопленных писаний из их толка и из их творца, отставляя всякий толк особо и прилагая ко всякому творению памятное клеймо”. Как иначе находить их на полках?»

Малахия ткнул пальцем в цифирь, проставленную сбоку от каждого названиями: «iii, IV уровень, V в первой греков; ii, V уровень, VII в третьей англов», и так далее. Я догадался, что первая цифра обозначает положение книги на полке, полка определяется по второй цифре, по третьей – шкап, а словами, по-видимому, обозначены комнаты или коридоры книгохранилища. И тут же решил расспросить поподробнее об этих последних таинственных обозначениях. Малахия глянул на меня сурово: «Вы либо не слыхали, либо не запомнили, что вход в библиотеку дозволен только библиотекарю. А посему достаточно и даже необходимо, чтоб библиотекарь один разбирался в этой цифири».

«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке? – спросил Вильгельм. – По-моему, не предметный. О расположении по заглавным буквам имен авторов, в порядке алфавита, речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось».

«История библиотеки уходит в глубь веков, – отвечал Малахия. – И с давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем».

«Очень трудно искать», – заметил Вильгельм.

«Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда она поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке. Но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу знания.

«Понятно, – сказал на это Вильгельм. – Значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом пятиугольнике, вы указываете мне название – к примеру, то, которое мы только что видели в списке, – а затем, сверившись с цифирью, приносите книгу из хранилища».

«Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой, – отвечал Малахия. – Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение Аббата».

«Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов, – сказал тогда Вильгельм, – недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы?»

«Адельм Отрантский, – нехотя ответил Малахия, в упор разглядывая Вильгельма, – допускался, по незрелости лет, только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов странные и невиданные, как те, кто сращивает человечье тулово с головою коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался».

Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы Псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячьей кожи – дивного, царственного пергамента. Последний, неоконченный, до сих пор был прибит к столешнице. Вылощенный пемзой, умягченный мелом, растянутый на станке, он был наколот по краю мельчайшими дырочками-вешками, направляющими руку мастера.

На половине листа, заполненной текстом, художник разметил по полям контуры рисунков. Взглянув на другие, уже готовые листы, мы с Вильгельмом ахнули. На полях Псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку. Будто в преддверии речи, которая по определению речь самой Истины, – велся иной рассказ, с той Истиною крепко увязанный намеками in aenigmate[24], лукавый рассказ о мире вверх тормашками, где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человечьими руками, вывернутыми на спину, головы, ощетинившиеся ногами, зебровидные драконы, существа со змеиными шеями, заплетенными в тысячу невозможных узлов, обезьяны с рогами оленя, перепончатокрылые сирены, безрукие люди, у которых на спине, как горбы, растут другие люди, и тела с зубастыми ртами пониже пупа, и люди с конскими головами, и кони с человечьими ногами, и рыбы с птичьими крылами, и птицы с рыбьими хвостами, и однотелые двуглавые чудища, и двутелые одноглавые; коровы с петушьими хвостами, с мотылевыми крылами, жены с лицами чешуйчатыми, словно рыбьи бока; двухголовые химеры, породненные с ящеричьемордыми стрекозами, кентавры, драконы, слоны, мантихоры, ластоноги, растянувшиеся на древесных ветвях, грифоны, из хвостов которых выходили лучники в боевом вооружении, адские исчадья с нескончаемыми шеями, вереницы человекоподобного скота и звероподобного люда, семейки карл – и тут же помещались, с ними на одной странице, картины сельского хозяйства, где с дивной живостью изображался, так что можно было поверить в те фигурки как в живые, весь труд крестьянина: и полевая страда, и пахота, и сбор, и косьба, и сучение шерсти, и сев; а среди всего этого хозяйства лисы и белодушки, вооружась самострелами, брали приступом многобашенные обезьяньи города. Где-то буквица инициала сверху образовывала L, снизу оканчивалась драконьим задом; где-то заглавная V, открывавшая слово «Verba», пускала около себя, как виноград пускает лозы, тысячекольцых змей, от которых в свою очередь почковались новые ползучие гады, как от веток почкуются новые грозди и побеги.

Сбоку от Псалтири лежал, по-видимому, завершенный совсем недавно, драгоценнейший часослов невероятно малого размера, такой, что я поместил бы его на ладони руки. Мельчайшие записи и маргинальные рисунки с первого взгляда показывались как будто неразборчивыми, и просились ближе к оку, дабы око, приспособившись, насладилось всей необъятностью их красоты. И ты мог только гадать, каким же сверхчеловеческим орудием художник сумел добиться подобной отчетливости при подобной мелкости изображения. Все поля были

заполнены маломерными фигурками, рождавшимися, как будто чрез обычные природные пути, из изящнейшего охвостья великолепно очерченных литер: морскими сиренами, резвоскачущими оленями, химерами, безрукими человечьими обрубками, которые высовывались повсюду, как червяки, из тесной плоти письма. В каком-то месте, прилепившись прямо к троекратному «Свят, Свят, Свят», повторявшемуся подряд на трех строчках, размещались три звериных туловища о человечьих головах, из которых двое тянулись друг к другу, одно чудище наверх, второе вниз, совокупляясь в поцелуе, который я без колебаний определил бы как непристойный, когда бы не был совершенно уверен, что пускай не очевидное, а укромное, глубинное, но непременно имеется некое духовное содержание сего зрелища, без сомнения оправдывающее и вид его, и расположение на той странице.

Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки смешили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевши, ухмыльнулся и сказал: «Бейбвинами их зовут у меня на островах».

«А галлы – бабуэнами, – отозвался Малахия. – Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во Франции. Бабуины, сиречь африканские обезьяны. Обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе».

У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я не удержавшись прочел:

Alter Wunder si geswigen,
das Herde Himel hât überstigen,
das suit is vür ein Wunder wigen[25].

А Малахия подхватил с той же строки:

Erd ob un Himel unter
das sult ir hân besunder
Vür aller Wunder ein Wunder[26].

«Молодец, – похвалил он меня, – верно, Адсон, это картины краев, куда едут на синей гуске, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами, раки летают на голубицах, три великана сидят в мышеловке, а петух их щиплет да поклевывает».

И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, захохотали во всю глотку, как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились, любуясь работой злосчастного Адсельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозно и гулко прогремело:

«Пустословие и смехотворство неприличны вам!»

Мы оборотились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый как снег, весь белый – не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп. Но голос его сохранял властность, а члены – крепость, хотя спина и сгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения. А по речи казалось, что он обладает и даром прорицания.

«Сей муж, славный годами и ученостию, – сказал Малахия Вильгельму. – Хорхе из Бургоса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттаферратского, и он тот самый, к кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь. – И продолжил,

обратаясь к старцу: – Перед вами брат Вильгельм Баксервильский, гость обители».

«Вы, верю, не прогневались на мой упрек, – отрывисто заговорил старец. – Я услышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правило нашего устава. Ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться даже от добрых речей, и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголет. Подобно дурным речам, существуют дурные образы – те, которые клевещут на творца, представляя созданный им мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда пребудет, во веки веков, до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам». Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях Св. Франциска Ассизского, а может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов – самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости.

«Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания, – отвечал он. – Как в проповедь, чтобы затронуть воображение бессмысленный толпы, надо вводить exempla[27] и желательно потешные, так и в беседе образов не следует пренебрегать подобными дурачествами. На каждую добродетель и на каждый грех есть пример в бестиариях, где под видом зверей показан человеческий мир».

«О да, – перебил его старец без улыбки, – не следует пренебрегать подобными дурачествами! Чтобы перл творения, повернув с ног на голову, выставить посмешищем! Пусть провождает слово Божие осел, играющий на лире, сыч, пашущий щитом, волы, друг друга запрягшие, реки, потекшие вспять, море, огнем горящее, волк, приявший схиму! Травите зайцев коровами, учитесь грамматике у филина, и пусть псы живут на блохах, слепцы подглядывают за немыми, а немые кричат “Дай поесть!”. Пусть стрекоза родит телка, жареный петух по небу летит, на крышах пряники растут, попугаи риторике учат, куры петухов топчут. Впрягайте телегу поперед лошади, кладите собаку на перину и гуляйте все вниз головою! К чему приведут эти шуточки? К искажению образа действительности. Все созданное Творцом поставят с ног на голову, под видом преподавания божественной теории!»

«Но Ареопагит[*] учил, – смиренно возразил Вильгельм, – что Господа должно являть лишь через самые неприглядные вещи. И Гугон Викторинец доказывал, что, чем менее правдоподобно подобие, тем четче вырисовывается истина. Встречая страшные и странные личины, воображение оживает, и не расслабляется в плотской благостности, а понуждается искать истины, сокрытые под мерзостью вида…»

«Не новый довод! И со стыдом признаю, что он – первейший из доводов нашего ордена в период борьбы клюнийцев с цистерцианцами. Но прав был Св. Бернард: постепенно всякий, кто, собираясь провождать божественность per speculum et in aenidmate, занимается дикими и уродливыми явлениями, – войдет во вкус этого убожества и до того им проникнется, что уже ничего иного не видит. Да взгляните вы, еще не утратившие зрения, на капители вашего собственного храма. – И он ткнул пальцем в сторону окна, выходящего на церковь. – А ведь это рассчитано на братьев, погружающихся в медитацию! Что выражает это непотребное кривлянье, эта сумбурная гармония и гармоничный сумбур? Откуда эти обезьяны? Эти львы, кентавры, недочеловеки со ртом на брюхе, с одной ногою, с парусами вместо ушей? Зачем тут пятнистые тигры, воюющие бойцы, охотники, трубящие в рог, и многотелые существа об одной голове, и многоголовые об одном тулове? Четвероногие змеехвостые, и рыбы с головой четвероногого, и чудище, которое передом лошадь, а задом козел, и конь с рогами, и далее в подобном роде, так что теперь монаху интереснее глядеть на мрамор, чем в манускрипт, и размышлять он будет о человечьей искусности, а не о всемогуществе Божьем. Стыд, стыд вожделеющим очам и улыбке ваших уст!»

Чудный старец умолк, тяжело дыша. А я не мог надивиться острой памяти, которая ему, столько уж лет незрячему, так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел, – если и через столько лет он с такою страстью описывает их. С другой стороны, я встречал и прежде самые соблазнительные картины греха в писаниях именно тех людей, которые, славны неподкупнейшей добродетелью, клеймили соблазн и последствия его. Доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине до того пламенная, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими Зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их к козням нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с обезьянами, которых я в первой раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно:

«Господь, наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплакиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вещно отображать. И дошел до самого дна, повторяю, – голос Хорхе зазвучал торжественно и жутко, – до самого дна нравственного падения. Но Господь умеет карать!»

Повисла тяжкая тишина. Венанций Сальвемекский осмелился вмешаться.

«Достопочтенный Хорхе, – сказал он. – Добродетель внушила вам пристрастные суждения. Ведь за два дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученейшем диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге: нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется во славу Господню, на благо познания божественных тайн? Брат Вильгельм тут цитировал Ареопагита о познании через уродство. А Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа – доктора Аквинского – о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому, что легче уберечься от ошибки. Ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь на земле, куда Он является чрез то, что не Он, несравненно чаще, чем чрез то, что есть Он. Подобие Божие в самых далеких от Него вещах с наибольшей точностью нам Его указует, и так мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны сказать и помыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину чрез необыкновенные, остроумные и загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет…»

«Не помню, – сухо прервал его Хорхе. – Я очень стар. Не помню. Возможно, я был слишком резок. Теперь поздно, пора идти».

«Странно, как это вы не помните, – не отступался Венанций. – Это был ученейший и увлекательнейший спор, и в нем участвовали, кроме нас, Бенций и Беренгар. Речь шла о метафорах, словесных играх и загадках, которые, можно бы подумать, изобретаются пиитами только ради забавы – но которые способствуют судить о предметах новым, удивительным образом. Тогда я сказал, что это-то и требуется от мудрого суждения… И Малахия слышал…»

«Если преподобный Хорхе не помнит, уважь его года, не терзай утомленный ум… впрочем, острейший и поныне…» – вмешался кто-то из толпы, окружавшей спорящих. Голос звучал очень взволнованно, по крайней мере вначале, но, видимо, говоривший заметил, что, требуя уважать старика, публично указывает на его немощь, – и умерил пыл, а закончил и вовсе покаянным шепотом. Это был Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Молодой, бледнокожий;

глядя на него, я припомнил, что Убертин сказал об Адсельме. У этого тоже были глаза блудливой женщины. Смущенный всеобщими взглядами, он стиснул пальцы рук, как бы пытаясь подавить сильнейшее нервное возбуждение.

Венанций повел себя довольно странно. Молча и пристально он глядел на Беренгара, пока тот не потупился. «Так вот, брат, – сказал он тогда, – коли память дар Божий, от Бога и умение забывать, которое придется уважить… в престарелом собрате, с которым я спорил. Но от твоей-то памяти я ждал большей живости. Ибо речь идет о том, что произошло здесь в присутствии твоего дражайшего приятеля…»

Не припомню, сделал ли Венанций особое ударение на слове «дражайший». Но в любом случае присутствующими овладело замешательство. Все старались не смотреть друг на друга, а особенно на Беренгара, покрасневшего до ушей. В тот же миг прозвучал властный голос Малахии. «Идемте, брат Вильгельм, – сказал он. – Я покажу вам другие интересные книги».

Монахи расходились. Я видел, как Беренгар метнул на Венанция взгляд, полный немого упрека, а тот ответил яростным вызывающим взглядом. Видя, что старый Хорхе готовится уйти, я нагнулся и в порыве почтительнейшего восхищения поцеловал его руку. Старец наложил мне длань на голову и спросил, кто я. Услышав мое имя, он просветлел.

«Ты носишь гордое и равное имя, – сказал он. – Знаешь, кто такой Адсон из Монтье-ан-Дера?» Сознаюсь, что в ту пору я не знал. И Хорхе пояснил: «Это автор дивного устрашающего сочинения “Об Антихристе”, в коем предсказано все, чему суждено случиться. Но к нему не пожелали прислушаться…»

«Книга была написана до тысячного года, – сказал Вильгельм, – но в тысячном году ничего не произошло».

«На взгляд того, кто не умеет видеть, – ответил слепой. – Пути Антихриста медлительны и дики. Он тогда является, когда не предчувствуем его. И не апостол ошибался, а мы, не нашедшие ключа к расчету». И вдруг закричал громовым голосом, обернувшись к залу и раскатывая гулкое эхо под высокими вольтами скриптория: «Вот идет он! Не теряйте последние дни в зубоскальстве над пятнистыми хвостатыми уродами! Не тратьте последние семь дней!»

Первого дня
ВЕЧЕРНЯ,

где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и острастке для тех, кто слишком любит читать

Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы. Малахия дал нам понять, что должны выйти и мы. Он же оставался с помощником, с Беренгаром, чтобы прибрать и (как он выразился) подготовить библиотеку к ночи. Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери.

«У нас нет дверей, преграждающих доступ в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище из скриптория. Крепче любых дверей обязан быть запрет настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще два часа, до повечерия. Засим, дабы случайно не забрели в Храмину посторонний человек, либо животное (те, для кого запрета не существует), я самолично запираю нижние входы, ведущие в трапезную и в кухню. С этой минуты в Храмину войти нельзя».

Мы спустились. Монахи спешили к церкви. Но учитель сказал, что Господь простит нас, даже если мы пропустим богослужение (немало Ему пришлось нам прощать и в последующие дни!), а взамен предложил мне прогуляться с ним по обители, чтобы лучше исследовать местность.

Мы вышли из кухни, пересекли кладбище. Среди надгробий видны были и совсем свежие, и старинные, отмеченные печатью времени: немая повесть о жизни тех, кто был тут в монашестве в прошлые столетия. Все гробницы были безымянные, венчались каменными крестами.

Погода начинала портиться. Подымался холодный ветер. Небо туманилось. С трудом угадывалось место солнечного заката где-то за огородами, и почти полная темнота уже стояла в стороне востока, куда мы и направились, минуя церковный хор, и вышли на самую далекую от въездных ворот площадку. Там почти под самой крепостной оградой, вплотную прижимаясь к ней в том месте, где она перерастала в восточную башню Храмины, располагались хлевы. Около них свинари кончали вымешивать кровь и укрывали бочку крышкой. Нам сразу бросилось в глаза, что за хлевами крепостная стена резко понижается, так что через нее можно наклонить голову. По ту сторону стены почва стремительно уходила вниз, и где-то в глубине обрыва виднелась площадка, заваленная мусором, который и снегом укрывался не целиком, так что весь был на виду. Я понял, что под нами та самая выгребная яма, в которую с этого уступа стены вываливают отбросы и которая простирается вплоть до памятной развилины дорожек, откуда ответвляется тропа, увлекшая Гнедка. Я назвал эту свалку выгребной ямой потому, что в основном она состояла из груд смердящих выделений, зловоние от которых, невзирая на глубину обрыва, доходило даже до моего носа; как я понял, поселяне из нижних деревень брали отсюда навоз для удобрений. Однако наряду с испражнениями людей и животных в яме было достаточно много и твердых отходов: сюда сваливались, по-видимому, все отмиравшие ткани, все нечистоты, которые аббатство исторгало из чрева, оставаясь в чистоте и опрятности, соблюдая дивный союз с овершием горы и с непорочными небесами.

Неподалеку, на конюшне, работники подводили коней к яслям. Мы прошли из конца в конец дорожку, вдоль которой с внешней стороны тянулись скотный и птичий дворы, а по другую руку – пристроенные к хору почивальни и рядом отхожие места. Там, где восточная

стена оканчивалась и образовывала угол, встречаясь с южной, в самом углу площадки, находилась кузня. Последние работники укладывали вещи на места, тушили горны, собираясь к вечерне. Вильгельм, полный любопытства, устремился к кузне, где в отгороженном спереди покое какой-то монах укладывал свое добро. Перед ним на прилавке располагалась целая выставка чудесных цветных стекол, хотя и довольно мелких; но широкие необработанные пластины тех же цветов стояли рядом, у стены. Стояла перед монахом и недоделанная рака, то есть пока что серебряный остов раки, но кое-где были уже вставлены стеклышки и цветные камни, обточенные в виде перлов.

Так мы познакомились с Николаем из Моримунды, монастырским витражным мастером. Он рассказал нам, что в задней половине кузни выдувают и стекло, а здесь, в передней, кузнецы оковывают стекла свинцом для витражной работы. Хотя, добавил он, основная витражная работа, украшающая собою и церковь, и Храмину, выполнена уже давно – тому не менее двух столетий. Теперь все сводится к починкам, к исправлению зол, причиняемых временем.

«Но сил уходит немало, – продолжал он, – потому что нам не даются секреты старого стекла. Невозможно подобрать цвет. Особенно тот синий, который до сих пор очаровывает взор в церковном хоре. Это синий такой чистоты, что отвесный луч солнца, проходя через стекло, окрашивается в краски рая. Стекла в западном приделе, замененные недавно, гораздо худшего качества, и летом это заметно. Куда там! – заключил он. – Ушло умение наших предков, окончился век великанов!»

«Да, мы карлики, – согласился Вильгельм, – но стоящие на плечах тех гигантов… Поэтому, даже при нашей малости, видим дальше, чем они…»

«Да? В чем же мы их опередили? Чего они не сумели? – воскликнул Николай. – Сойди в крипту нашей монастырской церкви, где содержатся сокровища, и увидишь там раки такой тончайшей работы, что это страшилище, которое я сейчас с великим старанием собираю, – и махнул на незаконченный ковчежец, – покажется обезьяной тех!»

«Нигде не писано, что мастера-стекольщики обязаны до скончания времен клепать витражи и оклады, коль скоро предки умели делать их намного лучше и так надежно, чтоб продержалось несколько столетий. Надо ли наводнять землю ковчегами для святых мощей, если святые в наше время встречаются очень редко? – улыбнулся Вильгельм. – И надо ли без конца возиться с витражами? В иных странах я видал такие стекольные работы, которые говорят уже о завтрашнем дне. Скоро при помощи стекла станут не только отправлять обряды, но и исправлять природу. Хочу показать тебе творение, уже обращающееся среди умельцев, коего превосходный образец имеется и в моем хозяйстве». Он сунул руку в рясу и извлек на свет свои глазные стекла, при виде которых наш собеседник остолбенел.

Почти мгновенно глазной снаряд оказался в руках Николая. «Oculi de vitro cum capsula[28]! – воскликнул он. – Я слышал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана! Он говорил, что такой прибор был изобретен за двадцать лет до того. И еще прошло не менее двадцати лет…»

«Полагаю, что их изобрели намного раньше, – сказал Вильгельм. – Но изготовление их трудоемко, и требуются очень опытные стекольщики. Долгое, кропотливое дело. Десять лет назад одна пара таких вот vitrei ab oculis ad legendum[29] шла с торга в Болонье за шесть сольдов. А мне подарил такую же пару знаменитый мастер Сальвин из Армати, уже больше десяти лет назад, и все эти годы я берег их как зеницу ока… Впрочем, теперь они и впрямь у меня вместо зеницы».

«Может быть, ты как-нибудь на днях сможешь ненадолго их мне одолжить? Очень хочется понять устройство… Попробовать сделать похожее…» – сказал Николай.

«Конечно, дам, – отвечал Вильгельм. – Но имей в виду, что толщина стекол для каждых глаз требуется особая, и обычно берут много пар обточенных стекол, и заказчик пробует все по

очереди, пока не подберет подходящие».

«Чудеса! – не утихал Николай. – Кое-кто, конечно, заподозрил бы тут сделку с дьяволом…»

«Можно, конечно, говорить и о магии, – согласился Вильгельм. – Только магии есть два вида. Есть магия от лукавого, применяющая для погибели человечества такие средства, о которых опасно даже упоминать. И есть магия божественная, в коей небесная премудрость проявляется через премудрость человеческую и прилагается к преобразованию природы, а одна из главных ее задач – удлинить самое человеческую жизнь. Эта магия святая, и она должна привлекать мудрецов чем дальше, тем сильнее; и не только открытие новых тайн мироздания ожидает их, но и переоткрытие тех тайн, которые милостью Божией известны уже давным-давно евреям, грекам и прочим древним народам, а в нынешние дни известны язычникам (не могу и передать тебе, какое множество необыкновенных оптических ухищрений и закономерностей зрения показано в книгах, написанных неверными!). Всеми этими познаниями обязана завладеть христианская наука, вызволив от язычников и нехристей, яко владетелей несправедливых».

«Но почему же те христиане, которые уже овладели премудростями, не делятся ими со всем народом Божиим?»

«Потому что не все в народе Божием готовы к восприятию премудростей, и случалось, что носителей науки принимали за ведунов, связанных с нечистой силою, и они платили жизнью за намерение поделиться с людьми сокровищами мысли. Я и сам, когда вел процессы о ведовстве, опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтоб они зачитывали материалы следствия. Ибо в противном случае, поскольку присутствие дьявола чувствовалось всеми, и каждый, так сказать, обонял серную вонь, меня самого могли посчитать сообщником обвиняемых. И в конце концов великий Рогир Бэкон упреждал, что не всегда научные тайны должны открываться любому, так как некоторые способны дурно использовать их. Часто мудрецы выдают за магические самые обыкновенные книги, полные доброй науки, чтоб оберечь их от нескромного любопытства».

«Значит, ты боишься, что простецы могут употребить во зло твои секреты?» – переспросил Николай.

«Что до простецов, я могу бояться лишь, что они до смерти напугаются, приняв открытия науки за козни дьявола, о которых слишком много слышат от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составляющих лекарства от любой хвори. Так вот эти врачи, давая простецам настои и мази, непременно прибавляли священные слова или пение, напоминавшее молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а оттого что простецы, веря в целебность молитв, глотают настои и мажутся мазью и выздоравливают, не очень-то вдумываясь, откуда берется исцеление. Да вдобавок и дух, умягченный верой в спасительное заклятие, располагает тело к приятию целебного препарата. Однако в иных случаях сокровища науки приходится прятать не от простецов, а от ученых. Ныне создаются необыкновенные махины, о коих как-нибудь расскажу, и они действительно позволяют изменять законы природы. Но горе, если попадут в руки тех, кто с их помощью замыслил расширить земную власть и утолить жажду обладания. Мне говорили, что в Китае один мудрец составил смесь, которая, коснувшись к огню, производит великое гудение и пламя, руша все на множество локтей вокруг. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течения рек и избавление пашни от валунов. А вдруг его обратят против врагов?»

«Может быть, и хорошо – если против врагов народа Божия», – степенно произнес Николай.

«Может быть, – согласился Вильгельм. – А кто у нас сейчас враг народа Божия? Император Людовик или папа Иоанн?»

«О Господи! – в страхе вскричал Николай. – Я не в силах ответить на этот ужаснейший вопрос!»

«Видишь? – сказал Вильгельм. – Вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать от козьей или овечьей шкуры. Аристотель в книге о тайном сказал, что от разглашения слишком многих секретов природы и науки ломается небесная печать и может выйти много зол. Это не значит, что тайны нельзя открывать. Но это значит, что мудрецы должны взвешивать и решать – как и когда».

«А потому справедливо, что в таких местах, как наше, – сказал Николай, – не все книги общедоступны».

«Это другое дело, – отвечал Вильгельм. – В грех вводит как избыток сведений, так и их недостаток. Я не говорю, что источники знаний должны быть под замком. Напротив, я считаю это безобразием. Я говорю иное: что, касаясь тайн, способных служить и добру и злу, мудрец может и даже обязан укрывать их за темными словесами, внятными лишь таким, как он. Путь познания труден, и трудно отличить благое от дурного. А ученые новых дней – чаще всего карлики на плечах карликов…»

Приятная беседа с моим учителем, должно быть, расположила Николая к доверительности. Поэтому он мигнул Вильгельму (как бы говоря: мы с тобой друг друга понимаем, ибо думаем одинаково) и произнес с намеком: «А вот там, – кивнув на Храмину, – секреты науки надежно прячут другими способами. Магическими…»

«Да? – отозвался Вильгельм с необыкновенным равнодушием. – Воображаю: запоры, суровые запреты, угрозы…»

«Нет, не только это…»

«А тогда, к примеру, что же?»

«Ну, точно не знаю, я занимаюсь стеклами, а не книгами… Но в аббатстве ходят слухи… такие странные…»

«Какого рода?»

«Странные. Вот, скажем, один монах ночью решил забраться в библиотеку и найти что-то, что Малахия отказывался ему выдать. Он увидал змей, безголовых людей и двухголовцев. Чуть не лишился рассудка там в лабиринте…»

«Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве?»

«Потому что хотя я только бедный стекольщик, но кое-что понимаю. Дьявол (Господи спаси нас и помилуй!) искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне – сладострастными видениями. Далее. Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?»

«По-моему, – заметил Вильгельм, – это неплохой силлогизм».

«И наконец. Когда я чинил витражи в больнице, от скуки заглядывал в книги Северина. Среди них была книга о тайнах, принадлежащая, кажется, Альберту Великому. Я смотрел миниатюры и попутно прочел несколько страниц. Там говорилось, что особым составом можно пропитать фитиль масляной лампы, и пойдут запахи, вызывающие видения. А ты мог заметить – вернее, пока еще ты не мог заметить, потому что не ночевал в аббатстве, – что в темные часы верхний этаж Храмины освещен. В некоторых окнах горит слабый свет. Многие гадали, что бы это значило, и толковали о блуждающих огнях и о душах покойных библиотекарей, возвращающихся по ночам в свое царство. Многие верят. Но мне кажется, это светильники с дурманящим составом. Знаешь, если взять жир собачьего уха и пропитать фитиль – всякий, кто вдохнет дым, уверует, будто у него собачья голова. А увидит другого человека – и того увидит с песьей головою. От иных зелий людям мерещится, что они распухли, как слоны. А из глаз нетопыря и двух рыб, не помню каких, и из волчьей желчи получаются испарения, от коих видишь всех этих тварей. От испарений ящеричьего хвоста все кругом становится как серебряное. А от жира черной гадюки и клочка простыни мертвеца по комнате будто

расползаются змеи. Я догадался. У них в библиотеке кто-то очень хитер…»

«А ты не допускаешь, что это души покойных библиотекарей развели там магию?»

Николай осекся, растерялся и испуганно ответил: «Об этом я не подумал. Все возможно. Господь оборони нас… Уже поздно. Вечерня началась. Прощайте», – и направился к церкви.

Мы двинулись дальше вдоль южной стены обители. По правой руке был странноприимный дом и капитулярная зала с садом, по левой – маслодавильня, мельница, амбар, погреб и общежитие послушников. Все встречные торопились в церковь.

«Что вы думаете о словах Николая?» – спросил я.

«Не знаю. В библиотеке кто-то орудует, и вряд ли это души покойных хранителей».

«Почему?»

«Потому что, полагаю, они были настолько добродетельны, что ныне в царствии небесном предаются созерцанию лика божественности… если подобный ответ тебя устраивает. Что касается ламп, это мы проверим. Что касается смесей, описанных нашим добрым стекольщиком, – существуют и более простые способы вызывать видения, и Северину эти способы, как ты сегодня мог заметить, отлично известны. В общем, кто-то в аббатстве не желает, чтоб в библиотеку ночью проникали, а кто-то другой, и даже многие другие, пытались и пытаются все же туда проникнуть».

«А наше убийство как с этим связано?»

«Убийство? Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Адельм покончил с собой».

«Почему вы так думаете?»

«Помнишь, утром я говорил о свалке отбросов? Когда мы поднимались к восточной башне, я заметил следы оползня. Значит, какой-то пласт почвы примерно в том месте, куда сваливают мусор, тронулся с места и сполз до самой восточной башни. Кроме того, сейчас, когда мы шли мимо свалки, ты должен был заметить, что на ней очень мало снега. Видимо, только вчерашний. А весь снег предшествующих дней снесен бурей. Вдобавок Аббат сказал, что труп Адельма побит о скалы, а под восточной башней, где его нашли, скал нет: там растут пинии. Скалы имеются, напротив, как раз под тем участком стены, где она понижается, образуя ступень, и откуда сбрасывают мусор…»

«И что из этого?»

«Что из этого – подумай сам. Не будет ли, как бы сказать, экономней для разума предположить, что Адельм сам собою, по причинам, которые еще предстоит выяснить, бросился с уступа стены, разбился о скалы и мертвый (или израненный, это неизвестно) попал в кучу мусора? Затем лавина, снесенная ночным ураганом, обрушила участок почвы вместе с мусором и телом бедняги к подножию восточной башни».

«Почему это предположение будет экономнее для разума?»

«Милый Адсон, никогда не следует без особой необходимости множить объяснения и причины. Чтобы Адельму выпасть из окна восточной башни, ему сначала нужно было проникнуть туда. Потом его кто-то долженен был стукнуть, чтоб подавить сопротивление. Потом каким-то способом забраться с безжизненным телом на высокое окно, открыть его и выбросить тело. В то время как для моей гипотезы требуются только Адельм, его намерение и оползень. При этом мы экономим на причинах».

«А зачем ему было кончать с собой?»

«А зачем его было убивать? Объяснение придется искать в обоих случаях. Что оно есть – для меня несомненно. В Храмине пахнет недомолвками, все что-то скрывают. Тем не менее кое-какие указания мы получили, хотя и очень смутные, – на сложные отношения Адельма с Беренгаром. Следовательно, помощником библиотекаря придется заняться».

Пока он рассуждал, вечерня кончилась. Прислуга возвращалась к службам, чтобы до ужина

кончить дела. Монахи шли в трапезную. Стемнело; начинался снегопад. Легкий снег повалил небольшими пушистыми хлопьями, чтоб идти, по-видимому, всю ночь – я так сужу, ибо утром подворье было укутано белейшим покровом, о чем еще предстоит рассказать.

Я проголодался и был доволен, услышав предложение отужинать.

Первого дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе

Трапезная освещалась большими факелами. Монахи сидели вдоль ряда столов, упиравшегося в стол Аббата, поставленный перпендикулярно на просторном возвышении. На другой оконечности была кафедра, где уже разместился монах, читающий за ужином. Аббат ждал нас у рукомойника с белой холстиной, чтоб обтереть руки – точно по древнему завету Св. Пахомия.

Аббат пригласил Вильгельма к своему столу и сказал, что сегодня я, как новоприезжий, удостоюсь той же чести, хотя я только послушник-бенедиктинец. В будущем, с отеческой заботой добавил он, я могу садиться с монахами. А если буду отвлечен заданиями наставника – на кухне меня накормят в любое время.

Монахи поднялись и встали вдоль столов неподвижно, с опущенными на лицо куколями, сложив руки под нарамниками. Встав на место, Аббат прочитал Benedicite [30], следом чтец на кафедре начал Edent pauperes[31]. Аббат благословил братьев, и все уселись.

Правилом нашего основателя предуказан довольно скудный ужин, но аббатам оставлено право решать, в каком именно питании нуждается братия. К тому же у нас, бенедиктинцев, нет строгостей в отношении стола. Я говорю, конечно, не о тех обителях, которые постыдно превратились в прибежища обжорства. Но даже и там, где все подчинено добродетели и покаянию, инокам, погруженным в утомительный умственный труд, полагается не чрезмерный, но основательный рацион. При этом стол аббата всегда отличается от общего. За ним нередко принимают важных гостей, а всякому хозяину приятно похвалиться изобилием стад и угодий и искусством поваров.

Монахи ели, как принято, молча, при необходимости сообщаясь бенедиктинской азбукой пальцев. Послушникам и самым молодым монахам еду подносили первым, сразу за тем как блюда, назначенные и для общего употребления, покидали стол Аббата.

С нами подле Аббата сидели Малахия, келарь и два самых пожилых монаха – Хорхе из Бургоса, слепой старец, которого мы видели в скриптории, и дряхлый-предряхлый Алинард Гроттаферратский, без малого столетний, шепелявый и немощный, и, по-моему, выживший из ума. Аббат сказал, что он и послушание принимал в этом монастыре, и жил всегда в нем, так что провел тут не менее восьмидесяти лет. Все это Аббат говорил вполголоса, а затем вовсе смолк, в уважение орденского правила, и молча слушал чтение. Однако я уже отметил, что за аббатским столом допускались некоторые вольности. И мы сказали несколько слов в одобрение подаваемых блюд, а Аббат в ответ не мог не похвалиться отменным качеством своего масла и вина. При этом, смешивая нам питье, он прочел наизусть те параграфы устава, в которых святой основатель возглашает, что, конечно же, вино монахам невместно, но понеже в наступившие времена нет возможности убедить их вовсе не пить, пусть хотя бы не упиваются, ибо вино способно совратить и праведников, о чем упреждает Екклесиаст. Бенедикт под «наступившими временами» разумел свои, ныне давние невпрогляд. Что уж говорить о поре, в которую был описываемый ужин, при толиком падении нравов! (А о своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю – добро еще что в Мельке предпочитают пиво…) В общем, братия выпивала хотя в меру, но со вкусом.

Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней, и я приметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир и не рапсовое масло, а доброе оливковое, полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы, на морском берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка – того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилась в глаза редкостная вещица у Аббата в руках – металлическая вила, похожая на ту, которая скрепляла учителевы стекла. Благородное воспитание, видно, не позволяло Аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое орудие, хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы Аббат не подумал, что францисканцы люди необразованные и низкого происхождения.

Я до того был рад отменной закуске (после многих дней пути, в котором мы перебивались чем случится), что не следил за чтением, каковое благочинно текло далее. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхе. Я понял, что оно относилось к читаемому на каждой трапезе параграфу правила. Когда я вслушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано: «Уподобимся пророку, сказавшему: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мною, согбен я и весь поник, был нем и безгласен и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздержаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных! Дабы не принять муку за этот грех!» И продолжалось: «Словоплетение же, пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно и не дозволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей».

«Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили! – не удержался Хорхе. – И Иоанном Златоустом сказано, что Христос никогда не смеялся!»

«Ничто в его человечьей натуре ему не мешало, – возразил Вильгельм. – Ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству».

«Хоть и мог, однако не писано, чтоб смеялся», – решительно прервал его Хорхе цитатой из Петра Певца.

«Ешь, жаркое готово», – прошептал Вильгельм.

«Какое?» – спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо.

«Эти слова, по Амвросию, произнес Св. Лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке, и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и Пруденций[*] в “Книге о мученических венцах”, – сказал Вильгельм с самым святым видом. – Следовательно, Св. Лаврентий любил шутку и сам умел шутить – хотя бы чтоб торжествовать над врагами».

«И тем доказывается, что смех – вещь близящая к смерти и к телесному разложению», – прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика.

Тут Аббат незлобиво напомнил нам о правиле. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав его опытность и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных. И всячески помогать следствию, при условии, добавил Аббат, что намерения Вильгельма не пойдут вразрез с уставом монастыря. В каковом случае следует обратиться к нему, Настоятелю.

Отужинав, монахи засобирались в хор к повечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище и потянулись к северному порталу хора.

Мы вышли с Аббатом. «В этот час двери Храмины замыкаются?» – спросил Вильгельм.

«Как только служки уберут в трапезной и на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засов».

«Изнутри? А сам он как выйдет?»

Аббат в упор посмотрел на Вильгельма. Потом сурово и резко ответил: «Спать в кухне он не собирается». И ускорил шаг.

«Вот оно что, – прошептал мне на ухо Вильгельм. – Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул: «Пожалуйста, не хихикай. Видел – в этих стенах смех не жалуют».

Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной, бронзовой, в два человеческих роста треноге. Монахи разместились на седалищах, а чтец читал из Св. Григория.

Потом Аббат дал знак, и каноник завел «Помилуй нас, Господи». Аббат в ответ: «Помощь моя от Господа», и все хором подхватили: «Сотворшего небо и землю». Потом запели псалмы: «Егда воззвати ми, услыши мя, бог правды моей», и: «Возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим», и: «Хвалите, рабы, Господа, хвалите имя Господне».

Мы не проходили в места хора, оставаясь в главном нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни.

«Запомни место, – сказал Вильгельм, – наверное, там ход, ведущий в Храмину».

«Под кладбищем?»

«Почему бы нет? Скорее всего… Если подумать, где-то у них обязательно должно быть мощехранилище. Потому что стольких монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли».

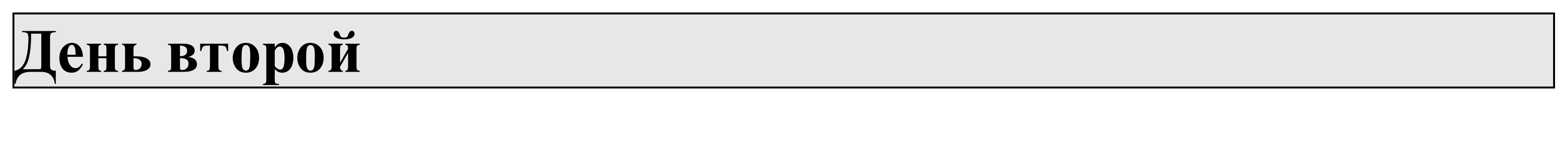
«Вы действительно хотите ночью идти в библиотеку?» – спросил я, леденея от ужаса.

«К покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам… Бедный Адсон. Нет, мальчик, не пойду. Я подумывал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, отчего погиб Адельм. Но теперь, имея, как ты слышал, более логичное объяснение и все взвесив, я решил уважать законы места, где нахожусь».

«Тогда зачем вам ход?»

«Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но верней всего не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, чтоб другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо. А эта библиотека, по-моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают».

С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились в келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм шутя именовал «гробиком», и немедленно заснул.



День второй

Второго дня
ПОЛУНОЩНИЦА,

где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом

Символ порою дьявола, порою Христа распятого, всякой твари лукавее петух. Помнят в нашем ордене и таких, которые ленились петь на заре. К тому же в зимние утра полунощница служится, когда ночь еще глубока и вся натура спит; а монах обязан подниматься в темноте и долго в темноте же творить молитвы, поджидая приход дня и разгоняя морок пламенем искренней веры. Для того есть мудрое правило, чтобы в черед монахи-бодрственники, не ложившись с братией, бдели всю ночь, мерно отчитывая нужное количество псалмов и тем измеряя минувшее время, и по истечении часов, отведенных другим на сон, давали бы знак к пробуждению.

Поэтому мы были разбужены назначенными монахами. Они прошли по корпусам и странноприимному дому с колокольчиками, и один, заглядывая в кельи, возглашал: «Благословим Господа», а из келий отвечали: «Богу благодарение».

Мы с Вильгельмом положили исполнять бенедиктинский обычай, меньше чем в полчаса приготовились встретить новый день и с тем сошли в хор, где монахи, павши ниц, читали первые пятнадцать псалмов в ожидании, пока наставник приведет послушников. Тогда каждый утвердился на своем седалище, и хор завел: «Господи уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу твою». Вопль его полетел к высоким вольтам, как детский плач. Два инока взошли на амвон и начали девяносто четвертый псалом: «Приидите, воспоем Господу», а за оным – следующие по предписанию. И душа моя запылала пламенем обновленной веры.

Монахи застыли на местах: шестьдесят фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями, шестьдесят теней, еле освещенных огнем с треноги, шестьдесят голосов, истово выхваляющих Всевышнего. И изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских услад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, беззаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравомыслия, крепостью познания, поместилищем кротости, оплотом твердости, кадилом святости.

Спев шесть псалмов, читали Писание. Некоторых монахов клонило в сон, в один ночной бодрственник обходил места с маленькой лампадою, ища дремлющих. Кого заставали в полусне, тому в наказание давали лампаду и пускали по рядам вместо прежнего монаха. Затем пропели остальные шесть псалмов. Аббат дал благословение, недельщик прочел молитвы, и все стали на колена перед алтарем. Объявили минуту сосредоточения, и кто не пережил, как мы, часы мистического жара, переполняющего миром всю душу, не может представить неизреченную сладость той минуты. Наконец, опустивши снова куколи, все вернулись на места и торжественно грянули «Te Deum»[32]. И я в великой радости со всеми благодарил Господа за то, что упас меня от колебаний и снял с души тяжесть первого монастырского дня. Мы все нетверды, говорил я себе, и даже в среде столь честных и чистых угодников как эти, дьявол может сеять мелкие обиды и недоброжелательства. Но все это, как дым, уносится могучим порывом веры, когда все сходятся во имя Отца святейшего и благодать Христова почиет на всех.

От полунощницы до утрени монах в келью не возвращается, даже если ночь еще глубока.

Послушники отправились, при наставнике, в капитулярный зал учить псалмы. Одни монахи задержались в церкви для ухода за богослужебной утварью, другие – большинство – вышли во двор и прохаживались в молчаливой медитации. Так же и мы с Вильгельмом. Служки покуда спали и продолжали спать даже тогда, когда мы при темных еще небесах проследовали в церковь к утрене.

Начали псалмами, из коих один, приуроченный к четвергу, звучал так жутко, что я снова погрузился в давешние страхи. Меня испугало, что именно на этот день предуказаны такие суровые слова: «Нечестивый хвалится похотью души своей; в надмении своем пренебрегает Господа; уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком его мучение и пагуба». Трепет беспокойства только усилился, когда после хвалитных псалмов, по уставу, читали Апокалипсис, и в памяти снова возникли фигуры портала, овладевшие накануне и взором моим, и душой. Но вот кончились и респонсорий[*], и гимн, и стихира, и зазвучала евангельская песнь. Тогда я заметил за окнами хора, в точности над алтарем, беловатое сияние. От него затрепетали краски витражей, прежде безжизненные в полночной тени. Это не заря еще была, к заре приурочен час первый, она занимается в тот момент, когда монахи поют: «Господь се предивное сияние святости» и «Взошло уж созвездие света». То был первый робкий проблеск, предчувствие зимней зари, но его было достаточно, чтобы сердце мое снова просветлело. Было совершенно достаточно той нежной полутьмы, которая в нефах собора заместила собою мрачную ночную мглу.

Мы пели из божественной книги, свидетельствовали о Слове, сошедшем просвещать народы, и я будто зреть мог, как дневное светило всем сиянием и жаром заполняет храм. Свечение, пока еще невиданное, казалось мне – исходило от нашей песни, мистический крин раскрывался мне, благовоннейший, между крестовинами вольт. «Благословен, о Господь, за миг сего невыразимого блаженства!» – немо молился я и спрашивал у сердца: «Чего ты, глупое, страшилось?» Внезапно из-за северного портала послышался шум. Я поразился, до чего нагло здешняя челядь, берясь за работу, мешает богослужению. Но трое свинарей с перепуганными лицами вошли в храм и что-то зашептали Аббату. Тот было сделал жест, чтобы они утихли, вероятно не желая нарушать чин. Но показались другие слуги, голоса звучали все громче. «Там мертвец, мертвец!» – крикнул кто-то, а в ответ ему: «Мертвый монах! Ты что, не видел башмаки?»

Певчие смолкли. Аббат поспешил вон, махнув келарю, чтоб следовал за ним. Вильгельм двинулся за келарем, а дальше и другие монахи побросали места и ринулись на улицу.

Небо уже светилось, и от снега, укрывавшего землю, равнина казалась светлее. На задворках хора, перед скотным двором, где вчера вечером установили огромную посудину, полную свиной крови, – какой-то странный предмет, по виду крестообразный, высовывался из бочки, как будто два шеста, воткнутые в землю, на которые вешают тряпье, чтоб пугать ворон. Но то были не шесты, а человеческие ноги. Ноги человека, воткнутого вниз головой в бочку с кровью.

Аббат приказал извлечь из мерзкой жижи труп (поскольку, увы, было ясно, что в таком позорном виде живой человек не пребывал бы). Свинари нерешительно приступили к краю бочки, ухватились за ноги и, перепачкиваясь кровью, выволокли кровавого мертвеца. Как мне вчера и объяснили, свежая кровь, хорошенько промешанная и сразу выставленная на холод, за сутки не свернулась. Но сейчас, на трупе, она стыла мгновенно, сковывая одежду и облепляя непроницаемой коркой голову. Служка принес ведро воды и плеснул на лицо несчастного. Кто-то другой нагнулся с тряпкой и протер лицо. И нашим взорам открылась белая кожа Венанция Сальвемекского, знатока греческих древностей, с которым вчера днем мы беседовали у стола злополучного Адельма.

«Адельм, может быть, и покончил с собой, – проговорил Вильгельм, вглядываясь в лицо

трупа. – Но этот вряд ли. И трудно предположить, что он по ошибке оказался на верху бочки, а потом свалился».

Аббат подошел к Вильгельму. «Брат! Вы видите – в аббатстве что-то происходит. Требуется все ваше умение. Но заклинаю, действуйте быстро!»

«Он был в хоре на службе?» – спросил Вильгельм, кивнув на труп.

«Нет, – ответил Аббат. – Я видел, что его место пустует».

«Кто еще отсутствовал?»

«Никто, по-моему. Я не заметил».

Вильгельм помедлил перед следующим вопросом и задал его шепотом, так, чтоб никто кроме Аббата не слышал: «Беренгар был на месте?»

Аббат посмотрел на него с восхищением и ужасом, всем видом выражая, как он удручен, что и учитель пришел к подозрению, которое возникло было у него самого, однако в силу некоей особой, известной лишь ему причины. И поторопился ответить: «Был. Это точно: его место впереди, справа от меня, почти рядом».

«Разумеется, – сказал Вильгельм, – все это ровно ничего не значит. Думаю, что никто по пути в хор не заходил за апсиду. И, следовательно, труп мог здесь пробыть несколько часов. По меньшей мере с тех пор, как все ушли спать».

«Верно. Первые слуги подымаются засветло. Поэтому нашли его только сейчас».

Вильгельм наклонился над мертвым, как будто исследовать трупы было ему не внове. Намочив в ведре валявшуюся рядом тряпку, он тщательно отер лицо Венанция. Тем временем монахи в ужасе жались друг к другу, бормоча и причитая, пока Аббат не велел им утихнуть. Сквозь толпу протолкался Северин, который в аббатстве обихаживал усопших, и склонился рядом с моим учителем. Чтобы слышать, что они скажут, и подать Вильгельму еще одну чистую мокрую тряпку, я подошел поближе, подавляя отвращение и страх.

«Ты когда-нибудь видел утопленника?» – спросил Вильгельм.

«Не раз, – ответил Северин. – И догадываюсь, что ты хочешь сказать. У них не такой вид. Лицо должно разбухнуть».

«Итак, его бросили в бочку уже мертвым».

«А зачем?»

«А зачем его убили? Все это работа извращенного сознания. Однако прежде всего определим, есть ли на теле раны или ушибы. Предлагаю перенести его в мыльню, раздеть, обмыть и осмотреть. Я скоро к тебе приду».

И в то время как Северин, заручившись соизволением Аббата, следил за скотниками, уносившими тело, учитель попросил Аббата увести монахов в хор той тропой, которой пришли, и таким же образом удалить слуг, чтобы на площади никого не осталось. Аббат не задавал вопросов и все исполнил. И вот мы остались у бочки, из которой при нерадостной процедуре извлечения выплеснулось много крови, и снег там был ал, а местами (где разлилась вода) сошел. На месте трупа виднелось большое темное пятно.

«Хорошенькое дело, – молвил Вильгельм, глядя на путаницу следов, оставленных монахами и слугами. – Снег, любезнейший Адсон, – красноречивый пергамент, на коем тела людей – самые ясные прописи. Но вот этот снег, что перед нами, это невычищенный палимпсест[*]. Тут что-нибудь интересное вряд ли прочтешь. Отсюда и до церкви все затоптано монахами, отсюда до конюшен и хлевов прошелся табун прислуги. Единственный нетронутый участок – от хлевов до Храмины. Посмотрим, может ли там быть что-нибудь интересное».

«А в каком роде?» – спросил я.

«Если он не вскочил сам в бочку, значит, кто-то его туда бросил, предположительно уже мертвого. А тот, кто тащит на себе мертвое тело, должен оставлять в снегу более глубокие

следы. Вот и ищи, не попадутся ли тебе такие следы, которые чем-нибудь отличаются от следов этих крикливых монахов, испортивших нам тут весь рисунок».

Мы и взялись. И скажу с самого начала, что не кто иной, как я (Господи не осуди мою суетность!), именно я обнаружил то, что мы искали между бочкой и Храминой. Это была цепочка следов на участке, куда при нас никто не ступал. Следов довольно глубоких и, как тут же подметил учитель, менее четких, нежели следы монахов и прислуги. Это означало, что они сверху запорошены снегом, а следовательно, что они не очень свежие. Но что было самое примечательное – это глубокая непрерывная рытвина, имевшаяся посередине следов, как будто шедший тащил за собой что-то тяжелое. В общем, весьма красноречивая колея вела к бочке от двери трапезной, от той стены Храмины, которая соединяла южную и восточную башни.

«Трапезная, скрипторий, библиотека, – прошептал Вильгельм. – Библиотека снова. Венанций погиб в Храмине, вероятнее всего в библиотеке».

«Почему именно в библиотеке?»

«Я пытаюсь стать на место убийцы. Если Венанций умирает – его убивают – в трапезной, кухне или скриптории, почему бы его там не оставить? А вот если он испускает дух в библиотеке, его надо обязательно оттуда вынести. Во-первых, потому что там его никогда не найдут (а не исключено, что убийцу это интересует больше всего), во-вторых, потому что убийца, возможно, не хочет привлекать внимание к библиотеке».

«А почему убийце так важно, чтоб его нашли?»

«Не знаю. Все это догадки. Кто сказал, что Венанция убили, потому что хотели убить именно его? Может, его убили вместо любого другого, чтоб оставить знак, чтобы что-то обозначить?»..

«В мире всякое творенье – книга и изображенье… – пробормотал я. – Обозначить что?»

«Этого-то я и не знаю. Но не будем забывать, что существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та…»

«Чудовищно! – вскричал я, – убивать человека, чтобы сказать тра-та-та!»

«Чудовищно, – откликнулся Вильгельм, – убивать человека и чтобы сказать Верую во единаго Бога…»

Тут нас нагнал Северин. Труп вымыли и внимательно обследовали. Ни ран, ни черепных повреждений. Убит как колдовством.

«Или как гневом Божиим?» – переспросил Вильгельм.

«Возможно», – ответил Северин.

«Или как ядом?»

Северин замялся: – «Может, и так».

«Ты держишь яды?» – спросил Вильгельм, направляясь к лечебнице.

«Наверное, да. Смотря что понимать под ядами. Многие вещества в скромных дозах врачуют, а в чрезмерных – вызывают смерть. Как всякий знающий травщик, я держу такие зелья, но использую их осмотрительно. Например, я выращиваю валериану. Несколько ее капель в настое прочих трав усмиряет сильное сердцебиение. Излишняя же доза приводит к оцепенению и смерти».

«На трупе нет следов известных тебе ядов?»

«Нет. Но многие яды не оставляют следов».

Мы вошли в лечебницу. Тело Венанция, вымытое в купальне, было уже перенесено на большой стол в лаборатории Северина. Перегонные кубы и другие стеклянные и глиняные приборы смутно напомнили мне рассказы о мастерских алхимиков. На длинных прилавках вдоль наружной стены стояло множество пузырей, плошек, горшков с разноцветными смесями.

«Отличный выбор лекарств, – сказал Вильгельм. – Все из вашего сада?»

«Нет, – ответил Северин. – Тут многие травы редкие, в наших краях не растут. Уже немало лет мне привозят их монахи из самых дальних стран света. Я стараюсь смешивать редкие и ценные зелья с веществами, которые получаю из здешних трав. Вот смотри. Молотый игольник. Произрастает в Китае, подарен арабским ученым. Сокотрийский алоэ из Индии – дивно затягивает язвы. Серебряк оживляет мертвых, вернее сказать – приводит в чувство обмерших. Мышьяк страшно опасен, при принятии внутрь – смертельный яд. Борная соль хорошо лечит легкие. Трава буквица незаменима при ранении головы. Камедь – смола мастикового дерева – останавливает кровохарканье и истечение мокроты. Мирра…»

«Которая у волхвов?» – спросил я.

«Которая у волхвов. Но она прекрасно предупреждает выкидыши. Еще зовется смирной и получается от дерева, именуемого balsamodendron myrra. А это мумие, продукт разложения мумифицированных трупов. Служит для изготовления множества почти чудотворных препаратов. Mandragola officinalis, способствующая сну…»

«И плотским утехам», – дополнил мой учитель.

«Говорят, что так, но у нас, как вы догадываетесь, в подобных целях не употребляется, – улыбнулся Северин. – А взгляните на это. – Он взялся за склянку: – Кадмий. Незаменим для глаз».

«А это что?» – вдруг оживился Вильгельм, заметив на полке какой-то камень.

«Это? Мне его когда-то подарили. Думаю, это и есть lopris ematiti, он же ляпис-гематит. Надо полагать, обладает целебными свойствами. Но какими, я еще не разобрал. Ты его знаешь?»

«Да, – сказал Вильгельм. – Но не с лечебной стороны».

Он вынул из рясы ножик и поднес к камню. Когда ножик, лежавший на неподвижной ладони, оказался вблизи камня, он резко дернулся, как будто Вильгельм двинул запястьем – но он не двигал, а нож взлетел и приклеился к камню, издав легкий металлический щелчок.

«Видишь, – сказал Вильгельм. – Это магнит».

«А на что он?» – спросил я.

«Годится на многое. Я расскажу. Но сейчас, Северин, мне хотелось бы знать, есть ли тут что-нибудь для убийства людей».

Северин думал с минуту. На мой взгляд, слишком долго для такого простого и ясного ответа, какой воспоследовал. «Есть, и многое. Я же сказал, что граница между лекарством и ядом почти незаметна, греки и то, и другое называли pharmakon».

«А в последнее время отсюда ничего не исчезало?»

Северин опять задумался, потом сказал, взвешивая каждое слово: «Ничего. В последнее время».

«А прежде?»

«Не знаю. Не помню. Я в этом аббатстве тридцать лет, из них двадцать пять при травах».

«Многовато для простой человеческой памяти, – согласился Вильгельм. Затем внезапно: – Мы вчера говорили о дурманящих травах. Это которые?»

Северин и жестами, и мимикой выразил горячее желание избежать этой темы. «Надо подумать. Знаешь, у меня тут столько сильных снадобий… Давай лучше о Венанции. Что ты предполагаешь?»

«Надо подумать», – ответил Вильгельм.

Второго дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский, и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние

Несчастье перевернуло весь распорядок общины. Из-за находки трупа и всеобщей суматохи литургию так и не дослужили. Аббат немедленно отослал монахов обратно в хор молиться за душу убиенного собрата.

Голоса монахов пресекались. Удобная возможность видеть их лица открылась, когда на службе они опустили куколи. Нас тут же привлекло лицо Беренгара. Белое, напряженное, лоснящееся от пота. Накануне нам дважды намекали на его особые отношения с Адельмом, и тревожило нас не сообщение, что молодые люди, ровесники, дружили, а двусмысленный тон всех, кто упоминают об их дружбе.

Рядом с Беренгаром молился Малахия: мрачный, насупленный, непроницаемый. Рядом с Малахией выделялось столь же непроницаемое лицо слепого Хорхе. Напротив того, отличался нервностью весь вид Бенция Упсальского, ученого-риторика, виденного нами вчера в скриптории, и мы перехватили пронзительные взгляды, которые он время от времени бросал на Малахию. «Бенций взволнован, Беренгар напуган, – подытожил Вильгельм. – Допрашивать надо немедленно».

«Почему?» – наивно удивился я.

«Наша работа этим и неприятна, – ответил Вильгельм. – Неприятная работа – следователь. Бить приходится по самым слабым и в момент их наибольшей слабости».

В общем, сразу же по окончании службы мы нагнали Бенция, шедшего в библиотеку. Услышав, что Вильгельм его окликает, юноша попытался увернуться от беседы, сославшись на недоделанное задание. Он почти бежал от нас по направлению скриптория, но учитель напомнил, что уполномочен Аббатом вести в монастыре следствие, и Бенцию пришлось пройти с нами в церковный двор. Мы сели на балюстраде между двумя колоннами. Бенций выжидал, пока Вильгельм заговорит, и поглядывал на Храмину.

«Ну, – сказал Вильгельм. – Что же было сказано в тот день, когда вы обсуждали миниатюры Адельма – ты, Беренгар, Венанций, Малахия и Хорхе?»

«Вы ведь вчера все слышали. Хорхе заявил, что невместно уснащать стихотворными рисунками книги, содержащие истины. А Венанций сказал, что даже у Аристотеля говорится о шутках и словесных играх, как о средствах наилучшего познания истин и что, следовательно, смех не может быть дурным делом, если способствует откровению истин. А Хорхе возразил, что, насколько он помнит, Аристотель пишет об этом предмете в своей книге о Поэтике применительно лишь к метафорам. И что притом имеется два настораживающих обстоятельства. Первое – что книга о Поэтике, остававшаяся – видимо, велением Божиим – столько столетий неведомой христианскому миру, дошла к нам через руки неверных мавров…»

«Но ведь она переведена на латынь одним из друзей ангелического доктора Аквинского», – перебил Вильгельм.

«Вот и я сказал это самое, – ответил Бенций, мгновенно воспряв духом. – Я плохо разбираю по-гречески и смог ознакомиться с данной книгой именно в переводе Вильгельма Мербекского. Это-то я и сказал. Но Хорхе ответил, что есть второе сомнительное обстоятельство: что

Стагирит[*] судит только о поэзии, которая ничтожное искусство, питающееся бренностями. А Венанций сказал, что и псалмы плоды поэзии, и в них использованы метафоры. И тут Хорхе взъярился и сказал, что псалмы рождены божественным вдохновением, и метафоры в них заключают истину, тогда как языческие поэты используют метафоры, чтобы распространять ложь, и заботясь лишь о наслаждении. И тогда я очень огорчился…»

«Отчего?»

«Оттого что я изучаю риторику, читаю язычников и знаю… по крайней мере верю, что чрез их поэзию до нас дошли и многие истины naturaliter[33] христианские. В общем, как раз тогда, если верно помню, Венанций заговорил о других книгах, и Хорхе разгневался еще сильнее».

«О каких книгах?»

Бенций поколебался и ответил: «Не помню. Какая разница».

«Разница большая. Мы пытаемся понять, что происходит у людей, живущих среди книг, в книгах, ради книг, и, следовательно, все, что они говорят о книгах, очень важно…»

«Это верно, – подтвердил Бенций, впервые улыбнувшись и чуть ли не просияв. – Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире. Так вот… может, вы и поймете, что случилось в тот день… Венанций, который прекрасно знает… который прекрасно знал греческий, сказал, что Аристотель нарочно посвятил смеху книгу – вторую книгу своей Поэтики, и что, если философ столь величайший отводит смеху целую книгу, смех, должно быть, – серьезная вещь. Хорхе сказал, что святые отцы часто посвящали целые книги грехам, и что грехи тоже серьезная вещь, но и дурная, а Венанций сказал, что, насколько ему известно, Аристотель говорит о смехе, как о хорошей вещи и проводнике истины, а тогда Хорхе спросил с издевкой, не читал ли он случаем эту книгу Аристотеля. А Венанций ответил, что ее никому не случалось читать, потому что никто ее не видел, так как она, очевидно, не дошла до наших дней. И он прав, никто и никогда не видел второй книги Поэтики Аристотеля. Вильгельм Мербекский и тот не держал ее в руках. А Хорхе сказал, что если она до сих пор не нашлась, значит, она и не была написана, ибо провидению неугодно, чтобы прославлялись вздорные вещи. Я хотел всех успокоить, зная, что Хорхе вспыльчив, а Венанций как бы намеренно его злил. И сказал, что и в известной нам части Поэтики, и в Риторике есть много мудрых наблюдений об остроумных загадках. Венанций со мной согласился. Там с нами был Пацифик из Тиволи, хорошо знающий поэзию язычников, и он сказал, что в смешных загадках никто не сравнится с африканскими поэтами. И прочел загадку о рыбе, сочинение Симфосия:

> Есть на земле обитель, немолчным полная шумом,
> Шумом полна обитель, но вечно молчит обитатель.
> В вечном движенье обитель и в ней, но не с ней обитатель[34].

Тогда Хорхе заявил, что Иисусом положено говорить либо да, либо нет, а прочее от лукавого. И что следует называть рыбку рыбкой, не затуманивая понятия блудливыми словесами. И прибавил, что на его взгляд негоже брать за образец африканцев… и вот тогда…»

«Тогда что?»

«Тогда началось что-то непонятное. Беренгар захохотал, Хорхе сделал ему замечание, а тот ответил, что смеется потому, что знает: если поискать у африканцев, можно найти и другие загадки, потруднее той – с рыбкой. Малахия, бывший тут же, пришел в бешенство, схватил Беренгара чуть ли не за куколь и вытолкал заниматься своими делами… Беренгар, как вам известно, его помощник…»

«А потом?»

«Потом Хорхе прекратил дискуссию, покинув общество. Все разошлись по местам, но я, сидя за работой, видел, как сперва Венанций, а за ним Адельм подходили к Беренгару и что-то выспрашивали. Я видел издалека, как он отрицал, увертывался, но они в течение дня подходили к нему еще не раз. А вечером я заметил, что Беренгар и Адельм сговариваются в церковном дворе, перед тем как идти в трапезную. Вот. Больше я ничего не знаю».

«Значит, ты свидетельствуешь, что два человека, недавно погибшие при невыясненных обстоятельствах, что-то выпытывали у Беренгара», – заключил Вильгельм.

Бенций вяло запротестовал: «Этого я не говорил. Я просто рассказал, что случилось в тот день. Отвечал на ваши вопросы. – Он помолчал, а потом неожиданно добавил: – Но если хотите знать мое мнение – Беренгар рассказывал о чем-то находящемся в библиотеке. Там и ищите».

«Почему ты так думаешь? И что имел в виду Беренгар, говоря “поискать у африканцев”? Может, он хотел сказать, что надо лучше знать африканских поэтов?»

«Допустим. Но тогда с чего бы Малахия так взъелся? В конце концов от него зависит, выдавать книги африканских поэтов или нет. Но я знаю еще вот что. Полистайте каталог. Среди тайных, понятных лишь библиотекарю обозначений найдете визу “Африка”. А я отыскал даже визу “предел Африки”. Однажды я спросил книгу с этой визой, не помню какую – меня заинтересовало название, – и Малахия заявил, что книги с этой визой все утеряны. Но я запомнил. Потому и говорю: все верно, следите за Беренгаром, попробуйте проследить, что он делает в библиотеке. Как знать…»

«Как знать», – согласился Вильгельм, жестом отпуская Бенция. Потом мы двинулись медленным шагом в обход двора, и учитель подвел итоги. Прежде всего: в очередной раз мишень пересудов и подозрений – Беренгар. Затем: Бенций всячески подталкивает нас к библиотеке. Я предположил, что, возможно, он хочет с нашей помощью что-то выведать сам, а Вильгельм ответил: может, это и так, однако не менее вероятно, что Бенций, направляя нас в библиотеку, отвлекает от другого места. От какого, спросил я. Вильгельм ответил, что неизвестно: может, от кухни, может, от хора, может, от почивален или от лечебницы… Я возразил, что накануне он сам, Вильгельм, крайне заинтересовался библиотекой. Он ответил, что желает интересоваться тем, что его интересует, а не тем, что ему подсказывают. Но библиотека безусловно остается в поле внимания, и с этой точки зрения невредно бы попробовать туда забраться. Обстоятельства поворачиваются так, что приходится позволить любопытству вывести нас за границы обходительности и уважения к обычаям и законам принявшего нас места.

Мы оставили за собою церковный двор. Монахи выходили из хора после мессы. Обогнув западную стену церкви, мы увидели Беренгара, выскользнувшего из поперечного нефа и спешившего через кладбище к Храмине. Вильгельм позвал, тот остановился, и мы его нагнали. Он волновался еще сильнее, чем в церкви, и Вильгельм несомненно решил захватить его врасплох – как прежде Бенция.

«Выходит, ты последний, кто видел Адельма в живых», – обратился он к Беренгару.

Беренгар качнулся, как будто теряя сознание. «Я?» – переспросил он еле слышно. Своим вопросом Вильгельм, я думаю, просто прощупывал почву, наверное, вспомнив рассказ Бенция о том, как эти двое сговаривались в церковном дворе после вечерни. Но, судя по всему, он нечаянно попал в точку, и Беренгар сейчас думал о каком-то другом, действительно последнем свидании, – его выдавал голос.

«Какое у вас право так говорить, я видел его перед сном, как и все остальные!»

Но Вильгельм явно решил не давать ему передышки. «Неправда, вы виделись еще раз, и ты знаешь больше, чем пытаешься показать. Но сейчас речь идет уже о двух убийствах! И тебе не удастся отмолчаться! Ты прекрасно знаешь, что есть много способов развязывать языки!»

Вильгельм неоднократно говорил мне, что еще в инквизиторах отказался от применения пыток. Но, того не зная, Беренгар неверно понял. А может, Вильгельм и хотел быть неверно понятым. В любом случае он рассчитал точно.

«Да, да, – с трудом выговорил Беренгар и затрясся в безудержном плаче. – Да, в тот вечер я видел Адельма, но уже мертвого!»

«Где, – спросил Вильгельм, – под откосом?»

«Нет, нет, здесь, наверху, на кладбище. Он двигался между могил, призрак среди призраков, червь среди червей… Он подошел… я сразу увидел, что передо мной не живой человек, у него было лицо мертвеца, очам уже открывались вечные муки… Конечно, я только на следующее утро понял, что говорил с загробной тенью… когда узнал о его гибели… но и накануне сознавал, что передо мною видение, дух проклятья, некий лемур… О Боже всемогущий, что за трубный глас исторгся из его уст!»

«И что он сказал?»

«“Я проклят!” – так он сказал мне. – “Кого ты видишь пред собою, се исчадие ада и в ад обязано воротиться”, – так он сказал мне. А я закричал: “Адельм, ты вправду идешь из ада? Каковы они, вечные муки?” И я весь трясся, потому что перед тем на повечерии слышал, как читались ужасающие страницы о наказании Божием. А он мне: “Адские мучения невыразимо горше, нежели способен описать язык. Видишь мантию познаний, коей я был укрыт всегда до сего дня? Она тяготит, она давит меня, будто огромнейшая из парижских башен, будто огромнейшая в мире гора у меня на плечах и мне не суждено вовек сбросить этот груз. Это на меня налагается кара от божественного правосудия за тщету и гордыню мои, за то, что превращал телеса мои в прибежище наслаждений, и считал, что знаю больше других, и упивался чудовищностями, создаваемыми в воображении моем, не ведая, сколь мерзейшие чудовища родятся от этого в моей душе, а ныне с ними я обречен пребывать вечные времена. Видишь? Эта проклятая мантия жжет, как угли, как огнь пылающий, и язвительный сей огнь пылает на телесах моих, это кара на меня наложена за богомерзкий плотский грех, в коем я повинен, и этот огнь безотлучно терзает и жжет меня! Коснись меня рукой, любезный мой наставник, – так сказал он мне, – дабы эта встреча послужила тебе в должное назидание, в оплату за назидания и наставления, полученные от тебя, коснись же меня, о милый наставник”, – и он тронул меня своим огненным перстом, и мне на руку пала капля пылающего пота и прожгла мне руку чуть не до кости, так что много дней затем я укрывал язву от сотоварищей. И он ускользнул и скрылся за могилами, а на следующее утро я узнал, что тело того, с кем говорил я в ночь на кладбище, в означенный час уже валялось под скалою…»

Беренгар задыхался и плакал. Вильгельм спрашивал дальше: «А почему он звал тебя милым наставником? Вы ведь сверстники. Ты что-то ему преподавал?»

Беренгар судорожно скрючится, зарывая лицо в куколь, пал на колени, вцепился в ноги Вильгельма: «Не знаю, не знаю, отчего он так меня называл, я ничему его не учил! – Он не мог говорить от рыданий. – Я боюсь, отче, я умоляю – исповедайте меня, смилуйтесь надо мною, нечистый терзает мне внутренности!»

Вильгельм отстранился и протянул руку поднять его. «Нет, Беренгар, – сказал он. – Не проси меня об исповеди, не запечатывай мои уста, отверзая собственные. Все, что мне от тебя нужно, ты расскажешь и так. А если не расскажешь, я сам дознаюсь. Можешь молить меня о милости, но о молчании не моли. Слишком многие в этом аббатстве только и делают что молчат. Ответь-ка лучше, как ты мог видеть его бледность, если была глухая ночь, как ты обжег руку, если шел дождь, снег и град, и что ты делал на кладбище? Ну же! – И он резко тряхнул того за плечи. – Скажи хоть это!»

Все члены Беренгара била дрожь. «Не знаю, что я делал на кладбище, не помню. Не знаю,

как я мог видеть его лицо… Наверное, у меня был фонарь… Нет, фонарь был у него, был какой-то светильник… Но я точно видел его лицо… оно было освещено…»

«Какой еще светильник в дождь и снег?»

«Это было после повечерия, сразу после повечерия, снег еще не шел, он начался позже… Я помню, что метель начиналась, когда я бежал с кладбища. Я бежал к спальням, а призрак уходил в обратную сторону… И больше я ничего не знаю, умоляю, не допрашивайте меня больше, если отказываетесь исповедать!»

«Ладно, – сказал Вильгельм, – теперь ступай, ступай в хор, говори с Господом, раз с людьми говорить не желаешь, или поди поищи монаха, который согласится тебя исповедать, ибо если ты до сих пор не покаялся в своих деяниях и тем не менее приближаешься к таинствам – ты святотатец. Торопись! Мы тебя найдем».

Беренгар бросился прочь. А Вильгельм потер руки, как он любил делать, когда бывал удовлетворен.

«Прекрасно, – сказал он. – Теперь многое прояснилось».

«Что прояснилось, учитель, – недоумевал я, – когда добавился еще и призрак Адельма!»

«Дорогой Адсон, – внушительно произнес Вильгельм, – призрак сей, на мой взгляд, не такой уж призрак, и в любом случае он повторял текст из какого-то, не помню какого, сборника проповедей. Все эти монахи слишком много читают и в состоянии возбуждения склонны видеть воочию то, что вычитали в книжках. Неизвестно, говорил ли Адельм в действительности подобные слова или Беренгар услышал их потому, что был готов услышать. Но в любом случае эта история подтверждает ряд моих предположений. К примеру, что Адельм покончил с собой. Вот и Беренгар свидетельствует, что перед смертью Адельм в невменяемости метался по аббатству, угрызаясь из-за каких-то ранее совершенных поступков. Он был напуган, то есть, вероятнее всего, кто-то его напугал и, видимо, развернул перед его духовным взором все те картины адских мук, которые он с болезненным диким вдохновением воспроизвел потом Беренгару. На кладбище он оказался потому, что шел из хора, где доверился (или исповедался) кому-то в своих грехах. А тот в ответ вверг его в бездну ужаса и запоздалого раскаяния. И с кладбища он двинулся дальше. По показаниям Беренгара – в сторону, противоположную спальному корпусу, то есть в направлении Храмины. А также – что всего правдоподобнее – в направлении того уступа стены за скотным двором, откуда он, по моим вычислениям, и бросился в пропасть. Бросился он до начала бури, у подножия стены разбился насмерть, а потом оползень протащил его тело дальше, под восточную и северную башни».

«А капля огненного пота?»

«Огненный пот входил в ту повесть, которую Адельм выслушал и повторил. А может, Беренгар, сам во власти угрызения и ужаса, добавил этот пот от себя. Ибо, как ты понимаешь, угрызения Адельма явно перекликаются с угрызениями Беренгара. Адельм шел из хора, и у него, естественно, была свеча, и воск капнул на руку его друга – всего лишь капля воска… Но Беренгар ощутил ожог намного страшнейший, когда Адельм назвал его, совершенно справедливо, милым наставником. Так Адельм упрекал его за некую науку, в коей теперь смертно раскаивался. И Беренгар затрепетал, и трепещет доныне, ибо прекрасно знает, что это именно он толкнул Адельма к гибели, обучив непозволительным вещам. И нетрудно догадаться каким, бедненький мой Адсон, после всего, чего мы наслушались о нашем помощнике библиотекаря».

«Полагаю, я догадался, что произошло между ними, – перебил я, стыдясь своей осведомленности. – Но не веруем ли все мы в милосердие Господне? Адельм, по вашим словам, перед тем исповедался. Отчего же он замыслил искупить свой первый грех грехом еще более тяжким или, по крайней мере, столь же тяжким?»

«Он услышал от кого-то неумолимый приговор. Я ведь уже сказал, что источник образов, которыми кто-то до смерти напугал Адельма, а Адельм до полусмерти напугал Беренгара, – страница из современного сборника проповедей. В последние годы как никогда прежде проповедники, желая добиться святопочитания и страха Божия (а также прилежания, а также почтения к законам божеским и человеческим), осыпают прихожан жестокими, устрашающими и мрачными словесами. Сейчас как никогда громко, над вереницами кающихся и самобичевателей, звучат восторженные хвалитны мучениям Христовым и святой девы Марии, и сейчас как никогда стараются священнослужители укрепить в мирянах веру посулами адовых мук».

«Это потребность в покаянии», – сказал я.

«Адсон, я никогда не слышал столько призывов к покаянию, сколько сейчас, во времена, когда ни проповедники, ни епископы, ни даже мои собратья спиритуалы не способны уже к настоящему покаянию».

«Но третья эра, ангельский папа, Перуджийский капитул…» – растерянно пробормотал я.

«Все в прошлом. Великая покаянная эпоха кончилась, поэтому о покаянии стало можно говорить даже в генеральном капитуле ордена. Тяга к обновлению действительно существовала – сто или двести лет назад. Она существовала тогда, когда всякого, кто стремился к обновлению, отправляли на костер, не разбираясь, святой он или еретик. А сейчас о покаянии толкуют все. В некотором смысле – даже папа. Не доверяй словам об обновлении, когда они идут от курии и от двора».

«А брат Дольчин…» – храбро начал я, надеясь услыхать что-нибудь новое об этом загадочном человеке, чье имя столько раз произносилось накануне.

«Дольчин умер, и так же скверно, как жил, потому что и он появился слишком поздно. А потом – что ты о нем знаешь?»

«Ничего, вот поэтому я и спрашиваю…»

«Оставим эту тему. И сейчас, и в будущем. Я имел дела с так называемыми апостолами, некоторых видел довольно близко. Печальная картина. Ты бы сильно огорчился. Я, по крайней мере, в свое время огорчался очень сильно. Но огорчительнее всего тебе было бы увидеть, что я, твой наставник, не могу определить, кто в этой истории прав, кто виноват. Это история о том, как человек творил гнусности именно из-за того, что старался следовать проповедям святых… В какой-то момент я перестал понимать. На меня как будто нашло помрачение. Я увидел, что одним и тем же духом веет в обоих враждебных лагерях – и от святых, проповедовавших покаяние, и от грешников, проводивших эту проповедь в жизнь… чаще всего за чужой счет. Но мы говорили о другом. Или нет, наверно, о том самом. Поскольку эпоха покаяния позади, ныне тяга к покаянию превратилась в тягу к смерти. И те, кто убивал обезумевших каяльщиков, возвращая смерть смерти и пытаясь убить истинное покаяние, смертью чреватое, – эти люди подменили покаяние души покаянием воображения, вызывали в воображении видения адовых мук, адовой крови, и звали эти видения “зерцалом истинного покаяния”. Так они вводили в воображение простецов – а сейчас вводят в воображение людей ученых – картины того света, видения загробных терзаний. Все как будто для того, чтоб никто не грешил. Предполагается, что можно удержать душу от греха при помощи страха и что страх сильнее тяги к протесту».

«Но от этого действительно перестают грешить?» – спросил я с безумной надеждой.

«Смотря что ты понимаешь под грехом, Адсон, – отвечал на это учитель. – Мне не хотелось бы выглядеть несправедливым к людям здешних мест, где я живу последние годы, но все же, на мой взгляд, отсутствие врожденного достоинства у италийцев сказывается ярче всего в том, что удержать их от греха может только вид какого-нибудь идола, обычно носящего имя святого. Они сильнее боятся Св. Себастиана и Св. Антония, чем Христа. Когда требуется, чтоб на некое место

перестали мочиться все кому не лень, как это заведено у итальянцев, – а они в этом смысле мало отличаются от кобелей, – там малюют Св. Антония с деревянной палкой, и это зрелище усмиряет любого, кто было пристроился помочиться. Боюсь, что таким манером итальянцы по милости их проповедников дойдут и до вторичного язычества… Они уже сейчас перестали верить в грядущее воскресение плоти…»

«Но Беренгар не итальянец», – заметил я.

«Неважно, я говорю об атмосфере, которую церковь и проповеднические ордена создали на этом полуострове и которая отсюда распространяется повсеместно. И захватывает даже почтенные сообщества вполне образованных монахов, – как, скажем, это».

«Ну, это для того, чтоб спасти мир от греха», – сказал я, пытаясь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору.

«Если бы данное аббатство могло считаться зерцалом мира – ты бы сам себе ответил».

«А оно не может считаться?»

«Чтоб существовало зерцало мира, мир должен иметь форму», – ответил Вильгельм. Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания.

Второго дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где невежи бранятся, Имарос Александрийский кое о чем намекает, и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсон подымаются в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть что нужно

По пути в скрипторий мы завернули на кухню подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь; в нем пеклись новые хлебы. Два козопаса разделывали тушку свежезарезанной овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я увидел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал козопасам, а те, ухмыляясь, запрятывали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: «Келарь, келарь! Разве так поступают? Келарь копит аббатское добро, а не раздает кому попало».

«Сии Боговы сыны, – ответил Сальватор. – Иисус рек, все будет ему, что дашь сирому».

«Ах ты полубрат загаженный, миноритская сволочь! – заорал в ответ повар. – Ты здесь не у своих вшивых братишек! С благотворительностью наш Аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок!»

Сальватор переменился в лице и злобно уставился на повара: «Не полубрат, не минорит! Инок Бенедикта Святого я! А ты навоз сам еси и грязный богомил!»

«Кто, я богомил? Богомилка твоя блудня, с которой ты гужуешься тут по ночам, скотина, полудурок!» – взвыл повар.

Сальватор поспешно выпроводил козопасов, закрыл дверь и подошел к нам. «Брате, – сказал он Вильгельму, – обороні свой орден. Не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках! – Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо: – Тьфу, врет!» – и плюнул на пол.

Повар подскочил к нему, вытолкал взашей из кухни и громко хлопнул вслед дверью. «Брат, – обратился он к Вильгельму самым почтительным образом, – не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенедиктинце – сам не знает, кто он».

«Его прошлое известно, – мягко ответил Вильгельм, – но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должно относиться по-братски».

«Да ведь суется, куда не просят, – знает, что келарь его покрывает. Уже и сам себя считает келарем. Гуляет тут по-хозяйски днем и ночью».

«Как – ночью?» – переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко.

Любопытство мое разгоралось все сильнее. Беседа с Убертином; толки о прошлом Сальватора и отца келаря; постоянные упоминания, в устах самых различных людей, о полубратьях и отступниках-миноритах; отказ учителя объяснить мне, кто был таинственный брат Дольчин… Вереница смутных воспоминаний заплясала, зароилась в моей голове. Во время наших странствий не менее двух раз мы сталкивались с процессией флагеллантов[*]. В первый раз население смотрело на них как на святых, во второй раз местные шептали, что это богомерзские еретики. Однако речь шла об одних и тех же людях. Попарными колоннами они

двигались по улицам города, прикрытые лишь по чреслам – очевидно, они победили в себе всякое чувство стыда. Каждый имел в руке бич сыромятной кожи и равномерными движениями ударял себя по плечам, раздирая их в кровь, и у всех ручьями катились слезы, как будто воочию каждый наблюдал страсти Спасителя, и с душераздирающим плачем обращался к милосердию Господню и к призрению Святейшей Девы Матери Божьей. Не только днем, но и ночами, с пылающими огарками, нагие в любую непогоду, многочисленными толпами обходили они церкви, самоотреченно простираясь перед алтарями, предведомые епископами со свечами и со стягами. И не только простые люди из низов, но и благородные матроны, купцы… Я понимал, что передо мною величайшие подвижники покаяния: неправо стяжавшие – возвращали добычу, все остальные – каялись в грехах…

Но Вильгельм взглянул на них довольно холодно и сказал, что это не настоящее покаяние. И пояснил примерно в тех же словах, как сегодня утром: эпоха высокого покаяния и очищения уже закончена, а то, что мы видим, связано со стараниями самих проповедников поместить в какие-то рамки страсти толпы, чтобы толпа не впала бы в новую крайность, в ту покаянную одержимость, которая, по мнению проповедников, являлась ересью и нагоняла на них боязнь. Однако разницу между тем покаянием и этим, если она и существовала, я уловить не сумел. По моему понятию, разница вообще определялась не действиями тех или этих, а тем, с какой точки зрения их действия рассматривала пресвятая церковь.

Снова и снова возвращался я к спору с Убертином. Вильгельм явно кривил душой, а когда убеждал его, что почти не существует различия между его собственной, хотя и мистической, но правой верой и преступной верою еретиков. Понятно, что Убертин оскорбился; на его месте оскорбился бы всякий, кому хорошо видна разница. И я пришел к выводу, что он отличается от еретиков именно своим умением видеть различия. А Вильгельм, очевидно, оставил обязанности инквизитора именно из-за того, что он эти различия видеть разучился. Именно поэтому он не сумел рассказать мне о таинственном брате Дольчине. Но если так, говорил я сам с собою, значит, Вильгельм обойден милостью и провидением Господним, ибо сказанное провидение не только научает понимать различия доброго и злого, но и, можно сказать, дарует своим избранникам умение судить. Убертин и Монтефалькская Клара (хотя она и обращалась в гуще грешников) сохранили свою святость именно потому, что сохранили способность судить. В этой способности, и именно в ней, состоит святость.

Но почему же Вильгельма Господь лишил этой способности? Ведь у него была острейшая проницательность, и во всем, что касается природных явлений, он умел подмечать легчайшие несходства и самое неуловимое сродство вещей…

Я совершенно погрузился в эти мысли, а Вильгельм спокойно допивал свое молоко, когда вошел еще один монах. Он поздоровался: это был Имарос Александрийский, с которым мы виделись вчера в скриптории, и я уже тогда приметил постоянную гримасу у него на лице. Он как будто не мог надивиться нелепости рода людского, не слишком, впрочем, огорчаясь из-за этой воистину космической катастрофы.

«Ну что, брат Вильгельм, обживаетесь в нашем сумасшедшем доме?»

«Я полагал, что нахожусь в обиталище людей непревзойденных и добродетелью и ученостью», – невозмутимо ответил Вильгельм.

«Так было. И аббаты были аббатами, и библиотекари библиотекарями. А сейчас… Да вы ведь сами видели, – он ткнул пальцем в верхний этаж. – Немец-полумертвец с очами слепца истово слушает этого испанца-слепца с очами мертвеца. Антихриста, похоже, ждут с минуты на минуту. Старые пергаменты соскребают, да новые отчего-то не появляются. Мы тут сидим, а настоящая жизнь внизу, в городах. Когда-то из наших монастырей управляли миром. А сейчас, видите ли, императору удобно устраивать тут встречи его друзей с его недругами. Вот, как

можете убедиться, кое-что о вашей миссии нам известно, монахи вечно болтают, другого дела у них нет… Но чтобы реально владеть положением в стране, а сам он – император – аббатством не интересуется, он занимает города. Мы тут мелем зерно, откармливаем птицу. А в городах меняют локти шелка на штуки льна, штуки льна на тюки специй и все вместе – на хорошие деньги. Мы сторожим свою сокровищницу, а настоящие сокровища там у них. И книги. Лучшие книги, чем у нас».

«Конечно, мир непрерывно обновляется. Но чем виноват Настоятель?»

«Он виноват. Он отдал библиотеку на откуп иностранцам, а остальное аббатство превратил в укрепление для обороны библиотеки. Братство Св. Бенедикта на этих итальянских высотах должно бы стать оплотом всего итальянского, где бы сами итальянцы решали судьбы своей страны. А вместо этого… чем живут итальянские города сейчас, когда они лишились даже папы? Торгуют, процветают, богатеют. Они богаче французского короля. Значит, надо и нам взять с них пример. Что мы умеем делать? Книги? Надо заняться книгами и обеспечить ими университеты всего мира. И поинтересоваться, что происходит там в долинах… Я не императора имею в виду, брат Вильгельм, при всем уважении к вашему посольству. А поинтересоваться, чем заняты болонцы и флорентицы. Отсюда мы сможем руководить перемещениями паломников и торговыми перевозками из Италии в Прованс и из Прованса в Италию. Библиотека должна заняться литературой на народном языке, обратить внимание на не-латинские новые книги… А вместо этого нами самими помыкает кучка иностранцев, которые заправляют библиотекой по старинке, как будто в Клюни все еще аббатствует добрый Одийон…»

«Но Аббат-то итальянец», – заметил Вильгельм.

«Аббат – не фигура, – с привычной ухмылкой отозвался Имарос. – У него вместо головы книжная полка. Изгрызенная жучком. Чтоб насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев… Это я об отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден… А чтоб угодить императору, зазывает сюда монахов из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных переписчиков и знатоков греческого и арабского и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущества их отцам. Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном – что эти немцы вовсю… о Господи милостивый, упаси мой язык, да не отсохнет рассказывать об их непотребствах!»

«А что, в аббатстве случаются непотребства?» – рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока.

«Монах тоже мужчина, – изрек Имарос. Помолчал и добавил: – Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами… Само собой, я ничего не говорил…»

«Очень любопытно, – сказал Вильгельм. – А это только ваше мнение, или другие тоже так думают?»

«Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма. Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще… из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем следует… многие бы не возражали…»

«Что вы хотите сказать?»

«Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой – соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, – один кубок подслащенного вина, и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать на счет Аббата…

или других собратьев… Боже меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что Аббат поручил вам расследовать мое дело… или чье-нибудь еще… к примеру, Пацифика Тиволийского или Петра Сант’Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем. Хотя не прочь бы иметь. Кое в чем разобраться. Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо – именно вам, сжегшему столько еретиков».

«Я никогда никого не сжигал», – сухо ответил Вильгельм.

«Да это так, к слову, – с улыбкой увернулся Имарос. – Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной».

«Почему не дневной?»

«Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет. Кое-кому нежелательно, чтоб монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать. И этот кто-то зовет на помощь адовые силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым. Все, чтобы помрачать разум тех, кто слишком любопытен…»

«Вы говорите об отце травщике?»

«Северин Сант’Эммеранский искусен в своем деле… Но все же он немец… Немец также и Малахия…» – И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, Имарос проследовал заниматься.

«Что это он имеет в виду?» – спросил я.

«Все. И ничего определенного. Большинство монастырей – это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке, хотя, наверное, ты, как послушник, не так уж много успел разобрать. Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое, император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь нет даже папского. Есть города, и ты это обязательно заметишь».

«Я уже заметил и поразился. Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания. Это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они… Как некие царства…»

«А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране. Или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы выменибаем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку: деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот: товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег; те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства; всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизиторам чуется зловоние дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о вони дьяволова дерьма. Теперь тебе понятно, к чему клонит Имарос. Бенедиктинское аббатство в золотые времена ордена являло собой возвышенное место, оттуда пастыри надзирали за стадами верующих. Имарос хочет вернуть старое. Однако теперь жизнь стад переменилась и аббатство может воротить старое (старую славу, старое свое имущество) только если сумеет усвоить новые привычки стада и сумеет само перемениться. А поелику ныне стадами правят не кровавые мечи и не таинственные заклинания, а всесильные деньги, Имаросу желательно, чтобы все

мастерские и службы монастыря, включая и библиотеку, работали бы промышленно и приносили бы доход».

«А как это связано с убийствами… или с убийством?»

«Еще не знаю. Теперь мне надо наверх. Идем со мной».

Монахи уже работали. Во всем скриптории царила тишина – но не та тишина, которая сопутствует трудовой умиротворенности души. Недавно вошедший Беренгар впился в нас глазами. Прочие монахи тоже подняли головы. Всем было известно, что мы здесь ищем разгадку тайны Венанция, и взгляды всех присутствующих непроизвольно сходились в одной точке, подсказывая нужное направление; мы взглянули туда же и увидели перед собой пустой стол под одним из высоких окон, выходивших во внутренность восьмиугольного колодца.

Несмотря на холодный ноябрьский день, температура воздуха в скриптории была не слишком низка. Надо думать, не случайно это помещение устроили прямо над поварнями, откуда подымался довольно теплый воздух и откуда вдобавок шли, пронизывая всю постройку, два дымохода от двух кухонных печей, пропущенные в середине каменных столпов, на которых держались винтовые лестницы – одна в западной, другая – в южной башне. Что же касается северной башни, чья внутренность открывалась на противоположную оконечность огромной залы, – в ней лестницы не было, но был очень большой камин, жарко натопленный и распространявший около себя веселое тепло. Утеплен был и пол – щедро устлан соломой: она согревала ноги и к тому же глушила шумы передвижения. Из сказанного понятно, что хуже всего отапливался восточный угол помещения, и действительно я заметил, что монахи, которых работало меньше, нежели имелось в скриптории письменных столов, старались не садиться близко к восточной башне. Когда же немного погодя я увидел и понял, что лестница в восточной башне единственная из всех не обрывается, доходя снизу до скриптория, а ведет и выше – на библиотечный этаж, я задумался: а не был ли столь хитроумен тайный расчет созидателей, чтобы при подобном неравномерном нагреве залы монахи оказывались всегда принуждены держаться подальше от этой лестницы, и не могли бы любопытствовать, и не затрудняли бы библиотекарю надзор за доступом в книгохранение? Но, вероятно, слишком уж далеко завели меня подозрительность и желание походить, как обезьяна, на наставника, ибо сразу же и самопроизвольно я возразил себе, что подобный расчет совершенно теряет смысл в условиях летнего времени, если только не думать о том, – снова нашелся я, говоря сам с собою, – что летом именно на эту сторону попадает больше всего прямого солнца, а следовательно, и летом тоже все должны стараться сесть отсюда подальше.

Стол покойного Венанция помещался напротив камина и был, наверное, одним из самых здесь удобных. В ту пору еще я лишь малейшую частицу своей жизни отдал скрипторию, однако гораздо большую часть жизни я посвятил ему впоследствии и по себе знаю, какие телесные страдания приносит писцу, рубрикатору или изыскателю долгий зимний день, проведенный за письменным столом, когда коченеют скрюченные пальцы на стилосе (притом, что и в самой нормальной температуре через шесть часов работы у большинства людей пальцы сводит мучительнейшей «монашьей судорогой»), а указательный палец ноет так, как будто по нему били молотками. В чем и коренится причина того, что на полях различных рукописей мы здесь и там встречаем фразы, оброненные писцом между делом, как знаки претерпеваемых им, а иногда и нестерпимых страданий, к примеру, такие: «Слава тебе Господи, начинает темнеть», или: «Эх, в эту бы пору толику доброго вина!», или в таком духе: «Сегодня холодно, ничего не видно, пергамент волосатый, и выходит скверно». В старой пословице сказано: пером правят три пальца, а работает все тело. И работает, и устает, и болит.

Но я рассказывал о столе Венанция. Он был небольшой, как и прочие столы, расставленные под окнами восьмиугольного колодца и предназначенные для исследовательской работы, в то

время как более просторные столы, расположенные вдоль внешних окон, отводились рисовальщикам и копиистам. Хотя надо заметить, что и Венанций держал на столе подставку – вероятно, ему были нужны для работы какие-то одолженные монастырем рукописи, которые в то же время переписывались. Под столом была еще одна, низкая полка, где валялись какие-то непереплетенные листы, все исписанные по-латыни. Я догадался, что это последние переводы Венанция. Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же лежало несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке – сочинение, над переводом которого Венанций трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что то была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть Апулея, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом.

«Как это Венанций переводил подобную книгу?» – спросил Вильгельм у подошедшего Беренгара.

«Перевод заказан аббатству миланским синьором в обмен на преимущественное право производства вин для некоторых восточных областей». – Беренгар неопределенно махнул рукой вдаль. Но тут же спохватился и добавил: «Не подумайте, будто аббатство торгует услугами. Но эту ценную книгу из собрания венецианского дожа, получившего ее от византийского императора, заказчик предоставляет нам с правом копирования, так что один экземпляр перевода может остаться в библиотеке».

«Значит, библиотека не пренебрегает и сочинениями язычников?» – спросил Вильгельм.

«Библиотека вмещает все – и явь, и блажь», – прозвучал вдруг голос у нас за плечами. Это был Хорхе. Я снова поразился (хотя безмерно больше предстояло поражаться в последующие дни) его негаданному появлению. Старик вырастал из-под земли, как будто не мы для него были незримы, а он для нас. Я пожал плечами – что делать слепому в скриптории? – но вскоре убедился, что Хорхе вездесущ, он непонятным образом оказывался в любом помещении аббатства. И в скриптории проводил довольно много часов – на лавке у очага, как будто надзирая за происходящим в зале. Однажды при мне он громко вскричал: «Кто идет?» – и повернулся. Никаких звуков вроде не было, но через некоторое время действительно появился Малахия, который, неслышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи питали к Хорхе безграничное уважение и разбирали с ним темные места, схолии, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, вперивовясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы, целехонькие у него в памяти, и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы, и каковы видом камни в стенах Иерусалима небесного, и что аримаспы[*] на землеводческих картах должны помещаться вблизи владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем – узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно.

Однажды я услышал, как он помогает кому-то из схолиастов перетолковывать найденные у Тихония рекапитуляции из Св. Августина в духе как можно более далеком от донатистской[*] ереси. В другой раз он диктовал собравшимся комментаторам список отличий еретиков от раскольников. Затем объяснял зашедшему в тупик изыскателю, какую именно книгу из библиотечного каталога он должен себе заказать и приблизительно на какой странице там приводятся необходимые сведения, добавляя при этом, что вышеозначенную книгу библиотекарь ему обязательно выдаст, так как она числится среди трудов боговдохновенных. А насчет другой книги, я слышал, он предостерегал окружающих, что ее незачем и заказывать,

потому что хотя она точно занесена в каталог, но в действительности изгрызена мышами более полувека тому назад и неминуемо распадется в порошок под пальцами первого, кто до нее дотронется. В общем, Хорхе – это была олицетворенная память книгохранилища, живой дух скриптория. И поминутно он обрывал любые попытки монахов перекинуться несколькими словами. «Утихните и поспешайте засвидетельствовать истину, ибо близятся времена!» – напоминал он о приходе Антихриста.

Столь же сурово Хорхе пресек и нашу беседу. «Библиотека содержит свидетельства истины и свидетельства лжи», – возгласил он.

«Ну да, конечно, Апулей с Лукианом повинны в лживых вымыслах, – сказал на это Вильгельм. – Но их вымыслы содержат, под покрывалом неестественности, наидобрейшую мораль, ибо учат нас, сколь дорого приходится платить за допущенные ошибки. К тому же я думаю, что в повести о перерождении человека в осла может подразумеваться перерождение души, впавшей в греховное состояние».

«Возможно», – ответил Хорхе.

«Однако теперь я начинаю понимать, отчего Венанций во время той беседы, о которой рассказывал вчера, так занят был вопросами комедии. И в самом деле ведь такого рода сказки могут быть уподоблены комедиям древности. И в этих сказках и в тех комедиях повествовалось не о людях воистину живых – как принято в трагедиях, – а о вымышленных; и Исидор их обманными провозвещает: “Там сказанья поэтические наобум перепеваются, отчего показываются дела не *бывые*, а попросту *лживые*”».

«Речь шла не о комедиях, а о позволительности смеха», – нахмурившись, сказал Хорхе. А между тем я прекрасно помнил, что когда Венанций ссылался на этот разговор, Хорхе утверждал, что забыл все до слова.

«А, – безразлично отозвался Вильгельм, – а я так понял, что вы говорили о лживых поэтических вымыслах и остроумных загадках».

«Мы говорили о смехе, – сухо ответил Хорхе. – Комедии создавались язычниками ради понуждения слушателей к смеху, цель весьма предосудительная. Иисус Господь наш никогда не изъяснялся ни комедиями, ни баснями, но единственно – наипрозрачнейшими притчами, где поучал через аллегорию, как обрести себе царствие небесное, да будет так, во веки веков, аминь».

«Хотелось бы понять, – сказал Вильгельм, – почему вы так противитесь предположению, что Иисус, хотя бы изредка, смеялся. Я уверен, что смех наипрекраснейшее средство, подобное ваннам, для излечения гуморов и телесных недугов, в частности меланхолии».

«Ванна превосходнейшее дело, – ответил Хорхе. – И Аквинат[*] рекомендует ванны для избавления от печали. Сия последняя может быть расценена как предосудительная страсть, когда не обращена на зло, искоренимое отважной борьбой с ним. Ваннами уравновешиваются гуморы. А смех сотрясает тело, искажает лицо и уподобляет человека обезьяне».

«Обезьяны не смеются, смех присущ одному человеку, это признак его разумности», – отвечал Вильгельм.

«Признак разумности человека – это и дар речи, однако речью можно оскорбить Творца. Не все присущее человеку добронравно. Смех свидетельствует о глупости. Смеющийся и не почитает то, над чем смеется, и не ненавидит его. Таким образом, смеяться над злом означает быть неготовым к борьбе с оным, а смеяться над добром означает не почитать ту силу, которою добро само распространяется. О чем есть в нашем Правиле: “Десятая степень послушания, се: смехотворному порыву легко не предаваться, ибо сказано: “Смех глупых точно треск хвороста под котлом”»

«Квинтилиан, – перебил мой учитель, – говорит, что из панегириков смехотворное надо

исключить, торжественности ради, но в других обстоятельствах – приветствовать. Тацит одобряет иронию Кальпурния Писона, Плиний Младший пишет: “Когда же притом смеюсь, веселюсь, играю, я человек”».

«Все они были язычники, – отвечал Хорхе. – В Правиле сказано: “Глумление же словесное, празднословие и смехотворчество к вековечному изгнанию из любых наших мест обещаются, и вышеозначенным словесам учащегося разверзать не дозволено уста”».

«Но ведь уже после того, как проповедование Христово возобладало на земле, Синесий из Кирены провозгласил, что в божественности гармонично породнены комическое и трагическое, а у Гелия Спациана говорится об императоре Адриане, муже возвышенного нрава и духа naturaliter[35] христианского, что он умел чередовать состояния веселости с состояниями величественности. Наконец и Авсоний нас побуждает разумно соотносить меру серьезности с мерой увеселения».

«Однако Павлин Ноланский и Климент Александрийский предостерегали против подобных дурачеств, и Сульпиций Север свидетельствует, что Св. Мартин никогда и никем не был виден ни в свирепости, ни в веселии».

«Но он припоминает и у этого святого высказывания spiritualiter salsa[36],» – вставил Вильгельм.

«Быстрые, ловкие, но не смехотворные. Св. Евфраим создал паренезу против монашеского смеха, и в своем “De habitu et conversatione monachorum”[37] требует избегать непристойностей и зубоскальств, как укусов ядовитого аспида!»

«Но Гильдеберт смех дозволял: “Допускаются после дельных занятий и забавные, токмо степенные и самородные”. И Иоанн Солсберийский не возражал против умеренной веселости. И, наконец, Екклесиаст, из коего вы только что приводили стих, послуживший опорой вашему Правилу, где говорится, что смех присущ дуракам, в других стихах допускает правомерность молчаливого смеха: веселия спокойной души».

«Душа спокойна только когда созерцает истину и услаждается сотворенным добром; а над добром и над истиною не смеются. Вот почему не смеялся Христос. Смех источник сомнения».

«Но иногда сомнение правомерно».

«Не нахожу. Почуяв сомнение, всякий обязан прибегнуть к авторитету – к слову святого отца либо кого-нибудь из докторов – и отпадет причина сомневаться… Вы насквозь пропитались различными спорными доктринами, подобно тем парижским логикам… Но Св. Бернард сумел достойно противостоять тому кастрату Абеляру, который пытался любые сущие вопросы подчинить холодному, безжизненному решению рассудка, не просвещенного Св. Писанием, и позволял себе по собственному разумению судить, что так, а что этак. Само собой понятно, что тот, кто воспринимает от него его опаснейшие идеи, способен также и попустительствовать игрищам безрассудного, который осмеивает то единственное, чему необходимо поклоняться как наивысшей истинности, данной единожды и навечно всем и каждому. Предаваясь смеху, безрассудный тем самым провозглашает: “Deus non est[38]”».

«О преподобный Хорхе, мне представляется, вы неправы, говоря о кастрированном Абеляре, ибо вам известно, что к этому горестному состоянию он был сведен чужою подлостью…»

«Нет, собственной греховностью. Тщеславием собственных упований на человеческий разум. Ради возвеличения разума осмеивалась вера простецов, тайны божественности бесстыдно оголялись (во всяком случае, к этому шло, глупцы, кто стремились к этому!); сомнения, касавшиеся высочайших представлений, обсуждались бестрепетно, и стало входить в обычай насмехаться над Св. Отцами, полагавшими, что подобные сомнения надлежит приглушать, а не

разрешать».

«Я не согласен, преподобный Хорхе. Господу желательно, чтобы мы упражняли наши рассудки на тех неясностях, относительно коих Священное Писание дает нам свободу размышлений. И когда нам предлагают уверовать в некое положение, следует прежде всего продумать, приемлемо ли оно, поелику наш помысел сотворен в свет помыслов Божиим, и что угодно нашему помыслу, не может не быть угодно Господу; в то же время о высшем помысле нам известно только одно – лишь то, что посредством аналогии, а чаще всего продвигаясь от противного, мы переносим на него из построений собственного разума. Так что теперь и вы ясно видите, что ради избавления от абсурдных предпосылок – смех может составить собой самое удачное средство. Часто смех служит еще и для того, чтоб наказывать злоумышленников, выставляя напоказ их скудоумие. Известно о Св. Мавре, что когда язычники погрузили его в кипящую воду, он посетовал, будто вода холодновата; градоначальник язычников по глупости опустил в котел свою руку, попробовать воду, и обварился. Славная выдумка святого великомученика, осмеявшего гонителей истинной веры!»

Хорхе ухмыльнулся. «И в том, что рассказывают проповедники слова Божия, находится место нелепостям. Святой, погруженный в кипящую воду, терпит за Христа, удерживает крики боли, а не ребячится с язычниками!»

«Видите? – сказал Вильгельм. – Этот рассказ, на ваш взгляд, противоречит здравомыслию и вы заявляете, что он смешон! Значит, вы, хотя и беззвучно, и не допуская к шевелению ваши губы, смеетесь над рассказавшим и меня призываете к тому же: не принимать рассказ серьезно. Вы смеетесь над смехом. Однако смеетесь».

Хорхе с негодованием отмахнулся. «Смеясь над смехом, вы навязываете мне пустейший спор. Знаете ведь, что Христос никогда не смеялся».

«Не уверен. Когда Он вызывал фарисеев первыми бросить камень, когда вопрошал, что за образ на монете, взносимой в подать, или когда играл словами “Tu es Petrus” [39] – во всех этих случаях, по-моему, он остроумно шутил, чтоб смутить грешников и ободрить приспешников. Он шутил и с Каиафой: “Ты так сказал”. А Иероним[*] в комментарии к книге Иеремии, к месту, где сказано: “За то будет поднят подол твой на лице твое, чтоб открылся срам твой”, толкует: “Обнажат срам твой и зад твой, чтоб тебе оправиться и исправиться”. Значит, и Господь порою изъясняется шутками, дабы смутить тех, кого задумал покарать. И вы, конечно, помните, что в самый напряженный период борьбы клюнийцев с цистерцианцами первые, чтоб высмеять вторых, пустили слух, будто те не имеют подштанников. В “Зерцале глупости” повествуется об осле по имени Гнедой, который беспокоился: что произойдет, если ночью ветер поднимает покрывала и монах узрит собственный орган…»

Монахи, бывшие вокруг, захохотали. Хорхе вышел из себя: «Хватит. Моих собратьев вы превращаете в ораву идиотов. Я знаю, что у францисканцев заведено доискиваться симпатий населения подобными дурацкими выходками. Я же о срамном словоблудии повторю то самое, что сказано вашим собственным проповедником: “Tum podex carmen extulit horridulum”[40]».

Как ни суди – это было сказано немного слишком резко. Вильгельм дерзил, но Хорхе-то произнес во всеуслышание, что тот из уст выпускает газы! Я раздумывал, не означает ли столь суровая отповедь, в устах старшего годами монаха, приказа немедленно покинуть скрипторий. Но, к моему удивлению, Вильгельм, только что такой воинственный, принял замечание Хорхе с необыкновенной кротостью. «Прошу извинения, преподобный Хорхе, – сказал он. – Уста невольно выболтали мою сокровенную мысль. Но я не хотел показаться непочтительным. Должно быть, вы правы, а я заблуждался».

Хорхе, не ожидав такой смиренности и обходительности, издал какое-то урчанье, которое

могло знаменовать как удовлетворение, так и прощение, и ему не оставалось ничего как вернуться на место. А с тем и монахи, толпившиеся, пока шел диспут, разбрелись к столам. Вильгельм снова опустился на колени перед столом Венанция и стал шарить в рукописях. Ценой униженного извинения он выиграл несколько секунд, и то, что он за эти несколько секунд успел увидеть, целиком определило характер наших поисков в последующую ночь.

Однако все это длилось действительно несколько секунд. Почти мгновенно Бенций, притворившись, будто забыл стилос на венанциевом столе, подошел к нам и шепнул Вильгельму, что необходимо немедленно переговорить с ним, и назначил встречу за купальнями. Вильгельм, сказал он, пусть выходит первым, а он вскорости поспеет.

Вильгельм немного поколебался, потом позвал Малахию, который от библиотекарского стола, сидя над каталогом, наблюдал происходившее, и попросил его во исполнение полученных от Аббата полномочий (он особенно уповал на силу имени Аббата) поставить кого-нибудь на стражу у венанциева стола, поскольку он полагает главной необходимостью для расследования, чтобы никто не притрагивался к столу в течение всего дня, покуда он сам не вернется. Все это он произнес очень громко, чтобы не только Малахию обязать следить за монахами, но и монахов за Малахией. Библиотекарю пришлось повиноваться, а Вильгельм вышел вон, кликнув меня с собой.

По пути через огород на задворки купален, находившихся поблизости от больницы, Вильгельм сказал мне:

«По-видимому, многие тут желают допустить меня к тому, что лежит на столе Венанция и под столом».

«А что это может быть?»

«Думаю, это неизвестно и тем, кто мне препятствует».

«Значит, Бенцию сказать нам нечего и цель его одна – выманить нас из скриптория?»

«Сейчас узнаем», – ответил Вильгельм. И действительно, вскоре появился Бенций.

Второго дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Бенций ведет странные речи, из каковых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители

Рассказ Бенция звучал сбивчиво. И впрямь складывалось впечатление, будто он зазвал нас только чтобы удалить из скриптория, но, по-видимому от неспособности изобрести что-то убедительное, преподносил нам кое-какие осколки скрывавшейся от нас – и известной ему – истины.

Он объявил, что с утра был расположен запираться, однако теперь, по зрелом размышлении, понимает, что Вильгельму надо знать истинную правду. Тогда, в пресловутой дискуссии о смехе, Беренгар упоминал «предел Африки». Что это такое? В библиотеке полно секретов, а особенно много книжек, никогда не выдаваемых для чтения монахам. Бенция задели за живое слова Вильгельма о рациональном пересмотре жизненных данностей. Он, Бенций, всегда был убежден, что монаху-исследователю должно предоставляться право доступа ко всем книгам; он проклинал Суассонский совет, осудивший философа Абеляра, и, внимая его рассуждениям, мы постепенно убеждались, что этот молодой монах, страстно преданный своей науке, риторике, одержим мечтой о независимости и сильно мучается из-за ограничений, которыми монастырская дисциплина сковывает любознательный ум. Лично я никогда не был склонен доверять чересчур любопытным людям; но я понимал, что моему учителю это качество кажется самым похвальным – и он явно сочувствовал Бенцию и прислушивался к нему. Коротко говоря, Бенций заявил, что ему неизвестно, о каких там секретах шептались Адельм и Венанций с Беренгаром, однако он был бы очень не прочь, если бы жалостная участь этой пары помогла хотя бы отчасти расследовать тайный порядок управления библиотекой, и потому он не теряет надежды на то, что мой учитель, уже уцепившийся за оконечность нити, размотает клубок преступлений и отыщет хоть какую-нибудь возможность повлиять на Аббата, чтобы он ослабил те жестчайшие бразды, коими сдерживается тяга братьев к умственному своеволию, в то время как братья, добавил Бенций, прибывают сюда из самых отдаленных стран света, как прибыл и он сам, единственно для того, чтобы напитать пытливый рассудок чудесами, сохраняемыми в чреве библиотеки.

Думаю, что в этом Бенций был вполне откровенен и действительно ждал от расследования того, о чем говорил. Но одновременно он, как и предчувствовал Вильгельм, более всего был озабочен тем, чтобы к столу Венанция ему подобраться самым первым, и первым его обшарить, насыщая свое любопытство. И чтобы хоть ненадолго отвадить нас от стола, он понемногу выдавал довольно важные сведения.

Итак, Беренгара, как это было с некоторых пор известно большинству монахов, снедала нездоровая страсть к Адельму – страсть, на приверженцев которой пал Господен гнев в Содоме и в Гоморре. Такими словами обошелся в данном случае Бенций, очевидно из снисхождения к моему невинному малолетию. Однако каждый из тех, кому выпало провести отрочество и юность в монастырских стенах, знает, что даже при самой целомудренной жизни никуда не укроешься от разговоров об этой страсти, и нужна величайшая осторожность, чтобы упастись от коварства тех, кто способен на все, превратившись в рабов этой страсти. Будто не получал и я сам, несмышленым монашком, у себя в Мельке от одного пожилого собрата записочки с такими

стихами, которые обычно у мирян принято посвящать дамам? Монашеские обеты удерживают нас и отвращают от того поместилища пороков, каково женское тело, – но нередко они же подталкивают нас к рубежу иных прегрешений. Могу ли я в конце концов таить и не признаваться самому себе, что и на мою собственную старость усердно покушается полуденный бес, и волнует меня в те минуты, когда рассеянно блуждавший взор упадает, в полумраке хора, на безусое личико послушника, гладкое и свежее, как у девочки?

Я рассказываю об этом не затем, чтобы подвергнуть сомнению давно совершенный мною выбор – подчинить свою жизнь монастырскому служению, – а затем, чтобы хотя бы отчасти оправдать грехопадение тех, кому ноша оказалась непосильна. Может быть, оправдать и мерзкое грехопадение Беренгара. Однако из рассказа Бенция выяснилось, что порочный монах добивался своего еще и самым недостойным из всех способов – вымогательством, – принудительно требуя от других того, к чему не допускали их совесть и честь.

Итак, с некоторых пор братья посмеивались, замечая нежнейшие взгляды Беренгара в сторону Адельма, который, по-видимому, был очень хорош. Адельм же, безраздельно влюбленный в работу, из которой единственной, надо думать, черпал наслаждение, очень мало интересовался страданиями Беренгара. Однако кто знает? Возможно, душа его в потайных глубинах и лежала к упомянутому бесчестью. Так или иначе, Бенций подслушал его беседу с Беренгаром. Тот намекал на некую тайну, которую Адельм жаждал узнать, и предлагал ему низостную сделку. Суть ее, полагаю, ясна и самому неискушенному читателю. Бенций свидетельствовал, что Адельм тогда ответил согласием, якобы даже с облегчением. Это выглядело – убеждал нас Бенций, – как если бы Адельм по существу и не желал иного, и радовался посторонней причине, оправдывавшей его падение и позволявшей утолить подавленную похоть. Таким образом – доказывал далее Бенций – тайна Беренгара определенно должна была состоять в некоем откровении науки; только тогда Адельм мог обольщаться, будто, поддаваясь плотскому греху, потворствует высшей потребности интеллекта – тяге к познанию. К тому же, с улыбкой добавил Бенций, он сам не раз переживал такие мучения любознательности, ради утоления которых согласился бы подчиниться чужим плотский желаниям, не разделяя их собственной плотью.

«Разве не бывает и у вас, – обратился он к Вильгельму, – таких минут, когда вы согласитесь на возбранные действия, лишь бы заполучить книгу, которую ищете годами?»

«Мудрый и добродетельный Сильвестр II в свое время отдал драгоценнейший небесный глобус за сочинение Стация или Лукана – не помню точно», – сказал Вильгельм. И рассудительно добавил: – «Но то небесный глобус, а не собственная честь».

Бенций опомнился и признал, что, пожалуй, в воодушевлении хватил через край. Он продолжил рассказ. В ночь перед гибелью Адельма он, Бенций, охваченный любопытством, пошел за этой парой. Он видел, как после повечерия они прошествовали в почивальни. Он надолго засел за полуоткрытой дверью своей кельи. Кельи этих двоих были близко. Бенций ясно видел, как Адельм, когда сон и тишина овладели зданием, скользнул в дверь кельи Беренгара. Он, Бенций, ждал, не в силах упокоиться на ложе, и наконец услышал, как снова заскрипела беренгарова дверь. Адельм почти бегом бежал из кельи, а друг как мог удерживал его. Беренгар бежал за Адельмом до нижнего этажа. Бенций шел следом на цыпочках и в начале нижнего коридора чуть не наткнулся на Беренгара. Тот, трясясь, застыл в углу напротив двери Хорхе, глазами пожирая дверь. И Бенций понял, что Адельм пал в ноги старшему собрату, каясь в содеянном грехе. А Беренгар трясся, сознавая, что его тайна перестает быть тайной, хотя и под печатью исповеди.

И вот вышел Адельм, белый как полотно, отстранил Беренгара, пытавшегося говорить, и двинулся из опочивален. Обогнув апсиду церкви, он вошел в северный портал хора, который в

течение всей ночи остается открытым. Очевидно, он хотел молиться в церкви. Беренгар бежал следом, но лишь до двери хора. Войти не посмел и остался на кладбище, ломая руки.

Но больше всего растерялся Бенций, когда заметил четвертую фигуру. Кто-то, как и он, следил за парой, при этом определенно не подозревая о присутствии Бенция. Бенций прижался к большому дубу, который растет возле кладбища. Этот четвертый был Венанций. Завидев его, Беренгар пригнулся и слился с могилой. И тот, следом за Адельмом, вошел в хор.

Но дальше Бенций, опасаясь, что его раскроют, следить не стал и воротился в почивальни. Наступившим утром труп Адельма был найден у подножия скалы. Больше ничего Бенций добавить не мог.

Подходил час обеда. Бенций распрощался. Учитель не держал его. Мы остались за купальнями и несколько минут прогуливались в огороде, обдумывая то, что узнали от Бенция.

«Крушина, – вдруг проговорил Вильгельм, нагибаясь к какому-то растению, которое он даже при зимнем безлистье распознал по стебельку. – Отваром ее коры спасаются от геморроя. А вот это arctium lappa. Кашица из ее корней, хорошенько растертых, выводит с кожи экзему».

«Вы ученее Северина, – отвечал я. – Но сейчас я бы послушал, что вы скажете на все нам поведанное».

«Дорогой мой Адсон, пора тебе уже начинать думать собственными мозгами… Я скажу, что Бенций скорее всего не лгал. Его версия совпадает с изначальной, хотя и чересчур сновидческой, версией Беренгара. Сопоставим. Беренгар и Адельм делают что-то нехорошее… Это мы с тобой и так подозревали. Беренгар открывает Адельму тайну, которая, к величайшему сожалению, остается тайной и посейчас. Адельм же, совершивший свое преступление против целомудрия и законов природы, способен думать только об одном – как бы скорее исповедаться кому-нибудь, кто бы мог отпустить ему грехи. Он бежит к Хорхе. Тот же, имея характер самый суровый… в чем мы только что имели дополнительную возможность убедиться… осыпает его упреками. Возможно, Хорхе отказывает ему в отпущении. Возможно, налагает непосильное взыскание. Мы не знаем. И Хорхе никогда нам этого не расскажет. Ясно одно: после разговора с Хорхе Адельм бежит в церковь, кидается наземь пред алтарем, однако и после этого его угрызения не утихают. И именно в это время на его пути возникает Венанций. Разговор их нам неизвестен, однако весьма вероятно, что Адельм делится с Венанцием тайной, полученной в дар (или в уплату) от Беренгара, тайной, потерявшей после этого для него всю свою притягательность, поскольку тогда же появилась его собственная тайна, гораздо более страшная, испепеляющая. Что происходит затем с Венанцием? Скорее всего, он, во власти такого же жгучего любопытства, как то, которое ныне движет и нашим Бенцием, торопится оставить Адельма с его терзаниями. Адельм же, брошенный всеми, решается на самоубийство. Он в отчаянии бродит по кладбищу и внезапно видит перед собой Беренгара. И тут он обращает к нему самые ужасные из известных ему слов, возлагая на того ответственность за содеянное, называя того своим учителем во грехе. Я как раз склонен думать, что отчет Беренгара, при всей его снообразности, абсолютно точен. По-видимому, Адельм дословно воспроизводил те же отчаянные речи, которые услыхал от Хорхе. Выслушав эти речи, Беренгар опрометью бросился в одну сторону – спасаться, а Адельм в противоположную – сводить счеты с жизнью. Ну, а потом произошло все остальное, чему мы явились почти свидетелями… Создается впечатление, что Адельм был убит. Венанций делает из этого вывод, что тайна библиотеки еще важнее, нежели принято думать, и берется за расследование собственными силами. Но тут его убивают – до или после того, как ему удается открыть искомое…»

«А кто его убивает? Беренгар?»

«Возможно. Или Малахия, оберегающий Храмину. Или кто-нибудь еще. Беренгар под подозрением безусловно. Он был в страхе и при этом знал, что Венанцию его секрет известен.

Под подозрением и Малахия: он отвечает за сохранность библиотечной тайны, узнает, что кто-то ее вынюхивает – а возможно, и вынюхал, – и убивает… Хорхе знает все о каждом, о разглашении тайны ему известно от Адельма, он не желает, чтобы мне открылось нечто, возможно, выведанное Венанцием… По многим причинам следовало бы заподозрить Хорхе. Но, скажи на милость, как возможно, чтобы слепой старик убил молодого, полного сил, перетащил его труп и сунул в бочку?.. Да, в конце концов – почему бы убийцей не оказаться тому же Бенцию? Он мог обманывать нас, мог преследовать свои скрытые цели. Наконец, к чему ограничивать круг подозреваемых только теми, кто участвовал в диспуте о смехе? У убийства могут оказаться другие мотивы, не имеющие общего с библиотекой. В любом случае нам сейчас необходимы две вещи: дознаться, как проходят в библиотеку ночью, и раздобыть лампу. О лампе позаботишься ты. Зайдешь на кухню в обед, возьмешь одну».

«Украсть?»

«Позаимствовать, во славу имени Господня».

«В таком случае положитесь на меня».

«Молодец. Что касается входа в Храмину – мы оба видели, откуда появятся вчера ночью Малахия. Сегодня я обследую церковь, в особенности тот придел. Через час обедаем. Потом переговоры с Аббатом. Ты допущен – я предупредил, что мне нужен секретарь, записывать сказанное».

Второго дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков, и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир

Аббат был в церкви перед главным алтарем. Он следил за работой послушников, выносивших из кладовой священные сосуды, кубки, чаши, ковчеги и большое распятие – но не то, которое было на утренней службе. Я не сдержал возглас восторга, увидев эту сияющую утварь. Был в разгаре полдень и солнце втекало в храм ручьями сквозь витражи хора и – еще ослепительнее – через окна фасада: оттуда шли белые потоки обжигающего света, подобные мистическим струям незримой божественности, и перекрещивались по всей церкви, целиком заливая алтарь.

Вазы, чаши – все обнаруживало свой драгоценный состав. Торжествовала желтизна золота, белая непорочность слоновой кости, играл в лучах дивно прозрачный хрусталь. Блистали каменья любой окраски и огранки: гиацинты, топазы, рубины, сапфиры, изумруды, хризолиты, ониксы, карбункулы, яшма и агат. Еще я открыл для себя нечто не замеченное утром, когда я был целиком захвачен сперва молитвой, потом ужасом. Оказывается, алтарный покров и три венчавшие его ризы были из чистого золота, и весь алтарь, оказывается, был вылит из золота, все его части, на какую ни взгляни.

Аббат усмехнулся, видя мое лицо. «Богатства, что перед вами, – сказал он, оборотясь ко мне и к учителю, – и те, что вы еще увидите, суть наследие многовекового во человецех благочестия и святопочитания, а также доказательство доброй славы и могущества нашей обители. Правители земли и князи, архиепископы и прочие прелаты на украшение нашего алтаря и на утварь к нему жертвовали отличительные кольца своего сана, злато и каменья – оплоты их величия. И все это они отказывали нам, во славу имени Господня и ради процветания его обиталища.

И хотя, вы знаете, наше аббатство в печали по случаю нового удручающего происшествия, мы не должны, даже при собственной бренности, забывать о силе и могуществе Всевышнего. А так как надвигается празднество Святого Рождества Христова, мы сейчас приступаем к чистке богослужебной утвари, с тем чтобы Христово рождение было в свой срок отпраздновано с пышностью и с великолепием, коих заслуживает и требует. И все наше имущество предстоит привести в блестящий, представительный вид, – провозгласил он, пристально глядя в глаза Вильгельму, и лишь позднее мне стало ясно, почему он так настойчиво упирает на важность своего занятия, – так как мы здесь уверены, что благопристойно и полезно не таить, а, напротив, показывать миру богатства, коими сподобил нас Господь».

«О, несомненно, – с почтением ответствовал Вильгельм. – Ежели ваше высокопреподобие полагает, что творца небесного следует восславлять именно так, – ваше аббатство, на мой взгляд, достигло в этом отношении поразительных высот».

«Так и положено, – отвечал Аббат. – Если амфоры и сосуды из золота и малые позолоченные чаши по воле Господней и по предречению пророков использовались для сбора крови коз, тельцов и телок в Соломоновом храме, – тем скорее золотые узорные потиры, усыпанные честными каменьями, вместе с прочими, наиболее ценными из сотворенных человеком вещей, обязаны служить, с величайшим благоговением и с истинною верою, для

приема крови Христовой! И ежели даже при повторном нашем рождении природа нашего существа будет такой же, как у херувимов и серафимов, все равно то служение, которое будет исходить от нас, далеко недостойно столь неописуемого жертвования».

«Воистину», – сказал я.

«Некоторые на это возражают, что вдохновенный дух, чистое сердце и искренняя вера – это все, что необходимо для святого богослужения. Да кто как не мы первые открыто провозгласили, что это и есть основное в священной службе? Но, вместе с тем, мы убеждены, что восславлять Господа необходимо также и через наружное великолепие священных снарядов, поскольку в высочайшей степени правильно и справедливо отвечать на заботу Спасителя всею целокупностью явлений, славя того, кто озаботился предусмотреть для нас всю целокупность вещей, в единстве, безо всякого изъятия».

«Такова всегда была позиция старшин вашего ордена, – кивнул Вильгельм. – Припоминаю прекраснейшие указания насчет наружного украшения соборов, принадлежащие перу великого, достопочтенного аббата Сугерия».

«Совершенно верно, – согласился Аббат. – Взгляните вот на это распятие. Оно еще не доделано… – и взял распятие в руку с величайшим благоговением, и поднес к лицу, озарившемуся подлинным восторгом. – Тут еще не хватает нескольких перлов, мне не удалось подобрать нужного размера. Св. Андрей, обратившись к Голгофскому кресту, сказал, что он украшен останками Христа, будто перлами. Поэтому и ныне именно перлами будет осыпано это беднейшее подобие того величественного снаряда. Хотя я и позволил себе присовокупить здесь в одном месте, прямо над головою Спасителя, такой диамант, подобного которому, я уверен, вы еще не встречали». И, нежно прикасаясь, своими длинными белыми пальцами он поглаживал самые драгоценные части крестного древа, точнее крестной слоновой кости, так как именно из этого богатейшего материала были сработаны перекладины.

«Когда я услаждаю свой взор неисчислимыми накоплениями сего божьего дома, многоценные каменья завораживают меня, отторгают от всего внешнего, и возникает благопристойная медитация, побуждающая, возводя вещественное к невещественному, размышлять о многоразличии добродетелей, – и теперь я пребываю, как бы сказать, в некоем странном отделении Вселенной, помещающемся вдали от обычной мирской грязи, хотя и не полностью вознесенном в чистоту небес. И мне представляется, будто божественным рассуждением я переведен из сего дольнего мира в тот горний по аналогическому пути».

Он говорил, и взор его обращался к основному приделу. Ливень света, рушившийся с высоты святониспосланной благодатью, обильно омывал ему лицо и разбрызгивался по рукам, распростертым крестообразно в порыве божественного восторга. «Все сотворенное, – говорил он, – видимое и невидимое, представляет собой свет, внесенный в естество родителем всякого света. Эта слоновая кость, этот оникс, и вместе с тем этот окружающий нас сейчас камень башен, все это свет, ибо я чувствую и ощущаю, до чего они красивы и превосходны, потому что подчинены собственным понятиям и пропорции и, тем самым, отличны, каждый, родом своим и видом от иных родов и иных видов, и определены, каждый, собственным числом, и не погрешны против числа приказанного, и каждому отыскивается собственное место соответственно его тяжести. И тем лучше открываются мне вышеописанные познанья, чем драгоценнее по своему материалу то, что я при этом созерцаю, и тем ярче сияет луч божественного просвещения, ибо если мне предписано восстанавливать великолепнейшую причину, недостижимую в собственной полноте, по великолепному последствию – насколько же лучше могут говорить мне о божественной причинности такие дивные последствия, как золото и диамант, если величие той причины способно на свой лад передаваться даже и в испражнениях, и в насекомых! И таким образом, когда по драгоценнейшим камням я восстанавливаю возвышенные идеи, душа

моя источает слезы, потрясенная, и не от земной суетности своей, и не от златолюбия, а от наичистейшей любви к начальной, не причиненной первопричине».

«Воистину сладчайшее из богословий – ваше», – произнес Вильгельм самым умильным голосом. Я-то понял, что, вероятно, он желает употребить ту коварную фигуру мысли, которая у риторов именуется ironia. Но для ее правильного исполнения необходимо соблюдать и соответствующую pronuntiatio[41], а Вильгельм ее никогда не соблюдал. Вот и вышло, что Аббат, привычный более к фигурам речи, чем к фигурам мысли, не понял замысла Вильгельма, принял его слова буквально и отвечал все в том же мистическом восторге: «Да, да, это кратчайший путь к неисповедимой божественности. Наши богатства – вещное воплощение святыни».

Вильгельм вежливо кашлянул и произнес что-то вроде «…хм… эхм…». Так он мычал всегда, приготовляясь изменить тему разговора. И, как всегда, ему удалось изменить ее очень ловко, благодаря вкоренившейся привычке – полагаю, распространенной у жителей его родных земель – любую речь предварять бесчисленными хмыканьями, охами и вздохами, как будто изложение законченной мысли требовало от него почти невыносимого усилия. В то время как мне было уже отлично известно, что чем больше неуверенных хмыканий издаст Вильгельм прежде чем открыть рот, тем более тщательно продумана и отшлифована во всех подробностях его будущая речь.

Итак, Вильгельм пробормотал: «Э-э… м-м… мы собирались обсудить будущую встречу… диспут о бедности…»

«Бедность? – рассеянно откликнулся Аббат, как бы с трудом опускаясь с запредельных высей, в коих витал, рассуждая о сокровищах. – Ах да, встреча…»

И перешли к пристальному обсуждению вопросов, которые отчасти были мне знакомы, отчасти открылись из их собеседования. Речь шла, как я уже повествовал в зачине этой верной хроники событий, о двойном раздоре: с одной стороны, императора с папой, с другой – папы с францисканцами, которые в ходе Перуджийского капитула, хотя и запоздав на много лет, приняли тезис спиритуалов о бедности Христа. А также о сложной ситуации, которая создалась, когда францисканцы объединились с империей, причем треугольник, образованный взаимными притягиваниями и отталкиваниями, в последнее время превратился в четырехугольник, включив новую силу, пока еще для меня непонятную, – аббатов ордена Св. Бенедикта. Честно сказать, я никогда не мог полностью уяснить, для чего бенедиктинские аббаты предоставляли убежище и помощь францисканцам-спиритуалам еще до того как их собственный орден в некоторой степени перенял от тех часть их убеждений, при том, что в описанное время, когда спиритуалы проповедовали отказ от любых земных владений, аббаты моего ордена – чему в этот самый день было явлено блистательнейшее подтверждение – предпочитали удел, хотя не менее достойный, но совершенно обратный. Скорее всего, аббаты придерживались мнения, что чрезмерное усиление папы будет означать чрезмерное усиление епископов и городов, а между тем мой орден в течение многих десятилетий основывал свою силу именно на непрерывной борьбе с секулярным клиром и городскими купцами, превращаясь при этом в посредника между небом и землею и в советника царей.

Я многократно слышал, как повторяется фраза о том, что народ Божий изначально разделен на пастырей (то есть клириков), псов (воинов) и паству (народ). Но скоро я научился понимать, что эту фразу можно перетолковывать по-разному. Например, бенедиктинцы чаще всего говорили не о трех сословиях, а о двух крупнейших подразделениях власти. Первое распространялось на управление земными делами, а второе – на управление делами небесными. В том, что касалось земных дел, были действительны взаимоотношения клира, мирских властителей и народа; но превыше этой тройственности должен был неколебимо царить ordo monachorum – промежуточная инстанция между народом Божиим и небесами. Монахи не имели

ничего общего с такими мирскими пастырями, как священники и епископы, неученые и порочные, чем дальше, тем более порабощаемые начальством крупных городов, где пасомыми или овцами были у них уже не добрые верные поселяне, а торговцы и ремесленники. Вообще бенедиктинцы не возражали против того, чтобы управление простецами оставалось по-прежнему за секулярными клириками, но основы и законы этого управления должно было для этих клириков вырабатывать монашество в своем прямом союзе с источником всякой земной власти – империей – и с источником всякой небесной власти. Вот почему, мне кажется, бенедиктинские аббаты стремились укрепить империю и поддержать ее против крепнущих городов (епископов в союзе с купцами), а ради этого принимали и защищали спиритуалов-францисканцев, чьи идеи им, конечно, были чужды, но чье присутствие было полезно, так как давало империи дополнительные аргументы в борьбе против деспотизма папы. Вот по этим-то причинам, как я понял, Аббат был расположен сотрудничать с императорским посланцем Вильгельмом и стать посредником между францисканским орденом и папской курией. Дело в том, что, невзирая на яростные разногласия, угрожавшие церкви чуть ли не расколом, Михаил Цезенский, неоднократно вызывавшийся папой Иоанном в Авиньон, наконец склонился принять приглашение, поскольку не желал, чтобы его орден полностью отторгся от понтифика. Михаил – генерал ордена францисканцев – замыслил в этот приезд и укрепить позиции ордена и наладить отношения с папой, в частности потому, что сознавал: порвав с папой, он сам во главе ордена долго не продержится.

Но многие подозревали, что папа, зазывая Михаила во Францию, готовит ловушку – собирается обвинить его в ереси и отдать под суд. Поэтому Михаилу советовали, прежде чем ехать в Авиньон, провести предварительные переговоры. Наилучшей была признана идея Марсилия – направить с Михаилом имперского легата, чтоб тот представлял в глазах папы точку зрения сторонников императора. И не столько для того чтобы в чем-то убеждать старика Кагора, сколько для защиты и поддержки Михаила, который оказался бы при этом членом имперской делегации и составил для мстительного папы уже не такую легкую добычу.

Однако и эта идея была чревата многочисленными осложнениями и требовала подготовительных мер. Поэтому возникла мысль о предварительной встрече между членами имперской делегации и полномочными представителями курии, в целях выяснения позиций сторон и обсуждения условий будущей встречи, в особенности – гарантий безопасности для итальянской стороны. Подготовить и провести эту первую встречу и был уполномочен Вильгельм Баскервильский. Он же предположительно назначался представительствовать от имперских богословов в Авиньоне – если сейчас удастся договориться с папской стороной об удовлетворительных гарантиях. Но заранее ожидалось, что это будет нелегко, поскольку, надо думать, папа, которому выгоднее заманить Михаила одного, чтобы легче сломить его, высылает в Италию посольство, снабженное соответствующими указаниями: по возможности провалить идею отправки к папскому двору имперских представителей.

Пока что Вильгельм действовал во всех отношениях крайне успешно. В итоге многочисленных переговоров с настоятелями различных монастырей (чем объяснялась вынужденная извилистость нашего пути) он остановил выбор на этом аббатстве, в котором мы находились. С одной стороны, было известно, что здешний аббат всецело предан императору. С другой стороны, он, благодаря незаурядному дипломатическому дару, был не на дурном счету и при папском дворе. Таким образом, именно это аббатство представляло превосходную нейтральную территорию, где могли сойтись представители обеих сторон.

Однако уловки понтифика вышесказанным не исчерпывались. Он понимал, что в стенах монастыря его посольство обязано подчиняться юрисдикции Аббата. Но в данном случае, под тем предлогом, что среди его послов предполагались и представители секулярного клира, папа

стремился не допустить подчинения делегации Аббату. Якобы опасаясь ловушки со стороны императора, папа выдвинул новые условия: чтобы охрана его легатов была вверена отряду лучников французского короля и отряд повиновался бы папскому доверенному лицу. Об этом я что-то смутно слышал в Боббио, в ходе беседы Вильгельма с папским представителем. Речь, помнится, шла о формулировке полномочий этого отряда, то есть требовалось оговорить, что имеется в виду под «соблюдением безопасности куриальных послов». В конце концов была принята формулировка, предложенная авиньонцами и выглядевшая довольно рационально. Согласно ей, вооруженная сила и ее командование получали юрисдикцию в отношении «всех тех, которые каким бы то ни было образом угрожают жизни и безопасности членов куриальной делегации, а также пытаются навязать ей поступки и решения путем применения насилия». Тогда это соглашение представлялось нам чистой формальностью. Однако ныне, пред лицом недавно совершившихся в аббатстве событий, Аббат был серьезно обеспокоен и поделился своими тревогами с Вильгельмом. Если посольство вступит в аббатство, а виновник двух преступлений еще не будет отыскан (на следующий день, когда преступлений стало уже три, беспокойство Аббата еще более возросло), – придется признать, что в этих стенах имеется некто вполне способный принуждать, путем насилия, папских легатов к поступкам и решениям.

Не имело смысла замалчивать совершившиеся преступления, ибо, если бы произошло нечто новое, папские посланники могли бы заявить о заговоре с целью покушения на них. Значит, было две возможности. Либо Вильгельм находит виноватого до появления делегации (и при этих словах Аббат смерил его долгим взглядом, очевидно упрекая за преступную медлительность), либо следует четко и ясно известить представителя папской власти о том, что происходит, и опереться на его сотрудничество, с тем чтобы эту обитель поставили под неусыпное наблюдение вплоть до конца переговоров. Второй исход, разумеется, удручал Аббата; это значило бы ему частично отказаться от собственного командования и предоставить собственных монахов в подчинение французам. Но идти на риск тоже не следовало. Вильгельм и Аббат оба были подавлены подобным оборотом дела; честно говоря, мало что было в их силах. Поэтому оба сочли за благо отложить окончательное решение до завтра. На том и покончили, положившись на высшее милосердие Господне и на изобретательность Вильгельма.

«Я сделаю все от меня зависящее. Ваше высокопреподобие, – подвел итог Вильгельм. – Хотя при всем при этом мне не слишком-то ясно, каким образом здесь может выйти вред будущим переговорам. Должен же понимать и посол папской стороны, что одно дело – то, что творит какой-то полоумный, висельник, или скорее всего просто какая-то беспокойная заблудшая душа, и совсем другое – те сущностные вопросы, ради которых съезжаются сюда самые уважаемые люди».

«Вы думаете? – отвечал на это Аббат, пристально глядя в лицо Вильгельму. – А между тем авиньонцы, во-первых, готовятся найти здесь беглых миноритов, то есть особ подозрительно близких к полубратьям, а во-вторых, столкнуться с личностями еще более опасными, чем полубратья, с неукротимыми еретиками, совершившими такое, – и тут Аббат перешел на шепот, – по сравнению с чем те злодейства (сколь угодно устрашающие), которые имели место в монастыре, меркнут и расточаются, как туман от солнечного света».

«Но ведь это не одно и то же! – с тревогою возразил Вильгельм. – Нельзя же ставить в один ряд миноритов Перуджийского капитула и дикую ораву еретиков, которая, перевирая евангельские заветы, подменяет борьбу против богатства цепью личных мщений и бессмысленных убийств!»

«Не так уж много лет минуло с тех пор, когда всего лишь в нескольких верстах от наших мест одна подобная орава, если вам нравится так ее называть, огнем и мечом опустошила владения епископа Верчелли и взгорья Новарской возвышенности», – сухо ответил Аббат.

«Это о брате Дольчине и апостолах…»

«О лжеапостолах», – исправил Вильгельма Аббат. Так при мне в который уж раз снова упоминали загадочного брата Дольчина и лжеапостолов, и снова со странным дрожанием в голосе, можно даже сказать, с каким-то ужасом.

«О лжеапостолах, – охотно поправился Вильгельм. – Но они ничего общего не имели с миноритами…»

«Разве только общих вождей. Лжеапостолы, как и минориты, поклонялись Иоахиму Калабрийскому, – перебил его Аббат. – Спросите хоть у вашего собственного собрата – Убертина».

«Хотелось бы, точности ради, заметить вашему высокопреподобию, что ныне он не мой, а ваш собственный собрат», – отвечал Вильгельм, улыбаясь и кланяясь, как бы поздравляя Аббата с таким великолепным пополнением для олицетворяемого им ордена, который теперь включал в свои ряды столь знаменитого человека.

«Знаю, знаю, – улыбнулся Аббат. – И вы знаете, с коликой братской приветливостью наш орден принял в свое лоно спиритуалов, бежавших от папского гнева. В их числе не только известный вам Убертин, но и многие другие, более скромные братья, о коих нам известно немного. А может статься, что следовало бы знать больше. Ибо случалось и так, что мы принимали неких беженцев, одетых в рясы миноритов, а позже узнавали, что превратности судьбы приводили их когда-то, скажем, в группы, близкие к дольчинианам…»

«Есть и такие?» – спросил Вильгельм.

«Есть и такие. Я ставлю вас в известность о том, что по существу, недостаточно известно и мне самому, по крайней мере – недостаточно для обоснованного обвинения. Однако учитывая, что вы ведете в аббатстве следствие, полагаю, что обязан сообщить вам и это. Поэтому скажу, что имеются причины подозревать (но только подозревать, поймите меня правильно; кое о чем я слышал, кое о чем догадываюсь, но доказательств нет) – что какой-то довольно темный период пережил наш келарь, появившийся в монастыре несколько лет назад, как раз после разгона миноритов».

«Келарь? Ремигий Варагинский – дольчинианин? Он мне показался тишайшим созданием. И во всяком случае он, кажется, интересуется мадонной Бедностью меньше всего на свете».

«К сожалению, я не знаю о нем почти ничего. Он нам очень полезен – его рачительности все аббатство не перестает изумляться. Я заговорил о нем только чтоб показать, до чего легко могут обнаружиться связи между братом и полубратом».

«И снова, к величайшему сожалению, ваша милость не совсем права, если мне будет позволено употребить такую формулировку, – возразил на это Вильгельм. – Мы ведь говорили о дольчинианах, а не о полубратьях. О последних же можно было бы много что сказать, хотя следовало бы в каждом случае особо уточнить, какая собственно из ветвей имеется в виду, так как они весьма неоднородны. Но только одного невозможно сказать ни о ком из них: что они кровожадны. Самое большее, в чем их можно упрекнуть, – это в том, что они, не разобравшись, начали проводить в жизнь те самые заветы, которые проповедовались спиритуалами с великой сдержанностью и с великой и истинной любовью к Господу, и в этом я готов согласиться с вами, что черта, отделяющая тех от этих, почти неразличима…»

«Однако все полубратья – еретики! – сердито перебил Аббат. – Они не удовлетворяются доказыванием бедности Христа и его апостолов… Я и эту их позицию не разделяю, но ее хотя бы можно было бы использовать против авиньонских спесивцев… Это бы еще куда ни шло. Но полубратья извлекают из своих убеждений такой практический силлогизм, который предоставляет им право бунтовать, жечь и грабить, нарушать всякие приличия…»

«Какие именно полубратья?»

«Все, любые, какие есть. Вы же знаете, что они покрыли себя позором неописуемых преступлений, не признают брачного союза, отрицают ад, грешат содомией и сближаются с богомильской ересью как булгарского, так и драгунского толков!»

«Умоляю вас, – проговорил в ответ Вильгельм, – не надо путать противоположные понятия! Из ваших слов выходит, что полубратья, патарены и вальденцы вместе с катарами в таких их разновидностях, как болгарские богомилы и раскольники из Драговиц, – все это совершенно одно и то же!»

«Совершенно одно и то же, – злобно отвечал Аббат. – Одно и то же, потому что все они еретики. Одно и то же, потому что все они угрожают правопорядку цивилизованного мира, и в частности правопорядку той империи, которую вы, если я не ошибаюсь, поддерживаете. Сто… нет, уже больше сотни лет назад выученики Арнальда Брешианского жгли одно за другим поместья богатых людей и кардиналов, и это были результаты лобмардского, патаренского лжеучения. Много ужасного узнал я об этих еретиках… Прочел у Цезария Гейстербахского… В Вероне каноник Св. Гедеона, Эвергард, как-то заметил, что его домохозяин каждую ночь покидает свои комнаты с женою и с дочерью. Он обратился не помню уж к которому из троих, желая выяснить, куда они ходят и чем занимаются. Пойдем с нами и увидишь, был дан ответ, и он последовал за ними в подземное помещение, весьма просторное, где присутствовали многие особы как женского, так и мужского пола. И некий ересиарх, в то время как все прочие пребывали в полном молчании, держал к ним речь, полную богохульственных проклятий, призывая всех, дабы, послушавшись его, немедленно извратили свою жизнь и свои обычаи. После проповеди загасили свечи, и каждый набросился на ближайшую к себе женщину, не делая различий между мужнею женою, юницею на выданьи, вдовою, или же девственницей, госпожою, или же служанкой, не делая исключения даже (и это самое в них богомерзкое, да не прогневается на меня милосердный Господь, что я пересказываю их поганые непотребства) ни для сестры своей, ни для дочери. Эвергард, увидевши все это и быв тогда еще юношею веселым и наклонным к роскошам, решил сойти за их ученика, и придвинулся к дочери ли хозяина или к иной девице, сие доподлинно неизвестно, и согрешил с нею, чуть только погасили свечу. И повторялось подобное, к прискорбию, более года, и в конце концов их преподаватель возгласил, что оный новопринятый юноша до того усердно посещает еженощные радения, что скоро и сам заслужит право воспитывать неофитов. Услышав это, Эвергард уразумел, в какую пропасть пал по своему малодушию, и сумел убежать от их соблазна, заявив в присутствии всех, что ходит на сборища не ради ереси, а ради девушек. Тогда его выгнали. Вот каковы, к вашему сведению, вероубеждения и обычаи всех этих еретиков, патаренов, катаров, иоахимитов, спиритуалов любого разбора. И удивляться тут нечему, если они не верят в грядущее воскресение плоти, не верят в ад, где наказываются злонамеренные, и полагают, что могут безнаказанно сделать любую пакость, и имеют нахальство называть себя calbaro, то есть “чистые”».

«Аббон, – сказал тогда мой учитель, – в этой великолепной, богоугоднейшей обители вы оторваны от мира, удалены от человеческой грязи. Жизнь в городах и богаче и сложнее, нежели видится отсюда, и во всем существуют свои степени, как вам, наверное, известно, – степени заблуждения, степени порока. Лот был гораздо менее греховен, чем его сограждане, злоумышлявшие даже на ангелов, сошедших с небес от Бога; а Петрово предательство не так уж сильно вопиет к небу, по сравнению с Иудиным, и не случайно прощено было из них первое, а второе – нет. Вот поэтому неправомерно уравнивать катаров с патаренами. Патарены – это движение за переустройство, идущее изнутри нашей общей святой матери церкви, изнутри принятых ею законов. Патарены просто стремились оздоровить образ жизни священнослужителей…»

«Призывая не принимать таинства от нечестных священников».

«Да, это было ошибочно. Но это единственное слабое место их теории. Они никогда не покушались изменить божественное законодательство».

«А как же патаренская проповедь – проповедь Арнальда Брешианского – в свое время, более двух веков тому назад, в Риме подтолкнула невежественную толпу к бунту, к поджогам господских и кардинальских домов?»

«Арнальд старался вовлекать в свое переустройство городские власти. Они не пошли ему навстречу, и ему пришлось тогда опереться на нищих и малоимущих. Он не несет ответственность за пыл и ярость невежественных толп, подхвативших его призыв: сделать город менее порочным».

«Город всегда порочен».

«Город – то место, где обитает народ Божий, коего вы, коего все мы являемся пастырями. Это место нечестивое, где богатый прелат проповедует добродетели перед теми, кто исстрадался от бедности и голода. Патаренское возмущение родится именно от этого. Это грустно, но объяснимо. Катары же – другое дело. Катары – одна из ближневосточных ересей, она вне учения нашей с вами святой церкви. Я не знаю, в самом ли деле они совершали и продолжают совершать преступления, которые за ними числят. Знаю только, что они отвергают брак, отрицают ад. Хотелось бы увериться, что им не приписывают злодеяния, в коих они вовсе не повинны, только по той причине, что они исповедуют определенные идеи… разумеется, превратные».

«Итак, вы утверждаете, что катары не соприродны патаренам и что и те, и другие не являют собой два гнусных лица из великого множества мерзейших лиц богохульной диавольщины?»

«Я утверждаю, что многие из существующих ересей, независимо от толка проповедуемых доктрин, укореняются среди простецов потому, что указывают им какие-то пути к другому образу жизни. Я утверждаю, что чаще всего простые люди в теориях не разбираются. Я утверждаю, что очень и очень часто необразованная толпа смешивает катарскую проповедь с патаренской, а эти обе – с проповедью спиритуалов. Жизнь обычных людей, Аббон, не освещается познаниями. У них нет той внимательности к точнейшим дефинициям, которая так помогает нам. Их жизнь беззащитна перед немощами, болезнями, косноязычна от темноты. Поэтому для многих подобных людей примкнуть к еретической группировке означало попросту наконец-то выкричать свое недовольство. Дом кардинала можно подпалить как для оздоровления быта клира, так и для оповещения всего человечества, что кардинал ошибается, утверждая, будто ад существует. Чаще всего, говоря по совести, дома жгут из-за того, что существует ад наземный, в котором и проживает стадо, имеющее нас с вами своими пастырями. Вдобавок вы должны прекрасно знать, что подобно тому как они сами не производят различий между булгарской распоповщиной и учением отца Липранда, точно так же имперские властодержцы и их служители не отличают спиритуалов от еретиков. Нередко князья-гибеллины, дабы ущемить противника, раздували в народе боевой катарский дух. По-моему, это было нехорошо. А затем происходило следующее. И церковники, и те же самые гибеллины, чтобы отделаться от слишком ретивых и опасных вероискателей-простолюдинов, приписывали одним из них теории других и доводили и тех, и этих до костра. Я сам видел, клянусь вам, Аббон, я видел собственными глазами, как людей достойной жизни, чистосердечно придерживавшихся бедности и целомудрия, но не друживших с епископами, эти самые епископы передавали мирским властям – императорским или же городским (если дело происходило в вольном городе), представляя их как прелюбодеев, содомитов, чернокнижников; в каковых преступлениях мог бы быть виновен, допускаю, кто-нибудь другой, но только не эти, хорошо известные мне люди. Значит, простецы – не более чем человеческое мясо; их двигают, когда это требуется, против неприятеля, а впоследствии, когда они не нужны, их уничтожают».

«Так, так, – с нескрываемой насмешливостью подхватил за ним Аббат. – Так что же, значит, брат Дольчин со своими головорезами, и Герард Сегалелли, и герардовы кровожадные бандиты, – как они все теперь имеют именоваться? Злонадеянными катарами или добронравными полубратьями, скотоложниками-богомилами или преобразователями-патаренами? Что вы хотите этим сказать, брат Вильгельм, вы, разбирающийся в еретиках так прекрасно, как будто вы – один из них? На чьей же стороне, по вашему, истина?»

«Часто бывает, что ни на чьей», – печально отвечал Вильгельм.

«Ну вот, видите сами, что и вы уже не в состоянии отличить еретика от не еретика? У меня хотя бы имеется твердое правило. Я знаю, что еретики – это те, кто угрожает правопорядку. Правопорядку управления народом Божиим. И я поддерживаю империю потому, что она обеспечивает этот порядок. Я противостою папе потому, что он допускает к духовной власти городских епископов, а те объединяются с негоциантами и с мастеровыми из цехов, и порядок нарушается. Они не в состоянии поддерживать порядок собственными силами. Мы же его поддерживаем на протяжении многих веков. А насчет обращения с еретиками, у меня есть на сей счет еще одно правило, которое было в свое время сформулировано Арнальдом Амальриком, наседником Сито. Когда его пришли спрашивать, как обойтись с горожанами Безье, города, обвиненного в еретических настроениях, он ответил: “Убивайте всех, Господь признает своих”».

Вильгельм уткнулся взглядом куда-то в плиты настила и долго не отвечал. Потом он сказал: «Город Безье был взят, и наши не разбирали ни происхождения, ни возраста, ни пола, и двадцать тысяч человек полегло от меча. Когда перебили всех жителей, город был разграблен и сожжен».

«И священная война – тоже война».

«И священная война – тоже война. Поэтому мне кажется, что священных войн не должно быть. Впрочем, что я говорю. Я ведь тут олицетворяю интересы Людовика, который жжет и разоряет итальянские города один за другим. Вообще-то я странным образом оказался вовлечен в самые непонятные союзы. Непонятен союз спиритуалов с императором; непонятен союз императора с Марсилием, утверждающим, что верховная власть должна принадлежать народу. Непонятен и наш с вами союз, святой отец, при глубочайшем расхождении наших целей и привычек. Однако две цели у меня с вами общие. Успех переговоров и раскрытие убийцы. Будем же стараться помогать друг другу».

Аббат распахнул ему объятия. «И обменяемся поцелуем мира, о брат Вильгельм. С человеком вашей образованности я мог бы длительное время дискутировать о разных каверзах богословия, тонкостях морали. Однако не будем отдаваться пылу спора, не уподобимся парижским преподавателям. Вы правы, у нас с вами совместная важная цель, и давайте продвигаться к цели в обоюдном согласии. Я заговорил обо всем этом лишь из-за того, что думал о возможной взаимосвязи, понимаете? Или, вернее, думал о том, что кто-нибудь другой может подумать о возможной взаимосвязи между совершившимися преступлениями и теоретическими взглядами ваших собратьев… Поэтому я хотел бы предупредить вас… Мы обязаны предвидеть любое обвинение и любой выпад авиньонцев».

«Следует ли так понять, что ваше высокопреподобие благоволит предуказать направление моих поисков? Вы предполагаете, что в основе нынешних преступлений могут находиться темные мотивы еретического прошлого какого-либо монаха?»

Аббат молчал, глядя в глаза Вильгельму с совершенно непроницаемым лицом. И сказал: «В этой прискорбной истории следователь – вы. Вам и пристало подозревать. И рисковать, что подозрение несправедливо. А я здесь – только отец своим чадам. К сему добавлю, что если бы мне сделалось известно – доподлинно и с доказательствами – предосудительное прошлое какого-либо моего монаха, я сам бы вырвал сорную траву. Все, что знаю я, знаете и вы. Что я не знаю – узнаете вы, благодаря вашей проницательности. Но в любом случае, о любом открытии

непременно и в первую очередь вы оповестите меня». Попрощался и вышел.

«Дело осложняется, любезнейший Адсон, – произнес Вильгельм, сильно помрачнев. – Мы гоняемся за какой-то рукописью, вникаем в диатрибы слишком любопытных монахов и в похождения монахов слишком любострастных… А в это время все определеннее вырисовывается другой след – надо сказать, совершенно другой… Значит, этот келарь… И он привел с собой это странное животное – Сальватора… Ладно. Сейчас пойдем отдохнуть, раз мы собираемся бодрствовать ночью».

«Вы все-таки хотите проникнуть ночью в библиотеку? Не оставляете тот, первый след?»

«Разумеется, нет. Да и кем доказано, что здесь два разных следа? И вдобавок история келаря может оказаться напрасным подозрением Аббата».

Мы отправились в странноприимные палаты. Дойдя до порога, он остановился и сказал так, будто разговор и не был прерван: «Вообще-то когда Аббат просил меня расследовать гибель Адельма, он имел в виду предосудительные связи среди его молодых монахов – и ничего более. Однако теперь, когда погиб Венанций, возбудилось много новых подозрений. Аббат должен догадываться или знать, что ключ к этой тайне – библиотека. А чтоб я вел следствие о библиотеке, он допустить не хочет. Вот и подбивает заняться келарем – чтобы отвлечь от Храмины…»

«Да почему ему не желать, чтобы…»

«Не задавай лишних вопросов. Аббат с самого начала заявил мне, что библиотека под запретом. У него на это, видимо, есть причины. А может, он и сам замешан в каком-то деле, которое, по его понятиям, не могло иметь касательства к смерти Адельма. Но сейчас он видит, что скандал разрастается и может дойти даже до него. И поэтому не хочет, чтобы выяснилась истина, – или по крайней мере чтоб ее выяснил я».

«Да что же… значит, мы в таком месте, откуда отступился Господь…» – в отчаянии сказал я.

«А ты много видел мест, где Господь чувствовал бы себя уютно?» – спросил в ответ Вильгельм, глядя с высоты своего роста.

Потом он отослал меня спать. Укладываясь, я сказал себе, что напрасно отец отправил меня смотреть мир, ибо мир сложнее моих понятий о мире. Слишком много приходилось узнать.

«Спаси мя, Господи, от пасти львов», – помолился я, засыпая.

Второго дня
ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ,

где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают

Когда я проснулся, час вечерней трапезы почти пробил. Со сна я был вроде как в тумане, ибо дневной сон с плотским грехом сходен: чем больше его вкушаешь, тем больше жаждешь и мучишься одновременно и от пресыщенности и от ненасытности. Вильгельма в келье не было – он, очевидно, встал давно. Я поискал его по аббатству и встретил выходящим из Храмины. Он сказал, что был в скриптории – листал каталог, смотрел работы монахов и пытался подобраться к столу Венанция. Но под тем или иным предлогом все бывшие в скриптории словно сговорились не пускать его к столу. Сначала его занимал Малахия, показывавший какие-то ценные миниатюры. Потом пристал Бенций – с сущими пустяками. Когда же он все-таки вырвался и сел к столу Венанция, возник, с предложением помощи, Беренгар, от которого избавиться было совершенно невозможно.

В конце концов Малахия, убедившись, что учитель до своего все-таки дойдет и вот-вот примется за записки Венанция, недвусмысленно заявил ему, что, прежде чем рыться в столе покойного, пусть принесет разрешение Аббата; что он сам, Малахия, хоть и библиотекарь, но не копается в имуществе мертвого; что должны быть деликатность и дисциплина; и что в любом случае указание Вильгельма не нарушается – то есть стола никто не трогает и трогать не будет, пока Аббат не решит, как быть дальше. Вильгельм заикнулся, что Аббат дал ему полномочия на дознание в любых помещениях монастыря. Малахия в ответ поинтересовался не без ехидства, получены ли полномочия обыскивать скриптории или, Господи сохрани, библиотеку. Вильгельм понял, что задираться с Малахией не стоит. Хотя, разумеется, вся эта беготня и таинственность вокруг венанциевых записок во много раз усилили желание с ними ознакомиться. Но до того велика была решимость вернуться ночью – хоть и неизвестно каким путем, – что он предпочел не осложнять обстановку. Впрочем, надо признать, затаил желание отыграться, каковое, когда бы не от похвальнейшей страсти к истине исходило, посчиталось бы неуместным и даже возбранным.

Не входя в трапезную, мы совершили еще несколько кругов по церковному дворику, чтобы развеять сонную одурь в холодном воздухе осеннего вечера. Там же прогуливались, медитируя, и другие монахи. В саду, примыкавшем к дворику, мы заметили престарелого Алинарда Гроттаферратского, который, в последние годы скорбный плотию, большую часть дня – когда не молился – проводил на свежем воздухе. Он, похоже, не мерз и неподвижно сидел у внешнего края колоннады. Вильгельм пожелал ему здравия. Старик был заметно рад, что кто-то к нему обращается.

«Ясный денек», – сказал Вильгельм.

«Божией милостью», – ответил старик.

«Ясны небеса, а на земле довольно мрачно, – продолжил Вильгельм. – Вы знавали Венанция?»

«Венанция которого? – переспросил старец. – А, который умер? Это зверь по аббатству рыщет».

«Какой зверь?»

«Из моря выходящий. О семи головах, о десяти рогах, на рогах у него десять диадем, на головах три имени богохульных. Видом подобен барсу, ноги как у медведя, пасть как у льва… Видел я этого зверя…»

«Где? В библиотеке?»

«В библиотеке? Почему в библиотеке? Я давно не хожу в скрипторий. В библиотеке не был никогда. В библиотеке никто не был никогда. Я знал тех, кто бывал в библиотеке…»

«Малахию и Беренгара?»

«Да нет… – старик внезапно захохотал скрипучим фальцетом. – Раньше. Того библиотекаря, что был до Малахии, давно…»

«Как его звали?»

«Не помню. Он умер, когда Малахия был еще молод. А тот, который был до учителя Малахии – тот был помощником библиотекаря в мою молодость… Но я в библиотеку никогда не ходил. Там лабиринт».

«Библиотека помещается в лабиринте?»

«Се лабиринт величайший, знак лабиринта мирского, – размеренно возгласил старец. – Вход и широк и манит; всякий, кто входит, погиб. Никто не сумеет выбраться. Не надо ходить за Геркулесовы столпы».

«Итак, вы не знаете, как пройти в библиотеку, когда двери Храмины заперты».

«Почему не знаю? – хихикнул старик. – Это многие знают. Иди через мощехранилище. Можно идти через мощехранилище. Но не хочется через мощехранилище идти. Мертвецы сторожат путь».

«Так кто сторожит путь – мертвецы в мощехранилище или те, которые блуждают ночью по библиотеке со светильниками?»

«Со светильниками? – удивленно повторил старик. – Таких рассказов я не слышал. Нет, мертвецы – те в мощехранилише. Мощи потихоньку переселяются с кладбища – охранять путь. Ты разве не видел в часовне алтарь, ведущий в мощехранилище?»

«Это в третьей слева после поперечного нефа?»

«В третьей. Может быть, и в третьей. Это в той, где на алтарном камне скелеты. Четвертый череп справа. Ткни в глаза. Попадешь в мощехранилище. Но ты туда не ходи. Я туда не ходил. Аббат не велит».

«А зверь? Где вы видели зверя?»

«Какого зверя? А, Антихриста… Он скоро явится. Тысячелетие исполнилось, и мы ждем зверя».

«Но тысячелетие исполнилось триста лет назад, а зверя все нет».

«Антихрист приходит не тогда, когда исполняется тысяча лет. Исполняется тысяча лет – начинается царство праведных. Потом придет Антихрист и разгонит праведных, а потом будет последняя битва».

«Но праведные будут царить еще тысячу лет, – сказал Вильгельм. – Либо они царили со смерти Христовой до конца первого тысячелетия, и значит, Антихрист должен был уже появиться. Либо они пока не царили, и значит, до Антихриста еще далеко…»

«Тысячелетие отсчитывается не от смерти Христа, а от Константинова дара. С тех пор прошло тысячелетие…»

«И что же – сейчас царство праведных?»

«Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я устал. Подсчеты очень трудны. Беат Лиебанский все подсчитал. Спроси у Хорхе, он молодой, память хорошая… Но время назрело. Ты ведь слышал семь труб?»

«Какие семь труб?»

«Ты что, не слышал, как погиб первый мальчик? Рисовальщик? Первый Ангел вострубил, и сделались град и огнь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй Ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью… Разве не в кровавом море утонул второй мальчик? Жди третьей трубы! Смерть придет от вод. Господь карает нас. Мир вне аббатства разорен еретиками, мне сказали, что на римском престоле папа-извращенец, использует гостий{*} для некромантии, кормит ими своих мурен… И у нас кто-то нарушил заклятие, сломал печати лабиринта…»

«Откуда вы знаете?»

«Знаю. Слышу. Все шепчутся. В аббатство вторгся грех. Бобы есть?»

Последний вопрос был явно обращен ко мне и смутил меня до крайности. «У меня нет бобов…» – робко ответил я.

«На другой раз принеси бобы. Я держу их во рту. Видишь, зубов совсем нет. Держу, пока не набухнут. Они гонят слюну, aqua fons vitae[42]. Завтра принесешь бобы?»

«Завтра непременно принесу бобы», – заверил я его. Но старик уже дремал. Мы отошли и отправились в трапезную.

«Что вы думаете о его словах?» – спросил я учителя.

«Он в святом безумии столетних старцев. Что в его словах истина, что бред – сразу не скажешь. Но думаю, путь в Храмину он указал верно. Я ведь видел, откуда вышел Малахия ночью. В той часовне действительно каменный алтарь и высечены черепа. Так что вечером поглядим».

Второго дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где открывается Храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некромантским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах; в довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки

Ужинали в мрачном молчании. Прошло чуть больше двенадцати часов после находки тела Венанция. Все косились на его пустое место. Когда в час повечерия монахи гуськом потянулись к хору – это больше всего походило на похоронную процессию. Мы с учителем стояли службу в поперечном нефе, чтоб следить за третьей часовней. Свету было мало, и когда Малахия вынырнул из мрака и занял свое место, мы снова не смогли определить, откуда именно он появляется. Тем не менее мы шагнули в тень и укрылись в боковом нефе, чтобы незаметно для всех остаться после службы. Под плащом у меня был фонарь, запасенный на кухне во время вечери. Зажечь его я предполагал от большой бронзовой треноги, на которой огонь горел всю ночь. У меня в фонаре был новый фитиль и очень много масла. Света, добытого мной, должно было хватить надолго.

Я был слишком возбужден предстоящим походом, чтоб уследить за службой. Как она кончилась, я и не заметил. Монахи опустили на лица куколи и проследовали медленной цепочкой в направлении своих келий. Церковь опустела. Шевелились и бегали блики лампадного огня.

«Ну, – сказал Вильгельм, – приступим».

Мы пробрались в третью часовню. На подалтарном камне и точно было вырезано множество черепов. Их пустые глубокие глазницы нагоняли страх. Опорой им служила груда искусно вырезанных из камня берцовых костей. Вильгельм вполголоса повторил слова, слышанные от Алинарда: «Четвертый справа череп, ткни в глаза…» – и медленно ввел пальцы в глазницы мертвого лика. Что-то заскрипело, алтарь сошел с места, повертываясь на невидимой оси, и перед нами открылся темный проход. Посветив моим фонарем, мы увидели сырые ступени. Прежде чем спускаться, посовещались, захлопывать ли за собой тайный вход. «Лучше не надо, – сказал Вильгельм. – Неизвестно, удастся ли открыть изнутри. От погони это все равно не спасет. Тот, кто приходит ночью к подземному ходу, явно умеет открывать его. Нас обнаружат так или иначе».

Сойдя с десяток ступеней, мы оказались в глубоком переходе. По стенам шли вытянутые ниши, какие я видел позднее во многих катакомбах. Но тогда я был в оссарии впервые в жизни и очень боялся. Кости монахов в течение многих столетий выкапывались из земли и укладывались в нишах. При этом скелеты разбирались, так что в одной нише были мелкие кости, в других – черепа, уложенные аккуратной пирамидкой, чтоб не покатились. Это было жуткое зрелище, особенно в неровном свете моего прыгающего фонаря. В следующей нише лежали одни руки. Куча рук, навеки сцепившихся высохшими пальцами.

Вдруг жуткий вопль исторгся из моей груди. В скопище мертвого праха было что-то живое. Оно метнулось и визгнуло.

«Крысы», – привел меня в чувство учитель.

«Что они тут делают?»

«То же, что и мы с тобой. Идут. Мощехранилище ведет в Храмину, а значит, в кухню. И в библиотеку, где вкусные книги. Теперь можешь понять, почему у Малахии такой трагический вид. Он ходит тут два раза в день. В самом деле не до смеха».

«А действительно, почему в Евангелии не сказано, чтобы Христос смеялся, – спросил я без видимой логики. – Что, Хорхе говорит правду?»

«Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос. Меня это как-то мало интересует. Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено Сыну Божию, и мог предвидеть, до чего дойдем мы, христиане. Смотри, мы у цели».

И в самом деле, благодарение Господу, переход закончился. Пошли новые ступеньки. Толкнув толстенную деревянную окованную железом дверь, мы оказались на кухне, позади очага. Отсюда винтовая лестница вела в скрипторий. И вдруг мы услышали наверху какой-то шорох.

На мгновение мы оба замерли. Потом я прошептал: «Не может быть. До нас никто не проходил».

«Это если предположить, что проход через мощи – единственный. Но за минувшие века в этой скале, должно быть, понаделано множество других ходов. Впрочем, деваться некуда. Пошли. Погасим свет – не сможем двигаться, оставим – спугнем того, кто над нами. Остается уповать, что этот кто-то, если он действительно там есть, боится нас не меньше, а то и больше, чем мы его».

Мы вошли в скрипторий из южной башни. Стол Венанция был в самом дальнем конце. Фонарь осветил только несколько локтей пространства, а зал был очень велик. Хотелось надеяться, что во дворе нет никого, кто заметит перемещение света в окнах скриптория и подымет шум. На столе все было вроде как прежде, но Вильгельм нагнулся, заглянул на нижние полки и вскрикнул.

«Сегодня я видел тут две книги, одну по-гречески. Она пропала. Кто-то стащил ее. И весьма поспешно. Смотри, один пергамент упал на землю…»

«Но ведь стол охранялся…»

«Вот именно. Значит, к столу подходили недавно… или только что! Возможно, вор совсем рядом». – Он обернулся к темноте и, мощно раскатывая звуки под сумрачными сводами зала, прокричал: «Если ты тут – берегись!» Эта тактика показалась мне удачной, поскольку, как и говорил Вильгельм, всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя.

Вильгельм расправил найденный под столом лист, нагнулся ближе и попросил посветить. Я поднес к листу свет и увидел, что он наполовину чист, наполовину исписан мельчайшими буквами, какими – я не сразу распознал.

«Это что, по-гречески?» – спросил я.

«Да, но что-то непонятное…» – Он вытащил из рясы свои стекла, насадил их на нос, затем сунулся к листу еще ближе.

«По-гречески, очень мелко и беспорядочно. Даже в стеклах трудно прочесть. Подвинь-ка лампу».

Он поднял лист к самому носу, а я, не находя места, пытался пристроиться рядом и вместо того, чтоб стать с фонарем у него за плечами, почему-то забежал спереди. Он велел отойти, я засуетился и почти что задел фонарем край листа. Вильгельм резко оттолкнул меня и спросил, чего я добиваюсь? Чтоб документ сгорел? И вдруг вскрикнул не своим голосом. Я взглянул и увидел, что верх страницы уже не пуст. Он был испещрен какими-то странными темно-желтыми значками. Вильгельм схватил фонарь, осторожно поднес к листу. Медленно, как будто невидимая рука чертила «Мене, текел, фарес», проступили на белом освещенном с изнанки фоне какие-то кружки и черточки – литеры неведомого алфавита, скорее всего некромантского.

«Потрясающе! – сказал Вильгельм. – Все интереснее и интереснее! – И тут же оглянулся. – Лучше не извещать о нашем открытии таинственного незнакомца. Если он еще здесь». Он снял и бережно положил на стол стекла, затем скатал пергамент в трубку и сунул в складки рясы. От всех этих таинственных событий у меня шла кругом голова. Я открыл рот, чтобы спросить. Но тут раздался резкий, как удар, щелчок. Это трещала ступенька верхнего пролета восточной, ведущей в библиотеку лестницы.

«Он там! Держи!» – закричал Вильгельм. Мы метнулись к лестнице. Вильгельм одолел расстояние в несколько прыжков. Я из-за фонаря бежал медленнее и поневоле отстал. Кто-то спотыкался, цеплялся, валился, грохотал по ступенькам. Потом все смолкло, и под лестницей в свете фонаря я увидел лежащего Вильгельма, а рядом – книгу большого формата в тяжелом переплете и с застежками из металла. Вильгельм смотрел на книгу с выражением необычайной задумчивости.

Но вдруг опять что-то метнулось, книга исчезла, и тяжелый шлепок послышался где-то около венанциева стола. Это кто-то подскочил сзади, схватил и швырнул книгу в другой конец скриптория. «Ох, я идиот! – взвыл Вильгельм. – Скорее!» Мы ринулись обратно.

Вильгельм опять поспел первым. Я видел, как он шарит вокруг стола Венанция. Но вдалеке, я заметил, какая-то тень скользила по направлению к западной лестнице.

Не помня себя, я сунул фонарь Вильгельму и вслепую рванулся к лестнице. Я трепетал всем телом, как солдат Христова воинства, бьющийся со всеми легионами ада. Летя вниз по лестнице, я путался в полах рясы. Это был единственный, клянусь, единственный миг моей жизни, когда я сожалел о вступлении в монашество. Но тут же, как молния, сверкнула мысль, что и противник мой, должно быть, скован в движениях по той же причине. Вдобавок, если он сумел подобрать свою книгу, – он еще и с поклажей. Со всех ног я домчался до кухни, выскочил из-за хлебной печи и в свете звезд, бледно озарявших широкие сени, увидел черную фигуру, проскальзывавшую в дверь трапезной. Дверь захлопнулась. Я с разбегу налетел на дверь. Дернул, приоткрыл, ворвался, оглянулся – никого. Выход плотно заложен засовом изнутри. Я стал озираться. Все было тихо и темно. Вдруг в кухне засветилось. Я прижался к стене. На пороге появился человек с фонарем. Я вскрикнул. Это был Вильгельм.

«Никого? Так я и думал. Конечно, он ушел не через дверь! И не к мощам?»

«Нет, нет, он ушел отсюда, но я не могу понять…»

«Я же тебе говорил, что должны быть какие-то другие ходы. Искать их бессмысленно. Этот незнакомец уже, вероятно, вынырнул где-то в другом конце аббатства. С моими стеклами».

«Как с вашими стеклами?»

«Увы. Он не смог отобрать записку и довольно остроумно вышел из положения, захватив мои зрительные стекла».

«Зачем они ему?»

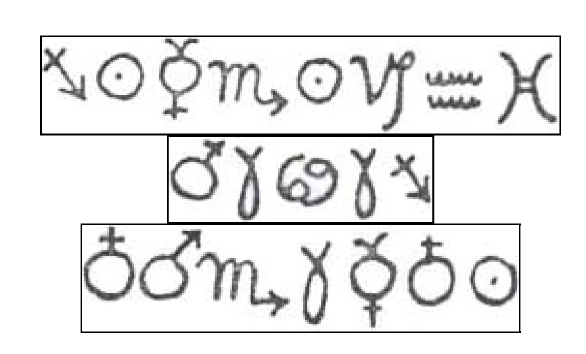
«Затем, что он слышал, как мы с тобой говорили о тайной записи! Он знает ее важность и рассудил, что без стекол я ее прочесть не смогу. Притом он уверен, что и показывать ее я никому не стану. Теперь все равно – что эта записка есть, что ее нет».

«Как же он до этого додумался?»

«Во-первых, я сам объяснил их действие стекольщику. Во-вторых, я надевал их утром в скриптории, чтоб осмотреть бумаги Венанция. Следовательно, уже много людей знает, что этот прибор мне необходим для чтения. На самом деле обыкновенную рукопись я еще, может быть, и без них разберу, но, конечно, не это, – он снова раскатал загадочный пергамент, – где греческие записи слишком мелки, а то, что наверху, слишком непонятно».

Он опять приблизил лист к огню, и еще ярче – будто волшебством – проявились тайные знаки. «Венанций хотел скрыть важные сведения и взял невидимые чернила, заметные только

при нагреве. А может, лимонный сок… Жаль, неизвестно, каким составом он пользовался. Все может пропасть так же внезапно, как появилось. Вот что. У тебя глаза хорошие. Давай-ка поживей перерисуй эти знаки. Только точно. И как можно крупнее». Я все исполнил – перерисовал, не понимая. Вышло четыре-пять строчек совершенно чародейского вида. Воспроизведу несколько первых знаков, чтобы дать читателю представление, с какой загадкой мы столкнулись.



Когда я все переписал, Вильгельм глянул, держа табличку в вытянутой руке. «Это секретная азбука. Ее надо разгадать, – сказал он. – Знаки, очевидно, и были худо нарисованы, а ты их еще больше изуродовал. Но все-таки можно понять, что это знаки зодиака. Видишь в первой строчке… тут у нас… – Он еще сильнее сощурился и еще дальше отодвинул табличку. – …Ну-ка… Стрелец, Солнце, Меркурий, Скорпион…»

«А что они значат?»

«Если писал совсем простак, он должен был использовать самую распространенную азбуку: Солнце – A, Юпитер – B… И тогда первая строка выглядит так… Попробуем. Запиши… RAIQASVL… Он осекся. – Нет, это бессмыслица, и Венанций был не так прост. Он перетасовал азбуку, изобрел какой-то новый ключ. Ключ мы найдем».

«А как?» – спросил я, обмирая от восхищения.

«С помощью арабской методики. Лучшие трактаты по криптографии вышли из-под пера нехристиан. В Оксфорде я читал кое-какие… Бэкон был тысячу раз прав, говоря, что путь к познанию лежит через изучение языков. Абу Бахр Ахмад бен Али бен Вашийя ан-Набати много веков назад написал свою “Книгу о горячечной страсти правоверного мусульманина к загадкам древних письмен”, в которой привел множество рекомендаций, как составлять и разбирать тайные азбуки, необходимые для магического употребления, но не менее полезные и для переписки между воинскими отрядами или между царями и их посольствами. Мне попадались и в других книгах арабов довольно остроумные советы. Например, замещать одну букву другой, писать слова задом наперед, менять порядок букв: писать их через одну, а потом все пропущенные. Кроме того, вместо букв подставляются другие знаки, к примеру тут – зодиакальные. Нумеруются буквы алфавита, потом буквы секретной азбуки, потом соотносятся порядковые номера…»

«А какую систему употребил Венанций, мы не знаем…»

«Надо бы проверить все по порядку… И еще множество других… Прежде всего при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится».

«А после этого и разгадывать незачем!» – захохотал я.

«Не скажи. Требуется вообразить, как могут звучать первые слова. А потом проверить, распространяется ли правило на остальной текст. Например… В этой записке несомненно указан путь в предел Африки. Я почти уверен. И все благодаря ритму… Попробуй сам вдуматься в первые три слова. На буквы не гляди – только на их количество… IIIIIII IIII IIIIII… Разделим эти слова на слоги по две-три буквы. Что выйдет? Та-та-та, та-та, та-та-та… Тебе ничего не

приходит в голову?»

«Нет… ничего…»

«А мне приходит, Secretum finis africae…[43] Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буква должны совпасть. Так и есть: в обоих случаях знак Земли. Первая буква первого слова – S – должна быть та же, что и последняя буква второго… Прекрасно. Она тоже повторяется. Знак Девы. Похоже, мы на верном пути. Тем не менее, увы, не исключается, что это цепь совпадений. Надо искать закономерность».

«Где искать?»

«В голове. Придумывать. И проверять. На эти забавы с проверками, видимо, уйдут сутки. Больше – вряд ли. Потому что, запомни, нет такой цифири, которая при умении и терпении не поддалась бы разгадке. Но сейчас у нас времени нет. Надо осмотреть библиотеку. Кроме того, без зрительных стекол вторую часть записки мне все равно не прочесть, и тут ты мне, к сожалению, не поможешь, ибо на твой взгляд…»

«Еллинские письмена невразумительны зело…» – униженно лепетнул я.

«Вот именно. Теперь видишь, сколь прав был Бэкон. Учись! Но не будем унывать. Возьмем пергамент и твои выписки и отправимся в библиотеку. Я чувствую, что теперь и десять легионов ада меня не остановят».

Я поспешно перекрестился. «А кто же с нами сейчас сражался? Бенций?»

«Бенций с ума сходит от любопытства – что у Венанция на столе… Но, по-моему, на такие каверзы он не способен. К тому же он вроде бы предлагал нам союз… Да и слишком труслив, чтобы соваться ночью в Храмину…»

«Значит, Беренгар? Или Малахия?»

«Беренгар. С него станется. К тому же… Он в ответе за книгохранилище. Он терзается муками совести, знает, что выдал важную тайну, в результате чего книгой завладел Венанций. Должно быть, Беренгар старался вернуть книгу на место. Подняться в библиотеку мы ему не дали. Теперь он, надо думать, прячет ее где-то в аббатстве. Возможно, мы сумеем захватить его с поличным – если Бог поможет, – когда он понесет книгу на место…»

«Но те же мотивы могли быть у Малахии…»

«Вряд ли. Малахия имел сколько угодно времени, чтоб обыскать стол Венанция. Ведь он оставался здесь один – закрывать здание. Я много думал об этом, но помешать не мог. Теперь мы видим, что опасался я напрасно: обыска он не устроил. Делаем вывод: Малахия не знает, что Венанций пробирался в библиотеку и что-то выносил. Однако это знают Беренгар и Бенций… а также ты и я. Мог еще знать Хорхе – из исповеди Адельма, – но, разумеется, это не он с такой скоростью улепетывал по винтовой лестнице…»

«Значит, либо Беренгар, либо Бенций».

«А почему не Пацифик Тиволийский или не какой-нибудь еще монах из тех, с которыми мы сегодня говорили? И не стекольщик Николай которому известно назначение моих линз? И не этот странный Сальватор, который, как мне намекали, неизвестно зачем повадился по ночам в Храмину? Надо всегда следить, чтобы круг подозреваемых лиц без веских причин не суживался. Этот Бенций хочет принудить нас искать только в одном направлении. Кто знает – вдруг Бенцию это выгодно?»

«С виду он честен».

«Безусловно. И учти, что первейший долг порядочного следователя – подозревать именно тех, кто кажется честным».

«Какая гадость работа следователя», – сказал я.

«Поэтому я ее оставил. Но видишь – приходится браться за старое. Пошли в библиотеку».

Второго дня
НОЧЬ,

где удается наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, – заблудиться

Мы снова двинулись наверх, теперь уже по восточной лестнице, так как она вела и выше – на библиотечный этаж. Фонарь плыл перед нами в высоко поднятой руке. Я припоминал рассказ Алинарда о лабиринте и готовился встретить любые ужасы.

И был удивлен, когда, вступив в таинственную запретную область, мы увидели небольшую семиугольную комнату, лишенную окон, пропахшую прахом и плесенью. Именно этот запах, как обнаружилось после, царил на всем этаже. Словом, ничего пугающего.

Комната, как сказано, была о семи стенах. В четырех из них между вмурованными в камень столпами открывались просторные двери-проемы, увенчанные полукруглыми арками. Вдоль глухих же стен шли огромные шкапы, аккуратно уставленные книгами. Над каждым прибита дщица с номерами; то же отдельно над каждой полкой. Несомненно здесь воспроизводилась та самая цифирь, которую мы видели в каталоге. Посреди комнаты стол, на нем снова книги. Пыль на всех томах лежала не слишком толстым слоем – значит, их достаточно регулярно протирали. Пол тоже был относительно чист. На одной из стен поверх арки тянулась надпись крупными литерами: Apocalypsis Iesu Christi. Шрифт был старинный, однако надпись нисколько не выцвела. Позднее мы разглядели, что это достигалось особой техникой: буквы были вырезаны глубоким рельефом на камне, а потом залиты краской. Такая отделка часто применяется в церквах.

Мы прошли в одну из арок. Новая комната, на этот раз с окном, куда вместо стекол вставлены гипсовые пластины, две стены глухих, одна с проходом, таким же, как предыдущий, сквозь который мы вошли. За ним новая комната, в ней тоже две глухих стены, одна с окошком и одна с проходом, уводившим в следующие помещения. И в этих двух комнатах имелись надписи тем же шрифтом, что в предыдущем зале, но иного содержания. Первая надпись гласила: «Super thronos viginti quatuor»[44], вторая – «Nomen illi mors»[45]. В прочих отношениях эти две комнаты, хотя и меньшие, чем самая первая, и не семиугольные, как та, а четырехугольные, не отличались от нее убранством: шкапы с книгами, посередине стол.

Перешли в третью комнату. Она оказалась пустой – ни книг, ни вывески. Зато под окном каменный алтарь. Три дверных проема: один тот, из которого мы вышли, другой вел в семиугольную комнату – ту самую, с которой мы начали, – третий уводил в новое помещение, похожее на все прежние, но с новой надписью: «Obscuratus est sol et aer»[46]. Отсюда был проход в следующую комнату с вывеской «Facta est grando et ignis»[47]. Тут других дверей не было, то есть этот зал представлял собой тупик, из которого всякому вошедшему оставалось только повернуть обратно.

«Разберемся, – сказал Вильгельм. – Пять квадратных комнат, или вернее слегка трапециевидных, в каждой по окну… Эти комнаты окружают семиугольный зал без окон, но с лестницей… Элементарно, милый Адсон. Мы в восточной башне. Каждая башня снаружи имеет пять граней, пять окон. Вот и все. Эта пустая комната смотрит на истинный восток – так же как и хор церкви – и на рассвете солнечные лучи прежде всего озаряют алтарь. По-моему, это весьма

правильно и благопристойно. Единственное, что тут необычно, – гипсовые стекла. Хитрая выдумка. Днем они прекрасно проводят свет. А ночью скрадывают все – даже лунное сияние. Вообще-то не ахти какой лабиринт. Надо посмотреть, куда ведут две остальные двери семиугольного зала. Думаю, что здесь я не заблужусь».

Учитель ошибался. Создатель библиотеки оказался хитрее, чем думал Вильгельм. Не могу толком объяснить, в чем было дело, но с тех пор, как мы вышли из башни, продвигаться становилось все труднее. Попадались комнаты с двумя, а то и тремя дверьми. В каждой было по окну – даже в тех, куда мы переходили из других комнат, также имевших окна, причем полагая, будто направляемся в центр Храмины. Везде одинаковые шкапы и столы, одинаковые ряды книг. Ничто не помогало отличать одну комнату от другой. Мы попробовали сверяться с надписями. Вторично наткнувшись на вывеску «In diebus illis»[48], мы решили было, что это та самая комната, из которой мы недавно вышли. Но в той напротив окна имелась дверь, уводившая в соседний зал, определенно именовавшийся «Primogenitus mortuorum»[49]; а здесь размещенная на том же месте дверь вела в комнату «Apocalypsis Iesu Christi», то есть называвшуюся так же, как самый первый семиугольный зал, но только он был семиугольный, а эта комната – трапециевидная. Так мы пришли к выводу, что одни и те же надписи повторяются в разных помещениях. Две комнаты с вывесками «Apocalypsis» оказались совсем рядом; дальше шла комната с новой надписью – «Cecidit de coelo stella magna»[50].

Происхождение этих надписей было очевидно – Откровение Иоанна. Но мы не могли уяснить ни цель, ни логику их размещения. Еще сильнее запутывалось дело из-за того, что некоторые – немногие – вывески были выполнены в алом, а не в черном цвете.

Нас снова занесло в семиугольный первый зал (его мы узнавали безошибочно – там была лестница в скрипторий). Отсюда имело смысл продвигаться строго последовательно в избранном направлении, скажем, в правую сторону. Однако пройдя три комнаты, мы уперлись в стену. Отсюда путь лежал только вбок, через дверь в боковой стене. Там была комната снова с двумя дверьми – ломать голову не приходилось, – а за ней цепочка из четырех комнат и опять тупик. Из тупика мы вернулись в предыдущее помещение. Оставался еще один, неизведанный проем. Мы поспешили туда, миновали какую-то новую комнату – и оказались опять в исходном семиугольном зале.

«Как называлась последняя комната, из которой мы возвратились?» – спросил Вильгельм. Я напрягся и вспомнил: «Equus albus»[51].

«Прекрасно. Найти сумеем?»

Найти ее мы сумели. Теперь из комнаты «Equus albus» мы повернули не туда, куда прежде, а в помещение, осененное вывеской «Gratia vobis et pax»[52], а оттуда, повернув направо, попали в какую-то новую анфиладу, которая, похоже, назад не вела. Хотя и там мы натолкнулись на все те же «In diebus illis» и «Primogenitus mortuorum» (новые это были комнаты? или уже виденные?) – но зато в следующем зале обнаружили надпись определенно до тех пор не встречавшуюся: «Tertia pars terrae combusta est»[53]. И тут мы обнаружили, что запутались и уже не можем соотнести свое положение в пространстве с первоначальным – с восточной башней.

Подняв фонарь высоко над головою, я наугад шагнул в боковую комнату. И вдруг навстречу мне из темноты поднялось какое-то чудище уродливого сложения, клубящееся и зыбкое, как призрак.

«Дьявол!» – закричал я. Светильник чуть не раскололся об пол, а я, весь помертвев, забился в объятиях Вильгельма. Тот подхватил фонарь, мягко отстранил меня и двинулся вперед с решительностью, на мой взгляд сверхъестественной. Надо думать, он тоже увидел это существо, так как вздрогнул и отскочил. Затем вгляделся внимательнее, снова поднял фонарь и ступил

вперед. И захохотал.

«Ну, это ловко! Да тут же зеркало!»

«Зеркало?»

«Зеркало, зеркало, храбрый рыцарь. Только что в скриптории ты с такой отвагой кинулся на живого врага! А тут увидел собственную тень – и чуть не умер. Кривое зеркало. Увеличивает и искажает фигуру».

Он за руку подвел меня к стене напротив двери. Волнистая блестящая поверхность, теперь освещенная фонарем с близкой точки, отразила нас обоих в гротескно уродливом виде. Наши фигуры расплывались, кривлялись и то вырастали, то съеживались, стоило сделать хоть шаг.

«Тебе следует почитать трактаты по оптике, – с удовольствием пояснил Вильгельм, – хотя бы те, которые несомненно были известны основателям этой библиотеки. Лучшие из них – арабские. Перу Альхацена принадлежит трактат “О зримых явлениях”, где с совершеннейшими геометрическими чертежами изложены свойства зеркал – как тех, которые благодаря форме своей поверхности увеличивают самые мелкие предметы (сходным действием обладают и мои линзы), так и тех, которые дают перевернутое, косое, сдвоенное или счетверенное изображение. Бывают зеркала, превращающие карлика в великана или великана в карлика».

«Господи Иисусе! – вскричал я. – Так вот откуда берутся призраки, ужасающие всех бывших в библиотеке?»

«Возможно. Во всяком случае отлично придумано. – Вильгельм читал надпись над зеркалом: “Super thronos viginti quatuor”. – Это мы уже видели. Но в той комнате не было зеркала. А в этой, наоборот, нет окон, хотя она и не семиугольная. Где же все-таки мы находимся? – Он осмотрелся и подошел к шкапу. – Адсон, из-за этих несчастных oculi ad legendum[54] я совершенно беспомощен. Прочти мне несколько названий».

Я взял наугад одну книгу. «Здесь не написано».

«То есть как? Вот же надпись! Где ты читаешь?»

«Это не надпись. Это не буквы алфавита. И не греческие – их бы я узнал. Какие-то червяки, змейки, мушиный кал…»

«А, по-арабски. И много таких?»

«Довольно много. А, вот – волею Господней – одна по-латыни. Аль… аль-Хорезми, “Тавлеи”…»

«Астрономические табулы! Таблицы аль-Хорезми в переводе Аделярда Батского! Редчайшая книга! Дальше!»

«Иса ибн Али, “О зрении…”, Алькинди, “О лучеиспускании звезд”».

«Теперь посмотри на столе».

Я приподнял крышку огромного лежавшего на столе тома «О тварях». Он открылся на изумительной миниатюре, изображавшей очень красивого единорога.

«Хорошая работа, – кивнул Вильгельм, который рисованные образы различал лучше, чем литеры. – А та книга?» Я прочел: «“О чудищах различнейших пород”. Здесь тоже иллюстрации, но по виду более старинные».

Вильгельм сощурился, вглядываясь в лист. «Это ирландская монастырская миниатюра примерно пятисотлетней давности. Книга с единорогом, судя по всему, значительно более поздняя, похоже – французской школы».

И снова я поразился его учености. Мы отправились дальше. Прошли в следующую комнату, оттуда – в анфиладу из четырех залов, в каждом по окну, каждый заполнен книгами на незнакомых языках. В некоторых шкапах стояли сочинения по магии и оккультизму. Но в конце концов мы опять уперлись в стену и были вынуждены проделать весь путь в обратном направлении, так как в последних пяти комнатах никаких боковых выходов и ответвлений не

наблюдалось.

«Исходя из наклона внутренних углов комнат, – сказал Вильгельм, – можно предположить, что мы в другой пятигранной башне. Но центрального семиугольного зала что-то не видно. Наверное, я ошибаюсь».

«А окна? – спросил я. – Откуда тут вообще столько окон? Не могут же все комнаты выходить на улицу».

«Почему? А внутренний колодец? Многие окна смотрят вовнутрь, в восьмиугольный двор. Днем это, вероятно, ощущается… за счет неодинаковой яркости освещения… Днем, думаю, мы сумели бы определить и взаимное расположение комнат по углу падения солнечных лучей. Однако сейчас ночь, а ночью все окна одинаковы. Пошли назад».

Мы вернулись в зал, где зеркало. Оттуда был проход вбок через третью, еще неопробованную дверь. Дальше открывалась анфилада из трех-четырех комнат. И вдруг мы заметили, что в самой последней комнате горит свет.

«Там кто-то есть!» – вскрикнул я сдавленным голосом. «В таком случае он уже видел наш фонарь», – глухо отозвался Вильгельм. Фонарь он, впрочем, тут же прикрыл рукой. Мы застыли. Тянулась минута, за ней другая. Свет в дальней комнате мерцал все так же, не угасая и не усиливаясь, движения не было слышно.

«Может быть, это только светильник, – сказал Вильгельм. – Один из тех, которые тут расставлены нарочно, чтобы внушить монахам, будто в библиотеке обитают привидения. Надо разузнать, что это. Ты оставайся, загораживай свет, а я подберусь и посмотрю, что там».

Я, все еще не в силах успокоиться, что свалял такого труса у зеркала, ухватился за эту возможности оправдать себя в глазах Вильгельма и поспешно перебил его: «Нет уж, пойду я. А вы побудьте тут. Я ловчее, меньше и легче. Если увижу, что там все в порядке, – кликну вас».

Так я и сделал. Вжался в стену и бесшумно двинулся на огонь, крадучись, как кот – или как послушник, пробирающийся ночью в кладовую за козьим сыром (по этой части в Мельке я не знал себе равных). Вот наконец и освещенная комната. Я пополз по стене и укрылся за колонной, служившей дверным косяком. Заглянул внутрь. Никого. На столе зажжена лампада и сильно коптит. Лампада иной формы, чем наш фонарь, – больше напоминает низкое кадило, а в нем даже не горит, а как-то вяло тлеет непонятная густая масса, и все завалено легким пеплом.

Я набрался храбрости и вошел. На столе возле кадила – открытая книга с пестрым рисунком. Я глянул на страницу. По ней тянулись четыре яркие ленты – желтая, цвета киновари, бирюзового и жженой кости. Из-за лент выглядывало чудище: страхолюдное собою, некий дракон о десяти головах, цеплявшийся хвостом за небесные светила и сшибавший оные на землю. И внезапно прямо у меня на глазах эта зверюга ожила и зашевелилась. Чешуя посыпалась с ее хвоста, и как будто тысяча серебряных блях взлетела в воздух и стала кружиться вокруг моей головы. Я отпрянул и увидел, как валится вниз потолок комнаты, чтоб расплющить меня об пол. Множество змей шуршало и свистело повсюду, ходило кругами, но не страшно, а как-то даже приятно, и явилась жена одетая в свет, которая приблизила рот к моему рту и стала дышать в лицо. Я оттолкнул ее обеими руками, но руки как будто уперлись в книжный шкап, и тут же книги начали разрастаться до необычайной величины. Я уже не понимал, где я, кто я, где земля, где небо. Посреди комнаты показался Беренгар, смотревший со злорадной усмешкой, весь сочась похотью. Я закрыл лицо руками, но мои руки почему-то переродились в жабьи лапы – скользкие, липкие, перепончатые. Наверное, я кричал. Рот залило страшной горечью. Разверзлась черная пустота, и я сорвался и ухнул в нее. Я падал… падал… Больше ничего не помню.

Очнулся я как будто через несколько столетий. Какие-то удары мучительно отзывались в моем черепе сильнейшей головной болью. Подо мной был твердый пол. Я лежал на нем, а

Вильгельм хлопал меня по щекам, приводя в чувство. Мы находились уже в другой комнате: перед глазами плясала вывеска «Requiescant a laboribus suis»[55].

«Ну, ну, Адсон, – приговаривал Вильгельм. – Все хорошо, все в порядке…»

«Осторожнее, – зашептал я в ужасе. – Там чудище…»

«Никакого чудища. Я нашел тебя в бреду у изножья стола, на котором раскрыт прекрасный мозарабский апокалипсис: слева жена, облаченная в солнце, справа дракон. Я определил по запаху, что ты надышался какой-то дряни, и тут же тебя вытащил. У меня голова тоже заболела».

«Но я там видел…»

«Ты ничего не видел. Это курятся дурманящие травы. У них своеобразный запах. Арабская смесь. Вероятно, та самая, которую Горный Старец давал нюхать своим гашишинам [*], посылая их на дело. Вот как объясняется загадка мистических видений. Кто-то жжет по ночам зелья, дабы внушить нежелательным посетителям, будто библиотека охраняется адскими силами. Так что же тебе, собственно, померещилось?»

Я сбивчиво рассказал ему, что помнил из своего кошмара. Вильгельм улыбнулся: «Наполовину это развитие увиденного в книге, наполовину – голоса твоих скрытых страхов и подавленных желаний. Из этого и слагается дурманящее действие трав. Завтра поговорю обо всем этом с Северином. Он, вероятно, знает гораздо больше, чем прикидывается… Да, тут травы, только травы. Без всяких некромантских манипуляций, о которых толковал стекольщик. Травы, зеркала… Закрытое поместилище мудрости защищено множеством хитрых и мудрых уловок. Мудрость использована для помрачения, а не для просвещения. Это мне не нравится. Какой-то извращенный ум заведует святым делом – защитой библиотеки… Тебе, Адсон, досталось сегодня. Ты на себя не похож. Идем обратно. Тебе нужна вода, свежий воздух. А эти окна открыть нечего и пытаться. На такой-то высоте… И как они могли предположить, что Адельм отсюда выкинулся?»

Итак, Вильгельм скомандовал идти обратно. Как будто это было так просто! Мы знали, что лестница вниз шла только из одной башни – из восточной. А мы-то где находились в тот момент? Всякое представление было утрачено. Мы блуждали вслепую, наобум, все больше уверяясь, что выход отыскать невозможно. Я все медленнее переставлял ноги, плелся еле-еле, терзаемый рвотными позывами. Вильгельм тревожился из-за меня и злился на себя, на то, что все его науки оказались в данном случае ни к чему не пригодными. Но, утешал он меня – а вернее, себя самого, – зато на следующую ночь уже разработан великолепный план. Мы вернемся в библиотеку (разумеется, при условии, что сумеем из нее выбраться) с кусочком древесного угля, либо какого-нибудь другого красящего материала и будем оставлять на всех углах заметки.

«Чтоб отыскать выход из любого лабиринта, – ораторствовал Вильгельм, – существует только одно средство. На каждой новой развилке… новой – то есть прежде не попадавшейся… проход, из которого мы появляемся, помечаем тремя крестами. Если мы попадаем на развилку, где уже нанесены кресты, то есть где мы уже предварительно побывали, – оставляем у приведшего нас прохода только один крест. Если помечены все двери – значит, надо поворачивать обратно. Но если какие-то проходы на развилке пока что не отмечены крестами, нужно выбрать любой и поставить у него два креста. Входя в проем, уже отмеченный одним крестом, прибавляем к нему два новых, чтобы у прохода набралось в сумме три креста. Весь без исключения лабиринт обойти удастся, если ни разу ни на одной развилке не поворачивать в проход с тремя крестами, при условии что в нашем распоряжении остается еще хотя бы один проход, тремя крестами не отмеченный…»

«Как вы все это помните? Вы изучали лабиринты?»

«Нет. Я вспомнил старинный текст, который однажды читал».

«А если все это выполнять – удается выбраться?»

«Почти никогда. Насколько мне известно. Но тем не менее попробуем. Кроме того, завтра я буду уже с линзами и смогу сам заняться книгами. Может быть, в тех случаях, когда вывески нас только запутывают, книги помогут – укажут путь».

«Будете с линзами? А как вы их найдете?»

«Я не сказал – найду. Я сделаю новые. Полагаю, что стекольщик только и дожидается случая научиться делать такие вещи. Если, конечно, у него отыщутся инструменты для обработки стекла. А стекол в сарае полно».

Так мы брели, не разбирая дороги, и забрели в очередной незнакомый зал. Вдруг через все его пространство ко мне потянулась какая-то невидимая рука… Она ощупала мое лицо и погладила по щеке. Кто-то простонал – не по-зверски, но и не по-человечьи. Ему отозвался такой же голос в другой комнате, в третьей. Какое-то привидение пронеслось по анфиладе. Я думал, что уже привык к неожиданностям библиотеки. Но это было слишком страшно. Я дико шарахнулся назад. Вильгельм, по-видимому, тоже испытал что-то подобное, так как замер на месте, ощупывая щеку, приподняв фонарь и озираясь.

Потом он поднял руку совсем высоко, пристально следя за огнем, который почему-то заиграл живее. Подумал, послюнил палец и вертикально уставил его перед собой.

«Все понятно», – сказал он удовлетворенно, показывая мне две щели, устроенные в стенах примерно на высоте человеческого роста. Поднеся руку, нетрудно было почувствовать, что из этих узких амбразур течет воздух – холодный воздух с улицы. А приблизив туда же ухо, я расслышал сдавленный рев. Это в щели рвался и никак не мог ворваться сердитый зимний ветер.

«Должна же в библиотеке быть система вентиляции, – сказал Вильгельм. – Иначе атмосфера станет невыносимо спертой, особенно летом. Кроме того, благодаря отверстиям достигается необходимая влажность, чтоб пергаменты не пересыхали. Но хитрость строителей этим не исчерпалась. Они расположили отверстия под особыми углами и добились, чтобы в ветреные ночи потоки воздуха, входящего в каменные поры, сталкивались с другими потоками, создавали круговороты и, всасываясь в глубины комнат, производили эти загробные звуки. Каковые, прибавляясь к действию зеркал и трав, и усугубляют панику тех безрассудных, кто рискует сунуться сюда так же, как мы, – не узнав подробностей. Ведь даже мы на какой-то миг поверили, будто нам в лицо дышат призраки… Почему мы столкнулись с этим явлением только сейчас? Видимо, на улице не было ветра. Значит, еще одна загадка лабиринта разрешилась… Тем не менее как из него выйти – по-прежнему неясно».

Ведя подобные речи, мы кружили и кружили по комнатам без всякой надежды, впустую, махнув рукой на надписи, которые уже казались совершенно одинаковыми. Снова была семиугольная зала, снова мы описали круг по примыкавшим к ней комнатам – все без толку, выхода не было. Наступила минута, когда Вильгельму пришлось признать свое поражение. Единственное, что оставалось, – это улечься тут же спать в надежде, что на следующий день Малахия нас выведет. Так мы брели, сокрушаясь о позорной развязке нашего славного предприятия – и вдруг непонятно как оказались в той семиугольной первой зале, откуда начиналась лестница. Вознеся горячие благодарственные молитвы, мы, не помня себя от радости, ринулись вниз.

Добежав до кухни, мы юркнули за очаг, помчались по коридору оссария – и клянусь, что зловещий оскал этих голых черепов показался мне сладчайшей улыбкою любимых друзей. Мы выбрались из оссария, пересекли церковь и, сойдя по ступеням северного портала, счастливые, опустились на какие-то могильные камни. Чистейший воздух зимней ночи вливался в грудь, как божественный бальзам. Вокруг сияли звезды и все ужасы библиотеки разом отступили куда-то далеко.

«Как хорош мир и как отвратительны лабиринты», – с облегчением произнес я.

«Как хорош был бы мир, если бы имелось правило хождения по лабиринтам», – ответил учитель.

«Интересно, который час?» – сказал я.

«Я потерял чувство времени. Но в кельях надо бы оказаться до того, как позвонят к полунощнице».

Мы обогнули левую сторону церкви, миновали портал (я отворачивал лицо, дабы не увидеть снова жутких старцев Апокалипсиса, super thronos viginti quatour) и двинулись через весь двор к странноприимному дому.

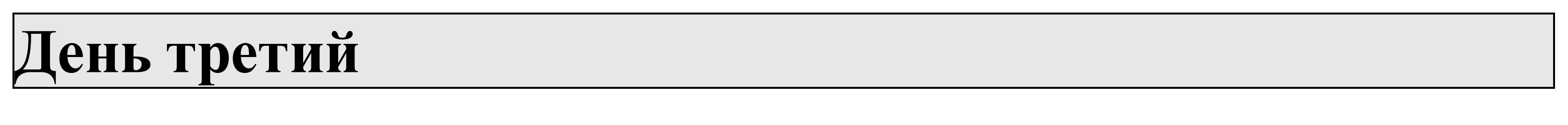
На ступенях палат возвышалась неподвижно и грозно какая-то фигура. Это был Аббат. Он поджидал нас. Взгляд его был полон суровости. «Я искал вас всю ночь, – обратился он к Вильгельму. – В келье вас не было. В церкви вас не было…»

«Мы проверяли одну версию…» – стал сбивчиво оправдываться тот. Видно было, что он в замешательстве. Аббат, ничего не отвечая, смерил его долгим взглядом. Потом сказал, как отрубил: «Я искал вас с самого повечерия. Беренгар отсутствовал на службе».

«Да что вы говорите!» – радостно вскрикнул Вильгельм. Итак, без всякого труда выяснилось, кто именно подкарауливал нас в скриптории.

«Его не было на повечерии, – повторил Аббат, – и в келью он не возвращался. Сейчас позвонят к полунощнице. Посмотрим, не появится ли он. Если нет – предвижу новое несчастье».

К полунощнице Беренгар не явился.



День третий

Третьего дня
ОТ УТРЕНИ ДО ЧАСА ПЕРВОГО,

где обнаруживается кровавая простыня в келье пропавшего Беренгара – и это все

Вот я пишу эти строки и снова испытываю мрачную, невыносимую усталость, которая была во мне той ночью, вернее тем утром. Что тратить слова? После службы Аббат, объявив общую тревогу, послал большинство монахов прочесывать все помещения аббатства. Результатов не было.

Перед хвалитными обшаривавший келью Беренгара монах наткнулся на белую ткань, пропитанную кровью. Простыню понесли к Аббату, который уверился в тягчайших своих предчувствиях. Тут же присутствовал Хорхе, который, будучи извещен о находке, переспросил: «Неужели кровь?» – так, будто это казалось ему совершенно неправдоподобным. Алинард, услышав о том же, покачал головой и заявил: «Нет, нет, третья труба несет смерть от вод».

Вильгельм осмотрел простыню и сказал: «Теперь все ясно».

«Так где же Беренгар?» – спросили у него. «Не знаю», – ответил он. Я увидел, как Имарос завел очи горе и прошептал на ухо Петру Сант’Альбанскому: «И все англичане такие».

Перед первым часом, когда солнце уже встало, были снаряжены служки обследовать склон горы под всею окружностью стен. Они обшарили все, вернулись к третьему часу и ничего не нашли.

Вильгельм сказал мне, что все возможное предпринято. Оставалось просто выжидать. И отбыл на кузню, где немедля погрузился в оживленнейшую беседу с мастером-стекольщиком Николаем.

Я уже ушел в церковь, выбрал там место недалеко от центрального входа и сел. Служилась месса. Я уснул самым богобоязненным образом и проспал долго, поскольку у нас, юношей, потребность в сне значительно превосходит потребность старых людей, которые уже немало проспали в своей жизни и вскорости должны предаться вечному сну.

Третьего дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг

Проснувшись, я уже не чувствовал усталости. Однако в сознании все было перепутано, поскольку отдых среди дня никогда не идет на пользу телу и покой мы обретаем только если спим в ночные часы. Я вышел из церкви и направился в скрипторий, где, испросив разрешения у Малахии, начал перелистывать каталог монастырской библиотеки. Пробегая рассеянным взглядом один столбец за другим, медленно перелистывая страницы, я в это же самое время старался наблюдать за монахами.

Меня поразило, что они с удивительным спокойствием, с невероятной благостностью предавались своей работе, так, как будто один из их собратьев не пропал только несколько часов назад самым трагическим образом, как будто его не искали по всей округе, а двое других не были так же недавно умерщвлены при зловещих обстоятельствах. Вот, сказал я себе, подлинное величие нашего ордена: столетие за столетием люди, подобные им, лицезрели, как в поместилища их работы врываются орды варваров, и грабят, и громят аббатства, как целые царства обрушиваются и погибают в насильственном огне, – они же продолжают любить свои пергаменты и чернила и продолжают спокойным, еле различимым голосом читать обращаемые к ним из глубины веков драгоценнейшие речи: эти же речи они и сами в свою очередь, из глубины своего века обращают к тем векам, которые настанут. Так они продолжали читать и переписывать, когда надвигался конец тысячелетия; с чего бы им вдруг оставлять свою работу сейчас, в нашем веке, в наши времена?

Во вчерашнем разговоре Бенций признался, что ради редчайшей книги пошел бы на грехопадение. И он не кривил душой. Разумеется, монаху следовало бы любить свои книги с тихим смирением и печься об их добре, а не об услаждении собственной любознательности; но то, что соблазняет мирян как тяготение плоти, а у обыкновенных священнослужителей проявляется как сребролюбие, искушает и монахов-затворников: у них это – жажда знаний.

Я листал каталог, и перед моим рассеянным взглядом скользили пышнейшие титулы книжных наименований: «Квинта Серена о травах и зелиях», «Феномены», «Эзопова о природе зверей», «Книга присловий этических о космографии», «Книга троечастная о тех редкостях, каковые Аркульф епископ Адамнану, пришед по морю из святых заморских мест, отобразил с описанием», «Книжица Кв. Юлия Иллариона о сотворении вселенны», «Солин Энциклопедист о происхождении земли и чудесах», «Альмагест». Я уже не удивлялся тому, что тайна злодейских кровопролитий как-то сообщена с библиотекой. Для здешних обитателей, всецело посвятивших себя словесности, библиотека единовременно предстает и Иерусалимом небесным, и подземным царством на переходе от terra incognita к преисподней. Здесь жизнь каждого определяется и управляется библиотекой, ее заповедями, ее запретами. Они ею живут, живут для нее и, можно даже подумать, отчасти против нее, ибо преступно уповают в один прекрасный день обнажить все ее тайны. Что бы удержало их от смертельнейшего риска на пути к удовлетворению любознательного ума или от убийства кого-то, кто, скажем, ухитрился бы овладеть их ревниво хранимым секретом?

Соблазн, да, естественно, соблазн. И гордыня рассудка. Совсем не этим должен одушевляться добрый монах-писец, исполняя предустановления нашего великого учредителя.

Монаху вменялось переписывать не вникая, покорствуя промыслу Господню, молиться во время работы и работать как бы молясь. Отчего же в наши годы все переменилось? О, я уверен: только не из-за вырождения ордена бенедиктинцев! Орден сделался слишком могучим, аббаты теперь могли тягаться с королями. Разве и Аббон не являл собою примера монаршьего правления, когда великодержавно вмешивался в распрю других монахов, желая погасить ее? Несметное богатство познаний, накопленных за века монастырем, ныне превратилось как бы в товар, в основание дикой гордыни, сделалось поводом тщеславиться и презирать себе подобных; как рыцари хвастали друг перед другом кирасами и знаменами, так же точно аббаты похвалялись разукрашенными томами. И чем более явно наши монастыри утрачивали пальму первенства в многознании, тем сильнее они хвалились (вот абсурд!). А между тем в кафедральных училищах, городских корпорациях и университетах не только научились переписывать книги, и не только переписывали и больше и скорее, нежели в монастырях, но и начали создавать новые, – может быть, именно в этом состояла причина немалых несчастий…

Аббатство, в котором мы находились, представляло собою, можно предположить, наипоследний из остававшихся оплотов величия. Только здесь еще жила древнейшая традиция производства и воспроизведения книг. Однако, – а может быть, именно поэтому, – населявшие обитель люди не хотели больше предавать свою жизнь святой работе переписывания; они хотели сами создавать новое, хотели дополнять натуру, алкали новизны, гнались за новизной. И не могли провидеть – я смутно ощущал, не умея высказать словами, то, что сейчас твердо высказываю, умудренный прожитыми годами и опытом, – что, гонясь за новизною, они приближали крушение своего величия. Ибо если бы новообретенные познания, за которыми охотились эти люди, уходили за стены обители, чем бы стало отличаться святейшее место от кафедрального училища или городского университета? Оставаясь же в потаенности, это знание, наоборот, способствовало бы укреплению славы и могущества его хранителей и не осквернялось бы бесцеремонными обсуждениями. Его бы не захватывали наглецы, у которых нет ничего святого и которые готовы выдать на поживу беспощадному «да или нет» любую тайну, любые сокровенные секреты. Вот, сказал я себе, это и причина той немоты, того мрака, которые нависают над библиотекой; она поместилище знания, однако обезопасить это знание она способна только ценой запрета. Никто не должен прикасаться к хранимым знаниям – даже сами монахи. Знание не монета, которой нисколько не вредны любые хождения, даже самые беззаконные; оно скорее напоминает драгоценнейшее платье, которое треплется и от носки, и от показа. Разве и сама по себе книга, разве книжные страницы не истираются, а чернила и золотые краски не тускнеют, если к ним прикасается много посторонних рук? Неподалеку от меня сидел Пацифик Тиволийский. Он перелистывал старинную рукопись, страницы которой разбухли и слепились между собой. Чтобы их разлепить, он постоянно смачивал во рту указательный и большой пальцы, и от его мокрых прикосновений страница всякий раз уминалась, теряла свою упругость, и отделить ее можно было только загибая, подвергая лист за листом беспощадному воздействию воздуха и пыли, которая отныне все глубже будет вгрызаться в тонюсенькие морщинки, возникающие от малейшего нажима. Затем новообразовавшаяся плесень поселится там, где слюна, перешедшая с пальцев, умягчила, но вместе с тем и занесла заразу на угол листа. Как преизбыток нежного чувства обычно ослабляет и портит воителя, так преизбыток владельческой любви и любопытства приводит к тому, что книги получают заболевание, неминуемо губящее их.

Какой же выход был возможен? Не читать книги и только хранить их? Справедливы ли мои рассуждения? Что бы сказал на это учитель?

Невдалеке от меня сидел и трудился рубрикатор, Магн Ионский; он только что окончил полировать телячью шкуру пемзовой колодкой и теперь наносил на нее слой мела, готовясь

втереть его в пергамент губкой. Другой монах, с ним рядом, Рабан Толедский, прикрепив пергамент к доске, накалывал на его полях по правой и по левой сторонам, очень маленькие симметричные ямки, которые после соединял с помощью металлического стилоса паутинными горизонталями. Через некоторое время эти белые страницы должны были заполниться ярчайшими рисунками и чертежами, и страницы готовились стать похожими на реликварии, на драгоценные оклады, блистающие цветными каменьями, врезанными щедрой рукой в поверхность листа, которая скоро покроется богоугодным Священным Писанием. Эти два моих собрата, сказал я себе, вот в эти минуты обретаются в их собственном земном раю. Они производят книги, почти что повторяющие те, которые неотвратимо истребятся безжалостным течением лет. А значит, продолжал я сам с собою, библиотеке не может угрожать ни одна из существующих на земле напастей, ибо она живет, самовозрождается… Но если она живет, что мешает ей открываться каждому, кто приходит за знаниями? Ведь тогда ее благополучию ничто не может угрожать? Ради чего в таком случае изводится Бенций и, по-видимому, изводился Венанций?

Я чувствовал, что мысли мои сбиваются, мнутся. Я чувствовал также, что мысли подобного рода не приличествуют послушнику, чье дело – со старанием и покорностью соблюдать правило, а не переосмысливать ход вещей, и что этого не следует делать ни ныне, ни впредь, ни когда-либо, до самого конца служения, – чему я неуклонно и следовал до глубокой старости, не выдвигая и не разрешая новых вопросов, в то время как окружающий меня мир все глубже и бесповоротней опускался в пучину кровавой смуты и невиданных безумств.

Было время утренней трапезы, и я отправился на кухню, где повара ко мне благоволили и оставляли лучшие куски.

Третьего дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья

Завтракая на кухне, я увидел Сальватора. С поваром явно состоялось замирение. Сальватор весело уписывал пухлый пирог. Ел он так, будто до этого не ел никогда: не роняя ни единой крохи и при каждом глотке как бы вознося истовые благодарения Господу за неслыханную удачу.

Он подмигнул и сказал на своем диком наречии, что отъедается за всю жизнь, прожитую впроголодь. Я стал расспрашивать. И услышал повесть о страшном детстве в каком-то богом забытом селении, где воздух был нечист, дожди шли постоянно и поля превращались в болота; вся округа дышала гнилостными миазмами. Я узнал, что там по нескольку месяцев стояла и не сходила вода, и плуг не оставлял борозды, и посеяв меру зерна – собирали четверик, а посеяв четверик – не собирали ничего. Даже у господ той земли лица были бескровные, как у бедняков, хотя, по словам Сальватора, бедняки все-таки умирали чаще. Возможно, потому, хихикнул он, что их было больше… Четверик стоил пятнадцать денег, мера – шестьдесят денег. Проповедники пророчили скончание времен, однако родители и деды Сальватора помнили, что так бывало и прежде, и привыкли думать, что скончание времен ожидается всегда. И вот когда в селении поели всех дохлых птиц и всю живую нечисть, какую удалось поймать, пошли слухи, что кое-кто выкапывает мертвецов. Сальватор, как некий гистрион, со множеством ужимок показал мне, чем занимались эти «гадостники», как они на следующий после похорон день ногтями рыли кладбищенскую землю. «Гам!» – и зубы, щелкнув, впивались в пирог с бараниной, а по лицу бежала судорога отвращения, как будто он кусал труп. Хуже всех, продолжал Сальватор, были те, кто не удовлетворялся пищей, добываемой из освященной земли. Они по примеру лихих разбойников уходили в леса, сбивались в отряды и поджидали путника. «В-ж-жик!» – показывал Сальватор: нож к горлу и – «Гам!» А наихудшие из худших подманивали детей, посулив яйцо или яблоко, и ели их нежное мясо. Но – серьезнейшим образом уточнил Сальватор – предварительно сваривши. Он рассказал о каком-то человеке, пришедшем в селение продавать вареное мясо, и довольно дешево, и народ не верил своему счастью, пока священник не объявил, что это человечина. Озверелая толпа растерзала торговца. Но в ту же ночь кто-то выкопал убитого из могилы и съел людоеда. Когда люди о том дознались – казнили и его.

И не только это рассказывал Сальватор. Осыпая меня обрубками слов и вынуждая припоминать все, что я знал из провансальского языка и итальянских диалектов, он поведал историю своего исхода из отчего селения и скитаний по свету. Его рассказ прозвучал для меня отголоском множества других, слышанных дома или в путешествии. И впоследствии я слышал немало таких же. Так что сейчас, по прошествии многих лет, я не уверен – не приписал ли Сальватору приключений и преступлений, совершенных совсем другими людьми, жившими как до него, так и после него. Ныне в моей ослабелой памяти все рассказы переплавились в единую повесть. К тому привел неустанный труд воображения – сила, которая, сочетая идею горы с идеей золота, способна породить идею золотой горы.

В дороге я часто слышал от Вильгельма слово «простецы», которым некоторые его собратья звали не только мирской народ, но и народ неученый. Это определение мне всегда

представлялось чересчур обобщенным, потому что в итальянских городах я встречал торговых и ремесленных людей, которые, не будучи клириками, не были однако же и неучеными, хотя высказывали свои познания посредством народного языка. В то же время многие тираны, управлявшие полуостровом, были невежественны и в богословии, и в медицине, и в логике, и в латыни, но все же не были ни простецами, ни простофилями. Поэтому я осмеливаюсь полагать, что мой учитель, говоря о простецах, чрезмерно упрощал понятие. Тем не менее Сальватор был сущий простец, селянин из края, терзаемого многие века и недоеданием, и произволом господ – феодалов. Он был простец, но не тупица. Он смог вообразить, что существует некий иной мир. Этот мир тогда представлялся ему в виде волшебной страны Куканы[*], где на деревьях, источающих мед, спеют круглые сыры и пахучие колбасы.

В погоне за своей надеждой и отказываясь признать, что весь мир – юдоль стенаний, где, как меня учили, даже и неправда ниспослана провидением с особым умыслом: чтоб соблюдалось равновесие начал (пусть даже разум наш и протестует против этого умысла). – Сальватор обошел многие земли от родного Монферрато до Лигурии и выше, через Прованс, до владений короля Франции.

Сальватор ходил по свету, попрошайничая, приворовывая, прикидываясь увечным, прирабатывая у разных хозяев и снова убегая от хозяев в леса и на большаки. Его память была населена толпами бродяг-вагантов, которые в последующие годы, как я заметил, стали еще многочисленнее на дорогах Европы. Лжемонахи, шарлатаны, мошенники, жулики, нищие и побирухи, прокаженные и убогие, странники, калики, сказители, безродное священство, бродячие студенты, плуты, обиралы, отставные наемники, бесприютные иудеи, вырвавшиеся из лап неверных, но получившие расстройство духа, сумасброды, преступники, бегущие от закона, колодники с отрезанными ушами, мужеложцы, а вперемешку с ними – кочующие мастеровые: ткачи, медники, мебельщики, точильщики, плетельщики, каменотесы, – а за ними снова и снова вороватый люд любого мыслимого разбора: надувалы, оплеталы, ошукалы, обдурилы, тати нощные, карманники, зернщики, тяглецы, протобестии, промышляльщики, острожники, попы и причетники, шарящие по церквам, и разный прочий народ, живущий барышами с чужой доверчивости: поддельщики папских воззваний и булл, продавцы индульгенций, мнимые паралитики, не дающие людям проходу на каждой церковной паперти, расстриги, удравшие из монастырей, торговцы чудотворными мощами, лжеисповедники, гадатели, хироманты, колдуны, знахари, целители, шаромыжники с церковными кружками, присваивающие пожертвования, любострастники, совращающие монашек и честных девушек как обманом, так и насилием; и многочисленные притворщики, якобы страдающие водянкой, эпилепсией, геморроем, подагрой, язвенной болезнью, не говоря уж о скорбящих бледной немочью. Многие из них с помощью особых примочек на тело устраивали себе гнойные вереды; другие набирали за щеки настой темно-красного цвета, чтобы извергать кровавую блевотину; третьи жулики, прикидываясь убогими, комом висли на костылях и умели показывать на себе, по желанию, любую хворобу – сухотку, падучую, коросту, паршу, пухлоту; обертывались повязками, мазались шафраном, с железами в руках, обмотанной головой, и вползали в храмы, заражая воздух в церкви зловонием, и кидались в конвульсиях наземь посреди площадей, и плевались пеной, выкатывали из орбит глаза, прыскали из ноздрей кровавым месивом, изготавливаемым из тутового сока и багрянки, и таким образом домогались подачки или же кормежки, напирая на добрые чувства крестьян, загодя предрасположенных призывами святых отцов не отказывать в подаянии: разделяйте, сказано, с голодными хлеб ваш, вводите к себе под кров не имеющих крова, приблизимся же к Христу, примем Христа и прикроем Христа, ибо подобно тому как влага побеждает огонь, милостынею побеждаются грехи наши.

Вот уж несколько десятилетий миновало с той поры, о коей говорю ныне, и сколько

перевидал я их, проезжая торной дорогой вверх и вниз вдоль течения Дуная, сколько я и сейчас вынужден видеть этой до невозможности странной сволочи, похожей на бесов и, как бесы, разделенной на легионы, каждый под собственным именем: стригунчики, наводчики, протолекари, почтеннейшие христарадники, шатущие, голодущие, завидущие, тихо бредущие, хитрованы, святопродавцы, сумоносцы, костыльники, мазурики, басурманы, рвань и дрянь, голь и бось, живущие божьим духом, поющие Лазаря, изводники, греховодники, подорожные, ватажные, артельные…

Мерзостной пеной в тысячу ручьев растекались они по тысяче дорог и тропинок Европы, и из темной их густоты выплывали время от времени то проповедники, сзывающие чистосердечных, то еретики, уловляющие слабосердечных, то возмутители спокойствия. Не случайно поэтому папа Иоанн, и ранее не жаловавший те объединения простолюдинов, в среде которых почиталась и боготворилась святая Бедность, так безжалостно обрушился на странствующих проповедников, которые как могли завлекали любопытных, манили цветными разрисованными стягами, говорили громкие речи и добывали деньгу. Был ли и впрямь, как мне старались внушить, этот папа святокупцем, греховником и негодяем, когда приравнивал кочующих священников, с их поклонением Бедности, к диким шайкам воров и душегубов? Я уже и тогда, в те давние годы, немало наездившись по тропам итальянского полуострова, не мог бы сказать ни да, ни нет; я слышал, как братья из Альтопашьо угрожали, кому хотели, отлучением, а кого хотели, подкупали индульгенциями; как отпускали грехи убийства, братоубийства, прощали кровопролитие и осквернение святыни тем, кто готов был выложить монету; я видел, как они убеждали слушателей, будто в основанной ими богадельне каждый день служится до сотни месс, – на это, якобы, они и собирали добровольные вклады, – и что от щедрот своей обители они провожают замуж до двух сотен бесприданниц. Слышал я и о брате Павле Колченогом, который в лесах близ Риети жил в скиту и похвалялся, будто имел непосредственно от святого духа откровение насчет того, что плотскую связь не следует считать за грех; этим он и соблазнял поселянок, называя их сестрицами и принуждая подчиняться наказанию хлыстом по голому телу и пятикратно исполнять крестообразное коленопреклонение. Затем он торжественно предъявлял новообращенных девиц Господу и взимал с них то, что ему угодно было называть поцелуем любви. Правду ли говорили? И что могло объединять этих отшельников, которых звали иллюминатами, с братьями бедной жизни, заполонявшими собой все большие дороги Италии и предававшимися искреннему покаянию, к великой ненависти клира и епископов, чьи пороки и преступления полубратья клеймили в своих речах?

Как я понял из слов Сальватора и как я сам знал из собственного предшествовавшего опыта, нечего было искать здесь ясных и точных дистинкций. Все оказывалось подобно всему. Да и сам Сальватор в некоторые минуты представлялся мне в точности одним из тех омерзительных тюрингских попрошаек, о которых повествует легенда, как мимо них проносили чудотворные мощи Св. Мартына и они бросились бежать, опасаясь, как бы целитель-святой не излечил бы их от их болячек, тем самым лишая источника заработков; святой же Мартын безжалостно послал каждому из них вдогонку свое благословение, тем наказывая их за злостное безделье, и возвратил телесную крепость. Иногда же, напротив, зверскую рожу Сальватора озарял ровный, радостный свет – это он рассказывал, как, блуждая с ворами и бандитами, впервые услышал странствующего проповедника-францисканца. Францисканская «потаенная», по выражению Сальватора, проповедь открыла ему, что его нищая скитальческая жизнь – не тяжкий крест, а радостный подвиг самоотречения. С тех пор он переходил из секты в секту, вливался в разные объединения кающихся. В какие, он не умел рассказать, только коверкал имена и безудержно путал все теории. Я разобрал, однако, что он побывал и у патаренов, и у вальденцев, и, по-видимому, у катаров, арнальдистов и гумилиатов, и кочевал из отряда в отряд в убеждении, что

бродяжничество – особая миссия и что ныне ради Господа он исполняет то, что прежде исполнял ради собственной утробы.

Что же с ним происходило и когда? Как я понял, лет тридцать назад он пришел в обитель тосканских миноритов и надел рясу Св. Франциска, хотя обета не принес. Там-то, вероятно, он и набрался своей убогой латыни, которую затем перемешивал с говорами всех краев, где он мыкался, безродный бедолага, и с говорами любых товарищей по скитаниям, начиная моими соотечественниками-наемниками и кончая далматскими богомилами. По его словам, он предавался покаянию (всепокайтеся, вдохновенно шепнул он мне на ухо; так я во второй раз услыхал выражение, настороживший Вильгельма). Однако, по всей видимости, даже и минориты, то есть «младшие братья»-францисканцы, при которых он состоял, имели не слишком четкое представление о границах дозволенного и недозволенного. Когда каноник ближайшего прихода запятнал себя вымогательством и другими гнусностями, в один прекрасный день братья-минориты, одушевясь справедливым гневом, взяли приступом его дом, а самого сбросили с лестницы, так что грешник испустил дух; церковь же разграбили. За это епископ наслал на них стражников, братья разбежались, и Сальватор снова побрел по верхней Италии, на сей раз с отрядом полубратьев, то есть нищенствующих миноритов, не признающих ни порядка, ни закона.

Оттуда он повлекся в окрестности Тулузы, где увидел странные вещи, опьянившие его, как издавна опьяняли сказки о великих подвигах крестоносцев. Там громадные силы пастухов и неимущих объединялись, дабы совместно пересечь море и перебить врагов истинной веры. Их прозвали пастушатами. На самом деле они, скорее всего, мечтали оказаться подальше от распроклятой родины. Имелось два вожака, проповедовавших лжеучение: священник, за непотребства отлученный от церкви, и монах, изгнанный из братства Св. Бенедикта. Эти двое сумели так отуманить мозги толпе простофиль, что те, все побросав, рысью помчались за ними, и даже шестнадцатилетние мальчишки удирали от родителей с посохом и сумой, без денег, махнув рукой на отчие наделы, и сбивались в стада, и шли за проповедниками многотысячной толпою. Отныне они слушались не разумности и законности, а чужой силы и собственных желаний. Сгрудившись огромной кучей, наконец-то свободные, все во власти неясных мечтаний об обетованной земле, они вечно были как пьяные. Они шли по городам и селам и брали все что видели, а если кто-то из них попадался, остальные штурмовали тюрьму и освобождали товарища. Когда они ворвались в Парижскую крепость, чтобы выпустить несколько заключенных, профос Парижа пытался оказать сопротивление, и они убили профоса, сбросили его со ступеней крепости, а двери темницы выломали. Потом ушли на поле Св. Германия и изготовились к битве. Но никто не напал на них, и тогда они пошли из Парижа в Аквитанию. И убивали всех евреев, каких встречали на своем пути, и завладевали их имуществом…

«Почему именно евреев?» – спросил я. «А почему нет?» – спросил в ответ Сальватор. И добавил, что всю жизнь он слышал от проповедников, будто евреи противники христианства и владеют богатствами, которые христианам заказаны. Я спросил его: а разве богатства христиан не скапливаются десятилетиями у господ и епископов? А значит, с подлинными своими противниками пастушата не боролись? На это он ответил, что, когда подлинные противники слишком сильны, следует выбирать других, послабее. Я подумал: вот за это-то простецов и зовут простецами. Только властители всегда и очень точно знают, кто их подлинные противники. Властители опасались, что пастушата пойдут отбивать их добро, и были очень рады, когда вожаки пастушат сосредоточились на мысли, будто их обездолили евреи.

Я спросил, кто же ввел в сознание толпы, что нападать надо на евреев. Сальватор не помнил. Естественно; я вообще считаю, что, когда многие тысячи людей, поверив какому-то обещанию, объединяются и начинают требовать обещанного, они не склонны задаваться

вопросом, кто же именно говорил с ними, кто их объединил. Я думаю, что в случае, описанном Сальватором, предводители войска были выучениками монастырей и епископских училищ и говорили, в сущности, на языке господ, хотя и переводили этот язык в выражения, понятные пастушатам. К примеру сказать, пастушата знать не знали папу; а евреев они знали, и поэтому легче всего было науськать их не на папу, а на евреев. В общем, это войско взяло осадой высоченную и мощную башню, принадлежавшую французскому королю, куда толпами укрылись перепуганные евреи, ища себе спасения. Некоторые евреи выходили к подножию башни оборонять своих и вели себя храбро и беззаветно, кидались бревнами и камнями. Но пастушата обложили вход в башню хворостом, выкуривая из башни набившихся туда евреев удушливым дымом и пламенем. Евреи же, не умея спастись, предпочли порешить себя насмерть сами, дабы не погибать от рук необрезанных, и попросили одного из своих, самого боевого, лишить их всех жизни мечом. Тот согласился на их просьбу и перебил не менее пятисот. Потом он вышел сам из башни с еврейскими детьми и попросил, чтобы его окрестили. Но пастушата ему ответили: ты, который истребил настолько безжалостно собственный народ, теперь пытаешься избежать кончины? И разорвали его на клочки, пощадивши детей, которых затем окрестили. Потом все пошли на Каркассон, отмечая свой путь вереницей кровавых казней. Тут король Франциск стал понимать, что пастушата уже переступили какие-то разумные пределы, и повелел, чтобы им оказывалось сопротивление у каждого города, к которому они приближались, и чтобы защищали в каждом городе также и евреев, считая их за равноправных людей короля.

Почему же король об эту пору стал настолько милостив к евреям? Может быть, потому, что внезапно себе представил, до чего способны дойти пастушата, при столь возросшем их числе. Тут он неожиданно почувствовал жалость даже и к евреям, тем более что евреи были полезны для государственного хозяйства, и к тому же ныне следовало уже избавляться и от самих пастушат, да так примерно, чтобы все благочестивые христиане получили повод горько оплакать их грехи. Однако многие христиане не захотели слушаться короля, а остались в убеждении, что евреев защищать не надо, поелику они были и остаются врагами христианского рода. Главное же было в том, что во многих городах народ задолжал евреям, и никто не хотел платить долги, и все обрадовались, когда пришли пастушата и стали наказывать евреев за их разумное хозяйствование. Через некоторое время король под страхом смерти запретил пособничество пастушатам. Он собрал сильное войско, двинул его на пастушат, и многие были убиты, а иные бежали в леса, где сами погибли от лишений. В общем, все были истреблены. Королевские люди ловили по двадцать-тридцать пастушат и вешали на самых высоких деревьях, дабы вид их трупов служил вечной острасткой и впредь никто бы не осмеливался возмущать покой королевства.

Самое поразительное, что Сальватор рассказал мне свою повесть так, будто она была исполнена доблестнейших подвигов. Он и впрямь был убежден, что отряды пастушат двигались на завоевание Св. Гроба Господня – отбивать его у неверных, – и было совершенно невозможно втолковать ему, что это достославное завоевание уже имело место во времена Петра Отшельника и Св. Бернарда, при правлении Людовика Святого Французского. Как бы то ни было, к неверным Сальватор не уплыл, так как почел за благо поскорее удалиться из французских земель. Он упомянул, что прошел через Новару. Подробности этого времени в его рассказе были особенно туманны. В конце концов он добрался до Казале, где и прибился к миноритскому монастырю (именно там, как явствовало из его слов, он встретился с Ремигием). Как раз в эту пору минориты, преследуемые папой, расставались с орденскими рясами и искали убежища в монастырях других орденов, – тем спасаясь от гибели на костре, – именно так, как рассказывал Убертин. Благодаря искусности Сальватора в ручных работах (на первых порах, в эпоху одиноких скитаний, он упражнялся ради нечестивых целей, а затем, в эпоху братства во Христе, – ради святых) келарь немедленно взял его в помощники и доверенные лица. И поэтому

с давних пор он проживает здесь, меньше всего отдаваясь заботам орденского служения, больше всего – заботам об устройстве погреба и кладовой. Здесь наконец он получил право есть, не воруя, и восхвалять Господа, не опасаясь костра.

Вот какую историю поведал Сальватор между глотаньем и жеваньем, предоставив мне гадать, что из этого он выдумал, а о чем, напротив, умолчал.

Я с любопытством разглядывал Сальватора, не только дивясь его прошлому, но и сознавая, что вся его недавняя речь – превосходное сжатое изложение множества предметов и событий итальянской действительности тех лет, манящей и малопонятной.

О чем, казалось бы, свидетельствовала его повесть? О характере бессовестного человека, способного убить даже не отдавая себе отчета в чудовищности преступления. Однако хотя в ту пору все, что касалось попрания святых заповедей, было в моем сознании едино, я уже начинал постигать определенные вещи, которые мне пытались объяснить. Например, что одно дело – убийство, совершенное толпой (толпа, охваченная особым экстатическим порывом, обычно путает диавольские законы с божиими), и совсем иное дело – самостоятельное преступление, задуманное и осуществленное хладнокровно, тайно, хитро. Я был уверен, что на последнее Сальватор не способен.

Однако мне очень хотелось прояснить кое-какие обмолвки Аббата. К тому же из ума не шли намеки на непонятного брата Дольчина. Тень его, казалось, витала над всеми разговорами, услышанными в эти два дня.

Поэтому я резко спросил: «Ты встречался с братом Дольчином?»

Сальватор повел себя чрезвычайно неожиданно. Глаза его выкатились из орбит – как будто им было еще куда выпучиваться, – и он стал судорожно крестить себя и все вокруг, сыпля обрывками фраз на языке, из которого теперь уж точно я не мог разобрать ни слова. Я понял только, что он от чего-то отрекается. До той минуты он как будто был ко мне расположен доверительно, я бы сказал – даже дружелюбно. Теперь он глядел с неподдельной ненавистью. И под каким-то предлогом немедленно ушел.

Это было уже чересчур. Что за таинственный монах, одно имя которого нагоняет на людей такой ужас? Я чувствовал, что больше не в силах бороться с любопытством, завладевшим мною. И внезапно мой мозг пронизала великолепная мысль. Убертин! Вот кто первый назвал это имя. Сам назвал, в тот первый вечер, когда мы с ним повстречались. Он, конечно же, знает все явные и тайные деяния братьев, полубратьев и прочих исчадий недавней смутной эпохи. Где же искать Убертина в это время? Ну разумеется, в церкви, за молитвой! Туда я и отправился, пользуясь несколькими часами неожиданного отпуска.

Но в церкви Убертина не было, и до самого вечера я не мог нигде его найти. Так я до вечера и сгорал от любопытства, в то время как вокруг происходили события о коих непременно следует рассказать.

Третьего дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Вильгельм рассказывает Адсону о великом еретическом течении, о пользе простецов для церковного дела, о своих сомнениях относительно умопостижности законов бытия и походя упоминает, что расшифровал некромантские записи Венанция

Я застал Вильгельма на кузне, где они с Николаем перебирали разложенные на лавке маленькие стеклянные кружочки и колесики – видимо, это были заранее заготовленные частицы витража, которые затем вставляются в витражный каркас. Несколько стекляшек они уже отшлифовали особыми инструментами, доводя до нужной толщины, и Вильгельм теперь выбирал самые удачные, поднося их по очереди к глазам. В то же время Николай следил и за работниками, которые ковали металлическую вилу, чтобы впоследствии насадить на нее подобранные стекла.

Вильгельм был раздражен и что-то ворчал себе под нос. Дело в том, что лучшее из найденных им стекол было изумрудного цвета, а по его словам, хотелось все-таки видеть перед глазами пергамент, а не болото. Николай ушел к работникам. Пока Вильгельм рылся в стекляшках, я пересказал ему беседу с Сальватором.

«Да, много повидал человек, – проронил он в ответ. – Наверно, и у дольчиниан потерся. Да. Здешняя обитель и вправду микрокосм. Не хватает только папских послов с Михаилом. Завтра мы будем в полном составе».

«Учитель, – сказал на это я. – Я уже ничего не понимаю».

«Чего ты не понимаешь, Адсон?»

«Во-первых, чем различаются еретики. Но об этом я спрошу потом. Еще сильнее меня заботит сам по себе вопрос о различиях и сходствах. Говоря с Убертином, вы убеждали его, что все едины – святые и еретики. В то же время, говоря с Аббатом, вы старались убедить его, что есть разница между еретиком и еретиком, между еретиком и правоверным. То есть Убертина вы упрекали в том, что он разграничивает вещи сходные, а Аббата – что он сближает вещи различные».

Вильгельм на некоторое время оставил стекла в покое. «Милый Адсон, – сказал он, – в таком случае следует прежде всего оговорить дистинкции, желательно используя терминологию парижской школы. Утверждается, что люди обладают сходной субстанциальной формой, не так ли?»

«Конечно, – отвечал я, гордясь накопленными познаниями, – люди суть животные, однако же разумны, и их свойство – способность смеяться».

«Вот именно. Однако Фома с Бонавентурой не похожи. Фома тучен, в то время как Бонавентура тощ, и даже может получиться так, что Угуччон зол, а Франциск добродушен, Альдемар флегматичен, а Агилульф желчен. Так или нет?»

«Разумеется, все это так».

«А это доказывает, что между самыми различными людьми наличествуют сходства во всем, что касается субстанции, и различия во всем, что касается акциденций, то есть поверхностных размежеваний».

«Несомненно, и это так».

«Значит, когда я говорю Убертину, что сама человеческая натура во множественности своих

проявлений предрасположена как любить добро, так и любить зло, – я стремлюсь убедить Убертина в единообразии человеческой природы. Когда же я вслед за тем говорю Аббату, что катар не то же самое, что вальденец, я настаиваю на различении их акциденций, внешних признаков. А настаиваю я на этом из-за того, что нередко, не разобравшись, вальденца сжигают, приписывая ему акциденции катара, и наоборот. Между тем, когда человек сгорает, раньше всего сгорает его индивидуальная субстанция, и при этом аннулируется то, что прежде составляло конкретный акт существования – очевидно, благой по своей идее, хотя бы на взгляд Господа Бога, который для чего-то потворствовал сему существованию. Как тебе кажется – достаточная причина настаивать на разграничении понятий?»

«О да, учитель, – пылко отвечал я. – Теперь я понял, отчего вы так говорили, и восхищаюсь вашей замечательнейшей философией!»

«Она не моя, – ответил Вильгельм, – и даже не знаю, насколько она замечательная. Но самое главное, что до тебя дошло. Перейдем ко второму вопросу».

«Второй вопрос, – начал я, – что моя голова никуда не годится. Я не в состоянии различать по акцидентальным признакам вальденцев, катаров, бедных лионцев, гумилиатов, бегинов, бедных францисканцев, ломбардцев, иоахимитов, патаренов, апостоликов[*], бедных ломбардцев, арнальдистов, вильгельмиан, братьев Свободного Духа и люцифериан. Как мне быть?»

«Ох, бедняга ты, Адсон, – усмехнулся на это Вильгельм и дружески хлопнул меня по затылку. – И ведь ты совершенно прав. Теперь вообрази себе, что в течение последних двух столетий, и даже больше, чем двух, весь наш бедный мир сотрясается от распрь и нетерпимости, мечется между безнадежностью и надеждой, и все в этом мире перемешивается… Или нет. Такое объяснение… Лучше не надо. Ладно. Представь себе лучше реку, мощную, полноводную реку, которая течет тысячи и тысячи верст в своем крепком русле, и ты, ее видя, в точности можешь сказать, где река, где берег, где твердая земля. Однако в какое-то время, в каком-то месте эта река попросту устает течь – возможно, из-за того, что течет она слишком долго и слишком издалека, возможно, из-за того, что уже близится море, а море вбирает в себя любые, самые могучие реки и таким образом любые, самые могучие реки перестают существовать. И река превращается в дельту. То есть остается в ней главное русло, но появляется и множество побочных, и эти побочные текут в самые разные стороны, и некоторые из них потом снова соединяются, и ты уже не можешь сказать, что чему послужило причиной, и ты уже не знаешь, что тут еще можно называть рекой, а что – уже морем…»

«Если я справедливо трактую приведенную вами аллегорию, река – это град Божий, иначе говоря, царство праведных, которое приближается и исполнится вместе с тысячелетием. Но уже в наши годы ожидание царства чрезмерно напряжено, и утрачена ясность, и нарождаются пророки и лжепророки, и все притекают на обширное место, где в свое время состоится Армагеддон…»

«Ну, я не думал именно об этом… Хотя, конечно, верно, что во францисканском учении постоянно присутствует идея третьего царства и всегда живо ожидание сошествия Св. Духа… Нет, в данном случае я пытался выразить ту мысль, что наша святая церковь телом своим, которое на протяжении веков являлось и совокупным телом всего гражданского общества, народа Божия, ныне слишком раздобрела, разбрюхатела, накопила в себе нечистоты всех тех стран, через которые прошла, – и утратила единство. Тысяча русел описанной мною дельты соответствует, если угодно, тысяче попыток великой реки дотечь как можно скорее до моря, то есть достигнуть очищения. Однако эта аллегория далека от совершенства, и через нее я только собирался продемонстрировать, как отдельные ручейки и русла ересей и всяких обновительных движений, когда река уже не держит их в себе, безмерно множатся и множатся многократно

переплетаются. Если хочешь, давай попробуем обогатить сию малоудачную аллегорию еще одним примером. Допустим, кто-то старается своею человеческой силой восстановить размытые берега. Разве он сможет? Нет, надо действовать иначе. Одни из русел надо бы пересыпать дамбами, другие по нарочно построенным каналам снова ввести в реку, а третьим дать волю, и пусть себе текут. Потому что нельзя удерживать разные воды в едином русле, и даже будет полезно, если река потеряет какую-то долю своего запаса, полезно для сохранения изначального тока воды, и это даже необходимо, чтобы ток реки оставался прежним».

«Честно сказать, я понимаю чем дальше, тем меньше».

«Я тоже. Нет, я не мастер изъясняться параболами. Вот что. Плюнь на этот пример с рекой. Лучше постарайся уразуметь, что некоторые из перечисленных тобою движений появились не менее двух столетий назад и сейчас уже по сути дела не существуют. А другие возникли совсем недавно».

«Но когда говорят о еретиках, говорят обо всех разом».

«Конечно. Это одна из причин укрепления ереси. И одна из причин ее ослабления».

«Опять не понимаю», – сказал я.

«Господи, как это трудно. Ну ладно. Представь себе, что ты – преобразователь общества и собираешь единомышленников на верхушке высокой горы, чтобы жить там в бедности. Через некоторое время ты обнаруживаешь, что многие посторонние люди, даже из дальних земель, приходят к тебе на ту же гору, называют тебя пророком, или новым апостолом, и становятся твоими сторонниками. Как ты думаешь, они приходят действительно ради тебя, ради того, о чем ты говоришь?»

«Не знаю. Надеюсь. Зачем бы?»

«Затем, что они с раннего детства наслушались от отцов и дедов рассказов о преобразователях и верят в легенды о совершенных, или почти совершенных, человеческих общностях. И думают, что твоя общность – это и есть одна из тех, совершенных».

«Значит, каждому движению достаются в наследство дети предыдущих движений».

«Разумеется, потому что в движениях участвуют большею частью простецы, далекие от теорий. А между тем каждое новое движение за преобразование порядков зарождается в новом месте, на новых основаниях и с новой программой. Например, охотнее всего люди склонны путать катаров и вальденцев. Но ведь между этими течениями существуют глубочайшие различия! Вальденцы боролись за изменение уклада при сохранении в неприкосновенности существующей ныне церкви, катары выступали за изменение самой церкви, за новую церковь, за новые представления о Боге и нравственности. Катары полагали, что весь наш мир разделяется на две части противоборствующими силами добра и зла, и учредили такую церковь, внутри которой совершенные прихожане отделялись от массы верующих простецов и блюли отдельные таинства, свои особые ритуалы; они завели необычайно жесткую иерархию, почти такую же, какая употребляется в лоне нашей матери церкви. Важно понимать, что катары были как никто далеки от идеи упразднить любые формы властвования. Этим, в частности, объясняется, почему в ряды катаров вступали военачальники, крупные собственники, феодалы. Катары не считали своей целью переменить мир, ибо в их восприятии противостояние добра и зла было вечно и неискоренимо. Напротив того, вальденцы (а с ними и арнальдисты и бедные ломбардцы) полагали выстроить свой собственный мир, основанный на идеале честной бедности, а потому к ним поступали все обездоленные и жили работной общиною, питаясь произведениями рук своих. Катары не признавали заповедей и обычаев существующей церкви, а вальденцы признавали, они отвергали только изустное покаяние в грехах».

«Но отчего же тогда их не различают, путают и говорят о тех и других совокупно: сорная трава?»

«Я же сказал тебе. Именно за счет этой путаницы они существуют и именно от этого гибнут. К ним приходят все новые и новые простецы, увлеченные идеалами других движений, убежденные, что здесь они повстречают столь же ярый порыв негодования и надежды, как тот, о котором рассказывали деды; в то же самое время и инквизиторы, приписывая одним движениям грехи других, делают соответствующие выводы; если члены одной из сект совершили беззаконность, за эту беззаконность будет впредь расплачиваться любой член любой секты, независимо от того, в какой секте он членствует. Инквизиторы не правы с точки зрения права, поскольку смешивают черты совершенно разнородных явлений; однако они правы с точки зрения неправоты противника, ибо когда нарождается, скажем условно, движение арнальдистов в некоем городе, в него вливаются все те, которые в ином городе, в иной обстановке прозывались бы – или даже действительно прозывались прежде – катарами, вальденцами или как-нибудь еще. Апостолы брата Дольчина призывали физически уничтожать клириков и феодалов и допускали великие рукоприкладства: в отличие от них вальденцы – убежденные противники телесного насилия, и таковы же полубратья. Однако я совершенно уверен, что, когда брат Дольчин собирал свою группу, к нему примкнули многие из тех недовольных, чья душа была задета проповедью полубратьев или вальденцев. Простецы не имеют возможности выбирать подходящую им ересь, Адсон, и хватаются за того, кто следует с проповедью через их земли, кто останавливается и держит речи к народу на городской или на деревенской площади. На это и делают ставку их противники. Предъявить народному взору одну-единственную ересь, которая вдобавок прославляет и отказ от полового наслаждения, и грешное слияние плоти, все сразу, – превосходная находка проповеднического искусства. При этом ересь выглядит как путаница дьявольских противоречий, оскорбляющая здравый смысл».

«Так связи между сектами нет? Значит, только из-за дьявольского обмана тот простец, который хотел бы вступить в ряды иоахимитов или, скажем, спиритуалов, попадает к катарам, и наоборот?»

«Нет, не значит. Начнем сначала, Адсон, и поверь, что я стараюсь объяснить тебе такие материи, в которых и сам не могу претендовать на знание истины. Но все-таки думаю, что твоя ошибка вот в чем. Не следует считать, будто сначала появляется ересь, а потом – простецы, которые под нее подпадают и за нее пропадают. На самом деле первична жизнь этих простецов, а ересь – вторична».

«Почему?»

«Вспомни, как положено изображать народ Божий. Огромная пастьба; добрые овцы и дурные овцы; псы, держащие их в повиновении – то есть воители, иначе говоря, мирские власти, императоры и хозяева всех местностей; и пастыри, указующие и тем и другим путь – то есть клирики, изъясняющие божественные заветы. Мирная картина…»

«Но неправдивая. На самом деле пастыри грызутся с собственными псами, ибо и пастыри, и псы хотят полноты власти…»

«Да, и именно поэтому внутри паствы все время что-то происходит. Псы и пастыри заняты своею сварой и не глядят за стадом. И кое-кто от стада отбивается».

«Как отбивается?»

«Очень просто. Появляются люди, которые в сущности и не крестьяне (потому что у них нет земли, а та, что есть, их не кормит), и не горожане, потому что не входят ни в цехи, ни в корпорации; это люди маленькие, ничтожные, с ними можно делать что угодно. Ты видел, как прокаженные ходят кучей?»

«Видел. Однажды – сотню разом. Какие же они страшные, мясо свисает клочьями, все страшное, белесое, костыли стучат, веки раздуты, глаза гноятся кровью… Они ни говорить, ни кричать уже не могут. Скулят, как крысы…»

«Они для христианского народа – посторонние, изгнанные за пределы стада. Стадо ненавидит их, они ненавидят стадо. Они хотели бы, чтобы все погибли, гнили бы от проказы, как они сами».

«Да-да, и я помню, в повести о короле Тристане… Когда он придумывал казнь для Изольды прекрасной и велел сжечь ее на костре, пришли прокаженные и сказали королю, что костер – это нестрашная казнь, а они предлагают гораздо более страшную. И кричали королю: отдай Изольду нам, позволь обладать ею каждому их нас, хворь распаляет в нас вожделение; ну же, отдай Изольду прокаженным своего царства, смотри, как одежа липнет к нашим мокрым язвам! А она-то, с тобою живя, любила тешиться парчой и шелком, любила плащи на горностаях, тщеславилась драгоценностями; пусть теперь погуляет с прокаженными, научится входить в наши жилища, ложиться в наши постели, тогда она поразмыслит о своих грехах и горько пожалеет о добром, спасительном костре!»

«Вообще-то для послушника Св. Бенедикта ты неплохо начитан», – бесстрастно заметил Вильгельм. Я осекся и покраснел до ушей, так как прекрасно помнил, что послушникам не позволено читать любовные романы, однако у нас в монастыре в Мельке многие их читали, тайно передавая друг другу, ночью, при свете свечки. «Ну, так или иначе, – продолжал Вильгельм, – ты понял, о чем я говорю. Прокаженные вышвырнуты из общества, они хотели бы и здоровых утащить за собой. И чем более явно их отторгают – тем они становятся злее; чем более злыми их считают, похожими на стаю лемуров, ищущих всеобщей погибели, – тем сильнее они отторгаются. Святой Франциск это понимал, поэтому с самого начала отправился к прокаженным и жил среди них. Народ Божий можно изменить, только если вернуть отторженных».

«Но в вашем понимании отторженные – это что-то другое. Не из прокаженных же составляются еретические движения».

«Народ Божий – это как бы последовательность концентрических кругов: одни удалены, другие расположены почти в центре. Прокаженные – это абстрактный символ удаленности. Святой Франциск понимал это. Он хотел не просто помочь больным лепрой. В этом случае вся его деятельность свелась бы к бедному, бессильному состраданию… Он хотел большего. Тебе рассказывали о проповедывании среди птиц?»

«О да, я слышал эту трогательнейшую повесть и немало восхищался святым, умевшим скликать нежных певчих пташек», – горячо отвечал я.

«Так вот, тебе рассказывали все неправильно. Вернее, по тем правилам, которые приняты ныне в ордене… Франциск обратился к населению города и магистратам, но быстро увидел, что его никто не слушает. Тогда он ушел на кладбище и обратился к воронам и сорокам, стервятникам, трупоедам, к птицам, питавшимся падалью…»

«Какой ужас, – вскрикнул я. – Значит, это были совсем другие птицы!»

«Это были мерзкие птицы, отверженные птицы, подобные прокаженным. Конечно же, Франциск имел в виду при этом стих из Апокалипсиса: "И увидел я одного ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих"»

«Значит, Франциск хотел подтолкнуть отверженных к бунту?»

«Нет. Франциск – конечно, нет. Может быть, Дольчин и его люди, и то вряд ли. Франциск пытался всех отверженных, кто хотели бунтовать, воротить в круг народа Божия. Чтобы спасти стадо, надо было воротить отверженных. Должен сказать с огромным сожалением: Франциску это не удалось. Чтобы вернуть отверженных, надо было действовать изнутри главенствующей

церкви; чтобы действовать изнутри главенствующей церкви, надо было быть признанным ею; признанное церковью, новое учение образовало новый монашеский орден, а новый монашеский орден составил собою новый замкнутый круг, за границами которого остались новые исключенные. Теперь тебе, надо думать, ясно откуда взялись сообщества полубратьев, сообщества иоахимитов и почему вокруг них снова, в свою очередь, роятся новые отверженные».

«Но мы говорили, кажется, не о францисканстве, а о том, как среди простецов и отверженных зарождается ересь».

«Именно. Мы говорили о тех, кого вытеснила из своего круга благополучная паства. Век за веком, покуда папа и император рвали глотки в громоподобных проклятьях, этих людей не переставали вытеснять за края окружности, эти-то и могут быть названы настоящими прокаженными, это о них сказано “прокаженные” в Священном Писании. Таково замыслено Господом, чтобы мы позднее разгадали хитроумную параболу и, повторяя “прокаженные”, подразумевали “страждущие, неимущие, униженные, обездоленные, изгоняемые из сел, оскорбляемые в городах”. Мы же не поняли этой параболы, и загадка о проказе продолжала преследовать нас, ибо чересчур долго мы не умели видеть, что по своей природе это высказывание – знак. Теснимые прочь из стада, все эти люди тем надежнее приуготовлялись воспринимать – а по возможности и возглашать – любую проповедь, которая, словесно призывая соблюдать Христовы заповеди, на деле была бы направлена не к возвеличению Христа, а к посрамлению псов и пастырей, каковым обещалась бы неминуемая и суровая кара. Что-что, а это поводыри человеческих стад понимали всегда. Они понимали, что снова впустить отторженных в стадо означало бы стесниться самим, сократить собственные права. Поэтому те изгои, которые начинали сознавать, что они изгои, неминуемо получали клеймо еретика, вне зависимости от определенного их учения. Они же, изгои, ослепленные несправедливостью, в свою очередь не интересовались никаким определенным учением… Вот где коренится распространенная ошибка в представлениях о ереси. На самом деле все в равной степени еретики, все в равной степени догматики, и не важно, какую веру проповедует то или иное учение, важно, какую оно подает надежду. Любая ересь – это вывеска изгнанничества. Поскреби любую ересь, и увидишь проказу. Любая борьба с ересью предполагает именно эту цель: заставить прокаженных оставаться прокаженными. А с прокаженных что ты будешь спрашивать? Разъяснения тринитарного догмата? Научного обоснования евхаристии? Хочешь, чтоб они тебе доподлинно объяснили, что верно, а что ошибочно? Ох, Адсон, Адсон. Это игры для таких, как мы, для ученых. У простецов свои проблемы. И примечательно, что решают их они всегда неправильно. Так и попадают в еретики».

«Да, но зачем ученые их поддерживают?»

«Затем, что используют в своих играх, которых очень мало общего имеют с верой и чрезвычайно много общего – с захватом власти».

«И поэтому римская церковь обвиняет в ереси всех своих противников?»

«Конечно, поэтому. И потому же она объявляет законной любую ересь, которая готова подчиняться ее командованию. А также некоторые усилившиеся ереси, которые иметь в противниках становится опасно. Но не всегда. Здесь нет твердого правила, все зависит от людей, от обстоятельств. Точно так же ведут себя и светские правительства. Полвека назад градоначальники Падуи издали закон, что всякий лишивший жизни священника платит крупную пеню…»

«И все?»

«И все. Этим подогревали ненависть народа к священникам: город воевал с собственным епископом. Теперь тебе понятно, почему некогда в Кремоне сторонники императора поощряли деятельность катаров? Не по вероубеждению, разумеется, а наперекор правящей римской

церкви. А в наше время городские магистраты поддерживают еретиков, перелагающих на вульгарный язык Евангелие. Вульгарный язык становится языком городов, латынь остается языком монастырей и Рима. Поддерживают вальденцев, провозглашающих, что якобы все христиане, мужеского, женского ли полу, старые ли, или молодые, способны учить и разъяснять Евангелие. У них батрак, проучившийся десять дней, уже готов принимать к себе последователя и учить его».

«И тем самым уничтожается единственное отличие, благодаря которому священники незаменимы! Понятно. Но тогда почему те же самые городские магистратуры вдруг объявляют охоту на еретиков и начинают помогать церкви сжигать их?»

«Потому что начинают понимать, что дальнейшее усиление этих еретиков – прямая угроза привилегиям мирян, говорящих на вульгаре. В ходе созванного епископом Рима Латеранского Собора 1179 года (как видишь, наша с тобой история уходит корнями в полуторавековую давность) Вальтер из Мала уже предостерегал собравшихся против того, что может произойти, если чересчур много воли дадут неграмотным идиотам вроде вальденцев. Он рассказывал, если я правильно помню, что ходят они босиком и ничем не владеют, а что все добро у них общее, а нагота-де их повторяет наготу Христову; ныне-де они покорствуют церковной власти, ибо не имеют на что опереться, но если только заберут много воли, сами разгонят всех… Потому-то города и городские власти благожелательно отнеслись к скитальческому монашеству и к нам, францисканцам; мы представили им возможность гармонично уравновесить народную потребность в покаянии с потребностями городской жизни, соотнести нужды церкви с нуждами купечества, озабоченного только торговлей…»

«И таким образом было установлено равновесие между любовью к Господу и любовью к хозяйству?»

«Нет. Борьба за нравственное перерождение постепенно была подчинена воле церкви и введена в нормальные пределы – в пределы ордена, позволенного папой. Однако то, что бушевало и билось под спудом, никакими пределами себя не ограничивало и выплескивалось любыми способами. Сегодня в виде движения флагеллантов, не вредных ни для кого, кроме себя. Завтра в разгуле вооруженного восстания – например, восстание брата Дольчина. Послезавтра в богохульных ритуалах – вспомни, что рассказывал Убертин о монтефалькских братьях…»

«Но кто же был прав, кто оказался прав, кто ошибался?» – в отчаянии перебил я его.

«Все были правы, все ошибались».

«Хорошо, ну а как же вы сами, – закричал я в ответ уже с каким-то яростным вызовом, – почему не говорите, на чьей вы стороне, на чьей стороне истина?»

Ответом Вильгельма было молчание. Не говоря ни единого слова, он медленно поднял и стал разглядывать на просвет обрабатываемую линзу. Наконец он опустил руку, навел линзу на железное точило и спросил меня: «Что это?»

«Точило. В увеличенном виде».

«Что ж. Самое большее, что в твоих силах, – это смотреть как можно лучше».

«Но точило все равно останется точилом!»

«И записка Венанция все равно останется запиской Венанция. Даже после того как я с помощью этой вот самой линзы смогу, как надеюсь, ее прочитать. Однако возможно, что, прочитав записку, я узнаю немного лучше какую-то часть истины. И, может быть, после этого мы сумеем немного улучшить жизнь этого аббатства».

«И только!»

«Я сказал больше, чем тебе показалось, Адсон. Не в первый уже раз ты слышишь от меня о Рогире Бэконе. Возможно, он не самый умный человек всех времен и народов. Но меня всегда

восхищала та вера, которой одушевлялась его любовь к науке. Бэкон верил в силы, в духовную мощь, в правоту потребностей простецов. Он не был бы примерным францисканцем, если бы не полагал, что обездоленным, неимущим, идиотам и неграмотным очень часто дается говорить от имени Господа. Если бы он мог с ними поближе познакомиться, он отнесся бы к нищим полубратьям более внимательно, чем к провинциалам ордена. Простецам сообщено нечто, чего нет у ученых, которые нередко теряются в разысканиях универсальных закономерностей: у простецов есть непосредственное чувство единичного. Но одного этого чувства мало. Простецы интуитивно улавливают собственную истину – возможно, даже и более истинную, нежели истина докторов церкви, – но вслед за этим довольно часто разбазаривают свое знание в нерассудительных поступках. Что с этим можно поделать? Довести до простецов знания наук? Слишком легкий выход, или, если угодно, слишком трудный. И потом – какую науку до них довести? Науку Аббоновой библиотеки? Учителя францисканства пытались как могли отвечать на эти вопросы. Великий Бонавентура говорил, что мудрецы обязаны переводить на язык концептуальной ясности имплицитную истину, укрытую в действиях простецов…»

«Подобно тому, как в решениях Перуджийского капитула и в ученых записках Убертина переводится на язык богословских умозаключений народный призыв к бедности», – вставил я.

«Да, но сам видишь, что это делается с опозданием, и, когда это делается, истина простецов, как правило, уже присвоена властителями, уже стала истиной властителей, более подходящей императору Людовику, нежели брату бедной жизни. Что же сделать для того, чтобы сохранилась непосредственность опыта простецов, чтобы не утратилась, скажем так, действенная сила этого опыта? Чтобы этот опыт был способен содействовать преобразованию и улучшению их жизни? Вот вопрос, не дававший покоя Бэкону “Quod enim laicale ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito”, – говорил он, то есть: опыту простецов чаще всего присущи проявления дикие и не подчиненные пользе. “Sed opera sapientiae cetra lege villantur et in fine debitum efficaciter diriguntur”. Иными словами, – доказывал он и учил, – даже в осуществлении самых практических занятий, таких как механика, земледелие и градоуправление, необходимо руководиться некоторым особенным богословием. Бэкон мыслил новую науку о природе как новое великое совместное дело образованных людей, которые посредством своего особого знания о природе смогут упорядочить те изначальные потребности, которые, выражая себя беспорядочно и дико, тем не менее справедливы и законны и лежат в основе всех действий простецов. Вот новая наука, новая естественная магия. Надобно только добавить, что по Бэкону это новое совместное дело должно осуществляться под руководством церкви; полагаю, эта оговорка связана исключительно с тем, что в эпоху Бэкона общность церковников и общность ученых совпадали. Ныне они не совпадают, появляются знающие люди вне монастырей, вне церквей, даже вне университетов. Возьми хоть известный пример. В здешних землях самый знаменитый философ нашего века – не монах, а аптекарь. Я говорю о флорентийце, чью поэму при тебе упоминали, я ее не смог прочесть, так как не знаю тамошнего вульгарного языка; но насколько себе представляю, вряд ли мне бы эта поэма сильно понравилась, так как в ней речь ведется о вещах не в пример далеких от нашего непосредственного опыта. Тем не менее, судя по всему, этот сочинитель превосходит мудростью всех известных мне людей, так как познал самое сокровенное из всего, до чего нам дано дознаться, в том, что касается стихий и космоса и управления государством. Исходя из этого, а также из мнения моих друзей, считающих, как и я, что командование человечеством – дело не церкви, а законодательной народной ассамблеи, я неминуемо получаю вывод, что в самом близком грядущем не от кого-либо иного, а от сообщества ученых будет исходить самоновейшее, человечнейшее богословие, то есть натуральная философия и позитивная магия».

«Грандиозная идея, – сказал я. – И это достижимо?»

«Бэкон верил, что достижимо».

«А вы?»

«Я тоже верил, что достижимо. Только чтобы верить в это, следует предполагать, будто простецы ближе нас к истине именно по той причине, что обладают непосредственным частным знанием; следовательно, надо считать, что непосредственное частное знание – самое главное. Однако если самое главное – это непосредственное частное знание, как же придет наука к воспроизведению тех универсальных законов, благодаря помощи которых и через осмысление которых добрая магия становится действенной?»

«Вот-вот, – отозвался я. – Как она придет?»

«Не могу тебе сказать. Немало я спорил об этом в Оксфорде с моим другом Вильгельмом Оккамским, который теперь в Авиньоне. Он заронил в мою душу тысячи сомнений. Ибо если нам исходить из посылки, что истинно только непосредственное частное знание – тот факт, что однородные причины приводят к однородным последствиям, становится почти недоказуемым. Пусть тело неизменно. Но мы будем считать его холодным или горячим, сладким или горьким, влажным или сухим лишь в зависимости от того, где это тело в данный момент находится. Переместив тело в другие условия, все неизменившиеся его качества мы будем оценивать уже по-другому. Как я могу судить об универсальной закономерности, повелевающей вещами мира, если мне пальцем не удастся шевельнуть, не порождая бесчисленное количество новых обстоятельств, ибо от одного мановения моего пальца изменяются все пространственные отношения между пальцем и прочими вещами? А между тем моя мысль должна опираться именно на подобные отношения, определяя связи вещей. Где же гарантии, что найденные мною связи общи и неизменны?»

«Однако вы располагаете безусловным знанием того, что определенной толщине стекла соответствует определенная же острота зрения. И именно опираясь на это отношение, вы можете сами изготовить для себя точно такие стекла, как те, которые потерялись. Не существуй эта взаимозависимость, не будь она неизменна, что бы вы делали?»

«Остроумнейший ответ, Адсон. Действительно, я сумел вывести взаимозависимость – что одинаковой толщине стекол должна соответствовать одинаковая сила зрения. Я сумел вывести ее потому, что шел от многократно испытанного, непосредственного единичного опыта. Ты прав. Всякий использующий целебные травы неоспоримо знает, что всякий раз одно и то же зелье оказывает на одного и того же пациента, если он всякий раз одинаково предрасположен, совершенно одинаковое действие, и поэтому любой использующий лекарства может вывести теорему, что каждый отдельный пучок травы определенного вида годится от лихорадки или что каждое отдельное стекло определенного вида в определенной мере помогает ослабевшим глазам. Наука, о которой говорил Бэкон, несомненно должна строиться на подобных теоремах. Обрати внимание: на частных теоремах, а не на общих положениях. Любая наука должна опираться на теоремы, теоремы должны исходить из строгих посылок, а посылки – отображать частные связи вещей. Понимаешь ли, Адсон… Я вроде бы обязан верить в правомочность моих теорем, ибо я их вывожу из наблюдений непосредственного частного опыта; но, веруя в них, я неминуемо признаю существование общих закономерностей. Однако о них-то говорить я и не имею права, так как уже само предположение о существовании общих закономерностей и заранее заданного порядка вещей приводит нас к выводу, что Бог – пленник этого порядка, а между тем Бог – это вещь до такой степени абсолютно свободная, что, если бы он только захотел, одним лишь напряжением своего хотения он переменил бы мир».

«Значит, если я правильно понимаю, вы можете действовать и знаете, почему вы действуете, но вы не знаете, почему вы знаете, что вы знаете, как вам действовать?» Должен отметить с нескрываемой гордостью, что Вильгельм глянул на меня одобрительно. «По-

видимому, так. В любом случае ты хотя бы поймешь, до чего я не уверен в любой истине – даже в той, в которую верю».

«Вы больший мистик, чем Убертин!» – пошутил я.

«Возможно. Но я, как ты можешь убедиться, изучаю природу. И в том расследовании, которое мы сейчас ведем, я тоже пытаюсь понять не кто хорош и кто плох, а кто вчера вечером был в скриптории, кто взял глазные стекла, кто оставил на снегу след тела, волокущего другое тело, и где Беренгар. Все это суть факты. Потом я попробую их увязать, если это вообще возможно. Поскольку всегда крайне сложно сказать, какое последствие из какой причины проистекает. Так как достаточно вмешательства какого-нибудь ангела, чтобы все совершенно перепуталось. И поэтому нечего удивляться, что невозможно доказать, будто один предмет – причина другого предмета. Но все равно надо непрерывно пробовать. Что я и делаю».

«Тяжелая у вас жизнь», – сказал я.

«Но я отыскал Гнедка», – ответил Вильгельм.

«Значит, есть в мире система!» – объявил я, ликуя.

«Значит, есть немножко системы в этой бедной голове», – ответил Вильгельм.

В эту минуту возвратился Николай, торжественно неся почти готовую вилку.

«А как только эта штука окажется на этом бедном носу, – сказал Вильгельм, – системы в этой бедной голове станет еще больше».

Явился послушник сказать, что Аббат намерен побеседовать с Вильгельмом и ждет его в саду. Учитель поневоле отложил свои стекла, и мы заторопились к месту встречи. Выйдя из кузни, Вильгельм хлопнул себя по лбу, как будто неожиданно вспомнил что-то забытое.

«Кстати, – сказал он, – я разобрал кабалистические знаки Венанция».

«Как, все? Когда?»

«Когда ты спал. И не знаю, что ты имеешь в виду, говоря “все”. Я разобрал то, что проявилось при нагреве – ну, то, что перерисовал. А греческие письмена я смогу прочесть не раньше, чем когда будут сделаны новые стекла».

«И что? Там говорится о тайне предела Африки?»

«Да. Подобрать ключ очень легко. В распоряжении Венанция было двенадцать знаков Зодиака и еще восемь знаков, обозначающих пять планет, два светила и Землю. Итого двадцать знаков. Ровно столько, сколько требуется для передачи латинского алфавита, учитывая, что два звука – первый в unum и первый в velut – записываются здесь одной и той же буквой. Так. Порядок букв нам известен. Какой порядок тайных знаков мог бы ему соответствовать? Я подумал о порядке следования небес. Предположил, что зодиакальный квадрант установлен на самой дальней орбите. Значит, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Солнце и прочие. А затем – последовательно – зодиакальные знаки в традиционном порядке, как они перечислены и у Исидора Севильского: начиная от Тельца, от дня весеннего равноденствия, кончая Рыбами. Так вот, если употребить этот ключ, письмена Венанция обретают смысл».

И он показал мне пергамент, на котором крупными буквами по-латыни было переписано разобранное: «Secretum finis Africae manus supra idilum age primum et septimum de quatuor».

«Понятно?» – спросил он.

«Тайна предела Африки открывается рукой над идолом чрез первый и седьмой в четырех… – повторил я, качая головой. – Совершенно непонятно».

«Естественно. Во-первых, не вредно бы знать, что Венанций имел в виду под idolum. Идол? Образ? Рисунок? И что это за четверо, среди которых есть первый и седьмой? И что с ними надо делать? Трясти? Тянуть? Толкать?»

«Значит, мы снова ничего не знаем. То есть не сдвинулись с места», – сказал я в великом унынии. Вильгельм остановился и посмотрел на меня довольно-таки неласково.

«Милое дитя, – сказал он. – Перед тобой бедный францисканец, который, не имея ничего, кроме скромнейших познаний и скудных крох догадливости, коими снабжен по бесконечной милости Господней, сумел за несколько часов разобрать тайнопись, составленную человеком именно для того, чтобы никогда и никто эту тайнопись не разгадал… И ты, жалкий, неграмотный балбес, смеешь заявлять, что мы не сдвинулись с места?»

Я неуклюже извинялся. Я задел самолюбие учителя – а между тем мне было отлично известно, как гордится он быстротой и безупречностью своих дедукций. Вильгельм проделал действительно неслыханную работу, и не его вина, что хитрющий Венанций не только упрятал обнаруженные сведения за значками странной зодиакальной азбуки, но и представил их в виде невразумительной загадки.

«Неважно, неважно, не извиняйся, – оборвал меня Вильгельм. – В сущности ты прав. Мы пока что знаем слишком мало. Пошли».

Третьего дня
ВЕЧЕРНЯ,

где имеет место новая беседа с Аббатом, Вильгельм высказывает хитроумные догадки, как проникнуть в тайну лабиринта, и дело ручается самым рациональным способом. Затем предлагается отведать сыра под одеялом

Аббат ждал нас с мрачным, озабоченным видом. В руке он держал письмо.

«Я получил это только что от Конкского аббата, – сказал он. – Здесь сообщается имя того, кому Иоанн доверил командование французскими солдатами и ответственность за охрану делегации. Это не военный, это не придворный, и этот человек сам входит в делегацию как полноправный член».

«Дивное соцветие всевозможных достоинств, – отвечал Вильгельм с беспокойством. – Кто же это?»

«Бернард Ги, или Бернарде Гвидони, как вам больше нравится».

Вильгельм испустил какой-то возглас на родном языке. Я его не понял, как не понял и Аббат, но, наверное, это было лучше для нас, так как я вполне готов поверить, что восклицание было не совсем пристойным.

«Это не радует, – тут же добавил он. – Бернард много лет отличался в Тулузе как “молот еретиков”. Он написал книгу “Practica officii inquisitionis heretice pravitatis”[56], предназначенную тем, кто готовится преследовать и уничтожать вальденцев, бегинов, бедных братьев, полубратьев и дольчиниан».

«Я знаю. Знаю этот труд, перл учености».

«Перл учености, – повторил Вильгельм. – Он предан Иоанну, который в течение многих лет неоднократно поручал ему дела во Фландрии и тут, в верхней Италии. Будучи назначен епископом галисийским, он ни разу не показался в своей епархии, а продолжал исполнять инквизиторские обязанности. Затем, кажется, он был все-таки отправлен епископом в Лодев. Но Иоанн, по-моему, возвратил его к прежним обязанностям и послал сюда, в Северную Италию. Так почему именно Бернард? И почему с правом командовать солдатами?»

«Объяснение имеется, – сказал на это Аббат. – И подтверждает все те опасения, которые я высказал вчера. Вы, безусловно, сознаете – хотя и не хотите согласиться со мною, – что тезисы о бедности Христа и церкви, выдвинутые Перуджийским капитулом, несмотря на обильные теологические обоснования, по существу – те же самые тезисы, которые гораздо менее осторожно и, главное, менее богобоязненно выдвигаются бесчисленными еретическими движениями. Ничего не стоит доказать, что теория Михаила Цезенского (усвоенная, кстати, и императором) – та же теория, что у Убертина или Ангела Кларенского. И вплоть до этого момента мнения двух делегаций совпадут. Однако Ги способен добиться большего. И он знает, как этого добиться. Он постарается доказать, что перуджийские положения – те же самые, что у полубратьев и лжеапостолов. Вы согласны с этим?»

«С тем, что это так, или с тем, что Бернард Ги скажет, что это так?»

«Скажем, с тем, что я говорю, что он так скажет», – процедил Аббат.

«Согласен, что так и будет. Но это предусмотрено. Я хочу сказать, что и прежде предполагалось, что дойдет до такого утверждения – независимо от участия Бернарда. Ну, допустим, Бернард поведет дискуссию ловчее, чем эти новоиспеченные куриалы. Допустим, с

ним нужно будет спорить более изобретательно, чем с теми…»

«Да, – сказал Аббат. – Но при этом мы сталкиваемся с затруднением, о котором я говорил вчера. Если к завтрашнему дню не отыщется виновник двух, а возможно – и трех убийств, я буду вынужден уступить Бернарду охрану общественной безопасности в аббатстве. От Бернарда – лица, облеченного (заметьте, с нашего взаимного согласия) столь вескими полномочиями, я не имею права скрывать, что в обители происходили и продолжают происходить некие необъяснимые беспорядки. В противном случае, то есть если бы он обнаружил их сам, столкнувшись (Господи упаси нас и помилуй!) с фактом нового нераскрытого преступления, он имел бы все основания кричать “измена!”».

«Это правда, – мрачно пробормотал Вильгельм. – Делать нечего. Придется быть начеку и караулить Бернарда, пока он будет караулить неведомого преступника. Может, это и к лучшему. Бернард займется таинственной убийцей и не сможет столь ретиво заниматься теологической борьбой».

«Бернард займется таинственным убийцей, и это нанесет, позвольте заявить, чувствительнейший урон моей репутации. Из-за подобной грязной истории я буду вынужден впервые ограничить собственную власть в своих стенах. Это будет неслыханный случай не только в истории нашей обители, но и в истории всего клюнийского ордена… Я пойду на все что угодно, чтобы избежать этого. И первое, что следует сделать, – это отказать в гостеприимстве обоим посольствам».

«Я буду пылко упрашивать ваше высокопреподобие хорошенько обдумать это далеко идущее решение, – сказал Вильгельм. – Вам было вручено послание императора, который благоволит предписать вам…»

«Я помню, что связывает меня с императором, – перебил его Аббат. – И знаю, что вы тоже помните. И знаете, что у меня, увы, пути к отступлению нет. Но все это крайне неприятно. Где Беренгар, что с ним стряслось, чем вы заняты?»

«Я всего лишь монах, который много лет назад провел несколько удачных инквизиционных следствий. Вам должно быть известно, что не всякое дело раскрывают за два дня. Да и вы сами чем мне помогли? Дали доступ в библиотеку? Дали мне право задавать людям любые вопросы, ссылаясь на вашу санкцию?»

«Не вижу связи между убийствами и библиотекой», – отрезал Аббат.

«Адельм был миниатюристом, Венанций переводчиком, Беренгар – помощник библиотекаря», – терпеливо пояснил Вильгельм.

«В этом смысле все шестьдесят монахов связаны с библиотекой. Так же как все они связаны с церковью. Почему вы не занимаетесь церковью? Вот что, брат Вильгельм. Вы ведете следствие по моему распоряжению и в границах, установленных мной. Что касается всего прочего, то в этих стенах над всем прочим единственный и неограниченный хозяин – я. После Господа Бога, разумеется, и благодаря бесконечной его милости. Это придется запомнить и Бернарду. С другой стороны, – добавил он более примирительно, – нигде не сказано, что Бернард едет сюда исключительно ради драки. Конкский аббат мне пишет, что Бернард следует через наше аббатство проездом на юг. В то же время, по словам аббата, кардинал Поджеттский Бертран получил от папы распоряжение выехать из Болоньи и явиться сюда, чтобы возглавить папскую делегацию. Возможно, Бернард едет, чтобы увидеться с кардиналом».

«Тогда это, при более широком рассмотрении, еще хуже. Бертран тоже известен как “молот еретиков”, но в центральной Италии. Встреча двух главных фигур антиеретической борьбы может знаменовать начало ее широчайшего наступления по всей стране с целью полного разгрома всего францисканского движения…»

«А вот об этом мы немедленно известим императора, – сказал Аббат. – Подобные вещи в

одну минуту не делаются. Мы не будем дремать. Прощайте».

Вильгельм хранил молчание, пока Аббат не скрылся из виду. Потом сказал мне: «Прежде всего, Адсон, не следует поддаваться спешке. Нельзя быстро решить вопросы, в которых имеет значение такое множество мелких частных наблюдений. Я иду в мастерскую, потому что пока не готовы мои стекла, я лишен не только возможности прочесть записи Венанция, но и возможности, скажем, сегодня ночью посетить библиотеку. Ты тем временем сходи узнай, не обнаружилось ли что-нибудь касательно Беренгара».

Но тут мы увидели бегущего навстречу Николая Моримундского. Он нес самые скверные новости. Обтачивая лучшее из отобранных Вильгельмом стекол (на которое тот возлагал основные надежды), Николай, оказывается, его сломал. А другое, пригодное для замены, лопнуло при попытке вставить его в оправу.

Теперь Николай сокрушенно указывал на небо. Наступил уже час вечерни, и спускалась темнота. В тот день больше не было надежды продолжить работу. Еще один потерянный день, угрюмо заключил Вильгельм, преодолевая (как он мне позднее сознался) желание придушить незадачливого стекольщика, который, надо отдать ему должное, был и так достаточно безутешен.

Оставив Николая с его угрызениями, мы пошли узнавать, что известно о Беренгаре. Разумеется, никто ничего не нашел.

Похоже, мы были в тупике. Не зная, что теперь делать, мы бессмысленно кружили по церковному двору. Но скоро я заметил, что Вильгельм впадает в состояние задумчивости, зрачки его замирают – при том, что он, кажется, ничего перед собой не видит. В начале прогулки он нашарил в складках рясы несколько травок из тех, которые собирал на прошлой неделе, и теперь тихо пожевывал стебельки, как будто черпая в них источник какого-то плавного возбуждения. Вид у него был отсутствующий. Но время от времени глаза вспыхивали, как если бы опустелое сознание озарялось неожиданно яркой мыслью. И тут же он снова впадал в свое странное деятельное оцепенение. Вдруг я расслышал, как он бормочет: «Конечно, можно бы…»

«Что?» – спросил я.

«Я ищу способ ориентировки в лабиринте… Это было бы довольно сложно соорудить… зато действенно… В конце концов, выход находится в восточной башне. Это известно. Теперь предположим, что в нашем распоряжении машина, позволяющая в любой момент определить направление на север. Что это даст?»

«Достаточно будет пойти направо, и мы придем в восточную башню. Или, если пойти в противоположную сторону, попадем в южную. Но даже если предположить, что такая магическая машина существует, лабиринт есть лабиринт. И как только мы направимся на восток – тут же упремся в стену. Прямой путь будет нам перекрыт. А если повернем в сторону – снова собьемся с дороги…» – отвечал я.

«Да, но машина, о которой я говорю, будет указывать на север в любом случае. Как бы мы ни меняли направление. Мы всегда будем знать, куда поворачивать».

«О, это было бы дивно! Но где взять такую машину? Она должна уметь распознавать север и юг в темноте, в закрытом помещении, не сообщаясь с солнцем и звездами… Не думаю, чтобы даже ваш хитроумный Бэкон мог построить такую машину!» – со смехом ответил я.

«Вот и ошибаешься, – сказал Вильгельм. – Ибо машина подобного рода уже сделана, и кораблеводители ею уже пользуются. Она не сверяется ни со звездами, ни с солнцем, а использует силу одного замечательного камня. Того самого, который мы видели в лечебнице у Северина. Он притягивает железо. Это свойство было изучено Бэконом и еще одним ученым, пикардийским магом Петром из Махарикурии. И описаны многие возможные употребления этого свойства».

«А вы можете соорудить такую машину?»

«Соорудить ее не так уж сложно. Этот камень используется для устройства самых разных редкостей. Например, двигателя, работающего вечно, без вмешательства какой бы то ни было внешней силы. Но самое простейшее изобретение описано одним арабом, Байлеком аль-Кубаяки. Возьми котелок с водою и помести в него плавучую пробку. Пробку проткни железной спицей. Затем поднеси магнитный камень к поверхности воды и делай круги до тех пор, покуда спица не позаимствует свойства камня. Когда это случится, спица исполнит то же, что исполнил бы и камень, если был бы свободен обращаться на своей опоре, – она потянется острием к северу. И сколько бы ты ни вращал котелок, все равно эта спица будет глядеть на север. Незачем добавлять, что если на края котелка ты нанесешь, относительно севера, знаки остальных стран света – австр, аквилон и прочие, – ты будешь всегда знать, в какую сторону идти, чтобы попасть в восточную или в любую иную башню библиотеки».

«Сколь дивное изобретение! – воскликнул я. – Отчего же спица всегда поворачивается к северу? Камень, как я видел, притягивает железо, и можно предположить, что очень большая масса железа притягивает к себе камень… Но из этого следует… из этого следует, что в стороне полярной звезды, на крайней оконечности земного шара, имеются богатейшие запасы железа!»

«Действительно, кое-кем высказывалась и такая догадка. Хотя, если говорить совсем точно, спица наводится не на звезду мореплавателей, а на место встречи небесных меридианов. То есть, как было некогда сказано, “сей камень метит в свое подобье на небе”. Сиречь полюса магнита усваивают определенное наклонение не от земных, а от небесных полюсов. Что, в свою очередь, превосходный образчик движения, возбужденного на расстоянии, а не через прямую материальную причинность. Этим вопросом сейчас занимается мой друг Иоанн Яндунский. В те часы, когда император не требует от него немедленно устроить так, чтоб Авиньон провалился сквозь землю».

«Тогда идемте к Северину, за камнем, и возьмем котелок, воду, пробку…» – возбужденно заговорил я.

«Тише, тише, – сказал Вильгельм. – Не знаю уж почему, но я ни разу не видел, чтоб машина, самая замечательная в философской теории, так же замечательно действовала в своем механическом воплощении. А крестьянская мотыга, никакими философами не описанная, работает как надо… Боюсь, что бегать по лабиринту с фонарем в одной руке и с котелком воды в другой… Погоди, у меня новая идея. Машина будет показывать на север и если вносить ее в лабиринт, и если не вносить. Верно или нет?»

«Верно. Но вне лабиринта она не нужна. Есть солнце, звезды…»

«Понятно, понятно. Но если машина работает и внутри, и вне лабиринта, может быть, наши мозги тоже?»

«Мозги? Конечно. Они работают и вне лабиринта… Именно вне лабиринта! Нам прекрасно известно, какую наружную форму имеет Храмина! Но стоит попасть внутрь – и мы перестаем что-либо понимать!»

«Совершенно верно. Теперь выбрось вообще из головы эту машину. Я стал думать о машине, но постепенно перешел к размышлениям о закономерностях природы и закономерностях нашего разума. И дошел до следующего. Мы должны, находясь снаружи, понять, как устроена Храмина изнутри».

«Как это?»

«Дай подумать. Это должно быть не очень сложно».

«А тот метод, о котором вы вчера рассказывали? С угольными крестиками?»

«Нет, – сказал Вильгельм. – Чем больше я о нем думаю, тем меньше в него верю. Наверное, я не совсем точно вспомнил правило. А может быть, для прогулки по лабиринтам нужна

надежная Ариадна, которая будет ждать за дверью, держа хвостик путеводной нити. Но вообще таких длинных нитей не бывает. А если б они и были, этим бы доказывалось только (в сказках часто доказывается истина), что из лабиринтов выбираются исключительно при помощи извне. Значит, внутри действуют те же законы, что снаружи. Поэтому, Адсон, обратимся к законам математики. Аверроэс[*] утверждал: только в математике вещи, известные нам непосредственно, отождествляются с вещами, известными лишь абстрактно».

«Видите! Значит, вы признаете универсальные понятия».

«Математические понятия суть представления, созданные нашим интеллектом для постоянного употребления вместо реальных. Может быть, дело в том, что эти понятия – врожденные, а может в том, что математика была изобретена раньше остальных наук. Библиотека тоже создана человеческим интеллектом, мыслившим в математических категориях, так как без математики лабиринт не построишь. Теперь остается сопоставить наши собственные математические представления с представлениями строителей библиотеки. Каковое сопоставление приведет нас к научным выводам, понеже математика есть наука определения определений… И в любом случае, прекрати втягивать меня в метафизические диспуты. Что за черт тебя сегодня укусил? Лучше найди, раз уж у тебя хорошее зрение, какой-нибудь пергамент, дощечку… На чем пишут. И чем писать… Ах, у тебя все при себе! Умница Адсон! Пойдем погуляем вокруг Храмины, пока еще можно хоть что-то разглядеть».

Мы довольно долго кружили у Храмины. И как могли вглядывались в восточную, южную и западную башни и в соединявшие их стены. Что касается прочих помещений – они выходили на обрыв, но, согласно законам симметрии, не должны были отличаться от тех, которые мы видели.

«А то, что мы видели, – подытожил Вильгельм (тогда как я все в точности заносил на свою дощечку), – сводилось к следующему. В каждой стене было по два окошка, в каждой башне по пять».

«Теперь будем думать, – сказал учитель. – Каждая из виденных нами комнат была с одним окном».

«Кроме семиугольных», – сказал я.

«Это понятно. Семиугольные – центральные в каждой башне».

«И кроме тех, которые и не семиугольные и окон не имеют».

«Их пока не бери во внимание. Прежде всего отыщем правило, потом попробуем оправдать исключения. Итак, вдоль внешней стороны Храмины мы имеем… В каждой башне по пять комнат и в каждой из соединительных стен по две комнаты. Все они с окнами. Но если из комнаты с окном двигаться к середине Храмины, попадаешь снова в комнату с окном. Следовательно, речь пойдет об окнах во внутренний двор. Какую форму, Адсон, имеет тот колодец, который можно видеть из кухни и из скриптория?»

«Восьмиугольную», – сказал я.

«Превосходно. И в скриптории по каждой стороне восьмиугольника прорублено, если не ошибаюсь, по два окна. Это означает, что в лабиринте вдоль каждой грани восьмиугольника устроены две комнаты. Правильно?»

«Да. Но как нам быть с этими странными безоконными комнатами?»

«Их должно быть, по-моему, восемь. И вот почему. В середине каждой башни есть семиугольная комната. Пятью стенами она сообщается с пятью комнатами наружной стороны башни. А с чем сообщаются остальные две стены? За ними что-то должно быть. Но это не комнаты, расположенные по внешней стороне соединительных стен: в таком случае они были бы с окнами. И это не комнаты, выходящие внутрь колодца. По той же причине. Вдобавок, они получились бы ужасно вытянутыми. Так что… надо попробовать нарисовать расположение комнат этой библиотеки как бы глядя сверху… Должно выйти, что при входе в каждую башню

есть еще две комнаты, граничащие с центральной семиугольной – и они же граничащие с теми двумя, которые выходят во внутренний двор».

Я попробовал начертить то, что описывал мой учитель. И закричал в полном восторге: «Да, теперь все понятно! Ну-ка посчитаем! В библиотеке пятьдесят шесть комнат, из них четыре семиугольных и пятьдесят две более или менее квадратных, причем из них четыре безоконных, двадцать восемь выходящих наружу и шестнадцать выходящих внутрь Храмины!»

«В каждой из четырех башен пять четырехугольных комнат и одна семиугольная… Библиотека устроена согласно небесной гармонии. К этим цифрам можно подверстать немало изобретательнейших толкований».

«О, счастливейшее открытие! – воскликнул я. – Но почему же в библиотеке так трудно ориентироваться?»

«Потому что есть нечто неподвластное математическому расчету. Это расположение дверных проемов. Одни комнаты ведут в несколько последующих, другие только в одну последующую. И возникает вопрос: нет ли таких комнат, которые вообще никуда не ведут? Если ты учтешь эту особенность и притом отсутствие освещения и возможности определяться по наклону солнца… да еще если прибавишь привидения и зеркала… ты поймешь, что лабиринт способен сбить с толку любого, кто в него вступает. А пуще всего – тех, кто заранее взбудоражен собственной дерзостью. С другой стороны, вспомни, до чего мы сами дошли вчера, когда не могли выбраться из лабиринта. Высшая степень смятения, основанная на высшей степени упорядоченности. По мне, самый изящный на свете расчет! Строители этой библиотеки – гениальные мастера!»

«Так как же в ней ориентироваться?»

«Теперь это уже нетрудно. Пользуясь тем планом, который ты нарисовал – надо надеяться, он, худо ли, бедно ли, соответствует расположению библиотеки, – мы, как только окажемся в первой семиугольной комнате, сразу пойдем в какую-нибудь из безоконных. Оттуда, двигаясь все время направо, минуем три или четыре комнаты – и окажемся уже в новой башне, причем это будет несомненно северная башня. Потом мы опять пойдем в безоконную комнату, и левой стеной она будет граничить с семиугольной, а если повернуть направо, можно будет, повторив точно такой же отрезок пути, добраться до следующей башни… и так вплоть до возвращения к исходной точке…»

«Да. Это при условии, что из любой комнаты можно беспрепятственно пройти в соседнюю».

«Вот именно. Это невозможно. На этот-то случай ты и рисуешь свой план. Мы пометим на нем все глухие переборки, чтобы видеть, в какую сторону уклонились. Это будет совсем несложно».

«Но у нас точно выйдет?» – переспросил я, чувствуя беспокойство из-за того, что на словах все выглядело слишком легко.

«Точно, – ответил Вильгельм. – Все “знание основания природных правил дадены в линиях, углах, фигурах. Аще инаково не узнать, что от чего”, – прочитал он наизусть. – Это слова одного из величайших оксфордских мудрецов. Но, к сожалению, нам “дадено” еще не все. Отныне мы знаем, что делать, чтоб не заблудиться. Но теперь нам предстоит узнать, существует ли правило, определяющее размещение книг по комнатам. В этом смысле стихи Апокалипсиса почти ничего не говорят. Отчасти потому, что они то и дело повторяются в совершенно разных комнатах…»

«В то время как книга апостола содержит гораздо больше пятидесяти шести стихов!»

«Вне всякого сомнения. Значит, годятся только некоторые стихи. Странно. Получается, что их понадобилось меньше пятидесяти… а тридцать… или двадцать… А-ах, клянусь бородой Мерлина!»

«Чьей?»

«Неважно. Это один колдун из моих мест… Они же взяли ровно столько стихов, сколько букв в латинском алфавите! Ну конечно! Слова не имеют значения. Важны только первые буквы. Выходит, каждая комната обозначена буквой алфавита, а все вместе они образуют какой-то текст, а какой – мы обязаны дознаться».

«Наподобие фигурных стихотворений в форме креста или рыбы!»

«Более или менее. Хотя, по всей вероятности, ты прав. Когда строилась библиотека, именно такие стихотворения были в моде».

«Но откуда начинать читать?»

«С тех дщиц, которые больше прочих… С семиугольной комнаты в башне, где вход… Или же… Да нет, разумеется – с красных надписей!»

«Но их столько!»

«Значит, столько и текстов. Или слов. Ну, теперь ты наилучшим образом и как можно крупнее перерисуй свой план. Когда придем в библиотеку, станешь отмечать стилосом, легонечко, все пройденные комнаты. А также усовершенствуешь план: укажешь расположение дверей, глухих стен и, разумеется, окон. А кроме того – повсюду проставишь начальные буквы стихов и особо выделишь, как делают настоящие миниатюристы – например, укрупненным шрифтом, – красные буквы».

«Да как же это вышло, – спросил я, охваченный восхищением, – что вы разгадали тайну библиотеки, находясь снаружи? Тогда как изнутри ничего разгадать не удалось?»

«Так и Господу известно все в этом мире, ибо все зачато в его помышлении, то есть извне, еще до акта творения. А нам законы мира невнятны, ибо мы обитаем внутри него и нашли его уже сотворенным».

«Значит, чтобы познавать вещи, надо рассматривать их извне!»

«Рукотворные вещи – да. Мы воспроизводим в нашем сознании работу творца. Но не природные вещи, ибо они не суть творения наших рук и разума».

«Но для библиотеки это правило годится, да?»

«Да, – сказал Вильгельм. – Но только для библиотеки. Теперь пойдем отдохнем. Я не способен ничего делать до завтрашнего утра, когда – надо надеяться – все-таки добуду зрительные стекла. Поэтому предпочитаю раньше лечь и раньше подняться. Кроме того, мне нужно подумать».

«А ужин?»

«Ах да, ужин… А время ужина кончилось. Все монахи уже на повечерии… Но кухня, наверное, еще не заперта. Поди поищи, не осталось ли чего».

«Украсть?»

«Попросить. У Сальватора. Он же теперь твой приятель».

«Но тогда украдет он!»

«А ты что, сторож своему брату? – ответил Вильгельм подобно Каину. Но я догадался, что он шутит, и на самом деле желает сказать, что Господь милостив и благ. С тем я и пошел разыскивать Сальватора, которого обнаружил на конюшне.

«Какой красивый, – начал я, кивнув на Гнедка и таким образом завязывая беседу. – Хорошо бы на нем прокатиться».

«Не моги. Аббатов. Притом на то дело не один кровный жереб. Иной також годен. Зри овамо, третий в конях». Это он хотел мне указать третьего справа коня. «На что же годен этот “третий в конях”?» – спросил я, посмеиваясь над его дурацкой латынью.

И Сальватор открыл мне странные вещи. Он утверждал, что может заставить любого коня,

даже самую дряхлую, ледащую скотину, скакать так же скоро, как скачет Гнедок. Надо подмешать коню к овсу одну травку – называется сатирион, – предварительно хорошенько размолов. А потом натереть бабки оленьим жиром. Затем надо сесть на коня и, прежде чем пускать, – поворотить его мордой к востоку и трижды шепнуть в ухо заклятие: «Гаспар, Мельхиор, Мелисард». Конь рванет во весь опор и за час одолеет путь, на который Гнедку потребно восемь часов. А если еще иметь ожерелье из зубов волка, которого сам конь забил копытами на скаку, и надеть ожерелье на коня – он весь свой век не будет знать устали.

Я спросил Сальватора, испытал ли он эти средства. Он отвечал, подозрительно озираясь и дыша мне прямо в ухо (пахло от него очень дурно), что испытать эти средства непросто, потому что с некоторых пор сатирион выращивают только у епископов и их дружков-рыцарей. И те и другие вовсю укрепляются отменным зельем… Я решил прервать эти речи и сказал Сальватору, что сегодня учитель намерен читать кое-какие книги в келье и хотел бы поесть у себя.

«Мигом, – ответил тот. – Сыр вам под одеялом».

«Как-как?»

«Просто. Надо сыр, чтоб не стар и не кисл. Его ломтями. Квадраты или как любишь. Туда жир, масло, свинье сало. Чтоб печи в печи. Вокруг – хлебцы. Вовнутрь суй еще козий сыр. Да для сласти – что дашь – сахар, корицу. Спекши, мигом брать, жевать с огня».

«Что ж, пусть будет сыр под одеялом», – сказал я на это. Сальватор удалился в направлении кухонь, велев мне дожидаться. Вернулся он через полчаса, неся блюдо, укрытое салфеткой. Пахло приятно.

«Тебе», – сказал он, протягивая блюдо и фонарь, доверху заправленный маслом.

«Это зачем?» – спросил я.

«Мне что, – отвечал он с сонным видом. – А вдруг твоему магистру идти нынче, где темно».

Сальватор безусловно знал больше, чем можно было заподозрить. Я не стал разбираться, что еще ему известно, и понес Вильгельму провизию. Мы закусили. Потом я ушел в свою келью. По крайней мере так предполагалось. Но я хотел все же повидать Убертина, и поэтому тихонько возвратился в церковь.

Третьего дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где Убертин рассказывает Адсону историю брата Дольчина, другие подобные истории Адсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей прекрасною и грозною, как выстроенное к битве войско

Убертин действительно был перед статуей Богоматери. Я тихо опустился рядом и ненадолго прикинулся (да, признаю со стыдом!) – прикинулся погруженным в молитву. Потом посмел заговорить.

«Святой отец, – начал я. – Хочу просить у вас истины и совета».

Убертин поглядел на меня, взял за руку и поднялся, приглашая сесть рядом с ним на лавку. Он тесно обнял меня, и его дыхание коснулось моей щеки.

«Возлюбленный сын, – сказал он. – Все, что этот бедный старый грешник может сделать для твоей души, будет с радостью исполнено. Что тебя смущает? Томления, да? – допытывался он, сам как будто в томлении. – Томления плоти, да?»

«Нет, – покраснев, отвечал я. – Скорее томления ума, стремящегося познать слишком многое».

«Это дурно. Все познал Господь. Нам же вместно лишь поклоняться его познанию».

«Но нам вместно также различать добро от зла и постигать человеческие страсти. Я пока что послушник, но стану иноком и священнослужителем, и я должен видеть зло и знать, под каким видом оно бывает, чтоб распознавать его и учить других распознавать его».

«Это правда, мой мальчик. Так о чем ты хочешь узнать?»

«О плевелах ереси, отец, – решительно ответил я и тут же выпалил: – Я слышал что-то о дурном человеке, совратившем прочих. О брате Дольчине».

Убертин застыл в молчании. Потом сказал: «Верно, мы с братом Вильгельмом позавчера упоминали при тебе о нем. Но это скверная история. О ней говорить тяжко. Она показывает… Хотя ради этого ее, наверно, и следует узнать – чтоб извлечь полезный урок… Так вот, она показывает, как из жажды покаяния и из намерения очистить мир могут выйти кровопролитие и человекоубийство…»

Он уселся удобнее, чуть ослабив хватку на моих плечах, но, продолжая обнимать рукой за шею, как бы для того, чтобы приобщить не то своей мудрости, не то своей горячности.

«Все началось задолго до брата Дольчина, – сказал он. – Более шестидесяти лет тому. Я был ребенком. Это было в Парме. Появился проповедник, некий Герард Сегалелли. Он призывал к нищенской жизни и кричал на улицах “всепокайтеся!”. Этим возгласом, он, неученый человек, пытался возвестить: “Покайтесь и сотворите дела достойные покаяния, ибо близится Царствие Небесное!” И он звал своих учеников стать наподобие апостолов, и хотел, чтобы его секта носила имя ордена апостолов и чтоб его люди ходили по свету как нищие попрошайки, питаясь только милостыней».

«Как полубратья, – сказал я. – Но разве не такова заповедь Господа Бога нашего и вашего Франциска?»

«Да, – признал Убертин не вполне уверенным голосом и вздохнул. – Но Герард был склонен преувеличивать… Он и его люди обвинялись в том, что отрицали права священства, отрицали отправление литургии, исповедь, праздно бродяжничали».

«Но в этом обвинялись и францисканцы-спиритуалы. А разве теперь не сами братья-минориты отрицают права папы?»

«Папы. Но не всего священства. Мы сами священники. Знаешь, мальчик, нелегко разобраться в этих вещах. Грань, отделяющая добро от зла, так зыбка… Кое в чем Герард ошибся – и запятнал себя ересью… Пожелал вступить в орден миноритов, но наши братья его не приняли. С этого времени он сидел во францисканской церкви и смотрел на изображения апостолов в сандалиях и широких плащах, наброшенных на плечи. По их подобию и он отрастил волосы и бороду, надел сандалии и подпоясался вервием, как минориты. Ибо, заметь, все основатели новых конгрегаций[*] всегда берут что-нибудь из опыта ордена блаженного Франциска…»

«Но все это было вполне праведно…»

«Да. Но кое в чем он ошибался. Он стал носить длинную белую тунику, а поверх нее – белую же широкую мантию, длинную бороду, отпущенные волосы. Очень скоро простецы окружили его ореолом святости. Он продал свой домишко и, встав на камень перед дворцом, откуда в старые времена подеста[*] говорил гражданам, он не роздал деньги, не оделил бедняков, а кликнул чернь, игравшую на соборной площади, и стал разбрасывать из мешка деньги, вырученные от продажи его имущества, крича «Бери, кто хочет!». И мошенники взяли деньги и пошли проигрывать их в кости, и промотали их, и хулили вечносущего Владыку, а тот, кто дал им, все слышал и не стыдился».

«Но Франциск тоже роздал все, что имел. И я слышал от Вильгельма, что Франциск проповедовал воронам и ястребам, не говоря о прокаженных, – то есть самым подонкам, которых народ, почитавший себя добродетельным, отвергал».

«Да. Но кое в чем Герард ошибся. Франциск никогда не имел трений со святой церковью. И в Евангелии не сказано: “Продай все, что имеешь и раздай бездельникам”. Герард давал, а взамен ничего не получил. Это оттого, что давал он дурным людям. И начал он дурно, и жил дурно, и кончил дурно, потому что его община была запрещена папой Григорием X…»

«Должно быть, – сказал я, – это был не такой дальновидный папа, как тот, который утвердил устав Св. Франциска…»

«Да. Но кое в чем Герард ошибся. В то время как Франциск отлично понимал, что делает. И в конце концов, мой мальчик, эти свинопасы и скотники, заделавшиеся ни с того ни с сего лжеапостолами, просто хотели жить приятно и без работы подаяниями тех, в ком минориты большим трудом и собственным добрым примером воспитали благотворительность! Но не только в этом дело, – тут же прибавил он. – Дело в том, что, стремясь уподобиться апостолам, которые были еще иудеями, Герард Сегалелли подверг себя обрезанию, а сие противоречит посланию Павла к Галатам. Тебе должно быть известно, что многие святые люди предсказывали: Антихрист явится из племени обрезанных… Но еще худшее затеял Герард, когда созвал простецов и сказал: “Войдемте со мной в виноградник!” Они же поняли плотски то, что он понимал духовно, и вошли с ним в чужой виноградник, считая, что это его собственный, и ели чужой виноград…»

«Ну, уж не миноритам убиваться о чужом добре», – нагло вставил я.

Убертин сурово посмотрел на меня: «Минориты хотят жить в бедности, но они никогда не требовали этого от других. Нельзя безнаказанно посягать на имущество добрых христиан, иначе добрые христиане посчитают тебя разбойником. Это и случилось с Герардом. О нем говорили даже… Но тут не берусь судить, правда ли это, – имей в виду, я только доверяюсь сведениям брата Салимбене, знававшего их всех… Говорили, что, желая испытать волю и воздержность, он спал с женщинами, не вступая в половую связь. Но когда ученики пытались повторить его подвиги – исход бывал совсем другой… Ох, об этих вещах не следует рассказывать юному.

Женщина – сосуд диавола… Герард продолжал кричать "всепокайтеся", а в это время один из его учеников, Гвидон Путаджи, решил захватить главенство в общине. И разъезжал с большой свитою, с лошадьми и слугами, и давал в городах блестящие обеды – в точности как кардиналы римской церкви. Дошло до форменной схватки за главенство в секте, и начались позорные дела. Многие люди все же текли к Герарду, и не только из сел, но и из городов, люди, записанные в цехи… А Герард велел им обнажаться и в наготе служить нагому Христу. И посылал их по миру с проповедью, а себе велел сделать другое одеяние, тоже белое, без рукавов, из грубого холста. И в нем больше походил на шута, чем на духовное лицо. Домов эти люди не имели. Время от времени они подымались на амвоны церквей, прерывая богослужение набожных христиан, и сгоняли с амвонов священников, а однажды усадили какого-то мальчика на епископский трон в церкви Св. Урса в Равенне. И звали себя последователями Иоахима Флорского…»

«Но францисканцы тоже, – воскликнул я. – И Герард из Борго Сан Доннино, и вы сами!»

«Успокойся, мальчик. Иоахим Флорский был великий пророк и первым понял, что Франциск несет обновление христианской церкви. А лжеапостолы, ссылаясь на его учение, желали оправдать свои безумства. Сегалелли водил с собой некую апостольшу, не то Трипию, не то Рипию… Она утверждала, что обладает пророческим даром. Водил женщину, понимаешь?»

«Но отче, – возразил было я, – вы же сами говорили позавчера о святости Клары Монтефальккской и Ангелы из Фолиньо…»

«Те были святые! Они жили в смирении, признавая права церкви и не заикаясь ни о каких пророчествах! А лжеапостолы, наоборот, допускали своих женщин проповедовать по городам, как делали и прочие еретики. И уже сами не разбирали холостяков от женатых, и ни один обет не почитался за ненарушимый. Коротко говоря… Не хочу донимать тебя этими тоскливыми рассказами, к тому же ты все равно не поймешь некоторых тонкостей… Епископ Пармский Обиццо решил в конце концов заковать Герарда в цепи. Но тут произошла странная вещь. По ней можешь видеть, до чего слаба человеческая натура и как упорны плевелы ереси. Дело в том, что епископ освободил Герарда, и стал сажать к себе за стол, и смеялся его выходкам, держа его как бы за шута…»

«Но почему?»

«Не знаю… Хотя, к сожалению, догадываюсь. Епископ был из дворян и презирал горожан – купцов и ремесленников. Наверное, его тешило, что Герард всякий раз, проповедуя бедность, обрушивался на тех, и начав попрошайничеством, кончал разбоем… Но в конце концов вмешался папа, и епископу пришлось проявить должную суровость. Герард пошел на костер как нераскаянный еретик. Это было в начале нашего столетия».

«А какое отношение все это имеет к Дольчину?»

«Имеет. И являет пример того, как ересь живет и после уничтожения ее носителей, еретиков. Этот Дольчин был ублюдком одного священника Новарской епархии. Это в здешних краях, в Италии, немного на север отсюда. Кое-кто утверждал, что он родился в другом месте, не то в долине Оссолы, не то в Романье. Но это не так уж важно. Он рос способным юношей и обучался словесности. Однако обокрал своего воспитателя, который много с ним занимался, и бежал на восток, в Тридент. Там он взялся проповедовать учение Герарда, в самом еретическом виде, заявляя, будто он единственный сущий апостол Господа, и что в любви все должно быть общим, и что можно без всякого различия ложиться со всеми женщинами, за что никого нельзя обвинить в любодеянии. Даже если ляжешь с сестрою, с дочерью…»

«Он вправду так говорил или его в этом обвиняли? Я слышал, что в подобном обвиняли и спиритуалов, и монахов из Монтефалько…»

«De hoc satis[57], – резко оборвал меня Убертин. – То были уже не монахи. То были еретики. И погубленные именно Дольчином. Кроме того… Слушай дальше. Достаточно узнать, что было

дальше, дабы увериться в его гнусности. Как он прознал об учении лжеапостолов – мне неизвестно. Вероятно, еще отроком побывал в Парме и слушал там Герарда. Но известно, что он держал связь с болонскими еретиками после смерти Сегалелли. Совершенно точно известно, что проповедовать он начал в Триденте. Там он соблазнил одну девицу из богатой и знатной семьи, Маргариту, либо она соблазнила его, как соблазнила Элоизия Абеляра. Потому что, запомни, именно чрез посредничество женщины внедряется диавол в сердце человека! Тогда епископ Тридентский изгнал из своей епархии Дольчина с его подругой, но у него уже было больше тысячи последователей. И с ними он вышел в долгий путь, чтоб добраться до родных краев. По дороге к ним присоединялись и новые обольщенные, соблазнившиеся его речами, и к ним же, надо думать, примыкали еретики-вальденцы, жившие в тех горах, через которые он шел. А может, он так и рассчитывал – соединиться с вальденцами этих северных краев. Добравшись до Новары, Дольчин нашел там обстановку чрезвычайно благоприятную для своего мятежа. Дело в том, что вассалы, правившие страной Каттинара от имени епископа Верчелли, были изгнаны из собственных владений. И они встретили разбойников Дольчина как самую желанную помощь».

«А что эти вассалы сделали епископу?»

«Не знаю. И меня это не интересует. Но, как видишь, ересь охотно братается с бунтом против законных властей. Часто бывает, что еретик сначала прославляет мадонну Бедность, а потом сам не умеет справиться с соблазнами власти, войны, насилия. Шла какая-то борьба между правящими семьями в городе Верчелли. Лжеапостолы воспользовались этим. А семьи, в свою очередь, воспользовались беспорядком, учиненным лжеапостолами. Господа феодалы вербовали наемников, чтобы грабить горожан, а горожане искали защиты у епископа Новары».

«Запутанная история. А за кого был Дольчин?»

«Не знаю. Сам за себя. Он ввязывался во все склоки и везде находил случай проповедать войну против чужого добра. Во имя бедности, разумеется. Дольчин со своими людьми, которых к тому времени стало уже три тысячи, разбил лагерь на одной горе близ Новары. На так называемом Лысом Утесе. И поставил там укрепления и палатки, и правил оравой мужчин и женщин, которые жили скопом в самом бессовестном блуде… Оттуда он рассылал письма единомышленникам, оттуда изрекал еретическое учение. Он говорил и писал, что идеал у всех должен быть одинаковый – бедность, и что никакие обязательства внешнего повиновения не должны их сковывать, и что он, Дольчин, ниспослан от Бога, чтобы открыть пророчества Ветхого и Нового заветов и истолковать Писание. И называл все духовенство, и секулярных клириков, и проповедников, и миноритов служителями Сатаны, и освободил кого бы то ни было от необходимости им подчиняться. Он различал четыре возраста существования Народа Божия. Первый – это ступень Ветхого Завета, то есть патриархи, пророки и праведники до Христа; на этой ступени следовало брать жен, чтобы земля населялась и размножался род человеческий. Потом наступила эпоха Христа и его апостолов – эпоха святости и целомудрия. На третьей ступени первосвященники начали думать, будто им следует сначала приобрести земное состояние, а потом с его помощью управлять народом; но когда в народе стала охладевать любовь к Господу, появился Бенедикт и выступил против всякой земной собственности. Когда же даже и бенедиктинские монастыри начали накапливать богатства, появились братья Св. Франциск и Св. Доминик, каковые еще суровее, чем Бенедикт, стали проповедовать против посюстороннего могущества и посюстороннего господства. Но теперь, провозгласил Дольчин, даже и в этих орденах жизнь множества прелатов снова вошла в противоречие с добрыми евангельскими заповедями, наступил час конца третьего времени и требуется возврат к указанию апостолов».

«Но получается, что Дольчин призывают именно к тому же, к чему призывали и францисканцы, а среди францисканцев – именно спиритуалы, а среди них – именно вы, святой

отец!»

«Да. да. Но он извлек из этого неправильный силлогизм! Он утверждал, что для скончания третьего возраста необходимо всему духовенству, и с монахами, и с братьями-схимниками сгинуть в страшных мучениях; он предсказывал, что скоро все церковные прелаты, священнослужители, монахи и монахини, прихожане и прихожанки, и все посвященные в ордены проповедников и миноритов, все святые отшельники и с ними сам Бонифаций, римский папа, будут уничтожены обетованным императором, которого укажет он, Дольчин, и император этот будет Фредерик Сицилийский».

«Но разве не тот же самый Фредерик с почестями принимал у себя на Сицилии спиритуалов, выгнанных с умбрских земель, и разве не минориты обращались с призывами к императору, – неважно, что ныне этот император Людовик, – уговаривая его истребить власть папы и кардиналов?»

«Ереси – а равно и безумию – свойственно извращать самые прямые помыслы и затеи и приводить их в вид, противный любому установлению, как Божьему, так и человеческому. Никогда минориты не подстрекали императора убивать других священнослужителей».

Убертин обманывался. Теперь я знаю это точно. Ибо когда через несколько месяцев Баварец начал наводить свои порядки в Риме, Марсилий и прочие минориты сделали с приверженцами папы именно то, что намеревался сделать Дольчин. Этим я желаю доказать не то, что Дольчин поступил верно, а, наоборот, что Марсилий и приверженцы Марсилия могли поступать ошибочно. Однако уже и в описываемый день, особенно после утреннего разговора с Вильгельмом, я все более решительно ставил перед собой вопрос: как же можно было ждать от простецов, чтобы они самостоятельно разобрались и увидели различие между спиритуалами и Дольчином? Ведь Дольчин проводил в жизнь призывы спиритуалов! И не являлось ли единственною его виною намерение осуществить именно то, что людьми общепризнанно добропорядочными преподносилось в виде мистических загадок? Или, может статься, именно в этом коренится различие между святостью и ересью? Выходит, святость предполагает смиренное ожидание от Господа того, что обещано его святыми, а ересь – это попытка добиться того же собственными средствами? Теперь я знаю, что действительно дело обстоит так; и я знаю, что Дольчин действовал ошибочно, ибо нет позволения самосильно менять порядок вещей; позволено лишь уповать на его изменение. Но это теперь. А в тот вечер я был переполнен самыми противоречивыми мыслями.

«И к тому же, – продолжал свою речь Убертин, – клеймо ереси напечатлено на любом проявлении гордыни. Во втором своем послании Дольчин, в год 1303, именовал себя ректором ордена апостольского, а рядом с собой выводил, как настоятелей, свою Маргариту (женщину!) и Лонгина из Бергамо, Фредерика Новарского, Альберта Карентского и Вальдерика Брешианского. И нахально распространялся о последовательности будущих пап, двух добрых, первого и последнего, и двух лихих, второго и третьего. Добрый пастырь, предшествовавший обоим лихим, был Целестин. Вторым был Бонифаций VIII, о котором сказано пророками: “Надменность сердца твоего обольстила тебя, о ты, живущий в расщелинах скал”. Третий папа не назван Дольчином, хотя о нем и говорится у Иеремии: “Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища”. Однако, к стыду, Дольчин предполагал под этим львом Фредерика Сицилийского, долженствующего растерзать лже-пастырей… Четвертый папа Дольчину был неизвестен, но это должен был быть святой Божий, ангелический папа, о котором пророчествовал аббат Иоахим. Он должен был быть призван Богом, и тогда Дольчин и все Дольчиновы люди, которых к тому дню поднабралось уже более четырех тысяч, осенились бы милостями Духа Святого, и церковь избавилась бы от бедствий, и с тем обновилась бы вовеки и до скончания времен. Однако все это долженствовало совершиться через три года, а в эти три

года надлежало исчерпать все земное зло. Этим-то и занимался Дольчин, разнося войну по свету. А четвертый по порядку папа – вот нам пример, до чего любит нечистый насмехаться над своими суккубами! – это был тот Климент V, который провозгласил поход против Дольчина. И был вполне в своем праве, поскольку в посланиях Дольчина содержались высказывания, несовместимые с христианством. Дольчин утверждал, что Римская церковь – блудница, что священнослужителям никто не должен подчиняться, что отныне все духовное руководство миром переходит к секте апостолов, что одни только апостолы в состоянии основать новую церковь, что апостолы могут пренебрегать таинством брака, что только тот, кто примкнет к его секте, тот спасется, что ни один из пап не правомощен отпускать грехи, чтоб церковную десятину не платили, что более совершенна жизнь без обетов, нежели с обетами, и что освященная церковь – не лучшее для молитвы место, чем любая конюшня, и что Христа безразлично где почитать – в часовне или в лесу».

«Он действительно говорил все это?»

«Конечно, говорил, это доказано и подписано им самим. Однако, к сожалению, поступал он еще гораздо хуже. Утвердившись на Лысом Утесе, он стал громить долинные деревушки, грабил все подчистую, чтобы добыть провиант. Велась самая настоящая война против соседствующих сел».

«И все села были против него?»

«Неизвестно. Может быть, кто-то его и поддерживал. Я ведь уже сказал, что он ввязывался в запутаннейшие раздоры жителей той местности. Тем временем пришла зима 1305 года – одна из самых свирепых за последние несколько десятилений, – и в округе наступил ужасный голод. Дольчин распространил третье письмо к собратьям, и многие стекались к нему, но скоро жизнь на горе стала невыносимой и лишения были таковы, что пришлось есть лошадей, других живых тварей и пареное сено. И многие померли».

«Но с кем они воевали?»

«Епископ Верчелли обратился за помощью к Клименту V, и тот снарядил крестовый поход на еретиков. Он объявил всякому, кто примет в нем участие, полное отпущение грехов. Он обратился к графу Савойскому, к ломбардским инквизиторам, к архиепископу Милана. Многие выступили на помощь жителям Верчелли – и новарцы, и савояры, и провансальцы, и французы. Во главе похода стал епископ Верчелли. Передовые отряды обоих войск то и дело налетали друг на друга, но укрепления Дольчина были неприступны, и, кроме того, нечестивцы получали основательную поддержку».

«Откуда?»

«Думаю, от других нечестивцев. От тех, кому на руку был этот рассадник беспокойства… В конце 1305 года ересиарх был вынужден увести людей с Лысого Утеса, бросив там раненых и больных, неспособных идти, и перешел в область Триверо, и укрепился там на вершине, которая раньше именовалась Цубелло, а с той поры ее стали звать Рубелло или Ребелло, потому что она стала оплотом бунтарей (rebelli). Не в моих силах рассказать тебе все, что там происходило. Происходили ужасные кровопролития. Но в конце концов бунтарей принудили сдаться. Дольчин и его люди были схвачены и получили по заслугам. Их сожгли».

«И красавицу Маргариту?»

Убертин посмотрел мне в лицо: «Ага, ты запомнил, что она была красавицей? Да, говорят, она была очень хороша. И многие знатные люди в тех краях хотели взять ее в жены, чтобы спасти от костра. Но она не пожелала, умерла нераскаянной со своим нераскаянным любовником. И да послужит все это тебе уроком. Остерегайся блудодеицы Вавилонской, даже когда она принимает облик самого восхитительного создания».

«А теперь объясните мне, отец. Я слышал, что монастырский келарь, а также, вероятно, и

Сальватор встречались с Дольчином и как-то споспешествовали ему…»

«Замолчи. И не повторяй непроверенных мнений. Я узнал келаря в монастыре миноритов. Это действительно было после событий, связанных с историей Дольчина. Да, это было тогда. Тогда многие спиритуалы (покуда мы не приняли решения просить укрытия в братстве Св. Бенедикта), покинули свои монастыри, переживали трудное время. И я не знаю, где был Ремигий до того, как мы встретились. Знаю только, что он всегда был хорошим монахом, по крайней мере с точки зрения благонадежности. Что же до прочего… Увы, плоть так слаба…»

«Что вы хотите сказать?»

«Тебе такие вещи знать не следует. Хотя впрочем… Раз уж мы об этом заговорили и раз уж ты учишься отличать доброе от дурного… – он поколебался и продолжал, – я могу рассказать, о чем тут шепчутся… в этом аббатстве. Что келарь не в силах устоять перед некоторыми соблазнами. Но все это сплетни. Ты должен приучить себя о подобных вещах даже не думать».

Он снова привлек меня к себе, тесно обнял и указал на статую Богоматери. «Ты должен приучить себя к непорочной любви. Вот Та, чья женственность – высшего порядка. Поэтому о ней можно сказать, что она прекрасна, как возлюбленная Песни Песней. В ее особе, – и лицо Убертина озарилось каким-то внутренним ликованием, так же точно, как вчера лицо Аббата, когда он говорил о самоцветах и золоте своей сокровищницы, – в ее особе дивная красота тела в точности воплощает ее небесное благолепие. И сего ради ваятель представил ее в полном телесном роскошестве, каким только может быть одарена женщина».

Он указал на маленькие груди Приснодевы, высоко и туго затянутые корсажем, завязками которого играли ручонки Младенца: «Видишь? Те же сосцы пригожи, что выпирают не сильно, полны, в меру упруги, но не колышутся дерзко, а возвышаются еле, воздеты, однако не сжаты… Что ты ощущаешь при созерцании этого?»

Я покраснел до ушей, так как ощущал некий сокровенный жар и не мог найти себе места. Убертин, должно быть, заподозрил что-то или догадался по красноте моего лица, поскольку тут же добавил: «Однако научись точно отличать жар сверхчеловеческой любви от обольщения чувств. Это нелегко даже и святым».

«Каковы же признаки благой любви?» – спросил я.

«Что такое любовь? На всем свете ни человек, ни дьявол, ни какая-нибудь иная вещь не внушает мне столько подозрений, сколько любовь, ибо она проникает в душу глубже, неужели прочие чувства. Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому, если не иметь в душе оружия, укрощающего любовь, – эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения. И я убежден: если б не Маргаритин соблазн, Дольчин не заслужил бы проклятия, и если б не разнузданное и не распутное житье на Лысом Утесе – многие люди устояли бы перед Дольчиновой мятежной проповедью. И запомни, что я говорю это не только о дурной любви. Ее, разумеется, следует всемерно избегать как дьяволова обольщения… Но я говорю это с великим страхом также и о любви благой, рождающейся меж Богом и человеком, меж ближним и ближним. Часто случается, что двое или трое, мужчины или женщины, любят друг друга самым сердечным образом, и питают невиданную взаимную привязанность, и желают вечно жить в близости. Одни желают, другие в ответ жаждут… Признаюсь тебе, это описанное чувство испытывал и я к таким величайшим женщинам, как Ангела и Клара. Так вот: даже это чувство в определенном смысле было предосудительно, хотя все и вершилось исключительно в воображении и во имя Господне… Дело в том, что даже самая духовная любовь, если не умеешь противостоять и отдаешься ей с жаром, ведет к падению, к потере всяческого понятия… Ах, у любви столько сложностей. Сперва она размягчает душу… Потом изъязвляет… Однако душа, ввергнутая в горячку, в пламя божественной любви, в пещь огненную, где ей вконец истлеть и истончиться, и превратиться в известь, счастлива даже и этой пыткой, даже и этим кровавым

мучением…»

«Это и есть благая любовь?»

Убертин погладил меня по голове и я, заглянув ему в лицо, увидел слезы. Наверное, его растрогал мой вопрос. «Да, это бесконечная благая любовь, – и убрал руку с моих плеч. – Но как же трудно, – продолжил он, – как же трудно отличить ее от той, другой… Когда душу рвут демоны соблазна и ты, как человек, повешенный за шею, с заломленными руками и завязанными глазами, повешенный на виселице и все-таки живой, без надежды на помощь, без надежды на поддержку, без надежды на спасение, брошенный в пустоте…»

Теперь лицо его было залито не только слезами, но и ручьями пота. «Ну, уходи, – отрывисто сказал он. – Ты узнал все, что хотел узнать. Тут сонм ангелов, там зев ада. Иди. Благословен Господь». Он снова простерся пред Богоматерью, и до меня донеслись подавленные рыдания. Он молился.

Я не ушел из церкви. Речи Убертина возжгли в душе моей и в чреслах какой-то свирепый огонь. Я ощутил невыразимое волнение. Возможно, по этой причине, и восставая сам не знаю против чего, я отважился в полном одиночестве проникнуть в библиотеку.

Я не могу объяснить, зачем шел туда. Хотелось в одиночку разведать это заклятое место. Я был опьянен мыслью, что смогу совершить подвиг сам, без помощи учителя. Я шел туда так же, как Дольчин в свое время шел на вершину Лысого Утеса.

У меня был при себе фонарь (для чего я захватил его? Может статься, план вылазки заранее, тайно, вызрел в моем уме?). По оссарию я бежал, крепко зажмурившись, и единым духом домчался до второго этажа Храмины, до скриптория.

Видимо, рок распоряжался этим вечером, ибо, пробираясь между столами, я и разглядеть ничего не успел, как уже бросилась в глаза раскрытая на чьем-то столе рукопись. Я сразу заметил заглавие: «Гистория мниха Дульцина, ересиарха». По-моему, это был стол Петра Сант'Альбанского, о котором я и раньше слышал, что он трудится над составлением монументальной истории ересей. После того, что произошло в аббатстве впоследствии, он, конечно, не смог завершить свой труд. Но не будем забегать вперед… Таким образом, было вполне естественно, что на столе оказалась именно эта рукопись. Там были и другие тома на сходные темы, например о патаренах и флагеллантах. Однако я воспринял все это как сверхъестественное знамение, непонятно только какого рода – небесное, либо же дьявольское. И приник к листам, жадно впитывая их содержание. Рассказ был недлинный. Первая часть повторяла со множеством мелких подробностей, ныне мною уже позабытых, то же, что рассказал Убертин. Описывались и многие преступления дольчиниан в ходе войны и обороны крепости, и последняя битва, жесточайшая из всего, что только можно себе вообразить. Но я нашел и такие вещи, о коих Убертин не стал мне рассказывать. И эти вещи были засвидетельствованы человеком, который явно видел все своими глазами и чье воображение ко времени записи еще не успело успокоиться.

Итак, я прочел, как в марте 1307 года, в святую субботу, Дольчина, его Маргариту и Лонгина, наконец-то захваченных солдатами, привезли в город Биеллу и передали епископу, ожидавшему папских распоряжений. Папа, получив эти новости, немедленно поставил в известность французского короля Филиппа. Он писал: «У нас сообщения самые великолепные, чреватые восторгом и ликованием. Зловоннейший демон, отродье Велиала и мерзкое чудовище ересиарх Дольчин ценой огромной опасности, лишений, битв и постоянных усилий наконец-то и со своими приспешниками схвачен и находится в наших острогах заслугами многоуважаемого нашего брата Раньера, епископа града Верчелли, и он пойман в канун святой вечери Господней, и многая толпа с ним бывшая, зараженная еретической проказою, перебита в тот же самый

день».

Папа не имел жалости к преступникам и поручил епископу предать их смерти. Поэтому в июле того же года, в первый день месяца, еретики поступили в руки светской власти. На всех колокольнях города заливались колокола; обреченных поместили на повозку, там же находились палачи, вокруг – стражники, и так волоклись по площадям города, и на каждой площади раскаленными щипцами разрывали им члены. Маргариту сожгли первой на глазах Дольчина, который должен был смотреть, как ее жгут. У него не изменилась ни одна черта лица, точно так же как он не дрогнул под пытками каленым железом.

И так продолжали двигаться по городу – а палачи всякий раз накаляли свои орудия в котлах, полных пылающих угольев. Дольчин вынес все мучения и не проронил ни звука, только когда ему отнимали нос – сотрясся всем телом, а когда рвали щипцами детородный орган, он испустил глубокий вздох, похожий на мычание. Его последние слова были непримиримы. Он заявил, что воскреснет в третий день. После этого он был сожжен, а пепел развеяли по ветру.

Я закрыл рукопись непослушными, трясущимися руками. Дольчин был во многом виноват, я знал это, но казнь, которой его подвергли, была слишком ужасна. И на костре он выказал… что? Твердость мученика или закоснелость проклятой души?

Неверные ноги сами несли меня вверх по лестнице, ведущей в библиотеку, и постепенно мне открывалась скрытая причина моего нынешнего смятения. Шаг за шагом у меня в памяти воскресала, как будто въяве, одна картина, виденная мною за несколько месяцев до того, в Тоскане, почти что сразу после выхода из монастыря. Я видел ее так ясно, что не мог теперь уяснить, как она мне ни разу не вспоминалась дотоле – можно было подумать, что изъязвленная душа, чтоб сберечься, напрочь выбросила из памяти воспоминание, тяготеющее над нею, как морок. Хотя, наверное, лучше было бы сказать, что я ни на минуту не забывал эту картину, потому что всегда, как только упоминали о полубратьях, образы того дня моментально всплывали перед моими глазами, но я тотчас же, не успев осмыслить, отгонял их в потайные пазухи сознания, как будто чего-то стыдился, как будто могло бы быть названо греховным мое присутствие при том давнем страхе.

О полубратьях я услыхал впервые одновременно с тем, как во Флоренции своими глазами наблюдал сожжение одного из них. Это было перед тем, как в Пизе я должен был познакомиться с братом Вильгельмом. Мы давно ожидали его приезда, он задерживался, и батюшка разрешил мне отлучиться и осмотреть Флоренцию, о чьих великолепнейших соборах мы много слышали хорошего. Я воспользовался этим, чтоб объехать Тоскану, в целях лучшего овладения итальянской народной речью, а под конец поселился примерно на неделю во Флоренции, поскольку бесконечно много слышал про этот город и хотел узнать его лучше.

Таким-то случаем я прибыл в этот город именно тогда, когда он весь сотрясался от известий о необычном деле. Полубрат-вероотступник, обвиняемый в прегрешениях против закона Божия и предстоящий перед судом епископа и церкви, именно в эту неделю подлежал самой суровой инквизиции. Следом за теми, кто мне рассказывал об этом, я тоже отправился туда, где осуществлялось следствие. Многие в народе говорили, что этот полубрат, Михаил, на самом деле человек весьма пристойный, призывавший других к покаянию и суровой жизни, повторявший проповедь Франциска, а на епископский суд он, как говорили, угодил по злобе некоторых женщин, которые, побывав у него на исповеди, болтали, будто слышали богомерзкие предложения; более того, он и взят якобы был людьми епископа из дома таких вот женщин, что меня неприятно удивило, так как служителю нашей церкви вообще-то не пристало отправлять таинства Господни в подобных малопригодных местах; но такова уж, по-видимому, была слабость полубратьев – не учитывать должным образом всю совокупность обстоятельств, и вдобавок я вполне допускаю, что имелась некая правота в том общественном мнении, которое

приписывало полубратьям, кроме еретических взглядов, еще и распущенность нравов (так же точно как о катарах всегда злословили, что они булгары и содомиты).

Я добрался до церкви Св. Спасителя, где было судилище, но не мог в нее протиснуться из-за густой толпы, загораживавшей вход. Некоторые из этой толпы, однако, опираясь на остальных и цепляясь за оконные решетки, сумели вскарабкаться выше прочих и через окна видели и слышали, что делалось внутри и передавали это тем, кто находился внизу. Там, внутри церкви, брату Михаилу снова перечитывали показания, которые он сделал накануне, где он возглашал, что Христос и его апостолы «не имели ничего своего ни в личном, ни в общественном владении, исповедуя нищету». Слушая показания, Михаил негодовал и доказывал, что писец прибавил к его словам «множество облыжных клевет», и кричал громчайшим голосом (так, что даже на площади слышали): «Во всем этом придется сознаваться и вам в судный день!» Однако инквизиторы все равно прочитали Михайловы показания в таком виде, в каком они были у них переписаны, а под конец спросили, согласен ли он по-хорошему прислушаться к мнению руководителей святой церкви и всего населения города. И я сам слышал, как Михаил закричал им в ответ, что он желает прислушаться к собственным убеждениям, а именно, что «Христос был нищ и распят, а папа Иоанн XXII – еретик, потому что отрицает это». Последовало долгое препирательство, в ходе которого инквизиторы, из них многие – францисканцы, внушали ему, что в Священном Писании нет того, о чем он толкует, а он в ответ обвинял их, что они противоречат правилу собственного ордена, и тогда они обозлились и стали допытываться, уж не думает ли он, что он лучше знает Священное Писание, чем они, назначенные его преподавать. Брат же Михаил, и в самом деле человек неслыханно упорный, стоял на своем и до того довел тех, что они, выйдя из себя, стали требовать от него отречения: «Признавай же немедленно, что Христос имел собственность, а папа Иоанн – христианнейший и святой». Михаил им в ответ непримиримо: «Нет, еретик». И те отступились со словами: «Никогда не было видано, чтобы так коснели в подлости!» Однако среди толпы, окружавшей церковь, я слышал, многие говорили, что он похож на Христа перед фарисеями, и чем дальше, тем сильнее я убеждался, что многие в народе веруют в святость брата Михаила.

В конце концов епископские люди отволокли его в колодках в острог. Вечером мне рассказали, что многие братья, друзья епископа, приходили, поносили его и требовали, чтобы он отказался, но он отвечал с полным чувством совершеннейшей правоты. И повторял перед каждым приходившим, что Христос был беден, и что об этом же говорили Св. Франциск и Св. Доминик, и что, если за эти справедливейшие мысли посылают его на муку, оно и лучше, потому что тем скорее он увидит собственными глазами все, о чем рассказано в Священном Предании: и старцев Апокалипсиса, числом двадцать четыре, и Христа Иисуса, и Св. Франциска, и славнейших христианских мучеников. И еще мне передавали, будто он сказал: «Если мы в таком восторге от суждений святых отцов, насколько же больше и радости, и счастья должна доставлять нам мысль оказаться среди оных». После подобных слов инквизиторы выходили из темницы в неописуемой мрачности, возглашая с негодованием (я сам слышал): «Бес ему помогает, что ли!»

На следующий день мы узнали, что приговор уж вынесен, и, побывав в епископате, я успел ознакомиться с его текстом и кое-что даже переписал для себя на табличку.

Начиналось все со слов: «Во имя Господне, аминь. Ниже следует уголовное дело и уголовное же обвинительное заключение, обсужденное, утвержденное и с великой точностию на сих пергаментах запечатленное…» и далее в подобном духе. Ниже приводился устрашающий перечень грехов и преступлений Михаила, откуда я воспроизведу некоторые отрывки, чтобы читатель сам мог составить окончательное мнение.

«Иоанна, зовомого иначе братом Михаилом Иаковом, из общежития Св. Фредиана,

личность вредного характера и еще более вредоносную своими речами, поступками и известностью, отщепенца и проводника еретического лжеучения, против основ христианства восстающего и выступающего… Бога не имея пред очами, а точнее завербовавшись в стан неприятелей человечества, коий еретик старательно, постепенно, предумышленно, злонамеренно, умственно и телесно способствовал распространению умственной заразы и открыто сносился с фратицеллами, сиречь полубратьями убогой жизни, тоже еретиками и отступниками, и поддерживал их пагубный соглас, и действовал в ущерб народу Божию… И взошед во сказанный град Флорентию, и в публичных скоплениях сказанного града, как отыскалось на проведенном расследовании, собирал около себя народ и с нахальнейшим упорством проповедовал… Будто Христос, спаситель человечества, не владел никаким земным имуществом ни самолично, ни с кем-либо союзно, а любое имущество, которое в Священном Писании упоминается как его, он имел якобы только во временном пользовании».

И не в одних лишь этих прегрешениях обвинялся Михаил; а из прочих одно меня особенно задело, хоть я и не знаю, учитывая все прохождение расследования, точно ли он утверждал то, что ему приписывалось; как бы то ни было, обвинение гласило, что-де преступный минорит доказывал, будто бы святой Фома из Аквино не заслуживает ни святости, ни загробного спасения, а якобы проклят и обречен на вечные муки! Приговор оканчивался определением полагающейся казни, ввиду того, что подсудимый не желает сознаваться в своих грехах:

«И потому приходится нам ныне, беря в расчет все доселе известное и исходя из выше приведенного приказа милостивого государя флорентийского архиерея, сказанного Иоанна, в ереси упорствующа и не хотяща от многих своих невежеств и от скверны очищаться и исправляться грешным духом, на прямой и на истинный путь не позволяюща себя наставить, ныне полагать указанного Иоанна за неисправимого, за упрямого и закоснелого в злонамеренной своей испорченности; и дабы вперед сей указанный Иоанн бесчестиями своими и преступлениями не мог ни перед кем тщеславиться, и дабы мера пресечения его подлости составила бы для всех остальных охотников полезнейшую науку, надлежит вышеуказанному Иоанну, еще зовомому братом Михаилом, кознодею и вору, к обыкновенному лобному месту быть возведену и на этом положенном месте предану смерти через сожжение, дабы совсем он лишился жизни и душа бы его от тела отделилась».

После того как приговор был обнародован, в темницу снова пришли церковники и оповестили Михаила о том, что его ожидает. Я слышал, как эти люди его стращали: «Брат Михаил, знай же, что уже готовы и архимандритские шапки, и плащи, и на всех нарисовано, как полубратья попадают к бесам». Так хотели заставить его отказаться. Но брат Михаил опустился на колени и молвил: «Около моего костра будет стоять Франциск, наш родитель, и, скажу больше, я убежден, что будут Иисус и его апостолы, и преславные мученики Антоний с Варфоломеем». Так Михаил в последний раз отверг предложения инквизиторов.

На следующий день утром я, как и все, стоял на мосту у епископата, где собрались инквизиторы, к коим вывели, все в тех же железах, брата Михаила. Кто-то из его сторонников кинулся на колени за последним благословением и был тут же схвачен охранниками и отведен в тюрьму. После этого инквизиторы прочитали обвиненному приговор, чтобы он мог все-таки одуматься и покаяться. Всякий раз, когда в приговоре он назывался еретиком, Михаил говорил: «Не еретик я; грешник, но христианин». А когда упоминался в том же самом обвинении «достопочтеннейший и святейший папа Иоанн XXII», Михаил всякий раз вставлял: «Нет, еретик». После этого епископ приказал Михаилу стать перед ним на колени, а Михаил на это отвечал, что перед еретиками на колени не становится. Тогда его поставили силой, и он пробормотал сквозь зубы: «Господь свидетель, что меня приневолили». Поскольку на нем еще оставались отличительные знаки его сана, с него начали снимать вещь за вещью, и под конец он

остался в одной рубахе, которую во Флоренции зовут «тельницей». И, как предписывает обычай при расстрижении любого иерея, ему острейшим ножом отрезали подушечки пальцев и отрезали волосы. Затем его передали капитану стражников. Стражники обошлись с ним очень жестоко и поволокли его в железах к острогу, а он на ходу говорил каждому встречному: «Per Dominum moriemur»[58].

Сжечь его собирались, как я понял, только назавтра. Вечером его посетили еще раз и спросили, угодно ли ему исповедаться и причаститься. Он сказал, что не будет причащаться греха, принимая таинства от грешников. В этом он, я думаю, был неправ и повел себя как человек, несвободный от патаренского заблуждения.

Наконец наступило утро казни. За ним явился гонфалоньер, показавшийся мне человеком доброжелательным, потому что он начал спрашивать осужденного, что он за упрямец и почему отказывается повторить то же самое, что повторяет весь народ: ибо все, что от него требуется, – это согласиться с мнением святой нашей матери церкви. Но Михаил стоял на своем: «Верую во Христа распятого, неимущего». И гонфалоньер ушел, разводя руками. Тогда прибыли капитан и его люди и препроводили Михаила в тюремный двор, где епископский наместник дожидался, чтобы снова прочитать ему приговор и показания; Михаил снова взялся спорить и объяснять, что ему приписывают не его мысли; дело шло о таких действительно тончайших разграничениях, что я их не запомнил да и, честно сказать, не слишком-то точно понял. Однако именно эти различия, судя по всему, решили вопрос о казни Михаила и о дальнейших гонениях на полубратьев. Хотя, признаться, я не совсем уяснил себе, с какой стати представители церкви и секулярного клира так свирепо набрасываются на людей, желающих жить в бедности и считающих, что Христос не имел земного богатства. Коли уж на то идет, рассуждал я сам с собою, опасаться следовало бы людям, желающим жить в довольстве и вымогать деньги у своих ближних и вводить церковь во грех, оскверняя ее святокупством. Этими мыслями я поделился со стоящими рядом, так как молчать мне было непосильно. Один человек с ехидной усмешкой ответил, что, если брат придерживается бедной жизни, он подает опасный пример всему народу, который начинает избегать прочих братьев, живущих богаче. Кроме того, продолжал он, проповедь бедности наполняет народные головы ненужными мыслями, ибо тогда и собственную бедность всякий может посчитать основанием для гордыни, а гордыня может привести ко многим дурным поступкам. И наконец, заключил говоривший, мне должно быть без сомнения известно – хотя ему и самому, признаться, непонятно, из какого силлогизма это проистекает, – что со стороны бедных братьев прославление бедности означает поддержку императору, а папа, естественно, этим очень недоволен. Прекрасно обоснованный ответ, подумал я, хотя и ответ простого неученого человека.

Правда, я все равно так до конца и не понял, зачем брату Михаилу понадобилось умирать такой ужасной смертью ради удовольствия императора – или ради прекращения розни между орденами. В толпе и вправду перешептывались: «Это не святой, он подослан Людовиком, чтобы сеять раздор между гражданами, а полубратья хотя сами и тосканцы, но за ними стоит кто-то из начальников империи». А другие в ответ только вскрикивали: «Да он сумасшедший! Он обуян вражьей силою! До чего горд собой! Он и мученичеству своему рад, чтобы потешить гордыню! Все эти полубратья слишком много житий прочитали, лучше бы жениться им позволили, что ли!» Третьи оспаривали их: «Ничего такого! Всем бы нам христианам быть как они и не менее твердо охранять свою веру, как во времена язычников». И, прислушиваясь к нестройным крикам, тогда как сам я уж не знал что и помыслить, я вдруг столкнулся своим взглядом, лицо к лицу, с приговоренным, которого густая толпа перед тем от меня закрывала. И я увидел лицо человека, который смотрит на что-то уже вне этого мира, – такие бывают лица у изваяний, изображающих святых во власти виденья. И я понял, что сумасшедший ли он или провидец, но он просветленно

жаждет смерти, ибо верит, что смертью победит своего врага, кем бы этот враг ни был. И я понял, что пример его смерти толкнет на смерть еще сотни и сотни. И пришел в смятение от неописуемого их упорства, ибо и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю, что в них преобладает – высокомерная ли страсть к своей истине, вынуждающая к смерти, или высокомерная их страсть к смерти, вынуждающая оборонять свою истину, какова бы ни была эта истина. И я стоял в волнении и в испуге.

Но вернусь к описанию казни, так как окружавшие меня люди уже тянулись к лобному месту.

Капитан и прислужники вытолкали его из ворот, в испачканной рубахе, с вырванными застежками; он шел широким шагом, потупив голову, читая свою молитву. Он шел как мученик. Толпа была вокруг небывалая и все кричали: «Не умирай!», а он говорил в ответ: «Умру за Христа!» «Не за Христа ты умрешь», – возражали ему. А он: «Значит, за истину». На улочке, называемой проездом Проконсула, люди просили его молиться за них всех; он благословил толпу. Возле стены Св. Либераты кто-то крикнул: «Ты дурень, если не веришь в папу!», а он ответил: «Сделали себе бога из вашего папы», и добавил, чуть помедлив: «Папоротники лопоухие!» Это он шутил, играл словами, как мне позднее объяснили; сам я не настолько хорошо знал тосканское наречие, чтобы понимать, что у них название этой травы – ругательство, так же как у нас лопух. И все были удивлены, как он мог шутить перед смертью.

У Св. Иоанна ему кричали: «Спасай свою жизнь!», а он в ответ: «Сами спасайтесь, грешники!» У Старого рынка он слышал: «Спасайся, спасайся!» и кричал в ответ: «Спасайтесь вы из ада»; у Нового рынка кричали из толпы: «Покайся, покайся!», а он отвечал: «Сами покайтесь в лихоимстве». На паперти Св. Креста он увидел монахов своего братства; он задрал голову и изругал их, что они изменили правилу Св. Франциска. Одни монахи на это пожимали плечами и отворачивались, другие закрывали от стыда лицо куколем.

На пути к воротам Правосудия многие окликали его: «Отрекись, отрекись, зачем тебе умирать!» А он: «Христос за вас умер». Они: «Но ты не Христос, не надо умирать за нас». Он в ответ: «А я хочу за вас умереть!» На площади Правосудия его спросили, почему он не поступает, как один из начальников его братства, который отрекся, но Михаил возразил, что тот и не думал отрекаться; я обратил внимание на то, что многие в толпе поддерживают Михаила и желают ему быть сильным и все перетерпеть; тут и мы с остальными поняли, что это его люди, и дали им пройти.

Наконец процессия миновала ворота Правосудия и нашему взору открылся костер, или же «куща», как тут его называли, потому что бревна были уложены в виде некоей сени; лучники, потесняя народ, оцепили костер широким кругом, чтоб никто к нему не приближался. Михаила возвели и привязали к брусу. Прозвучал последний выкрик, обращенный из толпы: «Да что это, за что ты умираешь?» Он ответил: «Это истина, которая внутри меня, и этой истине присягают только смертью». Бревна подожгли. Брат Михаил мерно читал «Верую», потом стал читать «Тебя Бога хвалим». Он прочел стихов восемь, потом перегнулся в пояснице, будто собираясь чихнуть, и рухнул на землю, потому что прогорели веревки. И он был уже мертвый, потому что до того, как сгорает тело, человек умирает от чрезмерного нагрева, у него разрывается сердце и дымом заполняется грудь.

Потом деревянный шалашик вспыхнул ослепительно, как факел, и засиял ярчайшим светом, и, если бы не почерневшее бедное тело, еле видное среди пылающих поленьев, я поверил бы, что предо мной неопалимая купина.

Я до того был близок к наваждению, что на лестнице, подымаясь в библиотеку, вдруг осознал, что уста мои шевелятся, шепча те слова об экстатическом восторге, которые я некогда читал у Св. Гильдегарды: «Сие слагается пламя из дивного свечения, из внутреннего сияния и из

огненного пылания. Однако дивное свечение палит, пока не ослепнешь, а огненное пылание жжет, пока не сгоришь».

Вставали в памяти и Убертиновы речи о кровавом горении любви. Я видел, как пляшет пламя на костре еретика Михаила, и это видение сливалось с образом Дольчина на его костре, а образ Дольчина с образом красавицы Маргариты. И опять мною овладело то же беспокойство, которое было в церкви.

Я запретил себе думать обо всем этом и полный решимости вступил в библиотеку-лабиринт.

Я впервые входил в библиотеку один. Бегающие по полу продолговатые тени от фонаря казались такими же страшными, как вчерашние призраки. Больше всего я боялся наткнуться на какое-нибудь новое зеркало. Ибо такова уж магия зеркал: даже когда знаешь, что это только зеркала, – они все равно пугают.

В то же время я не пытался понять, где я, куда мне идти, я не боялся той комнаты, в которой курится дурман и родятся видения. Я был как в лихорадке и шел, не зная, куда мне надо. При этом, как оказалось, далеко от входа я не ушел, так как через некоторое время, завершив круг, снова увидел перед собой семиугольную комнату с лестницей. В ней на одном из столов я заметил кучу книг, которых, по-видимому, вчера не было. Я догадался, что это тома, собранные Малахией в скриптории, но еще не расставленные по местам. Я не понимал, далеко ли нахожусь от комнаты с воскурениями, но голова моя кружилась и тяжелела – надо думать, все-таки от дурманных ароматов, хотя может статься, что дело было в тех чувствах и мыслях, коими я был переполнен. Я стал листать богато иллюстрированную книгу, изготовленную, по миниатюрам судя, где-нибудь в монастырях самого крайнего севера Европы.

И сразу же был потрясен, увидев на первой странице, в начале, перед текстом Евангелия от апостола Марка, изображение льва. Это несомненно был лев. Хотя львов во плоти и крови я не видал никогда. Но миниатюрист, конечно, в точности воспроизвел его телосложение, вдохновясь созерцанием местных львов, поскольку Гиберния[59], как мы знаем, населена чудовищными животными. И я воочию убедился, что оный зверь (это сообщает и Физиолог) собрал в себе все самое жуткое и в то же время все самое величественное. Поэтому его изображение наводило на мысли и о враге рода человеческого, и в то же время о Господе нашем Иисусе Христе. И я не мог догадаться, какой символический ключ следует применять к этой миниатюре, и весь трясся – отчасти со страху, отчасти из-за ветра, проникавшего через амбразуры стен.

У льва вся пасть была усеяна острейшими клыками, а голова одета в броню, как головы змей. Огромное тулово опиралось на четыре свирепые когтистые лапы, и кудлатое руно походило на иные драгоценные ковры, которые я видал позднее, привезенные с Востока, в изумрудных и алых чешуях, и сквозь чешуи проглядывали рыжие, как чумной бубон, мощные, ужасные сопряжения костей. Рыжим был и хвост, вившийся по всему телу вплоть до головы, возле которой последняя извилина венчалась бело-черным пуком шерсти.

От этого льва я пришел в такой ужас и так часто озирался по сторонам, будто ожидая, что подобное существо внезапно бросится из темноты, что не сразу решился заглянуть на другие страницы. Новая открывшаяся миниатюра предваряла собою Евангелие от Матфея. Тут изображался уже не зверь, а человек. Не могу сказать отчего, но вид его устрашил меня еще больше, нежели львиный. У него была голова мужчины, но дальше – вниз от шеи – он был закован в некое подобие плотной ризы, покрывавшей тело до самых пяток, и этот покров, или же этот панцирь, был осыпан твердыми каменьями алой и желтой воды. Голова, загадочно посаженная над башней из рубинов и топазов, представилась мне вдруг (вот к каким

богохульствам привел меня страх!) головой того таинственного убийцы, по чьим неуловимым следам мы пытались идти. Позднее я догадался, отчего так накрепко связались в моем сознании и зверь, и закованный – с лабиринтом. Дело в том, что оба они, подобно всем остальным фигурам в этой рукописи, вырисовывались из густейшего узора, из тысячи переплетенных лабиринтов, в коих линии цвета оникса и смарагда, нити цвета хризопраза и ленты цвета берилла, струясь и перевиваясь, наводили на воспоминание о путанице переходов и коридоров, среди которой я находился. Глаз плутал по странице, метался по сияющим тропам, как метался я по библиотеке, путаясь в хитром расположении комнат. И увидев на пергаменте картину собственных злоключений, я снова затрепетал в тревожном предчувствии и сказал себе, что каждый из тут собранных манускриптов, должно быть, содержит таинственные намеки о моей судьбе, причем именно в этот день, час и минуту. «De te fabula narratur»[60], – сказал я сам к себе, не решаясь гадать – имеются ли на этих листах и предсказания грядущих событий моей жизни.

Я обратился к следующей книге. Она, судя по всему, была испанской работы. Ее краски поражали резкостью, алый цвет отдавал кровью, пламенем. Это было откровение апостола, и опять, как накануне, распахнулся лист с изображением жены, одетой в солнце. Но рукопись была другая, и по-другому выглядела жена. Здесь художник больше позаботился о пышности ее облика. Я сравнивал лицо, груди, округленные бедра с очертаниями статуи Богоматери, которую рассматривал с Убертином. Фигура у нее была совсем другая. Но и эта жена показалась мне весьма красивой. Я сказал себе, что не следует сосредоточиваться на подобных предметах, и перевернул несколько страниц. Там была еще одна женщина – на сей раз блудница Вавилонская. Ее вид был не так уж привлекателен. Но я подумал: вот ведь и она тоже женщина, как та, первая, однако эта – сосуд всех пороков, а та – вместилище всех добродетелей. Впрочем, фигуры у обеих были чрезвычайно женственны, и в какую-то минуту я перестал понимать, что же их различает. Я снова испытывал огромное внутреннее возбуждение. Образ Приснодевы сливался в моем понятии с образом прекрасной Маргариты.

«Я погиб!» – сказал я себе. Или: «Я безумный». И понял, что долее в библиотеке оставаться нельзя.

К счастью, лестница была недалеко. Я бросился вниз, рискуя сломать шею и загасить фонарь. Вот широкие своды скриптория; но и там я не стал задерживаться и скатятся по ступеням еще ниже – в трапезную.

И остановился перевести дух. Через окна просачивался лунный свет той сияющей дивной ночи. Здесь я даже мог бы обойтись без фонаря, столь необходимого в закоулках и переходах библиотеки. Однако я не стал его гасить. С ним было как-то надежнее. Но дыхание все не успокаивалось. Я решил попить воды – заглушить тревогу. Кухня была напротив. Я пересек трапезную и медленно приоткрыл створку двери, выходившей во вторую половину нижней части Храмины.

И в этот миг мой страх не только не прошел, а безмерно возрос. Ибо я моментально понял, что на кухне кто-то есть. В самом дальнем углу, у хлебной печи. Прежде всего я увидел, что там мерцает фонарь, и сейчас же в ужасе дунул на собственный. Вероятно, испугался не только я, но и тот, другой (или другие): их светильник тоже погас. Однако свет полнолуния так ярко освещал залу, что я отчетливо видел возле печи, на полу, не то какую-то тень, не то две неподвижные тени.

Похолодев, я не смел шевельнуться. Послышалось шуршание, я вроде бы уловил сдавленный женский голос. Потом от непонятного пятна, черневшего на полу перед печкой, отделилась темная приземистая тень и побежала к наружной двери, которая оказалась не заперта. Выскользнула и захлопнула дверь за собой.

Теперь оставался только я, замерший на пороге трапезной и кухни, и что-то неясное у печи. Что-то неясное и, как бы это назвать? – поскуливающее. Из темной кучи несся тихий писк, что-то вроде полузадушенных рыданий, равномерные всхлипывания насмерть перепуганного существа.

Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого человека. Но не внезапно обретенная смелость повела меня навстречу этому созданию, а что-то иное. Какой-то хмельной восторг, похожий на тот, который овладевал мною во время видений. В кухне витали непонятные запахи, вроде тех дурманных трав, что были в библиотеке. Во всяком случае, на мои перевозбужденные чувства эти запахи оказали точно такое же действие. Я опьянялся терпким духом траганта[*], квасцов и кремотартара[*], которые служат поварам для ароматизации вин. К тому же, как я узнал впоследствии, на кухне тогда выстаивалось вересковое пиво. В их стороне, на севере полуострова, это пиво ценилось очень высоко. Варили его по обычаю, завезенному с моей родины: вереск, болотный мирт и розмарин, растущий на лесных озерах. Эти-то испарения, пронзая мои ноздри, доходили до мозга и туманили его.

И поэтому, хотя рациональный инстинкт убеждал меня вскричать «Изыди!» и бежать не оглядываясь от попискивающей груды (поскольку, вне всякого сомнения, это был суккуб, подосланный ко мне нечистым), но что-то в моей vis appetitiva[61] толкало и толкало меня вперед. Какая-то тяга к сверхъестественному.

И я стал все ближе подступать к странной тени, и постепенно в зыбком ночном свете, проходившем сквозь огромные окна, увидел, что это женщина. Трясясь и прижимая к груди какой-то узел, она с плачем отползала к устью хлебной печи.

Господь Бог наш, Пресвятая Матерь Божия и все святые угодники, ныне укрепите меня в решимости рассказать, что случилось в дальнейшем. Стыдливость вкупе с достоинством моего нынешнего сана (в бытности теперь монахом-старцем нашего милого Мелькского монастыря, сего оплота мира, прибежища задумчивости) должны бы понудить меня к благонамереннейшему умолчанию. Мне следовало бы ограничиться сообщением, что совершилось кое-что предосудительное, чего описание тут неуместно, – и не смущать ни себя, ни читателя.

Но я обязался рассказывать о тех давешних делах всю правду. А правда неделима, ее величие – в ее полноте, и нельзя расчленять правду ради нашей пользы или из-за нашего стыда.

Трудность еще и в ином. Следует рассказать все события не так, как я вижу и представляю их себе сейчас (хотя я и вижу и представляю их с неумолимой живостью; угрызения ли совести тому причиной, навеки закрепившие в моем сознании все обстоятельства и все помышления тех минут? Или, напротив, недостаточность угрызений? Но и сейчас, надрывая душу, я ворошу в памяти подробности моего грехопадения). Нет, я должен рассказывать в точности то, что видел и представлял себе тогда, в тот вечер. И я способен сделать это с величайшей точностью, потому что стоит закрыть глаза – и передо мной снова воскресает не только все, что я делал, но и все, что я думал в каждую отдельную секунду. Остается только переписать насвежо, не изменяя ни слова, очень давнюю запись. Так и обязан я поступить, и да хранит меня Св. Михаил Архангел, ибо ради воспитания грядущих читателей и бичевания собственной слабости я намерен поведать, какими путями попадает юноша в силки лукавого, даже когда они и явны и вполне заметны. И пускай тот, кто снова в них попадется, сумеет побороть зло.

Итак, это была женщина. Что я говорю! Девица. Имевши до оных пор (как и, благодарение Господу, с оных пор поныне) мало опыта в обращении с созданиями их пола, я не могу судить, сколько ей было от роду. Знаю только, что она была юна, может быть, шестнадцати, может, восемнадцати весен, но, возможно, и двадцати. Меня сразу изумило жизнеподобие дьявольского призрака… Нет, она не была видением! В любом случае, я почувствовал, что это valde bona[62].

Может быть, потому, что она трепетала как воробушек, и всхлипывала, и страшилась меня.

И тогда, зная, что долг доброго христианина в любых обстоятельствах помогать ближнему, я очень ласково заговорил с нею на самой лучшей латыни и постарался убедить, что меня не следует бояться, потому что я – друг, ну, во всяком случае не враг, никак не враг, которого она опасается.

Очевидно, заметив мой благодушный вид, она перестала плакать и даже подвинулась ближе. Я догадался, что моя латынь ей непонятна, и непроизвольно перешел на родной немецкий. Но она испугалась еще сильнее, не знаю уж чего – то ли резкости звуков, непривычной для обитателей того края, то ли самой немецкой речи, напомнившей ей что-то давнее, связанное с моими соотечественниками-солдатами. Я успокоил ее улыбкой и убедился, что язык движений и глаз гораздо понятнее языка слов. Она снова утихла. И даже улыбнулась и произнесла несколько фраз.

Я почти не понимал, что она толкует. В любом случае, ее наречие сильно отличалось от того местного языка, которому я пытался научиться, живя в Пизе. Но по голосу чувствовал, что говорит она что-то ласковое. Я даже вроде бы уловил слова: «Ты молодой… красивый…» Не часто приводится послушнику, с раннего детства живущему в монастырских стенах, слышать о собственной миловидности. Напротив, нас постоянно остерегают, что телесные совершенства бренны и их следует презирать. Однако хитрости врага неисчислимы – ибо должен признаться, что похвала моей внешности, сколь обманчива ни была, медом влилась в мои уши и бесконечно меня обрадовала. Тем более что девица, хваля меня, протянула руку и подушечками пальцев дотронулась до моей щеки, в то время еще по-детски гладкой.

Я почувствовал будто удар… И все же упорно не замечал, как греховное помышление укореняется в моем сердце. Вот до чего силен нечистый, когда берется искушать нас и губить в нашей душе ростки добропорядочности.

Что я чувствовал? Что видел? Помню только, что в первое мгновение чувства не имели и не могли иметь словесного соответствия, так как ни язык, ни ум не умели именовать ощущения подобного свойства. Я бы в немоте – а затем в памяти всплыли другие сокровенные слова, услышанные в другие времена, в других местах и произносившиеся явно с другими намерениями, – но, несмотря на все это, они дивно сочетались с моим упоением в те минуты, как будто были созданы и составлены именно для меня, для моего счастья. Слова эти долго вылеживались в тайных норах памяти – а ныне, оставив свои укрытия, бились у меня в немом рту, и я уж вспоминал, что в Писании, а также у святых, эти слова предназначались выражать более сиятельные понятия. Да и существовала ли на самом деле разница между восторгами, описанными у святых, и теми, которые испытывал мой растревоженный дух? Я утратил бдительность, понятие о границах, что свидетельствует, очевидно, о погружении в самые глубины собственного существа.

Внезапно девица предстала предо мною той самой – черной, но прекрасной – возлюбленной Песни Песней. На ней было заношенное платьишко из грубой ткани, не слишком благопристойно расходившееся на груди. На шее бусы из цветных камешков, я думаю – самые дешевые. Но голова гордо возвышалась на шее, белой, как столп из слоновой кости, очи были светлы, как озерки Есевонские, нос – как башня Ливанская, волосы на голове ее, как пурпур. Да, кудри ее показались мне будто бы стадом коз, зубы – стадом овечек, выходящих из купальни, выходящих стройными парами, и ни одна не опережает подругу. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» – сорвалось с моих уст. – Волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая губы твои, половинки гранатового яблока – твои ланиты под кудрями твоими. Шея твоя как столп Давидов, тысяча щитов висит на нем». И я спрашивал себя в ужасе и в восхищении, кто же эта стоящая передо мною, блистающая как заря, прекрасная как луна,

светлая как солнце, грозная, как выстроенные к битве войско.

Тогда она подошла еще ближе, швырнула в угол темный узел, который до того прижимала к себе, и снова подняла руку, чтобы меня погладить, и снова повторила уже слышанные мною слова. И пока я не мог решить, бежать ли прочь или броситься к ней навстречу, и кровь гремела в моих висках, как трубы Навиновых армий, повалившие стены Иерихонские, и пока я жаждал коснуться ее и страшился этого, она улыбнулась, будто в великой радости, тихо что-то простонала, как нежная козочка, и взялась за тесемки возле шеи, державшие ее платье, и распустила их, и платье соскользнуло вдоль тела, как туника, и она стала передо мною как Ева перед Адамом в Эдемском саду. «Те сосцы пригожи, что выпирают не сильно… Что вызвышаются еле…» – шептал я фразу, услышанную от Убертина, ибо перси ее походили на двойни молодой серны, пасущиеся в лилиях, и живот – на круглую чашу, в которой не истощается ароматное вино, чрево же – на ворох пшеницы, обставленный лилиями.

«О звездочка моя, девица, – рвалось из моей груди, – о запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник!» – и, желая ли того, нет ли, я оказался сплетен с нею, и ощущал ее жар, и обонял терпкий запах неизвестных мне мастей. Вспомнились слова: «Дети, против безрассудной любови – ничего не может человек!», и я осознал, что теперь уже неважно – в дьяволовой я западне или в божией благодати, и что теперь я бессилен остановить то, что движет мною, и – «Слабею, – восклицал я, – слабею, и знаю причину, знаю, но не берегусь!» Потому что сладость розы исходила от ее уст, и прекрасны были ступни ее в сандалиях, и ноги ее были как колонны, и как колонны округления ее бедр – дело рук искусного художника. «Любовь моя, ты, дочь наслаждений! Царь пленился твоими косами», – шептал я про себя, я был окружен ее объятием, и вдвоем мы падали на непокрытый кухонный пол, и неизвестно, ее ли стараниями или собственными, я избавился от послушнической рясы, и мы не стыдились ни себя ни друг друга, и cuncta erant bona[63].

И она лобызала лобзанием уст своих, и ласки ее были лучше вина, и благовонны ее ароматы, и прелестна шея ее в жемчугах, и ланиты ее под подвесками. «Как прекрасна ты, возлюбленная моя, как прекрасна! И очи твои голубиные, – говорил я, – покажи мне лице свое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое восхитительно, ты свела меня с ума, любовь моя, сестра, ты свела меня с ума одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей, сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, запах от дыхания твоего как от яблок, груди твои как грозди, твои груди как кисти винограда, небо твое как чудесное вино; вино течет прямо к любви моей, капли его у меня на устах, на зубах. Садовый источник, нард и шафран, аир и корица, мирра и алой. Я вкушаю соты и мед, напьюсь вина и молока». Кто же была, кто же была та единственная, она, голубка, блиставшая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная, как полки со знаменами?

О Господи Боже мой! Если душа восхищена от тебя, тогда наивысшее благо – любить, что видишь (разве не так?), наивысшее счастье – иметь, что имеешь. Тогда будешь пить благодать из собственного источника (разве не так сказано?), тогда причастишься истинной жизни, которую после этой бренной земной предстоит нам провождать рядом с ангелами, в вечном грядущем… Вот как я мыслил. И понимал, что внезапно все пророчества сбываются. Наконец сбываются, так как девица переполняла меня неописуемыми наслаждениями и мое тело как будто бы превратилось в огромное око, и я видел вперед и назад, ясно видел все окружающие вещи. И я постиг: из того, что называется любовью, происходят и единение, и нежность, и добро, и поцелуй, и объятие. Я уже слыхал подобное, но думал, что говорят о другом. И лишь на некую долю секунды, когда радость моя почти что подходила к зениту, я ужаснулся – а не нахожусь ли этой ночью во власти полуденного беса, из тех, которые, когда спросишь их на пределе блаженства: «Кто ты?» – показываются в своем настоящем обличий и коварно похищают душу, а

телесную оболочку губят. Но тут же я сам себе ответил: если что и от лукавого, это мои колебания, ибо самое верное, самое доброе, самое святое на свете – это то, что я сейчас ощущаю, и сладость этого все возрастает и возрастает от мига к мигу. Как водяная капля, попав в вино, растворяется и принимает и цвет, и вкус вина, как накаленное на огне железо само превращается в огонь, утрачивая первоначальную форму, как воздух, пронизанный солнечным светом, сам становится светом и сиянием, и это уже не пронизанный солнечным светом воздух, а сам солнечный свет, так и я умирал в дивном благорастворении, и всего-то сил оставалось пробормотать слова псалма: «Грудь моя как вино неоткрытое; она готова прорваться, подобно новым мехам», и сразу же ударил ослепительный свет, и в нем высветился сапфир, сверкающий ярким и нежным огнем, и тот ослепительный свет влился в этот яркий огонь, и этот ярчайший огонь засиял сверканием сапфира, и это огненное сверкание и этот нежнейший свет слились и вспыхнули, и запылали, и озарили все.

Когда я почти бездыханный опускался на тело, с коим съединился и сросся, я узнал, на последнем выходе жизни, что пламя родится от дивного свечения, от внутреннего сияния и от огненного пылания, причем дивное свечение палило меня, пока не ослеп, а огненное пылание жгло, пока не сгорел дотла. Затем я постиг бездну и другие бездны, которые она призывала.

Ныне, когда дрожащею рукой (и не знаю – из-за тягости грехов ли моих она дрожит, о которых выше повествую, или из-за непозволительной печали по том давно ушедшем прожитом дне) кладу на пергамент эти строки, я вижу, что обошелся совершенно одинаковыми словами и когда передавал греховное упоение, овладевшее мною, и когда описывал несколькими листами выше пламя, в котором принял мученический конец брат Михаил. Не случайно, конечно, моя рука, безропотная исполнительница воли духа, избрала одинаковые выражения для передачи двух настолько различных состояний; видимо, почти одинаковым образом я их чувствовал и тогда, когда непосредственно жил ими, и сейчас, когда старался воскресить мои чувства снова и заставить ожить на пергаменте.

Есть таинственная мудрость в том, что несоизмеримые вещи могут быть пересказаны аналогичными словами; та же мудрость, наверно, позволяет божественным вещам отображаться в земных именованиях, и, благодаря символической двусмысленности, Бог может быть называем львом или леопардом, и смерть – ранением, и радость – пламенем, и пламя – гибелью, и гибель – бездною, и бездна – проклятием, и проклятие – обмороком, и обморок – страстью.

Почему я в своей давней молодости, передавая упоение смертью, поразившее меня в мученике Михаиле, обратился к тем же самым словам, к которым обратилась и святая, передавая упоение жизнью (жизнью в Боге), – и почему я не мог не обратиться к ним же, передавая свое упоение (провинное и преходящее) моей земною отрадой, которая самопроизвольно, почти сразу же как завершилась, перешла внутри меня в чувство смерти, уничтожения? Я пытаюсь рассуждать сегодня и о том, каким образом я воспринял, с промежутком в несколько месяцев, два события, каждое из которых было и потрясающим, и печальным, и каким образом за одну и ту же ночь в аббатстве я заново пережил в памяти первое их них и чувственно пережил другое – с промежутком в несколько часов. И еще я размышляю о том, в каком же виде почти одновременно я восстановил их в памяти сейчас, при начертании этих строчек, и какой судьбою в каждом из трех случаев и описывал их для себя, употребляя слова, нашедшиеся в совершенно других обстоятельствах и найденные святою душой, благорастворенной в созерцании божественности. Уж не святотатствовал ли я, тогда или теперь? Что же можно было находить похожего между волею к смерти Михаила, тем трепетом, который охватил меня при виде пожирающего его пламени, тою жаждой плотского соединения, которая владела мною при девице, той мистической стыдливостью, которая предписывала мне аллегорический способ пересказа, и тем самым порывом к счастливому самоотвержению,

который побуждал святую самоуничтожиться в собственной любви ради новой жизни, безмерно более долгой, даже вечной? Как возможно, чтобы столь разнородные вещи описывались столь однородным образом? А между тем именно в этом, на мой взгляд, и содержится назидание, которое нами унаследовано от величайших докторов: «Любая из сущих фигур настолько более явно отображает истину, насколько более открыто, путем непохожей похожести, фигурою себя, а не истиной, являет». Но если любовь к пламени и любовь к бездне – это фигуры любви к Господу, могут ли являться они же фигурами любви к смерти и любви к греху? Да, точно так же как и лев, и змея одновременно выступают фигурами Христа и фигурами нечистого. Дело в том, что истинность интерпретации ничем не может быть подтверждена, кроме как авторитетом Святейших Отцов, а в случае, из-за которого я казнюсь ныне, нет авторитета, к которому можно было бы прибегнуть моему покорствующему уму, и поэтому меня сжигают сомнение (вот и заново фигура огня возникает и оттеняет собою сияние истины и полноту заблуждения, вот что убивает меня). Что же происходит, о Господи, ныне у меня на душе, когда я позволяю захватить себя водовороту воспоминаний и произвольно сочетаю различные эпохи, как будто могу сметь изменять последовательность светил и порядок их небесного коловращения? Разумеется, я переступаю все границы, положенные моему рассудку, греховодному и больному.

Довольно, возвратимся к заданию, которое я смиренно сам себе назначил. Я хотел говорить о том дне, о полнейшем помрачении чувств, в которое рухнул как в пропасть. Ну, прекрасно, все, что сохранилось в моей памяти, я изложил по порядку, и пусть же на этом упокоится мое убогое перо честного, непредвзятого летописца.

Не знаю, сколько времени миновало, прежде чем я открыл глаза. Ночной свет был гораздо тусклее: вероятно, луна скрылась в облаках. Я протянул руку в сторону – и не нашел телесного тепла. Я повернул голову. Девицы не было.

Исчезновение предмета, возбудившего мою страсть и утолившего мою жажду, внезапно и резко дало мне почувствовать и бренность страсти, и предосудительность жажды. Omne animal triste post coitum[64]. Теперь я понимал, что совершил грех. Однако и ныне, по прошествии многих лет, по-прежнему горько оплакивая свое падение, я все-таки не могу забыть, что в тот вечер познал великое счастье. И я оскорбил бы Всевышнего, сотворившего все сущее в доброте и в благолепии, когда бы не допускал, что и в том деянии двоих грешников было нечто по природе своей благолепное и доброе. Хотя может статься, это моя нынешняя старость обманчиво представляет как красивое и доброе все, что было в моей далекой юности. А следовало бы, вероятно, целиком обратиться не к прошлому, а к будущему – к неотступно приближающейся смерти. Но тогда, в юности, я не думал о смерти, а бурно и чистосердечно плакал о совершенном грехе.

Я поднялся, дрожа. Я слишком долго пробыл на ледяном камне кухонного пола и промерз до костей. Трясясь, как в лихорадке, я натянул рясу. И вдруг увидел в углу сверток, который девица, убегая, не захватила. Я… нагнулся, чтобы рассмотреть. Это был неуклюжий узел, похоже – из кухонной тряпки. Я развязал его и в первую минуту не понял, что внутри: отчасти из-за слабого освещения, отчасти из-за необычной формы предмета. Постепенно я разглядел. В сгустках крови и в обрывках беловатого и вялого мяса предо мной лежало уже безжизненное, но все еще трепещущее, еще бьющееся студенистым утробным содроганием, оплетенное свинцовыми прожилками – сердце, довольно больших размеров.

Темная пелена заволокла все перед глазами, горькая слюна волною наполнила рот. Я вскрикнул последним криком – и упал, как падает мертвец.

Третьего дня
НОЧЬ,

где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины

Я очнулся оттого, что кто-то плескал мне в лицо водой. Это был брат Вильгельм. Он хлопотал около меня с фонарем, подсовывая мне под голову мягкую тряпку.

«Что случилось, Адсон, – спросил он, когда я открыл глаза, – чтобы лазить по ночам за требухой на кухню?»

Оказывается, он среди ночи проснулся и стал искать меня, не знаю уж зачем, а не найдя, заподозрил, что я из фанфаронства надумал пойти один в библиотеку. Огибая Храмину со стороны кухни, он заметил, как таинственная тень шмыгнула из кухонной двери к огородам. Это была, очевидно, та самая девица: заслышав шаги, она оставила меня и кинулась восвояси. Он погнался за беглой тенью, пытаясь понять, кто это. Но тень добежала до каменной ограды, слилась с нею и исчезла – как растворилась. Оставшись ни с чем, Вильгельм стал обследовать местность, заглянул и на кухню, где обнаружил меня, на полу, без чувств.

Цепенея от ужаса, я указал ему на сверток – плод нового преступления. Тут он захохотал: «Адсон, ну как же у человека может быть такое сердце? Это коровье или бычачье. Вчера здесь резали скотину… Скажи лучше, откуда ты его взял?»

Тогда я, изнемогая от раскаяния и к тому же объятый величайшим страхом, разрыдался и кинулся к Вильгельму, умоляя исповедать меня и отпустить мне грехи. После этого я рассказал ему все, ничего не утаив.

Брат Вильгельм выслушал мою повесть с серьезным, но не чересчур суровым видом. Когда я кончил, он пристально поглядел мне в лицо и сказал: «Адсон, ты, конечно, согрешил, и согрешил дважды. Против заповеди, обязывающей не любодействовать, и против своего послушнического долга. Однако тебя оправдывает то обстоятельство, что в подобных условиях соблазнился бы святой пустынник. Женщина – орудие совращения, о чем неоднократно говорится в Писании. О женщине Екклесиаст говорит, что речи ее жгут как огонь. Притчи гласят, что жена уловляет дорогую душу мужчины и что много сильных убиты ею. И у того же Екклесиаста сказано, что горче смерти женщина. Потому что она – сеть и сердце ее – силки, руки ее – оковы. Другие говорят, что она сосуд диавола. Обдумывая все это, дорогой Адсон, я никак не могу поверить, что Господь при сотворении мира сознательно поселил в нем такое растленное создание, не снабдив хотя бы какими-нибудь добрыми качествами. И меня поневоле мучает вопрос, что же в таком случае заставило его уважать и даже отличать женщину, и зачем ей были дарованы по крайней мере три великих преимущества. Во-первых, мужчина сотворен в нашем скорбном мире, и из грязи. А женщина уже после этого – в раю и из благороднейшего человеческого материала. И ведь не из ноги, не из каких-либо внутренностей Адама Бог ее сотворят, а взял часть, ближайшую к сердцу, – ребро. Во-вторых, Господь, так как он всемогущ, мог бы найти способ воплотиться непосредственно в мужчину, а вместо этого предпочел прийти из чрева женщины. И, наконец, третье: по наступлении царствия небесного не мужчина воссядет на престол, а женщина, ни разу не грешившая. Ну, а если сам Господь столько занимаются и Евой, и ее женским потомством, так ли уж удивительно, что и нас привлекают достоинства и добродетели этого пола? Вот что я тебе скажу, Адсон. Впредь проделывать подобное ты,

конечно, не должен. Однако ничего чудовищного в том, что ты один раз поддался искушению, тоже нет. Да и если монах хотя бы раз в жизни сам испытает плотскую любовь – с тем чтобы, когда придет час, понятливо и снисходительно выслушать грешника, ищущего у него опоры и совета… Словом, дорогой Адсон, к подобному казусу не следует стремиться, но если уж он произошел – слишком сокрушаться тоже не стоит. Посему ступай с Богом и не будем больше об этом говорить. Кстати, дабы не сосредоточиваться на вещах, которые лучше всего немедленно выбросить из головы… если сумеешь… – и тут мне показалось, что голос его пресекся, словно от некоего тайного воспоминания, – давай обсудим лучше, каков смысл всего происшедшего этой ночью. Что это была за девушка и с кем она тут встречалась?»

«Этого я не знаю, и мужчину, бывшего с нею, не разглядел», – ответил я.

«Так. Но можно вычислить, кто это был. У нас достаточно данных. Прежде всего, мужчина этот стар и уродлив, из тех, с которыми девушки по доброй воле не идут, особенно такие красивые, как ты описываешь. Хотя мне и кажется, милый мой волчонок, что тебе любая пища сошла бы за лакомство».

«Почему стар и уродлив?»

«Потому что девушка пошла с ним не по любви, а за куль потрохов. Это несомненно здешняя деревенская девушка, которая, возможно, не впервые отдается похотливому монаху – а в награду уносит что-нибудь съестное для себя и своего семейства».

«Продажная женщина!» – произнес я в ужасе.

«Голодная девочка, Адсон. И, наверное, есть голодные братишки и сестренки. Надо думать, при возможности она отдавалась бы не из выгоды, а из любви. Как сегодня. Ведь, судя по твоему рассказу, она увидела твою молодость и красоту и задаром, вернее, за твою любовь отдала тебе то, что другому отдала бы лишь в обмен на бычачье сердце и обрезки легкого. И ощутила такую гордость, бескорыстно даруя себя, что когда убегала – не стала брать добычу. Вот почему я прихожу к выводу, что тот, другой, с кем она тебя сравнивала, не блещет ни молодостью, ни красотой».

Признаюсь, что, несмотря на мое живейшее раскаяние, этот довод преисполнил меня сладостным самодовольством. Но я молчал и продолжал слушать учителя.

«Этот уродливый старикан должен иметь дела вне стен монастыря… собственные отношения с крестьянами… Он должен знать, как попасть на монастырское подворье и выйти с него, минуя ворота. Кроме того, он знает, что на кухне есть свежий ливер (а наутро скорее всего решили бы, что в незапертую дверь пробралась собака и украла его). При этом он судит по-хозяйски, заботится, чтобы из кухни не уходили более ценные припасы. Иначе он дал бы девочке филе или какую-нибудь другую хорошую часть. Ну, а теперь, как видишь, облик нашего незнакомца обрисовался достаточно четко, и все его качества, по-ученому выражаясь – акциденции, соответствуют вполне определенной субстанции, имя коей я без колебаний назову: Ремигий Варагинский. Здешний келарь. Если же я паче чаяния ошибаюсь, тогда – непонятный для нас Сальватор. Который к тому же из этих краев, а значит, без труда разговаривает с местными и знает, как добиться от девушки, чтоб выполнила все, что он захочет. Она бы и выполнила, если бы не явился ты».

«Сомнений нет, все именно так, – согласился я. – Но какое это теперь имеет значение?»

«Никакого. И огромное, – ответил Вильгельм. – Все это может быть абсолютно не связано с преступлениями, которые мы расследуем. А может быть и связано. Если келарь действительно из дольчиниан, одно объясняет другое – и наоборот. Теперь нам доподлинно известно, что аббатство по ночам живет тайной деятельной жизнью. И вполне вероятно, что келарь или Сальватор, раз уж они так запросто шатаются по монастырю в темноте, знают гораздо больше, нежели намерены рассказывать».

«Значит, они и не расскажут».

«Не расскажут, пока мы смотрим сквозь пальцы на их проделки. Однако как только нам что-либо от них по-настоящему понадобится, мы сумеем заставить их говорить. Словом, отныне они у нас в руках, и Сальватор, и келарь, и да простит меня Господь эту военную хитрость, раз уж он прощает другим людям столько всяких грехов», – и при этих словах он так лукаво взглянул мне в глаза, что у меня язык не повернулся высказывать ему свое мнение относительно правосудности подобной стратегии.

«А сейчас надо бы поспать. Через час полунощница… Однако, по-моему, дорогой Адсон, ты еще взвинчен, поглощен своим преступлением. Чтоб успокоить нервы, час-другой в церкви – незаменимое дело. Я, конечно, отпустил тебе грехи, но никогда нельзя знать точно. Поди испроси подтверждения у Господа…» – С этими словами он довольно ощутительно съездил меня по затылку, не то в знак отеческого и дружеского расположения, не то для снисходительной острастки. А можно было расценить это и так, как я, каюсь, расценил в ту минуту – что это жест добродушной зависти. Я ведь знал, как этот человек охоч до новых необычных впечатлений.

Мы отправились в церковь как обычно – подземным ходом. Я шагал как можно шире и старался не глядеть по сторонам, потому что все эти черепа слишком явно напоминали мне, что и сам я прах и что весьма безрассудна моя плотская гордыня, взыгравшая в ту ночь.

Поднявшись в церковь, мы увидели перед главным алтарем какую-то фигуру. Я подумал, что это по-прежнему Убертин. Но оказалось, что это Алинард, сперва нас не узнавший. Он сказал, что ему плохо спится и поэтому он решил провести ночь в церкви, молясь за пропавшего юношу (чье имя он тоже позабыл). Он молится о его душе, если тот умер, и о плоти, если тот жив и находится где-нибудь в скорби и одиночестве.

«Слишком много мертвецов, – сказал Алинард, – много мертвецов. Но все это предсказано в книге апостола. С первой трубой падет град, со второй – третья часть морей сделается кровью… Третья же труба предвещает, что очень большая звезда, горящая подобно светильнику, падет на третью часть рек и на источники вод. И говорю вам, что для того пропал третий наш брат. Вострепещите и о четвертом, ибо скоро будет поражена третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд – и наступит почти полная тьма».

Когда мы выходили из трансепта, Вильгельм бормотал про себя: а нет ли в словах старика какого-то полезного смысла?

«Однако, – вмешался я, – в таком случае придется предположить, что некий дьявольский ум, взявши Апокалипсис за указку, подстроят все три смертных случая (если считать, что Беренгар тоже распрощался с жизнью). А между тем нами установлено, что смерть Адельма произошла от его собственных действий».

«Да, – отвечал Вильгельм. – Но тот же самый дьявольский… или попросту больной… ум мог бы воспользоваться гибелью Адельма и подстроить еще две смерти так, чтобы образовался символический ряд. В этом случае Беренгар должен покоиться в реке, либо в источнике. Но в стенах аббатства ни реки, ни источника нет, по крайней мере таких, в которых можно утонуть… либо быть утопленным…»

«Тут только баня», – пробормотал я без всякой задней мысли.

«Адсон! – вскрикнул Вильгельм. – А ты знаешь, что это идея? Баня!»

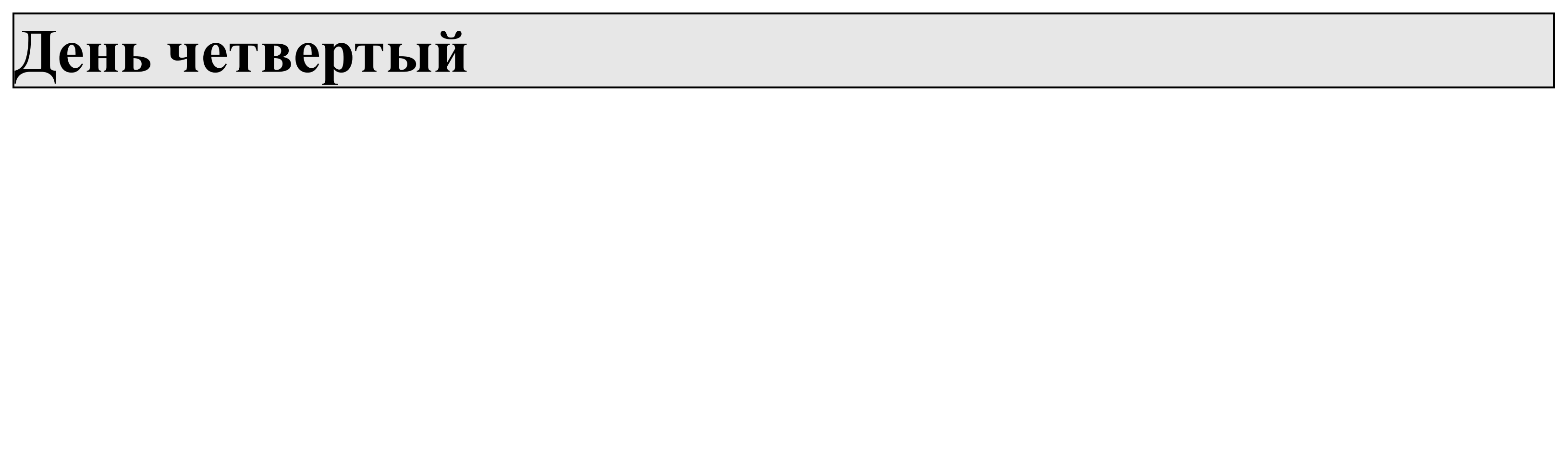
«Но там уже смотрели…»

«Я видел, как они смотрели. Сегодня, когда был объявлен розыск, служки приоткрыли дверь купальни и заглянули туда, но обшаривать помещение не стали, потому что не думали, что следует искать что-то далеко запрятанное. Ожидалось, что труп расположен где-нибудь самым театральным образом, как труп Венанция в бочке с кровью… Пойдем посмотрим в купальне.

Хотя темно… Но, кажется, наш фонарь еще усердно светит».

Так мы и сделали. Купальни находились за больницей. Открыть дверь не составило труда. Разделенные широкими плотными занавесями, там стояли ванны, не помню сколько. Монахам они служили для мытья по тем дням, по которым это предписывалось правилом, а Северину – для лечебных надобностей, ибо ничто не успокаивает тело и дух лучше, чем ванна. В углу печь для подогрева воды. На поду печи мы заметили свежую золу, а перед печью валялся большой перевернутый котел. Воду здесь брали в другом углу – там прямо из стены била струйка.

Мы заглянули в ванны первого ряда. Те, что ближе к двери, были пусты. Только в последней, задернутой плотной занавесью, была вода. Рядом темнела куча сложенной одежды. На первый взгляд, в тусклом свете нашего фонаря, поверхность воды казалась спокойной. Но, повернув луч света внутрь ванны, мы увидели на дне ее безжизненное голое тело. Мы осторожно извлекли мертвого. Это был Беренгар. Вот у этого, сказал Вильгельм, действительно лицо утопленника. Он весь раздулся, белое безволосое разбухшее тело казалось женским – если бы не бесстыдно повисший вялый уд. Я зарделся, потом ощутил дрожь. И осенил себя крестным знамением, в то время как Вильгельм благословлял труп.



День четвертый

Четвертого дня
ХВАЛИТНЫ,

где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника; потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже

Не стану тратить время и описывать, как известили Аббата, как весь монастырь был на ногах до канонического часа, как звучали повсюду крики ужаса, как отчаяние и страх читались на лице каждого монаха, как новость облетела всех поселян в той долине и служки крестились и бормотали заклятия. Не знаю, состоялась ли в этот день положенная первая служба и кто на ней присутствовал. Я отправился за Вильгельмом и Северином, которые приказали завернуть тело Беренгара и перенести его на большой стол в лечебнице.

Выпроводив Аббата и монахов, травщик и мой учитель долго осматривали труп с невозмутимостью, присущей людям медицины.

«Утонул, – сказал Северин. – Вне всякого сомнения. Лицо раздутое, живот напряженный».

«Притом утонул сам собою, – дополнил Вильгельм. – В противном случае вокруг ванны обнаружились бы брызги воды. Однако все было чисто и прибрано, как будто Беренгар сам нагрел себе воду, сам наполнил ванну и улегся в нее по собственной воле».

«Это меня не удивляет, – отвечал Северин. – Беренгар страдал судорогами, и я сам неоднократно говорил ему, что теплые ванны прекрасно унимают волнения тела и души. Он много раз обращался ко мне за позволением принять ванну. Возможно, и сегодня ночью ему стало нехорошо, и он захотел…»

«Прошлой ночью, – перебил его Вильгельм. – Ибо, как ты можешь видеть, это тело находилось в воде не менее суток».

«Да, наверное, прошлой ночью», – согласился Северин. Вильгельм вкратце описал ему события позавчерашней ночи, не упоминая, что мы без спросу побывали в библиотеке, и опустив многие другие обстоятельства. Он просто рассказал, что мы преследовали таинственного незнакомца, унесшего у нас книгу. Северин, должно быть, понял, что Вильгельм открывает ему только часть правды, но не стал задавать вопросов. Он лишь заметил, что если таинственный похититель и вправду Беренгар – для него было вполне естественно после нервной встряски прибегнуть к успокоительной ванне. «Беренгар, – добавил лекарь, – был очень чувствительного сложения. Неприятности и волнения обычно приводили к приступам, он весь дрожал, обливался холодным потом, выкатывал глаза и валился на землю, изрыгая беловатую пену».

«Тем не менее, – сказал Вильгельм, – сначала он должен был побывать где-то в другом месте. Потому что в купальнях нет и следа унесенной им книги».

«Да, – с некоторой гордостью подтвердил я. – Я посмотрел и под кучей его одежды, там, у ванны. Все перетряс, но не нашел. Вещь не маленькая. В купальне ее нет, это точно».

«Молодец, – улыбнулся мне Вильгельм. – Значит, он заходил еще куда-то, а затем, то ли действительно пытаясь унять возбуждение, то ли чтоб скрыться от нашей погони, пробрался в купальни и залез в воду. Северин, как ты думаешь, мог с ним от болезни случиться такой сильный приступ, чтобы потерять сознание и утонуть?»

«Все возможно, – неуверенно сказал Северин. – С другой стороны, за эти полтора суток вода вокруг ванны могла и высохнуть. Может быть, все-таки он сопротивлялся? Почему

исключается вероятность насильственной смерти?»

«Исключается, – сказал Вильгельм. – Где это видано, чтобы жертва, прежде чем ее утопят, самостоятельно разделась?» Северин пожал плечами в знак, что этот аргумент его не убеждает. Молча, задумчиво разглядывал он ладонь мертвеца и наконец сказал:

«Странное дело».

«Что?»

«Вчера, осматривая труп Венанция, когда всю кровь смыли, я заметил одну вещь, но не придал ей значения. Подушечки двух пальцев на правой руке Венанция имели темный цвет, как будто от какого-то коричневого красителя. Это выглядело точно так же, как сейчас – видишь? – у Беренгара. Кроме того, здесь еще незначительные следы на третьем пальце… Вчера я подумал, что Венанций измазал руки чернилами в скриптории».

«Очень интересно», – промычал под нос Вильгельм, наклоняясь к рукам Беренгара. Закат уже занимался, но свет в помещении был еще очень неярок, и учитель, очевидно, страдал от отсутствия своих стекол. «Да, весьма интересно, – пробормотал он снова. – Указательный и большой палец. Окрашены целиком подушечки. Средний палец. Только внутренняя сторона и совсем немного. Однако те же загрязнения, в слабой степени, есть и на левой руке, по крайней мере на указательном и большом пальцах».

«Если б речь шла только о правой руке, можно было бы думать, что он брал пальцами что-нибудь маленькое или что-нибудь длинное и узкое…»

«Вроде стилоса. Или какой-то пищи. Или змеи. Или оправы мощей. Или любой палочки. Слишком много вариантов. Но поскольку чернота имеется и на другой руке, это могла бы быть чашка: правой рукой он ее держит, левой чуть-чуть подпирает».

Северин тем временем легонько массировал пальцы умершего, но коричневая краска не сходила. Я заметил, что на нем были рукавицы, употребляемые, очевидно, для обращения с ядовитыми веществами. Он втягивал носом воздух, видимо, стараясь определить природу запаха, однако запах, как я понимал, ничего ему не говорил: «Я мог бы перечислить сколько угодно растительных, да и не растительных, составов, способных оставлять следы похожего вида. Одни из этих составов смертельны, другие нет. У рисовальщиков обычно пальцы выпачканы золотым порошком…»

«Адельм работал рисовальщиком, – сказал Вильгельм. – Но бьюсь об заклад, что когда нашли его тело, ты не подумал осматривать пальцы. Однако эти двое могли, конечно же, трогать что-то принадлежавшее Адельму…»

«Даже не знаю, что сказать, – произнес Северин. – Двое мертвых, и у каждого черные пальцы. Что ты думаешь?»

«Ничего не думаю. Nihil sequitur geminis ex particolaribus unquam[65]. Надо было бы свести оба случая к единому основанию. Например, существует состав, зачерняющий пальцы того, кто его коснется…»

Я, в восторге от своих познаний, выпалил окончание силлогизма: «Пальцы Венанция и Беренгара черны, ergo они касались состава».

«Вот-вот, Адсон, – сказал на это Вильгельм. – Жалко только, что твой силлогизм построен неправильно, так как aut semel aut iterum medium generaliter esto[66], а в твоем силлогизме средний термин ни разу не является общим. Это указывает на ошибку в постановке основной посылки. Я не имел права утверждать, что у всех, кто касался известного вещества, черны пальцы, ибо могут быть на земле люди с черными пальцами, но не касавшиеся вещества. Я должен был сказать иначе: те и только те, у кого черны пальцы, безусловно, касались этого вещества. Венанций и Беренгар… ну и так далее. Что дает нам прекрасный образец Darii, третьего вида в первой фигуре».

«Так у нас есть ответ!» – воскликнул я, страшно довольный.

«Боже мой, Адсон, до чего ты веришь в силлогизмы! Все, что у нас есть, – это новый вопрос. То есть мы выдвинули гипотезу, что Венанций и Беренгар брались за один и тот же предмет, гипотезу безусловно разумную. Но даже если мы подозреваем о наличии некоего состава, который один из всех составов производит подобное действие (что тоже еще, кстати, не доказано), все равно хорошо было бы нам еще узнать, где они с этим составом повстречались и зачем полезли его трогать. И заметь себе, что мы притом не уверены, что именно это вещество, которое они, предположим, оба трогали, привело их к смертельному исходу. Представим себе, что некий умалишенный взял привычку убивать всех, у кого на пальцах золотой порошок. Можно ли утверждать, что их убивает порошок?»

Я молчал, удрученный. Я привык вообще-то думать, что логика – универсальное орудие, а сейчас я все больше замечал, до какой немалой степени польза логики зависит от того способа, которым ее употребляют. С другой стороны, наблюдая за учителем, я и сразу уже осознал, и чем дальше, тем сильнее осознавал в последующие дни, что логика может дать огромную пользу лишь при одном условии: вовремя прибегать к ней и вовремя из нее убегать.

Северин, который, вне всякого сомнения, великим логиком не являлся, пока что философствовал вслух на основании не логики, а собственного опыта. «Мир ядов так же разнообразен, как разнообразны чудеса природы, – говорил он, показывая на целые полчища банок и склянок, уже виденных нами и в предыдущий раз, выстроившихся в удивительном порядке на полках вдоль стен и перемежающихся книжными рядами. – Как я сказал тебе при прошлом разговоре, многие из этих вот трав в должном количестве и в должном приготовлении могут стать основой ядовитых напитков и мазей. Вон наверху datura stramonium, белладонна, цикута; они дают возбуждение, или сонливость, или то и другое вместе; приготовленные как полагается, они, прекрасные лекарства, при избыточном поглощении приводят к смерти. Под ними, ниже, бобы святого Игнатия, angostura pseudo ferruginea, рвотный орех – от всех от них перехватывает дух…»

«Но ни одно из этих веществ не оставляет следов на пальцах?»

«Нет, по-моему, ни одно… Далее. Существуют составы, опасные только при попадании внутрь. Другие составы действуют через кожу. Белая чемерица, кукольник, доводит до рвоты тех, кто берется за стебель, чтоб сорвать его. Есть такие виды бегонии, которые в пору цветения опьяняют садовников. Потрогать такой цветок – все равно что выпить изрядную меру вина. Черная чемерица: от одного с ней соприкосновения начинается понос. Есть цветы, вызывающие сердцебиение, головную боль, потерю голоса. Яд гадюки, напротив, при нанесении на кожу, но без проникновения в кровь, производит только несильный зуд. Однажды мне показали очень любопытную жидкость. Если ее нанести на внутреннюю поверхность ляжки собаки, около гениталий, собака очень быстро умирает в ужасных судорогах. Все члены ее тела костенеют…»

«Ты поразительно хорошо знаешь яды», – перебил его Вильгельм голосом, в котором ощущалось восхищение. Северин запнулся, взглянул ему в лицо и на некоторое время задержал взгляд: – «Я знаю то, что всякий лекарь, травщик, кто занимается наукой о здоровье человека, обязан знать».

Вильгельм надолго застыл, размышляя. Потом попросил Северина открыть мертвецу рот и обследовать язык. Северин, явно заинтересовавшись, взял тонкую лопаточку – свой медицинский инструмент, – заглянул в рот трупа и в изумлении вскричал: «Язык черного цвета!»

«Понятно, – промычал Вильгельм. – Он взял яд пальцами, положил в рот и проглотил. Значит, исключаются все перечисленные тобою яды, впитывающиеся через кожу. Но от этого нам не легче. Теперь исходим из того, что и он, и Венанций действовали добровольно, разумно

и погибли не от рассеянности, не от беспечности… Оба они что-то брали руками и сами подносили ко рту. Видимо, сознавая, что делают…»

«Еду? Питье?»

«Может быть. А может быть… Кто знает? Музыкальный инструмент… Вроде флейты…»

«Абсурд», – сказал Северин.

«Ну, конечно, абсурд. Однако нельзя пренебрегать ни одной гипотезой, сколь бы нелепой она ни была… Теперь попытаемся распознать отравляющее вещество. Скажи-ка… В случае, если бы кто-нибудь не хуже тебя сведущий в ядах пробрался в эту комнату и воспользовался твоими порошками, мог бы он состряпать отраву, оставляющую именно такие следы на пальцах и языке? И поражающую организм через полость рта?»

«Мог бы, – кивнул Северин. – Только кто? И вдобавок, даже если принять эту версию, – каким образом он принудил наших бедных собратьев проглотить яд?»

Честно говоря, я тоже не мог себе представить, с чего бы вдруг Венанций или Беренгар дали себя уговорить и приняли бы от кого-либо подозрительную пищу или питье. Но Вильгельма этот вопрос, видимо, не волновал. «Это попробуем объяснить после, – сказал он. – А пока – постарайся припомнить что-нибудь такое, что до сих пор тебе в голову не приходило… Ну, не знаю… К примеру – что кто-то особенно настойчиво расспрашивал тебя о травах, что кто-то вхож к тебе в лабораторию…»

«Погоди, – сказал Северин. – Довольно давно, то есть несколько лет назад, у меня хранилось весьма ядовитое снадобье. Его оставил один собрат, отбывавший в дальние края. Он сам не знал, из чего сварено это зелье… Разумеется, из трав, но из каких именно – неизвестно. Это была липкая желтоватая мазь. Он предупредил, что касаться ее ни в коем случае нельзя, так как самое ничтожное ее количество, попав на губы, очень быстро убивает человека. Собрат сказал, что малейшие дозы этого вещества вызывают в первые же полчаса чувство сильного изнеможения, а затем – паралич всех членов и, как следствие, смерть. С собой он такую опасную смесь брать боялся и доверил мне. Я долго хранил ее на полке – все собирался исследовать. Но однажды над нашей долиной разразился ураган. Один из моих помощников, послушник, оставил незапертой дверь лечебницы, и бурный ветер разгромил всю эту комнату, в которой мы сейчас находимся… Были разбиты все банки, все зелья разлиты по полу, все травы и порошки рассыпаны. Я целый день потратил, чтоб расставить все на места, а помощников допускал только подбирать черепки и мести пол. Расставив все, я обнаружил, что пропала одна посудина – вот эта самая, о которой я рассказываю. Сначала я заподозрил неладное, но потом убедил себя, что она, должно быть, разбилась и была выметена вместе с мусором. Я приказал хорошенько вымыть пол и протереть все полки…»

«А перед ураганом склянка была на месте?»

«Да… вернее, не знаю. Сейчас, когда я пробую восстановить события… Она была за горшками, далеко упрятана, и я не каждый день смотрел…»

«Как, на твой взгляд… Можно ли допустить, что она была украдена задолго до урагана, а ты об этом не знал?»

«Теперь, рассуждая вместе с тобой, я могу сказать – несомненно».

«И могло ли быть так, что этот твой послушник взял склянку, а потом, воспользовавшись случаем, нарочно не запер дверь, чтобы ураган переколотил все твое хозяйство?»

Северин, по виду судя, очень разволновался: «Конечно, могло! Да я вот и думал… Размышляя обо всем этом, я поражался, что ураган – какой бы он ни был сильный – разбросал и испортил столько вещей. Я вполне имел основания утверждать, что кто-то под прикрытием урагана разгромил мою лабораторию. Наделал больше вреда, чем самая сильная буря…»

«Как зовут послушника?»

«Августин. Но он погиб в прошлом году, упал с мостков, когда помогал другим монахам и служкам чистить лепнину на фасаде церкви… А с другой стороны, опять же если припомнить… Он клялся и божился, что дверь открытой не оставлял. Я же в ярости объявил его виновником всей истории… А может быть, он был действительно ни при чем…»

«Тогда возникает третье лицо. Некто, надо думать, гораздо более опытный, чем маленький послушник, и прознавший о твоей отраве. Кому ты о ней рассказывал?»

«Точно вспомнить сейчас не могу. Аббату, естественно. Я обращался к нему за разрешением содержать особо опасное вещество. И еще кому-то. Кажется, именно в библиотеке, когда мне понадобились гербарии, чтобы выяснить кое-что относительно этого яда…»

«Но ты ведь говорил, что держишь все нужные книги при мастерской?»

«Да, довольно много, – отвечал Северин, указывая на угол комнаты, где находились полки с десятками томов. – Но тогда мне понадобились такие справочники, которых я здесь держать не могу. Даже чтобы просмотреть их в библиотеке, мне пришлось сражаться с Малахией, тот послал меня к Аббату за разрешением… – тут он понизил голос, как будто желал скрыть сообщаемое даже от меня. – Знаешь, в каком-то тайнике библиотеки хранятся труды по некромантии, черной магии, рецепты дьявольских зелий… Мне принесли несколько таких книг – поскольку я смог обосновать свой запрос, – и я искал в них описание этого яда и его свойств. Но безрезультатно».

«Значит, ты рассказал Малахии».

«Конечно. Ему-то я прежде всего рассказал. А также слышал, надо полагать, и этот вот, Беренгар, состоявший при Малахии в помощниках. Но не спеши с выводами. Я плохо помню. Может быть, разговор слышали и другие монахи. Знаешь, в скриптории бывает очень людно…»

«Пока что я никого не подозреваю. Я только пытаюсь понять, что же могло случиться. Как бы то ни было, по твоим словам, яд пропал очень давно. Это не часто бывает, чтобы яд похищали настолько заблаговременно, а в дело пускали через столько лет. Это означало бы, что злодейский умысел зародился еще тогда, и все эти годы в тени вызревало коварное преступление…»

Северин перекрестился. На лице его был написан ужас. «Господи, спаси нас всех и помилуй!» – воскликнул он.

Других комментариев не было. Мы оставили на столе тело Беренгара, чтобы его приготовили к погребению.

Четвертого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора, а затем келаря припомнить прошлое, Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни, и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Венанция

В дверях мы столкнулись с Малахией. Он был явно недоволен, увидев нас, и повернулся уходить. Но Северин окликнул его из комнаты: «Ты ко мне? По поводу…» – и тут же смолк, взглянув на нас. Малахия неуловимым жестом велел ему подождать, пока мы выйдем. Мы двинулись наружу, Малахия вовнутрь, и все трое поравнялись в дверном проеме. Вдруг Малахия обратился к нам, хотя мы его ни о чем не спрашивали:

«Мне нужен брат травщик… У меня… У меня голова заболела».

«Это от спертого воздуха библиотеки, – ответил Вильгельм тоном самого заботливого сочувствия. – Попробуйте окуривания…»

Малахия шевельнул ртом, как будто собравшись что-то еще сказать, но передумал, наклонил голову и прошел в комнату, а мы удалились.

«Чего ему надо от Северина?» – спросил я.

«Адсон, – раздраженно ответил учитель, – привыкай думать своей головой. – И заговорил о другом: – Нужно срочно кое-кого допросить. Надеюсь, по крайней мере, – добавил он, шаря взглядом по подворью, – что они еще живы. Да, кстати. С этой минуты обращаем внимание на то, что едим и пьем. Бери пищу всегда с общего блюда. Пей только из той посуды, из которой уже пили другие. После Беренгара здесь мы с тобой знаем больше всех. Не считая, само собой, убийцы».

«Но кого же сейчас допрашивать?»

«Адсон, – сказал на это Вильгельм, – ты, надо полагать, заметил, что в этом монастыре самое интересное происходит по ночам. По ночам умирают, по ночам ходят в скрипторий, по ночам водят женщин из поселка… Существует аббатство дневное и аббатство ночное. И ночное, как это ни прискорбно, намного интереснее. Следовательно, и каждый, кто тут разгуливает ночью, для нас весьма интересен. В частности, например, тот монах, которого ты застал вчера с девицей. Возможно, история с девицей не имеет отношения к истории с адом. А возможно, имеет самое прямое отношение. В любом случае я убежден, что вчерашний мужчина – именно тот человек, которому недурно известна ночная жизнь этого святого места. А вот и он – зверь на ловца».

Он указал на Сальватора, который как раз в этот миг заметил нас, явственно замедлил шаг, колеблясь и раздумывая, как бы нас обогнуть, чтоб не встретиться. Это продолжалось несколько мгновений. Затем, убедившись, что увернуться не удастся, он снова ускорил шаг и двинулся прямо на нас. На лице его появилась широчайшая улыбка, и он самым сладким голосом гнусавил «благословите!». Но мой учитель даже рта ему не дал раскрыть и заговорил сам, причем очень резко.

«Знаешь, что завтра явится инквизиция?» – спросил он.

Сальватора это сообщение, по-видимому, не обрадовало. Севшим голосом он спросил в ответ: «А мне?»

«А тебе советую выкладывать всю правду сейчас, пока тебя слушаю я, твой друг и такой же

минорит, каким был когда-то ты. Не дожидаться, пока за тебя возьмутся те, кто приедет завтра. Как они расспрашивают – ты хорошо знаешь».

Захваченный так врасплох, Сальватор, казалось, прекратил всякое сопротивление. Он подобострастно взглянул на Вильгельма, явно готовый ответить на любые вопросы.

«Ночью в кухне была женщина. Кто был с ней?»

«Ой, женщина продажная подобно товару, никакого нет в ней проку, сеет смуту, свару…»

«Я не спрашиваю, порядочная ли она девушка. Я спрашиваю, кто был с ней!»

«Женщины преподлые хитрые созданья… Днем и ночью думают, как надуть мужчину…»

Вильгельм сгреб его за грудь: «Кто с ней был, ты или келарь?»

Сальватор понял, что дальше вилять невозможно. И начал запутанный рассказ, из которого мы с трудом разобрали, что он, выслуживаясь перед келарем, поставлял ему деревенских девушек, приводил их по ночам в монастырь через лазы в крепостной стене, указать которые не захотел. Однако клялся с пеной у рта, что действовал совершенно бескорыстно. И не скрывал смехотворного огорчения из-за того, что никак ему не удавалось урвать что-нибудь и для себя. К примеру, чтоб девицы, удовольствовав келаря, не отказали бы и ему, Сальватору… Излагая все это, он противно, сально подхихикивал и подмигивал, как будто желая показать, что это – разговор настоящих мужчин, приверженных одним и тем же мелким шалостям. Он нагло косился на меня, а я не мог его приструнить, потому что сознавал, что повязан с ним общей тайной, что я – его сообщник, такой же грешник.

Вильгельм решил идти напролом. «А с Ремигием ты познакомился до того, как попал к Дольчину, или после?» – перебил он Сальватора. И тот рухнул на колени, в слезах умоляя не губить его и спасти от инквизиции. Вильгельм торжественно поклялся никому не рассказывать о том, что сейчас услышит, и Сальватор без колебаний выложил нам всю подноготную отца келаря. Они узнали друг друга на Лысом Утесе, вместе состояли в банде Дольчина, вместе бежали оттуда и укрылись в Казальском монастыре, вместе перебрались к клюнийцам. Из шепелявого рта Сальватора лезли мольбы о прощении. Было ясно, что от него ничего больше не добьешься. Вильгельм решил, что имеет смысл немедленно заняться Ремигием, и отпустил Сальватора, который поспешил укрыться в церкви.

Келаря мы нашли на другом конце подворья, перед закромами. Он рядился с какими-то поселянами. Посмотрев на нас с опаской, он сделал вид, будто очень занят. Но Вильгельм настоял на том, чтоб Ремигий бросил все дела и отошел с нами побеседовать. До сих пор мы почти не сталкивались с этим человеком: он был обходителен, мы были вежливы – этим все исчерпывалось. Но на сей раз Вильгельм обратился к нему как к своему собрату, питомцу одного с ним ордена. Келаря, похоже, эта перемена тона еще больше насторожила. Во всяком случае, он с первых же слов проявил крайнюю сдержанность.

«Должность, наверное, часто вынуждает тебя бодрствовать и хлопотать по аббатству в те часы, когда другие спят?» – спросил Вильгельм.

«Как когда, – отвечал Ремигий. – Бывает, что накапливается много мелких дел и я вынужден жертвовать часочком-другим сна».

«Не приходилось ли тебе при этом случайно замечать что-нибудь такое, что позволило бы установить, кто из монахов, не имея на то позволения, появляется ночью в кухне, скриптории и библиотеке?»

«Если бы я что-то подобное заметил, я доложил бы Аббату».

«Это точно, – согласился Вильгельм и внезапно переменил разговор: – Деревня в долине небогатая, верно?»

«Не знаю, как ответить, – сказал Ремигий. – Там живут монастырские крестьяне. Они целиком зависят от Аббатства и в урожайные годы разделяют наше благополучие. К примеру, в

Иоаннов день намедни они получили двенадцать модиев солода, коня, семерых волов, буйвола, четырех нетелей, пятерых бычков, двадцать овец, пятнадцать свиней, пятьдесят куриц и семнадцать ульев. Кроме того, двадцать копченых поросят, двадцать семь кругов сала, полмеры меду, три меры мыла, рыбацкий невод…»

«Хорошо, хорошо, – перебил его Вильгельм. – Все это, как ты понимаешь, мало о чем говорит. Я не знаю, что за деревня, сколько в ней крестьян пользуется арендой и каковы земельные наделы у остальных…»

«Ах, насчет этого, – сказал Ремигий. – Средняя семья у них владеет участком до пятидесяти долей земли».

«А доля – это сколько?»

«Разумеется, четыре квадратных линии».

«Что такое квадратная линия?»

«Тридцать шесть квадратных шагов в каждой квадратной линии. Или, если угодно, – восемьсот линейных линий образуют пьемонтскую милю. Достаточно сказать, что каждая семья, владеющая участком на северном склоне, может каждый год иметь со своих олив до получетверти масла».

«Полчетверти?»

«Да. В четверти пять ведер. В ведре восемь гарнцев».

«Все ясно, – обескураженно сказал Вильгельм. – В каждой деревне свои мерки. Вот, скажем, вино вы меряете на бутыли?»

«Или на кувшины. Шесть кувшинов – чан, восемь чанов – бочонок. А можно мерить и так: в чане шесть пинт, в каждой по две чары».

«Теперь все ясно», – ответил Вильгельм и усмехнулся.

«Ты еще что-то хотел узнать?» – в голосе Ремигия звучал, по-моему, явный вызов.

«Хотел. Я не случайно спрашиваю о довольствии здешних крестьян. Сегодня утром в библиотеке я размышлял над “Проповедями для женского пола” Умберта Романского, и в частности над главой “О неимущих поселянках”. Там сказано, что они сильнее других подвержены плотским грехам, по причине бедственного состояния, и среди прочего подробно изложено, что “грешат они тяжко, любодействуя с мирянами, весьма тяжко, отдаваясь клирикам, причастным святых тайн, и смертно, смертно грешат, сходясь с иноками, умершими для мира”. Тебе лучше моего известно, что и в таких богоспасаемых местах, каковы монастыри, искушения беса полуденного имеются всегда. Вот я и предполагаю, что ты, часто сносясь с жителями местных деревень, не мог бы не заметить, если бы кто-либо из монахов, Господи упаси и помилуй, стал склонять поселянок к грехопадению».

Хотя мой учитель выговорил эти слова самым равнодушным голосом, читающий, вероятно, уже догадался, какое впечатление они произвели на бедного келаря. Не могу определенно утверждать, что он побледнел, но я настолько был уверен, что он побледнеет, что он и вправду показался мне побледневшим.

«О подобных вещах я если бы и узнал – сразу же сообщил бы Аббату, – нерешительно отвечал он. – И все-таки, сознавая, что любое сведение полезно для твоего разыскания, я не умолчу ни о чем из того, что вижу по ночам… В ту ночь, когда погиб Адельм, я шел по нашему подворью… это все из-за курятника… понимаешь, возникли слухи, будто кто-то из холопов по ночам ворует куриц… Так вот, той ночью я шел и неожиданно увидел – увидел издалека, так что клясться ни в чем не стану – Беренгара, который возвращался в почивальни откуда-то из-за угла хора. Он шел вроде бы от Храмины. Я ничему не удивился, так как братия давно злословила о Беренгаре. Ты, наверно, уже слышал…»

«Я ничего не слышал, рассказывай».

«Ну… как бы это выразить… Беренгара подозревали в неких склонностях… предосудительных для монаха…»

«Ты намекаешь, что у него были связи с деревенскими девушками? Я тебя как раз расспрашивал…»

Келарь смешался и закашлялся, а затем возразил с мерзкой ухмылкой: «Да нет… Еще более непозволительные страсти…»

«А что, монах, который плотски услаждается с крепостными поселянками, утоляет позволительную страсть?»

«Я этого не говорил. Но ты сам только что отметил, что существует иерархия преступлений, как существует иерархия добродетелей. Плоти свойственны искушения, так сказать, природные… И противоприродные…»

«То есть ты хочешь сказать, что Беренгар испытывал плотское тяготение к лицам одного с ним пола?»

«Я хочу сказать, что так о нем говорили… Все, что я тебе сообщил, это доказательство моей искренности и доброй воли».

«За это я благодарен. И согласен с тобой, что содомия – тягчайший из плотских грехов… Которые, впрочем, я не любитель расследовать…»

«Да это мелочи, мелочи, даже если подтвердится», – философски произнес келарь.

«Мелочи, Ремигий. Все мы не без греха. И я никогда не стану искать соломинку в глазу ближнего – слишком опасаюсь, что в моем-то глазу целое бревно. Но я буду благодарен, если о любых замеченных бревнах впредь ты станешь докладывать мне. Таким манером мы сможем опереться на крепкую, надежную древесину – а соломинки пускай летают себе по воздуху… Сколько, ты говоришь, в одной линии?»

«Тридцать шесть квадратных шагов. Впредь не беспокойся. За любыми точными сведениями обращайся ко мне. Считай, что обрел верного друга».

«Так я и думал о тебе, – спокойно продолжил Вильгельм. – Убертин сказал, что некогда ты принадлежал к моему ордену. Я ни за что не выдал бы прежнего собрата, особенно в такую пору, когда ожидается прибытие папской делегации, возглавляемой великим инквизитором, который прославился тем, что сжег множество дольчиниан. Так ты говоришь, что в линии тридцать шесть шагов?»

Кем-кем, а дураком келарь не был. Он понял, что игра в кошки-мышки себя исчерпала – тем более что, по всему судя, мышкой выходил он.

«Брат Вильгельм, – сказал келарь. – Вижу, тебе известно больше, чем я предполагал. Не выдавай меня, и я тебя не подведу. Все это верно: я – бедный раб своего тела, бессильный перед соблазнами плоти. По словам Сальватора, не то ты, не то твой парень застукали их вчера на кухне. Ты много странствовал, Вильгельм, и знаешь, что даже авиньонские кардиналы – не образчики добродетели. Я понимаю, что не моими мелкими и презренными грешками ты сейчас озабочен. Но вижу также, что ты кое-что разузнал и о моих делах. У меня странная судьба. Такая же судьба выпала многим нашим братьям-миноритам. Когда-то давно я уверовал в святую Бедность и покинул общину, дабы предаться бродячей жизни. Я поверил в проповедь Дольчина – как поверили многие окружавшие меня… Я необразованный человек. Я рукоположен, но едва помню мессу. В богословии не смыслю. И даже, наверное, не способен всей душою служить идее… Смотри: когда-то я пытался бороться против господ, сейчас я им прислуживаю. И подчиняюсь воле господина этой земли, помыкая себе подобными… Бороться или стать предателем – невелик выбор у нас, простецов…»

«Иногда простецы понимают больше, нежели ученые», – сказал Вильгельм.

«Возможно, – ответил келарь, пожимая плечами. – Но я не могу понять даже ради чего я

делал то, что делал тогда. Видишь ли, в случае с Сальватором все вполне объяснимо. Он из крепостных, его детство – убожество, голодный мор… Дольчин для него олицетворял борьбу, уничтожение власти господ… Но у меня-то все было иначе! Мои родители – горожане, голода я не видел! Для меня это было вроде… не знаю, как сказать… Что-то похожее на громадный праздник, на карнавал у Дольчина на горах, пока мы не начали есть мясо товарищей, погибших в схватке… Пока от голода не перемерло столько, что стало уже и не съесть, и мы сбрасывали трупы с откосов Ребелло на потраву стервятникам и волкам… А может быть, даже и тогда… мы дышали воздухом… как бы сказать? Свободы. До тех пор я не ведал, что такое свобода. Проповедники сказали: "Истина даст вам свободу". И мы превратились в свободных и считали, что это и есть истина. Считали, что все, что мы делаем, – справедливо…»

«И там вы привыкли… свободно соединяться с женщинами?» – вырвалось у меня, сам не знаю как. Дело в том, что с ночи я не мог отделаться от рассказов Убертина, и от того, что прочел в скриптории, и от того, что случилось впоследствии. Вильгельм покосился на меня с интересом – наверное, не ожидал, что я окажусь таким наглецом и бесстыдником. А келарь оглядел меня, как диковинное животное.

«На Ребелло, – сказал он наконец, – были люди, которые все детство ночевали вдесятером и даже еще большими семьями в крошечных комнатушках в несколько локтей. Братья с сестрами, отцы с дочерьми. Что же нового могло для них открыться там, на горе? Они просто совершали теперь по свободному выбору то же, что ранее – по необходимости. И потом… Ночами, когда каждый миг ждешь вражеского нападения и, лежа на земле, все крепче прижимаешься к товарищу и делишь с ним тепло… Вы говорите – еретик. Вы, затворники, чья жизнь начинается в замке и оканчивается в монастыре, думаете, что еретик – это мировоззрение, внушенное дьяволом. А это просто способ существовать. И это… И это было… что-то необыкновенное! Никаких господ. И Бог, как нам внушали, был за нас. Я не утверждаю, Вильгельм, что мы были правы. Ты и видишь сейчас меня тут потому, что я довольно быстро покинул тех… Но я никогда не мог понять ваши ученые разговоры о бедности Христа, о необходимости, о собственности, о владении… Говорят тебе, это был буйный карнавал, а на карнавалах все всегда вверх тормашками. Но затем приходит старость. И не делает нас мудрее, а делает жаднее. И теперь вот я – старый обжора… Еретика ты пошлешь на костер. А обжору?»

«Хватит, Ремигий, – прервал Вильгельм. – Я не спрашиваю, что было тогда. Я спрашиваю о том, что сейчас. Помоги мне, и я, конечно, не стану искать твоей гибели. Не могу и не хочу тебя судить. Но ты должен рассказать, что делается в аббатстве – все, что знаешь. Слишком уж много ты тут гуляешь по ночам, чтобы оставаться в стороне. Кто убил Венанция?»

«Клянусь, не знаю. Знаю только, когда и где он умер».

«Когда? Где?»

«Сейчас расскажу. Той ночью, через час после повечерия, я пришел в кухню…»

«Откуда, зачем?»

«С огородов. У меня есть ключ. Кузнец сделал мне его много лет назад. Дверь кухни, выходящая на огороды, – единственная дверь Храмины, которая изнутри не закладывается. Что же касается причины… Она не имеет значения. Ты сам сказал, что не станешь преследовать за слабости плоти. – И он смущенно усмехнулся. – Однако не хочу, чтоб ты думал, будто я непрерывно блудодействую. В тот вечер я просто шел за какой-нибудь убоиной, чтобы подарить девушке. Сальватор должен был привести девушку на двор…»

«Через какой вход?»

«Да в стенах монастыря, кроме главных ворот, полно всяких лазов. И Аббат их знает, и я знаю… Но в тот вечер девушку я отправил обратно, я все отменил именно из-за того, что увидел на кухне и о чем сейчас расскажу. Поэтому-то я и хотел, чтоб она пришла вчера вечером. Если

бы вы вчера появились чуть позже, застали бы вместо Сальватора – меня. Это Сальватор предупредил меня, что в Храмине люди, и я вернулся в свою келью…»

«Вернемся лучше к ночи с воскресенья на понедельник».

«Хорошо. Я вошел в кухню и увидел на полу Венанция. Мертвого».

«В кухне?»

«Да, возле кадки. Он, наверное, только-только спустился из скриптория».

«Никаких следов борьбы?»

«Никаких. То есть… Рядом с телом валялась разбитая чашка, и на полу была разбрызгана вода».

«Откуда ты знаешь, что это была вода?»

«Не знаю. Я решил, что это вода. Что это еще могло быть?»

Как Вильгельм пояснил мне впоследствии, чашка могла означать две различных вещи. Либо кто-то прямо в кухне заставил Венанция выпить смертоносную жидкость, либо несчастный уже был отравлен (только где? когда?) и спустился к кадке, чтобы водой утолить внезапно возникшую жажду, чтоб избавиться от спазма, от боли, выжигавшей ему внутренности, пламенем охватившей язык (который, несомненно, так же почернел, как язык Беренгара).

Как бы то ни было, больше ничего от келаря добиться не удалось. Увидев труп и остолбенев, Ремигий стал соображать, что ему делать, и пришел к выводу, что делать не следует ничего. Бежать за помощью – означало открыть, что он в ночные часы разгуливает по Храмине. Усопшему собрату это все равно бы не помогло. Поэтому Ремигий решил оставить все как есть и дожидаться, пока кто-нибудь утром, отперев двери кухни, не обнаружит труп. Он бросился останавливать Сальватора, который уже помогал девушке пробираться через лаз. А потом оба – и он и сообщник – ушли спать, если, конечно, можно назвать сном ту беспокойную дремоту, в которой они промаялись до полунощницы. Утром, когда скотники вбежали к Аббату с горестным известием, Ремигий был уверен, что труп найден именно там, где он его оставил. Узрев же его в бочке крови, он оледенел от ужаса. Кто вынес мертвеца из кухни? Об этом Ремигий не имел ни малейшего представления.

«Единственный, кто имеет право находиться когда угодно в Храмине, – Малахия», – сказал Вильгельм.

На это келарь отвечал с большой горячностью: «Нет! Малахия исключается! То есть я не думаю… В любом случае не мне свидетельствовать против Малахии…»

«Успокойся, чем бы ты ни был обязан Малахии. Он что-то о тебе знает?»

«Да, – покраснев, сказал келарь. – И всегда вел себя как порядочный человек. На твоем месте я последил бы за Бенцием. У него были непонятные связи с Беренгаром и Венанцием. Но больше я ничего не видел, клянусь. Если буду что-нибудь знать – обязательно расскажу».

«Ладно, на этот раз хватит. Я обращусь к тебе, когда понадобится».

Келарь с явным облегчением отошел к своим амбарам и принялся распекать холопов, которые тем временем перекидали невесть сколько мешков семян.

В эту минуту появился Северин. В руке он держал Вильгельмовы стекла – те самые, украденные позавчера ночью: «Это было в рясе Беренгара, – сказал он. – Я их видел прежде у тебя на носу, когда ты читал в библиотеке. Это твои, правда?»

«Слава всемогущему Господу! – радостно возопил Вильгельм. – Двойная удача! У меня снова читальные стекла, и к тому же я твердо знаю, что именно Беренгар украл их у меня позавчера в скриптории!»

Не успели смолкнуть эти возгласы, как подбежал Николай Моримундский, еще более сияющий, чем Вильгельм. В руке у него была пара готовых, посаженных на оправу читальных стекол.

«Вильгельм, – восклицал он, – я сам их сделал, стекла готовы, надеюсь, они тебе подойдут!» – Тут он увидел, что у Вильгельма на носу другая пара стекол, и застыл с открытым ртом.

Вильгельм, не желая его расстраивать, снял старые стекла и примерил новые: «Да, эти лучше, – сказал он. – Значит, старые я оставлю про запас, а носить буду твои». Потом он повернулся ко мне: «Адсон, теперь я отправляюсь в свою келью и буду читать известный тебе документ. Наконец-то! Подожди меня где хочешь. И спасибо, спасибо всем вам, дорогие мои собратья».

Пробил третий час, и я отправился в хор читать с прочими монахами гимн, псалмы, стихиры и Kirye . Все молились за упокой души усопшего Беренгара. Я благодарил Господа за то, что он послал нам даже не одну, а две пары читальных стекол.

От великого умиротворения, позабывши все безобразия, какие привелось и видеть и слышать, я заснул и пробудился только когда служба окончилась. Я вдруг сообразил, что этой ночью не спал ни минуты и вдобавок – подумал я смущенно – истратил очень много телесных сил. С этой мыслью я покинул церковь, удалился на вольный воздух, но мысли все не отрывались от некоего воспоминания – от воспоминания о той девице, что была со мною ночью.

Чтобы отвлечься, я быстрым шагом пересек монастырское подворье. Легонько кружилась голова. Застывшими руками я бил в ладоши. От холода ноги сами собой приплясывали. Дремота ушла еще не окончательно, но в то же время я ощущал себя бодрым и полным жизни. Я не мог понять, что же со мной происходило.

Четвертого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон исходит любовными мучениями, потом появляется Вильгельм со своею запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной

Честно говоря, после ночной возмутительной встречи с девицей другие жуткие происшествия заставили меня почти позабыть о том деле; а с другой стороны, сразу после исповеди, принесенной брату Вильгельму, совесть моя освободилась от угрызений, в которых я очнулся от постыдной истомы. И теперь я чувствовал большое облегчение, как будто, поделившись одними словами, вместе с тем поделился с собратом и бременем ноши, которой эти слова приходились звучащим отображением. В самом деле, не тому же ли призвано служить благотворное омовение души на исповеди – не тому ли, чтобы бремя грехов и сопутствующих грехам страданий совести мы могли бы слагать непосредственно на лоно Господне, обретая снова, после прощения, воздушную легкость духа и отрешаясь от тела, уязвленного природной подлостью? Но я не совсем освободился. И в этот час, вдыхая пронизанный солнцем холод зимнего утра, среди неутихающей возни рабочих людей и животных, я припоминал прошедшее уже в ином духе. Теперь мне казалось, будто от событий, которые я видел ночью, не осталось в моей памяти ни раскаяния, ни очистительного исповедного вздоха, а одни только образы тел, человеческих сочленений. В моем перевозбужденном мозге снова и снова возникал призрак Беренгара, раздутого жидкостью, и я снова сжимался от омерзения и от жалости. Вслед за этим, будто гоня злосчастного лемура, моя мысль оборачивалась к другим видениям ночи, которые насвежо и накрепко укоренились в памяти и с которыми я ничего не мог поделать, ибо все это стояло у меня перед глазами (перед глазами души, конечно, но это то же самое, как если перед живыми глазами плоти), стояло видение девицы прекрасной и грозной, как выстроенное к битве войско.

Я столько раз себе обещал (дряхлый запечатлитель никогда не существовавшего текста, но в течение долгих десятилетий все звучавшего в моей душе) рассказывать честно все как было, и вызывается это не намерением (впрочем, если бы и так, – вполне похвальным) назидать будущих читателей, а желанием освободить старую, полуувядшую память, переутомленную видениями, которые ее подавляли и отягощали все эти годы. Поэтому я и обязан рассказывать именно так, как было, соблюдая благопристойность, но отметая всяческий стыд. Это и означает, что наступило время передать совершенно чистосердечно то, что заполняло мысли тогда и что в ту эпоху я старался от себя самого упрятать, быстрыми шагами меряя монастырское подворье, порою пускаясь бежать – вероятно, от неосознанной надежды претворить в физическую ярость задыхания сердца; порою, напротив, останавливаясь и внимательно наблюдая за неистомным трудом холопов, и, по-видимому, полагая развлечься этим созерцанием, и впивая ледяной утренний воздух полными легкими, как упивается вином каждый, кто хочет стряхнуть с души тяготу или грусть.

Все напрасно. Я думал только о девице. Моя плоть уже не хранила в себе ощущение сладости, пронзительной и безрассудной, предосудительной и преходящей, как всякий разврат, – сладости, испытанной от совокупления с нею; но душа моя не могла отстранить от себя ее лика, и не могла чистосердечно оценивать воспоминание о нем как о развратном; напротив, душа трепетала так страстно, как будто в лице девицы отобразилась вся наслаждительность бытия.

Я чувствовал смутно, неясно, почти что отказываясь признать перед собой природу своего чувства, что это нищее, грязное, бесстыдное существо, продававшее себя (и кто скажет, с каким паскуднейшим постоянством?), грешившее среди таких же грешников, это отродье Евы, как и она, ничтожное, которое столько раз нахально выносило, как товар, собственное тело, – это создание в то же время представляло собой нечто восхитительное, милое. Разум подсказывал, что она – поместилище всех пороков, а вожделеющая часть моего духа (alleluya) тянулась к ней как к средоточию добродетелей. Трудно сказать, что я испытывал. Можно было бы попробовать написать, что я, все еще пребывая в греховных тенетах, желал, вероломно, увидеть ее, и ждал этого каждую минуту, и внимательно следил за малейшими перемещениями рабочих, чтобы не пропустить, когда из-за угла стены или из темноты подвала вынырнет тонкая фигурка той, кто меня соблазнила. Но, сделав так, я написал бы не истину, вернее, набросил бы на истину некое покрывало, уменьшая ее убедительность и силу. Потому что истина – в том, что я на самом деле не только желал видеть, но и видел лицо той девушки. Я ее видел в сплетении голых древесных прутьев, легонько подрагивавших, когда нахохленная птица влетала в них, ища убежища; я видел ее в огромных очах телочек, степенно следовавших из хлева через площадь, и я слышал ее в детском блеянии ягнят, пересекавших мне дорогу. Было так, как будто бы все творенье говорило мне о ней, и я мечтал, да, мечтал вновь ее встретить, и в то же время был вполне готов смириться с мыслью не встречать ее больше никогда и никогда больше с ней не соединяться. Потому что, так или иначе, ничто бы мне все равно не помешало ощущать те восторги, которые я ощущал этим утром, и всегда чувствовать ее совсем рядом с собою, даже если б она была бесконечно далеко. Это было – сейчас я пытаюсь понять – как если бы вся совокупность мироздания, которая несомненно являет собою книгу, начертанную перстом Божиим, в которой каждая малая вещь говорит о несказуемой благости сотворившего ее, где каждое творенье – книга и изображенье, отраженье в зеркале, в которой самая жалкая роза принимает значение глоссы нашего жизненного пути, в общем, как если бы вся вселенная ни о чем другом мне не говорила и ничего не показывала мне, кроме того лица, черты которого я еле-еле сумел разглядеть в потемках ночи, на кухне. Я не укорял себя из-за описанных бредней, потому что сказал себе (вернее, ничего я не сказал себе, так как в эти часы совершенно был не способен производить умозаключения, выражаемые в словах), что если целый мир предрасположен говорить мне о мощности, благости и справедливости Зиждителя, и если в то же время этим утром целый мир говорит мне о девице, которая (какою бы грешницей ни являлась) все же представляет собой одну из глав величайшей книги бытия, один из стихов великого псалма, воспеваемого космосом, следовательно, говорил я себе, вернее, говорю ныне – тогда я был неспособен переводить мысли в слова, – этим доказывается, что подобные знаки, раз уж явлены мне, не могут не составлять собой частицу того грандиозного богоявленного предначертанья, которым руководится весь мир, устроенный по образу и подобию цитры, чуда согласия и благостройности. Почти что опьяненный, я упивался ее присутствием во всех видимых мною вещах, и, вожделея к этой видимости, я этой же видимостью удовлетворял вожделенье. И в то же время я испытывал как будто боль, потому что тем не менее страдал от ее отсутствия, хотя и наслаждался фантомом ее присутствия. Мне чрезвычайно трудно изъяснить это таинственное противоречие, символизирующее, что человеческий дух достаточно хрупок и никогда не продвигается прямо по путям божественного промысла, которым мир выверен, как совершеннейший силлогизм; нет, и все же человек из этого силлогизма выбирает только разрозненные посылки, между собою часто не связанные, – отсюда и наша уязвимость, наша готовность идти навстречу обольщениям лукавого. Являлось ли обольщением то, что в этот утренний час переполняло меня таким трепетом? Сейчас я склонен думать, что являлось, но, тем не менее, полагаю, что человеческое чувство, пронизывавшее меня всего, в своей основе не

было порочным, а было порочным лишь применительно к моему тогдашнему состоянию. Ибо само по себе это было чувство, сближающее мужчину и женщину, чтобы одной к другому прилепиться, как учил апостол перед язычниками, и чтоб пребыли вдвоем единой плотью, и плодились, и размножались, и всячески споспешествовали друг другу от молодых лет и до старости. Впрочем, апостол обращался к тем людям, кто взыскует спасения от блуда и не желает разжигаться; однако апостол и указывает и всячески напоминает, что лучше обычай безбрачия, которому я, как монах, обещался с юношеских пор. И поэтому я страдал и терзался из-за тех вещей, которые были неприличны именно мне, в моем положении, а для других зато были очень даже приличны, и даже были благом, и благом сладостнейшим, и поэтому я теперь заключаю, что смятение мое происходило вообще не от превратности моих мыслей – по существу достойных и чистых, – а от превратности видимого отношения моих мыслей к обетам, которые я приносил. Следовательно, я поступал дурно, наслаждаясь вещами по одному представлению добрыми, по другому – дурными, и неправота моя состояла в попытке примирить естественный аппетит с установлениями рациональной души. Теперь я понимаю, что страдал от раздвоенности между выраженным умственным аппетитом, производным от усилия воли, и выраженным чувственным аппетитом, производным от человеческих страстей. Ибо же сказано: «Actus appetiti sensitivi in quantum habent transmutationem corporalem annexam, passiones dicuntur, non autem actus voluntatis»[67]. У меня проявление аппетита именно к этому и приводило – к тряске всего тела, к физической необходимости стонать и колыхаться. Ангелический доктор утверждает, что страсти сами по себе не плохи, если только они умеряются волей, которой руководит рациональная душа. Моя же рациональная душа в то утро была убаюкана усталостью, и усталостью сдерживался раздражительный аппетит, который обращается к добру и злу постольку, поскольку ими определены цели завоевания; но не был смирен аппетит вожделеющий, который обращается к добру и злу постольку, поскольку они познаны. Дабы хоть как-то оправдать мое тогдашнее безответственное легкомыслие, могу сказать ныне словами ангелического доктора, что я несомненно был охвачен любовью, которая представляет собою страсть и космический закон, ибо даже и вес земного тела – проявление природной любви. И этой страстью я естественно соблазнился, потому что в этой страсти appetitus tendit in appetibile realiter consequendum ut sit ibi finis motus[68]. Из чего следует естественным образом, что amor facit quod ipsae res quae amantur, amanti aliquo modo uniantur et amor est magis cognitivus quam cognitio[69]. И действительно, в этот час я видел свою девицу гораздо лучше, чем видел ее накануне, и познавал ее intus et in cute[70], ибо в ней я познавал себя, а в себе – ее самое. Сейчас я задаюсь вопросом, было ли то, что я чувствовал тогда, любовью дружеской, при которой подобный любит подобного и печется о благе друга, или любовью вожделеющей, при которой любящий печется исключительно о своем благе и, взыскуя, жаждет только, чтоб его дополнили. Я думаю, что любовью вожделеющей можно назвать то, что было ночью, когда я вожделел в девице того, чего у меня самого не было; а утром следующего дня, напротив, от девицы мне ничего не было нужно, нужно было только ее блага, и я желал лишь только, чтоб она была избавлена от жесточайшей нужды, которая побуждала ее продавать свое тело за малую пищу, и чтоб она была в довольстве; мне не хотелось даже и задавать ей никаких вопросов, а только хотелось продолжать о ней думать и видеть ее в овцах, в быках, в деревьях, в небесном свете, заливавшем ликованием весь двор.

Теперь мне известно, что природа любви – это благо, а что есть благо – определяется знанием, и нельзя что-либо любить, если оно не познано как благо; девицу же я познал действительно как благо для раздраженного аппетита, однако, как зло для воли. Но беспременно в ту пору я находился во власти многих и противоречивых побуждений, поскольку то, что я

ощущал, напоминало самую святую любовь именно так, как ее описывают доктора церкви; чувство приводило меня к экстазу, в котором любовник и любимый желают одного и того же (а неким мистическим озарением я в те минуты доподлинно был уверен, что девица, где бы она ни находилась, желает того же, чего и я), и при этом я испытывал ревность, но не ту дурную, которую возбраняет Павел в первом послании к коринфянам как источник распрей и чувство, не вызывающее участия в любимом, – а ту, о которой говорит Дионисий в сочинении «Об именах божиих», из которой исходя ревнует и Господь propter mullum amorem quern habet ad existentia [71] (и я тоже любил девицу именно потому, что она существовала, и был рад, что она существует, а не страдал из-за этого). Я ревновал ее в том смысле, в котором у ангелического доктора ревность – это motus in amatum, движение в любимом; соревнование дружества, которое велит подвигаться против всего, что способно повредить возлюбленному (а иного ничего я и не мыслил себе в оную минуту, кроме как освободить эту девицу от власти тех, кто мог покупать ее, оскверняя своей нечистою страстью).

Теперь мне известно то же, о чем пишет святой доктор: что любовь имеет свойство вредить любящему, если она чрезмерна. А моя любовь была чрезмерна. Я старался здесь передать то, что тогда чувствовал, я ни в коей мере не старался оправдывать свои чувства. Я рассказывал, каковы были греховные горения моей молодости. Они были неправедны; но истина вынуждает меня признать, что тогда я ощущал их как самые благие. И пусть это служит назиданием тому, кто, подобно мне, может попасть в сети соблазна. Ныне, старцем уже, я изыскал бы тысячу разных способов убежать описанных соблазнов (хотя не знаю, насколько я вправе гордиться таковым умением, учитывая, что полуденный бес уже давно меня не искушает; однако имеются соблазны и другие, вот к примеру, как знать, не вдохновлено ли то дело, коим я занимаюсь ныне, такой предосудительною прелестью, как тайное попустительство обольщениям памяти – глупейшая попытка сберечься от бега времени и от смерти).

Спасся я каким-то чудесным наитием. Девица показывалась через все вещи, через природу, через окружавшие меня творения человека. Исходя из этого, благодаря счастливой находке разума, я сказал себе погрузиться в сосредоточенное созерцание этих творений. Я стоял и смотрел на работу скотников, выводивших быков из стойла, я стоял и наблюдал, как свинари заливают кабанчикам хлебово, как овчары с собаками сбивают разошедшиеся гурты, как мужики везут на мельницу полбу и просо, а вывозят мешки хорошей еды. Я весь отдался наблюдению за натурой, надеясь через это уйти от собственных раздумий, если сумею созерцать явления природы каковы они есть и забыться в этом занятии с пользой и с радостью для себя.

До чего же прекрасно было лицезреть жизнь природы, не наделенной еще сознанием, увы, столь часто пагубным для человека!

Я смотрел на агнца, носящего имя похожее на «ангел», по-видимому, как знак чистоты и благостности; хотя вообще известно, что это имя ему дано по другой причине и происходит от agnostcit – «признает», потому что это животное всегда признает свою мать и угадывает ее голос среди голосов всей отары, как и родительница его среди множества неотличимых ягнят, одинаковых по виду и по голосу, опознает всегда и именно своего собственного сына и дает ему питание. Наблюдал я и за овцою, которая зовется ovis от слова oblatione – «жертвоприношение», потому что овец с самых давних времен употребляли для ритуальных закланий; овца до того многоумна, что по собственной догадке, чуть начинается предзимье, ищет с жадностью траву и наполняет себя кормом на те дни, когда привычные пастбища будут обожжены морозом. Стада овец охраняются собаками, чье имя canis происходит от canor – «звонкий», настолько звонко они лают. Это животное совершенством превосходит всех прочих; одаренные чудесной проницательностью, псы всегда признают хозяев и выучены охотиться на зверя в лесах и в рощах, защищать стада от волчьего набега, сторожить дом и малых в доме; нередко, обороняя

хозяина, пес и погибает. Царя Гараманта, уведенного в плен неприятелем, выручили и примчали на родину две сотни его собак, сумевших проложить путь через вражескую оборону; Ликий, пес Язона, после гибели хозяина перестал принимать пищу и умер от истощения; пес царя Лисимаха вспрыгнул на костер, желая сгореть вместе с прахом хозяина. Пес обладает способностью излечивать раны, зализывая их, а языки его детенышей – средство от язвы кишечника. Пес так устроен от природы, что сначала выблевывает съеденную пищу, а потом опять съедает; тем показывает поразительную воздержность, которая как символ свидетельствует о высочайшем совершенстве духа; точно так и чудотворные свойства его языка являются символом очищения от грехов, достижимого путем исповеди и покаяния. В то же время возвращение пса к однажды выблеванному символизирует, что даже и после исповеди мы возвращаемся в прежнее греховное состояние, каковой вывод оказался для меня довольно полезен в то утро и через лицезрение чудес природы предостерег мое сердце.

Тем временем шаг за шагом я приблизился к бычьим стойлам. Быки в это время выходили из них нескончаемой чередой; погонщики их направляли. Я сразу же подумал, до чего справедливо быки избраны символами доброты и дружбы; а надо знать, что всякий бык на пахоте оборачивается и ищет преданным взглядом сотоварища; если же тот, по какому-то случаю, замешкался, напарник призывает его к работе дружелюбным мычанием. Быки до того послушны, что, когда идет дождь, сами без понукания возвращаются в загоны и укрываются под навесом, беспрестанно вытягивая шеи, чтоб увидеть, миновала ли непогода, потому что желают как можно скорее вернуться к работе. Вслед за быками в это время выбирались из стойл и говяжья молодь, бычки и телочки, все они зовутся vitellini, и это имя по всей очевидности происходит как от viriditas – мужественность, так и от virgo – девственница, ибо в этом возрасте они еще совсем зелены, недозрелы и непорочны, и поэтому, заметил я себе, я поступал очень дурно, когда находил в их невинных движениях сходство с девицей, отнюдь не такой чистой, как они. Вот какие вещи мне приходили тогда в голову, пока я, примирившись и с миром и с самим собой, наблюдал за спорящейся работой в студеное зимнее утро. Я положил себе не думать о девице и сумел добиться этого, вернее сказать – добился, чтобы та горячность, которой я был охвачен, претворилась в тихую душевную радость и в благочестивое раздумье.

Я говорил себе, что мир добр, что мир восхитителен. И что милость Господня проявляет себя даже в страшных скотах, как описано у Гонория Августодунского. Истинная правда. Бывают же такие большие змеи, которые глотают оленей и переплывают через океан; бывает зверь ценохорка с ослиным туловом, козлиными рогами, с грудью и челюстями льва, с конскими копытами, однако, раздвоенными, как у коровы, с пастью, растянутой до самых ушей, с почти человеческим голосом, а на месте зубов – у нее цельный костяной вырост. Живет на свете и мантихор, у которого лицо человека, тройной порядок зубов, туловище льва, скорпионий хвост, глаза болотного цвета, все же тело багряное, а голос напоминает сипение змей; лаком до человечьего мяса. У других чудовищ случается и по восьми пальцев на ладони, волчиные морды, когти крючками, шкуры овечьи, покрик собачий; когда стареют, они покрываются не сединой, а чернотою и на множество лет переживают человека. Есть создания Божии с очами на ключицах, с двумя дырами на груди заместо ноздрей, ибо головы они не имеют. Есть создания и другие, обитающие при течении реки Ганг, которых держит на свете запах некоего плода, а если его от них удалить или их от него, погибают. И тем не менее все эти непотребные твари дивным своим разнообразием возносят хвалу Создателю и премудрости Его; они так же восхваляют Бога, как собака, бык, овца, ягня и рысь. Сколь же возвышенна, – сказал я, повторяя слова Винцента из Бовэ, – самая низкая из красот этого мира, и сколь удовлетворительно озирать взглядом разума не только виды, числа и порядки вещей, с дивной затейливостью установленные во всей вселенной, но также и коловращение времен в последовательности их взлетов и падений, ввиду

неотвратимости смертного исхода, которому обещан всякий, кто рожден. И я готов поклясться ныне, бедный грешник, всей душой, которой уж недолго осталось пребывать пленницею плоти, что весь я был в тот час охвачен духовной нежностью к Создателю, к правилу этого мира, и в радостном порыве несказуемо восхищался величием и крепостью творения.

В этом-то славном расположении духа меня и нашел мой учитель, после того как я непроизвольно (ноги несли меня сами), как выяснилось, несколько раз обежал аббатство и очутился на том же месте, где мы расстались двумя часами раньше. Там я и увидел наконец Вильгельма, и то, что он сообщил, моментально извлекло меня из задумчивости и снова обратило мои мысли к сумрачным тайнам аббатства.

Вильгельм, похоже, был очень доволен. В руке у него была записка Венанция, наконец-то прочитанная. Мы отправились в его келью, подальше от любопытных ушей, и он перевел мне все слово в слово. Вслед за строчкой, записанной зодиакальным алфавитом (Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum de quatuor), по-гречески было написано следующее:

> Ужасный яд даст очищение… Лучшее оружие против врагов…
>
> Показывай низких и уродливых людей, из недостатков извлекай удовольствие… Не должны умирать… Не в домах царей и властителей, а в сельских хижинах… после обильной пищи и возлияний… приземистые тела, безобразные лица…
>
> Лишают девства, ложатся с блудницами, не злоумышляя, не опасаясь…
>
> Другая истина. Другой образ истины.
>
> Досточтимые фиги.
>
> Бесстыдный камень катится по равнине… на глазах…
>
> Надо обманывать и изумлять обманом, описывать вещи обратно предполагаемому, говорить одно, а подразумевать иное.
>
> Им цикады будут петь, сидя на земле.

И все. На мой взгляд, маловато, если не сказать – ничтожно. Это очень походило на бред сумасшедшего, что я и высказал Вильгельму.

«Может статься… Конечно, в моем переводе сумасшествия поприбавилось. Я ведь знаю греческий довольно приблизительно. Кроме того, даже если допустить, что Венанций слабоумен, или что слабоумен сам автор книги, это все равно не объясняет, почему столько людей (не все же они безумны?) тратят столько сил. Одни, чтобы упрятать эту книгу, другие, чтобы до нее добраться».

«А точно ли это выписки из той таинственной книги?»

«Это точно выписки, сделанные Венанцием. Взгляни и можешь убедиться: это не похоже на старинный пергамент. И скорее всего выписки сделаны по ходу чтения книги. Иначе при чем тут греческий язык? Я уверен, что Венанций списывал в сокращенном виде некоторые места сочинения, добытого из предела Африки. Он перенес его в скрипторий и стал читать, отмечая для себя все, что казалось ему важным. Потом что-то случилось. То ли он плохо себя почувствовал, то ли услышал чьи-то шаги. Тогда он укрыл книгу вместе с выписками у себя под столом, вероятно, предполагая вернуться следующей ночью… Как бы то ни было, этот листок – единственное, что нам поможет узнать содержание той таинственной книги, а содержание книги – единственное, что поможет найти убийцу. Потому что в каждом убийстве, совершенном ради обладания предметом, именно этот предмет всегда сообщает… пусть немного, но сообщает

о личности убийцы. Если убили за пригоршню золота – значит, преступник жадный человек. Если убили за книгу – значит, убийца готов любой ценой скрывать заключенные в ней тайны. Следовательно, надо выяснить, что написано в книге, которой у нас нет».

«И вы способны по нескольким строчкам восстановить содержание книги?»

«Милейший Адсон, эти строчки похожи на отрывки сакрального текста, смысл которого гораздо шире, чем буквальное содержание. Прочитав эту запись сразу после разговора с келарем, я был поражен некоторыми схождениями. Тут тоже говорится о простецах и крестьянах как о носителях другой истины, отличной от истины мудрецов. Келарь обмолвился, что существует тайное союзничество между ним и Малахией. А что если Малахия прячет какие-то еретические документы, доверенные ему Ремигием? Это значило бы, что Венанций читал и переписывал секретное воззвание, касающееся сообщества грубых и простых людей, восстающих против всего и вся. Вот только…»

«Что только?»

«Две вещи свидетельствуют против этой версии. Во-первых, Венанция, судя по всему, подобные материи совершенно не интересовали. Он был переводчик греческих текстов, а не глашатай еретических учений… А во-вторых, высказывания насчет фиг, камня и цикад с этой гипотезой не согласуются».

«Тогда, может быть, это загадки со скрытым смыслом? – допытывался я. – Или у вас имеются другие предположения?»

«Имеются. Но пока что смутные. Когда я читал этот листок, меня не покидало чувство, будто я что-то подобное где-то уже читал. Мне даже вспоминались фразы, почти совпадающие с некоторыми из этих. Но я читал их в другом месте… У меня ощущение, будто здесь говорится о чем-то, о чем уже говорилось в последние дни… Но я не могу вспомнить. Надо подумать. Наверное, надо почитать другие книги».

«Как? Чтоб узнать, что сказано в книге, вам нужно читать другие книги?»

«Иногда это помогает. Книги часто рассказывают о других книгах. Иногда невинная книга – это как семя, из которого вдруг вырастает книга опасная. Или наоборот – это сладкий побег от горчайшего корневища. Разве, читая Альберта, ты не можешь представить себе, что говорилось у Фомы? А читая Фому – представить себе, о чем писал Аверроэс?»

«Точно, точно!» – с восхищением отозвался я. До этой минуты я был совершенно уверен, что во всякой книге говорится о своем, либо о божественном, либо о мирском, но – всегда о своем и всегда о том, что находится вне книг. А теперь благодаря Вильгельму я увидел, что нередко одни книги говорят о других книгах, а иногда они как будто говорят между собой. В свете этих размышлений библиотека показалась мне еще более устрашающей. В ее недрах долгие годы и века стоял таинственный шепот, тек едва уловимый разговор пергаментов, жизнь, скрытая от глаз, в этом приюте могуществ, неподвластных человеческому разумению, в сокровищнице, где тайны, взлелеянные многими умами, спокойно пережили всех – и тех, кто их открыл, и тех, кто повторял вслед за открывателями.

«Но раз так, – сказал я, – какой смысл прятать книги? Если по тем, что позволены, легко восстановить те, что запретны?»

«Применительно к столетиям – это лишено всякого смысла. Применительно к годам и дням – кое-какой смысл есть. Видишь же, как они сумели нас запутать».

«Значит, библиотеки не распространяют истину, а замедляют ее продвижение?» – изумленно спросил я.

«Не всегда и не обязательно. Но в данном случае – да».

Четвертого дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон отправляется за трюфелями, а возвращается с миноритами, и те держат с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного говорится об Иоанне XXII

После этого философствования учитель решил больше ничего не делать. Я уже говорил, что у него иногда случались такие припадки безволия, совершенной прострации и праздности, как будто внезапно движение планет его жизни останавливалось и он останавливался сам вместе с движением и с планетами. Так и в это утро. Он растянулся на соломенной подстилке, глаза уставились в пустоту, руки перекрестились на груди, губы слабовато шевелились, как будто бы он читал молитву, но с полуминутными замираниями и без какой бы то ни было набожности.

Я подумал, что он думает, – и решил уважать его медитацию. Спустился снова на двор и увидал, что солнце за это время потускнело. После яркого и солнечного утра (день в это время приближался к окончанию своей первой половины) погода становилась туманной, пасмурной. Тяжелые тучи медленно наползали с полуночи и сваливались в чашу горного овершия, затягивая монастырь белесоватой пеленой. С неба что-то моросило; казалось, будто мокрые испарения отходят и от земли, но на этой высокогорной вершине трудно было разобраться, подымается или же опускается туман. Становилось сумрачно, и уже еле-еле различались очертания самых удаленных домов.

Я увидел, что Северин куда-то собирается со свинарями и с их питомцами, и все очень веселы. Он сказал, что сейчас они сойдут по горному отрогу в долину и будут разыскивать там трюфели. Я в оную пору еще не знал этого тончайшего ископаемого кушанья, произраставшего у них на полуострове и, по-моему, в основном в бенедиктинских местах: возле Нурсии – черный, а в той области, где мы были, – белый, самый пахучий. Северин рассказал мне, каков он и до чего вкусен, приготовленный различнейшими способами. И добавил, что найти его очень трудно, так как он прячется под землею, он скрытнее любого гриба, и единственное из животных, кто умеет доставать его, руководствуясь нюхом, – это свинья. Вот только плохо, что, начав отрывать свой трюфель, свинья немедленно хочет сожрать его, и тогда надо быстро отогнать свинью и самому выкопать трюфель. Впоследствии я узнал, что многие даже и из дворянства не гнушались подобною охотой, поспешая следом за свиньею, как за благороднейшим гончим псом, а за ними в свою очередь бежали холопы с заступами в руках. Более того, я припоминаю, как позднее, когда уже миновали годы, один господин у меня в отечестве, проведав, что мне знакома Италия, спросил меня, как это получается, что у итальянцев дворяне ходят выпасать свиней, и я расхохотался, догадавшись, что речь идет о трюфелях. Но когда я объяснил ему, что эти господа со свиньями искали трюфели под землею, чтобы выкопать их и съесть, он уразумел это в таком смысле, что они искали «den Teufel», то есть черта, и стал испуганно креститься, глядя с недоумением. Потом двусмысленность разъяснилась, и мы оба очень смеялись. Такова вот магия людских наречий, в которых согласно разным соглашениям между людьми в различных случаях признаются за почти одинаковыми звуками совершенно различные смыслы.

Заинтересованный сборами Северина, я решил сопровождать его по склону, вдобавок понимая, что он затеял эту веселую охоту отчасти ради того, чтоб развеяться от мрачных событий, подавлявших нас всех; и я, обдумывая это, пришел к выводу, что, может быть, помогая

ему развеять тяжкие мысли, я мог бы одновременно – ну, если не совершенно переменить, то хотя бы успокоить свои собственные. Но не могу утаить вместе с этим, раз уж я поклялся писать всегда и окончательно только правду, что в глубине души меня манило и притягивало и то соображение, что, может быть, ненароком, сходя в долину, я мог бы как-то случайно увидеть кое-кого, о ком говорить не буду. Я попытался отвлечь самого себя от этой мысли, заверяя чуть ли не вслух, что поход мой может быть очень полезен, поскольку ожидается появление двух делегаций, и я мог бы первым заметить их.

По мере того как мы сходили горною тропою, воздух прояснялся; не то чтобы снова вышло солнце – нет, на высоте небес как стояли, так и продолжали стоять свинцовые облака, – но очертания предметов становились более четкими, потому что скопление влаги оставалось на вершине горы, над головами. Более того: когда мы опустились уже довольно низко, я обернулся посмотреть на нашу гору и совершенно ничего не увидел: от половины подъема и выше все – овершье горы, плоскогорье, Храмина, стены, – все укутывалось туманом.

Утром нашего приезда, когда мы поднимались на эту гору, с некоторых поворотов было видно не более чем в десяти милях от нас, а может быть и ближе, – море. И все наше восхождение было волшебно и состояло из неожиданностей, потому что попеременно мы оказывались то на какой-то открытой террасе, выступавшей над живописным морским побережьем, то, почти что сразу после этого, ныряли в узкое зловещее ущелье, где горы наваливались на горы и одна гора загораживала другой вид на дальний манящий берег; туда и солнце добиралось не всегда, не на всю глубину полутемных переходов.

Нигде и никогда в моей жизни я не видывал таких скал, как в этой области Италии, таких резких и извилистых взаимопроникновений морского берега и горного массива, альпийских отрогов и глубокой синей воды; и ветры, свистевшие в провалах между горами, полнились неутомимой борьбой нежных морских испарений с моросью ледников.

А сейчас, когда мы шли вниз, воздух был светло-серый и даже белый, как молоко, и горизонта не было видно, хотя некоторые ущелья открывались прямо на море. Но все эти воспоминания, любезнейший читатель, слишком слабо связаны с ходом расследования, которое нас занимает. Поэтому не описываю, как продвигался сбор подземных грибов. Лучше расскажу о появлении делегации братьев-миноритов, которую я заметил раньше всех и бросился в монастырь предупредить Вильгельма.

Учитель выждал, пока новоприбывшие вступят на монастырский двор и к ним, по заведенному правилу, обратится с приветствием Аббат. Потом и сам подошел к гостям, и настал черед братских объятий и радостных восклицаний.

Час трапезы уже миновал, но путникам накрыли особый стол. Аббат имел деликатность оставить их с Вильгельмом наедине, чтобы они, не обинуясь бенедиктинским правилом молчания, могли спокойно есть и в то же время толковать о своих делах, тем более что эта беседа, да простит меня Всевышний за дерзостное сравнение, более всего напоминала военный совет, и вдобавок спешный, поскольку с минуты на минуту мог нагрянуть враг, то есть авиньонская делегация.

Нечего и говорить, что прежде всего францисканцы кинулись к Убертину и приветствовали его с радостью, изумлением и бесконечной почтительностью – сообразно и долгому его отсутствию, и грозившим ему опасностям, и величию духа этого борца, который всю жизнь упорно вел свою бесконечную битву.

О членах посольства в отдельности я расскажу чуть позже, описывая всеобщий сход, состоявшийся на следующий день. Тогда же я и двух слов ни с кем не сказал, и рассмотреть никого толком не успел, настолько был захвачен совещанием троих главнейших: Вильгельма, Убертина и Михаила Цезенского.

Михаил с первого взгляда показался мне необычным человеком. Во всем, что касалось дела Св. Франциска, он был горяч до дрожи; у него появлялись движения, строй речи Убертина, охваченного мистическим экстазом; в делах земных, природных он был крайне прост, полон жизни – истый романец, ценитель хорошего стола и друг своих друзей; и он же становился хитроумен и уклончив, превращался то в осторожную и лукавую лисицу, то в тупого и сонного крота, как только затрагивались вопросы отношений с властями. Он был способен на уморительные шутки, на яростные ссоры, на красноречивые умолчания; и он всегда прятал глаза, чтобы не отвечать на прямой вопрос собеседника, и напускной рассеянностью, беспечностью маскировал отказ от ответа.

На предыдущих листах я уже сообщал кое-что о нем, но тогда это было с чужих слов, вдобавок со слов людей, которые большей частью сами говорили понаслышке. Теперь же, видя его воочию, я лучше понимал и многие противоречия его поведения, и внезапные повороты политики, которыми в последние годы немало раз он озадачивал друзей и соратников. Министр-генерал ордена миноритов, он по идее являлся наследником Св. Франциска, фактически – наследником его преемников. В святости и справедливости ему приходилось состязаться с таким предшественником, как Бонавентура из Баньореджо. Он должен был обеспечить полное уважение к уставу ордена – и в то же время как-то поддерживать его благосостояние, могущество и силу. Он обязан был прислушиваться ко всему, что говорят при дворах и в городских магистратах, так как именно оттуда орден получал, пускай под видом милостыни, взносы и пожертвования – залог его дальнейшего безбедного и даже богатого существования. В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден, и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в скопление еретических банд. Он был обязан нравиться папе, императору, братьям бедной жизни, Св. Франциску, который, конечно же, с небес наблюдал за его поведением, и всем честным христианам, наблюдавшим за ним с земли. Когда Иоанн осудил спиритуалов как еретиков, Михаил без колебаний выдал ему пятерых самых заядлых братьев-провансальцев, предоставив понтифику сжечь этих людей. Однако позднее, осознав (чему не в малой степени способствовала деятельность Убертина), что многие члены ордена сочувствуют поборникам евангельской бедности, он повернул дело так, что спустя четыре года Перуджийский капитул принял требования сожженных. Разумеется, всячески стараясь при этом увязать нововведения, которые могли оказаться и еретическими, с утвержденной доктриной и обычаями ордена, и желательно в таком виде, чтобы все, что желательно ордену, было бы желательно также и папе. Но силясь договориться с папой, без чьего согласия все равно действовать было нельзя, Михаил хотел все-таки сохранить милости императора и имперских теологов. За два года до того дня, когда я его увидел, на генеральном капитуле в Лионе он потребовал от своих собратьев, чтобы имя папы упоминалось всегда смиренно и уважительно (и это через несколько месяцев после того, как папа, выступая против миноритов, поносил их «гавканье, блудни и безумства»). А сейчас, несмотря на это, Михаил охотно поддерживал беседу, в которой имя папы склонялось без малейшего оттенка уважения.

Обо всем остальном я уже рассказывал. Иоанн требовал его в Авиньон. Он же и хотел ехать и не хотел. Предполагалось, что завтрашняя встреча определит условия и гарантии путешествия, которое не должно было выглядеть ни походом на поклон, ни (Господи упаси!) наглым вызовом. Вероятно, Михаилу не приводилось прежде лично встречаться с Иоанном, по крайней мере, в пребывание того папой. В любом случае понятие о личности папы у него, как всем казалось, было не вполне ясное. И теперь друзья спешили изобразить ему самыми черными красками фигуру этого святокупца.

«Одно ты должен твердо запомнить, – говорил ему Вильгельм. – Никаким его словам ни на

минуту нельзя верить. Свои клятвы он соблюдает буквально и нарушает по существу».

«Все знают, – сказал Убертин, – что произошло, когда его избрали».

«Не говори – избрали, он сам себя избрал!» – вмешался кто-то из сидящих у стола. Его, как я позднее услыхал, звали Гугоном из Новокастро, и говорил он похоже на моего учителя. – «Да, кстати, и смерть Климента V – дело не совсем ясное. Король не простил ему, что он сначала пообещал устроить посмертный суд над Бонифацием VIII, а потом вертелся как мог, но отлучить предшественника не позволил. Обстоятельства его смерти в Карпентрасе никому не известны. Известно только, что когда кардиналы собрались в Карпентрас на конклав, о новом папе даже речи не заводили, потому что – и это вполне естественно – все были заняты вопросом выбора между Авиньоном и Римом. Не знаю, что там у них произошло в эти дни – говорили, что началось смертоубийство, что племянник покойного папы запугивал кардиналов, что слуг перерезали, дворец сожгли, кардиналы бросились к королю, король ответствовал им, что ни в коей мере не собирается допускать опустошение Рима, велел им утихомириться и хорошенько выбирать… После этого Филипп Красивый умер, тоже Бог знает от чего…»

«Или черт знает», – вставил, крестясь, Убертин; закрестились и остальные.

«Или черт знает, – повторил Гугон с ухмылкой. – В общем, коронуется новый король, правит восемнадцать месяцев, умирает, через несколько дней гибнет и новорожденный наследник, и брат-регент получает трон…»

«И этот брат – тот самый Филипп V, который в бытность еще графом Пуатье сумел собрать кардиналов, разбежавшихся из Карпентраса…» – сказал Михаил.

«Точно так, – подтвердил Гугон. – Он собрал их на конклав в Лионе, в доминиканском {*} монастыре, посулив им неприкосновенность и свободу действий. Однако как только они отдались на его милость, он не только запер их на ключ (что вообще-то не противоречит правилу), но еще и приказал выдавать им ото дня ко дню все меньше пищи, покуда не примут наконец решение. Вдобавок он пообещал каждому в отдельности поддержать его притязания на папское кресло. Потом, когда он получил свою корону, кардиналы, которым надоело два года сидеть под засовом и они опасались просидеть там до скончания жизни, с плохой кормежкой, все подписали, несчастные обжоры, и возвели на Петрову кафедру этого семидесятитрехлетнего гнома…»

«Да, конечно, он гном, – усмехнулся Убертин, – и с виду хворый, однако крепче и хитрее, чем принято думать».

«Сын сапожника», – буркнул кто-то из сидевших.

«Христос был сыном плотника, – пресек его речь Убертин. – Не в этом дело. Он ученый человек, он учился закону в Монпелье и медицине в Париже, он умеет так пестовать своих знакомцев, чтобы получать что угодно, епископские мантии, кардинальскую шапку, как только ему захочется. И когда он служил советником Роберта Мудрого в Неаполе, он многих удивил сообразительностью. В бытность авиньонским епископом он давал очень хорошие советы (хорошие, я имею в виду, для успеха их отвратительного замысла) Филиппу Красивому, и сообща они уничтожили рыцарей Храма. А после избрания ему удалось увернуться от заговорщиков-кардиналов, хотевших убить его… Но я не об этом собирался рассказывать, я хотел только подчеркнуть его исключительную способность нарушать обещания и при этом, с формальной точки зрения, не выглядеть клятвопреступником. Вот например: когда его избирали, он, добиваясь избрания, обещал кардиналу Орсини, что перенесет папский престол в Рим, и клялся на святых мощах, что если не сдержит слова – не ездить ему вовек ни на лошадях, ни на мулах. И до чего же додумалась эта хитрая бестия? Получив все-таки свою тиару в Лионе (против воли короля, требовавшего проводить церемонию в Авиньоне), он добирался из Лиона в Авиньон на лодке!»

Все братья захохотали. Папа был обманщик, это точно, но известного остроумия у него было не отнять.

«Совести у него нет, – вступил Вильгельм. – Разве Хьюго не рассказывал, как он даже не скрывает безверия? Разве ты, Убертин, не передавал братьям, какие слова услышал от него Орсини в первый же день его вселения в Авиньон?»

«А как же, – сказал Убертин. – Он заявил, что под небесами Франции живется преприятно, и он не понимает, с какой стати должен бросать все и ехать в такой убогий, разрушенный город, как Рим. И раз уж папа, подобно апостолу Петру, наделен властью вязать и решить, он намеревается этой властью воспользоваться и остаться там, где он есть и где ему очень хорошо. А когда Орсини заикнулся было, что долг его все же – править с Ватиканского холма, он просто заткнул ему рот, и этим дело кончилось. Но история с обетом имела продолжение. Сойдя с ладьи, он должен был, согласно правилу, оседлать белую кобылу и въехать на ней в резиденцию со свитой кардиналов на черных жеребцах. Так требует традиция. А он взял и отправился в епископский дворец пешком. И, по слухам, с этих пор действительно ни разу не садился на лошадь. И от такого человека ты, Михаил, ждешь гарантий безопасности?»

Михаил надолго задумался. Потом ответил: «Его соображения насчет местожительства я могу понять. И вмешиваться не собираюсь. Но только он не должен вмешиваться в наши соображения о бедности и в наше истолкование образа жизни Христова».

«Не будь ребенком, Михаил, – возразил Вильгельм. – Ваши… наши соображения о бедности выставляют в крайне неприглядном виде его собственную доктрину. Осознай же наконец, что за многие столетия ни разу не восходило на папский престол более скаредное существо. Блудницы Вавилонские, которых недавно громил наш Убертин, развратные папы, которых поносят твои соплеменники-сочинители, к примеру это Алигьери, – все они были тихие, кротчайшие овечки в сравнении с Иоанном. Это же сорока-воровка, еврейский ростовщик, в Авиньоне заключается больше сделок, чем во Флоренции! Я слышал о его мерзопакостной сделке с племянником Климента, Бертраном де Готом, устроителем кровавой бани в Карпентрасе (в ходе которой, кроме прочего, кардиналам помогли избавиться от всех их сбережений). Этот Бертран успел запустить лапу в сокровищницу дяди, где кое-что было, и преизрядно, а Иоанн давно не спускал с него глаз и поэтому мог перечислить по вещице все украденное добро (в своей Cum venerabilis он приводит полный список: медали, золотые и серебряные сосуды, книги, ковры, драгоценности, утварь…). Однако Иоанну выгодно было сделать вид, будто он не знает, что Бертран зажилил в Карпентрасе больше полутора миллионов золотых флоринов. И он стал тягаться о тридцати тысячах, которые Бертран признавал, что получил в наследство от дяди “для благочестивого употребления”, то есть для крестового похода. Они порешили, что Бертран удержит себе половину денег якобы на поход, а другая половина отойдет к понтифику. Бертран так и не снарядил похода, по крайней мере пока что не снарядил, а папа не получил ни флорина…»

«Не так уж он, значит, хитер», – заметил Михаил.

«Единственный раз он позволил так себя провести в денежном вопросе, – сказал Убертин. – Ты должен хорошенько понять, с каким ростовщиком тебе предстоит иметь дело. Во всех остальных случаях он выказывает дьявольское хитроумие, стоит ему учуять деньги. Это какой-то второй Мидас: чего он коснется, все превращается в золото и течет в сундуки Авиньона. Всякий раз, когда я заходил к нему в покои, там было полно банкиров, менял, на столах было навалено золото, и какие-то священники пересчитывали монеты и складывали одну на другую в столбики. Ты увидишь, какую резиденцию он там выстроил себе, и с какою роскошью – не то дворец византийского императора, не то татарского хана…»

«Теперь ты понимаешь, – спросил Убертин, – зачем он издал все эти буллы против

бедности? А знаешь, что он подбил доминиканцев, назло нашему ордену, ваять фигуры Христа в царской короне, в пурпурной с золотом тунике и в богатейших сандалиях? А в Авиньоне показывают распятия, где Христос прибит к кресту одной только рукою, а другой держится за кошель, привешенный у него на поясе. Все это ради доказательства, что Он благословляет употребление денег в обиходе церкви…»

«Ах, бесстыдник! – вскричал Михаил. – Да это же прямое богохульство!»

«Он надел, – вмешался Вильгельм, – третий венец на папскую тиару. Так ведь, Убертин?»

«Разумеется. В начале тысячелетия папа Гильдебранд увенчал себя одним венцом, с надписью: Corona regni de manu Dei[72]. Нечестивый Бенедикт не так давно присовокупил к тому венцу новый, надписав на нем: Diadema imperii de manu Petri[73]. А Иоанн решил усовершенствовать сделанное ими. Теперь на тиаре три венца: власть духовная, власть мирская и власть священноначальная. Символ персидских царей, языческий символ…»

Один из францисканцев до этих пор не проронил ни слова, поскольку был всецело занят смакованьем отличнейших блюд, поданных гостям по приказанию Аббата. Он вполуха следил за беседой, время от времени саркастически хмыкая по поводу негодного понтифика или одобрительно мыча – по поводу гневных тирад сотрапезников. Более же всего он заботился об очищении своего подбородка от мясного сока и кусочков, которые время от времени вываливались из его беззубого, но прожорливого рта. К соседям он обращался единственно затем, чтобы похвалить какое-нибудь кушанье. Позже я узнал, что это был владыка Иероним, тот самый епископ Каффы, которого Убертин недавно объявил умершим. Должен сказать, что слухи о его смерти, случившейся будто бы за два года до того, ходили среди верующих христиан упорно и сыздавна. И позднее я их тоже слыхал. На самом же деле умер он через несколько месяцев после описываемой встречи, и я до сих пор убежден, что он скончался от великого бешенства, нашедшего на него следующим утром во время богословского диспута, от какового бешенства вскорости и лопнул, так как был немощен телом и желчен характером.

На этом месте он впервые вмешался в общий разговор и проговорил с набитым ртом: «А знаете ли вы, что этот нечестивец создал целую систему taxae sacrae poenitentiariae[74] и зарабатывает на грехах верующих немалые капиталы? Если священнослужитель совершает плотский грех с монахиней или с родственницей или просто с посторонней женщиной (ибо случается и такое!), он может быть прощен только после того, как уплатит семьдесят семь золотых лир и двенадцать сольдов. За содомию платить приходится более двух сотен лир, но если она совершена только над мальчиками или над животными, но не над женщинами, взыскание сокращается до ста лир. Если монахиня отдавалась нескольким мужчинам как единовременно, так и поочередно, как вне стен монастыря, так и внутри оных, а ныне желает стать аббатисой, пускай платит сто тридцать одну золотую лиру и пятнадцать сольдов».

«Ну уж, владыко Иероним, – не выдержал Убертин, – вам известно, до чего я не люблю папу, но в данном случае придется защитить его! Это все клевета, пущенная кем-то из авнньонцев, и подобного уложения я никогда не видел».

«Нет, это правда, – упрямо твердил Иероним. – Я тоже не видел, но это правда».

Убертин покачал головой, и все умолкли. Я понял, что владыку Иеронима, как правило, никто всерьез не принимает – не зря же Вильгельм накануне охарактеризовал его как кретина. Тем временем Вильгельм пытался связать прерванную беседу: «Правда это или выдумка, в любом случае само появление подобных сплетен свидетельствует о том, каков моральный климат в Авиньоне, где всякий, и притеснитель, и притесняемый, сознает, что жизнь его протекает на торговых рядах, а не при дворе наместника Христова. Когда Иоанн взошел на свой престол, считалось, что у него состояние в семьдесят тысяч золотых флоринов. А к нынешнему

моменту, судя по всему, он нахапал больше десяти миллионов».

«Это так, – подтвердил Убертин. – Михаил, Михаил, не знаешь ты, какого стыда навидался я в Авиньоне!»

«Постараемся быть честными, – сказал Михаил. – Признаем, что наши также совершали ошибки. Мне сообщали, что францисканцы с оружием брали доминиканские монастыри и раздевали братьев-противников, тем приводя их к бедной жизни. Зная это, я и не решился перечить Иоанну во времена провансальского дела. Я хочу прийти с ним к разумному соглашению. Я не требую, чтоб он смирил свою гордыню. Пусть только не усмиряет нашу тягу к смирению. Я не собираюсь говорить о деньгах. Я только попрошу его дозволить здравое толкование Священного Писания. И в этом же духе нам следует завтра держаться с его легатами. В конце концов они богословски образованные люди. И не все же такие выжиги, как Иоанн. А после того как умные люди выскажутся в поддержку разумного толкования, он уже не сможет…»

«Он-то? – вмешался Убертин. – Да ты еще, видимо, не знаешь всех его безумств по богословской части. Он действительно возомнил, что уполномочен все вязать и решить своей волей, как на земле, так и на небе. На земле мы видим, что он выделывает. Что же касается неба… Так вот. Пока что он еще открыто не высказывает тех идей, с которыми я вас сейчас познакомлю. По крайней мере не высказывает при публике. Но я точно знаю, что с приближенными он об этом шепчется. Он разрабатывает совершенно безумные новшества – если не совершенно крамольные, – призванные переменить самую сущность христианской доктрины и лишить всякой силы нашу с вами проповедь».

«Какие?» – вскрикнули все чуть ли не хором.

«Спросите у Беренгара. Он лучше знает. Я от него слыхал». – Убертин кивнул на Беренгара Таллони, который в последние годы слыл одним из самых решительных неприятелей папы при его собственном дворе. Выехав сюда из Авиньона, он двумя днями раньше присоединился к группе францисканцев и с ними поднялся в монастырь.

«Это странное дело, почти невероятное, – начал Беренгар. – Короче говоря, похоже, Иоанн собирается выдвинуть тезис о том, что праведные не удостоятся лицезреть божественность до самого Страшного Суда. Вот уже не первый год Иоанн занимается девятым стихом шестой главы Апокалипсиса, тем, где речь идет о снятии пятой печати, когда под жертвенником обнаруживаются души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Те вопиют об отмщении, после чего каждому выдаются одежды белые, и всем им говорится, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Иоанн делает из этих слов вывод, что их не допустят к лицезрению Господа в его сущности, покуда не состоится Страшный Суд».

«Это кому же он говорил такое?» – спросил потрясенный Михаил.

«Пока что немногим, самым близким. Слухи о том просачиваются; говорят, он готовит открытое выступление. Не обязательно сразу. Может быть через несколько лет, обеспечив себе поддержку богословов».

«Ха-ха!» – гоготнул, жуя, Иероним.

«Мало того. Судя по всему, он намерен пойти еще дальше и провозгласить, что преисподняя тоже не разверзнется до Страшного суда… даже для бесов».

«Господи Иисусе, спаси и помилуй! – закричал Иероним. – Как же тогда разговаривать с грешниками, если нельзя пригрозить им адом, и немедленно, сразу как они попадут на тот свет?»

«Мы в руках сумасшедшего, – произнес Убертин. – Только я не могу понять, зачем ему самому все это…»

«Пойдет прахом все учение об индульгенциях, – причитал Иероним. – И ему же самому не удастся больше продать ни одной штуки. С какой стати будет священник, совершивший скотский грех, платить столько лир, если наказание отодвинется так надолго?»

«Не так уж надолго, – с силой проговорил Убертин. – Времена близятся!»

«Это тебе известно, брат мой возлюбленный, а простецы понятия не имеют. Ну и дела! – кричал Иероним, потерявший, похоже, всякое удовольствие от еды. – Что за подлая идея, это ему вбили в голову, наверно, святые братья проповедники!» – кричал он, бешено тряся головой.

«Ему-то зачем это все?» – повторил Михаил Цезенский.

«Не думаю, чтобы нашлось вразумительное объяснение, – сказал Вильгельм. – Но, несомненно, все это связано с его неукротимой гордыней. Он хочет диктовать свою волю всем – и земле и небу. До меня уже доходили подобные слухи, мне писал о них Вильгельм Оккамский. Но рано или поздно кто-то пойдет на попятный. Или папа, или богословы, единый глас святой церкви, народ Божий, все как один, праведные наши прелаты…»

«В вопросах доктрины наших богословов подмять нетрудно», – печально подтвердил Михаил.

«Неизвестно еще, – ответил Вильгельм. – Мы живем с вами в эпоху, когда знатоки священных наук не опасаются заявлять открыто и принародно, что папа – еретик. Знатоки священных наук по-своему тоже являются предстателями христианского народа. Против народа никакой папа никогда ничего не добьется».

«Еще хуже, еще хуже, – встревоженно бормотнул Михаил. – С одной стороны сумасшедший папа, с другой народ Божий, который, хотя и через посредство своих богословов, того и гляди начнет свободно толковать Писание».

«А вы что, не этим занимались в Перудже?» – спросил Вильгельм.

Михаил подскочил, задетый за живое. «Именно поэтому я добиваюсь встречи с папой. Нам не следует совершать ничего, с чем бы он был не согласен».

«Посмотрим, посмотрим», – отвечал Вильгельм с невозмутимым видом.

Учитель действительно оказался провидцем. Как он сумел предугадать, что самому Михаилу скоро придется, опираясь на имперских теологов и на народ, выступить против папы? Как он смог предусмотреть, что через четыре года, когда Иоанн впервые огласит свою невероятную доктрину, он натолкнется на единодушное сопротивление всего христианского народа? Если лицезрение божества отодвигалось так надолго, как могли бы отныне усопшие заступаться за живых! И что бы сталось с почитанием святых! Поэтому именно минориты самыми первыми через четыре года воспротивились и прокляли папу. И Вильгельм Оккамский, суровый и неколебимый в своих убеждениях, возглавил их ряды. Борьба продолжалась три года, до тех пор, пока Иоанн, уже совсем недалекий от смерти, не пошел на частичные уступки. Мне описывали люди, много лет спустя, как в декабре 1334 года он явился в консисторий, весь маленький, меньше, нежели казался когда-либо прежде, высохший от старости, девяностолетний, белый, как смерть, и произнес следующее (ах, лисица, всю жизнь игравшая словами не только когда хотелось отойти от обещаний, но и когда приходилось отходить от убеждений!): «Мы исповедуем и верим, что души, отделенные от тела и в совершенности очищенные, пребудут на небе, в раю, среди ангелов, поблизости от Иисуса Христа, и что они будут наблюдать Бога в его божественной сущности, беспрепятственно, лицом к лицу… – и тут он выдержал паузу, так и осталось неизвестным – из-за трудности ли дыхания или из-за коварного намерения подчеркнуть последнюю часть фразы как противительную, – в той мере, в какой состояние и положение отделенной от тела души ей это позволяют». Утром наступившего дня, было воскресенье, он велел уложить себя на длинное кресло с покатой спинкой, принял целование руки от всех кардиналов и умер.

Но вот опять, вижу, я сбиваюсь и описываю совершенно посторонние вещи, а не то, что обязан описывать. Немедленно прекращаю это, в частности и потому, что на самом деле продолжение данной беседы не слишком помогает уяснить то, о чем я буду рассказывать дальше.

Минориты уговаривались, кому и как надо выступить на следующий день. Одного за другим разбирали они противников. Всех встревожило сообщение Вильгельма о прибытии Бернарда Ги, и еще больше – известие о том, что авиньонское посольство будет возглавлять кардинал Бертран из Поджетто. Два инквизитора – это, можно сказать, было уже некоторое излишество. Это означало, что против миноритов собираются выдвинуть обвинение в ереси.

«Тем хуже, – сказал Вильгельм. – А мы обвиним их самих».

«Нет, нет, – забеспокоился Михаил. – Прежде всего осторожность. Ни в коем случае не повредить идее будущего соглашения».

«Насколько я могу судить, – сказал Вильгельм, – и невзирая на все труды, затраченные мною на подготовку этой встречи… тебе, Михаил, они известны… словом, я совершенно не верю, что авиньонцы идут сюда за положительным решением. Иоанну ты нужен в Авиньоне один и без гарантий. По-моему, единственный положительный момент встречи – что ты, надо надеяться, сам в этом убедишься. Хуже было бы угодить туда без предварительного опыта».

«Значит, ты истратил столько сил и времени на дело, которое считаешь бесполезным?» – с горечью спросил Михаил.

«Меня просили об этом и ты, и император, – ответил Вильгельм. – И в конце концов никогда не бесполезно лучше знать врага».

В это время нам объявили, что в монастырь входит второе посольство. Минорнты встали из-за стола и двинулись навстречу людям Иоанна.

Четвертого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где появляются кардинал Поджеттский, Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает что хочет

Люди давно знакомые друг с другом и люди знавшие друг друга только понаслышке – все здоровались во дворе с видом сугубой благожелательности. Возле Аббата стоял кардинал Бертран Поджеттский. Во всем его облике была привычная властность. Он держался так, будто он – второй понтифик, и оделял всех, а миноритов в особенности, самыми сердечными улыбками, оповещая каждого, что полон самых радужных предчувствий насчет завтрашней встречи, и особенно упирая на пожелания мира и блага (он намеренно употреблял это дорогое душе любого францисканца словосочетание), привезенные им от Иоанна XXII.

«Хвалю, хвалю», – обратился он ко мне, когда Вильгельм оказал мне честь представить как своего писца и ученика. Затем он спросил, видал ли я Болонью, и похвалил красоту этого города, изысканность яств и превосходнейший университет, советуя ехать туда. Все лучше, добавил он, чем возвращаться к моим соотечественникам-немцам, которые причиняют столько огорчений нашему доброму папе. Потом он поднес к моим губам для поцелуя свой перстень, а сам поверх моей головы уж с улыбкой обращался к кому-то другому.

Да и мое внимание уже обратилось на другую особу, о которой я немало успел услышать в последние дни: на Бернара Ги, как называли его французы, или Бернарде Гвидони, иначе Бернарда Гвидо, – как выговаривали в других местах.

Это был доминиканец лет семидесяти, тщедушный, однако прямой как палка. Меня поразили его глаза: серые, ледяные, как будто лишенные выражения. Потом я увидел, что они могут мерцать загадочным неприятным огнем, могут надежно скрывать мысли и страсти, а могут – но только умышленно – выдавать их.

В общем обмене приветствиями Бернард почти не участвовал и не выказывал сердечности и радушия, как другие, а ограничивался соблюдением приличий. Здороваясь с Убертином, с которым они были знакомы, он кивнул вполне учтиво, однако глянул так, что у меня по спине пошли мурашки. Увидев Михаила Цезенского, довольно двусмысленно улыбнулся и тусклым голосом проговорил: «Давно ждем вас в Авиньон». В его словах я не уловил ни нетерпения, ни насмешки, ни злобы – вообще никакого выражения. Потом ему представили Вильгельма. Узнав, кто это, он повел себя вежливо, но враждебно. И дело не в том, что на лице его непреднамеренно отразились затаенные чувства – я уверен, что такого вообще не могло быть (хотя не уверен в другом: что у него вообще могли быть чувства). Нет, он безусловно хотел и старался показать Вильгельму свою враждебность. Вильгельм же на его открытую вражду ответил самой широкой, доброжелатсльнейшей улыбкой и заявил: «Давно мечтал поглядеть на человека, чьи деяния послужили мне примером и уроком и склонили к важным решениям, некоторые из коих переменили всю мою жизнь». Высказывание самое хвалебное и даже льстивое – на усмотрение тех, кому неизвестно (а между тем Бернарду это было известно очень хорошо), что одним из самых важных, переменивших жизнь Вильгельма решений был отказ от инквизиторской службы. Так что встреча этой пары оставила меня в убеждении, что если Вильгельм получил бы наибольшее удовольствие, увидев Бернарда в каком-нибудь каземате под императорским дворцом, для Бернарда не меньшим наслаждением явилось бы зрелище

немедленной и желательно жестокой кончины Вильгельма. А так как Бернард имел в подчинении немалое число вооруженных людей, я вздрогнул и серьезно испугался за жизнь учителя.

Судя по всему, Бернард уже успел узнать от Аббата о преступлениях, совершившихся в монастыре. Сделав вид, будто не замечает, каким ядом пропитано приветствие Вильгельма, он заговорил: «По-видимому, на этих днях я по просьбе здешнего аббата и во исполнение долга, взятого на себя при заключении условий настоящей встречи, буду вынужден разбираться в довольно неприятной истории, которая, по моему убеждению, сильно попахивает дьявольщиной. Вам я говорю об этом потому, что знаю: в некие времена мы с вами пребывали на более близких позициях, и вы плечом к плечу со мной и с подобными мне сражались на участке, где шла битва бойцов армии добра с бойцами армии зла».

«Было дело, – безмятежно отозвался Вильгельм. – А потом я перешел на другую сторону».

Бернард достойно выдержал удар. «Вам есть что сказать об этих преступлениях?»

«Нет, к сожалению, – задушевно ответил Вильгельм. – Я ведь не так, как вы, искушен в преступлениях».

Чем кто занимался в дальнейшем, я не знаю. Вильгельм снова посовещался с Михаилом и Убертином, а потом пошел в скрипторий. Там он попросил Малахию подобрать ему для занятий несколько книг. Малахия покосился как-то странно, но отказать не посмел. Удивительное дело, но за книгами не пришлось подниматься в библиотеку. Все они, как оказалось, уже были сложены на столике Венанция. Учитель с головой ушел в чтение, и я понял, что беспокоить его не следует.

Я спустился в кухню. Там я застал Бернарда Ги. Видимо, он изучал внутреннее расположение аббатства и в этих целях рыскал повсюду. Я слышал, как он опрашивает поваров и прочих служек, изъясняясь – с большим или меньшим успехом – на местном наречии (тут я припомнил, что он работал инквизитором в Северной Италии). По-моему, он задавал вопросы об урожаях, об организации работ в монастыре. Однако даже при самом невинном разговоре он сверлил собеседника таким пронзительным взглядом, так неожиданно сбивал его с толку новым вопросом, что жертва неминуемо бледнела и путалась. Я понял, что он таким манером – своими особыми приемами – проводит следствие, ловко используя то бесценное оружие, которым располагает и пользуется на следствии каждый инквизитор: чужую запуганность. Ибо любой допрашиваемый, как правило, страшится, что его подозревают, и поэтому говорит следователю именно то, что может навлечь подозрения на другого человека.

До самого вечера, в какой бы части монастыря я ни оказывался, всюду был и Бернард со своими расспросами: и на мельнице, и во дворе собора. Но при этом ни разу он не обратился за сведениями к кому-либо из монахов, а все больше к мирским братьям или крестьянам. Полная противоположность тому, как действовал Вильгельм.

Четвертого дня
ВЕЧЕРНЯ,

где Алинард сообщает, кажется, важнейшие сведения, а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок

Спустя несколько часов Вильгельм вышел из скриптория в самом веселом расположении духа. Дожидаясь вечери, в монастырском дворе мы набрели на Алинарда. Помня просьбу старика, я еще накануне запасся в кухне горсточкой бобов и теперь преподнес их ему. Он с благодарностями запихал бобы в беззубый слюнявый рот.

«Ну, видел, юноша? – сказал он мне. – И третий труп находился там, где предуказано книгой. Теперь жди четвертой трубы!»

Я спросил, как он догадался, что ключ к цепи преступлений надо искать в книге откровения. Он удивленно выпучил глаза: «В книге Иоанна ключ ко всему! – И добавил, наморщившись от обиды: – Я знал, я давно предсказывал… Это ведь я, знаешь, присоветовал аббату… тогдашнему аббату… собрать как можно больше толкований к Апокалипсису. Я должен был стать библиотекарем… Но другой добился, чтоб его направили в Силос. И там он собрал самые лучшие рукописи и приехал с великолепной добычей… О, он знал, где искать… Знал наречие неверных… И за это ему поручили библиотеку, ему, а не мне… Но Бог наказал его. До времени отправил в страну теней… Ха, ха», – злобно захихикал старик, который до тех пор, пребывая в тихой старческой расслабленности, казался мне таким же благостным, как невинный младенец.

«Кто это? О ком вы говорите?» – спросил Вильгельм.

Старик тупо глядел на него. «О ком я говорил? Не помню… Это было давно. Но Господь карает. Господь изничтожает, Господь помрачает память… Там, в библиотеке, многое делалось от гордыни… Особенно после того, как ею завладели иностранцы. Но Господь карает и сейчас…»

Ничего нового вытянуть из него не удалось. Мы оставили старика в тихом обиженном полубреду. Вильгельм, судя по всему, сильно заинтересовался этим разговором. Он бормотал себе под нос: «К Алинарду стоит прислушаться. Всякий раз в его словах бывает что-то интересное».

«Что же на этот раз?»

«Адсон, – отвечал Вильгельм. – Разгадывать тайну – это не то же самое, что дедуцировать из первооснований. Это также не все равно что собирать множество частных данных и выводить из них универсальные законы. Разгадывать тайну чаще всего означает иметь в своем распоряжении не более одного, или двух, или трех частных данных, не обладающих, с внешней точки зрения, никаким сходством, и пытаться вообразить, не могут ли все эти случаи представлять собой проявления некоего универсального закона, который лично тебе пока неизвестен и вообще неизвестно, был ли он когда-либо выведен. Разумеется, если ты будешь исходить, как говорит философ, из того, что человек, лошадь и мул – все трое не имеют желчи и все трое долгоживущи, ты можешь при желании сформулировать принцип, что все животные, не имеющие желчи, живут подолгу. Однако теперь возьмем, например, случай рогоносящих животных. Почему у них рога? В один прекрасный момент ты замечаешь, что у всех рогатых

животных отсутствуют зубы на верхней челюсти. Это могло бы явиться потрясающим открытием, если бы ты одновременно не обратил внимания на то, что, к сожалению, существуют животные без зубов на верхней челюсти, которые тем не менее рогов не имеют, в частности верблюд. Но после этого ты замечаешь, что все животные, не имеющие зубов на верхней челюсти, обладают двойным желудком. Прекрасно. Из этого ты можешь сделать вывод, что тот, у кого зубов недостаточно, плохо жует пищу и поэтому нуждается в двух желудках, чтобы эту пищу переварить. Ну, а рога? Для этого попробуй себе представить материальную причину рогов, и увидишь, что недостаток зубов обусловливает появление животного с преизбытком костяной материи, которая ищет себе выхода с какой бы то ни было стороны. Но удовлетворительно ли это объяснение? Нет, потому что у верблюда отсутствуют верхние зубы, наличествуют два желудка, однако рогов нет. В этом случае полезно будет обратиться к целевой причине. Костяная материя формируется в рога только у тех животных, у которых отсутствуют другие средства защиты. У верблюда же имеется такая жесткая шкура, что рогов ему не нужно. Поэтому закон может быть выведен…»

«Да на что нам дались эти рога? – перебил я с нетерпением. – Почему вы вдруг стали заниматься рогатыми зверями?»

«Я рогатыми зверями никогда не занимался, а вот епископ Линкольна занимался ими немало, развивая идеи Аристотеля. По чести, я ничего не могу сказать о его резонах, не знаю, были ли они справедливы или ошибочны; да и лично я сам никогда не пересчитывал, сколько зубов у верблюда и сколько желудков; все это мне понадобилось лишь чтобы показать тебе, что выведение объяснительных законов, в естественных науках, требует косвенного подхода. Пред лицом разрозненных фактов ты должен стараться представить себе множество универсальных законов; на твой первый взгляд, ни один из них не будет связан с фактами, которые тебя занимают; и вдруг внезапно неожиданное совпадение результата, случая и закона подведет тебя к рассуждению, которое представится тебе более убедительным, чем остальные. Затем попробуй применить это рассуждение ко всем подобным случаям. Попробуй употребить его для предсказывания результатов, и это покажет тебе, угадал ты или нет. Однако до самого конца расследования ты не сможешь доподлинно знать, какие предикаты в рассуждение следует вводить, а какие отбрасывать. Именно в этом положении обретаюсь я. Увязываю разрозненные элементы и пробую различные гипотезы. Но я должен перепробовать их невероятно много, и большинство из них настолько абсурдны, что и сказать тебе стыдно. Видишь ли, в случае с пропавшею лошадью, когда я заметил следы, у меня появилось множество гипотез, как взаимодополняющих, так и взаимопротиворечащих; это могла быть сбежавшая лошадь, это мог и сам Аббат проскакать на своей великолепной лошади вниз по спуску, могло оказаться и так, что один конь, Гнедок, оставил следы на дороге, а другой, скажем, Воронок, сутками прежде ободрал о кустарник гриву; ветки дерева могли надломить не лошади, а люди. Я не имел возможности остановиться на какой-либо гипотезе и объявить ее верной, пока не встретил отца келаря с его людьми и не увидел, как усердно они ищут. Тогда я подумал, что гипотеза с Гнедком – единственная подходящая, и попробовал проверить, является ли она также справедливой. Для этого я обратился к монахам, изложил им свою догадку. Я выиграл, как ты видел. Но мог бы и проиграть. Люди посчитали меня мудрецом, потому что я выиграл, но им было неведомо великое множество случаев, в которых я выходил дураком потому, что проигрывал, и они не знали, что за несколько секунд до того, как выиграть, я бываю вовсе не уверен, не проиграл ли я. Ныне, размышляя об этих монастырских историях, я имею немало превосходнейших гипотез, но ни одного очевидного факта, который позволил бы мне сделать вывод, какая из них лучше всех. И поэтому, чтобы не выглядеть дураком потом, я предпочитаю не выглядеть молодцом сначала. Дай мне еще немножко подумать. До завтрашнего дня по

меньшей мере».

Тут мне вдруг стало совершенно ясно, какой способ рассуждения использует учитель, и я поразился, до чего невыгодно отличается этот способ от предложенного философом – то есть от суждения на основании первопринципов, так чтобы разум рассуждающего почти что воспроизводил ход божественного разума. Я понял, что, когда у него нет ответа, Вильгельм придумывает их много, и все между собой противоречат. Я был подавлен.

«Так что же, – осмелился я спросить, – вы еще далеки от решения?»

«Я очень близок к решению, – ответил Вильгельм. – Только не знаю, к которому».

«Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу?»

«Адсон, – сказал Вильгельм, – если бы я к нему приходил, я давно бы уже преподавал богословие в Париже».

«В Париже всегда находят правильный ответ?»

«Никогда, – сказал Вильгельм. – Но крепко держатся за свои ошибки».

«А вы, – настаивал я с юношеским упрямством, – разве не совершаете ошибок?»

«Сплошь и рядом, – отвечал он. – Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной-единственной».

Тут у меня возникло ощущение, что Вильгельма вообще не интересует истина, которая всегда состоит в единственном тождестве между предметом и понятием. Он же хотел развлекаться, воображая столько возможностей, сколько возможно.

Осознавши это, я, со стыдом признаюсь, разуверился в учителе и поймал себя на мысли: «Хорошо хоть инквизиция вовремя подоспела!» Ибо мною овладела жажда истины – та же, которой одушевлялся Бернард Ги.

В таком-то провинном расположении духа, смущаясь сильнее, нежели Иуда вечером святого четверга, я вошел с Вильгельмом в трапезную и приступил к ужину.

Четвертого дня
ПОВЕЧЕРИЕ

где Сальватор повествует о любовной ворожбе

Ужин в честь делегации был великолепен. Аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой природы и в обычаях папского двора (коим не чужды, должен заметить, оказались и минориты брата Михаила). Из крови свежезаколотых свиней, говорил нам повар, предполагалось наделать кровяных колбасок к праздничному столу. Но из-за злополучной гибели Венанция всю свиную кровь пришлось вылить, а новых свиней заколоть не успели. К тому же, по-моему, в эти дни ни у кого не лежала душа к убиению божьих тварей. Однако имелось жаркое из дикой птицы, вымоченной в местном красном вине, поросенок, нашпигованный крольчатиной, хлебцы Св. Клары, рис со здешними миндальными орехами (это еще называется «белым завтраком»), запеканка с огуречной травой, фаршированные оливы, жареный сыр, баранина с острым перечным соусом, белая фасоль и изысканнейшие сласти: пироги Св. Бернарда, пирожные Св. Николая, пончики Св. Люции, а также вина и травяные настойки, которые размягчили даже Бернарда Ги, прежде такого сурового: лимонная настойка, ореховая, настой от подагры и настой горечавки. Все это выглядело бы апофеозом обжорства, когда бы каждый отправляемый в рот кусок не сопровождался богоугодным чтением.

От ужина все поднялись в самом радостном настроении. Многие, оправдываясь легким недомоганием, заявили, что повечерия им не выстоять. Аббат никого не принуждал. Ведь не для всех и те преимущества, и те повинности, коими уснащена жизнь монаха, посвященного в наш орден.

Все вышли, а я задержался, чтобы из любопытства заглянуть в кухню, которую готовили запирать на ночь. И увидел Сальватора, крадущегося, как кот, вдоль огородов, с каким-то тюком под мышкой. Желая узнать, в чем дело, я за ним погнался и окликнул. Он сначала юлил, а потом ответил на расспросы, что в таинственном узле (который извивался, как будто внутри было что-то живое) он несет василиска.

«Бойся василиска! Се царь гадов, полный страшных ядов. Оными плюется! И хуже плевков. Пустит вонь, злостно так – убьет наповал! Брысь, брысь! Отрава! На горбу белый крап, башка петуха, передом стояч, задом ползуч, како всякий змий. Мрет от ласки…»

«Как от ласки?»

«Так! Ласка – невеликий зверь, премилый, ростом малым-мало выше мыши. Мышь от нее в страхе. И змея, и жаба. Как укусят ласку – та бежит, где укроп и чина. Их грызет. И снова воевать. Есть кто верит – родится-де из глаза. А другие верят, что сие неверно».

Я спросил, на что ему василиск. Он отвечал, что это его забота. Но меня разобрало любопытство, и я поспешил довести до его сведения, что в подобной обстановке, при стольких неразгаданных убийствах, любая странность в поведении монахов – и моя забота, и что я обязательно обо всем доложу Вильгельму. Тогда Сальватор стал просить меня этого не делать и развязал свой сверток. Там оказался кот черной масти. Затем Сальватор притянул меня поближе и с похабной улыбочкой зашептал прямо в ухо, что ему-де обидно видеть, как один келарь да я, тот – благодаря своим запасам, а я – благодаря молодости и красоте, пользуемся любовью деревенских девушек, а ему, некрасивому и бедному, ничего не достается. И что ему известно, как любовной ворожбою покорить любую женщину. Для этого надо убить черного кота и

вырвать у него глаза, и вложить эти глаза в яйца от черной курицы, два глаза – в два яйца (тут он вытащил и предъявил мне куриные яйца, взятые, по его утверждению, именно от черных куриц). Потом яйца должны отлежаться и хорошенько протухнуть под кучей конского навоза (и Сальватор уже приготовил себе такую кучку в уголку огорода, где никто никогда нс бывает). И из яиц народятся, из каждого яйца, по дьяволенку, и оба станут служить, доставляя согласно его желанию любые услады, какие бывают в мире. «Но есть одна незадача, – сказал Сальватор, – к величайшему сожалению. Чтобы удалась ворожба, необходимо заставить ту женщину, чьей любви добиваешься, плюнуть на каждое яйцо перед погружением его в навоз. В этом вся сложность, – озабоченно говорил он, – потому что в ночь колдовства под рукой каким-то образом должна оказаться требуемая женщина и исполнить свое дело, не подозревая, для чего это понадобилось».

Тут я почувствовал, как огненное пламя захлестывает мои щеки, опаляет внутренности, горит во всем теле, и еле слышным голосом спросят, приведет ли он сегодня ту же девушку, что приводил вчера. Он же, насмехаясь и глумясь надо мною, ответил, что, по всему судя, у меня жестокая течка (я возразил, я объяснил ему, что спрашиваю из чистого любопытства), а потом добавил, что в деревне полно отличных девушек и что он приведет себе другую, еще красивее, чем та, которая нравится мне. Я, конечно, заподозрил, что он лжет, чтоб от меня избавиться. Но с другой стороны – что я мог поделать? Выслеживать его всю ночь, в то время как Вильгельму я был нужен для совершенно других дел? А если даже речь и шла о ней – мог ли я пытаться увидеть ту, к которой толкало меня вожделение, в то время как рассудок говорил обратное? Ту, которую я не должен был видеть никогда, даже если мечтал только о том, чтобы всегда видеть ее? Нет, нет. Разумеется, нет. И я постарался убедить себя в том, что Сальватор не лжет – хотя бы насчет другой женщины. Или, наоборот, в том, что он вообще лжет, и что все его колдовство – выдумки темной суеверной бестолочи, и что у него ничего не получится.

Я резко с ним обошелся, выругал его и добавил, что сегодня ночью сидел бы он лучше в келье, потому что во дворе шныряют лучники. Но он ответил, что знает все ходы и выходы гораздо лучше, чем эти лучники, и что в таком тумане никто ничего не увидит. Вот так-то, заявил он, сейчас я дам деру, и даже ты меня больше не увидишь, даже если я от тебя в двух шагах буду забавляться с той девчонкой, по которой ты сохнешь. Он выразился иными, еще более грубыми словами. Но смысл был именно этот. Я удалился в великом гневе, поскольку не подобало мне, дворянину и послушнику, тягаться в ругани с подобной сволочью.

Я нашел Вильгельма и мы приступили к исполнению замысла. То есть во время повечерия, в церкви, устроились таким образом, чтобы сразу же по окончании службы выступить в наше второе (а для меня уже третье) путешествие по нутру библиотеки.

Четвертого дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где снова имеет место посещение Храмины и обнаруживается предел Африки, но войти туда не удается, так как неизвестно, что такое первый и седьмой в четырех, а в конце концов Адсон переживает новый приступ – на сей раз высоконаучный – своей любовной болезни

Обход библиотеки стоил нам многих часов упорного труда. На словах процесс сверки плана выглядел очень легким. На деле же в каждой из комнат требовалось при тусклом свете фонаря прочитать надпись, пометить на плане проходы и глухие стены, записать первую букву, а затем догадаться, как несмотря на всю путаницу проемов и переходов попадают в соседнюю комнату. Долгое, трудное и утомительное дело.

Было очень холодно. Ночь была безветренная. Поэтому не слышались те тоненькие шорохи и свисты, которые пугали нас в предыдущее посещение. Зато сегодня воздух, ползший в щели, был сырым, ледяным. Мы захватили шерстяные рукавицы, чтобы, когда будем брать книги, руки не коченели. Но это были особые рукавицы, употребляемые теми, кто пишет зимой, – с дырами для кончиков пальцев. То и дело приходилось греть руки у фонаря или за пазухой или бить в ладоши, приплясывая и дрожа от холода.

Поэтому работать непрерывно мы не могли. Часто останавливались, рассматривали, что на полках, и так как сегодня Вильгельм – со своими новыми стеклами на носу – имел возможность читать сколько пожелает, он хватал книгу за книгой и при каждом новом названии испускал восторженный возглас: либо оттого, что видит знакомую книгу, либо оттого, что видит книгу, которую давно искал, либо, наконец, оттого, что видит книгу, о которой никогда ничего не слышал. От возбуждения и любопытства он почти не владел собой. Вообще с каждой книгой он встречался как с неким сказочным животным, жителем неведомой земли. Не успев перелистать одну рукопись, он уже гнал меня осматривать следующую:

«Посмотри, что там, на той полке!»

И я в ответ, разбирая титлы и переставляя том за томом: «“История англов” Беды[*]… Беды же “О храмовоздвижении”… “О военных лагерях”, “О временах и счислении времян и круге Дионисия”, “Орфография”, “О счете слогов”, “Житие Св. Кутберта”, “Метрика”…»

«Ясно. Все труды Достопочтенного… А сюда погляди! “О риторической когнации”… “Различение риторических выражений”… Так… Одни грамматики! Присциан, Гонорат, Донат, Максим, Викторин, Метрорий, Евтихий, Сервий, Фока, Аспер… Странно. Сперва я думал, что тут должны быть только англичане… Посмотрим пониже…»

«Hisperica… famina. Это что?»

«Гибернийская поэма. Послушай:

Hoc spumans mundanas obvallat Pelagus oras
terrestres amniosis fluctibus cudil margines.
Saxeas undosis molibus irruit avionias.
Infima bomboso vertice miscet glareas
Asprifero spergit spumas sulco,
Sonoreis frequenter quatitur flabris…»[75]

Я не понимал смысла этого, но Вильгельм, читая, так раскатывал и кружил во рту слова, что, казалось, становились слышны и ощутимы говор вод, рокот волн, грохотанье моря.

«А это? Адельм Мальмсберийский. Послушайте, что пишет: Primitus pantorum procerum poematorum pio potissimum paternoque presertim privilegio panegiricum poemataque passim prosatori sub polo promulgatas…[76] Все слова начинаются с одной и той же буквы!»

«Люди с моих островов все немножко сумасшедшие, – горделиво ответил Вильгельм. – Посмотри на других полках».

«Вергилий».

«Не может быть! Вергилий что? “Георгики”?»

«Нет. Какие-то “Извлечения”… Сроду не слыхал…»

«Да это же не Марон! Это Вергилий Тулузский, ритор, шестой век после рождества Господа нашего Иисуса Христа. Считался великим знатоком».

«Тут сказано, что среди искусств различаются: поэма, ретория, грамма, лепория, диалекта, геометрия… Какой это у него язык?»

«Латынь, но латынь собственного изображения – она казалась ему гораздо красивее настоящей. Вот смотри. Он пишет, что астрономия изучает следующие знаки зодиака: мон, ман, тонт, пирон, дамет, перфеллея, белгалик, маргалет, лютамирон, таминон и рафалут».

«Он сумасшедший?»

«Не знаю. Он не с моих островов. Слушай дальше. Он утверждает, что существует двенадцать научных наименований пламени: огнин, зарин, варин (так как превращает сырое в вареное), кипятин, жарин (от слова жар), трескотин (от треска поленьев), алин (от алого цвета), дымон, палин (от глагола палить), оживин (зане мертвецов, членов коснувшись, оживляет), кремнин (ибо из кремня добывается, хотя из кремня неверно сказано, из искры берется), и еще – энеон, от Энея бога в пламени живуща, одушевляюща сей элемент».

«Но так никто не говорит!»

«К счастью. Однако было время, когда, чтобы забыть об ужасах мира, грамматики брались за труднейшие вопросы. Ты слышал, что в те времена однажды риторы Габунд и Теренций пятнадцать дней и пятнадцать ночей дискутировали о звательном падеже к “я” и в конце концов подрались».

«И тут то же самое. Послушайте, – у меня в руках была книга, дивно иллюстрированная растительными орнаментами, из завитков которых выглядывали обезьяны и змеи. – Послушайте, что за слова: кантамен, колламен, гонгеламен, стемиамен, плазмамен, сонерус, албореус, гаудифлуус, главкикомус…»

«Мои острова, – повторил с нежностью Вильгельм. – Не будь слишком строг к этим монахам из далекой Гибернии. Может быть, даже и самим существованием этого аббатства, и тем, что сейчас мы можем рассуждать о Священной Римской империи, – всем этим мы обязаны им. В ту пору остальная Европа была превращена в груду развалин. В один прекрасный день пришлось объявить недействительными все крещения, проведенные некоторыми галльскими священниками. Оказалось, что те крестили in nomine patris et filiae[77], и не оттого, что исповедовали новую ересь и считали Христа женщиной, а оттого, что почти не умели говорить по-латыни».

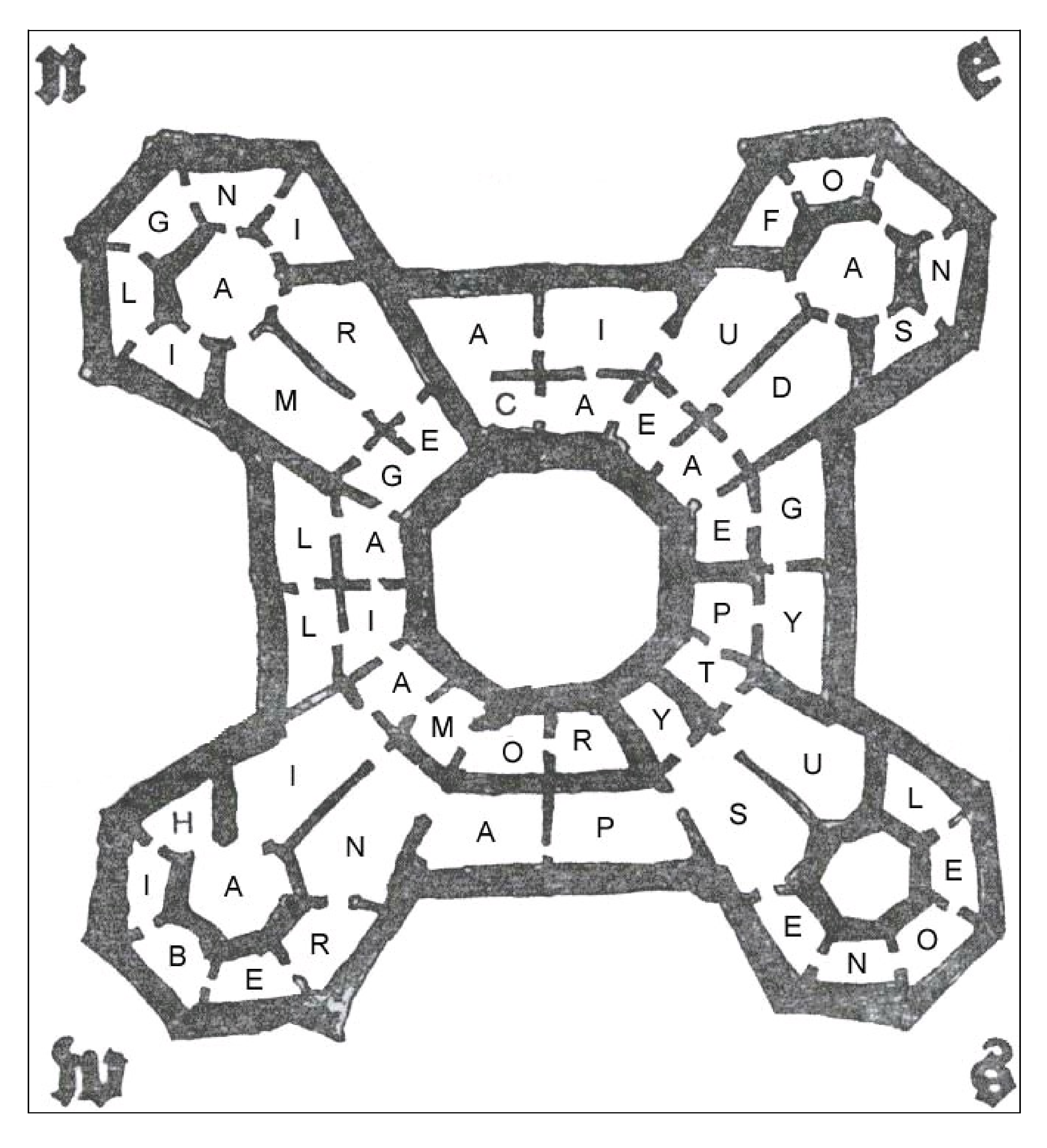
«Они говорили, как Сальватор?»

«Примерно. Пираты с крайнего Севера доплывали по рекам до самого Рима и грабили его. Язычество разваливалось, христианство не успело его сменить. И среди всего этого одни только монахи Гибернии в своих монастырях писали и читали, читали и писали. И рисовали. А потом

бросались в лодчонки, скроенные из звериных шкур, и плыли к этим вот землям и заново обращали их в христианство, как будто имели дело с неверными. Ты ведь был в Боббио? Его основал Св. Колумбан – один из таких монахов. Так что прости им их дикую латынь. К тому времени в Европе настоящей латыни уже не осталось. Они были великие люди. Святой Брандан доплыл до Счастливых островов и обогнул побережье ада, где видел Иуду, прикованного к утесу. А в один прекрасный день он пристал к острову и высадился, а остров оказался морским чудовищем. Разумеется, все они были сумасшедшие…» – повторил он с удовольствием.

«Как они рисовали! Трудно поверить глазам… Какие краски!»

«В краю, где природные краски тусклы… Немножко голубого и очень много зеленого… Но сейчас не время распространяться о жизни ибернийских монахов. Я хочу понять другое. А именно: почему их тут поместили с англами и с грамматиками других стран. Посмотри по плану, где мы находимся?»



«В западной башне. Я записал все первые буквы. Итак, выйдя из темной комнаты,

попадаешь в семиугольную залу, а оттуда только один проход – во внешнюю комнату башни. Эта комната помечена красной буквой Н. Потом идем из комнаты в комнату и описываем круг. Потом возвращаемся в темную комнату, то есть безоконную… Погодите-ка… Буквы складываются… Так и есть! Вы были правы! HIBERNI!»

«Нет, HIBERNIA, если из темной комнаты снова повернуть в семиугольную, которая, как и три остальные центральные комнаты башен, помечена стихом на А – Apocalypsis. Гиберния! Поэтому здесь и собраны все книги сочинителей из крайней фулы, а также других грамматиков и риторов. Видимо, основатели библиотеки считали, что любой грамматик должен стоять рядом с ибернийскими, даже если он из Тулузы. Так они рассуждали. Видишь? Мы начинаем что-то понимать».

«Но комнаты восточной башни, из которой мы входим в лабиринт, составляют собой FONS… Что это значит?»

«Прочти повнимательнее, что там получается, если прибавить и буквы следующих комнат».

«FONS ADAEU…»

«Нет, FONS ADAE[78]. U – буква второй темной восточной комнаты, это я запомнил. Она, должно быть, входит в какую-нибудь другую последовательность. А что там было в FONS ADAE – то есть в земном раю? Помнишь, в самом сердце которого располагается комната с алтарем, обращенным к восходу солнца?»

«Там было множество библий. И толкований библейских текстов. И прочих божественных книг…»

«Итак, ты видишь? Слово Божие размещено в земном раю. А рай этот, как принято считать, находится далеко на востоке… А здесь, на западе, Гиберния…»

«Значит, внутреннее расположение библиотеки повторяет расположение стран света?»

«Возможно. Книги здесь размещены в зависимости от тех стран, откуда привезены, или где родились их авторы, или, наконец, как в данном случае, – в зависимости от стран, где эти авторы должны были бы родиться. Библиотекари подразумевали, что Вергилий-грамматик рожден в Тулузе по ошибке, а должен был бы родиться на западных островах. И исправляли ошибки природы».

Мы снова отправились в путь и прошли по анфиладе комнат, заставленных великолепными Апокалипсисами. Одна из этих комнат была та самая, в которой в прошлый раз меня охватили видения. И сейчас мы снова, еще издалека, заметили в этой комнате кадильницу. Вильгельм зажал ноздри пальцами, бегом бросился туда и загасил ее, поплевав на фитиль. Тем не менее мы постарались проскочить эту комнату как можно быстрее. Но все-таки я успел заметить на столе великолепный многоцветный Апокалипсис с женою, одетой в солнце, и со зверем багряным. Мы прочли наименование этой анфилады, начав с самой последней комнаты, вывеска в которой была красной и начиналась с Y. Читая все задом наперед, мы получили слово YSPANIA. Последняя буква – А – была та же самая, которой завершалось слово HIBERNIA. Из этого Вильгельм заключил, что имеются и такие комнаты, в которых собраны книги смешанного содержания.

В любом случае, цепь комнат, называвшаяся «Испания», была, по-видимому, отведена под тома Апокалипсиса, сплошь редкостной красоты. Вильгельм определил, что все они испанской работы. Осмотрев полки, мы убедились, что эта библиотека владеет, вероятно, самым обширным во всем христианском мире собранием рукописных экземпляров книги Апостола, а также несметным количеством толкований к этой книге. Там стояли огромнейшие тома толкований к Апокалипсису Беата Лиебанского, и текст везде был примерно одинаков, но удивительным разнообразием отличались иллюстрации. Вильгельм, перебирая их, узнавал руку тех, кого считал величайшими рисовальщиками Астурийского королевства – Магия, Факунда и прочих.

Обмениваясь разными мыслями и соображениями, мы подошли вплотную к комнатам южной башни. Я вспомнил, что в прошлый раз наше путешествие закончилось именно здесь. Теперь же мы смело двинулись из безоконной комнаты S (YSPANIA) в следующую, обозначенную буквой E, а оттуда дальше и дальше, огибая по периметру всю башню, пока не уперлись в последнюю комнату, тупиковую, в которой висела красная доска с изречением, начинавшимся на L. Прочтя все в обратном порядке, мы получили LEONES. Львы.

«Львы… Юг… Если судить по странам света, мы в Африке. В краю львов. Здесь и собраны сочинения неверных».

«Тут еще много в этом роде, – сказал я, залезая в шкап. – “Канон” Авиценны… и этот великолепный кодекс, каллиграфия которого мне незнакома…»

«Судя по украшениям, это должен быть Коран, но арабского я, увы, не знаю…»

«Коран, библия нечестивых, книга разврата…»

«Книга, содержащая мудрость, непохожую на нашу. Но ты понимаешь, почему его поставили сюда, ко львам, к уродинам? И почему нам прежде попалась книга о чудовищных зверях, та самая, с единорогом? Эти покои, называемые LEONES, содержат книги, которые строителям библиотеки представлялись клеветливыми… Что там еще стоит?»

«По-латыни. Но это перевод с арабского. Айюб аль-Ругави, трактат о псиной водобоязни. Дальше – книга о сокровищах. Затем – “О зрелищах” Альхацена…»

«Видишь, они поместили рядом с клеветными книгами также и книги научные, из которых христиане могли бы очень много почерпнуть… В этом отображается мышление эпохи, когда строилась библиотека…»

«Но почему же они среди клеветливых сочинений поместили книгу о единороге?» – спросил я.

«Совершенно очевидно, что у основателей библиотеки воззрения были странные. Они придерживались мнения, что эта книга, говорящая о фантастических уродинах и о самых далеких землях, способствует клеветам безбожников…»

«Разве единорог – клевета? Это очаровательное животное, исполненное высочайшей символики. Он фигура Христа и фигура целомудрия, он может быть укрощен, только если чистую деву привести в лес, для того чтобы зверь, учуяв ее непорочный запах, пришел сложить свою голову ей на лоно, отдаваясь в тенета поимщиков…»

«Так принято считать, Адсон. Однако существует мнение, что это – язычниками выдуманная сказка».

«Очень жалко, – сказал я. – Мне бы, признаться, хотелось повстречать единорога, пробираясь через густой лес. Иначе какое удовольствие пробираться через густой лес?»

«Нигде не сказано, что он вовсе не существует. Но, может быть, он не такой, как описывается в книгах. Один венецианский путешественник ходил в очень, очень далекие земли, почти что к самому источнику рая, который показан на всех картах, и встречал там единорогов. Он нашел их толстыми, свирепыми, уродливыми и черными. Думаю, что он действительно видел неких животных об одном роге посреди лба. Вероятно, это были те же самые, о ком учители древнейшего знания, никогда в глубине своей не ошибочного, сподобившись от Господа смотреть на такие вещи, которые нам не давалось видеть, докладывали нам в своих первейших и вернейших описаниях. Впоследствии, за много лет, эти описания, кочуя из источника в источник, меняли свой вид под воздействием поздних нововведений фантазии, и единороги сделались изящными, беловидными, благодушными существами. Тем не менее если ты узнаешь, что в густом лесу живет единорог, лучше не ходить туда с девственницей, ибо это животное может оказаться ближе к венецианскому описанию, нежели к описанию в той книге, что ты держишь».

«Но как же могло произойти, что учителям древнейшей науки было ниспослано откровение о доподлинной природе единорога?»

«Им было ниспослано не откровение, а опыт. Они просто родились в тех землях, где жили живые единороги, и в ту эпоху, когда единороги еще жили на этих землях».

«Однако как же мы можем доверяться старинному знанию, следы которого вы постоянно стремитесь разыскать, если это знание передается нам через посредство клеветных книг, которые искажают его столь бесцеремонно?»

«Книги пишутся не для того, чтоб в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Имея перед собою книгу, каждый должен стараться понять, не что она высказывает, а что она хочет высказать. Что-что, а это старые толкователи священных текстов понимали очень правильно. Единороги в том виде, в каком они показаны на страницах этих книг, несут в себе моральное содержание, или аллегорическое, или анагогическое[*], и это содержание правдиво, как правдива та мысль, что целомудрие – препочтенная добродетель. Но что касается буквального правдоподобия, на которое опираются три высших прочтения, – надо еще проверить, на каких показаниях первоначального опыта основано это буквальное описание. Буквальный смысл всегда может быть оспорен, даже когда переносный неоспорим. В одной книге сказано, что диамант можно разрезать только козлиной кровью. Мой великий учитель Бэкон доказал, что это неправда, и доказал очень просто – провел описанный опыт, и опыт не удался. Однако если взаимосвязанность диаманта и козлиной крови воспринимать не в буквальном, а в высшем смысле, эта взаимосвязанность безупречна».

«Это значит, что можно передавать высокие истины, в буквальном отношении изрекая ложь, – заключил я. – Как бы то ни было, я очень огорчен, что единорогов в том виде, в каком здесь описано, на свете не существует, и никогда не существовало, и никогда не будет существовать…»

«Нам не дано определять границы божественного могущества, и если Богом будет суждено, значит, появятся и единороги. Но ты не расстраивайся. Они ведь описаны только в тех книгах, которые повествуют не о жизни существующей, а о жизни вероятной».

«Так что же, при чтении книг не обязательно опираться на веру, хотя она богословская добродетель?»

«Остаются еще две богословские добродетели. Остается надежда, что вероятное существует. И любовь к тому, кто благоговейно верил, что вероятное должно существовать».

«Но вам-то что говорит этот единорог, если ваш рассудок в него не верит?»

«Мне он много о чем говорит. Как много о чем говорят следы тела Венанция на снегу, где его перетаскивали к чану со свиной кровью. Единорог, описываемый в книге, – это отпечаток. Если существует отпечаток, значит, существует то, что его отпечатало».

«Но это не точный отпечаток, как вы сами доказали».

«Без сомнения. Не всегда отпечаток в совершенстве воспроизводит форму напечатлевающего тела и вообще не всегда происходит от напечатлевания тела. Иногда отпечаток соответствует тому впечатлению, которое оставлено телом у нас в сознании, и тогда это не отпечаток тела, а отпечаток идеи. Идея – это знак вещи, а образ – это знак идеи, то есть знак знака. Но по образу я способен восстановить если не тело, то идею, которую породило это тело в чужом сознании».

«И этого вам довольно?»

«Нет, потому что истинная наука не должна удовлетворяться идеями, которые только знаки, но обязана заниматься вещами в их собственной единичной подлинности. А следовательно, мне хотелось бы, исходя из этого впечатления, дойти до впечатления единичного, индивидуального единорога, стоявшего в начале цепочки. Точно так же как мне хотелось бы, исходя из

разрозненных знаков, разбросанных убийцей Венанция (а эти знаки указывают на многих), добраться до единичного и точно определенного индивидуума – то есть до убийцы. Но не всегда такие вещи совершаются быстро, часто требуется размышление о совершенно иных знаках…»

«Значит, я всегда и только имею право рассуждать о чем-либо, указывающем мне на что-либо, указывающее на что-либо, и так далее до бесконечности, и при этом что-то окончательное, то есть истинное и верное, вообще не существует?»

«Может быть, и существует. И это что-то – индивидуум единорога. Не огорчайся. Возможно, в один прекрасный день ты встретишь на жизненном пути самого черного и самого свирепого».

«Единороги, львы, арабы и прочие мавры… – рассуждал я. – Несомненно, это та самая Африка, о которой говорили монахи».

«Несомненно, это она. А так как это Африка, должны обнаружиться и поэты-африканцы, на которых ссылался Пацифик Тиволийский».

Так и было. Снова обогнув башню и добравшись до комнаты L, мы наткнулись на шкап, набитый книгами Флора, Фронтона, Апулея, Марциана Капеллы и Фульгенция.

«Значит, вот тут, судя по намекам Беренгара, скрывается разгадка некоей тайны», – сказал я.

«Почти что тут. Он употребил выражение “предел Африки”, и именно из-за этого выражения Малахия на него взъелся. Предел… Наверное, предел – это самая последняя комната. Либо… – и вдруг он вскрикнул не своим голосом: – Клянусь семью церквами Клонмакнойза! И ты не заметил?»

«Чего?»

«Пошли обратно, в эту залу S, из которой мы сюда попали!»

Мы вернулись в первую, темную, вытянутую комнату, в которой была вывеска «Super thronos viginti quatuor». Из нее вело четыре прохода. Первый – в комнату Y, выходящую во внутренний двор. Другой вел в комнату P, которая составляла часть тянувшейся по внешней стене цепи «Испания». Третий уводил в башню, в комнату E, из которой мы только что вышли. Следующая стена была глухая, а за ней открывался проход во вторую темную комнату, обозначенную U.

Вдруг я понял, что мы в той самой зале, где установлено зеркало. Только оно, к счастью, находилось справа от входа и сразу не бросилось мне в глаза. Иначе я бы опять перепугался, как и в прошлый раз.

Я все внимательнее всматривался в план, оглядывался по сторонам, и постепенно до меня дошло, в чем необычность этой темной комнаты. Как и в других темных комнатах всех трех других башен, в ней должен был находиться проход в центральную семиугольную залу. Если же отсюда прохода не было, значит, проход туда должен был быть из второй комнаты, помеченной буквой U. Однако ничего подобного! Из комнаты U открывался путь в комнату T, выходившую во внутренний восьмиугольный колодец, и обратно – в комнату S, в которой было зеркало. Все три остальные стены комнаты U были плотно заставлены книжными шкафами. Осмотрев и ощупав стены, мы убедились в той же странности, на которую указывала карта. По всем законам как логики, так и неуклонно соблюдаемой в Храмине симметрии в середине этой башни, как и в середине трех остальных, должна была иметься центральная семиугольная комната. Но ее не было.

«Ее нет», – сказал я.

«Не то чтобы нет… Если бы ее вовсе не было, остальные комнаты башни вышли бы гораздо просторнее. А они примерно тех же размеров, что и в других башнях… Нет, она есть. Но в нее нельзя попасть».

«Замурована?»

«Возможно. Вот тебе и предел Африки. Именно этим местом так интересовались эти любознательные молодые люди. Которые погибли. Комната замурована. Но нигде не сказано, что в нее не существует хода. Более того, я уверен, что он есть и что Венанций разыскал этот ход, или получил указание от Адельма… А тот от Беренгара… Перечитаем, что пишет Венанций».

Он вытащил из рясы записку Венанция и прочел вслух: «Открывается поверх идола чрез первый и седьмой в четырех». Еще раз осмотрелся вокруг и снова вскрикнул: «Ну конечно! Идол – это образ, то есть зеркало! Венанций, должно быть, думал по-гречески. А в этом языке гораздо явственнее, чем в нашем, ощущается связь между образом и отражением. Eidolon – это зеркало, отражающее наши искаженные образы, которые мы сами позавчерашней ночью приняли за призраков! Но какая такая четверка должна отыскаться “поверх идола”? Что-то на отражающей поверхности? Тогда надо, наверное, смотреть с какой-то определенной точки и стараться увидеть нечто такое, что отражается в зеркале и дает возможность исполнить то, к чему призывает записка Венанция».

Мы заглядывали в зеркало со всех сторон. Никакого толку. Кроме наших собственных фигур, в зеркале зыбко отражались, кривясь и расплываясь, стены комнаты, едва-едва освещенные слабосильным фонарем.

«Коли так, – рассуждал Вильгельм, – “поверх идола” может означать что-то там, на оборотной поверхности зеркала… Но в этом случае необходимо туда попасть. Разумеется, за зеркалом скрыта дверь».

Высотою зеркало было больше среднего человеческого роста. К стене оно крепилось массивной дубовой рамой. Мы трясли его и так и эдак. Старались подлезть пальцами под обшивку, ногтями расшатывали раму, ковыряли стену. Но зеркало держалось так прочно, как будто составляло собою часть стены – как некий неколебимый камень среди других камней.

«Если не за зеркалом, может быть, над зеркалом?» – пробормотал Вильгельм.

Он вытянул вверх руку и, став на цыпочки, ощупал верхний край рамы. Ничего, кроме пыли.

«С другой стороны, – меланхолически размышлял он вслух, – если даже там и есть какая-то комната… Все равно той книги, которую ищем мы и которую искали все эти люди до нас, в комнате уже нет… Ее оттуда вынесли. Сперва Венанций, а потом Беренгар. А куда – неизвестно».

«Может быть, Беренгар отнес ее на место?»

«Нет. Той ночью в библиотеке были мы. Мы ему помешали. Все указывает на то, что он вынес книгу из Храмины. Но очень скоро он умер. Той же ночью, в купальне. На утренней службе его уже не было. Значит, он умер до наступления утра. Ладно, хватит. По крайней мере мы выяснили, где находится этот самый предел Африки. Теперь мы располагаем почти всеми необходимыми данными для составления подробного плана библиотеки. Заметь, что очень многие тайны этого лабиринта мы сумели раскрыть. Я бы сказал, почти все. Кроме одной. Думаю, что и в ее отношении полезнее всего мне будет снова перечитать записи Венанция. Осматривать тут больше нечего. Ты ведь видел, что тайну лабиринта мы легче разгадали извне, нежели изнутри. Сейчас, здесь, перед этими кривыми отражениями, мы ни до чего путного не додумаемся. Вдобавок и фонарь слабеет. Так что пошли. Только бы успеть отметить на плане все, что нам понадобится впоследствии».

Мы прошли по остальным комнатам библиотеки, на ходу продолжая совершенствовать карту. Нам попадались комнаты, целиком отведенные под математику и астрономию, комнаты, заполненные арамейскими книгами, в которых ни я, ни он не могли понять ни слова, и другие, с такими книгами, на таких языках, которых мы даже назвать не смогли бы. Вероятно, это были

книги откуда-нибудь из Индии. Так мы миновали две слитых последовательности IUDAEA и AEGYPTUS. В общем, чтобы не утомлять читателя хроникой нашей разведки, скажу только, что позднее, когда мы вычертили и заполнили окончательную карту, стало ясно, что библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара. На севере располагались «Англия» и «Германы», которые западными границами прилегали к «Галлии», из «Галлии», с крайнего запада, можно было попасть в «Гибернию», а с крайнего юга – в «Рим» (ROMA), сокровищницу латинских классиков, и в Испанию. Дальше на юг лежала страна Львов (LEONES), Египет (AEGYPTUS), за которым на востоке простирались Иудея (IUDAEA) и Земной рай (FONS ADAE). От востока до севера в стене, связующей башни, располагалась ACAIA[79] – прекрасная синекдоха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. И на самом деле, в этих четырех комнатах в дивном изобилии были собраны труды поэтов и философов языческой древности.

Порядки чтения могли быть самые причудливые: то надо было двигаться в одном направлении, то в противоположном, то по кругу; часто, как я уже говорил, одна и та же буква входила в начертание двух совершенно разных слов (в этих случаях в разных шкалах одной комнаты находились сочинения по разным предметам). Однако, по всей очевидности, не следовало выискивать какого-то золотого закона размещения книг. Речь могла идти об обычной мнемонической уловке, помогающей библиотекарю быстро находить необходимое. Получив указание, что книга помещена в «quarta ACAIAE», ищущий направлялся в четвертое по порядку помещение, считая за первое то, к которому относилось первоначальное A, а что касается направления отсчета, тут уж библиотекарь должен был опираться на собственную память и сам знать, куда ему двигаться в каждом отдельном случае – прямо, обратно или по кругу. Например, ACAIA представляла собой четыре комнаты, расположенные квадратом, из чего вытекало, что первое A и последнее A – в данном случае одно и то же; впрочем, подобные казусы мы смогли обнаружить и выучить сравнительно быстро. Точно так же за малое время мы сумели разобраться в системе перегородок. К примеру, двигаясь с востока, ни из одной комнаты ACAIA нельзя было проникнуть в западные комнаты; в этом месте лабиринт оканчивался глухой стеною, и чтоб добраться до северных покоев, следовало повернуть в совершенно обратную сторону и пройти через прочие три башни. Но, разумеется, все библиотекари отлично знали, как, входя через FONS, добираться потом, скажем, до ANGLIA через AEGYPTUS, YSPANIA, GALLIA и GERMANI.

Этими открытиями и прочими, им подобными, наш поход в башню победительно увенчался. Но прежде чем рассказать, что случилось после того как в великом удовлетворении мы оставили библиотечные залы (а случились важнейшие события, в которых и нам пришлось принять участие, о чем я скоро расскажу), я обязан сделать одно откровенное признание своему читателю. Я уж писал, что в ходе нашего обследования библиотеки, с одной стороны, все было подчинено разгадыванию законов лабиринта и поиску загадочного тайника, а с другой стороны, мы сплошь и рядом останавливались в различных залах, в которых сначала определяли принадлежность книг и их предмет, а потом просто перелистывали книги, любые, какие только попадались, как будто бы исследуя природу неведомого континента, terra incognita. Обычно мы продвигались по этому непознанному континенту в полном взаимном согласии, нас увлекали одни и те же книги, я указывал учителю на самые интересные, он объяснял мне все то, что было непонятно.

Однако в некоторую минуту – а точнее говоря, при продвижении по кольцу, образованному залами южной башни, носившей имя LEONES, – мой учитель неожиданно застрял в одной из комнат и никак не мог сдвинуться с места, очарованный трактатами арабских мудрецов по

оптике: эти книги изобиловали роскошнейшими, четкими, замысловатыми рисунками. Поскольку в этот вечер у нас на двоих имелся не один, а целых два светильника, я потихоньку, поддаваясь порыву любопытства, перекочевал в соседнюю комнату и увидел, что там высшие соображения разума и осмотрительности подсказали строителям библиотеки густо поместить на полках, тянущихся вдоль одной из стен, те труды, которые ни под каким видом не следовало выдавать для прочтения кому попало, ибо в них тысячью разнообразных способов рассказывалось о всевозможных заболеваниях, как душевных, так и телесных, и почти что всегда повествовалось об этом устами ученых язычников. Взгляд мой внезапно упал на книгу невеликих размеров, снабженную миниатюрами, совершенно не совпадающими по смыслу (Хвала Господу!) с тем, что описывалось в тексте: на рисунках были цветы, лозы, пары животных тварей, лечебные растения; книге же название было Зерцало Любви, составления какого-то брата Максима Болонского, и содержались в ней отрывки из множества известных сочинений, посвященных любовной болезни. Как понимает читатель, не могло быть найдено более мощного средства для того, чтобы пробудить во мне болезненное любопытство. Больше того, название этой книги как ни одно иное смогло разгорячить мою душу, с утра снулую, отупевшую, и снова разбередить ее воспоминанием о случившемся ночью.

Поскольку в течение дня я отгонял от себя утренние мысли, убеждая себя, что они не приличествуют здравому, рассудительному послушнику, и поскольку, с другой стороны, события этого прошедшего дня были до того изобильны и ярки, что я целиком развлекся ими и аппетиты мои утихли, – я уже было полагал, что освободился и что прежние мои тревоги были одно преходящее, мирное беспокойство. Однако на самом деле стоило мне хоть и краешком глаза увидеть эту книгу, как все переменилось и я сказал сам к себе: «De te fabula narratur»[80], и я обнаружил, что болею любовным недугом еще серьезнее, чем полагал. После этого, за много лет, по многим другим чтениям я убедился, что, читая книги по медицине, почти всегда начинаешь испытывать те самые боли, о которых рассказывается. Совершенно таким же образом чтение этих листов, исподтишка, в спешке, со страхом, что Вильгельм перейдет в эту комнату из соседнего помещения и заинтересуется, чем это я настолько пристально занят, целиком убедило меня, что я страдаю в точности этим описанным недугом, все признаки которого были так прекрасно перечислены, что я, с одной стороны, встревоженный обнаружившейся у меня болезнью (с такой необыкновенной точностью засвидетельствованной великим множеством знаменитых сочинителей), с другой стороны, в то же время, не мог чистосердечно не восхищаться, наблюдая, как подробно и ловко описывается мое положение: вместе с тем я открывал для себя и убеждался, что, хотя я и болен, болезнь моя, можно сказать, достаточно обыкновенна, ибо неисчислимое количество людей до меня переносило точно такие же муки, а собранные в книге сочинители, те вообще, казалось, именно меня избрали за предмет своих описаний.

В несказанной растроганности я прочел те листы, на которых Ибн Хазм определяет любовь как хворобу возвратную, с приступами, от которой лекарство в ней самой, от которой скорбящий сам не желает выздоравливать, и повергнутый ею не желает восставать (и единый Бог свидетель, до чего справедливо это сказано!). Читая его слова, я смог наконец уяснить природу собственной взволнованности нынешним утром, смог понять природу образования любви, попадающей в тело через глаза, о чем свидетельствует Василий Анкирский. Я узнал, наконец, бесспорные симптомы болезни: всякий охваченный этой напастью часто выказывает неуместную веселость – и в то же самое время мечтает оказаться в стороне; он предпочитает одиночество (как предпочитал и я в тот день утром); еще отмечаются такие признаки сказанного состояния, как жестокое беспокойство и чувство потерянности, вплоть до потери дара речи… Я устрашился, прочитав, что чистосердечного любовника, которого лишили лицезрения

возлюбленного предмета, обязательно ждет истощение душевных сил, которое укладывает его в постель почти без чувства, и тогда болезнь захватывает мозг, наступает безумие и горячечный бред; я, по всей вероятности, до таких степеней еще не дошел, поскольку во время всего похода в библиотеку работал успешно и кое-что соображал. В то же время с величайшим испугом и смятением я прочитал, что если болезнь усугубится, следствием может быть смерть, и задался вопросом, стоит ли та огромная радость, которую мне доставляла девица, когда я о ней думал, окончательного телесного самопожертвования, не говоря уже о разумных опасениях за сохранность моей души.

Еще более удручающее впечатление произвела на меня следующая цитата из Василия: «Кто душу соединяет с телом связями порока и смятения, этим самым и в первом, и во втором все, что пользительно для жизни, повреждает, душу светлую и чистую телесной похотливостью оскверняет, а тела опрятность и свежесть через то же самое уничтожает, и лишает защиты тело, отнимая у него все, что необходимо для жизни». Это было уж совсем чрезвычайное положение, в котором никак не хотелось очутиться.

Вдобавок я почерпнул, из одного высказывания Св. Гильдегарды, что меланхолическое настроение, которое я испытывал в течение дня и которое воспринимал поначалу как сладостную печаль по отсутствующей девице, это состояние на самом деле угрожающе походило на то, что постигло человека, внезапно отторженного от гармонического совершенства, в котором он пребывал в раю; и что эта меланхолия «nigra et amara»[81] родилась на самом деле от змеиного шипа и от дьяволова очарования. Каковую идею, по всему судя, разделяли и мудрейшие из неверных: мне бросились в глаза рассуждения, приписываемые Абу Бакр Мухаммаду ибн Зака-Рийя аль-Рази, который в одной из «Книг снов» сравнивает любовь с ликантропией, то есть с болезнью, при которой человек ведет себя, как волк. От того, что описывалось ниже, у меня перехватило дух. Сначала, говорилось у ученого, влюбленные меняются в лице, у них ослабевает зрение, глаза впадают и высыхают, язык понемногу усеивается трещинами и гнойниками, все тело становится заскорузлым и любовники постоянно мучаются от жажды; поэтому они провождают жизнь лежа ничком, и на голове и на верхней части ляжек появляются отметины как бы в виде собачьих укусов, и кончается все это тем, что глубокой ночью любовники начинают выходить на кладбища, как вурдалаки.

И совсем уже никаких обольщений относительно тяжести моего состояния не могло у меня оставаться после того, как я прочел те богатейшие выдержки из великого Авиценны, где любовь определяется как навязчивое помышление черножелчного характера, возникающее от постоянного осмысления и переосмысления наружности и нравов некоего лица противоположного пола (с какой чародейскою точностью этот Авиценна сумел описать именно мой случай!). Любовь, по Авиценне, не изначально болезненна, а становится болезнью, и когда это чувство не удовлетворено, оно превращается в наваждение (прекрасно, но откуда тогда бралось наваждение у меня, если я, прости и помилуй меня Господи, был вполне удовлетворен? Может быть, то, что случилось со мной предыдущей ночью, не было удовлетворением чувства? Но тогда каким же способом удовлетворяется чувство?) и с этих пор проявляет себя через постоянное трепетание век, неровное дыхание, временами смех, временами плач и бешенство пульса (это чистая истина, пульс мой колотился беспримерно и дыхание то и дело срывалось, когда я читал эти строки!). Авиценна рекомендовал один самый верный способ, уже опробованный до него Галеном, для определения, кем вызывается влюбленность того или иного человека: надо держать заболевшего за пульс и произносить одно за другим имена лиц противоположного пола, покуда не почувствуется, что при произнесении какого-то имени пульс испытуемого забился гораздо чаще; и я тут же ужаснулся, что вот сейчас внезапно может подойти учитель, взять меня за запястье и по бешенству моей крови прочитать мою

сокровенную тайну, и тогда я сгорю со стыда… Увы, увы, Авиценной предлагалось, в порядке лечения, соединять любящих браком, после чего болезни сами собой проходят. Этим и свидетельствуется, что он был некрещеный язычник, хотя и очень образованный, и не имел понятия о положении, в котором должен находиться совсем молодой бенедиктинский послушник, в его юношеские годы обреченный церковью на неизлечимость – лучше скажу, обрученный церкви, по собственному ли выбору, или по дальновидному рассуждению родителей, обрученный именно ради упасения от неизлечимостей любви. По счастливому случаю, Авиценна, хотя, разумеется, без всякой мысли об уставе клюнийского монашества, все же учитывает возможность существования несоединимых пар и советует в таких обстоятельствах, для успешного врачевания, горячие ванны (искал ли Беренгар себе спасения от любовной тоски по ушедшему из жизни Адельму? Но может ли любовная болезнь вызываться особами своего собственного пола? Или подобное чувство не может быть основано ни на чем, кроме скотской похоти? А может быть, скотскою же похотью являлось и мое чувство в предыдущую ночь? Разумеется, нет, – отвечал я сам себе сразу же, – это чувство было так сладко! И опять, сам к себе же, почти сразу: неверно, неверно, Адсон, это было обаяние дьявола, это было скотское чувство, и единожды поведши себя как скотина, ты заново и заново скотствуешь сейчас, отказываясь признать свое скотство!). Потом я прочел, что, по тому же Авиценне, имеются и другие способы: например, прибегнуть к услугам старых и опытных женщин, которые должны очернять возлюбленную и поносить ее вплоть до полного излечения влюбленного – судя по этой книге, старые женщины гораздо изобретательнее мужчин в исполнении подобных повинностей. Может быть, так и следовало решить дело, однако старых женщин в здешнем монастыре найти было невозможно (равно как и молодых, вообще говоря), и поэтому я должен был бы, видимо, попросить кого-нибудь из монахов очернить мне мою возлюбленную. Но кого попросить? Да и разумно ли было ждать от которого-нибудь монаха такого основательного знания женского пола, какое бывает у пожилых, говорливых женщин? Последнее из предлагаемых сарацином лечений вообще уж никуда не годилось, так как предписывало незадачливому любовнику окружиться целым выводком наложниц: такое решение вопроса для монастырского инока было неосуществимо. Ну так что же из всего этого следует, спросил себя я, как же должен выздоравливать молодой монах от любовной болезни, или вовсе не суждено ему иметь спасение? Может быть, надо мне обратиться к Северину и его отварам? И действительно, чуть ниже был помещен отрывок сочинения Арнальда из Виллановы, чье имя я слыхал уже не раз, с великим почтением произносимое, от Вильгельма; в сочинении сообщалось, что любовная болезнь происходит от преизбытка гуморов и пневмы, то есть когда организм человека перенасыщен жидкостями и жаром, учитывая, что кровь (образующая воспроизводительное семя), прибавляясь, ведет к прибавлению излишнего семени, а следовательно, к «complexio venerea»[82] и вызывает напряженное стремление к телесному союзу мужчины с женщиной. Человеку присуща добродетель суждения, помещающаяся в спинном отделе центрального желудочного энцефала (а это где? – подумал я), и она служит для восприятия всех неощутительных intentiones[83], содержащихся в ощутительных предметах, предназначаемых к восприятию нашими чувствами; однако когда вожделение предмета, воспринимаемого чувствами, становится чересчур сильным, тогда-то и повреждается способность к суждению и наш разум начинает питаться фантастическими понятиями о любимой особе; тогда происходит воспаление всей души и тела, печаль перемежается с восторгом, потому что жар (который в безнадежные моменты уходит в самые глубокие отделы тела и охлаждает все кожные покровы) в моменты восторга притягивается к поверхности тела и нагревает лицо до пылающего румянца. Лечение, предлагавшееся Арнольдом, состояло в удалении от предмета и в отказе от какой бы то ни было надежды с ним соединиться, с тем

чтобы отойти от него как можно дальше своими помышлениями.

Что же, если так, значит, я почти выздоравливаю, во всяком случае на пути к выздоровлению, – сказал я себе, – настолько слаба у меня надежда, вернее сказать, нет никакой надежды снова увидеть возлюбленный предмет, а даже и увидев – приблизиться к нему, а даже и приблизившись – снова владеть им, а даже еще раз овладевши – навсегда удержать его в близости от себя; это невыполнимо как по моему монашескому состоянию, так и по обязательствам, налагаемым на меня происхождением и семейством… Значит, я здоров, сказал я, закрывая книжку, и снова принял спокойный вид, как раз в ту минуту, когда Вильгельм появился в дверях. Мы снова двинулись по коридорам библиотеки, отныне покоренной нами (о чем рассказывалось выше), и на какое-то время я забыл о своей любви.

Но, как увидит читатель, скоро я снова с ней встретился, на этот раз (увы, увы!) при совершенно иных обстоятельствах.

Четвертого дня
НОЧЬ,

где Сальватор жалчайшим образом попадается Бернарду Ги, девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма, и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись

Не успели мы спуститься из скриптория в трапезную, как послышался шум. Слабые отблески света запрыгали в проеме кухонной двери. Вильгельм мгновенно задул фонарь. Лепясь по стенам, мы осторожно подобрались к двери, ведущей в кухню. И увидели, что шум идет с улицы, а дверь на улицу открыта. Потом и голоса, и огни стали удаляться. Кто-то с силой захлопнул двери. Такая суматоха обещала только недоброе. Мы торопливо пересекли оссарий, выскочили из подземелья в пустую церковь и, воспользовавшись южным выходом, оказались на улице. В противоположной оконечности двора неярко мерцали факелы.

Мы подошли. В общей сумятице наше появление не привлекло внимания. Мы затерялись среди тех, кто бежал к месту происшествия из спален и странноприимных палат. И нам открылось печальнейшее зрелище. Несколько лучников крепко держали Сальватора, побелевшего как белки его глаз, и какую-то плачущую женщину. Сердце мое сжалось. Это была она, та самая девица, о которой я все время думал. Увидев меня, она меня узнала и послала мне умоляющий, полный отчаяния взгляд. Не помня себя, я рванулся к ней, чтоб освободить из рук лучников, но Вильгельм схватил меня за плечо и выругал хотя вполголоса, но свирепо. Монахи и гости монастыря толпами сбегались со всех сторон.

Пришел Аббат, пришел Бернард Ги, которому капитан лучников кратко доложил о случившемся. Вот что, собственно, произошло.

По распоряжению инквизитора лучники патрулировали ночью внутри монастырской изгороди, особое внимание обращая на ровную площадь от въездных ворот до паперти, а также прочесывая огороды и все подступы к Храмине. Почему именно там их расставили, спросил я себя, и сам себе ответил: не иначе как Бернард прослышал от холопов и поваров о каких-то ночных заварушках в Храмине. Вряд ли ему с полной определенностью могли донести, кто да что. Но явно намекнули, что от крепостной стены к кухне и обратно кто-то протаптывает тропки. К тому же и безмозглый Сальватор, как он мне выложил все свои дурацкие намерения – с таким же успехом мог разболтать их в кухне или в хлеву какому-нибудь бедолаге, который, потеряв самообладание во время допроса, швырнул Бернарду этот кус. Значит, лучники знали, за чем охотятся. Поэтому они, несмотря на темноту и густой туман, сумели изловить Сальватора вместе с женщиной у самой кухонной двери, где те копошились, пытаясь открыть.

«Женщина в таком святом месте! И с монахом! – сурово обратился Бернард к Аббату. – О высокочтимый господин мой, – продолжил он, – когда бы дело было только в нарушении обета чистоты, наказание этого человека подлежало бы исключительно вашей юрисдикции. Но поскольку не установлено, в какой мере действия этих двух злоумышленников могли угрожать благополучию иных лиц, гостящих в монастыре, требуется прежде всего разобраться, что у них за секреты. Эй, ты, я к тебе обращаюсь, – и он рванул из рук Сальватора объемистый узел, который тот тщетно пытался схоронить на груди. – Что там у тебя?»

Я отлично знал, что там у него. Ножик, черный кот (как только узел распустили этот кот со страшным мяуканьем бросился наутек) и два раздавленных яйца, превратившихся в клейкую

размазню, с виду напоминавшую не то сгустки крови, не то желтую желчь – в общем, некую мерзостную нечистоту. Сальватор собирался проникнуть в кухню, убить там кота и вырвать ему глаза. Непонятно, чего ради девушка покорно шла за ним… Ради чего – выяснилось очень скоро. Лучники обыскали ее, злорадно гогоча и приговаривая что-то похабное, и нашли на ней зарезанного куренка, еще неощипанного. Злосчастная судьба подстроила так, что даже ночью, когда все кошки серы, было явственно видно, что петушок черной окраски, как и убежавший кот. Я понял, что большего не требовалось, чтоб зазвать эту голодную девочку, которая прошедшей ночью и так уже лишилась (из любви ко мне!) своего драгоценного бычачьего сердца.

«Так, так! – вскричал Бернард голосом, не предвещающим ничего хорошего. – Черный кот и черный петух! Знакомый набор! – и тут, увидев в толпе Вильгельма, обратился прямо к нему: – А вам он разве не знаком, брат Вильгельм? Разве не вы были инквизитором в Килкенни, три года назад, когда судили девку за связь с бесом, являвшимся в обличье черного кота?»

Мой учитель молчал – как мне представилось, из трусости. Я дергал его за рукав, тряс, шептал в отчаянии: «Ну объясните же, что это ей для еды!»

Учитель стряхнул с себя мои руки и вежливо ответил Бернарду: «Полагаю, что мой устаревший опыт не повлияет на ваши выводы».

«О да! – с улыбкой торжества отвечал Бернард. – Имеются свидетельства и посолиднее! Стефан Бурбонский описывает в своем трактате о семи дарах Святого Духа, как Св. Доминик, проповедовавший в Фанжо, клеймя еретиков, предупредил некоторых бывших там женщин, что сейчас покажет им, кому они услужали ранее. И внезапно выпрыгнул промежду всех ужасающий кот величиною с большую собаку, с огромными горящими глазами и с кровоточивым языком, свисавшим до пупа, с коротким твердым хвостом, так задранным, что на ходу тварь эта показывала всю свою заднюю мерзость, зловонную, как никакая другая (так же как зловонны и те анальные части, к которым многие адепты Сатаны, из коих не последние – рыцари-храмовники, прикладываются устами во время своих радений). Покружив около тех женщин не менее часу, кот запрыгнул на канат, идущий к колоколу, и вскарабкался на колокол, оставив в церкви свои вонючие извержения. И разве не кот столь превозносим катарами, что Алан Лилльский полагает даже, будто имя они свое взяли от имени catus в честь этого зверя, которого лобызали в промежность, считая за воплощение Люцифера? Не свидетельствует ли о том же гадостном обычае и Вильгельм Овернский в своем труде. “О законах”? Не заверяет ли Альберт Великий, что каждый кот может оказаться бесом? И разве не указывает мой высокоуважаемый собрат Жак Фурнье, что при смертном одре инквизитора Годфрида Каркассонского присутствовали два черных кота, бывшие не кем иными, как бесами, пришедшими осквернить его останки?»

Содрогание ужаса прокатилось по толпе монахов, многие осенили себя крестным знамением.

«Достопочтенный Аббон, достопочтенный Аббон, – продолжал тем временем Бернард с предостерегающим видом, – думаю, что вашему высокопреосвященству неизвестны еще все употребления, которые извлекаются грешниками из этих орудий зла! Мне же, к величайшему сожалению, пришлось с ними ознакомиться! Я видывал много злодеек, которые в самые темные часы ночи, совместно с другими, такого же пошиба, использовали черных котов для прегнусного ведовства, которое потом уж не могли отрицать: скакали на закорках некоторых тварей, переносились, под защитой ночного мрака, на огромные пространства, уволакивая за собою и пленников, обращенных в похотливых инкубов… И дьявол собственною персоной показывался перед ними, во всяком случае они были в том уверены, в обличье кочета, или какого-либо иного черного скота, и с этим черным скотом они, не спрашивайте меня как, возлегали. Я знаю и способен поклясться, что это еще не самое страшное из их козней и что, кудесничая таким

манером, они добрались и до самого Авиньона, и там варили зелья и притиранья, готовя заговор на жизнь его святейшества папы, чтоб отравить ему пищу. Папа сумел спастись и обнаружить отраву только благодаря своим волшебным приборам в форме гадючьего языка, инкрустированного бесценными изумрудами и рубинами, которые одарены божественной способностью указывать на наличие в пище и питье ядов! Одиннадцать приборов подарил ему его величество король французский, все в форме таких гадючьих языков, с драгоценнейшими камнями, благодарение Богу, и только таким образом его святейшество верховный наш понтифик избежал неминуемой смерти! Хотя надо добавить, что враги его святейшества превзошли даже и эту низость, и все мы знаем, какие вещи открылись во время процесса еретика Бернарда Делисье, арестованного десять лет назад; у него были найдены в доме чернокнижные сочинения, и с пометками на самых опасных листах, с полнейшими руководствами, как выделывать восковые фигурки и добиваться погибели любого врага. И поверите ли, нет ли, однако у него в доме были найдены фигурки, воспроизводившие с необыкновенной похожестью облик его святейшества папы, и на этих фигурках, на самых жизненных местах тела, были нанесены красные точки, а все знают, что таковые фигурки, повешенные на веревке, следует помещать перед зеркалом, а потом поражать жизненные точки острой булавкой, а потом… Но для чего я углубляюсь в эти отвратительные подробности? К чему доказательства! Сам его святейшество папа сказал о вреде котов и петухов и описал все их козни, проклиная их, в своем постановлении Super illius specula, которое советую вам всем перечитать, если оно, конечно, найдется в вашей богатейшей библиотеке, и хорошенько подумать…»

«У нас есть, есть», – горячо заверил Аббат, не помнивший себя от волнения.

«Ну и отлично, – подвел итог Бернард. – Теперь, по-моему, случай этот ясен. Совращенный монах, ведьма и какой-то их дьявольский обряд, к счастью не успевший осуществиться… Ну, а кто был намечен жертвой? Это мы, безусловно, скоро узнаем. Чтоб узнать это поскорее, я пожертвую несколькими часами сна. Надеюсь, ваше высокопреподобие соблаговолит предоставить мне место, куда отвести этого человека…»

«У нас есть темницы в подвале кузни, – сказал Аббат. – К счастью, они редко используются и вот уже много лет пустуют».

«К счастью или к несчастью», – отрезал Бернард. Он приказал лучникам узнать дорогу и препроводить двух пленников в две разные темницы. Мужчину привязать покрепче к какому-нибудь кольцу в стене, так, чтобы он, Бернард, сойдя туда в скором времени, мог бы допросить его, глядя ему прямо в лицо. Что же до девки, сказал он, с ней все понятно, и не стоит сейчас возиться, ее допрашивать. Ее еще подвергнут надлежащим испытаниям, прежде чем сожгут как ведьму. Так как она ведьма – чтобы заставить ее говорить, нужно поработать. С монахом же дело другое. Его еще можно привести к раскаянию. И он сверлил взглядом трясущегося Сальватора, как будто внушая ему, что не все возможности потеряны. Пусть только расскажет правду. А также, добавил Бернард, назовет своих сообщников.

Обоих уволокли. Он безмолвно висел на руках стражников, будто был без сознания. А она плакала, билась и скулила, как животное, которое гонят под нож. Но ни один человек – ни Бернард, ни латники, ни даже я – не понимал, что она там выкрикивает на своем деревенском наречии. Хотя она и владела речью, но для нас была все равно что немая. Одни слова дают людям власть, другие делают их еще беззащитней. Именно таковы темные речи простецов, которых Господь не допустил к науке высказывать свои мысли универсальным языком образованности и власти.

Снова я безотчетно рванулся за нею, снова Вильгельм, мрачный как туча, удержал меня. «Остановись, дурень, – сказал он. – Девчонка пропала. Горелое мясо».

Когда я окаменело глядел, как ее уводили, а в голове вихрем проносились самые

противоречивые мысли, кто-то тронул меня за плечо. Непонятно каким образом, но я, еще не обернувшись, уже знал, что это Убертин.

«Смотришь на ведьму?» – сказал он. Я вздрогнул, хотя был уверен, что о моих делах он знать не может и заговорил со мной только оттого, что сумел уловить, благодаря своей чудовищной чуткости к человеческим страстям, напряженность моего взгляда.

«Нет, – забормотал я. – Я не смотрю… То есть, может быть, и смотрю, но она не ведьма… Мы ведь не знаем. Может, она не виновата».

«Ты смотришь потому, что она красивая. Ведь правда, красивая? – допытывался он с необыкновенным жаром, стискивая и стискивая мою руку. – Если ты смотришь на нее потому, что она красивая, и смущен ею (а я уверен, что ты ею смущен, потому что грехи, в которых она подозревается, еще усиливают в твоих глазах ее притягательность), если ты смотришь на нее и испытываешь желание, это именно и доказывает, что она ведьма. Берегись, мой сын! Красота тела целиком ограничивается кожей. Если бы люди увидели, что находится под кожей (как это произошло с Беотийской рысью), – они бы содрогнулись от вида женского тела. Все это очарование на самом деле состоит из слизи и крови, животной мокроты и желчи. Если вспомнить, что содержится в ноздрях, глотке и кишках – поймешь, что тело набито нечистотами. А ведь слизи или помета ты не захочешь коснуться даже пальцем. Откуда же берется желание сжать в объятиях мешок, наполненный навозом?»

Я ощутил рвотные позывы. Я не хотел больше слушать эти слова. Тут пришел на помощь учитель, который все слышал. Он резко шагнул к Убертину, схватил его руку и оторвал от моей.

«Хватит, Убертин, – сказал он. – Девушка скоро пойдет под пытку, потом на костер. И превратится именно в то, что ты описываешь: в слизь, кровь, желчь и животную мокроту. Но это произойдет стараниями наших с тобой ближних. Именно они извлекут из-под человеческой кожи то, что Господь позаботился этой кожею прикрыть и украсить. Вдобавок с точки зрения первоматерии ты ничем не лучше той девчонки. И оставь мальчика в покое».

Убертин огорченно потупился. «Наверно, я согрешил, – пробормотал он. – Конечно, я согрешил. Чего еще ждать от грешника?»

Толпа стала расходиться, продолжая обсуждать виденное. Вильгельм ненадолго подошел к Михаилу и другим миноритам, которые желали услышать его соображения.

«Теперь в руках Бернарда доказательства. Хотя пока и сомнительные. В монастыре орудуют колдуны и творят те же самые заклятия, какие творили заговорщики в Авиньоне, пытаясь извести папу… Конечно, в судебном смысле это еще не улика против нас. В таком виде это не может повредить завтрашней встрече. Но сейчас он постарается вырвать у этого несчастного новые показания. Которые, по моему глубокому убеждению, пустит в ход не сразу. Он их прибережет, чтобы воспользоваться в дальнейшем. И потом внезапно развалит всю дискуссию, когда она начнет принимать нежелательный для него оборот».

«Может он добиться, чтобы тот как-то свидетельствовал против нас?»

Вильгельм ответил не сразу. «Будем надеяться, нет», – неуверенно проговорил он. Я же мысленно сказал себе, что если Сальватор выложит Бернарду все то, что рассказывал нам, касательно своего с келарем прошлого, и если хоть как-то заикнется о связи их обоих с Убертином, находившимся в то время в бегах, – положение для миноритов создастся крайне затруднительное.

«В любом случае подождем их действий, – ровным голосом продолжал Вильгельм. – С другой стороны, повторяю тебе, Михаил, что все решено заранее. Но ты хочешь попробовать».

«Хочу, – сказал Михаил. – И уповаю на помощь Господню. Святой Франциск заступится за всех нас».

«Аминь», – поддержали остальные.

«О! Разве не говорили тебе, – насмешливо отозвался Вильгельм, – что Святой Франциск, скорее всего, находится в совершенно другом месте и там дожидается Страшного суда, и никогда не видится с Господом Богом?»

«Будь проклят этот еретик Иоанн, – бормотал владыка Иероним, когда все расходились спать. – Теперь он уже и святых заступников нас лишает. Что же нас тогда ждет, грешников несчастных?»

День пятый

Пятого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа

С сердцем, отягощенным множеством печальных дум о событиях этой ночи, поднялся я утром пятого дня, когда уже отзвонили к первому часу и Вильгельм, грубо тряхнув меня за плечи, известил, что совместное заседание вот-вот начнется. Я выглянул в окошко своей кельи и ничего не увидел. Вчерашний туман превратился в плотную, цвета молока пелену, целиком укрывшую монастырский двор.

Я вышел из дому. Аббатство предстало передо мной таким, каким прежде я не видал его ни разу. Только несколько крупнейших построек – церковь, Храмина, капитулярная зала – вырисовывались из туманной завесы, хотя и совсем неясно, как тени среди теней. Остальные строения можно было различить только с нескольких шагов. Казалось, что контуры вещей и животных внезапно проявляются из несуществования. Люди же выплывали из-за млечного полога постепенно, сперва серые, как призраки, потом – все более и более узнаваемые.

Для меня, рожденного в северных краях, эта стихия была не в новинку, и, возможно, в иное время она напомнила бы мне, во всей их сладости, знакомые с детства поля и родной замок. Но не так было в это утро. Состояние воздуха казалось печально сродни состоянию моей души, и горечь, с которой я пробудился, все нарастала и нарастала, по мере того как я брел к капитулярной зале.

Вдруг в нескольких шагах от входа я заметил Бернарда Ги, прощавшегося с каким-то человеком, которого спервоначалу я не узнал. Потом тот двинулся в мою сторону, и, почти столкнувшись с ним, я понял, что это Малахия. Он шел и тревожно озирался, как преступник, боящийся, что его поймают. Но я уже говорил, что лицо этого человека и раньше – может быть, с детства – имело такое выражение, будто он скрывает или хотел бы скрыть некую ужасную тайну.

Он не заметил меня, прошел мимо и растворился в тумане. Я же, охваченный любопытством, подкрался ближе к Бернарду и увидел, что он на ходу просматривает какие-то документы – возможно, только что полученные от Малахии. Дойдя до порога капитулярной залы, он жестом подозвал капитана лучников, караулившего неподалеку, и что-то ему шепнул. Потом вошел. Я вошел за ним.

Я впервые переступал порог этого помещения, казавшегося снаружи скромных размеров и простейшей постройки; по моим представлениям, оно было возведено совсем недавно на развалинах первоначальной аббатской церкви, возможно, разрушенной или поврежденной пожаром. Входя с монастырского двора, необходимо было сперва миновать портал, построенный в современном стиле, со стрельчатой аркой, без всяких украшений, кроме розетки вверху посередине. Однако сразу же за входом, внутри, открывались обширные сени, устроенные, по всей видимости, из остатков первоначального нартекса[*]; а прямо перед глазами вошедшего устремлялся в вышину еще один портал, на этот раз со старинной аркой и с тимпаном в форме полумесяца, полным чудесных скульптурных изображений. Несомненно, это был сохранившийся портал несуществующей старой церкви.

Статуи в тимпане казались не менее хороши, чем на портале новой церкви, но не так опасны с виду. Здесь тоже, как и на том портале, все изображение было подчинено фигуре

Христа, восседшего на троне; однако рядом с ним, в разных позах и с различными предметами в руках, находились двенадцать апостолов, от Него получившие распоряжение идти по миру и проповедовать Евангелие в народах. Над головою Христа, в полукруге, разделенном на двенадцать ломтей, и под его стопами, в непресекающейся веренице фигур, были представлены народы мира, предназначенные из уст посланников воспринять благую весть. Я распознал по внешнему обличью евреев, каппадокийцев, арабов, индийцев, фригийцев, византийцев, армян, скифов, римлян. Однако вперемешку с ними в тридцати кольцах, располагающихся полукругом над полумесяцем, разделенным на ломти, обретались жители неведомых миров, о которых нам известна только самая малость из описаний Физиолога и из смутных отзывов путешественников. Многие из этих персон ничего мне не говорили, других я узнал: например, уродов с шестью пальцами на каждой ладони; фавнов, рождающихся из червы и вызревающих в щелях между корой дерева и его же мякотью; сирен с чешуйчатыми хвостами, соблазнительниц мореходов, и эфиопов, чье тело чернее черноты, и чтобы защитить себя от солнечного жара, они закапываются в песчаные норы; ококентавров, чье туловище выше пупа человеческое, а ниже – ослиное; циклопов, у которых имеется только один глаз величиной со щит; Сциллу с девической головкой и грудью, с брюхом волчицы, с хвостецом дельфина; волосатых людей из Индий, которые обитают в болотах и у реки Эпигмариды; псиглавцев, которые не способны вымолвить ни слова, чтобы не залаять; скиаподов, бегущих с ужасной поспешностью на своей единственной ноге, которые, когда желают защититься от солнечного света, сами ложатся, а огромную ступню развешивают над собой, как зонт; астоматов из Греции, лишенных ротового отверстия и вдыхающих воздух через нос, и питающихся этим воздухом; бородатых женщин Армении; пигмеев; эпистигов, называемых также ресничниками, которые родятся из земли, имеют рот на животе, а глаза на плечах; чудовищных женщин с Красного моря, высотою в двенадцать локтей, с волосами до коленок, с бычьим хвостом пониже спины и с лапами, как у верблюда; и людей со стопами, повернутыми назад, так что все их неприятели, гонясь по следу, попадают не туда, куда те направлялись, а туда, откуда вышли; кроме этого, люди с тремя головами, люди с глазами, светящимися, как плошки, и чудовища с острова Цирцеи, у которых тела человеческие, а выше шеи – взято от самых различных зверей.

И эти, и множество других занимательнейших существ были среди изваяний портала. Но ни от одной из скульптур не исходило ужасного беспокойства, как от тех, с новой церкви, ибо они своим видом не повествовали ни о бедах этого света, ни о наказаниях ада, а были призваны свидетельствовать, что долгожданная весть достигла уже любых пределов знаемой земли и распространилась даже на незнаемую, и поэтому украшение портала содержало в себе некое радостное обещание согласия, обещание достижения единства в Слове Христа, в благословенной экумене.

Хорошее предзнаменование, сказал я себе, к той встрече, которая готовилась состояться сразу же за порогом, где люди, ставшие один другому врагами из-за расхождений в толковании евангелия, сегодня, может быть, сойдутся и мирно решат свои споры. И я добавил, обращаясь сам к себе, что я убогий грешник, если омрачаю своими мелкими страданиями преддверие событий, имеющих такую великую важность для всей истории христианства. Я соразмерил ничтожность собственных огорчений с величественным обетованием мира и покоя, запечатленным на камнях тимпана. И испросив прощения у Бога за свою суетность, я обрел снова крепость духа и, заметно успокоившись, перешагнул порог залы.

Войдя, я сразу же увидел членов обеих делегаций в полном сборе. Они размещались друг напротив друга на скамьях, составленных полуокружностью. Образовывалось два крыла, примыкавших к большому столу, где восседали Аббат и кардинал Бертран.

Вильгельм, при котором я имел право состоять как писец, усадил меня на миноритской

стороне. Тут же были и Михаил с его людьми и францисканцы от авиньонского двора. Так было устроено нарочно – чтобы встреча выглядела не побоищем французов с итальянцами, а ученым диспутом между защитниками францисканской точки зрения и критиками этой точки зрения. При этом объединяла одних с другими, разумеется, чистая католическая верность папскому престолу.

С Михаилом Цезенским были брат Арнальд Аквитанский, брат Гугон из Новокастро и брат Вильгельм Алнуик, принявшие сторону Перуджи некого капитула, а кроме того, епископ Каффы и Беренгар Таллони, Бонаграция Бергамский и прочие минориты от авиньонского двора. С противоположной стороны восседали Лаврентий Декоалькон, бакалавр из Авиньона, епископ Падуанский и Иоанн д'Анно, доктор теологии из Парижа. Рядом с Бернардом Ги, молчаливым и напряженным, сидел доминиканец Иоанн де Бон, которого звали в Италии Джованни Дальбена. Он, как объяснил мне Вильгельм, много лет назад работал инквизитором в Нарбонне, где осудил множество бегинов и бедных нищих; но поскольку, верша суд и расправу, он объявлял одним из признаков ереси разговоры о бедности Христа, против него вдруг восстал Беренгар Таллони, лектор одного из монастырей в том же городе, и пожаловался папе. В сказанную пору Иоанн не имел еще твердого мнения по этому вопросу и вызвал обоих ко двору, где между ними состоялась дискуссия, не давшая определенных результатов; после этого францисканцы выработали свою точку зрения, о которой я рассказывал, на Перуджийском капитуле. От авиньонцев, кроме перечисленных, были еще и другие представители, как, например, епископ Альбореа.

Заседание открыл Аббон. Он счел нужным освежить в памяти собравшихся недавние события. Он напомнил, что в год Господен 1322 генеральный капитул братьев миноритов, собравшийся в Перудже под председательством Михаила Цезенского, постановил, по зрелом и усердном размышлении, что Христос, дабы составить пример совершенной жизни, и апостолы, дабы сообразоваться с учением Христа, никогда и ни под каким видом не имели в общей собственности никаких вещей и ничем не обладали ни как владельцы, ни как управители, и на этой истине основывается вера чистая, католическая, что легко доказуемо множественными цитациями из канонических книг. Посему представляется как святым, так и достохвальным отказ от права собственности на любые вещи, и именно этого правила святости придерживались первооснователи действенной церкви. Далее он указал, что того же правила святости придерживались и Венский собор в 1312 году, и сам папа Иоанн в 1317 году, в конституции статуса братьев миноритов, начинающейся словами Quorundam exigit, где он оценивает резолюции Венского совета как набожные, ясные, твердые и зрелые. Посему Перуджийский капитул, полагая, что те позиции, которые в полном соответствии со священным вероучением всегда считались за верные и при апостольском престоле, надлежит всемерно и повсеместно утверждать, и что никогда ни при каких обстоятельствах не следует уклоняться от указанной престолом линии, – основываясь именно на этих положениях, капитул ограничился тем, что узаконил официально принятые решения и заверил их подписями таких знатных теологов, как провинциалы и министры ордена брат Вильгельм Английский, брат Генрих Германский, брат Арнальд Аквитанский; в подписании документа также приняли участие брат Николай, министр французского отделения, брат Вильгельм Блок, бакалавр и генеральный министр, и четыре провинциальных министра – брат Фома из Болоньи, брат Петр из провинции Св. Франциска, брат Фердинанд из Кастелло и брат Симон из Тура. Однако, продолжил Аббон, на следующий год папа выпустил декреталию Ad conditorem canonum, против которой выступил брат Бонаграция Бергамский, посчитавший ее противной интересам францисканского ордена. Тогда папа сорвал декреталию с ворот главного авиньонского собора, где она была вывешена, и исправил ее во многих местах. Но при этом он не ослабил, а, наоборот, усугубил нападки, и

положение обострилось, судя, в частности, по тому, что брата Бонаграцию незамедлительно вслед за этим посадили в тюрьму, где он провел около года. И никаких уже сомнений не могло оставаться в исключительном нерасположении понтифика после того, как в том же самом году он выпустил печально известную буллу Cum inter nonnulios, в которой окончательно разгромил все положения Перуджийского капитула.

Тут, вежливо прерывая Аббата, выступил кардинал Бертран и заявил, что при этом необходимо учитывать, что в дело замешался, с явным намерением усложнить положение и раздражить понтифика, в 1324 году император Людовик Баварский со своей Саксенгаузенской декларацией, в которой, при отсутствии сколь бы то ни было убедительных мотивировок, принимал сторону перуджийцев. К тому же необъяснимо, добавил Бертран с тончайшей улыбкой, с какой стати вдруг император так ратует за бедность, если сам вовсе ее не придерживается. Он откровенно выступил против его святейшества папы, назвавши того «врагом мира» и заявив, будто тот всецело поглощен устройством распрей и раздоров. В конце концов он выставил его святейшество папу еретиком, более того – ересиархом…

«Не вполне так», – попытался смягчить его слова Аббон.

«По существу – именно так», – сухо ответил Бертран. И добавил, что именно необходимостью дать отпор безответственной выходке императора обусловлена выпущенная его святейшеством папой декреталия Quia quorundam, и что именно после этого он был вынужден настоятельно потребовать, чтобы Михаил Цезенский явился в Авиньон собственной персоной для разбирательства дела. Михаил же прислал письмо с извинениями, сообщая, что болен (в чем никто не позволил бы себе усомниться), и направят вместо себя брата Иоанна Фиданцу и брата Гумилия Кустодия Перуджийского. Однако по чистой случайности, продолжал кардинал, через перуджийских гвельфов[*] до сведения папы дошло, что, вовсе и не думая болеть, брат Михаил налаживает связи с Людовиком Баварским.

Но все это не имеет значения. Что было – то было, а ныне брат Михаил, по виду судя, пребывает в здравом и цветущем состоянии, а следовательно, в самое ближайшее время может явиться в Авиньон. Впрочем, не исключается, что даже и полезно, – отметил кардинал, – заблаговременно взвесить (чем мы ныне и занимаемся) в собрании благоразумнейших мужей, избранных обеими сторонами, что же именно Михаил собирается высказать папе при встрече, учитывая, что всеобщей задачей было и остается не обострять сложившееся положение вещей, а по-братски уладить то недопонимание, которому не место меж любящим родителем и почтительнейшими его чадами и которое с момента зарождения и до сих пор питалось и питается исключительно некоторыми неуместными вмешательствами неких властительствующих особ (неважно, императоры ли они или князья мира), не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела святой матери церкви.

Тут снова взял слово Аббон и сказал, что он, хотя и будучи прелатом церкви и одним из старейшин того ордена, которому, как известно, церковь немалым обязана (на эти слова и правое и левое крыло откликнулись смиренно-почтительным шепотом), – но он все же не разделяет мнения, будто император должен быть совершенно чужд заботам святой церкви – в силу ряда причин, на которых подробнее остановится впоследствии в своем выступлении брат Вильгельм из Баскервиля. В то же время, подчеркнул Аббон, представляется оправданным решение провести ныне первый круг переговоров между папскими посланниками и теми представителями сыновей Святого Франциска, которые самим своим участием в настоящей встрече проявляют себя как преданные сыновья и святейшего отца – папы. Исходя из этого он и предоставляет брату Михаилу или тому, кто будет говорить от его имени, изложить, какие же тезисы он собирается защищать в Авиньоне.

Михаил ответил, что, поскольку, к величайшей неожиданности и величайшей радости всего

ордена, в этой зале находится Убертин Казальский, от которого сам понтифик с 1322 года ожидает фундаментального доклада по вопросу о бедности, не подлежит сомнению, что именно Убертин гораздо лучше, чем кто бы то ни было, при его общепризнанной ясности ума, образованности и пламенном благочестии, сумеет подытожить основные положения, которыми ныне и впредь определяется позиция францисканского ордена.

Встал Убертин, и не успел он начать свою речь, как я уже понял, отчего его всегда так восторженно принимали и как проповедника и как придворного. Выразительные движения, убедительный голос, обольстительная улыбка, четкий и последовательный ход рассуждений – все это приковывало к нему внимание слушателей, не ослабевавшее до тех пор, пока не оканчивалось выступление. Прежде всего он провел высокоученейший разбор тех оснований, на которых держалась перуджийская теория. Он сказал, что в первую очередь требуется учесть, что Христос и его апостолы находились в двойственном положении, ибо являлись, с одной стороны, первосвященниками церкви Нового Завета и в этом своем качестве обладали властью раздаяния и разделения благ по нуждам бедных и по нуждам служителей церкви, для чего владели имуществом, на что указывается в четвертой главе Деяний святых апостолов, и относительно этого никто не сомневается. Но в то же время Христос и апостолы, с другой стороны, могут быть рассмотрены как частные особы, столпы вероисповедного совершенства и совершенные пренебрегатели мира. В этом случае необходимо разграничивать два вида владения. Первый из них – гражданский и мирской, обозначаемый в имперском законодательстве термином in bonis nostris[84], поскольку нашим может считаться то добро, которое за нами охраняется государством и которого лишившись, мы имеем право требовать в возврат. Посему следует различать – защищает ли некто в гражданском и мирском смысле свою собственную вещь, которую грозят у него отнять, и взывает ли в этом случае к государственной справедливости (так вот, что касается этого – утверждение, будто Христос и апостолы владели вещами в подобном, первом смысле, есть еретическое высказывание, ибо нам говорит в V своей главе Матфей, что если кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и то же самое мы видим в VI главе от Луки. В данных словах Христос отстраняет от себя всякое владение и власть и побуждает своих апостолов к тому же; смотри также у Матфея в главе XXIV[85], где Петр говорит Христу: вот, мы оставили все и последовали за Тобою). Но совсем иное дело – иметь имущество во временном пользовании, что случается благодаря совокупному братскому волеизъявлению, и в этом понимании Христос и его люди предстают владельцами имущества по естественному праву, каковое право принято еще называть ius poli, то есть небесное право, основанное на законах природы, исходящих не из людских предустановлений, а из здравого смысла, в противоположность ius fori[86], подразумевающему владение, основанное на общественной договоренности. Когда-то давно, еще до первоначального распределения благ, и они, и власть не принадлежали никому, так же как ныне те вещи, которые не подлежат ничьему владению и доступны для всякого. В определенном смысле вещи являлись совокупным достоянием всех людей. И только после познания греха наши прародители стали разделять вещи как собственность, и тогда образовалось мирское имущество в том виде, в котором оно существует и сегодня. Однако Христос и апостолы владели вещами в первоначальном, небесном смысле, и в этом смысле они владели своими одеждами, хлебами и рыбами; как говорит Павел в первом послании к Тимофею, «имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Поэтому Христос и его люди не владели вещами, а временно ими пользовались, а значит, ни в малейшей степени не нарушалась их абсолютная бедность. Что признано, в частности, папой Николаем II в декреталии «Exiit qui seminat».

После этих слов поднялся с другого конца ряда доктор теологии из Парижа Иоанн д’Анно и

заявил, что умозаключения Убертина представляются ему противоречащими как здравому смыслу, так и здравому толкованию Священного Писания, ибо очевидно, что в отношении благ, расходуемых при пользовании, как, к примеру, хлебы и рыбы, невозможно говорить о временном их использовании, а только об окончательном употреблении; и что все, чем сообща пользовались основатели первобытной церкви, – как явствует из второй и третьей главы Деяний, – всем этим они владели исходя из того же отношения к собственности, которого придерживались и до обращения; и что апостолы и после нисхождения Святого Духа продолжали владеть земельными поместьями в Иудее; и что обет жизни без собственности не распространяется на те вещи, которые для жизни естественно необходимы; и что когда Петр заявляет, будто оставил все, он не имеет в виду материальную собственность; и что Адам имел и власть, и вещественное имущество; и что слуга, получающий от хозяина плату, берет ее не во временное и не в окончательное пользование; и что слова Exiit cui seminat, на которые постоянно опираются минориты и согласно которым меньшие братья только пользуются тем, что им необходимо, но не выступают ни распорядителями, ни собственниками этого, могут быть относимы только к тем вещам, которые от пользования не терпят ущерба, в то время как если бы в Exiit речь шла о предметах, потребляемых единократно, положение оказалось бы абсурдным; что между фактическим использованием и юридическим владением нет никакой разницы, или если есть, то очень смутная; что любое право человека, на основании которого осуществляется распределение благ, подтверждено законами книги завета; что Христос в качестве смертного человека с самой минуты своего зачатия был владельцем всех богатств, какие есть на земле, а в качестве сына Божия – унаследовал от отца высшую власть надо всем; что он являлся хозяином одежды, питания, денежных средств, собираемых в форме взносов и пожертвований с верующих, а если он и был беден, то не потому, что не располагал собственностью, а потому, что не употреблял ее плодов, так как простое юридическое владение, без взимания интереса, не обогащает того, кто числится владельцем; и, наконец, даже в том случае, если в Exiit действительно утверждается нечто иное, все равно верховный римский понтифик в том, что имеет отношение к вере и вопросам морали, имеет право пересматривать суждения своих предшественников и даже защищать противоположную точку зрения.

После этой речи вскочил в запальчивости брат Иероним, епископ Каффский, с бородою, трясущейся от яростного гнева, хотя выступление, судя по всему, замышлялось как примирительное. Он начал с рассуждения, которое показалось мне не вполне ясным. «Все, что я намерен выложить святому отцу, вкупе с собою самим, говорящим все это, я не побоюсь хоть сейчас поручить его компетенции, поскольку действительно считаю Иоанна наместником Христовым и за это убеждение я пострадал, томясь в плену у сарацин. Поэтому начну с примера, приводимого одним великим доктором насчет диспута, который завязался однажды среди неких монахов, на предмет: кто был отцом Мельхиседека. О чем аббат Копес, будучи спрошен, стукнул себя по голове и сказал: “Горе тебе, Копес, за то, что всегда доискиваешься того, что Господь заказывает тебе искать, и не ищешь того, что он приказывает”. Так вот, из этого примера явственно вытекает, что не следует сомневаться в том, что Христос и Пресвятая Дева не имели никакой собственности, ни раздельной, ни совокупной, и это настолько несомненно, что даже несомненнее того, что Христос был в одно и то же время и богом, и человеком, хотя для меня и несомненно, что всякий отрицающий первую очевидность станет затем отрицать и вторую!»

Каффа победоносно огляделся, а Вильгельм возвел очи к небу. Подозреваю, что силлогизм Иеронима показался ему небезупречным, и я не стал бы спорить с этой оценкой; однако еще более уязвимым представилось мне кипуче и бестолковое выступление брата Иоанна Дальбены, который сказал, что тот, кто доказывает что-то там насчет бедности Христа, доказывает только то, что и так видно (или и так не видно) самому простому глазу, в то время как при выяснении

вопроса о его человечности или божественности возникает такой фактор, как вера, и поэтому два вышеуказанных понятия никак не могут быть уравнены; Иероним, отвечая, проявил больше остроумия, чем его противник.

«Я так не думаю, дражайший собрат, – сказал он, – и мне, наоборот, кажется справедливым как раз обратное утверждение, потому что во всех евангелиях отмечается, что Христос был человеком и ел, и пил как человек, а в то же время через посредство нагляднейших сотворенных Христом чудес доказывается, что он был в такой же мере и богом, и все это прямо-таки бросается в глаза!»

«Колдуны и волшебники тоже творили чудеса», – веско промолвил Дальбена.

«Да, – парировал Иероним, – но при помощи магии. Ты что, собираешься уравнять чудеса Иисуса с чудесами колдунов?» Собрание возмущенно зашумело. «И наконец, – продолжал Иероним, уже чувствовавший себя почти победителем, – его милости кардиналу Поджеттскому заблагорассудилось объявить еретическим положение о бедности Христовой, а между тем именно на этом и ни на каком ином положении основывается правило такого ордена, как францисканский, знаменитого тем, что не существует ни одной страны мира, куда бы не устремлялись его сыны, проповедуя и проливая свою кровь бессчетно, от самого Марокко и до самой Индии!»

«Блаженная душа святого Петра Испанского, – пробормотал Вильгельм. – Спаси и помилуй нас».

«Возлюбленный брат, – завизжал тогда Дальбена, делая шаг вперед. – Рассказывай сколько хочешь о крови своих собратьев, но только не забывай, что нисколько не меньшие жертвы понесли и приверженники других орденов!»

«При всем моем уважении к его милости кардиналу, – выкрикнул Иероним, – ни один доминиканец не лишился жизни от рук неверных, в то время как только в мою бытность девятерым миноритам пришлось принять мученичество!»

Пылая лицом, приподнялся с места доминиканец, епископ Альбореа. «Если на то пошло, лично я могу доказать, что задолго до того, как минориты попали в Татарию, папа Иннокентий направил туда трех доминиканцев!»

«Вот как? – хмыкнул Иероним. – Однако я точно знаю, что минориты в Татарии уже восемьдесят лет и возвели там сорок христианских храмов по всей стране, в то время как доминиканцы имеют только пять резиденций у самого побережья, и всех-то их вместе там от силы пятнадцать человек! И этим вопрос решается!»

«Нет, никакой вопрос не решается! – заорал в ответ Альбореа. – Потому что эти минориты плодят еретиков-голодранцев, точно суки, плодящие щенков, и везде суются со своими заслугами, и тычут всем в нос своих мучеников, а сами имеют совсем неплохие церкви, добротные одежды, и покупают и продают точно так же, как все прочие священнослужители!»

«Нет уж, сударь вы мой, не так, – отвечал, тряся пальцем, Иероним. – Они-то сами ничего не продают и ничего не покупают, а прибегают к посредничеству прокураторов апостольского престола, и прокураторы выступают владельцами, в то время как минориты – только пользователями!»

«О-о, неужели! – осклабился Альбореа. – А сколько добра лично ты купил и спустил безо всякой помощи прокураторов? У меня есть данные о кое-каких имениях, которые…»

«Если я что-то сделал неправильно, – поспешно перебил Иероним, – это не имеет никакого отношения к ордену, а только к моей собственной слабости».

«Но достопочтенные собратья, – вмешался в их разговор Аббон, – наша проблема не в том, бедны ли минориты, а в том, беден ли был Господь наш Иисус Христос».

«И все-таки, – снова послышался голос Иеронима, – наша проблема не в том, бедны ли

минориты, а в том, беден ли был Господь наш Иисус Христос».

«Святой Франциск, защити своих бедных детей», – безнадежно проговорил Вильгельм.

«Вот этот довод, – продолжал Иероним. – Жители Востока и Греции, лучше нас изучившие творения святых отцов, твердо стоят на том, что Христос был беден. А если уж эти еретики, эти раскольники столь явственно утверждают столь явственную истину, мы что же – хотим перещеголять их в ереси и раскольничестве, отрицая эту истину? Да жители Востока, когда бы услыхали, как некоторые из нас проповедуют против этой истины, – тут же побили бы камнями!»

«Что ты несешь, – выкрикнул Альбореа. – Почему тогда они не побивают доминиканцев, проповедующих против этого?»

«Доминиканцев? Да потому, что ни одного доминиканца в тех краях никто не видел!»

Альбореа, полиловев от злобы, заявил, что этот брат Иероним пробыл в Греции от силы пятнадцать лет, а вот он живет там чуть ли не с детства. Иероним отвечал, что этот доминиканец Альбореа, возможно, и заезжал в Грецию, но ради того, чтобы роскошествовать в епископских дворцах, а он, францисканец, пробыл там не пятнадцать, а ровнехонько двадцать два года и проповедовал в Константинополе, перед самим императором. Тогда Альбореа, исчерпавший все доводы, вознамерился пересечь пространство, отделявшее его от миноритских скамей, выражая громким голосом и в таких словах, которые я не отважусь ныне привести, решительное намерение выщипать бороду Каффскому епископу, в мужественности которого он сомневается и которого, следуя логике возмездия, желает наказать, употребив эту самую бороду наподобие розги.

Другие минориты кинулись к собрату и стеной встали вокруг него; авиньонцы предпочли прийти на помощь доминиканцу, и воспоследовала (Господи, сжалься над достовернейшими из твоих сыновей!) такая свалка, что Аббат и кардинал не могли даже докричаться до воюющих. В сумятице битвы минориты и доминиканцы обращались друг к другу с таким недружелюбием, как будто и те, и другие воображали себя христианами, сражающимися против мавров. На местах оставались только двое: с одной стороны стола Вильгельм Баскервильский, с другой – Бернард из Ги. Вильгельм казался удрученным, а Бернард радостным, если, конечно, о радости могла свидетельствовать бледная улыбка, наморщившая губы инквизитора.

«А что, нет лучших аргументов, – спросил я у учителя в то время, как Альборса тянулся к бороде епископа Каффского, а прочие его удерживали, – чтобы доказать или опровергнуть бедность Христа?»

«Но ведь это бессребреничество с равным успехом можно и доказать и опровергнуть, милый мой Адсон, – отвечал Вильгельм, – поскольку совершенно невозможно установить из текстов евангелий, считал ли Христос своей собственностью, и если считал, то в какой степени, ту тунику, которую носил на себе, а износив – вероятно, выбрасывал. К тому же, если угодно, Фома Аквинский рассуждает о собственности решительнее, нежели мы, минориты. Мы говорим: ничем не владеем и всем пользуемся. Он же говорит: считайте, что владеете всем. Но только ради того, что если кому-нибудь понадобится то, чем вы владеете, вы дадите это ему – и не по вашему благоусмотрению, а по обязанности. Однако вопрос не в том, был ли Христос беден, а в том, должна ли бедной быть церковь. А бедность применительно к церкви не означает – владеть ли ей каким-либо дворцом или нет. Вопрос в другом: вправе ли она диктовать свою волю земным владыкам?»

«Так вот почему, – сказал я, – император так поддерживает рассуждения миноритов о бедности?»

«Ну конечно. Минориты участвуют в императорской игре против папы. Но для Марсилия и для меня игра, которая ведется, – двойная. И мы хотели бы, чтобы императорская игра

способствовала нашей и послужила бы нашей идее человечного правления».

«А вы скажете это, когда будете выступать?»

«С одной стороны, если бы я сказал это, я исполнил бы задание, полученное мною: выразить мнение имперских богословов. С другой стороны, сказавши это, я провалю задание, поскольку смысл его – облегчить проведение второй, авиньонской, встречи. А я не думаю, чтобы Иоанн пожелал, чтоб я явился в Авиньон говорить о подобных вещах».

«И что теперь?»

«И теперь то, что я во власти двух противонаправленных стремлений, подобно ослу, не знающему, который из двух мешков сена предпочесть. Дело в том, что перемены еще не назрели. Марсилий уповает на какие-то мгновения метаморфозы… Между тем Людовик ничем не лучше, своих предшественников, хотя в данный момент он – единственная наша опора в борьбе с такими ничтожествами, как Иоанн. Наверное, мне придется говорить. Если только эта парочка сейчас друг друга не придушит. В любом случае ты, Адсон, давай пиши. Пусть сохранится хоть какой-то след того, что сейчас происходит».

«А Михаил?»

«Боюсь, он напрасно теряет время. Кардиналу отлично известно, что папа не заинтересован в примирении. Бернард Ги знает, что его задача – сорвать эту встречу. А Михаил знает, что поедет в Авиньон на любых условиях, так как не может допустить, чтобы орден потерял последнюю связь с папой. И рискнет жизнью».

Пока мы беседовали – не знаю, правда, как нам удавалось расслышать друг друга, – диспут достиг кульминации. Вмешались лучники, повинуясь приказу Бернарда Ги, и выстроились посредине залы, препятствуя двум шеренгам прийти в решающее соприкосновение. Но нападающие и обороняющиеся, находясь по разные стороны крепостной стены, осыпали друг друга попреками и ругательствами, которые я смогу привести лишь выборочно и без всякой надежды установить в отдельных случаях авторство, ибо необходимо учитывать, что все эти выступления произносились не по очереди – как протекала бы подобная дискуссия у меня на родине, – а по южному обыкновению: таким образом, что каждое высказывание накатывалось на предыдущее, как волны бушующего моря.

«В Евангелии сказано, что Христос имел кошелек!»

«Уймись ты со своим кошельком, который вы малюете даже на распятиях! Ты что думаешь – по какой причине Господь Бог, будучи в Иерусалиме, каждый вечер возвращался в Вифанию?»

«Если Господь Бог предпочитал ночевать в Вифании, это его дело! Ты что, будешь указывать, где ему ночевать?»

«Нет, я не буду указывать, старый козел! Но имей в виду: Господь Бог возвращался в Вифанию потому, что у него не было денег заплатить за гостиницу в Иерусалиме!»

«Сам ты козел, Бонаграция! А чем, по-твоему, питался Господь Бог в Иерусалиме?»

«Ты что, считаешь, что если лошадь берет от хозяина корм, чтоб не умереть с голоду, – этот корм ее имущество?»

«Ага! Ты сравнил Христа с лошадью!»

«Нет, это ты сравнил Христа с продажными прелатами, которые кишат у вас при дворе, как в навозной куче!»

«Вот как? А сколько раз папская курия впутывалась в судебные процессы, чтобы вызволять ваше собственное добро?»

«Церковное добро, а не наше собственное! Мы им только пользуемся!»

«Пользуетесь, чтобы объедаться, чтобы обставлять ваши роскошные храмы золотыми статуями! Ах, лицемеры, вместилища беззаконий, гробы повапленные, клоаки разврата! Вам прекрасно известно, что милосердие, а вовсе не бедность – главный принцип праведной жизни!»

«Это сказал ваш прожора Фома Аквинский!»

«Ты, кощун! Думай что мелешь! Тот, кого ты назвал прожорой, – канонизованный святой, почитаемый римской церковью!»

«Фу-ты, ну-ты! Канонизованный святой! Да Иоанн его канонизовал, чтоб насолить францисканцам! Ваш папа не имеет права назначать святых, потому что сам он еретик! И вообще ересиарх!»

«Эту песенку мы не впервые слышим! Поете под дудку баварского чучела, повторяете то же, что он тявкал в Саксенгаузене с подсказки вашего Убертина!»

«Выбирай выражения, ты, свинья, отродье Вавилонской курвы и всех прочих шлюх! Всем известно, что в тот год Убертин был не при императоре, а как раз в вашем Авиньоне, на службе у кардинала Орсини, и папа даже посылал его с поручением в Арагон!»

«Знаем, знаем, как он терся со своим обетом бедности у стола кардинала! Точно так же как теперь околачивается в самом богатом аббатстве на полуострове! Убертин, а если тебя там не было, скажи, кто подсунул Людовику твои писания?»

«Что я, виноват, если Людовик использовал мои писания? Конечно, твои он не использует, поскольку ты неграмотный!»

«Кто, я неграмотный? А ваш Франциск был грамотный, что разговаривал только с курицами?»

«Святотатство!»

«Это ты святотатствовал, полубратский потаскун!»

«Никогда я не был потаскуном, и ты это знаешь!»

«А кем ты был со своими полубратьями, когда залезал в кровать Клары Монтефалькской?»

«Разрази и убей тебя Господь! Я в те времена был инквизитором, а Клара уже и тогда вся благоухала святостью!»

«Клара-то благоухала, да ты не к тем запахам принюхивался, когда читал утреню монашенкам!»

«Говори, говори, гнев Господен все равно тебя постигнет, как постигнет и твоего хозяина, пригревшего двух отъявленных еретиков – остгота Экгарта и английского чернокнижника, которого вы зовете Бранусертоном!»

«Достопочтенные братья, достопочтенные братья!» – взывали кардинал Бертран и Аббат.

Пятого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти

Спор разгорался еще сильнее, когда один из послушников, карауливших за порогом, вошел в двери, добрался до противоположного конца залы, пригибаясь, как человек, бегущий через поле в грозу, приблизился к Вильгельму и прошептал ему на ухо, что Северину необходимо срочно с ним поговорить. Мы вышли в сени, забитые любопытными монахами, которые жадно вслушивались в голоса за дверью, надеясь сквозь крик и шум разобрать, что же происходит в зале. В первых рядах находился Имарос Александрийский, встретивший нас своей обычной ухмылкой, полной снисхождения к ничтожеству бедного рода людского. «Несомненно, с тех пор, как появились нищенские ордены, христианский дух изрядно возвеличился», – сказал он.

Вильгельм довольно грубо отодвинул его с дороги и направился к Северину, поджидавшему в углу. Тот был очень встревожен и не хотел ни о чем говорить в толпе, но сумятица происходила такая, что найти тихое место было совершенно невозможно. Мы собрались выйти на улицу, но тут на пороге капитулярной залы показался Михаил Цезенский и стал делать Вильгельму знаки, чтобы тот шел обратно, так как скандал, по всей видимости, утихает и можно продолжать обсуждение.

Вильгельм, разрываясь между двумя новыми мешками сена, велел Северину говорить здесь, только тихо. И Северин перешел на шепот, стараясь, чтоб никто его не услышал.

«Беренгар действительно побывал в больнице, прежде чем укрыться в банях», – сказал он.

«Откуда ты знаешь?»

Тут кое-кто из монахов пододвинулся поближе. Наше перешептывание явно привлекало интерес. Северин еще более понизил голос, непрерывно озираясь по сторонам.

«Ты мне говорил тогда, что у этого человека… кое-что имелось при себе… Ну так вот, я нашел нечто у себя в лаборатории… Среди прочих книг. Неожиданно. Это чужая книга. Очень странная книга».

«Должно быть, та самая, – торжествующе сказал Вильгельм. – Скорей неси сюда».

«Я не могу, – отвечал Северин. – Потом объясню. Я обнаружил… По-моему, я обнаружил нечто любопытное… Пойдем со мной. Я сам покажу тебе книгу. Очень осторожно…» – и внезапно умолк. Мы подняли глаза и заметили, что, по своему обыкновению бесшумно и совершенно внезапно, рядом с нами возник Хорхе. Он вытягивал вперед руки, как будто, непривычный к этому помещению, не мог понять, куда идет. Обыкновенный человек безусловно не разобрал бы шепота Северина, но я уже имел случай убедиться, что слух у Хорхе, как и вообще у слепцов, был исключительно обострен.

Тем не менее вид у старца был такой, словно он ничего не слышал. И двигался он в направлении совершенно противоположном нашему. Натолкнувшись на одного из монахов, он о чем-то его попросил. Тот, почтительно взявши Хорхе под руку, повел к выходу. Тут на пороге зала снова появился Михаил и снова стал звать Вильгельма, и моему учителю пришлось принять спешное решение.

«Вот о чем я тебя попрошу, – сказал он Северину. – Как можно скорее вернись откуда пришел. Запрешься и будешь ждать меня. А ты, – обратился он ко мне, иди за Хорхе. Даже если

он что-то унюхают, не думаю, чтобы он сразу же потребовал вести себя в лечебницу. В любом случае – доложишь мне, куда он направился».

Он сделал шаг в сторону залы и в этот миг заметил (как заметил и я), что Имарос, расталкивая всех, пробивается через толпу, стараясь догнать уходящего Хорхе. И тут Вильгельм допустил ужасную неосторожность. Ибо самым громким голосом, из одного конца сеней в другой, он прокричал Северину, стоявшему уже на пороге выхода: «Запомни! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта… Эти записи вернулись на старое место!»

Я, уже успевший отойти на порядочное расстояние вдогонку Хорхе, в тот же миг увидел, что у косяка наружной двери замер келарь, который, услыхав последние слова Вильгельма, переводит полный ужаса взор с моего учителя на травщика и обратно, а лицо его искажено страхом. Он впился взглядом в выходящего Северина, а потом тронулся с места и пошел прямо за ним. Я тоже выбежал из сеней, так как боялся упустить из виду Хорхе, который уходил от меня все дальше и почти что растаял в тумане. Но и эти двое – травщик с келарем, – удалявшиеся в противоположном направлении, могли в любой момент нырнуть за белую завесу и исчезнуть. Я спешно соображал, что же делать. Приказано мне было следить за слепцом. Но этот приказ основывался на опасении, что слепец потащится к больнице. Между тем направление, избранное им и его провожатым, было иным. Они пересекали внутренний дворик, чтобы попасть не то в церковь, не то в Храмину. А вот келарь, напротив того, явно решил преследовать травщика. Вильгельма же в первую очередь волновало то, что могло произойти в лаборатории. Взвесив все это, я понял, что надо идти за этими двумя. В то же время хотелось бы знать, куда подался Имарос. Хотя у него, разумеется, могли быть и свои дела, совершенно не связанные с нашими.

Я последовал за келарем на разумном расстоянии – так, чтобы не потерять его из виду. Он же стал замедлять шаги, видимо, чувствуя, что за ним кто-то следит. Он никак не мог видеть, что тень, наступающая ему на пятки, это я. Точно так же как и я не мог видеть, что тень, которой я наступаю на пятки, – это он. Но подобно тому, как я не сомневался относительно него, он не сомневался относительно меня.

Отвлекая внимание на себя, я тем самым не подпускал его тишком близко к Северину. Поэтому, когда здание лечебницы наконец показалось из тумана, дверь была уже заперта изнутри. Северин, слава небесам, благополучно добрался до места. Келарь еще раз оглянулся и посмотрел в мою сторону – я тут же замер в полной неподвижности словно садовое дерево, – а затем, по-видимому, он принял какое-то решение, повернулся и ушел в сторону кухни. Я поразмыслил и счел свою работу выполненной. Северин был человек благоразумный, способный поберечься без моей помощи и явно не расположенный отпирать кому попало. Так что делать здесь мне было нечего. Вдобавок я сгорал от любопытства, желая узнать, что происходит в капитулярной зале. Поэтому я решил, что могу возвращаться к своему протоколу. Возможно, я поступил неправильно. Надо было мне остаться возле дома в карауле, и мы бы избежали стольких последовавших несчастий! Но это я знаю сейчас, а тогда не знал.

Подымаясь в сени, я почти что налетел на Бенция, который, хихикнув, обратился ко мне голосом сообщника: «Северин нашел кое-что оставшееся от Беренгара, правда?»

«Ты-то почем знаешь?» – невежливо ответил я, держа себя с ним как с равным, отчасти от злости, отчасти из-за того, что моложавое его лицо от хитрой гримасы сделалось совсем мальчишеским.

«А я не дурак, – ответил Бенций. – Северин бежит о чем-то докладывать Вильгельму. Ты его прикрываешь от преследователей…»

«Сильно ты суешь свой нос в наши дела и в дела Северина», – раздраженно выпалил я.

«Конечно, сую! Я с позавчерашнего дня глаз не спускаю ни с бань, ни с лечебницы. Если бы

я только мог – давно бы туда пролез. Глаз бы отдал, чтоб узнать, что там Беренгар откопал в библиотеке».

«Ты слишком много хочешь знать! Не имеешь никакого права!»

«Я учащийся и имею все права. На знания. Я прибыл с другого конца света именно для того, чтобы познать здешнюю библиотеку. А библиотека остается неприступной, как будто в ней прячут что-то дурное. А я…»

«Дай пройти», – резко оборвал я его.

«Пожалуйста, проходи. Ты ведь сказал все, что мне было нужно».

«Я?»

«Можно сказать и умолчанием».

«Не советую соваться в больницу», – сказал я.

«Не буду, не буду, успокойся. Но снаружи глядеть на больницу не запрещено».

Я не стал слушать дальше и вернулся в залу. Этот любопытный мальчишка, по-моему, не представлял опасности. Я пробрался вплотную к Вильгельму и кратко известил его о состоянии дел. Он одобрительно кивнул и дал мне знак замолчать. Волнение в зале тем временем улеглось. Посланники обеих сторон обменивались поцелуем примирения. Альбореа восхищался верой миноритов. Иероним превозносил любовь к добру братьев-проповедников. И те, и другие выражали искреннюю надежду на торжество единой церкви, уже не раздираемой внутриутробными противоречиями. Одни говорили о силе, другие об умеренности, все уповали на праведность и призывали к благоразумию. В жизни не видал, чтобы столько народу, и так чистосердечно, старалось прославить богословские и основные добродетели.

Тем временем Бертран Поджетто уже приглашал Вильгельма выступить и изложить точку зрения имперских богословов. Вильгельм поднялся без особого желания. С одной стороны, он явно понимал, что диспут не имеет никакого практического смысла. С другой стороны, он торопился освободиться, поскольку таинственная книга теперь интересовала его даже сильнее, чем исход встречи. Но от исполнения долга, разумеется, уклониться не мог.

Итак, он взял слово. Прежде всего последовало множество «эхов» и «охов». Возможно, их было даже больше, чем обычно, и больше, чем требовалось. С их помощью он давал понять, что абсолютно не уверен в том, что собирается высказать. Он начал с заверения, что выступления предыдущих ораторов показались ему чрезвычайно интересными. И что, с другой стороны, то, что было названо «доктриной имперских богословов», на самом деле не более чем ряд разрозненных суждений, вовсе не претендующих сойти за истину веры.

Так вот, сказал он. Учитывая то величайшее благоволение, которое проявил Господь, когда создал народ сыновей своих и возлюбил их всех без всякого различия, начиная с тех листов книги Бытия, где еще нет помину ни о священнослужителях, ни о царях, и исходя также из того, что Господь доверил Адаму и его потомкам управление всеми делами этой земли, с условием соблюдать божеские установления, имеются основания подозревать, что Господу не совершенно чужда идея о том, что над своими земными делами сам народ должен выступать законодателем и первой действенной причиной закона. Под народом, продолжал Вильгельм, целесообразно было бы понимать совокупность всех граждан. Однако поскольку гражданами считаются также дети, тупоумные, преступники и женщины, наверное, следовало бы выработать некое разумное определение понятия «народ», включив в него лучшую часть граждан, хотя он сам в данную минуту не считает возможным устанавливать, кто именно должен входить в эту лучшую часть, а кто нет.

Он покашлял и извинился за это перед собравшимися, отметив, что влажность атмосферы сегодня, кажется, слишком велика для его здоровья, и продолжил в форме догадки, что, вероятно, в качестве способа, которым этот народ сумеет выражать свою совокупную волю,

может быть предложен созыв всеобщей избираемой ассамблеи. Он пояснил далее, что ему представлялось бы осмысленным, если бы подобная ассамблея обсуждала, изменяла и – по необходимости – приостанавливала действие законов, ибо, когда законодательной властью пользуется только один человек, он способен употреблять ее во зло, по неведению или по дурному умыслу. И добавил, что незачем напоминать собравшимся, сколько примеров подобного злоупотребления содержит история самых недавних лет. Тут я обратил внимание на то, что присутствующие, слегка смутившиеся от его предыдущих рассуждений, к этим последним словам дружно и сообща присоединились, поскольку тут каждый был волен думать о ком ему угодно и каждый считал чрезвычайно дурным того, о ком он думал.

Прекрасно, рассуждал далее Вильгельм. Ну, а если один человек плохо управляет законами, не лучше ли управятся с этим многие, трудясь сообща? Разумеется, подчеркнул он, это касается законов мирских, определяющих порядок в гражданском мире. Бог предупредил, чтоб Адам не вкушал от древа познания добра и зла, и это был божий закон. Но в то же время он сам позволил Адаму, более того, уполномочил его раздавать имена вещам в гражданском мире. И в этом отношении – в мирском отношении – предоставил полную свободу своему подданному. Да, именно так, несмотря на то что некоторые наши современники утверждают, будто nomina sunt consequentia rerum[87]. Однако книга Бытия на сей счет гласит достаточно ясно: Господь подвел к человеку всех тварей, чтоб узнать, какое имя тот им даст, и как наименовал человек какую живущую тварь, таково ей и именоваться во веки веков. И хотя не подлежит никакому сомнению, что первый из человеков подошел к делу с сугубой ответственностью и, называя на своем эдемском языке всякую вещь и всякое животное, руководствовался природой называемого, все-таки ничем не отменяется то обстоятельство, что, занимаясь этим, он пользовался некоей верховной властью: решать, которое из многих имен, по его усмотрению, лучше всего соответствует природе называемого предмета. Ибо и в самом деле ныне установлено, что имена, которыми пользуются разные люди для описания одних и тех же понятий, различны, а неизменны и едины для всех только понятия, то есть знаки вещей. И слово nomen (имя) бесспорно происходит от nomos, то есть по-гречески «закон», как раз потому, что nomina создаются группами людей ad placitum, то есть по свободному совместному решению.

Собравшиеся не смели ни единым словом оспорить это ученейшее доказательство. А из этого следует, заключил Вильгельм, что верховное управление делами нашей земли, то есть делами отдельных городов и государств, ничего общего не имеет с охраною и проповедью слова Божия, которой должны неустанно заниматься церковные власти. И заслуживают жалости, продолжал Вильгельм, неверные, не имеющие таких, как у нас, авторитетов, к которым можно всегда обратиться за разъяснением слова Божия (тут все выразили сожаление об участи неверных). Однако допустимо ли, исходя из этого, делать вывод, что неверные не имеют склонности к установлению законов и к управлению жизнью через посредство правительств, царей, императоров, султанов, калифов и как их там еще? Допустимо ли отрицать, что многие римские императоры распоряжались гражданской властью с великим благоразумием, стоит вспомнить Траяна? А кто наделяет язычников и неверных этими их естественными способностями издавать законы и сосуществовать в политическом обществе? Может быть, их собственные лжебожества, безусловно не существующие (или не существующие безусловно, как бы ни трактовалось отрицание в данной модальности)? Мы все прекрасно знаем, что нет! Их мог наделить описанными способностями только бог воителей, бог Израиля, отец нашего с вами Господа Иисуса Христа… Чудеснейшее доказательство божественного великодушия – предоставить возможность суждения по политическим вопросам даже тем, кому неведом авторитет верховного римского понтифика и кто не исповедует тех наисвятейших, сладостных и устрашающих тайн, которые исповедует христианский народ! Существует ли более

восхитительное, чем это, подтверждение того неоспоримого факта, что мирская власть и государственная юрисдикция ничего не имеют общего с церковными правами и с законом Христовым, и что они установлены Господом вне какого бы то ни было богословского волеизъявления и даже раньше, нежели на земле установилась наша общая святая религия.

Он снова покашлял, только теперь уже не он один. Многие ерзали на скамейках и прочищали горло. Я видел, что кардинал облизывает пересохшие губы и нетерпеливым, хотя и вежливым жестом предлагает Вильгельму переходить к заключению. И Вильгельм приступил к тем заключениям, которые, по мнению всех сидевших в зале, даже тех, кто их не разделял, закономерно вытекали из его убедительной логики.

Итак, Вильгельм сказал, что его дедукции, он уверен, подтверждаются личным примером самого Христа Иисуса, который пришел в этот мир не повелевать, а подчиниться тем условиям, которые создались до его прихода в этом мире, по меньшей мере во всем, что касалось законодательства Цезаря. Он хотел и чтобы апостолам пришлось повелевать и властвовать, а из этого вытекает, что было бы естественно, если бы и последователи апостолов избавились от какого бы то ни было гражданского, принуждающего владычества. Если понтифик, епископы и священство сами не были бы подчинены гражданской и принуждающей власти князей, власть князей неминуемо тем самым оказалась бы под ударом, а следовательно, оказался бы под ударом и правопорядок, который, как доказано прежде, установлен самим Господом. Необходимо, конечно же, оговорить особо, – продолжал Вильгельм, – самые деликатные случаи, как, например, вопрос о еретиках, относительно еретичества которых одна только церковь, хранительница божественных истин, может выносить решение, однако применять к ним силу могут только светские карательные органы. Между тем, когда церковь квалифицирует еретиков как таковых, она, разумеется, обязана указывать на это князю, который должен быть как можно лучше осведомлен о состоянии подданных. Однако что должен делать после этого князь с еретиком? Казнить его во имя той божественной истины, которой не он является хранителем? Князь может и даже обязан казнить еретика, если его деятельность угрожает общежитию всех, то есть если еретик распространяет ересь, уничтожая или преследуя всех, кто ее не разделяет. Однако только этим пределы власти правителя и ограничиваются, потому что никто на этой земле не должен быть принуждаем, путем телесных угроз, к выполнению предписаний Евангелия, иначе куда бы девалась та свобода воли, за осуществление которой каждый будет впоследствии судим в ином мире? Церковь может и обязана предупредить еретика, что он исключает себя из общества верующих. Но она не имеет права судить его на этом свете и принуждать его помимо его желания. Если бы Христу было угодно, чтобы его служители обладали принуждающей властью, он оставил бы им прямые предписания, как поступил Моисей, оставивший ветхий закон. Христос так не поступил. Следовательно, он этого не желал. Не предполагается же такое возражение, что якобы-де на самом деле он желал, но не сумел по недостатку времени или способностей составить такой закон за три года проповедничества? И совершенно правильно, что он этого не желал, потому что если он пожелал бы что-либо в подобном духе, папа смог бы на этом основании диктовать свою волю королю, и христианство перестало бы быть законом свободы, а превратилось бы в невыносимое рабство.

Все вышесказанное, продолжал учитель с сияющим лицом, призвано служить не к ограничению власти верховного понтифика, а к вящему возвеличению его миссии: ибо раб рабов Господа приходит на эту землю, чтобы служить, а не чтоб ему служили. И в конце концов, было бы по меньшей мере странно, если бы папа пользовался властью над делами империи, но не пользовался властью над делами прочих царств этой земли. Как известно, все, что провозглашается папой о делах божественных, одинаково относится как к подданным французского короля, так и к подданным короля Англии; но это же, по идее, в равной степени

должно относиться и к подданным Великого Хана или султана неверных, поскольку неверные называются неверными именно потому, что пока не верят в неоспоримую божественную истину. Следовательно, если бы папа смирился с тем, что в гражданском смысле он располагает властью – в качестве римского папы – только над делами империи, он тем самым породил бы подозрение, что именно потому, что он сам отождествляет власть государственную с властью духовной, по его же собственной логике, он не обладает духовной властью не только над сарацинами или татарами, но и над французами или англичанами, каковое утверждение, вообще говоря, составляет собой злостное оскорбление святейшества… Вот по какой причине, подвел итоги учитель, ему видится справедливым вывод, что авиньонская церковь наносит оскорбление всему человеческому обществу, притязая на то, что именно ей должна быть предоставлена власть утверждать или отвергать кандидатуру того, кто предварительно был облечен саном императора римлян. Папа не имеет на Римскую империю никаких особенных прав, не больше, нежели на другие царства, и поскольку не подлежат папскому утверждению ни король Франции, ни султан, неизвестно, по какой исключительной причине должен подлежать папскому утверждению император немцев и римлян. Подобная претензия не имеет божественного обоснования, так как в Писании ничего об этом не сказано. Она не вытекает из законодательства народов, в силу вышеприведенных причин. Что же касается дискуссии о бедности, сказал напоследок Вильгельм, то несколько скромных суждений, высказанных им некогда в самой разговорной форме, в виде необязательных предположений, в ходе беседы с несколькими друзьями – с такими, как Марсилий Падуанский и Иоанн Яндунский, – можно было бы суммировать в следующем: если францисканцам желательно оставаться бедными, император не должен и не может противостоять такому похвальному желанию. Разумеется, если бы гипотеза о Христовой нищете была официально доказана, это бы не только помогло миноритам, но и укрепило ту идею, что Христос не добивался лично для себя никакого гражданского правления. Однако ему, Вильгельму, довелось слышать сегодня немало рассуждений самых здравомыслящих особ, которые доказывали, что бедность Христа недоказуема. Исходя из этого, может быть полезно перевернуть причину и следствие. Поскольку никем не утверждалось и никем не могло утверждаться, что Иисус добивался для себя и для своих близких какого-либо земного правления, эта самая отрешенность Иисуса от земных вещей представляется достаточным основанием для того, чтобы без греха почесть вероятным утверждение, что Иисус, таким образом, больше тяготел к бедности.

Вильгельм говорил настолько неуверенным голосом, обосновывал свои доказательства так стеснительно и смиренно, что ни у кого из присутствующих не было видимого повода вскочить и дать ему резкий отпор; однако это не означало, что все сидевшие в зале согласились с тем, что сказал Вильгельм. И не одни только авиньонцы беспокойно шевелились, хмурили брови и шептали друг другу на ухо возражения; но даже и сам Аббат, казалось, был весьма неприятно поражен словами Вильгельма и всем видом показывал, что не в этом, нет, не в этом духе мыслились ему взаимоотношения его ордена с империей. Что же до делегатов-миноритов, Михаил Цезенский был озадачен, Иероним взбудоражен, Убертин задумчив.

Молчание нарушил кардинал Поджетто, как всегда улыбающийся и благостный, который самым любезным образом осведомился, готов ли Вильгельм приехать в Авиньон и высказать все то же самое перед папой. Вильгельм в ответ спросил суждения кардинала; тот сказал, что его святейшество папа слыхивал в своей жизни немало спорных высказываний и знаменит снисходительностью к любым духовным детям, однако, без сомнения, речь, произнесенная Вильгельмом, очень бы его огорчила.

Тут вмешался Бернард Ги, который до этих пор ни разу не раскрывал рта: «Я был бы очень рад посмотреть, как брат Вильгельм, столь уверенный и красноречивый здесь, перед нами,

повторил бы все то же самое в присутствии понтифика».

«Вы меня уговорили, господин Бернард, – отвечал Вильгельм. – Я не еду». И добавил, обращаясь к кардиналу, как бы прося у того извинения: «Понимаете ли, ваша милость, сейчас у меня начинается грудная простуда, которая вряд ли позволит мне предпринять настолько далекое путешествие в эту пору года».

«Но в таком случае зачем вы так долго выступали?» – спросил его кардинал.

«Чтобы засвидетельствовать истину, – смиренно отвечал Вильгельм. – Истина делает свободным».

«Ну нет! – сорвался с места в этот момент Джованни Дальбена. – Здесь дело уже не в истине, которая делает свободным, а в непозволительной свободе, которая хочет сойти за истину».

«И это вероятно», – сладким голосом ответил Вильгельм.

Каким-то внутренним чутьем я ощутил, что сейчас будет взрыв и страсти, и языки забурлят еще яростнее, чем прежде. Но этого не случилось. Не успел Дальбена закончить свою речь, как вошел капитан лучников и что-то прошептал на ухо Бернарду. Тот резко встал и движением руки остановил прения.

«Братья, – сказал он. – Возможно, эта полезная дискуссия еще будет нами возобновлена. Однако сейчас происшествие несказанной тяжести вынуждает нас оставить любые занятия – с соизволения Аббата, разумеется. Могу сказать Аббату, что я, сам не желая этого, по-видимому, опередил его намерения, между тем как он надеялся своими силами найти виновника тех многих злодеяний, которые имели место в обители в прошедшие дни. Виновник теперь мною задержан. Но, увы, его взяли слишком поздно. И еще один раз… случилось нечто…» – и он неопределенно махнул рукой в сторону выхода. Затем быстрым шагом пересек залу и вышел наружу. За ним бросились остальные. Вильгельм – в первом ряду, я – рядом с ним.

Учитель посмотрел на меня и сказал: «Боюсь, что это с Северином».

Пятого дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел

Торопливо, тревожно шли мы через монастырское подворье. Начальник лучников вел нас прямо к больнице, и по мере приближения становилось заметно, сквозь серую густоту воздуха, шевеление каких-то теней. Это были монахи и служки, сбегавшиеся на шум, и лучники, загораживавшие двери и не пускавшие войти.

«Эти солдаты посланы мною за человеком, который может пролить свет на все ваши тайны», – сказал Бернард.

«За братом травщиком?» – переспросил ошеломленный Аббат.

«Нет. Сейчас увидите», – сказал Бернард, проталкиваясь внутрь.

Мы вошли в лабораторию Северина, и печальное зрелище открылось нашему взору. Злополучный травщик лежал в луже крови с расколотым черепом. Вокруг него вся лаборатория, казалось, была разворочена бурей: склянки, бутыли, книги, листы валялись повсюду в ужасном смятении и беспорядке. На полу рядом с телом мы увидели небесный глобус размером не менее как с две человечьи головы. Он был из тонко выделанного металла, увенчан золотым крестом и насажен на короткую треногу фигурной ковки. Я вспомнил, что в прошлые разы этот глобус стоял на столике слева от входа.

В другом конце комнаты лучники держали схваченного келаря, который вырывался из их рук, крича о своей непричастности. Вопли его усилились при виде Аббата:

«Ваша милость, – кричал он, обстоятельства против меня! Но я вошел, когда Северин был уже убит! Меня захватили, когда я просто стоял и смотрел на этот разбой!»

Капитан лучников приблизился к Бернарду и с его разрешения отчитался перед ним и перед всеми. Лучники, по его словам, получили приказ обнаружить келаря и задержать его. И с тех пор более двух часов искали его, но не могли найти. Я сообразил, что, очевидно, имелось в виду распоряжение, отданное Бернардом перед тем, как войти в капитулярную залу. Солдаты, чужаки в этом месте, по всей вероятности, вели розыски в самых отдаленных углах аббатства, но им и в голову не приходило, что келарь, не подозревая об угрожающих ему бедах, находится вместе с другими монахами в нартексе капитулярной залы. Висевший повсюду туман еще усложнил их охоту. В любом случае из доклада капитана вытекало, что, когда Ремигий на моих глазах устремился в сторону кухни, кто-то увидел его и немедленно известил стражников, которые явились за ним в Храмину. Но в это время Ремигий уже снова покинул Храмину, и совсем недавно, о чем свидетельствовал бывший на кухне Хорхе, заявивший, что только что с ним разговаривал. Лучники стали прочесывать местность по направлению к огородам и там наткнулись в тумане на некий призрак. Это был дряхлый Алинард, который совсем было заблудился и сбился с пути. От Алинарда-то они и узнали, что келарь минуту назад вошел за дверь лечебницы. Лучники поспешили туда. Дверь была открыта. Войдя, они увидели убитого Северина и рядом – келаря, который судорожно рылся на полках, сбрасывая на землю все, что попадало под руку, как будто разыскивал некую определенную вещь. Легко догадаться, как было дело, – заключил капитан. Ремигий проник в дом, набросился на травщика, умертвил его, а затем стал искать то, ради чего ему потребовалось убивать.

Один из лучников поднял с земли небесный глобус и подал Бернарду. Изящное

переплетение медных и серебряных обручей, удерживаемое на более жестком каркасе из бронзовых колец, было схвачено, как за рукоятку, за стержень треноги и со всего размаху обрушено на череп жертвы, с такою силой, что после удара на одной стороне глобуса тонкие металлические обручи вогнулись и порвались. На то, что именно этой стороной глобуса была расколота голова Северина, указывали следы крови и даже налипшие клочья волос и отвратительные слизистые сгустки мозгового вещества.

Вильгельм наклонился над Северином, чтобы констатировать смерть. Глаза несчастного, залитые ручьями крови, струившейся из пробитой головы, застыли, выкатившись из орбит, и я тут же подумал – не запечатлелся ли в этих оцепенелых зеницах (как бывает, судя по рассказам, в некоторых случаях) образ убийцы – последнее, что успел увидеть покойник перед кончиной. Но Вильгельма интересовали не глаза, а руки. Я увидел, как он потянулся к ладоням убитого – проверить, нет ли на подушечках пальцев черных пятен, хотя в данном случае причина смерти была безусловно иная. Но руки Северина были обтянуты кожаными рукавицами, теми самыми, которыми он иногда пользовался и при мне – когда работал с опасными травами, ящерицами, неизученными насекомыми.

Тем временем Бернард Ги заговорил с келарем: «Ремигий из Варагины твое имя, не так ли? Я посылал за тобой людей для твоего задержания на основании других улик, намереваясь проверить другие подозрения. Сейчас я вижу, что действовал правильно, хотя, каюсь, и чересчур медлительно. Ваше высокопреподобие, – обратился он к Аббату, – я готов объявить себя почти что прямым виновником этого последнего несчастья, поскольку с самого утра имел в виду, что этого человека необходимо привлечь к ответственности на основании признаний того, другого злоумышленника, захваченного сегодня ночью. Но, как вы, я полагаю, могли убедиться, утром я был занят исполнением иных обязанностей, а люди мои смогли сделать только то, что смогли…»

В то время как он произносил все это звонким, зычным голосом, чтобы слышали все собравшиеся (а в комнату успело набиться множество народа; люди проникали сюда под любыми предлогами, глазели на разбросанные и покореженные вещи, тыкали пальцами в сторону трупа и вполголоса обсуждали ужасное преступление), я увидел лицо Малахии, безмолвного среди говорливой толпы и мрачно озиравшего место происшествия. Увидел его и келарь – как раз когда его выволакивали из комнаты. В этот миг он рванулся, выскользнул из цепких рук стражников, бросился к собрату, ухватил того за рясу и стал что-то отрывочно и отчаянно втолковывать ему, прижавшись лицом почти что к самому его лицу, покуда лучники снова не скрутили его. Но даже и когда они его снова скрутили и, грубо толкая, потащили к выходу, он снова повернулся к Малахии и выкрикнул последние слова: «Клянись, и я клянусь!»

Малахия ответил не сразу. Он как будто подыскивал подходящие слова. Потом, когда упиравшегося келаря вытащили почти за порог, вдогонку сказал: «Я не буду делать ничего во вред тебе».

Мы с Вильгельмом, глядя на этих двоих, пытались понять, что означает их разговор. Внимательно наблюдал за этой сценой и Бернард, хотя он, похоже, вовсе не был озадачен. Напротив, он улыбнулся Малахии, как будто одобряя его ответ и скрепляя возникшее между ними какое-то мрачное сообщничество. Затем он уведомил всех, что сразу после трапезы в капитулярной зале состоится первое заседание трибунала для публичного разбирательства дела. И вышел, приказав отвести келаря в кузню, но содержать отдельно от Сальватора и не позволять им говорить друг с другом.

И тут мы услышали у себя за спиной голос Бенция. «Я вошел сразу вслед за вами, – прошептал он еле слышно, – когда в комнате еще почти никого не было. Не было и Малахии».

«Он, наверно, позднее пришел», – сказал Вильгельм.

«Нет, – возразил Бенций с уверенностью. – Нет. Я стоял у двери и видел всех, кто входил. Говорю вам, Малахия попал сюда… Еще до…»

«До чего?»

«До келаря. Голову на отсечение не дам, но я убежден, что он выжидал за этой занавесью и вышел только когда собралось много народу», – и он кивнул на широкий полог, загораживавший лежанку, на которой у Северина обычно отдыхали те, кто перенес лечебную процедуру.

«Ты хочешь сказать, что это он убил Северина, а когда вошел келарь – спрятался за полог?»

«Или, может быть, сразу спрятался за полог и наблюдал все, что здесь происходило. Зачем бы иначе келарь просил его не вредить ему? И обещал, что взамен он тоже не будет вредить?»

«Да, возможно, и так, – проговорил Вильгельм. – Как бы то ни было, в этой комнате находится некая книга. Я не сомневаюсь, что она до сих пор находится здесь, так как и келарь и Малахия вышли с пустыми руками».

Из моего рассказа Вильгельм знал, что Бенций знает. Кроме того, сейчас он нуждался в помощи. Сказав это, он подошел к Аббату, который в другом конце комнаты печально оглядывал останки Северина, и попросил сделать так, чтобы все вышли, потому что нужно тщательно осмотреть место происшествия. Аббат выполнил его просьбу и сам тоже удалился, напоследок бросив на Вильгельма полный укоризны взгляд, как будто попрекая его, что он каждый раз является слишком поздно. Малахия всячески пытался остаться в комнате, приводя какие-то причины, на мой взгляд довольно неосновательные, но Вильгельм указал ему, что тут не библиотека и, кажется, здесь особыми правами он не пользуется. Произнося все это, Вильгельм был учтив, но непреклонен и сполна отыгрался за тот день, когда Малахия не подпустил его осмотреть стол Венанция.

Когда нас осталось в комнате трое, Вильгельм смахнул с одного стола устилавшие его черепки и листы и велел мне постепенно, по очереди передавать ему книги из собрания Северина. Совсем маленькое собрание по сравнению с богатствами лабиринта, но все же оно состояло из десятков и десятков томов различной величины, которые раньше в достойном порядке помещались на полках, а ныне были разбросаны по полу вперемешку с другими вещами, раскрытые, развернутые келарем в его лихорадочных поисках, а некоторые даже и разорванные. Можно было подумать, что он искал не книгу, а что-то заложенное между листами книги. Многие книги были распотрошены и с дикой яростью выдраны из переплета. Поднять, сложить каждую, моментально определить ее характер и поместить в одну из стопок, выраставших на столе, – это была довольно большая работа, особенно в условиях спешки, так как Аббат предоставил нам совсем мало времени, поскольку вскорости должны были явиться монахи, чтоб подобрать истерзанное тело Северина и подготовить его к погребению. Вдобавок требовалось осмотреть всю комнату, заглянуть под все столы, поискать под всеми полками и шкалами, не укрылось ли что-нибудь от наших глаз при первом поверхностном осмотре. Вильгельм не захотел, чтобы Бенций помогал мне в этом, и дозволил ему только стоять на страже возле двери. Невзирая на запреты Аббата, многие пытались проникнуть сквозь эту дверь: служки, ошарашенные новостью, монахи, оплакивающие собрата, послушники, вносившие чистую ветошь, вретище и тазы с водою – все необходимое для омовения и облачения тела…

Поэтому приходилось поворачиваться. Я хватал книгу за книгой и подносил к Вильгельму, который обследовал их по очереди и раскладывал на столе. Потом мы увидели, что дело движется медленно, и стали действовать каждый отдельно. То есть я нагибался за книгой, собирал ее по листам, если она разваливалась, читал ее название, клал на стол. Часто попадались не книги, а разрозненные листы.

«De plantis libri tres, проклятие, опять не то», – шипел от злости Вильгельм, швыряя книгу за

книгой.

«Thesaurus herbarum», – подавал голос я. Вильгельм раздраженно отзывался. – «Оставь! Мы ищем греческую книгу».

«Эту?» – спросил я, развертывая перед его глазами том, испещренный замысловатыми закорючками. Он в ответ: «Нет, эта по-арабски, болван! Прав был Бэкон, когда сказал, что первая обязанность ученого – знать языки!»

«По-арабски и вы не знаете!» – огрызнулся я, уязвленный, на что Вильгельм рявкнул: «Но я хотя бы понимаю, когда написано по-арабски!» И я покраснел, услышав, как Бенций хихикает у меня за спиной.

Книг было много, еще больше отдельных записей, свитков с чертежами небесного свода, списков загадочных трав, составленных, скорее всего, рукой покойного на разрозненных листах пергамента. Мы возились долго, обшарили все углы лечебницы. В конце концов Вильгельм даже взялся, с поразительно бесстрастным видом, за труп, перевернул его и поглядел, нет ли чего снизу, а также обыскал одежду мертвеца. Без толку.

«Это невозможно, – сказал Вильгельм. – Северин закрылся здесь с книгой. Келарь вышел без книги…»

«А в одежде он ее не спрятал?»

«Нет. Я ведь видел эту книгу позавчера под столом Венанция. Она довольно большая. Незаметно ее не вынесешь».

«Как выглядел переплет?»

«Не знаю. Она лежала открытая. И смотрел я на нее только несколько секунд. Заметил только, что она по-гречески. Больше ничего не помню. Ну, продолжим. Келарь ее не выносил. Малахия – тоже не думаю».

«Безусловно нет, – вступил в разговор Бенций. – Когда келарь тряс его за грудь, было видно, что у него под капюшоном ничего нет».

«Хорошо. То есть плохо. Если книги нет в комнате, из этого следует, что еще какой-то человек, кроме Малахии и келаря, побывал здесь до нас».

«То есть этот третий и убил Северина?»

«Слишком много действующих лиц», – сказал Вильгельм.

«С другой стороны, – сказал я, – кто мог знать, что эта книга тут?»

«Хорхе, например. Если он слышал наш разговор».

«Да, – сказал я. – Но Хорхе не смог бы убить такого крепкого мужчину, как Северин, и таким жутким способом».

«Разумеется, нет. К тому же ты видел, что он ушел по направлению к Храмине. А лучники, со своей стороны, говорили с ним на кухне как раз перед тем, как был захвачен келарь. Безусловно он не мог успеть побывать тут, а потом вернуться на кухню. Ибо надо еще принять в расчет, что хотя он свободно передвигается по Аббатству, все же он ходит держась за стены и никак не мог податься напрямик через огороды, да еще бегом…»

«Дайте-ка я подумаю своей головой, – сказал я, поскольку с некоторых пор осмелел и завел привычку оспаривать рассуждения учителя. – Итак, Хорхе исключается. Шатался тут неподалеку еще и Алинард. Но и он еле держится на ногах. Естественно, он тоже не мог бы одолеть Северина. Теперь келарь. Келаря застали здесь. Однако с минуты его выхода из кухни до минуты его поимки времени, на мой взгляд, прошло слишком мало. Он вряд ли бы успел уговорить Северина, войти, напасть на того, прикончить и, наконец, устроить тут весь этот содом. А вот Малахия имел возможность опередить всех. Допустим, Хорхе, подслушав ваши слова в сенях, отправляется в скрипторий и извещает Малахию, что книга из библиотеки находится в руках Северина. Малахия идет сюда, убеждает Северина открыть и убивает его… Но непонятно зачем.

Кроме того, если ему нужна была книга, он узнал бы ее с первого взгляда, не переворачивая все вверх дном. Ведь он же библиотекарь! Так. Кто остается?»

«Бенций», – сказал Вильгельм.

Бенций изо всех сил запротестовал, мотая головой: «Нет, брат Вильгельм. Вы знаете, что я сгорал от любопытства. Если бы у меня была возможность тайно пробраться сюда и вынести эту книгу – я бы сейчас находился не здесь с вами, а далеко отсюда. Вместе со своим сокровищем».

«Почти что убедительно, – усмехнулся Вильгельм. – Однако ведь и ты не знаешь, как выглядит книга. Может быть, ты убил, а сейчас пытаешься разыскать ее».

Бенций покраснел как рак. «Я не убийца», – снова пролепетал он.

«Все не убийцы, пока не совершают первое преступление, – философски отвечал Вильгельм. – В любом случае книги нет, и это убедительно доказывает одно: что здесь ты ее не оставил. В то же время мне кажется логичным и тот довод, что если бы ты добрался до нее раньше, ты удрал бы вместе с нею, когда сбежался народ».

Он подошел к бездыханному телу и склонился над ним. По-моему, только сейчас он впервые осознал, что у него погиб друг. «Бедный Северин, – сказал он. – Я ведь подозревал и тебя с твоими ядами. А ты сам боялся быть отравленным – иначе не надел бы эти рукавицы. Боялся смерти от земного яда, а принял ее от небесного свода… – он взял планетный глобус в руки и принялся внимательно осматривать его. – Хотелось бы знать, почему они употребили именно этот предмет…»

«Он был под рукой… Но под рукой были и другие вещи: горшки, садовые инструменты. А это такой дивный образец работы по металлу. Точнейший с точки зрения астрономии. А теперь он поломан и… О, силы небесные!» – внезапно вскричал он.

«Что такое?»

«Поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд так, что затмилась третья часть их…» – прочитал он наизусть.

Я хорошо знал этот текст, даже слишком хорошо. Откровение от Иоанна. «Четвертая труба!» – воскликнул я.

«Совершенно верно. Сперва град, потом кровь, потом вода, а сейчас звезды… Раз так, надо все пересмотреть. Убийца действовал не случайно, а по заранее обдуманному плану. Но можно ли вообразить настолько изощренный ум? Который убивает лишь в тех случаях, когда может выполнить предначертания Апокалипсиса?»

«Что же будет с пятой трубой?» – спросил я, цепенея от ужаса. И попытался вспомнить: «“И я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны…” Что, кто-то потонет в колодце?»

«Пятая труба много чего обещает, – ответил Вильгельм. – Из кладезя выйдет дым, как из большой печи… Потом из дыма выйдет саранча и будет мучить людей своим жалом, подобным жалу земных скорпионов. По виду саранча будет подобна коням, на головах у которых золотые венцы, а зубы у ней, как у львов… Так что наш убийца располагает немалым выборам средств для иллюстрации священной книги. Но не будем поддаваться панике. Лучше попробуем вспомнить, что именно сказал Северин, когда объявил нам, что книга нашлась».

«Вы велели принести ее, а он сказал, что не может».

«Точно. Так. И в это время нас прервали. А по какой причине он не мог? Любая книга поддается переноске. И зачем он надел рукавицы? Боялся, что в переплете книги может быть что-то наподобие яда, убившего Беренгара и Венанция? Какое-то тайное оружие? Отравленное лезвие?»

«Змея?» – предположил я.

«Скажи еще – кит! Да ну, все это вздор. Этот яд, как видели, действует через рот. К тому же

Северин не сказал, что не может принести книгу. Он сказал, что предпочел бы показать мне ее здесь. И надел рукавицы… В любом случае – мы теперь знаем, что эту книгу не берут голыми руками. И ты тоже, Бенций, имей это в виду, если найдешь ее, как надеешься. А сейчас, раз уж ты так услужлив, можешь мне помочь. Ступай в скрипторий и присматривай за Малахией. Не спускай с него глаз».

«Будет сделано!» – ответствовал Бенций и удалился, как нам показалось, очень обрадованный полученным заданием.

Мы не могли дальше держать двери запертыми. Комната наполнилась народом. Час трапезы только что миновал; по всей видимости, Бернард приступил к сбору своих людей для заседания в капитуле.

«Здесь больше делать нечего», – сказал Вильгельм.

Новая идея пронизала мой мозг. «А не мог ли убийца, – сказал я, – выкинуть книгу в окно, чтобы потом пройти на задворки больницы и подобрать ее?» Вильгельм с сомнением посмотрел на окна лаборатории, судя по виду – герметично закрытые. «Что же, посмотрим», – сказал он.

Мы вышли и осмотрели всю заднюю стену дома, почти вплотную соприкасавшуюся с крепостной стеной, но все же отстоявшую от неё, отчего на задах образовался узкий проход. Вильгельм ступал очень осторожно, так как на этом пространстве снег, выпавший в предыдущие дни, был совершенно нетронут. Каждый наш шаг впечатывался в заледенелую, но хрупкую снежную корку, оставляя глубокие вмятины. Значит, если бы кто-нибудь прошел там до нас, следы остались бы столь же заметные. Следовательно, никто не проходил.

Пришлось распрощаться и с больницей, и с моей малоудачной гипотезой, и, проходя вдоль огородов, я спросил Вильгельма, действительно ли он доверяет Бенцию. «Не вполне, – ответил он. – Но в любом случае мы не сказали ему ничего такого, чего бы он и без нас не знал. И вдобавок постарались сделать так, чтобы он боялся этой книги. Кроме того, отправляя его присматривать за Малахией, мы подразумеваем, что и за ним самим будет присматривать Малахия, который, несомненно, сейчас разыскивает эту книгу собственными силами».

«А келарь что искал?»

«Скоро узнаем. Безусловно, ему было что-то очень нужно, причем немедленно. Это что-то должно было его спасти от некоей ужасной опасности… Это что-то известное Малахии… Иначе необъяснимо, почему Ремигий бросился к нему с такими отчаянными мольбами».

«Как бы то ни было, книга исчезла».

«И это самое невероятное, – сказал Вильгельм. Мы уже подходили вплотную к капитулу. – Если она там была, – продолжал он, – а Северин сказал, что она там была, значит… Одно из двух: либо ее вынесли, либо она все еще там».

«А поскольку ее там нет, значит, ее вынесли», – заключил я.

«Нигде не сказано, что этот же силлогизм нельзя построить на обратном малом термине. То есть так: поскольку все указывает на то, что книгу никто не выносил…»

«Значит, она все еще там. Да, но ее там нет».

«Минуточку. Мы утверждаем, что ее нет, на основании того, что мы ее не нашли. Но может быть, мы ее не нашли на основании того, что не увидели, а она там была…»

«Но мы везде посмотрели!»

«Смотрели. Но не видели. Или видели, но не увидели… Скажи, Адсон, как, по-твоему, Северин описывал эту книгу? Какими словами он пользовался?»

«Он сказал, что нашел чужую книгу на греческом языке».

«Нет! Я вспомнил. Он сказал – странную книгу. Северин был ученый человек. А ученому греческая книга не может показаться странной. Даже если этот ученый греческим не владеет. Он хотя бы распознает алфавит. Ученый и арабскую книгу странной не назовет, даже если не

знает арабского… – и вдруг он замер с открытым ртом. – Стой! Что делала арабская книга у него в лаборатории?»

«Но ведь арабскую книгу он не назвал бы странной?»

«Да. В этом вопрос. Если он назвал книгу странной, значит, в ней было что-то необычное. Хотя бы на его взгляд – на взгляд травщика, а не библиотекаря… В библиотеках иногда старинные рукописи переплетают по нескольку в один том. К примеру, собирают воедино забавные и любопытные тексты: один по-гречески, другой по-арамейски…»

«…и третий по-арабски!» – взвыл я, пронзенный внезапной догадкой.

Вильгельм свирепо ухватил меня за шиворот, выволок из нартекса и погнал обратно к лечебнице. «Скотина тевтонская, лопух, невежда, ты посмотрел только на первый лист, а в середину не заглянул!»

«Но учитель, – тяжело дыша, отбивался я, – ведь вы сами посмотрели на показанный мною лист и сказали, что там по-арабски, а не по-гречески!»

«Да, Адсон, ты прав! Это я – скотина! Бежим, живей, живей!»

Добежав до лаборатории, мы с трудом протиснулись внутрь, потому что как раз в это время послушники выносили тело. Другие любопытные слонялись по комнате. Вильгельм бросился к столу, перебрал все тома, разыскивая тот, заветный. Он швырял их один за другим на землю под недоуменными взглядами послушников, а потом стал подбирать и снова класть на стол, листая каждый не менее двух раз. Увы, увы, арабской рукописи уже не было! Я смутно вспомнил общий вид ее переплета, не толстого, довольно истрепанного, с легкой металлической окантовкой.

«Кто входил после того, как мы вышли?» – спросил Вильгельм у какого-то монаха. Тот пожал плечами. Было ясно, что заходили все – и никто.

Мы обсудили возможные варианты. Малахия? Правдоподобно. Он знал, что ищет. Наверное, он выследил нас, увидел, как мы выходим с пустыми руками, вернулся и действовал наверняка. Бенций? Я вспомнил, что во время перепалки насчет арабской книги он хихикал. Тогда я подумал, что он смеется над моим невежеством. А он, наверно, смеялся над недогадливостью Вильгельма. Он ведь хорошо знал, в скольких обличьях может предстать старая рукопись. Он, вероятно, сразу обратил внимание на то, о чем не подумали мы с Вильгельмом. Хотя обязаны были подумать. А именно – на то, что Северин не знал арабского и, значит, незачем ему было держать при себе книгу, которую он не мог прочесть… А может быть, все-таки не Малахия и не Бенций, а кто-то третий?

Вильгельм был унижен до крайности. Я пытался утешить его, говоря, что в течение трех дней он гонялся за греческим текстом и потому естественно, что при столь поспешном осмотре он отбрасывал все книги, которые с первого взгляда казались не греческими. Но он отвечал, что несомненно я прав и человеку свойственно ошибаться, однако бывают такие представители рода человеческого, у которых ошибок значительно больше, чем у других, и их принято называть умственно неполноценными, и он принадлежит к этому разряду, и он просит только объяснить ему, зачем надо было столько лет учиться в Париже и в Оксфорде, чтобы в конце концов оказаться неподготовленным к тому, что старинные рукописи обычно переплетают по нескольку, о чем знают самые желторотые послушники, любые послушники, кроме таких идиотов, как я, и парочка идиотов вроде нас с ним могла бы иметь большой успех на ярмарках, и именно этим нам следовало заняться с самого начала, а не расследовать убийства, в особенности когда наши противники – люди гораздо более развитого ума.

«И все-таки нечего убиваться, – заключил он свой монолог. Если книгу взял Малахия, он уже, наверно, определил ее на место, в библиотеку, и мы ее отыщем – осталось только догадаться, как попадают в предел Африки. Если же ее взял Бенций – он, должно быть, понимает, что рано или поздно я додумаюсь до того же, до чего додумался он, и вернусь в

лабораторию… иначе он не орудовал бы с такой поспешностью. А значит, он спрятался. Делать нечего. Единственное место, куда он прятаться ни в коем случае не станет, – это место, где мы бы его мгновенно нашли. То есть его собственная келья. Раз так, вернемся лучше в капитул и посмотрим, не скажет ли келарь во время допроса что-нибудь важное. Ибо в довершение всего я до сих пор не разобрался в кознях Бернарда. Он ведь начал искать этого человека еще до смерти Северина и по иному поводу». Мы возвратились в капитул. Однако лучше бы нам было сразу же подняться в келью Бенция. Ибо, как мы позднее установили, наш юный друг был вовсе не такого высокого мнения о Вильгельме и не подозревал, что тот так быстро вернется в лабораторию. И посему, убежденный, что никто его не ищет, он спокойненько спрятал книгу у себя в келье.

Но об этом я расскажу позднее. Тем временем случилось столько тревожных и драматических событий, что история таинственной книги почти что забылась. А если забылась и не полностью, все же нам пришлось отвлечься на другие дела, сопряженные с заданием, которое Вильгельм продолжал выполнять.

Пятого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что неправы все

Бернард Ги разместился во главе большого орехового стола в капитулярной зале. Рядом с ним сел один из доминиканцев, чтоб исполнять обязанности секретаря, а в стороне – два прелата из авиньонской делегации в качестве судей. Келаря поставили напротив стола, между двумя стражниками.

Аббат наклонился к Вильгельму и прошептал: «Не знаю, законна ли процедура. Латеранский собор 1215 года постановил в каноне XXXVII, что никто не может привлекаться к ответственности перед судьями, заседающими более чем в двух днях пути от места его проживания. Здесь положение вообще-то другое, приезжий не подсудимый, а судья, и все же…»

«Инквизиторы действуют вне рамок открытого законодательства, – ответил Вильгельм, – и не обязаны соблюдать нормы уголовного права. Они наделены чрезвычайными полномочиями и проводят процессы без слушания адвокатов».

Я посмотрел на келаря. Ремигий выглядел жалко. Он озирался по сторонам, как загнанный зверь. Ему как будто было заранее ясно, к чему ведут ритуалы и обряды устрашающей литургии. Теперь я знаю, что ужас его вызывался по меньшей мере двумя причинами, равно тревожными: во-первых, тем, что он был застигнут, судя по видимости, с поличным на месте преступления; во-вторых, тем, что с предыдущего дня, когда Бернард начал свое расследование, собирая по углам сплетни и слухи, келарь боялся, что выплывут его прошлые дела, и еще сильнее затрепетал он с тех пор, как взяли Сальватора.

Итак, несчастный Ремигий уже с самого начала был полностью охвачен страхом, а Бернард Ги, со своей стороны, в совершенстве владел умением доводить беспокойство жертв до настоящей паники. Он не говорил ничего; в то время как все вокруг ожидали, когда же он приступит к официальному допросу, он перебирал и перекладывал документы, лежавшие перед ним на столе, делая вид, будто приводит их в порядок. Но движения его были рассеянны, а глаза пристально уставлены на обвиняемого, и в этих глазах смешивались лицемерное сострадание («не опасайся, ты в руках твоих братьев, которые не желают тебе ничего, кроме блага»), ледяная ирония («тебе еще неизвестно, в чем состоит это благо, но очень скоро узнаешь») и беспощадная суровость («но в любом случае я здесь тебе единственный судья, и весь ты теперь мой»). Все это, надо полагать, Ремигий предощущал и раньше, но молчание и неспешность председательствующего еще ярче демонстрировали ему положение вещей и еще глубже заставляли его прочувствовать, кто он такой, чтобы он, боже упаси, не подумал забыться, а напротив, все сильнее проникался бы чувством униженности, и чтоб отчаяние его переходило в безнадежность, и чтобы весь он целиком подчинился судье, превратился в мягкий воск под его руками.

Наконец Бернард нарушил молчание. Начав с нескольких процессуальных формул, он доложил судьям, что намерен приступить к допросу обвиняемого по поводу двух преступлений, равно мерзостных, из которых одно очевидно и доказано, но не более опасно, чем другое, поскольку хотя обвиняемый был захвачен с поличным при убийстве, в это время он уже разыскивался по подозрению в еретической деятельности.

Это было произнесено. Келарь спрятал лицо в ладони, с трудом подняв руки, скрученные

цепями. Бернард повел допрос.

«Кто ты?» – спросил он.

«Ремигий Варагинский. Родился пятьдесят два года назад. Подростком поступил в миноритский монастырь в Варагине».

«Как случилось, что ныне ты числишься в ордене Св. Бенедикта?»

«Много лет назад, после того как глава церкви издал буллу Sancta Romana, я убоялся заразиться ересью полубратьев… Хотя никогда не разделял их взглядов… И понял, что для моей греховной души необходимо бежать от среды, полной соблазнов. Тогда я испросил разрешения вступить в ряды членов этой обители, где в течение восьми последних лет являюсь келарем».

«Ты бежал от соблазна ереси, – процедил Бернард, – или ты бежал от следствия, посланного обнаруживать ересь и вырывать дурные ростки? А добросердечные клюнийские монахи думали, что совершают акт милосердия, принимая тебя и таких, как ты! Но мало сменить рясу! Душа сама собой не очищается от скверны еретических лжетеорий! И поэтому мы сейчас здесь обязаны проверить, что же гнездится в тайниках твоей нераскаянной души и чем ты занимался до того, как попал в это святое место».

«Душа моя невинна. Не знаю, что вы имеете в виду под еретическими лжетеориями», – сдержанно отвечал келарь.

«Вы видите? – вскрикнул Бернард, поворачиваясь к другим судьям. – Вот так они все! Когда их арестуют, они предстают перед судом с таким видом, будто совесть их спокойна и на душе нет угрызений. И не ведают, что это – самый заметный признак их вины, потому что по-настоящему невинный человек на процессе не чувствует себя спокойно! Спросите его, знает ли он, какие причины привели к его аресту. Ты знаешь это, Ремигий?»

«Ваша милость, – отвечал келарь, – мне хотелось бы услышать это из ваших уст».

Я с удивлением отмечал, что у келаря на все ритуальные вопросы, казалось, были заготовлены столь же ритуальные ответы, как будто он заранее изучил и правила проведения допроса, и все уловки следователей. Как будто заранее готовился к подобному повороту судьбы.

«Вот, вот, – восклицал тем временем Бернард. – Типичный ответ нераскаявшегося еретика! Они юлят и петляют, как лисы, и очень трудно их подловить, потому что их мораль дает им право лжесвидетельствовать на допросе, спасаясь от справедливого наказания. Они выдумывают замысловатые ответы и стараются запутать следователя, а ведь тот страдает уже и от одной необходимости общаться с такими презренными личностями! Так что же, Ремигий, – ты никогда не имел ничего общего с так называемыми полубратьями, иначе, с братьями бедной жизни, или же бегинами?»

«Я жил жизнью монаха-минорита в те времена, когда мир был объят спорами о бедности; но к секте бегинов никогда не принадлежал».

«Видите? – сказал Бернард. – Он отрицает принадлежность к бегинам потому, что бегины, хотя и являются участниками той же самой полубратской ереси, относятся к полубратьям недружелюбно, называют их отсохшей ветвью францисканского ордена и считают себя чище и совершеннее, чем полубратья. Однако у тех, и у других многие обычаи совершенно одинаковы. Станешь ты отрицать, Ремигий, что тебя видели в церкви, как ты молился, скрючившись и повернувшись лицом к стене, либо простершись на полу и накрывши голову капюшоном, вместо того, чтоб, как положено, становиться на колени, сложив ладони, как делают прочие люди?»

«Члены ордена Святого Бенедикта тоже простираются в надлежащих случаях…»

«Я спрашиваю не про надлежащие случаи, а про ненадлежащие! Итак, ты не отрицаешь, что принимал и ту, и иную позу, характерную для бегинов! Но все-таки ты утверждаешь, что ты не бегин. Тогда скажи: во что ты веруешь?»

«Ваша милость, я верую во все, во что верует добрый христианин…»

«Ну просто святой ответ! А во что верует добрый христианин?»

«В то, чему учит святая церковь».

«А которая церковь святая? Та, которую зовут святой ее приверженники, считающие и себя совершенными, лжеапостолы, полубратья-еретики, или та церковь, которую они сравнивают с блудодеицей Вавилонской и в которую тем не менее веруем все мы, здесь присутствующие?»

«Ваша милость, – растерянно отвечал келарь. – Скажите мне вы, в которую церковь веруете как в истинную».

«Я верую в истинную римскую церковь, единую, святую и апостольскую, руководимую папой и его епископами».

«В это и я верую», – сказал келарь.

«Поразительная изобретательность! – выкрикнул инквизитор. – Поразительная ловкость в игре словами! Вы все слышали?! Он имеет в виду, что верует в то, что я верую в упомянутую церковь! А сам ускальзывает от необходимости признаваться, во что верует он! Но нам хорошо известны все твои уловки, достойные куницы! Сейчас мы все узнаем. Итак, веришь ли ты, заповеди учреждены нашим Господом, что для правильного покаяния необходимо исповедоваться служителям Господа, что римской церкви присвоено право вязать и решить на земле все, что будет решено и вязано на небе?»

«Разве я не должен в это верить?»

«Тебя спрашивают не что ты должен, а во что ты веришь!»

«Я верю во все, что указываете вы и другие добрые доктора», – отвечал келарь в испуге.

«Вот как! А эти добрые доктора, на которых ты ссылаешься, – это случайно не те, кто заправляет твоею сектой? Вот, оказывается, какой смысл твоих слов! Значит, к этим презренным клеветникам, пытающимся выдать себя за единственных преемников святых апостолов, ты обращаешься за поверкой исповедания веры? Ты пытался протащить мысль, что если я поверю в то же самое, во что веруют они, тогда ты и мне поверишь, а иначе будешь верить только этим!»

«Я такого не говорил, ваша милость, – пролепетал келарь. – Это у вас получается, будто я так говорил, а на самом деле я верю вашей милости, когда ваша милость учит меня добру».

«Ну и упорство! – взвыл инквизитор, обрушивая кулак на поверхность стола. – Бубнит наизусть с бесподобным упрямством формулировки, которые заучил в своей секте! Ты ведь что сказал только что? Ты сказал, что собираешься верить мне только в тех случаях, когда я буду проповедовать добро. Вернее, то, что в твоей секте считается за добро. Точно этими словами всегда отвечают лжеапостолы, и этими же словами отвечаешь сейчас ты, может быть, даже не сознавая, что не из твоих уст исходят эти фразы, которым тебя обучили в свое время в секте, чтобы морочить голову инквизиторам! И поэтому ты сейчас сам себя обвиняешь своими же собственными словами, хотя я, может быть, и попался бы в ловушку, если бы не обладал долгим опытом инквизиции. Но тебя ждет жесткий допрос, негодяй! Скажи: ты когда-нибудь слышал о Герарде Сегалелли?»

«Я слышал о нем», – ответил келарь и побледнел, если только могло еще сильнее побледнеть это осунувшееся, полуживое лицо.

«Ты слышал о брате Дольчине из Новары?»

«Я слышал о нем».

«Ты когда-либо встречался с ним? Беседовал с ним?»

Келарь на несколько секунд замер, как будто взвешивая, до какой степени правдивым должен быть его ответ. Потом решился и еле слышно произнес:

«Я встречался с ним. И беседовал».

«Громче! – крикнул Бернард. – Мы хотим услышать, как ты наконец выговоришь хоть одно правдивое слово! Когда вы с ним встречались?»

«Ваша милость, – отвечал келарь, – я был монахом одной новарской обители, когда в наших краях объявились люди Дольчина. Они проходили совсем близко от моего монастыря, и сначала было неизвестно, кто они такие…»

«Ты лжешь! Как мог францисканец из Варагины оказаться в новарском монастыре? Ты не был в монастыре! Ты уже тогда входил в шайку полубратьев, рыскавшую по тем краям, промышляя попрошайничеством! И тогда же ты примкнул к Дольчину!»

«Как вы можете утверждать подобное, ваша милость?» – дрожа, спросил келарь.

«Сейчас увидишь. И могу, и обязан,» – ответил Бернард и велел ввести Сальватора.

Жалко было смотреть на этого несчастного, несомненно подвергшегося в течение ночи гораздо более суровому – и отнюдь не публичному – допросу. Лицо Сальватора, как я описывал, и раньше внушало ужас. Но теперь оно еще больше стало походить на звериную морду. Следов истязаний не было видно. Но по странной безжизненности его опутанного цепями тела, с вывернутыми членами, которыми он почти не мог шевелить, по тому, как волокли его лучники за цепи, как обезьяну на веревке, легко можно было представить себе характер проведенного с ним ночного собеседования.

«Бернард пытал его», – шепнул я Вильгельму.

«Ничего подобного, – возразил Вильгельм. – Инквизитор никогда не пытает. Любые заботы о теле обвиняемого всегда поручаются мирским властям».

«Но это же одно и то же!» – сказал я.

«Нет, это разные вещи. Как для инквизитора – он не пятнает рук, так и для обвиняемого – он ждет прихода инквизитора, ищет в нем немедленной поддержки, защиты от мучителей… И раскрывает ему свою душу».

Я посмотрел в лицо учителю. «Вы смеетесь?» – растерянно сказал я.

«Ты полагаешь, что над такими вещами смеются?» – ответил Вильгельм.

Бернард перешел к допросу Сальватора. И перо мое бессильно воспроизвести те обрубленные – и, если можно это себе представить, еще более вавилонские – подобия слов, которые вырывались у этого жалкого человека, давно уже сломленного, а ныне доведенного до состояния бабуина. Мало что можно было понять в его лепете, и Бернард помогал ему, задавая такие вопросы, что тому оставалось отвечать только да и нет, отвечать одну правду, не надеясь ничего скрыть. Что мы услышали – читатель легко может себе представить. Он рассказал (вернее, подтвердил, что рассказал инквизитору накануне ничью) часть той истории, которую я еще раньше восстановил из отрывочных сведений. О своих скитаниях с полубратьями, пастушатами, лжеапостолами. О том, как во времена брата Дольчина повстречался с Ремигием – одним из дольчиниан. Как вместе с ним спасся после битвы на горе Ребелло и, пройдя многие мытарства, прибился к Казальскому монастырю. К этому он добавил, что ересиарх Дольчин, чуя близкую свою поимку и погибель, вверил означенному Ремигию кое-какие грамоты, чтоб тот передал их, а куда, кому – Сальватор не знает. А Ремигий хранил те грамоты при себе и не решался передать по назначению. А когда стал жить в здешнем монастыре – он, боясь хранить документы у себя, но не желая и уничтожить, передал их на хранение местному библиотекарю, а именно Малахии, чтобы тот спрятал их где-нибудь в тайниках Храмины.

Пока Сальватор рассказывал, келарь с ненавистью глядел на него, а в какую-то минуту не смог удержаться от крика: «Гадина, обезьяна похотливая, я был тебе отцом, другом, порукой, и вот как ты за это отплачиваешь!»

Сальватор посмотрел на покровителя, ныне такого беззащитного, и через силу ответил: «Господине, будь как раньше, я твой. А тут, знамо, острог. Кто без коня, иди пеш».

«Дурак! – закричал на него Ремигий. – Думаешь, спасешься? Ты что, не понял, что и тебя казнят за ересь? Скажи быстро, что тебя пытали, скажи, что ты все придумал!»

«Мне почем знать, какой где толк. Раскол, патарен, сорочин, леонист, арнальднст, сперонист, обрезан. Все одно. Я не учен, ничего не знал, грешил не со зла, господин Бернард милостив и благ. Будет отпускать, во имя Отца, Сына и Духа Святаго…»

«Мы имеем право выносить оправдание исключительно в тех случаях, когда это предусматривается законом, – сказал инквизитор. – И при вынесении приговора мы с отеческой благожелательностью намереваемся сопоставить все обстоятельства и принять во внимание то, с какой степенью добровольности подсудимый содействовал ходу расследования. Иди, иди, возвращайся в камеру и поразмысли, и помолись о милосердии Господнем. Теперь нам предстоит разобраться в некоторых фактах совершенно другого периода. Значит, как выясняется, Ремигий, ты принес на себе грамоты Дольчина и передал их собрату, в ведении которого была монастырская библиотека».

«Неправда, неправда!» – крикнул келарь, как будто подобная защита могла еще иметь какой-то смысл. И вполне логично, что Бернард оборвал его: «Не от тебя требуется подтверждение, а от Малахии Гильдесгеймского».

Вызвали библиотекаря, которого не было среди присутствующих. Я догадывался, что он либо в скриптории, либо в больнице, ищет Бенция и книгу. За ним пошли, и когда он появился в зале, нахмуренный, старающийся ни с кем не встречаться глазами, Вильгельм пробормотал с досадой: «Ну вот, теперь Бенций свободен делать все, что хочет». Однако он ошибался, так как немедленно вслед за этим я увидел, как физиономия Бенция высовывается из-за плеч столпившихся монахов, забивших собою все входы в залу, чтоб следить за допросом. Я показал его Вильгельму. И мы оба решили, что любопытство к небывалому происшествию пересилило в нем любопытство к неведомой книге. Только потом мы узнали, что несколькими минутами прежде он все-таки успел заключить низкопробнейшую сделку.

Малахия вышел и стал перед судьями, стараясь не встречаться глазами с келарем.

«Малахия, – обратился к нему Бернард, – сегодня утром, ознакомившись с признаниями, полученными ночью от Сальватора, я задал вам вопрос, получали ли вы от присутствующего здесь обвиняемого грамоты…»

«Малахия! – вскричал келарь. – Ты сейчас поклялся, что не будешь вредить!»

Малахия почти не повернул головы к подсудимому, хотя тот стоял у него за спиной, а только покосился и ответил так тихо, что даже мне было почти не слышно: «Клятву я не нарушаю. Все, что могло тебе повредить, было сделано раньше. Грамоты были переданы господину Бернарду рано утром, до того как ты убил Северина».

«Но ты знаешь, ты-то знаешь, что я не убивал Северина! Ты знаешь! Потому что ты был там еще раньше!»

«Я? – переспросил Малахия. – Я вошел, когда тебя уже поймали».

«И в любом случае, – перебил Бернард, – что ты искал у Северина, Ремигий?»

Келарь обернулся и растерянно посмотрел на Вильгельма, потом на Малахию, потом снова на Бернарда: «Но я… я услышал, как утром брат Вильгельм… здесь присутствующий… просил Северина сохранить какие-то документы… а я со вчерашней ночи, с тех пор, как схватили Сальватора, думал, что эти грамоты могут выплыть…»

«Ага, значит, ты все-таки кое-что знаешь об этих грамотах!» – торжествующе выкрикнул Бернард. Келарь понял, что попался. Его зажали между двумя угрозами: обвинением в ереси и обвинением в убийстве. По-видимому, от второго обвинения он решил отбиться во что бы то ни стало и теперь вел себя бестолково и безрассудно:

«О грамотах потом… Я все объясню… Расскажу, как они ко мне попали… Но сперва дайте я расскажу, как было дело сегодня. Я боялся, что эти грамоты всплывут. Боялся с тех пор, как Сальватор попал в руки господина Бернарда. Вот уже много лет мысль об этих грамотах мучает

меня. И когда я услышал, что Вильгельм с Северином сговариваются о каких-то документах… Ну, не знаю… Какой-то страх завладел мной. Я подумал, что Малахия, наверно, избавился от них и передал Северину. Я решил, что их надо уничтожить. И пошел к Северину. Двери были открыты. И Северин лежал уже убитый… А я стал шарить в его вещах и искать документы… Я был вне себя от страха…»

Вильгельм прошептал мне на ухо: «Глупец несчастный. Испугался одной ловушки и полез прямо в другую».

«Предположим, ты сейчас почти не лжешь, – заговорил Бернард. – Я подчеркиваю: почти. Ты думал, что грамоты у Северина, и искал их у него. А с чего ты взял, что они у него? И зачем ты убил до него других собратьев? Может, ты думал, что эти воровские грамоты уже давно гуляют по аббатству? Может, в этом монастыре принято гоняться за реликвиями сожженных еретиков?»

При последних словах Аббат подскочил, как от удара. Не существовало более страшного обвинения, чем в хранении реликвий еретиков. А Бернард, похоже, очень ловко собирался приплести убийства к еретической деятельности и все вместе – к обстановке в монастыре… Из раздумий меня вывел жуткий вопль келаря, уверявшего, что он не имеет никакого отношения к предыдущим убийствам. Бернард снисходительно оборвал его: пока что рассматривается другое дело. Предъявлено обвинение в еретической деятельности, и пусть келарь не хитрит (тут голос Бернарда зазвучал совсем зловеще) и не пытается отвлечь внимание от собственных еретических происков, кивая на покойного Северина или спихивая вину на Малахию. Так что вернемся к вопросу о грамотах.

«Малахия из Гильдесгейма, – обратился он к свидетелю. – Вы вызываетесь не как обвиняемый. Сегодня утром вы дали исчерпывающий ответ на мои вопросы и пошли мне навстречу, не пытаясь ничего замалчивать. Теперь повторите при всех свои показания – и вам нечего будет опасаться».

«Повторяю то же, что сказал утром, – начал Малахия. – Вскоре после поступления в наш монастырь Ремигий взял на себя заботы о кухнях. У нас установились регулярные служебные взаимоотношения. Поскольку я, как библиотекарь, отвечаю за ежевечернюю подготовку Храмины к ночи, я, естественно, запираю и кухню… Не вижу причин скрывать, что мы с Ремигием по-братски сдружились. Точно так же не видел я причин подозревать его в чем-либо дурном. В ту пору он и рассказал мне, что хранит некие документы секретного содержания, доверенные ему исповедавшимся. И сказал, что эти документы не должны попасть в руки непосвященных, и что потому опасно ему держать их при себе. Поскольку я имею доступ в единственное здесь помещение, недоступное для остальных братьев, он попросил меня взять на хранение эти документы и поместить там, вдали от любопытных взглядов. И я согласился, никак не предполагая, что документы могут носить еретический характер… Не читая, я отнес их в… ну, в самый закрытый из тайников библиотеки. И с тех пор не вспоминал об этом. Не вспоминал до сегодняшнего утра, когда от господина инквизитора поступил запрос на эти документы. Тогда я пошел за ними и передал их в его руки…»

Аббат прервал его, пылая гневом: «Почему ты не поставил меня в известность? Библиотека – не склад для личной собственности монахов!» Этими словами Аббат ясно дал понять, что руководство монастыря отказывается иметь что-либо общее с этой историей.

«Ваша милость, – смущенно отвечал Малахия, – я отнесся к этому как к малозначащей вещи… Согрешил без умысла…»

«Ну разумеется, разумеется, – перебил его Бернард самым сердечным тоном. – Мы все уверены, что библиотекарь действовал исключительно из благих побуждений, и его искреннее и добровольное сотрудничество со следствием служит дополнительным доказательством в его

пользу. По-братски прошу ваше высокопреподобие не ставить ему в вину эту давнюю неосторожность. Мы верим Малахии. И ждем от него лишь одного. Пускай теперь под присягой подтвердит, что документы, которые я сейчас предъявлю, – те самые, которые были мне переданы сегодня утром, и они же – те самые, которые Ремигий Варагинский вручил ему много лет назад по вступлении в здешнюю обитель». И он поднял два листа пергамента, лежавшие на столе среди прочих. Малахия посмотрел на них и твердо сказал: «Клянусь всемогущим Отцом Небесным, пресвятой Богоматерью и всеми святыми, что это было и есть именно так».

«По мне достаточно, – сказал Бернард. – Вы можете идти, Малахия из Гильдесгейма».

Когда Малахия, низко опустив голову, шел к выходу и почти поравнялся с дверью, вдруг кто-то крикнул из толпы любопытных, сгрудившихся в глубине залы: «Ты прятал его письма, а он показывал тебе ляжки послушников на кухне!» Раздались смешки. Малахия проложил себе дорогу к двери, работая локтями направо и налево. Я поклялся бы, что голос принадлежал Имаросу, хотя и был искажен до дурацкого фальцета. Аббат, полиловев от злости, заорал, что требует полной тишины, и пригрозил ужаснейшими карами всем посторонним, кто немедленно не очистит залу. Бернард довольно сально ухмыльнулся, кардинал Бертран на другой оконечности помещения припал к уху Иоанна д'Анно и что-то объяснял ему, после чего тот с размаху прихлопнул себе рот ладонью и ткнулся головою в грудь, как при приступе кашля. Вильгельм шепнул мне: «Келарь не только сам грешил как мог, но, оказывается, и сводничал. Хотя для Бернарда это не имеет никакого значения. Кроме той небольшой пользы, что этим можно удачно шантажировать Аббона, имперского посредника».

Речь Вильгельма прервал не кто иной как Бернард, ныне обращавшийся к нему. «Мне, кроме того, хотелось бы сейчас услышать от вас, брат Вильгельм, о каких записях вы договаривались ныне утром с Северином, чем ввели в заблуждение Ремигия, побудив его к противоправным действиям».

Вильгельм выдержал его взгляд, не опуская глаза. «Келарь действительно впал в заблуждение, вы правы. Мы с Северином обсуждали один трактат о лечении псиной водобоязни, сочинение Айюба аль-Ругави; это книга необыкновенной содержательности, которая вам безусловно известна по отзывам и к которой вы, должно быть, неоднократно обращались… Бешенство собачье, указывает Айюб, определяется по двадцати пяти нижеследующим признакам…»

Бернард, принадлежавший к ордену domini canes – «псов господних», – предпочел в данном случае не задираться. «Вижу, вы говорили о вещах, не имеющих отношения к слушаемому делу», – быстро проговорил он и перешел к дальнейшему допросу.

«Вернемся к тебе, минорит Ремигий, опаснейший для рода человеческого, чем бешеная собака. Если бы брат Вильгельм во все эти дни, проведенные здесь до нашего прибытия, чуть больше бы внимания обратил на то, что слюною брызжут не только бешеные псы, но и еретики, может быть, ему удалось бы и самостоятельно выследить гада, угнездившегося в аббатстве. Займемся посланиями. Теперь суду доподлинно известно, что они были в твоих руках и что ты заботился подальше упрятать их, как будто напитанные отравой, и что ты дошел даже и до убийства, – тут Бернард движением руки остановил все протесты келаря, – об убийстве поговорим позже… И ты не погнушался даже убийства, повторяю, только бы эти послания не попали ко мне в руки. Теперь ты признаешь, что они твои?»

Келарь не отвечал, но молчание его было достаточно красноречиво. Бернард продолжил с нажимом: «Что же представляют из себя эти грамоты? Это, как видим, два листа, писанных рукой ересиарха Дольчина за несколько дней до его взятия. Он самолично вверил их приспешнику, чтобы тот разнес их к другим последователям секты, рассеянным по Италии. Я мог бы прочесть сейчас здесь перед вами все, что в них говорится, и как этот самый Дольчин,

трясясь в предчувствии неминуемой кончины, вкладывает в последние письма всю надежду, какая у него была, – а собратьям он признавался, что это надежда на дьявола! Желая утешить их, он заверяет: невзирая на то, что приводимые сроки не совпадают со сроками предыдущих грамот, где он обещал к 1305 году полнейшую расправу, при помощи императора Фредерика, со всеми какие ни есть священниками, все-таки сказанная расправа осуществится и она уже близка. И тем самым снова клеветал ересиарх, ибо уже двадцать, и более двадцати лет минуло с того часа, и ни одно из его грозных прорицаний не оправдалось. Однако мы сейчас не о смехотворной наглости этих предсказаний намереваемся говорить, а о том, что Ремигий был их разносчиком и распространителем. Станешь ли ты снова отрицать, нераскаянный ты предатель, отщепенец, что находился в сношении и сообщничестве с сектой лжеапостолов?»

Келарь уже не мог отрицать ничего. «Ваша милость, – начал он. – Мои молодые годы омрачены роковыми ошибками. Когда я увлекся проповедью Дольчина, уже заранее подготовленный к тому соблазнительными идеями братьев бедной жизни, я уверовал в его слова и поступил в его банду. Да, все это правда, и я был вместе с ними под Брешией, и был под Бергамо, был на Комо и в долине Вальзесии, с ними я отступал на Лысую гору и в ущелье Расса, с ними, наконец, попал на Ребелло. Но я не участвовал ни в каких их злодействах, и хотя окружающие насиловали и грабили, я пытался хранить в себе тот дух кротости, который присущ сыновьям Франциска; и именно на горе Ребелло я осознал, что не могу так дальше, и повинился Дольчину, что не в состоянии больше участвовать в их битвах, и он дал мне позволение удалиться, потому что, сказал он, колеблющихся ему не надо, и единственное, о чем он меня попросил напоследок, – это перенести его грамоты в Болонью…»

«Кому?»

«Некоторым сектантам, имена их я, надеюсь, запомнил верно и как их помню – готов назвать, ваша милость», – торопливо выговорил Ремигий. И он назвал несколько имен, которые, судя по всему, кардиналу Бертрану были знакомы, так как он заулыбался с довольным видом, удовлетворенно кивая Бернарду.

«Очень хорошо, – сказал Бернард и записал имена. Потом спросил Ремигия: – А как это ты сейчас выдаешь друзей?»

«Они мне не друзья, ваша милость, что доказывается, как сами видите, и тем, что письма я им не передал. Я еще и больше сделал в свое время, ваша милость, и сейчас расскажу, хотя, говоря по чести, много лет старался это забыть. Чтобы выйти из лагеря Дольчина через линии войск епископа Верчелли, обложившего гору кольцом осады, я договорился с его людьми и в обмен на свободный пропуск указал им тайные подходы к укреплениям Дольчина и объяснил, как лучше нападать. Поэтому в успехе церковных сил и в их победе над мятежниками есть какая-то доля и моих заслуг».

«Очень интересно. Это доказывает не только что ты отщепенец, но и что ты подлейший трус и предатель. И твоего положения это не улучшает. Как сегодня, чтобы спасти шкуру, ты попытался свалить вину за убийство на Малахию, который вдобавок тебя же и покрывал много лет, так в свое время, чтобы унести ноги из опасного места, ты передал своих товарищей по греху в руки правосудия. Но ты предал только их телесную оболочку, ибо от духа их учения ты и позднее не отступился и стал сохранять эти грамоты как реликвии, надеясь когда-нибудь в будущем набраться храбрости и, по возможности не подвергая себя риску, передать их по назначению, чтобы прийтись ко двору любезным тебе лжеапостолам».

«Нет, ваша милость, это не так, – возразил келарь, весь в поту, с трясущимися руками. – Нет, клянусь вам, что…»

«Клянешься! – прогремел Бернард. – Вот еще одно доказательство твоей подлой натуры! Ты хочешь поклясться потому, что прекрасно знаешь, что я прекрасно знаю, что еретики-вальденцы

способны на любое ухищрение и даже готовы на смерть, лишь бы избежать клятвы! А если их припереть к стенке, припугнуть, тогда они делают вид, что клянутся, бормочут лживые клятвы! Но мне, имей в виду, прекрасно известно, что ты не из секты лионских нищих, проклятая ты лисица, и что ты теперь из кожи лезешь, чтобы убедить меня, что ты не тот, кем являешься, – все, чтобы только я не додумался, кем ты являешься на самом деле. Значит, ты готов клясться! Хочешь клясться, чтоб заморочить нам голову! Знай, что все твои клятвы для меня – пустой звук! Клянись хоть пять, хоть десять, хоть сотню раз, сколько хочешь. Я прекрасно знаю и то, что у вас в секте отпускают грехи всем, кто вынужден был произнести лживые клятвы, чтобы не предать секту. Так что каждая новая клятва будет новым доказательством твоей вины!»

«Что же мне делать?» – вскричал келарь, падая на колени.

«Не простирайся как бегин! Ничего тебе не делать. Отныне я решаю, что делать, а что нет, – ответил Бернард с жуткой улыбкой. – Тебе же остается только покаяться. Если покаешься – будешь проклят и осужден. И если не покаешься – будешь проклят и осужден. В этом случае будешь осужден за ложные показания! Так что покайся, хотя бы для того чтоб не затягивать этот допрос, оскорбляющий нашу благопристойность и чувства сострадания и жалости!»

«Но в чем же мне каяться?»

«В грехах двух порядков. Сначала в том, что ты был в секте Дольчина, и разделял его еретические воззрения и разбойный обычай, и глумился вместе с ним над честью епископов и городских магистратов, и до сих пор живешь нераскаянным, исповедуя все ту же ложь и все те же бредни, даже и теперь, когда ересиарха нет в живых, а секта его распущена, хотя и не до конца выявлена и истреблена. А также в том, что, развращенный до глубины души мерзостной той сектою, ты повинен в преступлениях против Бога и человечества, совершенных тобою здесь в аббатстве ради каких-то тайных выгод, которые для меня все еще неясны, однако, по всей вероятности, и не нуждаются в особом выяснении, поскольку и без того блистательно доказывается и предварительным расследованием, и показаниями на процессе, что лжетеория исповедовавших и исповедующих бедность, тех, кто упорствует вопреки всем указаниям его святейшества папы и всем его буллам, не может не приводить к преступной развязке. И это должны уяснить все правоверные христиане. Вот что мне нужно – и больше ничего. Покайся».

Теперь стало ясно, к чему клонит Бернард. Совершенно не интересуясь, кто убийца прочих монахов, он стремился только к одному – доказать, что Ремигий в какой-то мере разделял идейные воззрения имперских богословов. Теперь, если удастся продемонстрировать связь между этими воззрениями, являющимися также воззрениями Перуджийского капитула, и ересью полубратьев и дольчиниан, тем самым будет доказано, что один и тот же человек в аббатстве, исповедуя все эти предосудительные идеи (более того – еретические), в то же время выступал организатором всех преступлений, и Бернард нанесет воистину смертельный удар своим оппонентам. Я взглянул на Вильгельма и увидел, что он тоже видит опасность, но ничего поделать не может, хотя и заранее предполагал, что так повернется.

Я взглянул на Аббата и увидел, что он чернее тучи, поскольку тоже, хотя и с опозданием, понял, что попал в ловушку и что его собственный авторитет посредника рушится на глазах, коль скоро выясняется, что во вверенной ему области укоренились все пороки текущего столетия. А келарь… Он, казалось, уже не понимал, от каких обвинений есть возможность оправдаться, от каких – нет. Он уже не соображал ничего. Вопль, рвавшийся из его уст, был воплем его души. И в этот вопль он вложил долгие годы тайной сердечной муки. Прожив целый век, полный сомнений, одушевлений и разочарований, подлостей и предательств, он понял, что настал момент взглянуть в глаза неотвратимой кончине. И пред ее лицом он снова обрел веру собственной юности. Он уже не думал о том, истина в этой вере или ложь. Он как будто доказывал самому себе, что еще способен просто верить.

«Да, это правда, – вскричал он. – Я был с Дольчином, я участвовал в его преступлениях, в его разгуле, возможно, я был не в себе, возможно, вместо любви к Господу нашему Христу Иисусу я испытывал только потребность в свободе и ненависть к епископам… Это верно, я грешил, но клянусь всем чем хотите – ни в одном из здешних убийств я не повинен, клянусь вам всеми святыми!»

«Так, ну хотя бы что-то мы имеем, – сказал Бернард. – Значит, ты признаешь, что участвовал в ереси Дольчина, колдуньи Маргариты и их сообщников. Ты признаешь, что был при них и с ними в то время, когда поблизости Триверо предавали повешенью бессчетное число честных христиан, среди них невинного ребенка десяти лет? И вешали людей перед глазами родителей и жен, потому что они отказывались подчиниться произволу этих псов? А также потому, что в озлоблении от вашего бешенства и вашей спеси вы вбили себе в головы, что не получит вечного спасения ни один из тех, кто не вошел в вашу секту? Говори!»

«Да, да, я думал и делал все, что вы сейчас сказали!»

«И ты присутствовал, когда взяли в плен нескольких человек, преданных епископу, и заморили их голодом в темнице, и беременной женщине отрубили руку по локоть, а от второй руки – кисть, и дали ей родить, и родился ребенок, умерший без крещения? И ты был вместе со своими, когда вы сравняли с землей и вытравили огнем все живое в городах областей Моссо, Триверо, Коссилы и Флеккии, и почти всю провинцию Крепакорьо, и много домов в Мортильяно и в Кьорино и подпалили церковь в Триверо, а перед этим испачкали святые образа, выворотили алтарные плиты, отломали руку у статуи Богоматери, разграбили сосуды, утварь и церковные книги, разнесли на куски колокольню, перебили все колокола, забрали все состояние общины и все имущество священника!»

«Да, да, я был тогда со всеми, и никто из нас уже не понимал, что делает, мы хотели успеть сами, до божьей кары, мы шли передовою ратью в дружине императора, ниспосланного небом и святым небесным папой. Мы хотели ускорить схождение Ангела Филадельфийской церкви, тогда бы все смогли причаститься благодати Духа Святого и церковь бы обновилась и по уничтожении всех прегрешающих только безгрешники начали бы царить!»

Келарь был как будто и одержим, и одухотворен одновременно. Будто прорвалась плотина умолчания и притворства, и его душу захлестнуло былое. Не только слова былого; но и образы, и чувства, которыми полнилась его душа в те давние годы.

«Итак, – напирал Бернард, – ты признаешь, что вы чтили как мученика Герарда Сегалелли, отказывали в должном уважении римской церкви, утверждали, что ни папская, ни чья-либо иная власть не имеет права предписывать вам ваш образ жизни, что никто не может отлучать вас, что со времени Св. Сильвестра все прелаты церкви были лихоимцы и развратники, за исключением Петра из Морроне, что миряне не обязаны выплачивать десятину священникам, которые не показывают своей жизнью образец абсолютного совершенства и абсолютной же бедности, как показывали первоапостолы, что десятину при всем при том надлежит отдавать не кому иному, как вам, единственным предстателям и бессребреникам Христовым, что для вознесения молитв к Богу освященная церковь нисколько не лучше, нежели любой хлев, что вы шествовали городами и весями и соблазняли народ выкриками “всепокайтеся”, что распевали “Славься, царица небесная”, чтобы подло приманивать толпы людей, и пытались сойти за каяльщиков, выставляя напоказ перед народом свою душеполезную жизнь, а после этого сами допускали себя до любой распущенности и до любого разврата, ибо не веровали в таинство брака, и ни в какое иное таинство, и, притворяясь, что вы святее окружающих, позволяли себе любую гнусность и любое надругательство над собственной и чужой плотью? Отвечай!»

«Да, да, хорошо, я все признаю, что исповедовал эту истинную веру, уповаю на то, на что мы все тогда уповали всеми силами, всем существом души. Признаю, что мы тогда не

признавали покровов, стремились к обнажению сокровенного и отказывались от всего, что нам принадлежало, а вы небось никогда ни от чего не откажетесь, псы вы завидущие, а мы с тех самых пор ни от кого не принимали денег, и не имели денег на себе, и существовали милостыней, и ничего не запасали на завтра, и когда нас принимали накрытым столом, мы ели и пили, и уходили, оставляя на столе все, что оставалось…»

«И жгли и грабили, чтобы зариться на добро правоверных христиан!»

«Да, мы жгли и грабили, поскольку установили для себя наивысшим законом бедность. И мы взяли себе право отбирать у людей незаконно нажитые богатства, и пытались разорвать тот заговор стяжательства, которым опутаны все приходы. Но никогда мы не грабили для того чтоб нажиться, никогда не убивали для того чтобы грабить, мы убивали чтоб наказывать, чтоб очищать нечистых, очищали их же кровью, может быть, нас ослепляла неуемная тяга к справедливости, ведь грешат и от избытка любви Божией, а не только от недостатка, грешат от преизбыточности совершенства, мы были истинным сообществом духовным, ниспосланным от Господа, пришедшим ради возвещения последних времен, мы искали награды рая, приближая пору вашего свержения, мы одни были заступниками Христу, все прочие – отступниками, и Герард Сегалелли был среди нас божественным ростком, Planta Dei pullulans in radice fidei [88], и устав наш был взят прямо от Господа, а не от вас, суки вы поганые, проповедники лживые, пропахшие не ладаном, а серою, подлые псы, вонючие стервы, пустосвяты, прислужники Авиньонской курвы, преисподняя по вас не наплачется! Наш дух был свободен, раскрепощен, раскрепостились и наши тела, и мы стали мечом Божиим, хотя нам и приходилось резать невинных – все ради того, чтобы как можно скорее перебить всех вас и таких, как вы. Мы хотели лучшего мира, покоя и благости, и счастья для всех. Мы хотели убить войну, ту войну, которую приносите в мир вы. Все войны из-за вашей скаредности! А вы теперь взялись колоть нам глаза тем, что ради справедливости и счастья мы пролили немного крови! В том и вся беда! В том, что мы слишком мало ее пролили! А надо было так, чтобы стала алой вся вода в Карнаско, вся вода в тот день в Ставелло. Наша кровь тоже там текла! Мы крови не щадили! Наша и ваша, наша и ваша, реки и реки, нечего ждать, нечего ждать, время пророчества Дольчина истекало, и мы гнали жизнь во весь опор…»

Он трясся всем телом, руки метались по одежде, как будто сбрасывая с нее кровь, призванную им же на собственную голову. «Был обыкновенный обжора, и вот надо же – очищение», – прошептал мне Вильгельм. «Как, это и есть очищение?» – переспросил я содрогаясь. «Оно бывает и другого сорта, – сказал Вильгельм, – но в любом случае, меня оно всегда пугает».

«А что для вас страшнее всего в очищении?» – спросил я.

«Поспешность», – ответил Вильгельм.

«Довольно, слышишь, ты! – пытался перекричать келаря Бернард. – Мы ждали покаяния, а не призыва к резне. Что ж, прекрасно. Значит, ты не только был еретиком, но и до сих пор им остаешься. Не только убивал, но и до сих пор убиваешь. Раз так, расскажи, какими способами ты убил своих братьев по монастырю. И за что?»

Келарь разом замер, дрожь его пропала, и он медленно обвел взглядом все вокруг, как будто просыпаясь после глубокого сна. «Ну нет, – сказал он, – к этим убийствам я касательства не имею. Я сознался во всем, что делал, не заставляйте сознаваться в том, чего я не делал».

«Да есть ли хоть что-нибудь, чего бы ты не мог сделать! И ты еще лепечешь о своей невиновности! Ай да агнец, ай да образчик кротости! Что с того, что у тебя руки по локоть в крови? Ты ведь теперь исправился! Я думаю, все мы ошибались, господа, и Ремигий из Варагины – пример всех на свете добродетелей, верный сын своей церкви, недруг недругов Христовых! Он от веку почитает все те правила, которые заботливой и рачительной десницей

церкви розданы нашим весям и городам! Он уважает покой предпринимательства, ремесленничества, блюдет и всегда блюл сокровища церквей! Он невиновен, господа, он ничего не совершил! Скорее в мои объятия, брат Ремигий, дай утешить тебя после той напраслины, которую возвели на тебя злые люди!» И в то время, как Ремигий не сводил с него остановившихся глаз, как будто внезапно поверив в полное свое оправдание, Бернард резко изменил тон и властным голосом обратился к капитану лучников:

«Мне неприятно прибегать к тем средствам, которые церковь всегда порицала, когда ими пользовалась светская власть. Но существует закон, и закон определяет все. Он подчиняет себе и подавляет даже мои личные убеждения. Узнайте у Аббата, в каком помещении можно установить орудия пыток. Но сразу не приступайте. Пусть три дня дожидается пытки у себя в камере, скованный по рукам и ногам. Потом покажете ему орудия. Больше ничего. Только покажете. А на четвертый день – начинайте. Правосудию Божию несвойственна поспешность, что бы ни говорили лжеапостолы. У правосудия Божия в распоряжении много столетий. Так что действуйте не торопясь, постепенно. Более всего следите за тем, о чем вам не раз говорилось. Никаких серьезных увечий, никакой возможности смертного исхода. Одно из преимуществ, выпадающих на долю грешника при подобном обращении, – это что смерть представляется ему желанной, долгожданной и не наступает прежде, чем наступит покаяние. Полное, добровольное и очищающее».

Лучники наклонились и за цепи рванули келаря с пола. Однако тот уперся ногами в землю и удержался на месте, показывая, что хочет что-то сказать. Получив разрешение, он заговорил. Но слова через силу выталкивались из его рта, и речь его походила на задыхающееся бульканье пьяного, и что-то было в этом почти непристойное. Лишь постепенно в его словах снова стала чувствоваться та звериная сила, которой дышало все его давешнее признание.

«Нет, ваша милость. Только не пытка. Я низкий человек. Я стал предателем еще тогда, я одиннадцать лет в этом монастыре предавал свою исконную веру: я собирал десятину с виноградарей и мужиков, я надзирал за хлевами и конюшнями, заботился об их процветании, чтобы жирел и обогащался Аббат. Я немало порадел об укреплении здешнего антихристова хозяйства. И при всем при том я чувствовал себя вполне неплохо, я уже забыл дни нашего восстания, я благодушествовал, я баловал свое брюхо и еще по-всякому себя баловал. Я настоящий мерзавец. Сегодня я продал старинных друзей в Болонье, много лет назад я продал Дольчина. И как истинный мерзавец, я под видом крестоносца, переодетый одним из тех, кто охотился на нас, наблюдал своими глазами поимку Дольчина и Маргариты, я видел, как их в святую субботу везли в темницу каземата Бугжелло. Я околачивался в окрестностях Верчелли больше трех месяцев, пока не получилось послание от папы Климента с указом о приговоре. И я стоял и смотрел, смотрел своими глазами, как Маргариту изрезали в куски перед глазами Дольчина, и как она визжала, а ее резали ножами, бедное несчастное тело, к которому в одну из грешных ночей прикасался и я… А когда остатки ее трупа догорели, они взялись за Дольчина, и вырвали ему нос и детородные члены раскаленными на углях щипцами, и неправда то, что рассказывалось позднее, как будто он не издал ни единого стона. Дольчин был рослым и могучим, у него была бородища, как у дьявола, и рыжая грива, раскиданная кольцами по плечам, и был он красивым и гордым, когда шел перед своими отрядами в широкополой шляпе, и с пером, и с мечом, навешенным поверх сутаны. Дольчин держал мужчин в страхе, а женщин заставлял кричать от удовольствия. Но когда его начали пытать, он кричал от боли, кричал даже он, как слабая женщина, как теленок, кровь лилась из всех его членов, а его перетаскивали с угла на угол по городу и терзали его постепенно, чтобы показать, до чего живуче под пыткой отродье дьявола, а он хотел умереть, умолял, чтобы его прикончили, но умер он слишком поздно, он умер только на костре, и был он тогда уже каким-то обрубком кровоточащего мяса. Я шел

повсюду за ними и радовался изо всей силы, что мне не выпало подобной доли, и не мог нарадоваться на свою находчивость, и Сальватор, это ничтожество, крутился около меня и приговаривал: "Как мы ловко все сладили, братец Ремигий, и как удачно устроились, предусмотрительно, потому что нету ничего на свете хуже пытки!" В тот день я мог бы отречься от тысячи религий. И вот уже сколько лет миновало, и все эти годы я твердил себе, что я мерзавец, и все-таки безотчетно надеялся, что когда-нибудь пробьет мой час и я докажу самому себе, что не такой уж я мерзавец. И вот час пробил, и ты, господин Бернард, вдохнул в меня силу, как вдыхали силу языческие императоры в самых слабодушных мучеников. Ты дал мне мужество, и я смог высказать то, во что множество лет веровал душой, хотя противилось тело. Но даже и этого мужества, нет, не требуй от меня слишком много. Не больше, чем может выдержать мой жалкий остов. Только не пытку, нет. Я скажу все, что ты хочешь. Лучше сразу костер. На костре задыхаются прежде, чем горят. Такую пытку, как Дольчину, – только не это. Не надо. Тебе нужен труп. Чтоб получить его, тебе нужно, чтоб я взял на себя вину за те, предыдущие трупы. А мне все равно. Я в любом случае скоро буду трупом. Поэтому получи, что тебе надо. Итак, я убил Адельма из Отранто потому, что ненавидел его за молодость и за умение беспощадно высмеивать таких уродов, как я. Старых, толстых, низкорослых и неграмотных. Я убил Венанция из Сальвемека за то, что он был слишком учен и читал такие книги, в которых я не понимал ни слова. Я убил Беренгара Арундельского из ненависти к его библиотеке. Мои-то богословские прописи записаны палкой на спинах жирных церковников. Я убил Северина Сант'Эммеранского… За что? За то, что он собирал травы. А у нас на горе Робелло травы шли в пищу без особых рассуждений об их лечебных свойствах. На самом деле я вполне мог бы убить еще кого-нибудь, в частности нашего Аббата. За папу он или за императора – все равно он всегда был на стороне моих врагов, и я всегда ненавидел его, ненавидел за все, даже за то, что он кормил меня. Кормил меня за то, что я кормил его! Ну что, хватит с тебя? Ах, нет, ты ведь еще интересуешься, каким способом я убил всех этих людей. Ладно. Я убил их… Дай подумать… Я убил их благодаря адовым силам. Я убил их с помощью тысячи легионов ада, я умею повелевать адовыми силами благодаря искусству, которому обучился у Сальватора… Чтобы кого-нибудь убрать, убивать совсем не обязательно. Дьявол все сделает за вас, если только вы сумеете с ним договориться».

Он обвел присутствующих взглядом заговорщика, громко хохоча. Но этот смех был смехом полоумного. Хотя, как правильное заметил и позднее указал мне Вильгельм, полоумному хватило ума утащить за собою в пропасть, им самим и вырытую, и Сальватора, в качестве мести за донос.

«А как ты повелевал дьяволом?» – не отставал Бернард, принимавший весь этот бред за форменное признание.

«Ты сам знаешь прекрасно, столько лет якшаешься с одержимыми, должен был усвоить их привычки! Ты сам все это умеешь, потрошитель апостолов! Берешь черного кота, так? Без единого белого волоска, правильно? Перевязываешь ему все четыре лапы, а потом несешь его в полночь на перекресток и кричишь громким голосом: "Великий Люцифер, повелитель ада! Я беру тебя и ввожу тебя в чресла моего врага, и как я имею этого кота, так ты имей моего врага, и доведи его до гибели, и на этом распутье завтра в полночь я отдам тебе кота, закалаю во твое здравие, а ты сделай все, что я велю; и приказываю тебе силами черной магии, которую познал я по черной книге Св. Киприана, во имя всех предводителей набольших легионов ада, Адрамелха, Аластора, Азазела, на которых я молюсь, на них и на всех их братьев…"» Губы его скакали, глазные яблоки почти что вылезали из орбит, и он громко молился – вернее, вместо молитвы воссылал свои прошения к баронам всех преисподних подразделений. «Албигор, греши и насилуй нас… Амон, иже еси в преисподни… Самаэл, избави нас от правого… Велиал

Элейсон… Фокалор, неси порчу и помрачение… Хаборим, господи стотрепроклятый… Зэвос, разверзни ложесна мне… Леонард, излей семя на мя и опогань…»

«Довольно, довольно! – завопили присутствующие, крестясь и отмахиваясь.

– Господи, прости, не покарай всех нас!»

Келарь смолк. Выкрикнув тысячу бесовских имен, он пал на лице свое, изблевывая из перекошенного рта беловатую пену, скрежеща сцепленными зубами. Его руки, намертво скрученные цепями, конвульсивно сжимались и разжимались. Ноги подергивались, рывками били по воздуху. Почувствовав, что я охвачен ужасом, Вильгельм взялся рукой за мою голову и крепко стиснул, сдавил затылок, приводя меня в чувство. «Вот смотри, – сказал он. – И запомни, что под пыткой или под угрозой пытки человек рассказывает не только то, что сделал, но и то, что мог или хотел бы сделать, хотя сам того не сознавал. Теперь Ремигий призывает смерть всей своей душой».

Лучники вывели келаря, все еще корчившегося в конвульсиях. Бернард сложил в стопу свои листы. Потом обвел взглядом присутствующих, которые замерли во власти страшного смятения.

«Допрос окончен. Сознавшийся подсудимый будет препровожден в Авиньон, где состоится окончательное заседание суда с соблюдением всех процессуальных норм, в духе истинности и справедливости. И только после этого законного разбирательства он будет сожжен. Вам, Аббат, этот человек уже не принадлежит. Ни вам, ни мне. Я выступал только в качестве смиренного орудия истины. Орудие же правосудия не здесь. Пастыри исполнили свой долг, теперь дело за псами, пусть отделят паршивую овцу от паствы и очистят ее огнем. Печальная эпоха, в которую этому человеку удавалось зверски злодействовать, завершена. Отныне в аббатстве настанет покой. Но в мире, – голос его возвысился; теперь он обращался прямо к членам делегаций, – в мире далеко еще нет покоя, мир раздирают ереси, которые находят пристанище даже в залах императорских дворцов! Пускай же братья запомнят, что cingulum diaboli[89] тянется от извращенных последователей Дольчина к почтеннейшим заседателям Перуджийского капитула. Не будем забывать, что перед очами Господа богохульства этого злосчастного, которого мы только что передали правосудию, ничем не отличаются от разглагольствований умников, кормящихся при столе отлученного германца в Баварии. Источник гнусности еретиков кроется во множестве безответственных прилюдных проповедей, зачастую высокочтимых и покуда еще редко наказуемых. Многотрудная часть, тяжелый крест – путь того, кто призван Всевышним, подобно моей смиренногрешной особе, выискивать змия инакомыслия повсюду, где он затаился. Однако исполняя это святое задание, приучаешься понимать, что еретик – не только тот, кто открыто проповедует ересь. Нет, сочувственников ереси находят по пяти опознавательным признакам. Во-первых, это те, кто тайно посещает еретиков, когда те пребывают в узилище; во-вторых, те, кто плачет из-за их взятия и кто был им близким другом на свободе (посудите: невероятно, чтобы они не знали о вредной деятельности еретика, если часто с ним встречались); в-третьих, те, кто утверждает, будто еретиков приговорили неправосудно, несмотря на то, что во время следствия была признана их вина; в-четвертых, те, кто недружелюбно отзывается и дурно думает о лицах, борющихся с еретиками и успешно обличающих их с кафедры; о мыслях такого рода, в свою очередь, есть возможность судить по глазам, по носу, по выражению лица, которое эти люди пытаются спрятать от всех, прикидываясь, будто осуждают тех, кому на самом деле сердечно сострадают, и будто бы они уважают тех, кого из-за подлости на самом деле презирают. Пятый признак, наконец, – это когда подбирают обуглившийся прах наказанных еретиков и превращают в предмет поклонения… Ко всему этому должен добавить, что я приписываю великую силу также и шестому признаку и предлагаю считать неприкрытыми сообщниками еретиков тех, у кого в книгах (неважно, есть ли там прямые высказывания против христианской веры или нет) еретики находят для себя опору и откуда берут посылки, чтобы

строить свои извращенные силлогизмы…»

Произнося это, он смотрел на Убертина. И все члены францисканской делегации отлично поняли, на что намекает Бернард. С этой минуты встречу можно было считать проваленной. Никто бы теперь уже не осмелился выступать на диспуте, ибо всем было ясно, что отныне каждое слово будет восприниматься в свете недавних прискорбных происшествий. Если Бернард был прислан папой именно для того, чтобы не допустить примирения двух группировок, – он блестяще справился с заданием.

Пятого дня
ВЕЧЕРНЯ,

где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день

Когда народ неспешно покидал капитулярную залу, Михаил протиснулся поближе к Вильгельму, и тут же рядом с нами оказался Убертин. Вчетвером мы вышли на улицу. Таким образом, беседа протекала в церковном дворе, под прикрытием тумана, который и не думал рассеиваться, а напротив, все больше густел и темнел от наступавших сумерек.

«Думаю, обстановка в пояснениях не нуждается, – сказал Вильгельм. – Бернард нас разгромил. Не спрашивайте меня, виноват ли этот балбес дольчинианин во всех преступлениях. На мой взгляд – он вообще ни при чем. Но хуже всего, что мы снова на исходной позиции. Иоанну ты, Михаил, нужен в Авиньоне один. И нынешняя встреча не дала тех гарантий, за которыми мы приехали. Наоборот, она показала, как они сумеют вывернуть и извратить каждое твое слово. Вывод из этого, по-моему, один – что ехать тебе нельзя».

Михаил тряхнул головой: «И все-таки я поеду. Не хочу раскола. Ты, Вильгельм, сегодня высказался весьма ясно и недвусмысленно. И дал понять, куда метишь. Так вот, мы метим вовсе не туда. И я прекрасно сознаю, что постановления перуджийцев использованы вами, имперскими богословами, вовсе не в том духе, в котором они замышлялись. А мне нужно только одно – чтобы папа позволил французскому ордену его принцип бедности. Мне нужно, чтоб до папы дошло, что только укрепив орден этим принципом, можно будет снова поглотить все еретические ответвления. Меня не интересуют ни народная ассамблея, ни человеческие права. Мое дело – не допустить, чтобы орден распался на несколько полубратских отрядов. Я еду в Авиньон. И, если потребуется, подчинюсь Иоанну во всем. Я уступлю по всем вопросам, кроме бедности».

Вмешался Убертин: «Ты понимаешь, что рискуешь жизнью?»

«Что ж, – ответил Михаил. – Это лучше, чем спасением души».

Он рискнул жизнью, и очень серьезно, а если исходить из того, что правда была на стороне Иоанна (во что я, слава Богу, не верю), – погубил вдобавок и душу. Как всем теперь известно, Михаил отправился к папе через неделю после событий, о которых я рассказывал. Тот проторговался с ним четыре месяца, а потом, в апреле следующего года, Иоанн собрал консисторий, на котором обозвал Михаила безумцем, спесивцем, упрямцем, тираном, поборником ереси, гадюкой, которую выгрела церковь на самой груди. Замечательно, что с точки зрения его собственных представлений о добре и зле Иоанн был совершенно прав, потому что за четыре месяца Михаил сдружился с другом моего учителя, другим Вильгельмом, Вильгельмом Оккамским, и целиком перенял его идеи – не слишком отличающиеся, невзирая на чуть более резкую формулировку, от тех, которые мой учитель разделял с Марсилием Падуанским и которые высказывал высокому собранию в то давнее описанное утро. Пребывание этих диссидентов в Авиньоне в общем себя исчерпало, и в конце мая Михаил, Вильгельм Оккамский, Бонаграция из Бергамо, Франциск из Асколи и Генрих из Тальгейма ушли в бега; люди папы преследовали их через Ниццу, Тулон, Версаль и Эгмор, где наконец их догнал кардинал Петр из Аррабаля, который безуспешно стал уговаривать их вернуться, но не смог

победить их сопротивление, их ненависть к папе, их боязнь. К июню они были в Пизе, где их с великим шумом встретили придворные императора, и через несколько месяцев Михаил публично проклял папу Иоанна. Увы, слишком поздно. Сила императора убывала, в Авиньоне Иоанн плел интригу, навязывая миноритам нового руководителя, и в конце концов одержал победу. Лучше бы было для Михаила в тот день, если бы он передумал ехать к папе. Он мог бы, будучи рядом, организовать сопротивление миноритов, не было бы потеряно столько драгоценных месяцев в ожидании милостей от врага, не были бы ослаблены его позиции внутри и вне ордена… Но, наверно, именно так было суждено божественным провидением, ибо сейчас, по прошествии стольких десятилетий, я не в состоянии уже указать, на чьей стороне была правда, когда миновало столько времени, когда огонь страстей угас, а вместе с ним угасло и то, что тогда представлялось моей душе светом божественной истины. Кто сейчас способен сказать, Гектор был прав или Ахилл, Агамемнон или Приам, в их войне за улыбку той женщины, которая ныне – прах праха?

Но я опять погрузился в меланхолические умствования. А между тем следует изложить завершение безрадостной беседы.

Михаил принял решение, и переубедить его было невозможно. К тому же требовалось срочно решить еще один вопрос, и Вильгельм перешел к нему без лишних разговоров. Дело в том, что отныне под ударом оказывался и сам Убертин. Слова, обращенные к нему Бернардом, ненависть со стороны папы, то обстоятельство, что в отличие от Михаила, который все-таки представлял собой силу, вынуждающую к переговорам, Убертин был совершенно незащищен и представлял только самого себя…

«Иоанну нужно, чтоб Михаил был при дворе, а Убертин – на том свете. Привычки Бернарда мне немного известны. Не пройдет и суток – тут кстати и туман, – как Убертина найдут мертвым. А если кто-нибудь поинтересуется, кто преступник, придется засвидетельствовать новое злодейство из тех, которые случаются в этом монастыре, и всем объяснят, что это работа бесов, вызванных Ремигием при помощи черных кошек. Или козни какого-нибудь недобитого дольчинианина, до сих пор орудующего в аббатстве…»

«И что же теперь?» – спросил обеспокоенный Убертин.

«Теперь, – ответил Вильгельм, – ты пойдешь к Аббату и попросишь у него коня, провианту и письмо в какой-нибудь далекий монастырь по ту сторону Альп. Воспользуешься туманом и темнотой и уедешь немедленно».

«Но разве лучники не охраняют выход?»

«Из монастыря есть другие выходы, и Аббат их знает. Пусть кто-нибудь из слуг ждет тебя внизу за поворотом дороги с лошадью. Тебя выпустят через потайной лаз в стене и тебе останется только немного сойти лесочком. Действовать надо немедленно, пока Бернард еще не протрезвился от ликования по поводу своего триумфа. Я же обязан заняться кое-чем в другом роде. У меня было два задания, первое я провалил, хотелось бы не провалить второе. Я должен добраться до одной книги и до одного человека. Если все пройдет нормально, ты будешь уже далеко отсюда еще раньше, чем я начну тебя разыскивать. А теперь прощай». Он открыл объятия. Убертин, растроганный, прижал его к груди. «Прощай, Вильгельм. Ты сумасшедший и буйный англичанин, но великое сердце. Мы увидимся?»

«Мы увидимся, – ответил Вильгельм. – Бог даст».

Бог, как выяснилось, не дал. Я уже упоминал выше, что Убертин погиб неизвестно от чьей руки через два года. Трудный, переменчивый век, жизнь и смерть яростного, несгибаемого воителя. Может, он на самом деле и не был святым: но хочется надеяться, что Господь вознаградил его кристальную веру в собственную святость. Чем старее я становлюсь, чем сильнее утверждаюсь в своей дряхлости, искательству Господа, тем с меньшим уважением я

отношусь к таким качествам, как ум, тяготеющий к познанию, и воля, тяготеющая к действованию; и все больше преклоняюсь душой, как к единственному средству спасения, к вере, которая ждет терпеливо и не ставит лишних вопросов. А Убертин несомненно имел великую веру в кровь и в страдания Господа нашего Иисуса Христа.

Может быть, мне все это пришло в голову уже тогда? Может быть, мистический старец каким-либо чудом сумел прочитать мои мысли? А может быть, предугадал, что в отдаленном будущем я начну думать именно так? Он улыбнулся мне с дивной благостью и приобнял, но не так горячо, как, бывало, прижимал к себе в предыдущие дни. Он обнял меня, как дедушка обнимает внука, и в похожем порыве обнялся я со стариком. Прощание кончилось. Они с Михаилом пошли разыскивать Аббата.

«А теперь?» – обратился я к Вильгельму.

«А теперь займемся нашими убийствами».

«Учитель, – сказал я, – сегодня произошли события сокрушительные для судеб всего христианства и сорвалась ваша миссия. Однако вы, судя по виду, сильнее интересуетесь решением загадки, нежели борьбой между папой и императором».

«Сумасшедшие и дети всегда глаголют истину, Адсон. По-видимому, дело в том, что, как императорский советник, мой друг Марсилий лучше меня, а вот как инквизитор я, наоборот, лучше его. Я лучше даже, чем Бернард Ги, да не разразит меня Господь за подобное утверждение. Бернарда не интересует поиск виновного, его интересует сожжение приговоренного. А я, в отличие от него, самое сладостное из удовольствий нахожу в распутывании хорошенько запутанного клубка. Может быть, причина в том, что, когда я как философ начинаю сомневаться, имеется ли в мире порядок, я очень радуюсь возможности доказать самому себе, что если не порядок, то хотя бы какая-то последовательность сцепления причин и следствий действительно осуществляется в мире, пусть хотя бы в пределах мельчайших частиц бытия. Кроме этого, есть, наверно, и еще одна причина, а именно: в данном случае в игру вступают вещи, возможно, еще более крупные и грозные, чем битва Иоанна с Людовиком…»

«Но речь идет о воровстве и распрях развращенных монахов!» – вскричал я с недоверием.

«Из-за запрещенной книги, Адсон, из-за запрещенной книги», – ответствовал Вильгельм.

Монахи уже направлялись к вечере. Прошла добрая половина трапезы, когда появился и сел рядом с нами Михаил Цезенский с сообщением, что Убертин покинул пределы аббатства. И Вильгельм наконец смог перевести дух.

Отужинав, мы не стали задерживаться возле Аббата, беседовавшего с Бернардом, а быстро нагнали Бенция. Тот приветствовал нас кривой ухмылкой, бочком продвигаясь по направлению к двери. Но Вильгельм остановил его и заставил отойти с нами в угол кухни.

«Бенций, – обратился к нему Вильгельм. – Где книга?»

«Какая книга?»

«Бенций, ни ты, ни я – не идиоты. Я говорю о книге, которую мы утром искали у Северина и которую я не распознал, а ты распознал сразу же и сразу же вернулся за ней».

«А почему вы думаете, что я ее взял?»

«Думаю. И ты так же думаешь. Где она?»

«Я не могу сказать».

«Бенций, если ты не скажешь, я обо всем доложу Аббату».

«Я не могу сказать именно по распоряжению Аббата, – ответил Бенций с самым смиренным видом. – Сегодня, после нашей с вами встречи, имело место событие, о котором вам следует узнать. После смерти Беренгара освободилось место помощника библиотекаря. Сегодня днем Малахия предложил мне занять этот пост. Только что, полчаса назад, Аббат утвердил мое

назначение. И с завтрашнего утра, надеюсь, меня начнут приобщать к тайнам библиотеки. Я действительно взял тогда книгу и спрятал под соломенным тюфяком в своей келье, даже не заглянув в нее, поскольку понимал, что за мной следит Малахия. И вскоре после этого Малахия сделал мне вышеупомянутое предложение. Тогда я поступил, как и надлежит помощнику библиотекаря: передал книгу ему».

Я уже не мог удерживаться и встрял с негодованием в их беседу:

«Ах ты, Бенций, ведь ты же еще вчера… Ведь вы же еще вчера рассказывали, как вас гложет страсть к познанию, и как вам не хочется, чтобы в библиотеке что-то утаивали, и что ученый имеет право знать…»

Бенций покраснел и не отвечал. Но Вильгельм остановил меня:

«Адсон, несколько часов назад Бенций перешел в другой лагерь. Теперь он охраняет те секреты, которые прежде мечтал открыть. Охраняя их, он будет иметь достаточно времени, чтобы наслаждаться ими…»

«А как же все остальные?» – сказал я. – Бенций же говорил от имени всех!»

«Вчера», – ответил Вильгельм. И увел меня прочь, оставив Бенция одного и в замешательстве.

«Бенций, – сказал мне позднее Вильгельм, – это жертва. Жертва сладострастия, которое отличается как от сладострастия Беренгара, так и от сладострастия келаря. Подобно многим другим ученым, он сладострастно жаждет знать. Знание ради знания. Не допущенный к какой-то части знания, он жаждет завладеть именно этой частью. Сейчас он наконец завладел. Малахия понимал, с кем имеет дело, и выбрал безошибочное средство, чтобы вернуть книгу и заставить Бенция молчать. Ты спросишь, какой прок ему охранять такие запасы знаний, если он не имеет права обнаруживать их перед другими людьми. Но именно в этом смысле я и говорю о сладострастии. Этого сладострастия нет у Рогира Бэкона. Тот стремился поставить науку на службу народа Божия, ради его счастья. Следовательно, он не гнался за знанием ради знания. А у Бенция только ненасытное любопытство, гордыня ума. Он сладострастник. Он нашел способ не хуже любого другого, чтобы ему, монаху, видоизменять и удовлетворять в опосредованном виде похоть собственных чресл. Таков же, впрочем, и жар, который побуждает иных воевать за правую или за еретическую веру. Видишь, не одно плотское сладострастие бывает на свете. Сладострастник и Бернард Ги. У него – извращенный блуд карания и милования, который он отождествляет со сладострастием власти. Есть сладострастие накопительства – как у нашего святейшего, хотя уже и не римского папы. Есть сладострастие причастности, преображения, покаяния и гибели – которое было у нашего келаря в молодости. И есть сладострастие чтения – как у Бенция. Подобно прочим видам сладострастия, в частности сладострастию Онана, изливавшего собственное семя на землю, это сладострастие совершенно бесплодно и не идет ни в какое сравнение с любовью, даже телесной…»

«Я знаю», – выпалил я неожиданно для самого себя. К счастью, Вильгельм притворился, будто не слышит. Хотя, продолжая свое рассуждение, он в то же время отвечал и мне: «В истинной любви важнее всего благо любимого».

«А нельзя ли понять так, что Бенций печется о благе своих книг (отныне они уже его) и считает, что для них благо – находиться подальше от жадных рук?»

«Благо книги – в том, чтоб ее читали. Книга состоит из знаков, говорящих о других знаках, которые в свою очередь говорят о вещах. Вдали от читающего глаза книга являет собой скопище знаков, не порождающих понятий. А значит, она нема. Эта библиотека рождена, надо думать, для защиты собранных здесь книг. А сейчас она живет для их погребения. Через это она и сделалась рассадником непотребства. Келарь признался, что предал друзей. Так же и с Бенцием. Он тоже предал. Ох, какой тяжелый день, добрейший мой Адсон! Кровавый, смертельный день.

На сегодня с меня хватит. Пойдем-ка и мы к повечерию, а потом спать».

Выходя из кухни, мы наткнулись на Имароса. Он спросил, правда ли то, о чем все шепчутся, – что Малахия пригласил Бенция к себе в помощники. Нам пришлось подтвердить.

«Этот Малахия много чего хорошего успел сегодня, – сказал Имарос с обычной своей ухмылкой снисходительного презрения. – Была бы на свете справедливость – дьяволу полагалось бы явиться по его душу нынче ночью».

Пятого дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где звучит проповедь о явлении Антихриста и Адсон открывает для себя значение имен собственных

Вечерня в тот день прошла беспорядочно: еще не кончился допрос келаря. Любопытные послушники, ускользнув от опеки наставника, вообще сбежали и облепили все окна и щели капитулярной залы, желая узнать, что происходит внутри. Так что теперь, в повечерие, предстояло всему братству как следует помолиться об упокоении души Северина. Ожидалось, что Аббат обратится к братьям. Было интересно, что он скажет. Однако по завершении уставной проповеди Св. Григория, респонсория и трех назначенных псалмов Аббат поднялся на кафедру совсем ненадолго – только объявить, что сегодня он не выступает. Слишком многие несчастья обрушились на обитель, сказал он, слишком многие для того, чтобы мог отец общины, как обычно, обращаться к сыновьям как имеющий право осуждать и поучать. Настала минута всем и каждому, без исключения, повернуть взоры внутрь себя и самому судить собственную совесть. Но поскольку правилом предписывается, чтобы кто-нибудь все же говорил, Аббат считает, что выступить нужно самому престарелому из всех, тому, кто ближе всех к исходу жизни и меньше всех вовлечен в земные страсти, приведшие к засилию зла. По счету старшинства слово следовало предоставить Алинарду Гроттаферратскому. Но всем известно, что преподобный собрат немощен здоровьем. Вслед за Алинардом, по порядку, установленному неотвратимым движением времени, идет Хорхе. Ему-то Аббат и предоставляет слово.

Я расслышал ропот, донесшийся с тех скамей, где обычно сидели Имарос и прочие итальянцы. Очевидно, Аббат договорился о выступлении с Хорхе, даже не спросив Алинарда. Учитель вполголоса шепнул мне, что отказаться от речи было со стороны Аббата довольно разумно, так как в любом случае, что бы он ни сказал – Бернард и прочие авиньонцы внимательно вслушаются и перетолкуют его слова. А старец Хорхе, скорее всего, углубится в обычные мистические прорицания, так что его словам авиньонцы большого веса не придадут. «И напрасно, я считаю, – добавил Вильгельм. – Поскольку никогда не поверю, чтобы Хорхе согласился говорить – да и был позван – без какой-то определенной цели».

Опираясь на монаха, Хорхе взошел на кафедру. Лицо его озарилось огнем с треноги, которая единственная освещала этот придел. Другого света не было. Высветив лицо, отблеск пламени еще сильнее подчеркнул тьму, залегшую в мертвенных глазницах, казавшихся двумя черными дырами.

«Возлюбленные братья, – начал он, – и вы все, дражайшие гости обители, раз вы согласны слушать бедного старика… Четырежды смерть поразила наше аббатство. Не вспоминаю уж о грехах – как давних, так и самых свежих, – коими запятнаны худшие из оставшихся в живых. Смерти эти, как вы, несомненно, понимаете, нельзя списать на немилость природы, которая, преданная распорядку, определяет все сроки нашего дня – начав колыбелью, кончая могилой. Все вы, возможно, думаете, что, хотя и преисполняя вас печали, эти тягостные события не касаются до души вашей. Ибо все вы, кроме одного, ни в чем не повинны. А после того как этот один будет покаран, вам останется только оплакать участь павших. А себя-то не придется винить ни в какой недобросовестности, представая перед Божиим судом. Вот что вы думаете. Дурни! – вскричал он ужасающим голосом. – Дурни безрассудные! Тот, кто убивал, он, конечно,

принесет к стопам Божиим бремя злодеяний. Но только потому, что согласился послужить посредником предустановлений Господа! Так же потребовалось и в свое время, чтобы кто-нибудь предал Иисуса, ради того, чтобы могло осуществиться чудо искупления. И тем не менее Господь приговорил к проклятию и вечному поношению того, кто его предал. То же самое и сейчас. Кто-то грешил тут, сея смерть и разорение. Однако я говорю вам, что это разорение было если не угодно Господу, то во всяком случае позволено Им – ради наказания нашей гордыни!»

Он умолк и обвел пустыми глазами помрачневшее собрание, как будто мог что-то разглядеть, как будто хотел уловить впечатления слушателей. А в это время чутким своим слухом смаковал напряженную тишину.

«В этом братстве, – продолжил он, – с давних времен обитает ядовитый аспид гордыни. Но какой гордыни? Гордыня ли это властительства монастырем, отрезанным от мира? Нет, конечно. Гордыня накопительства? О, братие! Задолго до того, как в знаемом нами мире загремели раздоры касательно бедности и обладания, с самых тех времен, когда еще жив был наш основатель, мы, наш орден, хоть бы и владели чем угодно – на самом деле не владели ничем. Единственные наши настоящие сокровища были уважение правил, молитва, работа. Однако наш вид работы, принятый в нашем ордене и, в частности, в нашем монастыре, – в большой своей части, да что там, почти целиком сводится к учению и к охране знаний. К охране, говорю я, а не к разысканию. Ибо знание, в силу своей божественности, полновесно и совершенно даже в самых началах, оно совершенно полно уже в истоке – в божественном Слове, которое высказывается само через себя. Охрана, говорю я, а не разыскание. Ибо знание, в силу своей человечности, целиком определилось и целиком исполнилось смысла уже в те столетия, которые протекли от проповеди пророков до толкований отцов церкви. Ему нет продвижения, ему нет смены столетий, знание не нуждается в прибавлении; самое большее – в возвышенном, неустанном пересказывании. История человечества осуществляется чрез постоянное восхождение от сотворения, через искупление, к возвращению Христа торжествующего, который сойдет в одеянии нимба, чтобы судить живых и мертвых; однако божественному и человеческому знанию не дано следовать дорогой этого восхождения; крепкое, как нерушимая скала, оно должно позволить нам, когда мы смиренно вслушиваемся в его голос, наблюдать и предсказывать это восхождение, но само звание в движении не участвует. Я есмь тот, кто есть, сказал Бог евреев. Я есмь путь, истина и жизнь, сказал наш Господь. Так вот, все, что существует на свете, – только восторженный комментарий к этим двум истинам. Все, что было сказано кроме этого, было сказано пророками, евангелистами, отцами и докторами для того, чтобы изъяснить смысл этих двух речений. Иногда подходящий к ним комментарий обнаруживается и у язычников, от которых самые истины были укрыты: тогда эти их суждения вмещает в себя христианская традиция. И все. За вычетом этого, сказать больше нечего; лишь обдумывать, истолковывать, оберегать. К этим занятиям сводилась и должна была бы впредь сводиться обязанность нашего аббатства с его непревзойденным книжным собранием; и ни к чему иному. Рассказывают, что один восточный халиф когда-то поджег библиотеку знаменитой, преславной и горделивой столицы; и покуда тысячи томов пылали, он вещал, что-де этим книгам можно и должно было уничтожиться, потому что либо они повторяют то, что и до того уже было сказано в Коране, в священной для неверных книге, и, значит, они бесполезны, либо они противоречат тому, что было сказано в Коране, и, следовательно, они вредны. Доктора нашей церкви и мы, благоверные христиане, несогласны так мыслить. Все, что звучит разъяснением и доказательством Св. Писанию, должно сохраняться, дабы преумножалась слава Слова Господня; но и все, что Писанию противоречит, уничтожаться не должно, потому что, только сохраненное, оно может быть опровергнуто теми силами, которые получат подобную возможность и подобное задание, теми способами, которые укажет Господь, и в то время, когда он укажет. В

этом ответственность нашего монашеского ордена перед лицом столетий, в этом повинность, исполняемая им ныне; он должен горделиво перечитывать и повторять слова святой истины, он должен осторожно и скромно оберегать слова, враждебные истине, сам не перенимая их скверну. В чем же, братие, соблазн той гордыни, которая искушает ученого монаха? Это соблазн истолковать свою работу не как охрану, а как разыскание неких сведений, которые до сих пор почему-либо еще не даны роду человеческому. Как будто не слышаны самые крайние, самые последние из сведений! Те, что в устах последнего Ангела, пророчащего в последней книге Священного Писания! Слышите? "И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что-нибудь к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что-нибудь от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей". А коли так… Коли так, не кажется ли вам, злополучные вы мои собратья, что сии слова не на иное указуют, как на то, что недавно происходило в стенах обители? А то, что недавно происходило в стенах обители, не кажется ли вам, что указует на бедствия века, в который нам выпало существовать? Напряжен он и в речах своих и в трудах, и в городах и в усадьбах, и в спесивых своих университетах и в кафедральных соборах, где как одержимый выискивает все новые добавления, все новые подтверждения словам истины. И тем самым извращает содержание этой истины. Она и без того уж обогащена всевозможными схолиями. Она нуждается в бестрепетной защите – а не в дурацком наращивании подробностей! Вот она, гордыня, которая угнездилась и до сих пор гнездится, как змея, в этих стенах! И я говорю прямо к тем, кто тщились и до сих пор тщатся снять печати с тех книг, которые им не положены! Я говорю, что в них и есть та гордыня, которую Господь собирался покарать и которую он непременно покарает, если они не смирятся и не отступят! Ибо Господу не составит труда найти управу на нас, по нашей хрупкости. И он отыщет новое орудие мщения!»

«Слышишь, Адсон? – промурлыкал Вильгельм мне на ухо. – Старичок знает больше, чем говорит. Приложил ли он сам руку к этим делам или нет – в любом случае он что-то имеет в виду, когда обещает не в меру любопытным монахам, что если они возобновят свои налеты на библиотеку – на тихую жизнь пусть не надеются».

Хорхе выдержал долгую паузу и заговорил снова.

«Но в ком же, наконец, как в символе воплотилась вся описанная гордыня? Кому служат наши гордецы как заместители и посланники, сообщники и знаменосцы? Кто, в сущности, орудовал и, возможно, продолжает орудовать в этих стенах? И тем самым извещает нас, что сроки приближаются? А также и утешает. Потому что если сроки близки – тогда сознаешь, что наступающие страдания, сколь ни невыносимы, однако же не будут бесконечны во времени, так как величайший из циклов этой вселенной исходит и кончается. Кто это? О, вы прекрасно поняли, о ком я говорю! Однако не решаетесь назвать его по имени! Ибо его имя – это также и ваше! И вы боитесь его, этого имени! Но хоть вы его и боитесь – я не побоюсь. Я выкрикну это имя самым громким голосом, и произнесу его, чтобы вас до самых кишок пронизал величайший ужас, и зубы ваши заколотились бы, перекусывая языки, и оледенела бы в ваших жилах кровь и темной пеленой накатилась бы на ваши зеницы… О, вот! Вот тварь позорная! Это Антихрист!»

Он снова остановился; последовала долгая пауза. Присутствующие казались мертвыми. Единственное, что шевелилось во всей церкви, было пламя треножника, но даже и этим пламенем отбрасываемые тени застыли, как замороженные. Единственным в церкви звуком было глухое придыхание Хорхе, утиравшего пот со лба. Потом он заговорил снова.

«Может быть, вы скажете мне: нет, этот еще не явился, где же знаки его прихода? Неразумен тот, кто так скажет! Эти знаки у нас перед глазами, ото дня ко дню в великом амфитеатре мира, в оскверненном облике аббатства – предчувствие грядущих катастроф…

Сказано, что когда сроки будут уже близки, подымется от востока царь иного племени, господин наглых беззаконий, богохульник, умерщвляющий людей, обманщик, алкатель сокровищ, хитрый в уловках, губитель, враг преданных вере и их преследователь, и в его эпоху никто не станет считать серебра, и в цене будет только золото. Я прекрасно сознаю, что вы, слушающие меня, сейчас спешите пересчитать и примерить, о ком это моя речь: о папе ли католическом, об императоре ли германском, о французском ли короле или о ком еще вам надо, чтобы вы могли заявить, сказать перед всеми: вот он, это мой враг, а я на стороне правой! Но я не настолько прост, чтобы целить в какую-то личность; Антихрист когда приходит, он приходит ко всем и для всякого, и всякий – его частица. Антихрист в отрядах злодеев, разоряющих города и страны; он в нежданных знамениях неба, где внезапно покажется радуга, гром и молниебитие, в это время зазвучит множество голосов и море станет кипящим. Сказано же, что люди и земные твари станут порождать драконов, но это на самом деле значит, что в сердцах будут зачинаться ненависть и злоба, и не озирайтесь по сторонам, не выискивайте чудовищ с картинок, которые так привлекательны вам на пергаментах! Сказано, что малое время пробыв во браке, девы родят младенцев, отлично владеющих речью, которые возгласят, что времена уже созрели, и восхотят быть убитыми. Однако не ищите на горах и в долинах этих младенцев, ибо многознающие чада уже убиты, и убиты в наших стенах! И точно как те чада из пророчеств, вид они имели людей уже возросших, и они были четырехпалыми порождениями прорицаний, призраками, и теми зародышами, которые должны были пророчествовать из матернего чрева, изрыгая магические пения. Все это было предписано, вы поняли? Предписано, что великие возмущения случатся в сословиях, в народах и во храмах; что подымутся пастыри злодейские, распутные, наглые, невоздержные, сластолюбивые, падкие до благ, копители богатств, празднословные, напыщенные, гордые, алчные, строптивые, погрязшие в пороках, искатели тщеславия, неприятели евангелия, готовые отринуть узкие врата, презреть истинное слово, и от них пребудет в небрежении любая тропа набожности, и не раскаются в грехах, и через них посреди народов станут селиться неверие, и братняя злость, и преступность, и черствость, и зависть, и безразличие, и воровство, и винопийство, и излишество, и похоть, и плотский разврат, и любодеяние, и все другие пороки. Прекратятся сострадание, милосердие, миролюбие, нестяжание, сочувствие, соболезнование, умение плакать… Продолжать ли, или вы сами уже узнали себя самих, вы, кто слушаете меня сейчас, иноки здешнего аббатства и приезжие важные гости?»

В повисшей над залой тишине прозвучало шуршание. Это кардинал Бертран ерзал на своем седалище. Надо отметить, подумал я, что Хорхе воистину крупнейший проповедник, и, как положено, он не разбирает важной публики от неважной; бичует собратьев, не щадит и гостей обители. И я не знаю, что бы мог отдать в такую минуту, только бы проведать, что делается сейчас в голове у Бернарда или у жирных авиньонцев.

«И вот тут-то наступит миг, именно в этот миг оно наступит, – грянул вдруг Хорхе. – Антихристово богохульное появление, этой обезьяны, каким он старается быть, Господа пресвятого нашего. В оные времена (которые уже – времена сегодня) захвачены будут все существующие царства, и будет голод, и будет жажда, и скудная жатва; и зимы великой злобы. И дети оных времян (которые уже – сегодня) не найдут того, кто бы руководствовал их хозяйством и хранил бы в надежном месте их запасы, и их начнут притеснять на торговле купли и продажи. Тогда блаженны те, кто уже не будет жить, и те, кому, живя, приведется выжить! Тут придет человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого святынею, со своими ложными достоинствами, которыми потщится ввести во грех и в обольщение всю вселенную и возобладать над праведными. И Сирия рухнет и оплачет своих сыновей. И Киликия сумеет держать главу лишь пока не появится тот, кто призван судить ее. И

дщерь Давидова подымется от трона роскошности своей, дабы испить из чаши горечи. Каппадокия, Ликия и Ликаония наклонят выи, потому что великие толпища будут перебиты при разрушении ничтожества их. Таборы варваров и боевые колесницы пройдут по всем округам, завоевывая их. В Армении, в Понте и в Вифинии подростки станут гибнуть от меча, девочки пойдут наложницами, сыновья и дщери совершат кровосмешение; Писидия, похваляющаяся величием, будет повержена, меч падет посередине Финикии. Иудея оденется в платья скорбные и приготовится ко дню проклятия, потому что она нечиста. Тогда от каждой стороны света изойдут омерзение и безутешность, Антихрист подчинит себе земли западные и развалит пути сообщения, в руках у него будут железо и огнь карающий, и он будет жечь все своей яростью, и злость его будет пламя; сила его будет святотатство, обольщение – его длань, десница его будет гибель, шуйца – содержать мрак погибельный. И вот признаки, отличающие его: голова его – пылающий огнь; правый глаз заполнен кровью, левый – кошачьей зеленью; две зеницы у него, и веки белые; и брыла книзу отвислые, губа толстая, чресла слабые, стопы громадные, нарицательный перст плосок и удлинен!»

«Полный портрет оратора», – прошипел Вильгельм мне на ухо. Реплика совершенно неуместная, но я был за нее благодарен, потому что волосы у меня на черепе постепенно начинали вставать дыбом. Я с трудом подавил припадок смеха, раздув щеки и со свистом выпуская воздух через сомкнутые губы. Как я ни старался, получилось достаточно шумно, и в тишине, наступившей после слов слепого, все прекрасно расслышали этот шум, но, по счастью, расценили его не то как кашель, не то как всхлипыванье, не то как приглушенный стон; к подобному восприятию имелись все основания.

«Это будет время, – заговорил снова Хорхе, – когда распространится беззаконие, сыновья подымут руку на родителей, жена злоумыслит на мужа, муж поставит жену перед судьями, господа станут бесчеловечны к подданным, подданные – непослушны господам, не будет больше уважения к старшим, незрелые юноши потребуют власти, работа превратится в бесполезную докуку, и повсюду раздадутся песни во славу греха, во славу порока и совершенного попрания приличий. После этого изнасилования, измены, лихая божба, противоприродное распутство покатятся по свету, как грязный вал, и злые умыслы, и ворожба, и наведение порчи, и предсказательство; и возникнут на небе летающие тела, и закишат среди доброверных христиан лжепророки, лжеапостолы, растлители, двуличники, волхвователи, насильники, ненасыти, клятвопреступники и поддельщики, пастыри перекинутся волками, священнослужители начнут лгать, отшельники возжелают вещей мира, бедные не пойдут на помощь начальникам, владыки пребудут без милосердия, праведники засвидетельствуют несправедливость. Во всех городах будут толчки землетрясения, чумное поветрие захватит любые страны, ветряные бури приподымут землю, пашни заразятся, море изрыгнет черновидные соки, новые небывалые чуда проявятся на луне, звезды переменят свое обыкновенное кружение, другие звезды, незнаемые, взбороздят небо, летом падет снег, жгучий зной разразится в зиму. И настанут времена скончания и скончание времян… В первый день, в третий час подымется в своде небесной сферы глас великий и мощный, и пурпуровая туча выйдет от страны севера. Молнии и громы сопроводят ее, и на землю выпадет дождь кровавый. На второй день земля искоренится от своего поместилища, и дым громаднейшего зарева пройдет через врата небесные. В третий день все пропасти земли возгрохочут от четырех углов космоса. И замок небесного свода откроется, воздух стеснится башнями дыма и будет зловоние серное вплоть до десятого часа. В четвертый день при занятии утра пропасть растопится и испустит вопли, и падут все строения. В пятый день, в шестый час уничтожатся все возможности света, прекратится бег солнца, и на земле будут сумерки до самого вечера, и светила с луной не исправят свою обязанность. В шестый день, в час четвертый замок неба сломается от востока до запада, и ангелы смогут наблюдать за

землей сквозь пролом в небесах, и все те, кто окажутся в это время на земле, смогут видеть ангелов, смотрящих из небес. В это время все люди попрячутся в расщелины гор, чтоб укрыться от взгляда ангелов справедливости. А в седьмой день сойдет с неба Христос в свете своего отца. И тогда произойдет судилище добрых и вознесение к вековечному блаженству тела и души их. Но отнюдь не об этом надлежит размышлять вам в сегодняшний вечер, вы, надменные братья! Грешникам не доведется лицезреть зарю дня восьмого, когда подымется глас сладчайший и нежный от страны востока, на середину неба, и появится лик того Ангела, который властвует над всеми ангелами святыми, и все ангелы выдвинутся за ним следом, восседая на облачный поезд. Полные радости, понесутся легче света по воздуху освободить тех избранных, которые верили, и все вместе возликуют, ибо уничтожение этого мира будет при сем окончено. Однако не нам, исполненным нашей спеси, надлежит этим тешиться сегодня вечером! Лучше поразмыслим о словах, которые Господь произнесет, чтобы отогнать тех, кто не заслужил спасения! Опадите же от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный дьяволом и его министрами! Вы сами заслужили себе его, и теперь получайте его! Отдалитесь же от меня, сойдите в потустороннюю истому, в огнь негаснущий! Я дал вам свое подобие, а вы следовали образу другого! Вы сделались служителями другого господина, идите же теперь к нему, в темноту, живите с ним, с этим змеем неотдыхающим, ввергитесь в скрежет зубовный! Я дал вам уши, чтобы вы внимали Святому Писанию, а вы слушали речи язычества! Я сотворил вам уста, дабы вы славили всевышнего, а вы употребили их на пустословие поэтов и на загадки болтунов! Я дал вам очи, дабы вы узрили свет моих предписаний, а вы использовали их, чтобы вглядываться во тьму! Я судия человеколюбивый, честный. Каждому воздаю по заслуженному им. Я хотел бы иметь милосердие для вас, но не нахожу масла в ваших сосудах. Я был бы склонен смиловаться над вами, но ваши светильники закоптились. Удалитесь же прочь… Так будет говорить Господь. И тем, к кому он скажет… и нам, наверное, предстоит сойти к месту вечных мучений. Во имя Отца, Сына и Духа Святого!»

«Аминь!» – откликнулись все.

Один за другим, без звука, без шепота расходились монахи по своим обиталищам. Без всякого желания говорить друг с другом проследовали восвояси и минориты, и посланники папы. Все жаждали уединения и отдыха. На сердце у меня было тяжело.

«Спать, спать, Адсон, – приговаривал Вильгельм, взбираясь по ступеням странноприимного дома. – Сегодняшний вечер не подходит для прогулок. Мало ли что взбредет в голову Бернарду. Вдруг он решит приблизить конец света и начать с наших с тобой мощей… Завтра надо обязательно выбраться к полунощнице, потому что Михаил и прочие минориты уезжают сразу после нее».

«А Бернард… и заключенные?» – спросил я еле слышно.

«Здесь Бернарду делать больше нечего. Он захочет попасть в Авиньон прежде Михаила и так все устроить, чтоб сразу после его приезда развернулся судебный процесс над келарем – миноритом, еретиком и убийцей. Костер Ремигия будет в виде праздничного факела озарять первую встречу Михаила и папы».

«А что будет с Сальватором… и с девушкой?»

«Сальватора повезут вместе с келарем. Очевидно, он предполагается как свидетель на процессе. Может быть, за эту услугу Бернард сохранит ему жизнь. Может быть, даст ему бежать и убьет при попытке к бегству. Хотя кто знает. Может, он его и впрямь отпустит. Такие, как Сальватор, таких, как Бернард, интересуют меньше всего. Так что по-разному может получиться. Не исключено, что он кончит свой век живорезом где-нибудь в лангедокских лесах…»

«А девушка?»

«Я же сказал тебе. Горелое мясо. Но она сгорит раньше всех, не доезжая Авиньона, на здешнем побережье, для острастки какого-нибудь поселения катаров. Я слышал, что Бернард договорился встретиться со своим сподвижником Жаком Фурнье… Запомни это имя, пока что он жжет альбигойцев[*], но метит явно выше. Для такой встречи красотка-ведьма, которую можно со вкусом спалить, – как раз то, что надо. Это повысит и самоуважение и славу обоих».

«Но разве нельзя что-нибудь сделать? – вскричал я. – Хоть что-нибудь, чтобы их спасти? Аббат не вступится?»

«За кого? За келаря, сознавшегося убийцу? За этого ничтожного Сальватора? Или ты о девчонке думаешь?»

«А если даже и так? – заорал я из последних сил. – По совести говоря, из всех трех она единственная, кто неповинен ни сном, ни духом. Вы ведь знаете, что она не ведьма!»

«И ты веришь, что Аббат, после всего, что тут было, поставит под удар те остатки авторитета, которыми он еще пользуется? Ради какой-то ведьмы?»

«Но взял же он на себя ответственность за побег Убертина!»

«Убертин был монах его аббатства и ни в чем не обвинялся. И вообще, что за чепуху ты несешь. Убертин важная особа. Бернард мог убрать его только исподтишка».

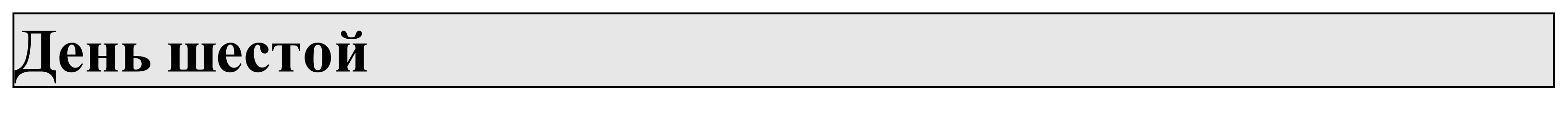
«Значит, правду говорил келарь, и простецы всегда платят за всех, даже за тех, кто на словах заступается за них, даже за таких, как Убертин с Михаилом, которые своими разглагольствованиями о покаянии поднимают простецов на мятеж!» – Я совсем не владел собой, я уже не соображал, что девица не была несчастным полубратом, сбитым с толку заклинаниями Убертина. Но все равно она была крестьянка и платила за игры, которые ее не касались.

«Да, так все и обстоит, – печально отвечал на мои речи Вильгельм. – Хотя если ты жаждешь справедливости… Могу тебя успокоить. Безусловно, наступит такой день, когда крупные псы, папа с императором, замирятся и по этому случаю растопчут всю мелкую песью братию, которая пока что грызется, услужая им. Тогда и с Михаилом, и с Убертином обойдутся так же, как сейчас с твоей девчонкой».

Теперь я могу сказать, что Вильгельм, произнося это, пророчествовал, вернее, философствовал на основании принципов натуральной логики. Но в ту минуту ни пророчества его, ни силлогизмы нисколько меня не утешили. Я был совершенно раздавлен сознанием собственной вины, ибо выходило, что девушка на костре будет искупать тот самый грех, в котором я участвовал наравне с нею.

Потеряв всякий стыд, я разразился рыданиями и метнулся к себе в келью, где в течение целой ночи кусал тюфяк и выл в полном бессилии, ибо судьба отказала мне даже в том, о чем читал я в рыцарских романах, украдкой, с ровесниками, у себя дома, в Мельке, – в праве плакать и жаловаться, поминая имя возлюбленной.

Единственная земная любовь всей моей жизни не оставила мне – я никогда не узнал – имени.



День шестой

Шестого дня
ПОЛУНОЩНИЦА,

где князи восседают, а Малахия валится на землю

Мы сошли к полунощнице. Этот час окончания ночи, когда уже, можно сказать, нарождается новый неотвратимый день, был все еще полон тумана. Пересекая церковный двор, я чувствовал, как сырость проникает в тело до самых костей. Вот расплата за неспокойные сны! Хотя в церкви было тоже холодно, я вздохнул с облегчением, опускаясь на колени в тени ее вольт, в укрытии от стихий, в островке тепла, исходившего от других тел и от жаркой молитвы.

Пение псалмов только началось, когда Вильгельм указал мне на пустое седалище в ряду напротив нашего, между Хорхе и Пацификом Тиволийским. Это было место Малахии, который всегда усаживался сбоку от слепого. И не мы единственные обратили внимание на его отсутствие. С одной стороны, туда же был устремлен беспокойный взгляд Аббата, который, конечно, уже научился понимать, сколь мрачным предзнаменованием может оказаться такая пустующая скамья. По другую сторону находился старый Хорхе, как я заметил – тоже охваченный сильным волнением. Лицо старика, обычно непроницаемое из-за его белых потухших очей, было затенено на три четверти. Но нервность и тревогу выдавали руки. То и дело рука его тянулась вбок, к месту соседа, и отдергивалась, удостоверясь, что место это пустует. Он повторял и повторял свое движение через ровные промежутки времени, как будто надеялся, что отсутствующий с минуты на минуту явится. Но и опасался, что он может не явиться уже никогда.

«Где же это библиотекарь?» – прошептал я Вильгельму.

«Малахия, – отвечал Вильгельм, – оставался единственным держателем той самой книги. Если не он совершил предыдущие убийства, тогда может статься, что он и не знает об опасностях, скрытых в ней…»

Добавить было нечего. Только ждать. И все выжидали: мы, Аббат, продолжавший сверлить глазами пустую скамейку, Хорхе, продолжавший водить рукой в темной пустоте.

Когда литургия кончилась. Аббат напомнил монахам и послушникам, что следует готовиться к большой рождественской обедне. И посему, как принято издавна, время, остающееся до хвалитных, будет отдано совершенствованию хорового пения некоторых песней, положенных к рождеству. Хотя надо сказать, что эта семья богомольцев и без того в момент служения сливалась в некое единое существо, в единый голос, и чувствовалось, что в обращении долгих и долгих лет создана такая общность, когда как будто одна-единственная душа исторгается в пении.

Аббат начал. Запели «Sederunt»:

Sederunt principes
Et adversus me
Loquebantur, iniqui.
Persecuti sunt me.
Adjuva me, Domine,
Deus meus salvum me
Fac propter magnam misericordiam tuam[90].

Я подумал, что неспроста Аббат выбрал именно этот градуал{*} именно для этой ночи, в которую на богослужении среди нас в последний раз присутствовали посланники князей мира, чтоб заставить всех вспомнить, как в течение множества столетий наш орден был способен противостоять нападениям любых властителей благодаря своим исключительным взаимоотношениям со Всевышним, с Господом ополчений. И действительно от начала песни веяло ощущением необыкновенной мощи.

Первый слог, Se, исходил от плавного торжественного хора десятков и десятков голосов, и басовитый звук заполнял собою нефы и нависал над нашими головами и все-таки, казалось, исторгался из самого сердца земли. И он не пресекался и громыхал, даже когда другие голоса начали вить поверх этой низкой долгозвучащей ноты свою цепочку вокализмов и мелизмов, он гудел – зык земной коры, теллурический вой – и господствовал над звучанием, и не прерывался во все то время, которое потребовалось читчику, обладателю мерного, упадающего голоса, чтобы двенадцать раз повторить «Аве Мария». И как бы освободившиеся от всяческой боязни благодаря той вере, которою настойчивый первый слог, аллегория вековечного постоянства, питал и поддерживал молящихся, иные голоса (в большинстве – голоса послушников) на этом плотном, каменном основании принялись возводить свои столбики и шпили, зубчики, шипы, гребни нотных «пневм», остреньких и тающих. И покуда мое сердце исходило наслаждением, упадая и летя в соответствии с климаком или порректом, торкулом или саликом, эти голоса, казалось, свидетельствовали, что души (души поющих и внимающих пению), не в силах выдержать преизобилия чувства, разрываются на части, перерождаясь в гибчайшую мелодию, которая переплавляет счастье, горечь, хвалу и любовь в истому нежнейшей многозвучности. В это время ожесточенное упорство хтонических басов, как ни ярилось, не могло возыметь силы ужасной угрозы, как будто пугающее присутствие неприятелей, тех властелинов, которые собрались преследовать народ Господен, не в состоянии было осуществиться. Все это длилось и тянулось к наивысшему мигу, когда нептунический рык впрямую захлестнул звенящею сольною нотой и обрушился, или хотя бы сокрушился, нарушился силой ликующего Аллилуйя, исходившего от тех, кто ему противоречил, – и затем покорился, смирился и влился в мощнейший, совершеннейший аккорд, в опрокинутую пневму.

Когда с какой-то отупляющей натугой выпелось наконец «Sederunt», был взнесен в воздух вопль «principes», как великое серафическое упокоение. Я уж не дознавался, кто были эти властители, выступавшие против меня (против нас); изничтожилась и истаяла всякая тень их, призраков, восседающих и грозных.

И все прочие призраки, уверовал я, также расточились бесследно, ибо, глянув на место Малахии, все еще во власти задумчивости и поглощенный песнопением, я вдруг заметил среди других молельщиков фигуру библиотекаря. Как будто он никуда и не пропадал. Я повернулся к Вильгельму и прочел в его глазах выражение облегчения, и то же самое – насколько я мог разобрать издалека – во взгляде аббата. А Хорхе снова вытянул вбок руку и, встретив сбоку тело соседа, сразу ее отдернул. Но что касается его чувств, и было ли среди них облегчение, тут я судить не могу.

Теперь хор перешел к восторженному «adjuva me», светлый звук которого «a» радостно разлетелся по всему собору; наступивший вслед за ним «u» не казался таким мрачным, как «u» в «sederunt», а полным священной энергии. Монахи с послушниками пели, как определяется правилом службы, выпрямившись телом, широко развернув плечи, свободной грудью, с головою, высоко устремленной, держа книгу у подбородка, так, чтоб смотреть в нее, не наклоняя шею, чтобы звук выходил из горла, ничем не потесняясь. Однако ночь еще не окончилась, и невзирая

на то, что победный трубный благовест заполнял всю церковь, пелена сонливости то и дело наваливалась на песнопевцев, которые, возможно, целиком отдаваясь протяжному звуку, вплоть до потери ощущения реальности, и сохраняя только одно ощущение – своего пения, убаюканные его волнами, иногда опускали на грудь свою голову, побежденную дремотой. На этот случай бодрственники, неустанные как всегда, подносили к их лицам лампы, к каждому по очереди, чтобы возвратить их тела и души к напряженному бдению.

Поэтому, именно один из бодрственников первый, прежде всех нас, заметил, что Малахия как-то странно покачивается из стороны в сторону, как будто он оглушен внезапно налетевшей дремотой и бредет по туманной дороге сна. Что могло быть вполне естественно, если ночью он не спал. Монах поднял фонарь к лицу Малахии. Тут и я взглянул более внимательно. Тот как будто не почувствовал света. Монах тронул его за плечо. Библиотекарь грузно повалился вперед. Монах еле успел подхватить его, а не то бы он грянулся об пол.

Песнь замерла, голоса стихли, началась суматоха. Вильгельм мгновенно сорвался с места и в два прыжка был уже там, где Пацифик Тиволийский и бодрственник опускали на землю Малахию, потерявшего сознание.

Мы подоспели почти в одно время с Аббатом. В свете фонаря нам предстало лицо несчастного. Я уже описывал наружность Малахии. Но той ночью, при том освещении, лицо его было ликом самой смерти. Заострившийся нос, глаза в черных кругах, запавшие виски, побелевшие, съежившиеся уши с вывернувшимися наружу мочками. Кожа лица вся как будто заскорузла, натянулась, пересохла. На скулах проявились желтоватые пятна, и щеки вроде бы обтянуло какой-то темной плевой. Глаза были еще открыты. Дыхание натужно вырывалось из опаленных уст. Он широко открывал рот. Наклонившись позади Вильгельма, приникшего к умирающему, я из-за его плеча разглядел, как в оцеплении зубов колотится совершенно черный язык. Вильгельм приподнял лежащего, обхватил за плечи, рукой отер пот, заливавший лицо Малахии. Тот ощутил чье-то касание, чье-то присутствие, вперил взгляд в какую-то точку прямо перед собой, разумеется, ничего не видя и, конечно, не различая, кто перед ним. Трясущейся рукой он дотянулся до груди Вильгельма, вцепился в одежду и рванул его к себе. Теперь лицо его почти соприкасалось с лицом Вильгельма. Малахия напрягся всем телом и прохрипел: «Меня предупреждали… Это правда… Там сила тысячи скорпионов…»

«Кто тебя предупреждал? – спрашивал, склонясь к нему, Вильгельм. – Кто?»

Малахия хотел еще что-то сказать. Но тело его пронзила ужасная судорога. Голова откинулась навзничь. С лица сбежали все краски, всякая видимость жизни. Он был мертв.

Вильгельм поднялся на ноги. Рядом стоял Аббат. Вильгельм взглянул на него и не сказал ни слова. Потом увидел за спиной Аббата Бернарда Ги.

«Господин Бернард, – обратился к нему Вильгельм, – кто же убил этого человека, если вы так великолепно поймали и обезвредили всех убийц?»

«У меня не надо спрашивать, – отвечал Бернард. – Я никогда не говорил, что правосудию преданы все злодеи, обосновавшиеся в этом аббатстве. Я, конечно, охотно выловил бы их всех… будь моя воля… – и смерил взглядом Вильгельма. – Теперь же в отношении остальных приходится рассчитывать на суровость… или, скорее, на излишнее попустительство его милости Аббата». Услышав это, Аббат, молча стоявший рядом, побелел как мел. Бернард удалился.

Тут до слуха донеслось какое-то еле слышное повизгивание, хлюпанье, всхлипыванье. Это был Хорхе. Он так и не поднялся с колен, со своего места в хоре. Его поддерживал какой-то монах, по-видимому, описавший ему происшедшее.

«Это никогда не кончится… – выговорил Хорхе прерывающимся голосом. – О Господи, помилуй всех нас!»



Вильгельм еще на мгновение наклонился над мертвецом. Взявшись за запястья, он повернул руки трупа ладонями вверх. Подушечки первых трех пальцев правой руки были черного цвета.

Шестого дня
ХВАЛИТНЫ,

где назначается новый келарь, но не новый библиотекарь

Наступил ли уже час хвалитных? Или дело происходило до того? Или позднее? С этой минуты я потерял ощущение времени. Может быть, прошло несколько часов, а может быть, и нет. В общем, за это время тело Малахии успели уложить в церкви на носилки, а собратья полукругом выстроились около него. Аббат отдал распоряжения насчет будущих похорон. Я слышал, как он подзывает Бенция и Николая Моримундского. Менее чем в одни сутки, сказал он, Аббатство лишилось и библиотекаря, и келаря. «Ты, – обратился он к Николаю, – примешь дела Ремигия. Тебе известно, кто и чем обязан заниматься по нашему аббатству. Подбери человека себе в замену на кузню. А сам займись тем, что необходимо для сегодняшних трапез. Распоряжайся в кухне, в трапезной. От богослужений освобождаешься. Ступай». Потом обратился к Бенцию: «Тебя вчера как раз назначили помощником Малахии. Позаботься об открытии скриптория и следи, чтоб никто самовольно не подымался в библиотеку». Бенций робко заикнулся, что еще не посвящен в тайны хранилища. Аббат смерил его тяжким взглядом. «Нигде не сказано, что будешь посвящен. Твое дело – следить, чтоб работы не останавливались и исполнялись с усердием, как моление за упокой погибших собратьев… И за тех, кому еще суждено погибнуть. Пусть каждый ограничивается книгами, которые уже выданы. Кому надо, может смотреть каталог. Больше ничего. Ты освобождаешься от вечерни и во время богослужения запрешь Храмину».

«А как же я выйду?» – спросил Бенций.

«Ах, да. Хорошо. Я сам запру после вечерней трапезы. Ступай».

И оба вышли, сторонясь Вильгельма, который пытался заговорить с ними. В хоре осталось совсем немного народу: Алинард, Пацифик Тиволийский, Имарос Александрийский и Петр Сант’Альбанский. Имарос ухмылялся во весь рот.

«Возблагодарим Господа, – сказал он. – После смерти этого германца приходилось опасаться, что назначат еще большего варвара».

«А теперь кого, вы думаете, назначат?» – спросил Вильгельм.

Петр Сант’Альбанский загадочно улыбнулся: «После всего, что мы видели в эти дни, вопрос уже не в библиотекаре, а в аббате».

«Замолчи», – оборвал его Пацифик. И тут вмешался Алинард со своим бессмысленным взглядом: «Они подстроят новую несправедливость… Как в мое время… Нужно помешать им…»

«Кому?» – спросил Вильгельм. Тут Пацифик Тиволийский доверительно взял его под руку и отвел подальше от старика, к входной двери.

«Ох, этот Алинард… Ты ведь знаешь, что мы все его очень любим. Он для нас олицетворяет древность, традицию, лучшие времена аббатства… Но иногда он сам не знает, что говорит. А назначением нового библиотекаря мы очень интересуемся. Нужно найти достойного человека, зрелого, мудрого… Вот и все».

«Он должен знать греческий?» – спросил Вильгельм.

«И арабский. Таково правило. И для работы это ему нужно. Но среди нас есть многие с такими данными. Я, грешный… и Петр, и Имарос…»

«Бенций тоже знает греческий».

«Бенций слишком молод. Не знаю, чего ради Малахия вчера взял его к себе в помощники. Хотя…»

«Адельм знал греческий?»

«Кажется, нет. Точно нет. Не знал ни единого слова».

«Но греческий знал Венанций. И Беренгар. Прекрасно. Большое спасибо».

Мы вышли и направились на кухню слегка закусить.

«Зачем вы выясняли, кто знал греческий?» – поинтересовался я.

«Затем, что все, кто умирает с черными руками, знают греческий. Логично предположить, что очередным мертвецом будет также кто-то из знающих греческий. Включая меня. Ты вне опасности».

«А что значили последние слова Малахии?»

«Ты же слышал. Скорпионы. Пятая труба знаменует, среди прочего, появление саранчи, которая должна мучить людей своим жалом, подобным жалу скорпионов. Тебе это известно. А Малахия дал нам понять, что кто-то ему что-то похожее предсказал».

«Шестая труба, – пробормотал я, – предвещает коней, у которых головы, как у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера, а на них всадники, одетые в брони цветов огня, гиацинта и серы».

«Это как-то чересчур. Хотя… Не исключено, что следующее преступление произойдет возле конюшен. Придется посматривать туда… Так. Дальше. Потом прозвучит седьмая труба. Значит, будет еще две жертвы. Кто самые вероятные кандидаты? Если предмет убийства, как и прежде, предел Африки – значит, в опасности все, кому известна его тайна. По моему представлению, из таких людей остался в живых один Аббат… Но, конечно, за это время могла перемениться и вся интрига. Как мы только слышали, – ты ведь слышал? – затевается заговор с целью смещения Аббата. Алинард называл кого-то “они”. Во множественном числе…»

«Надо предупредить Аббата», – сказал я.

«О чем? Что его убьют? У нас нет убедительных доказательств. Я исхожу из того, что преступник рассуждает примерно так же, как я. А что, если у него другая логика? И прежде всего… Что, если здесь не один преступник?»

«Как это?»

«Я сам еще толком не разобрался. Но ведь я тебя учил, что всегда надо попробовать вообразить любой возможный порядок. И любой возможный беспорядок».

Шестого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами

Николай Моримундский в своем новом качестве келаря отдавал распоряжения поварам, а те отдавали ему отчет относительно разных кухонных служб. Вильгельм хотел поговорить с ним, но тот попросил обождать несколько минут. После чего, пояснил Николай, он сойдет в крипту, где располагается сокровищница, и будет лично следить за работой тех, кто чистит ризы. Это часть его былых обязанностей, за которую он отвечает и теперь. Там он будет более свободен и изыщет время для беседы.

И действительно, вскорости он предложил следовать за ним. Мы вошли в церковь, завернули за центральный алтарь (в это время монахи устанавливали в одном из нефов катафалк и готовились ко бдению у тела Малахии). Вслед за Николаем мы спустились по небольшой лесенке и попали в зальцу с очень низким потолком, нависавшим над массивными столбами из необработанного камня. Это была крипта. В ней хранились богатства монастыря. Та самая сокровищница, которую Аббат оберегал более чем ревниво и вход в которую дозволял только в самых крайних обстоятельствах и самым значительным гостям.

Все вокруг было заставлено ковчегами разнообразных размеров. Внутри их, в свете факелов, зажженных двумя доверенными помощниками Николая, можно было разглядеть сверкающие предметы ошеломительной красоты. Золоченые облачения, короны из цельного золота, обсыпанные драгоценностями, ларцы из благородных металлов с коваными фигурами, черненое серебро, работы по слоновой кости. Николай с благоговением показал нам евангелиарий, оплетка которого состояла из чудесных глазурных бляшек, образовывавших многообразное единство равномерно расположенных отсеков, разделенных золотыми филигранями и закрепленных застежками из драгоценных камней. Он показал нам очаровательную часовенку с двумя колонками из ляпис-лазури и золота, обрамлявшими восстание из гробницы, выполненное тончайшим барельефом по серебру и увенчанное золотым крестом с вкрапленными двенадцатью алмазами, – все это на фоне наборного оникса. По маленькому фронтону шли агатовые и рубиновые зубцы. Потом я увидел складень из золота и кости, поделенный на пять частей, с пятью событиями жизни Христа, а посередине – с мистическим агнцем, чье тело состояло из серебряных позолоченных сот, заполненных стеклянными пастами: единственное многоцветное изображение на фоне восковой белизны. Лицо Николая, когда он показывал нам сокровища, просто светилось. Все движения были исполнены величайшей гордости. Вильгельм похвалил увиденные вещи, а потом спросил у Николая, что за человек был Малахия.

«Странный вопрос, – сказал Николай. – Ты ведь с ним тоже был знаком».

«Да, но недостаточно. Я никак не мог понять, какие мысли он скрывает… И… – Он помедлил. Видимо, совестился говорить подобное о недавно почившем. – И было ли что скрывать».

Николай послюнил палец, провел по грани кристалла, там, где заметна была легкая шершавость. Потом ответил, пряча глаза и усмешку: «Вот видишь, тебе не о чем расспрашивать. Так и есть. Кое-кому Малахия казался мрачным мыслителем. А на самом деле это был очень простодушный человек. По словам Алинарда, дурак и больше ничего».

«Алинард обижен на кого-то за какие-то давние дела. За то, что тогда ему не дали занять

место библиотекаря».

«Да, я тоже что-то такое слыхал. Но истории этой очень много лет. Пятьдесят. Или больше. Когда я поступил сюда, библиотекарем был Роберт из Боббио, а старики были недовольны и ворчали, что вроде какая-то несправедливость допущена в отношении Алинарда. Но я не стал углубляться. Потому что не хотел проявлять неуважение к старшинам ордена. И не хотел раздувать сплетни. У Роберта был помощник, который скоро умер, и на его место назначили Малахию, в то время еще совсем молодого. Многие были недовольны. Говорили, будто он не заслужил. Будто он утверждает, что знает греческий и арабский, а это неправда. И будто он не более чем способная обезьяна, которая переписывает красивым почерком рукописи на этих языках, а сама не понимает, что переписывает. Говорили, что библиотекарь должен быть гораздо более образованным человеком. Алинард, который тогда был еще в расцвете и полон сил, отзывался об этом назначении с большой горечью. Он намекал, что пост отдан Малахии только из-за интриг одного его заклятого недруга. Но я не понял, на кого он намекает. Вот все, что я знаю. У нас часто шептались насчет Малахии, что он сторожит библиотеку, как цепной пес, сам не понимая, к чему приставлен. С другой стороны, стали злословить и о Беренгаре, как только Малахия выбрал его себе в помощники. Говорили, что он не понятливее своего учителя, что он обыкновенный интриган… И еще говорили… Да ты, наверно, и сам слыхал сплетни… что существовала некая особая связь между ним и Малахией… Ладно. Дело прошлое. При этом, как ты, должно быть, знаешь, то же самое говорилось насчет Беренгара и Адельма. Молодые писцы уверяли, будто Малахия страдает от тайных мук ревности. Кроме того, сплетничали и о взаимоотношениях Малахии с Хорхе. Нет, нет, не в том смысле! Не подумай только! Никто и никогда не сомневался в чистоте Хорхе! Речь о другом. Малахия, став библиотекарем, был обязан, по традиции, ходить на исповедь к Аббату, тогда как все остальные монахи исповедуются Хорхе. Или Алинарду. Но старик сейчас уже почти совсем слабоумен… Ну так вот. Все знали, что, несмотря на это, Малахия предпочитал советоваться с Хорхе. Очень часто ходил к нему. Получалось, что Аббат направляет его душу, а Хорхе руководствует телом, поступками, всеми трудами. С другой стороны, как ты, наверное, и сам знаешь… Полагаю, ты не раз наблюдал… В общем, всякий, кому были нужны сведения насчет древних и забытых книг, обращались не к Малахии, а к Хорхе. Малахия заведовал каталогом и ходил в библиотеку, но только Хорхе знал, что обозначается тем или иным названием…»

«А почему Хорхе так хорошо знает библиотеку?»

«Он самый старый, не считая Алинарда. Он здесь с ранней юности. А сейчас ему уже больше восьмидесяти. Зрение он потерял, по слухам, в сорок… Или раньше…»

«Как же он успел изучить столько книг до слепоты?»

«О, о нем рассказывают чудеса. По рассказам, еще на мальчика на него снизошла благодать, и там у себя в Кастилии, еще не созревши телесно, он уже читал книги арабов и греческих риторов… Да и потеряв зрение, даже сейчас, он целыми днями сидит в библиотеке. Велит читать себе вслух каталог, потом заказывает книги, а какой-нибудь послушник их ему читает. Час за часом. Хорхе не знает устали. Он запоминает все. И помнит. Не то что выживший из ума Алинард. Но для чего ты меня расспрашиваешь обо всем этом?»

«Теперь, после гибели Малахии и Беренгара, остался ли хоть кто-нибудь, посвященный в тайны библиотеки?»

«Аббат. И Аббат может передать секреты Бенцию. Если захочет».

«Почему ему не захотеть?»

«Потому что Бенций слишком молод, потому что, когда его назначали помощником, еще существовал Малахия… Это разные вещи – быть помощником библиотекаря и быть библиотекарем. Согласно традиции, библиотекарь потом становится аббатом…»

«Ах, вот как! Вот почему на место библиотекаря столько желающих! Значит, и наш Аббон был прежде библиотекарем?»

«Нет. Аббон не был. Его назначение состоялось до того, как я попал сюда. Раньше тут аббатствовал Павел из Римини. Удивительный был человек. О нем рассказывали очень странные вещи. Он якобы был ненасытным читателем, знал наизусть все книги библиотеки. Но у него была редкая болезнь. Он не мог писать. Его звали "Неписьменным аббатом" – "Abbas agraphicus". Он сделался аббатом в самом молодом возрасте. Говорят, его выдвинул и поддерживал Альгирд Клюнийский, "Квадратный доктор". Но все это давние разговоры, пустые пересуды монахов… В общем, Павел был назначен аббатом. Тогда Роберт занял освободившееся место в библиотеке. Но его грызла какая-то хвороба, он сох и таял, и было понятно, что управлять судьбами аббатства ему не под силу. Поэтому, когда Павел из Римини пропал…»

«Умер?»

«Нет, пропал, неизвестно куда. Однажды уехал по делам и не вернулся. Может, его убили разбойники где-нибудь по дороге… В общем, когда Павел пропал, Роберт не мог притязать на его должность. И начались какие-то темные дела. Аббон, говорят, был естественнорожденным сыном одного из здешних господ. Рос он в аббатстве Фоссанова. И рассказывают, что в самом юном возрасте он находился при Св. Фоме, когда тот умирал. А когда он умер, Аббон руководил выносом этого великого тела вниз по винтовой башенной лестнице, где было так узко, что гроб не удавалось развернуть… Но Аббон прекрасно справился. Это и был его звездный час, острили злые языки. Так или иначе, аббатом он был избран, хотя и не заведовал библиотекой. И кто-то, по-моему, тот же Роберт, посвятил его в тайны книгохранения…»

«А сам Роберт за что был назначен?»

«Не знаю. Я всегда старался не слишком вникать в подобные вещи. Наши аббатства – пристанища святости. Но вокруг должности настоятеля, к сожалению, иногда плетутся чудовищные интриги. Я всегда занимался своими стеклами и своими кивотами[*] и в другие дела не мешался. Теперь тебе понятно, почему я говорю, что не знаю, захочет ли Аббат обучать Бенция. Это значило бы прямо назвать его своим преемником. Доверить монастырь легковесному мальчишке, с его грамматикой и с его варварством, выходцу с крайнего Севера… Что он знает о нашей стране, о роли нашего аббатства, о связях с местными господами…»

«Но Малахия тоже не был итальянцем. И Беренгар. А библиотеку отдали им…»

«Темная история. Монахи брюзжат, что вот уже полвека как наше аббатство утратило все традиции. Оттого-то пятьдесят лет назад, или даже раньше… я не помню… Алинард и боролся за библиотекарское место. Библиотекарями здесь всегда бывали итальянцы. Слава Богу, у нас на родине способных людей хватает. А так видишь что получается. – И Николай замялся, как будто не решался выговорить, что у него на душе. – Видишь? Малахию и Беренгара убили. Возможно, их убили, чтоб они не стали аббатами».

Он содрогнулся и провел рукой по лицу, будто желая отогнать нечестивые помыслы. Потом осенился крестным знамением. «Да что там говорить? Ты сам видишь: в этой стране вот уже сколько лет совершаются постыдные вещи. Совершаются и в монастырях, и при папской резиденции, и в соборах… Битвы за овладение властью, обвинения в ереси, чтобы захватить чужую пребенду… Какая гадость. Я теряю веру в род человеческий, когда вижу, что куда ни кинь – везде заговоры и дворцовые интриги. И до подобных низостей суждено было дойти этому аббатству! Клубок гадюк поселился, привороженный оккультной магией, там, где прежде было поместилище здоровых членов. Глядите, вот прошлое здешнего монастыря!»

Он показывал на сокровища, расставленные вдоль стен. Не останавливаясь больше около крестов и прочей утвари, он повел нас смотреть на реликварии, которые почитались истинной гордостью этого места.

«Глядите, – приговаривал он. – Вот наконечник копья, проткнувшего грудную клетку Спасителя!» Перед нами была золотая укладка с прозрачной хрустальной крышкой, и в ней на пурпурной подушечке мягко почивал треугольный кусок железа, уже затронутый ржавчиной, но начищенный и доведенный до сияющего блеска – видимо, благодаря щедрому употреблению масел и мазей. Но это была еще мелочь! Ибо в следующей укладке, серебряной, усеянной аметистами, с передней стенкой из тончайшего стекла, находился кусок благословенного древа святого смертного креста, преподнесенный этому аббатству самой ее величеством королевой Еленой, матерью императора Константина, после того как она побывала паломницей у святых мест и разрыла Голгофский холм и гробницу Господню, выстроив над ними свою церковь.

Потом Николай показал нам другие реликвии, которые я вряд ли сумею толком описать из-за их невероятного количества и великолепия. Там был, в ларце из цельного аквамарина, один из гвоздей со святого креста. В стеклянном сосуде, помещавшемся на подушке из маленьких засушенных роз, лежала частица тернового венца. А в другом кивоте, тоже на лепестках, покоился пожелтевший лоскут салфетки с тайной вечери. Затем был там кошель Св. Матфея, серебряный, кольчужной вязки, а рядом в трубке, опоясанной фиалковой лентой, полуистлевшей от времени, опечатанной золотой печатью, локтевая кость Св. Анны. Увидел я там и наичудеснейшее чудо: прикрытую стеклянным колоколом и уложенную на алую, расшитую жемчугами ткань щепку от Вифлеемских яслей; малую пядь пурпурной туники Св. Иоанна Евангелиста, две цепи, оковывавшие лодыжки Св. Апостола Петра в Риме, череп Св. Адальберта, меч Св. Стефана, бедро Св. Маргариты, палец Св. Виталия, ребро Св. Софии, подбородок Св. Эобана, верхнюю часть лопаточной кости Св. Златоуста, обручальное кольцо Св. Иосифа, зуб Крестителя, посох Моисея, изорванный и хрупкий кусочек кружева от подвенечного платья Пресвятой Девы Марии.

Там были и другие вещи, не являвшиеся реликвиями, но все же представлявшие собой свидетельства Божиих чудес и чудесных созданий из далеких земель, привезенные в Аббатство монахами, добиравшимися до самых дальних концов мира: набитые соломой василиски и гидры, рог единорога, яйцо, которое отшельник обнаружил в другом яйце, некоторое количество манны, питавшей евреев в пустыне, зуб кита, кокосовый орех, плечевая кость допотопного животного, слоновый костяной бивень, ребро дельфина. И еще иные реликвии, с которыми я по их виду не смог даже и разобраться, что они такое, и оклады которых были, кажется, самые драгоценные. Некоторые из этих реликвий (судя по состоянию окладов, по почерневшему серебру) были очень, очень древние. Бесконечная выставка кусочков костей, тканей, дерева, металла, стекла. И фиалы с черновидными порошками, об одном из которых было сказано, что он содержит испепеленные остатки города Содома, а о другом – что там побелка со стен Иерихона. Все это были такие вещицы, что за каждую из них, даже за самую потрепанную, какой-нибудь император отдал бы не один феод. Эти вещи были залогом не только величайшего уважения к аббатству во всем мире, но и солидного материального благополучия приютившей нас обители.

Ошеломленный, я продолжал ворочать головой; Николай в общем закончил рассказывать про выставленные предметы, однако каждый образец объяснялся еще и при помощи повешенной рядом с ним дощечки. Пользуясь этим, я мог теперь спокойно подходить и разглядывать поместилища неописуемых чудес. Одни были хорошо видны при ярком свете факелов, какие-то приходилось осматривать в полутьме, если в это время прислужники Николая находились, со своими светильниками, в другом конце крипты. Меня завораживали пожелтевшие хрящи, мистические и в то же время отталкивающие, прозрачные и таинственные, обрывки одежды незапамятных столетий, выцветшие, расслоившиеся по нитке, а теперь закатанные трубочками в фиалах, как облезлые дряхлые рукописи; эти кусочки крошащегося вещества, почти

смешивающегося с тканью подстилки, эти священные останки жизни, бывшей некогда животной (но и рациональной), а ныне оказавшейся в плену хрустальных и металлических построек, которые воспроизводили, в малом своем измерении, бесстрашную архитектуру каменных кафедралов с их башенками и шпилями; эти останки представлялись как будто тоже превратившимися в минеральное вещество. Значит, вот в каком виде тела святых и мучеников дожидаются, погребенные, своего плотского воскресения? Из этих клочьев, выходит, готовятся восстановиться те организмы, которые в блеске богоявления, вновь обретши былую природную чувственность, смогут распознавать, как пишет Пиперн, любые minimas differentias odorum?[91]

Вывел меня из самозабвения Вильгельм. Он тряхнул меня за плечо: «Я ухожу, – сказал он. – Мне нужно в скрипторий, кое-что еще выяснить».

«Но книг же не выдают, – сказал я. – Бенцию приказано…»

«Я посмотрю те книги, которые читал вчера. А они все как лежали, так и лежат на столе Венанция. Ты, если хочешь, оставайся. Эти сокровища – прелестная иллюстрация к дискуссии о бедности, которую ты прослушал накануне. Теперь ты знаешь, ради чего твои собратья рвут друг другу глотки, когда грызутся за аббатский сан».

«Значит, вы приняли версию Николая? Значит, преступления связаны с борьбой за инвеституру{*}?»

«Я же сказал, что пока не хочу бросаться голословными гипотезами. Николай много о чем говорил. Некоторые вещи меня заинтересовали. И все-таки я должен проработать до конца еще один след. А может, это тот же самый след, но взятый с другого конца… Кстати, не очень обольщайся по поводу этих реликвий. Обломков креста я перевидал очень много и в самых разных церквах. Если все они подлинные, значит, нашего Господа терзали не на двух скрещенных бревнах, а на целом заборе…»

«Учитель!» – вскричал я, потрясенный.

«Но это так, Адсон. А бывают еще более роскошные реликвии. Когда-то в Кельнском соборе я видел череп Иоанна Крестителя в возрасте двенадцати лет…»

«Какое диво! – отозвался я с восхищением. И сразу же, усомнившись, воскликнул: – Но ведь Креститель погиб в более зрелом возрасте!»

«Другой череп, должно быть, в другой сокровищнице», – невозмутимо отвечал Вильгельм. Никогда я не мог понять, шутит он или нет. У меня на родине, когда хотят пошутить, сперва произносят что-нибудь, а потом начинают хохотать, как бы приглашая всех окружающих посмеяться над шуткой. Вильгельм же смеялся, только говоря о серьезных вещах. И оставался совершенно серьезным, когда, по моим представлениям, шутил.

Шестого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон, слушая «Dies irae»[92], видит сон, или, скорее, видение

Вильгельм поблагодарил Николая и ушел в скрипторий. Я тоже уже успел налюбоваться сокровищами и решил перейти в церковь, помолиться за упокой души Малахии. Никогда этот человек мне не нравился, и боялся я его, и не скрою, что долгое время считал виновником всех преступлений. Но теперь я понял, что он, видимо, просто неудачник, истерзанный тайными страстями; сосуд скудельный между железных сосудов; свирепый лишь оттого, что нелепый; молчаливый и уклончивый лишь оттого, что ясно сознавал, что сказать ему ничего. Я испытывал какой-то стыд перед ним и надеялся, что молитва о его загробном успокоении снимет с моей души тяжкое чувство вины перед покойником.

Теперь церковь была освещена неяркими синюшными огнями. На катафалке возвышалось тело несчастного монаха. Всю церковь заполнял мерный шепот братии, читавшей заупокойную службу. В Мелькском монастыре я неоднократно присутствовал при успении собратьев. Там это протекало в обстановке не могу сказать веселой, но все-таки какой-то светлой, безмятежной; всеми владело спокойное и мягкое чувство правильности происходящего. Монахи по очереди сменяли друг друга в комнате умирающего, поддерживая его хорошими словами. И всякий в глубине своего сердца думал, до чего блажен этот, которому надлежит преставиться и увенчать достойно прожитую жизнь, и перейдя в иной мир, через самое малое время соединиться с хором ангелов, примкнуть к ликованию, которому несть конца. И какая-то толика нашего спокойствия, благоухание нашей доброй зависти передавалось умирающему, и он отходил в тишине.

До чего же иначе выглядели смерти последний дней! Наконец я увидел вблизи, как кончается жертва дьявольских скорпионов из предела Африки. И, несомненно, именно так погибали Венанций и Беренгар, пытались спасаться водой, с лицами, истерзанными болью, как у Малахии…

Я уселся в глубине церкви, подтянув колени, чтоб избавиться от озноба. Постепенно меня начало охватывать тепло, и я перебирал губами, присоединяясь к хору молящихся монахов. Я вторил поющим, почти не сознавая, какие слова выговариваю. Голова у меня покачивалась, глаза трудно было разлепить. Прошло много времени. Должно быть, я задремывал и просыпался не менее трех-четырех раз. Наконец хор завел «Dies irae». Гимн подействовал на меня, как наркотик, и дремота плавно перешла в сон, вернее не в сон, а в какое-то тревожное оцепенение. Почти лишившись чувств, скорчившись на холодном полу собора, я свернулся в клубок, как зародыш, не вышедший еще из материнской утробы. И вот во власти этой душевной одурманенности, переселившись в предел, не принадлежавший к нашему миру, я имел видение. Или сон. Не знаю точно, как лучше и назвать.

Я двигался по винтовой лестнице, проложенной внутри какой-то тесной каменной кишки. Я вроде бы шел в крипту с сокровищами. Однако, когда наконец открылся выход (где-то очень глубоко внизу), я оказался в огромном помещении, еще более просторном, чем монастырская поварня, занимавшая низ Храмины. Да это и точно была поварня, но оснащенная не только печами и всяческой посудой, а наряду с тем – кузнечными мехами и молотами. Как будто здесь сошлись для своего дела еще и подмастерья Николая. Воздух пламенел от зарева печей и расплавленного железа; из огнедышащих кастрюль вырываются пар, а на поверхности варева

вздувались, булькали большие круглые пузыри и с треском лопались, наполняя все вокруг густым непрерывным шумом. Повара скакали тут и там, размахивая вертелами, а среди них послушники, сошедшись тоже тут, сигали в воздух – кто выше, – стараясь достать куриц и прочую мелкую живность, насаженную на раскаленные железа. И рядом, в двух шагах, кузнецы лупили молотами с такою силой, что самый воздух, казалось, глох, и тучи искр вспархивали с наковален, сшибаясь на лету с другими искрами, вырывавшимися из двух натопленных печей.

Я не понимал, где нахожусь: в аду или, наоборот, в раю, устроенном по представлениям Сальватора, в раю, залитом мясными соками и трепещущем от жареных колбасок. Но не было времени задумываться, где я, потому что орава каких-то недомерков, каких-то карапузов с огромными, вроде ушатов, головами, взявшись непонятно откуда, накатилась на меня, потащила за собой в трапезную и впихнула силой в двери.

Все было убрано к балу. Огромные ковры и гобелены висели на стенах, но рисунки ковров были не такие, которыми обычно внушаются благоговейные мысли или прославляются доблести царей, а больше всего напоминали маргинальные иллюстрации Адельма, причем из всех его рисунков были выбраны самые нестрашные и потешные; зайцы, пляшущие вокруг куканского древа, рыбы, плывущие поперек реки и выпрыгивающие из вод прямиком на сковородку, хороводы обезьян, переодетых епископами-поварами, животастые уроды, вьющиеся в облаках пара вокруг котлов.

Во главе стола находился Аббат, наряженный, как на праздник, в облачении из расшитого пурпура. Он вздымал свою виду, как скипетр. С ним рядом Хорхе, держа огромный кубок, тянул вино, а келарь, в одежде Бернарда Ги, набожно читал из книги, сделанной в виде скорпиона, жития святых и отрывки из Евангелий. Но во всех в них рассказывалось о том, как Иисус потешался над Апостолом, втолковывая ему, что он-де есть камень и на этом бесстыдном камне, катящемся по равнине, и придется ему основать свою церковь. Звучали и слова Св. Иеронима, толкующие Библию, о том, как Господь собирался обнажить зад Иерусалима. И на каждом стихе, прочитанном келарем, Хорхе с громким хохотом ударял кулаком по столу и орал: «Ты – будущий аббат, клянуся божьими потрохами!» В точности так он произносил, Господи спаси меня и помилуй.

По торжественному манию Аббата двери отперлись и показалась вереница дев. Блистательной толпой вплывали необыкновенно одетые красавицы, во главе которых, как мне сперва показалось, шла моя мать, но тут же я увидел, что обознался, и что это передо мною, конечно же, та самая девица, ужасная, как выстроенное к битве войско. Только вот на голове у нее была диадема из перлов белых, о двух обручах, и еще два каскада перлов струились по обе стороны ее лица, соединяясь с двумя другими водопадами перлов, укрывавшими грудь, и к каждому из перлов был привешен диамант величиной со сливу. Кроме того, в обоих ушах у девицы были нити голубых жемчугов, которые сходились, как ожерелье, у основания шеи, белой и высокой, будто башня Ливана. Плащ ее был цвета багрянки, и в руках имела она золотую чашу, испещренную диамантами, в которой, как я понял – не знаю уж, каким чудом, – содержалась смертоносная жидкость, украденная у Северина. Сопровождали эту особу, прекрасную как заря, другие великолепные жены, первая из них в плаще белом, узорно шитом, надетом поверх темного платья, украшенного двойной золотой епитрахилью, по которой рассыпались полевые злаки; у второй был плащ из желтого дамаска на платье бледно-розовом, усеянном зелеными цветами, и с двумя нашитыми большими квадратами в виде коричневых лабиринтов; а третья имела плащ алый, а одеянье изумрудное, вышитое небольшими красными животными, и в руках держала плат белый, златобраный; одеяний прочих дев я не запомнил, потому что изо всех сил пытался понять, кто они, сопровождающие девицу, внезапно уподобившуюся в моих глазах непорочной деве Марии. И обо всех женщинах я как-то дознавался, кто они. Как если бы каждая

держала в руках или во рту табличку с собственным именем. Так я почему-то понял, что это Руфь, Сара, Сусанна и другие женщины, знаемые из Священного Писания.

Тут Аббат гикнул: «Тащите, блядины дети!» И в трапезную вторглась новая толпа святейших лиц, которых я распознал мгновенно. Одеты они были кто скромно, кто роскошно. Во главе этой ватаги возвышался Сидящий на престоле, и это был Пресвятый наш Господь, но в то же самое время и Адам, облеченный в пурпурную мантию и в массивное ожерелье, ало-белое от жемчугов и рубинов, удерживавшее мантию на плечах. А на голове у него была корона, такая же, как у девицы, и в руке чаша, большая, чем у нее, и наполненная свиною кровью. Другие священные личности, о коих еще расскажу, все до одного хорошо мне известные, торопились свитой за ним, и с ними же шла когорта лучников короля Франции, одетых кто в красное, кто в зеленое, каждый с изумрудным щитом, на котором красовалась монограмма имени Христова. Начальник этого войска преклонился, отдал честь Аббату, преподнес ему чашу и возгласил: «Знаю, что эти земли, в таких границах, в каких мы видим, тридцать лет уж во владеньи у святого Бенедикта». На это Аббат отвечал: «Так открой через первый и седьмой в четырех». И все вместе хором: «Во пределы пределов Африки, аминь». Потом стали садиться.

Тут перемешались оба шествия, по приказу Аббата Соломон стал накрывать стол к пиршеству, Иаков и Андрей приволокли копну сена, Адам уселся перед всеми, а Ева на листвии, Каин явился со своим сошником, а Авель с подойником, и пристроился доить Гнедка, Ной триумфально въехал на ковчеге, подгребая веслами, Авраам сел под деревом, а Исаак на церковный цельнозолотой алтарь, Моисей поместился на камне, а Даниил на катафалке, присоседившись к Малахии, Товия вытянулся на ложе, Иосиф запрыгнул на хлебную меру, Вениамин плюхнулся на мешок, и подобно поступили и иные, однако тут видение стало совсем смутно, Давид оказался на всхолмии, Иоанн на голой земле, Фараон на песке (разумеется, сказал я себе, но с какой стати?), Лазарь на столе, Иисус у колодезного сруба, Закхей на ветках дерева, Матфей на табуретке, Раав на пакле, Руфь на соломе, Фекла на подоконнике у окна (тут снаружи всунулось бледное лицо Адельма, предупреждавшего ее, что так можно выпасть, вывалиться, полететь вниз, вниз, в отвесную пропасть), Сусанна в саду, Иуда среди надгробий, Петр на престоле, Иаков на неводе, Илия на кожаном седле, Рахиль на котомке. И апостол Павел, отложивши меч, выслушивал ропщущего Исава, в то время как Иов стенал, ибо сидел в испражнениях, и к нему поспешили на помощь Ревекка с тряпкой, Юдифь с одеждой, Агарь со смертном саваном. В это время какие-то послушники внесли большой дымящийся котел, откуда торчал наружу Венанций Сальвемекский, совершенно багровый, и раздавал направо и налево кровяные колбаски.

В трапезной становилось все более людно, и все угощались за обе щеки. Иона принес к столу тыквы, Исаия – овощи, Езекииль – тутовые ягоды, Закхей – плоды смоквы, Адам – лимоны, Даниил – бобы, фараон – дыни, Каин – волчцы, Ева – фиги, Рахиль – яблоки, Анания – сливы, крупные, как диаманты, Лия – луковицы, Аарон – оливы, Иосиф – яйцо, Ной – виноград, Симеон – персиковые косточки, а в это время Иисус распевал «Dies irae» и радостно выжимал на все кушания уксус из маленькой губки, которую он снял с наконечника пики одного из лучников французского короля.

«Деточки мои, овечки вы мои милые, – пробурчал Аббат, уже довольно-таки пьяный, – нельзя вам ужинать такими голодранцами, идите же сюда ко мне поближе, идите все». И он треснул кулаком первого и седьмого из четырех, и те отлетели, исказившиеся, как призраки, и пробили зеркало, и зеркало распалось на куски, и оттуда полезли, и завалили всю землю, легли ворохами по всем залам лабиринта многоцветные одежды, усеянные перлами, все как одна истасканные и грязные. И Закхей приял ризу белую, Авраам – цвета птичьего, Лот – серную, Иона – голубую, Фекла – пламенную, Даниил – львиную, Иоанн – триклинную, Адам –

кожаную, Иуда – серебряную, цвета денег, Раав – червленую, Ева – цвета дерева добра и зла, и кто-то еще приял пестропокровную, кто-то – серединную, кто-то – ворсяную, кто-то – морского цвета, кто-то – увеселенную, кто-то – ракушечную и ржавоцветную, и черную, и гиацинтовую, и цвета огня и пламени, а Христос прохаживался в ризе голубиного цвета и, хохоча, дразнил Иуду, что тот не умеет так пошутить, чтоб было весело.

К этому времени Хорхе, стащив с себя читальные стекла, стал устраивать неопалимую купину, для которой Сара принесла дрова, Яфет их собрал, Исаак уложил, Иосиф наколол; тут же Иаков откупоривал колодец, Даниил сидел у озера, прислужники начерпали воды. Ной принес вина, Агарь – мех, Авраам – тельца, которого Раав привязала к столбу с помощью Иисуса, подававшего вервие, и Илии, спрягавшего ноги; потом Авессалом подвесил его за волосы, Петр подал меч, Иоанн убил тельца, Ирод выпустил всю кровь, Сим прибрал требуху и навоз, Иаков побрызгал маслом, Молассадон посолил, Антиох поставил на огонь, Ревекка сварила, а Ева первая отведала, и ей стало нехорошо, но Адам предложил не обращать внимания и все похлопывал по плечу Северина, советовавшего подсыпать ароматических трав. Тогда Иисус преломил хлеб, роздал своих рыб, Иаков раскричался, почему Исав съел у него все бобы, Исаак пожрал козленка прямо с огня, а Иона – вареного кита, а Иисус остался на тощий желудок сорок дней и сорок ночей.

Тем временем все заходили и выходили, принося изысканнейшую снедь от разных ловитв, любого вида и любого цвета, причем Вениамин всегда отхватывал самую большую часть, а Мария – самую лучшую, а Марфа жаловалась, что всегда ей приходится за всеми мыть тарелки. Потом они поделили теленка, который тем временем непостижимо увеличился, и голову от него взял Иоанн, Авессалом – загривок, Аарон – язык, Самсон – челюсть, Петр – ухо, Олоферн – шею, Лия – зад, от плеч – Саул, Иона – потроха, Товий – желчь, Ева – ребро, Мария – грудь, Елисавета – матку, Моисей – хвост, Лот – ляжки, Езекииль – кости. Тем временем Иисус закусывал ослятей, святой Франциск – волком, Авель – агнцем, Ева – муреной, Креститель – саранчой, фараон – осьминогом (разумеется, подумал я, но с какой стати?), а Давид поедал шпанских мушек и кидался на девицу черную, но прекрасную, в то время как Сальватор вонзал зубы в окорок живого льва, а Фекла с воплями удирала, спасаясь от паука, покрытого темным волосом.

Все уже, без сомнения, очень сильно перепились, и одни повалились на пол, оскользнувшись на вине, а другие в кастрюли, и торчали только ноги, как две воткнутые жерди. А у Иисуса пальцы были выпачканы черным и он всем подсовывал листы из книги, приговаривая: «Возьмите и съешьте, вот вам загадки Симфосия, в частности про рыбу, которая есть Сын человеческий и ваш Спаситель». И все опять стали упиваться, Иисус – изюмным, Иона – марсиковым, Фараон – соррентским (с чего бы это?), Моисей – гадитанским, Исаак – критским, Аарон – адрианским, Закхей – ягодным, Фекла – огневым, Иоанн – альбанским, Авель – кампанским, Мария – синьинским, Рахиль – флорентийским.

Адам поперхнулся, изблевал, и вино пошло у него из ребра. Ной сквозь сон поносил Хама, Олоферн храпел в безмятежности, Иона спал как убитый, Петр бодрствовал до петушьего крика, а Иисус внезапно пробудился, услыхав, как Бернард Ги с Бертраном Пожеттским сговариваются сжечь девушку. И воскричал: «Отче! Если только ты можешь! Да минует меня чаша сия!» И кто худо мешал, кто славно пил, кто умирал со смеху, а кто смеялся до смерти, кто вносил сосуды, а кто пил из чужой посуды. Сусанна вопила, что нипочем не уступит свое дивное белое тело келарю с Сальватором за поганое бычачье сердце, Пилат слонялся по трапезной, как неприкаянная душа, и выпрашивал у всех воды, чтоб ему помыть руки, а брат Дольчин в шляпе с пером подносил ему воды, а потом, хихикая, распахнул одежду, показывая багровый окровавленный лобок. А Каин дразнил его, тиская красавицу Маргариту Тридентскую. И Дольчин заплакал и удалился приклонить главу на грудь Бернарда Ги, величая того

ангелическим папой. Убертин пытался утешить его древом жизни, а Михаил Цезенский золотым кошельком, обе Марии умащали его притираниями, а Адам уговаривал откушать свеженького яблочка.

После этого отверзлись своды Храмины и с небес опустился Рогир Бэкон, несомый махиною на воздусех плывущей, ею же един муж воссед правил. Тогда Давид заиграл на гуслях, а Саломея заплясала под семью покрывалами, и каждый раз, сбрасывая очередное покрывало, она дула в одну из семи труб и показывала одну из семи печатей, пока не осталась одетой только в солнце. И все приговаривали, что не бывало другого такого развеселого аббатства, и Беренгар задирал всем одежду, как мужчинам, так и женщинам, и целовал каждого в промежность. Тут пошли пляски, Иисус оделся учителем, Иоанн – охранником, Петр – сетеловителем. Немврод – охотником, Иуда – доносчиком, Адам – садовником, Ева – ткачихою, Каин – разбойником, Авель – пастырем, Иаков – бегуном, Захария – жрецом, Давид – царем, Ювал – гусляром, Иоахим – рыбарем, Антиох – кухарем, Ревекка – водоносицей, Модассадон – дураком, Марфа – прислужницей, Ирод – неистовым, Товия – лекарем, Иосиф – плотником, Ной – пьянчугою, Исаак – мужиком, Иов – страдальцем, Даниил – судиею, Фамарь – блудницею, Мария – госпожою и стала требовать, чтобы слуги принесли еще вина, потому что сын ее, растяпа, никак не соберется претворить воду в вино.

Вот тогда-то Аббат и раскричался в ярости, потому что, заявил, он не для того устраивает такой замечательный праздник, чтоб оставаться без подарков; и тут все наперегонки бросились нести ему дары и сокровища: агнца, овна, льва, верблюда, оленя, тельца, солнечную колесницу, подбородок Св. Эобана, хвост Св. Моримунды, срам Св. Арундалины, затылок Св. Бургозины, оправленный металлом, как череп в возрасте двенадцати лет, и переписанный «Пятиугольник Соломона». Но Аббат разозлился еще пуще, с криками, что таким манером хотят отвлечь его внимательность, а сами в это время грабят и растаскивают сокровищницу крипты, в которой все совокупно мы тем временем оказались, и что похищена очень ценная книга, где говорится о скорпионах и о семи трубах, и велел лучникам короля Франции, чтоб они обыскали всех подозреваемых. И обнаружились, ко всеобщему устыжению: на Агари – покрывало многоцветное, печать чистого золота – на Рахили, серебряное зеркало – между грудями у Феклы, застольная чаша – под мышкой у Вениамина, шелковый платок – под юбкой у Юдифи, копье – в руке Лонгина и чужая жена – в объятиях Авимелеха. Но самое ужасное произошло, когда отыскали черного петуха на девице, черной и еще более прекрасной, нежели кот той же самой расцветки, и объявили тут же ее ведьмой и лжеапостольшей, так что все набросились на нее, чтобы наказать. Иоанн Креститель отсек ей голову, Авель ее зарезал, Адам ее выгнал вон, Навуходоносор начертал ей огненным перстом зодиакальные знаки на груди, Илия похитил ее на огненной колеснице. Ной утопил ее в воде. Лот превратил ее в соляной столп, Сусанна обвинила ее в сладострастии, Иосиф изменил ей с другой, Анания вверг ее в пещь огненную, Самсон ее оковал, Павел иссек бичом, Петр распял ее книзу головой, Стефан побил каменьями, Лаврентий пытал ее на раскаленной решетке, Варфоломей содрал с нее кожу, Иуда на нее донес, келарь ее сжег на костре, а Петр от всего отрекался. А потом скопом накинулись на ее тело, валили на нее испражнения, пускали ей ветры в лицо, мочились ей на голову, блевали ей на грудь, рвали ей волосы, совали ей между ног зажженные факелы. Тело девицы, прежде такое нежное и красивое, теперь разлагалось, разваливалось на мелкие частицы и разлеталось по ковчегам и хрустальнозолотым реликвариям крипты. Вернее сказать, не тело девицы, распространяясь, населяло собою крипту, а наоборот, частицы крипты, вращаясь вихрем, складывали собою тело девицы, теперь состоявшее уже не из живого, а из минерального вещества, которое потом снова рассыпалось и разваливалось, претворялось в священный прах того, что некогда было скоплено усилиями святотатственного безрассудства. Было так, как будто

единое неизмеримое тело в течение тысячелетий расчленялось на мельчайшие обломки, и эти обломки располагались по всей крипте, собой ее заполняли, и крипта, при всем своем роскошестве, ничем не отличалась от мощехранилища почивших монахов, и как будто субстанциальная форма самого по себе человеческого тела – венец творения – была разрушена и разделилась на формы акцидентальные, множественные и несообщенные, тем самым составив образец собственной противоположности, составив форму уже не идеальную, но земную, сделавшись прахом и дурно пахнущими останками, способными символизировать только гибель и уничтожение…

Я уже не видел около себя ни участников пира, ни преподнесенных ими даров – вроде как бы все гости с того праздника ныне упокоились в крипте, каждый ставши мумией собственных останков, каждый превратясь в прозрачную синекдоху самого себя. Рахиль обернулась костью, Даниил – зубом, Самсон – челюстью, Иисус – обрывком пурпурного облачения. Вроде как если бы, дойдя до окончательной развязки, от огнебурного празднества дойдя до растерзания тела девицы, пышный пир увенчался всеобщей катастрофой, и я увидел, как в конечном результате этой катастрофы все тела… Нет, что я говорю? Единое целостное тело, подлунное и земное, изголодавшееся, изжаждавшееся, трапезующее, стало единым безжизненным телом, рваным и пытанным, как тело Дольчина после наказания, превратилось в мерзкое сверкающее сокровище, растянутое всей своей поверхностью, как шкура освежеванного зверя, распяленное на крючьях со всеми отверделыми частями. В этом теле видны были одновременно и наружность, и внутренность, и все какие существуют члены, и в то же время выражение лица. И кожный покров с каждой его складочкой, с морщинами и рубцами, с его бархатистыми укромностями, с волосатыми рощами шевелюры, пахов, лобка, живота, шелестящими, как дамасская парча, с грудями, с ногтями, с роговыми затверденениями под пятками; и мохнатость ресниц, и водяной студень глаз, и мякоть губ, и тонина спинного хребта, и архитектура костей; все это на глазах превращалось в песковатую пыль, не теряя, однако, четкости первоначальных очертаний, не нарушая взаимной сорасположенности частей: и опустевшие полые ляжки, дряблые как чулки, и нутряное их мясо, вынутое и отставленное в сторону наподобие алой священнической ризы с голубыми арабесками вен, и кованый клуб закрученных кишок, и полыхающий из-под слизистой обмазки рубин сердца, и низка зубов, перламутрово-ровных, отборных, как на ожерелье, с болтающимся в виде подвески багрово-синим языком; и пальцы, стройно воткнутые рядышком, как свечи; и застежка пупка, которым укручивались в узел нити расправленного, как ковер, живота… Со всех сторон, со всех стенок крипты теперь мне подмигивало, подхихикивало, пришептывало и манило к себе, то есть к смерти, это макроскопическое тело, растащенное по реликвариям и окладам и, тем не менее, единое в своей обширной иррациональной целокупности, и оно было тем самым телом, которое во время вечери обжиралось и бесстыдно выплясывало, но сейчас оно казалось мне бездвижным в неприкосновенности своей глухой, слепой гибели. И Убертин, хватая меня за локоть и до того стискивая, что ногти протыкались сквозь кожу тела, шептал: «Теперь ты видишь, что это все одно и то же! Что прежде тщеславилось в своей безудержности, упивалось своими играми – ныне лежит тут, наказанное и награжденное, освобожденное от прелести страстей, окоченевающее в постоянстве, обреченное вековому хладу, который сохранит и очистит его, и подвергнет его разложению, чтобы спасти от разложения, потому что никакая сила не может обратить в пыль то, что уже стало пылью и минеральным веществом, в смерти нам покой готов, завершенье всех трудов».

Но тут внезапно ввалился в крипту Сальватор, огнедышащий, как дьявол, и проорал: «Дурень! Ты что, не видишь, что это великий лиотарский зверь книги Иова? Чего же тебе бояться, миленький мой хозяин? Вот тебе сыр под одеялом!» И внезапно вся крипта озарилась алыми сполохами и снова стала выглядеть как кухня, но еще в большей степени, чем на кухню,

она походила на внутренность громадного брюха, скользкого и студенистого, и в середине сидело черное чудище, вороного цвета, тысячерукое, прикованное к огромной решетке, беспрестанно тянущее свои щупальца, чтобы захватить тех, кто находился поблизости, и как мужик, когда хочет напиться, выжимает кисть винограда, точно так и эта тварь выжимала всех, кого удавалось словить, и до того стискивала жестоко, что ломала всем и руки, и ноги, расплющивала головы. А потом пожирала их с удовольствием и отрыгивала пламя ужасного запаха, гораздо зловоннее серы. Но – удивительная загадка! – неизвестно отчего эта сцена совершенно меня не ужасала и я вдруг обнаружил, что взираю как на знакомца на этого «доброго дьявола» (такими словами я о нем подумал), потому что в конце концов он был не кем иным, как Сальватором; дело в том, что о смертном человеческом теле, о его страданиях и разрушении я узнал отныне все – и отныне ничего не страшился. И действительно, очень скоро в огневидном освещении, которое мне теперь казалось и приятным, и даже уютным, я увидел всех приглашенных на вечерю, снова обретших свою телесную оболочку и поющих радостно о том, что все начинается сначала, и среди прочих показывалась девица, невредимая и прекраснейшая, и говорила ко мне: «Все это ничего, ничего, вот увидишь, скоро я вернусь и буду еще лучше, чем прежде, дай только я на минуточку взойду на костер и сгорю, а потом мы увидимся вот где!» И показывала, прости меня Господи, свое лоно, и я устремился в него и попал в великолепнейшее ущелье, напоминавшее благодатный луг золотого века, росистый, с родниками и плодами, и с деревьями, на которых вызревали сыры под одеялом. И все, кто там был, хвалили Аббата за превосходный праздник, и благодарили, и, чтобы выказать свое расположение и свою любовь, молотили его кулаками, пинали ногами, рвали на нем одежду и валили его на землю, и лупили розгами по срамному месту. Он же похохатывал и умолял не делать ему так щекотно. Затем верхом на конях, у которых изо рта выходили облака серы, въехали братья бедной жизни, и у каждого на поясе колыхался кошель, набитый золотом, и посредством того золота они обращали волков в агнцев, а агнцев – в волков, и тех волков короновали императорами при всенародной поддержке народной ассамблеи, распевавшей гимны во славу неизъяснимого всемогущества Господня. «Ut cachinnis dissolvatur, torqueatur rictibus!»[93] – голосил Иисус, подбрасывая терновый венец. Вошел папа Иоанн, распекая всех за беспорядок и приговаривая: «Раз пошли такие дела, не знаю, чем это все кончится!» Однако над ним все посмеялись и во главе с Аббатом отправились, взявши свиней, в лес за трюфелями. Я хотел идти со всеми, но в углу показался Вильгельм. Он шел из лабиринта. В руке у него был магнит, стремительно увлекавший его ко крайнему северу. «Не бросайте меня, учитель, – закричал я. – Я тоже хочу увидеть, что там, в пределе Африки!»

«Ты уже увидел!» – был ответ Вильгельма откуда-то издалека. И я пробудился в ту минуту, когда под сводами церкви звучали последние слова погребального гимна:

«День плачевный, полный страха,
Когда зиждется из праха
Муж, судим за прегрешенья.
Боже, дай ему прощенье!
Иисусе Господи,
Всем им дай спокойствие».

Это свидетельствовало, что мое видение, молниеносное, как все видения, успело пронестись если не за один аминь, то во всяком случае скорее, чем спели «Dies irae»

Шестого дня
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЧАСА,

где Вильгельм толкует Адсону его сон

С трудом приходя в чувство, я выбрался на улицу. У центрального портала стояло несколько человек. Это были отъезжавшие францисканцы и Вильгельм, прощавшийся с ними.

Я присоединился к теплым пожеланиям и братским объятиям. Потом спросил у Вильгельма, когда должны уехать те, другие, и увезти заключенных. Он ответил, что они уже отбыли полчаса назад, когда мы были в сокровищнице. Или, скорее всего, подумал я, как раз когда я видел свой сон.

Я ощутил что-то вроде удара. Потом взял себя в руки. Лучше так. Я бы не смог смотреть, как их увозят. Злополучного бунтаря-келаря, Сальватора и, разумеется, девушку. Смотреть и думать, что я больше никогда их не увижу… К тому же я еще не отошел от своего сонного видения, и все чувства мои до сих пор как будто не оттаяли.

Пока обоз миноритов втягивался в ворота монастырской ограды, мы с Вильгельмом, застыв у соборной паперти, провожали его глазами. И оба были удручены, каждый по своей причине. Потом я решился пересказать учителю необычный сон. Несмотря на ужасную пестроту и бессвязность видения, я, как выяснилось, запомнил все до мельчайших подробностей и необыкновенно отчетливо: образ за образом, движение за движением, слово за словом. Так что я рассказывал, ничего не опуская, потому что известно, что сны – как таинственные письмена, они часто содержат важные вещи, и мудрецы могут их читать, как писаную грамоту.

Вильгельм слушал меня в полном молчании. Потом спросил: «Знаешь, что тебе приснилось?»

«То, что я рассказал…» – растерянно ответил я.

«Ну да, понятно. Но сознаешь ли ты, что многое из рассказанного тобой существует на письме? Люди и события последних дней стали у тебя частью одной известной истории, которую ты или сам вычитал где-то, или слышал от других мальчиков, в школе, в монастыре. Попробуй вспомнить. Это же “Киприанов пир”».

Какую-то минуту я стоял в ошеломлении. Потом сообразил. Ну конечно! Название сочинения я действительно успел забыть. Но кто из взрослых монахов, кто из неугомонных молодых монашков не улыбнулся или не посмеялся хоть раз над этой повестью, в любом переложении, в прозаическом или в стихотворном? Над этим перепевом Священного Писания, входящим в богатейшую традицию пасхальных потех и ioca monachorum[94]? Его запрещали, его поносили самые строгие из послушнических наставников; и все-таки не было монастыря, где бы монахи не нашептывали его слова друг другу на ухо, разумеется, с неизбежными добавками и поправками, или, в ином случае, где бы они не переписывали этот текст с благоговением, полагая, что под покровом шутовства в нем скрыты тайные моральные указания; некоторые наставники, наоборот, поощряли его чтение и распространение, потому что, говорили они, посредством этой игры молодые смогут легче выучивать и удерживать в памяти события священной истории. Было написано и стихотворное изложение «Пира» для понтифика Иоанна VIII с посвящением: «Смеющегося высмеять желаю. Папа Иоанн! Прими! И смейся, если хочешь, над собою». И рассказывали, что сам король Карл Лысый устроил представление «Пира» на сцене, под видом шутовской священной мистерии, в рифмах, сильно переиначив текст, чтобы

развлечь за ужином своих сановников:

«Пал со смеху Гаудерих
В именительный падеж,
Лежа учит Анастасий
Отложительный глагол…»

Сколько раз меня наказывали учителя за то, что с товарищами мы повторяли наизусть куски «Вечери»! Помню, один старый монах в Мельке утверждал, что такой почтенный человек, как Киприан, не мог сочинить подобное бесстыдство, подобную святотатственную, богохульственную пародию Священного Писания, более приличествующую язычнику или игроку, нежели блаженному мученику… С ходом лет я забыл эти юношеские забавы. С какой же стати в тот день «Киприанова вечеря» снова выплыла, и с такой поразительной живостью, в моем сне? Я привык думать, что сны – это божественные сообщения или, куда ни шло, абсурдные бредни засыпающей памяти, в которой отдаются события минувшего дня. Теперь я увидел, что присниться могут и книги. Значит, присниться могут и сны.

«Хотел бы я быть Артемидором, чтоб выжать из твоего сна все, что можно, – сказал Вильгельм. – Но думаю, что и без Артемидоровой науки легко понять, как это получилось. За последние дни ты пережил, мой бедный мальчик, целый ряд событий, в которых, казалось бы, нарушены основные жизненные правила и установления. Ты беспрерывно думаешь об этом, и в твоем мозгу всплывают подспудные воспоминания о некоей комедии, где, хотя и в иных целях, мир тоже вывернут наизнанку. Сюда вплетаются самые свежие впечатления, напоминают о себе недавние страхи, отчаяние. Оттолкнувшись от маргиналий Адельма, ты дал жизнь веселому карнавалу, в котором все на свете как бы перевернуто вверх тормашками. И тем не менее, как и в “Киприановом пире”, каждый занят тем же, чем и в действительности. И в конце концов ты сам задумался, во сне, над вопросом: который же из миров перевернутый? И в каком положении вещи поставлены с ног на голову, а в каком – наоборот? Твой сон уже не может указать, где верх, где низ, где смерть, где жизнь. Твой сон опровергает все заповеди, которые в тебя вдолбили».

«Но это не я, – возразил я целомудренно, – а сон. Что же, значит, сны – не божественные письмена, а дьявольские обманы? И в них не содержится истина?»

«Не знаю, Адсон, – отвечал Вильгельм. – В нашем распоряжении уже столько истин, что если в один прекрасный день кто-то соберется выискивать истины еще и в снах, я скажу, что уж точно пришли антихристовы времена. И все-таки чем больше я думаю о твоем сне, тем больше нахожу в нем смысла. Именно для себя, а не для тебя. Ты извини, что я пользуюсь твоими снами для подкрепления собственных гипотез. Я знаю, это нехорошо, но что делать… Кажется, твоей дремлющей душе удалось разобраться в таких вещах, в которых я не разобрался за шесть дней бодрствования…»

«Правда?»

«Правда. Или нет. Неправда. Твой сон имеет смысл в первую очередь потому, что подтверждает одну мою гипотезу. И все-таки ты мне очень помог. Спасибо».

«Да чем я помог? Что такого в моем сне? Бессмыслица, как и прочие сны!»

«Здесь есть второй смысл, как и в прочих снах. И в видениях. Его надо читать аллегорически. Или анагогически».

«Как Писание?»

«Да, сон – это писание. А многие писания не более чем сны».

Шестого дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге

Вильгельм снова повел меня в скрипторий, хотя сам только недавно спустился оттуда. Он потребовал, чтобы Бенций выдал нам каталог, и стал поспешно листать его. «Где-то здесь, – бормотал он. – Я же видел час назад…» И наконец нашел нужную страницу. «Вот, – сказал он. – Читай это описание».

Под единым грифом («предел Африки»!) числились четыре наименования. Это означало, что речь идет о едином томе, содержащем несколько текстов. Я прочел:

> «I. Ар. о речениях некоторых глупцов.
> II. Сир. книжица алхимическ. египетск.
> III. Повествование Магистра Алькофрибаса о пире блаженного Киприана Карфагенского Епископа.
> IV. Книжка безголовая о лишении девства и любви позорной».

«Ну и что?» – спросил я.

«Это наша книга, – прошептал Вильгельм. – Вот почему твой сон подтверждает мои выводы. А кроме этого, – и он продолжал вглядываться в соседние листы, и в предыдущие, и в последующие, – кроме этого, вот список книг, над которым я давно ломаю голову. Вот они, все рядышком. Сейчас мы кое-что подсчитаем. Дощечка при тебе? Отлично. Требуется немного вычислений. И постарайся как следует вспомнить, что именно сказал позавчера Алинард. И что мы сегодня услышали от Николая… Прежде всего, мы узнали, что Николай появился тут около тридцати лет назад. В это время Аббон уже был назначен аббатом. До него аббатом был Павел из Римини. Верно? Предположим, что назначение Аббона состоялось около 1290 года, годом раньше, годом позже – значения не имеет. Так. Николай сообщил нам, что, когда он поступил в монастырь, библиотекарем был Роберт из Боббио. Записали? Записали. Потом Роберт умирает. И место отходит к Малахии. Скажем, в начале нынешнего века. Запиши. Однако некогда, до появления Николая, Павел из Римини тоже был библиотекарем. С какого это, примерно, года? Сведения отсутствуют. Можно было бы, конечно, посмотреть по монастырским хроникам, но, как я понимаю, они находятся у Аббата, а мне в данный момент не хотелось бы обращаться к нему. Предположим условно, что Павел был избран библиотекарем шестьдесят лет назад. Так и запиши. А теперь подумаем, почему Алинард жалуется, что приблизительно пятьдесят лет назад причитавшееся ему библиотекарское место отдали другому человеку? Кого он имеет в виду? Павла из Римини?»

«Или Роберта из Боббио!» – сказал я.

«Казалось бы, так. Однако обратимся к этому каталогу. Известно, что книги сюда заносятся, как сообщил в первый же день Малахия, в порядке поступления. А кто их вписывает в реестр? Разумеется, библиотекарь. Значит, чередование почерков на этих листах позволяет восстановить преемственность библиотекарей. Теперь исследуем каталог начиная с конца. Последний почерк

– явно почерк Малахии, очень готический, видишь сам. Он встречается только на нескольких листах. Не много же книг приобретено аббатством за последние тридцать лет! За ними идут листы, исписанные дрожащим вялым почерком, что, на мой взгляд, является недвусмысленной приметой больного и немощного Роберта из Боббио. Таких листов тоже немного. Роберт, надо думать, пробыл в должности совсем мало времени. И что мы видим на следующих листах? Столбцы за столбцами, множество столбцов совершенно иного почерка, прямого, уверенного, и все эти новые поступления, в том числе и четыре текста, которые я тебе показывал, – действительно бесценны! Как же много, выходит, трудился Павел из Римини! Поразительно много, если учесть, что сказал Николай: что Павел стал аббатом в самом молодом возрасте. И тем не менее предположим, что всего за несколько лет этот юный ненасытный читатель обогатил аббатство множеством книг… Но разве нам не сказано, среди всего прочего, что он был прозван “Неписьменным аббатом” из-за странного не то калечества, не то заболевания, не позволявшего ему писать? Значит, писал не он. Чей же, выходит, это почерк? Изволь, я скажу, чей. Это почерк его помощника. Но только в одном случае. В случае, если затем этот помощник сам занимает пост библиотекаря. Только в этом случае он продолжает своей рукой заполнять каталог. И только тогда объясняется, почему такое множество страниц исписано одним и тем же почерком. А это означает, что здесь работал после Павла, но до Роберта еще один библиотекарь, избранный около пятидесяти лет назад. И он и есть таинственный соперник Алинарда. Алинард полагал, что сам, как более старший, должен наследовать Павлу. Но вместо него назначили этого таинственного библиотекаря. А потом таинственный библиотекарь куда-то делся. И непонятно почему, снова против ожиданий Алинарда и прочей братии, библиотекарем был назначен Малахия».

«Но почему вы думаете, что это построение бесспорно? Даже если допустить, что перед нами почерк неназванного библиотекаря, почему не могут принадлежать Павлу записи на предыдущих страницах?»

«Потому что среди покупок этого времени значатся буллы и декреталии, а буллы и декреталии имеют точные даты. Я хочу сказать, что если ты видишь в списке – а ты несомненно видишь тут в списке – буллу Firma cautela Бонифация VII, датированную 1296 годом, это должно означать, что данный текст никак не мог попасть в монастырь до указанного года, и вряд ли он попал сильно позже. А это означает в свою очередь, что я располагаю чем-то вроде верстовых столбов, меряющих череду лет, и поэтому, держа за исходное, что Павел Риминийский сделался библиотекарем в 1265 году, а аббатом в 1275 году, я немедленно вижу, что его почерк, или почерк кого-то другого, кто не является Робертом из Боббио, присутствует здесь на листах с 1265 по 1285 год: то есть я вижу зазор в десять лет».

Все-таки мой учитель был действительно очень умным человеком.

«Какие же выводы следуют из этого открытия?» – воскликнул я.

«Никаких, – ответил он. – Одни предположения».

Потом он встал и подошел к Бенцию. Тот добросовестно восседал на своем месте, но вид имел довольно-таки неуверенный. Он сидел за своим обычным столом: пересесть за стол Малахии, ближе к каталогу, он так и не решился. Вильгельм заговорил с ним довольно резко. Мы не могли забыть ему отвратительную вчерашнюю сцену.

«Хоть ты и сделался таким важным, господин библиотекарь, на один вопрос ты мне, надеюсь, ответишь. В то утро, когда Адельм и остальные беседовали об остроумных загадках и Беренгар в первый раз намекнул на предел Африки, кто-нибудь упоминал о “Киприановой вечере”?»

«Да, – сказал Бенцин. – А разве я не говорил? До того как речь зашла о загадках Симфосия, именно Венанций начал что-то насчет “Вечери”, а Малахия взбесился, сказал, что это похабная

книжонка, и напомнил всем присутствующим, что Аббат категорически воспретил читать ее».

«Ах, Аббат? – сказал Вильгельм. – Очень интересно. Спасибо, Бенцнй».

«Погодите, – сказал Бенций. – Я хочу поговорить». И поманил нас за собой из скриптория на лестницу, спускавшуюся в кухню, чтобы никто посторонний не мог подслушать. Губы у него дрожали.

«Я боюсь, Вильгельм, – сказал он. – Вот они убили и Малахию. Теперь я слишком много знаю. И меня ненавидит компания итальянцев. Они не хотят инородца в библиотекари. Я думаю, что и всех других убили из-за этого. Я никогда вам не рассказывал… Но Алинард давно не любил Малахию, у него с ним давние счеты…»

«Ты можешь сказать, кто именно обошел его с назначением много лет назад?»

«Я не знаю. Он всегда говорит ужасно путано. И было это очень давно. Наверно, все перемерли. Но эти итальянцы, которые крутятся вокруг Алинарда, всегда говорят… говорили насчет Малахин… Что это марионетка, и кто-то им управляет, и все делается с ведома Аббата. А я, не соображая, что делаю, ввязался в борьбу двух группировок. Я только сегодня это понял. Италия – страна заговорщиков. Тут отравляют пап. Что уж говорить о бедных парнях вроде меня. Вчера я этого не понимал. Я думал, что вся суматоха из-за книги. Но сегодня я вижу все по-другому и понимаю, что книга – только предлог. Вы же видели, что Малахия до книги добрался, но его убили все равно. Я должен… я хочу… я хотел бы спастись. Посоветуйте мне что-нибудь».

«Для начала успокойся. Теперь тебе, значит, понадобились советы? А вчера ты хорохорился, как хозяин мира! Глупец! Если бы ты мне вчера помог, мы предотвратили бы последнее преступление. Это ты передал Малахии книгу, которая его убила. Но скажи мне хотя бы вот что. Ты эту книгу сам держал в руках, открывал, читал? И почему в таком случае ты не умер?»

«Не знаю. Клянусь, я вообще ее не трогал! Вернее трогал, там, в лаборатории, но только чтобы взять… Я взял ее и не открывал, а спрятал под одеждой, отнес в келью и засунул под тюфяк. Я понимал, что Малахия за мной следит, и тут же побежал в скрипторий. А потом, когда Малахия предложил мне место помощника, я повел его в келью и указал, где лежит книга. Все».

«Не ври, что ты ее вообще не открывал».

«Ну да, открывал, перед тем как спрятал… Но я только хотел убедиться, что это именно та книга, которую вы ищете. Там сначала шла арабская рукопись, потом другая – вроде бы по-сирийски, потом один текст по-латыни, а потом – по-гречески…»

Я снова как будто увидал обозначения, проставленные в каталоге. Первые два названия сопровождались пометками «Ар». и «Сир».. *Та самая книга!* А Вильгельм все напирал: «Значит, ты касался книги и все-таки не умер. Значит, умирают не от прикосновения. Ладно. Что ты можешь сказать о греческом тексте? Ты его смотрел?»

«Почти нет. Только заметил, что название отсутствует. Такое впечатление, будто утеряно начало…»

«Безголовая книга…» – пробормотал Вильгельм.

«Я попытался прочесть первый лист. Однако, по правде говоря, греческого я почти не знаю… Мне надо было больше времени… Да, еще меня удивила одна вещь. Это как раз насчет греческих листов. Я даже просмотреть их не смог. Не удалось. Все листы… как бы это описать… Отсырели, что ли, и склеились между собой. Может, дело в этом странном пергаменте… Он мягче, чем обычный пергамент. Первый лист, самый затрепанный, вообще почему-то расслоился… В общем, странный пергамент…»

«Странный! То самое слово, которое употреблял и Северин!» – сказал Вильгельм.

«Да он вообще не похож на пергамент. Он вроде ткани, но очень хлипкий», – продолжал Бенций.

«Charta lintea, или хлопчатый пергамент, – сказал Вильгельм. – Ты что, никогда его не видел?»

«Я слышал о таком, но самому видеть не приходилось. Говорят, он дорог и недолговечен. Поэтому его используют редко. Он в ходу у арабов, кажется?»

«Арабы его открыли. Но теперь его делают даже здесь, в Италии, в Фабриано. Его делают еще… О-о, да это же бесспорно, ну да, совершенно верно!» И глаза Вильгельма засверкали. «Какое интереснейшее, замечательнейшее открытие, друг мой Бенций! Благодарю тебя от всей души! Ну да, я допускаю, что здесь, в библиотеке, хлопчатая бумага – редкость, потому что самые современные книги сюда почти не поступают. Кроме того, многие опасаются, что бумага не выживет в веках, как выживает пергамент. И, наверно, справедливо опасаются… Хотя, может быть, здесь нарочно выбран такой материал, про который не скажешь: “бронзы литой прочней”? Тряпочный пергамент, да? Превосходно. До свидания. И не волнуйся. Тебе ничто не грозит».

«Правда, Вильгельм? Вы уверены?»

«Уверен. Если не будешь высовываться. Ты и так достаточно напортил».

И мы удалились из скриптория, оставив Бенция если не в более веселом, то хотя бы в более спокойном расположении духа.

«Идиот, – цедил сквозь зубы Вильгельм, спускаясь по лестнице. – Мы бы уже во всем разобрались, если бы он не путался под ногами».

В трапезной мы увидели Аббата. Вильгельм подошел прямо к нему и попросил аудиенции. На этот раз Аббону некуда было деться, и он назначил встречу через несколько минут в его собственном доме.

Шестого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено

Покои Аббата находились над капитулярной залой, и из окна поместительной и пышной комнаты, где он нас принимал, видна была в эту ясную, ветреную погоду, поверх монастырской церкви, массивная громада Храмины.

Аббат, стоя напротив окна, в эту минуту любовался ею; когда мы вошли, он торжественно указал на нее.

«Изумительная крепость, – сказал он, – воплощающая в своих пропорциях золотое сечение, предвосхитившее конструкцию арки. Она твердится на трех уровнях, ибо три – это число Троицы, это число ангелов, явившихся Аврааму, число дней, которые Иона провел во чреве великой рыбы, которые провели Иисус и Лазарь в своих гробницах; это столько же, сколько раз Христос умолял Отца Небесного пронести горькую чашу мимо его уст; столько же раз Христос уединялся с апостолами для молитвы. Три раза предавал его Петр, и три раза он являлся своим последователям по воскресении. Три существуют богословские добродетели, три священных языка, три отделения души, три вида наделенных разумом существ: ангелы, люди и бесы, три составляющие звука: тон, высота и ритм, три эпохи человеческой истории: до закона, при законе, после закона».

«Поразительное стечение мистических соответствий», – согласился Вильгельм.

«Однако и форма квадрата, – продолжал Аббат, – наделена спиритуальной поучительностью. Четыре суть добродетели основные, четыре времени года, четыре природных элемента; вчетвером существуют жар, холод, влажность, сухость; рождение, взросление, зрелость, старость; четыре суть рода животных – небесные, земные, воздушные и водные; четыре определяющих цвета в радуге; раз в четыре года рождается год високосный».

«Да, конечно, – отвечал Вильгельм, – а три плюс четыре дают семь, самое мистическое из всех числ, а при перемножении трех и четырех получается двенадцать, это число апостолов, а двенадцать на двенадцать даст сто сорок четыре, то есть число избранных». К этой последней демонстрации мистического постижения наднебесного мира числ Аббату уже нечего было добавить. Таким образом Вильгельм получил выгодную возможность перейти к делу.

«Хотелось бы обсудить известные вам события последних дней. Я долго размышлял о них», – сказал он.

Аббат, стоявший лицом к окну, повернулся и глянул на Вильгельма. Взгляд его был суров. «Я сказал бы, слишком долго. Не скрою, брат Вильгельм, от вас ожидали большего. С тех пор, как вы появились, прошло шесть дней. В эти шесть дней погибло, не считая Адельма, еще четыре монаха. И двое арестованы инквизицией. Арестованы, конечно же, по справедливости, и все-таки этот позор мы могли бы предотвратить, если бы инквизитору не пришлось самолично заняться неразгаданными убийствами. В довершение всего, важнейшая встреча, при организации которой я выступал посредником, именно из-за этих вскрывшихся безобразий дала самые плачевные результаты… Согласитесь, я имел основания надеяться на более успешный ход дела, когда договаривался с вами о расследовании гибели Адельма…»

Вильгельм виновато молчал. Разумеется, прав был Аббат. Еще в зачине повести я указывал, что мой учитель обожал изумлять людей стремительностью дедукций. Можно вообразить, до чего было уязвлено его самолюбие обвинениями, и отнюдь не беспричинными, в нерасторопной работе.

«Вы правы, – отвечал он. – Я не оправдал ожиданий. Но мне хотелось бы, ваше высокопреподобие, объяснить – почему. Ни одно из преступлений не связано ни с местью, ни с какой-либо враждой между членами обители. Преступления совершаются в силу особых причин, вытекающих из давней истории вашего монастыря…»

Аббат нетерпеливо перебил Вильгельма. «Что вы хотите сказать? Мне тоже ясно, что ключ к преступлениям не в биографии злосчастного келаря. Злодейство келаря совпало с иным непотребством, о котором я некоторым образом извещен. Однако, увы, я не имею права сказать о нем вслух… Я надеялся, что вы дойдете до него своим умом и сами скажете…»

«Ваша милость имеет в виду сведения, полученные во время исповеди?» Аббат отворотил лицо. Вильгельм продолжал: «Если ваше высокопреподобие желает узнать, смог ли я сам, безо всяких подсказок вашего высокопреподобия, узнать о существовании недозволенной связи между Беренгаром и Адельмом, с одной стороны, и между Беренгаром и Малахией, с другой, – ну так вот, узнайте, что в аббатстве это знают все и каждый».

Аббат налился кровью. «По-моему, безответственно обсуждать подобные вещи в присутствии послушника. И тем более мне не кажется, что теперь, после окончания встречи, вам все еще нужен писец. Выйди, мальчик», – властно приказал он мне. Я, устыженный, покинул комнату. Но поскольку я был очень любопытен, я прильнул к двери с обратной стороны и затворил ее неплотно, так, чтобы в щелку слышать весь дальнейший разговор.

Вильгельм продолжил свою речь. «Тем не менее, хотя эти непотребные связи и существовали, убийства к ним почти не имеют касательства. Ключ здесь иной, и вам, я полагаю, он известен. Все убийства совершены ради обладания некоей книгой, которая раньше много лет хранилась в пределе Африки, а ныне снова возвращена туда стараниями Малахии. Хотя от этого, как вы заметили, цепь преступлений не оборвалась».

Наступило долгое молчание. Потом послышался голос Аббата. Хриплый, потрясенный голос человека, услышавшего чудовищную новость. «Это невероятно. Вы… Откуда вы можете знать о пределе Африки? Вы нарушили мой запрет и проникли в библиотеку?»

Вообще-то Вильгельму следовало сознаться. Но тогда Аббат рассвирепел бы сверх всякой меры. Однако и лгать Вильгельму тоже не хотелось. И он вывернулся, ответив вопросом на вопрос: «Не вашим ли высокопреподобием сказано в первую же встречу, что такой человек, как я, способный точно описать Гнедка, никогда не видав его, без труда освоится и в помещениях, куда вход ему воспрещен?»

«Ах, вот как, – сказал Аббон. – Понятно. Ну и как же вы додумались до того, до чего вы додумались?»

«Долго рассказывать. Но могу доложить вам, что все совершившиеся преступления взаимосвязаны и подчинены единой цели. Цель эта – не допустить, чтобы людям открылось то, чего открывать кто-то не желает. К нынешнему моменту все, кто знал хоть что-то о тайнах библиотеки… по праву или самоуправно, это сейчас неважно… все эти люди мертвы. За исключением только одного. Вас».

«Вы намекаете… Вы намекаете…» – судя по голосу, вены на шее Аббата раздулись, он задыхался.

«Не надо превратно толковать мои слова, – отвечал Вильгельм (хотя вполне вероятно, что он действительно попробовал намекнуть). – Я только говорю: существует некий человек, который знает сам, но не хочет допустить, чтобы знал кто-нибудь еще. Вы последний знающий.

Следовательно, вы можете стать первой новой жертвой. Если только не расскажете мне, и немедленно, все, что вам известно о запрещенной книге. И самое главное. Скажите, кто из живущих здесь в монастыре может знать о библиотеке столько же, сколько вы? Или даже больше? Кто это?»

«Холодно тут, – сказал Аббат. – Выйдем».

Я стремительно отскочил от двери и дождался их, стоя на верхней ступеньке идущей вниз лестницы. Аббат увидел меня и улыбнулся.

«Каких ужасов, должно быть, наслушался этот монашек за последние дни! Ничего, мальчик. Не давай себя запугать. Поверь, тут напридумано больше козней, чем есть на самом деле».

Он повел рукой и подставил дневному свету восхитительное кольцо, носимое на безымянном пальце, – признак его высокой должности. Кольцо просияло всем великолепием своих каменьев.

«Знаешь эту драгоценность? – сказал Аббат. – Это символ моей власти, но и моей тягости. Это не просто украшение. Это восхитительная антология тех божественных Слов, коих я хранитель». Он прикоснулся пальцами к камню, вернее к ликующему многообразию камней, из которых составлялся его перстень – венец человеческого искусства и природной щедрости.

«Вот аметист, – сказал он. – Это зерцало смирения, он напоминает нам о благородстве и кротости Св. Матфея; вот халцедон, эмблема милосердия, символ великодушия Иосифа и Св. Иакова старшего; вот яспис, обозначающий веру, связанный с именем Св. Петра; сардоникс, знак мученичества, напоминающий о Св. Варфоломее; вот сапфир, надежда и созерцание, камень Св. Андрея и Св. Павла; и берилл – вероучение, долготерпение и знание – добродетели Св. Фомы… Сколь упоителен язык камней, – продолжал он, углубленный в мистическую думу, – который традиционные толковники восприняли от наперсника Ааронова и от описания Иерусалима небесного в книге Апостола! С другой стороны, стены Сиона были вымощены теми же каменьями, которые украшали нарамник Моисеева брата, кроме только карбункула, агата и оникса; в Исходе они указываются, а в Апокалипсисе заменены халцедоном, сардониксом, хризопразом и гиацинтом».

Вильгельм попытался было открыть рот, но Аббат предостерегающе поднял руку и продолжал говорить сам: «Помню, в одном литаналии все камни были описаны и соотнесены в превосходнейших стихах с добродетелями Пречистой Девы. Разбиралось обручальное кольцо Девы Марии, как род символической поэмы, отображающей надмирные истины, явленные в языке драгоценных камней, украшавших это кольцо. Яспис символизировал веру, халцедон – любовь, изумруд – чистоту, сардоникс – благодушие девственной жизни, рубин – кровоточащее сердце на голгофском кресте, хризолит с его многокрасочным сиянием напоминал о неизъяснимом многообразии Марииных чудес, гиацинт – о милосердии, аметист с его смешанными розово-голубыми бликами – о любви к Господу… Однако в оправу перстня были вработаны еще и другие камни, не менее красноречивые, как хрусталь, отображающий чистоту душевную и телесную, лигурий, похожий на янтарь, символ умеренности, и магнетический камень, притягивающий железо, точно так же, как Приснодева притягивает глубинные струны всех кающихся сердец и играет на них смычком своей благотворительности. Все эти минералы, как видите, присутствуют, хотя и в малой, и в скромнейшей мере, на моем кольце».

Он вертел на пальце перстень, слепил мне глаза его обжигающими лучами, как будто желая лишить меня всякого соображения. «Изумительнейший язык камней, правда? У разных отцов церкви камни наделяются разными значениями. Для папы Иннокентия III рубин означал спокойствие и благостность, а гранат – милосердие. Для Св. Брунона аквамарин сосредоточивал в себе всю богословскую премудрость, в своих непорочнейших переливах. Бирюза обозначает радость, сардоникс привлекает серафимов, топаз – херувимов, яспис – державы, хризолит –

владения, сапфир – добродетели, оникс – власть, берилл – первенство, рубин – архангелов и изумруд – ангелов. Язык драгоценностей многослоен, каждая из них отображает не одну, а несколько истин, в зависимости от избранного направления чтения, в зависимости от контекста, в котором они представляются. А кто указывает, какой необходимо избрать уровень толкования и какой нужно учитывать контекст? Ответ тебе известен, мальчик, с тобой это проходили. Указывают начальствующие! Власть – самый уверенный толкователь, облеченный наивысшим авторитетом, а стало быть, и святостью. В противном случае, откуда бы мы получали объяснение многоразличных знаков, которые мир представляет нашим грешнейшим очам? Откуда бы знали, как избежать подвохов, которыми соблазняет нас лукавый? Имей в виду: нет слов, до чего язык камней отвратителен дьяволу! Тому свидетельница Св. Гильдегарда! Нечистое чудовище понимает, что любое сообщение, на этом языке изложенное, может быть многоразлично освещено в зависимости от направления или уровня прочтения, и дьявол, конечно, стремится извратить это прочтение, потому что он, дьявол, чувствует в полыхании камней отблеск всех тех ценностей, которыми сам владел до низвержения, и понимает, что драгоценный блеск родится от того же огня, который ему – наказание». Он протянул мне кольцо для поцелуя. Я опустился на колени. Он погладил меня по голове. «Так что ты, мальчик, скорее забудь все жуткие и несомненно ложные вещи, которые тебе внушили. Ты вступил в самый великий и знатный из всех монашеских орденов. В этом ордене я – один из старшин. Ты у меня в подчинении. Слушай мой приказ. Позабудь все это. Пусть уста твои замкнутся навсегда. Клянись».

Растерянный, подавленный, я уже готов был поклясться. И тогда тебе, добрейший читатель, не читать бы ныне эту мою правдивую хронику. Но вмешался Вильгельм. Он вмешался, я думаю, не для того, чтобы удержать меня от клятвы, а просто из какого-то безотчетного противоречия, негодования, желания возразить Аббату и развеять тот словесный туман, которым Аббат совсем замутил мне голову.

«При чем тут мальчишка? Я задал вопрос, я предупредил об опасности, я хочу услышать имя… Может, вы теперь и от меня ждете, что я поцелую вам перстень и пообещаю забыть все свои наблюдения и выводы?»

«Ну, вы… – равнодушно протянул Аббат. – Нельзя же требовать от нищенствующего монаха, чтобы он понимал красоту наших обычаев или чтобы он уважал нашу сдержанность, наше достоинство, наши тайны, существующие во имя милосердия… Да, во имя милосердия и чести! Мы уважаем заповедь молчания, на коей зиждется величие ордена. А вы рассказывали тут что-то странное, неправдоподобное. Запрещенная книга, из-за которой убивают всех подряд… Кто-то посвященный в тайны, которые должны быть известны только мне… Бредни, безосновательные вымыслы! Кричите о них, если хотите, вам никто не поверит! А если бы даже какая-то крупица правды в ваших измышлениях и оказалась… Что же, отныне я беру это дело в свои руки и под свою ответственность. Я отвечаю за исход. У меня достаточно средств воздействия, достаточно власти. Я сделал большую глупость в самом начале. Нельзя было доверять постороннему, хоть бы и семи пядей во лбу, хоть и заслуживающему, казалось бы, доверия. Нельзя было просить постороннего расследовать то, что должно оставаться исключительно в моем ведении. Но ничто не потеряно. Вы верно поняли мою мысль. И от вас я наконец услышал, что хотел. Я-то с самого начала знал, что причина всех преступлений – нарушение обета целомудрия. Мне только нужно было (и тут я допустил неосторожность!) услышать от какого-нибудь третьего лица то, что я и так узнал на исповеди. Теперь все в порядке. Теперь я услышал это от вас. Я очень благодарен вам за все, что вы сделали или старались сделать. Переговоры проведены. Ваша миссия у нас окончена. Полагаю, вас с нетерпением ждут при императорском дворе. Таких людей, как вы, надолго не отпускают. Даю

вам позволение покинуть аббатство. Сегодня, наверно, уже поздно, я не хочу, чтоб вы ехали на ночь глядя, дороги небезопасны. Поедете завтра рано утром. О, не благодарите меня. Это было чистое удовольствие – принять вас как брата среди братьев и почтить нашим гостеприимством. Сейчас вы с учеником можете собирать вещи. Я приду проститься с вами завтра на рассвете. Благодарю вас от всего сердца. Разумеется, не трудитесь продолжать расследование. И не беспокойте больше монахов. Идите же».

Итак, нас не просто выпроваживали, а гнали в шею. Вильгельм поклонился. Мы спустились по лестнице.

«Что это значит?» – спросил я. Я уже ничего не понимал.

«Постарайся сам построить гипотезу. Ты должен был научиться это делать».

Если на то пошло, я действительно научился правилу: что строить надо по меньшей мере две сразу, одну невероятнее другой. «Что ж, – начал я и замялся. В гипотезах я все-таки был не слишком силен. – Ладно. Гипотеза первая. Аббат все это давным-давно знает. Но был убежден, что вам ни до чего дойти не удастся. Вы вполне устраивали его как следователь. На первых порах, пока речь шла только об Адельме. Но потихоньку он начал понимать, что дело все запутывается и запутывается и каким-то боком захватывает его самого. И теперь он боится, что вы вытащите эту историю на свет божий. Гипотеза вторая. Аббат не подозревал ни о чем (впрочем, о чем – я сам не знаю, поскольку не знаю, о чем подозреваете вы). Но в любом случае он полагал, что все убийства – только сведение счетов между… между монахами-мужеложцами. Ну, а сейчас вы открыли ему глаза. Внезапно он понял что-то ужасное. Ему известно имя преступника. Он точно знает, на чьем счету все злодеяния. Но он хочет покончить с этим без постороннего вмешательства. И отсылает нас, чтобы спасти честь аббатства».

«Я доволен. Ты начинаешь рассуждать вполне прилично… Значит, и ты подметил, что в обоих случаях нашего Аббата больше всего интересует репутация монастыря. Убийца ли он или несчастная обреченная жертва – в любом случае он не желает, чтобы по ту сторону гор распространились порочащие сведения о жизни здешнего святого содружества. Убивай сколько хочешь монахов, только не тронь честь монастыря… О-о, чтоб вас… – Вильгельма все сильнее и сильнее душила ярость. – Этот господский ублюдок, этот павлин, вознесшийся после того, как поработал похоронщиком при Аквинате, этот раздутый бурдюк! Всех-то заслуг что таскать кольцо величиной с фигу! Спесивое отродье! Все вы спесивое отродье, вы, клюнийцы! Вы хуже любых князей! Вы больше бароны, чем любые бароны!»

«Учитель!» – обиженно, укоризненно заикнулся я.

«Помолчи, ты! Ты сам из их теста! Вы же не простецы какие-нибудь, не сыновья простецов. Столкнет вас жизнь с простолюдином – вы его, может быть, и приютите. Но если понадобится, как вчера, – не поморщитесь выдать его светской власти. А вот кого-нибудь из своих – это уж нет, этого вы прикроете! Аббон вполне способен сам справиться со злодеем. Он проткнет его кинжалом где-нибудь в сокровищнице и распихает косточки по кивотам заместо реликвий… Только бы честь аббатства не пострадала! И вдруг вылезает какой-то францисканец, какой-то плебей-минорит, и раскапывает навозную кучу посреди вашего благородного дома! Нет уж, этого Аббон не позволит ни при каких обстоятельствах. Премного вам благодарны, брат Вильгельм, император вас заждался, полюбуйтесь, какое у меня прекрасное кольцо, и убирайтесь. Но не на того напали! Я имею дело не с одним Аббоном. Я имею дело с неоконченным расследованием. И могу вас всех заверить, что не покину эти стены, пока не дознаюсь. Он хочет, чтобы я уехал завтра? Отлично, он здесь хозяин. Но до завтрашнего утра я дознаюсь. Я обязан».

«Обязаны? Но теперь-то кто вас понуждает?»

«Никто и никогда не понуждает знать, Адсон. Знать просто следует, вот и все. Даже если

рискуешь понять неправильно».

Я все еще был сконфужен и удручен теми яростными словами, которые Вильгельм обрушил на мой орден и на его аббатов. И постарался частично оправдать Аббона, предложив Вильгельму третью гипотезу. В этой науке я, дохоже, совершенствовался на лету. «Вы не берете в расчет третью возможность, учитель, – сказал я. – В течение этих дней мы установили… Вдобавок, это подтвердилось сегодня утром и словами Николая, и теми смутными намеками, которые прозвучали в церкви… Словом, существует группа монахов-итальянцев, которых не устраивает, что библиотекой занимаются инородцы. Они обвиняют Аббата в отходе от монастырских традиций. Насколько я могу понять, они, прикрываясь авторитетом дряхлого Алинарда, поднимают его на щит и требуют смены верховного руководства. Думаю, что я довольно точно уяснил расстановку сил, потому что у себя в монастыре, даже будучи всего только послушником, я успел столкнуться и с разговорами, и с наговорами, и с заговорами того же самого свойства. Поэтому Аббат, вполне вероятно, опасается, что ваши разоблачения дадут очень сильное оружие в руки его врагам. Видимо, он хочет подойти к этому делу с величайшей рассудительностью…»

«Возможно. Но все равно он надутый бурдюк. И даст себя проколоть».

«Ну, а что вы скажете о моих дедукциях?»

«Скажу попозже».

Мы шли церковным двором. Ветер дул все неистовее, сумерки все сгущались, хотя девятый час только миновал. Но день близился к закату. Оставалось совсем мало времени. На вечерне Аббат обязательно известит братию, что Вильгельм отныне не имеет права ни расспрашивать всех, ни ходить повсюду.

«Поздно, – сказал Вильгельм. – А когда времени не хватает, хуже всего – потерять спокойствие. Мы должны вести себя так, будто в запасе вечность. Передо мной одна-единственная задача: понять, как попадают в предел Африки. Именно там нас ждет полный ответ на все вопросы. Кроме того, нужно спасти одного человека. Кого именно – я еще не решил. И, наконец, следует ожидать каких-то событий около конюшен… Тебе придется понаблюдать там… Гляди, какая беготня!»

И действительно, на площадке между Храминой и собором было непривычно людно. Еще раньше один из послушников, состоявших при аббатском доме, бегом скатился со ступеней и промчался к Храмине. Затем из Храмины вышел Николай и торопливо направился в спальные палаты. В углу двора топталась та же самая группа, которую мы видели утром в соборе. Пацифик, Имарос и Петр что-то втолковывали Алинарду, пытались его в чем-то убедить. Наконец они, кажется, приняли решение. Имарос взял под руку Алинарда, все еще упиравшегося, и вместе с ним направился к аббатской резиденции. Когда они поднимались по ступеням, из почивален показался Николай, ведший под руку Хорхе. Они шли туда же. Николай увидел на лестнице аббатского дома тех двоих и что-то прошептал на ухо Хорхе. Но старец отрицательно затряс головой, и оба двинулись дальше и вошли в помещение капитула.

«Аббат решил забрать в кулак все нити», – пробурчал Вильгельм довольно скептически.

Из Храмины высыпали и другие монахи, которым уж точно полагалось в это время быть в скриптории. Последним вышел Бенций и сразу же бросился к нам, еще сильнее взволнованный, чем раньше.

«В скриптории невозможно находиться, – сказал он. – Никто не работает, все шушукаются… Что это значит?»

«Это значит, что все до одного люди, способные внушать подозрение, теперь мертвы. До вчерашнего дня все косились на Беренгара, который был глуп, хитер и похотлив. Потом на келаря, которого подозревали в ереси. Потом на Малахию, которого никто не любил. А теперь непонятно, кого надо опасаться. Вот они срочно и ищут какого-нибудь врага или козла

отпущения. И все подозревают друг друга. Одни напуганы, как ты, другие предпочитают сами запугивать окружающих. Все вы слишком много суетитесь… Адсон, твое дело – посматривай почаще, что делается около конюшен. А я пойду прилягу».

Раньше бы я очень удивился. Улечься в кровать в такое время, когда остается только несколько часов, – на первый взгляд не самое умное, что можно сделать. Однако я уже достаточно изучил своего наставника. Чем в большей прострации пребывало его тело, тем более подвижен и кипуч был ум.

Шестого дня
ОТ ВЕЧЕРНИ ДО ПОВЕЧЕРИЯ,

где коротко рассказывается о долгих часах замешательства

Довольно трудно восстановить, что происходило в следующие несколько часов, от вечерни до повечерия.

Вильгельм отсутствовал. Я слонялся возле конюшен, но не усмотрел ничего необычного. Работники заводили в стойла коней. Те слегка волновались из-за усиливающегося ветра. В остальном все было покойно.

Я вошел в церковь. Монахи уже находились на своих местах. Но Аббат заметил, что место Хорхе пустует. Он дал знак задержать службу и кликнул Бенция, чтобы послать за Хорхе. Но Бенция тоже не было. Кто-то из монахов предположил, что Бенций, очевидно, готовит скрипторий к ночи. Аббат раздраженно ответил, что Бенций ничего готовить не должен и не может, потому что не знает правил. Имарос Александрийский поднялся с места. «С позволения вашей милости, я за ним схожу…»

«Тебя никто ни о чем не просил», – резко оборвал его Аббат, и Имарос возвратился на место, не преминув послать Пацифику Тиволийскому многозначительный взгляд. Аббат кликнул Николая. Того тоже не было. Кто-то напомнил, что Николай хлопочет об ужине. Аббат с досадой отмахнулся – наверное, был сердит, что все вокруг видят и замечают его волнение.

«Хочу, чтобы Хорхе был здесь, – крикнул он. – Ищите! Иди за ним», – велел он наставнику послушников.

Кто-то указал ему, что Алинарда тоже нет. «Это я знаю, – ответил Аббат. – Он нездоров». Я сидел рядом с Петром Сант’Альбанским и улышал, как он шепчет соседу, Гунцию из Нолы, на среднеитальянском наречии, которое я немного понимал: «Охотно верю. Сегодня после беседы с Аббоном бедный старик еле шел. Аббон ведет себя в точности как шлюха Авиньонская!»

Послушники испуганно озирались. Своим полудетским чутьем, ничего не зная и не понимая, они все же ощущали тревогу, нависшую над хором, как ощущал и я. В тишине, в потерянности тянулись долгие минуты ожидания. Аббат приказал читать псалмы и выбрал наугад три каких-то первых попавшихся, даже не предписанных правилом для вечернего богослужения. Все переглянулись, потом стали вполголоса молиться. Вернулся наставник послушников. За ним шел Бенций, который, не подымая глаз, проследовал на свое место в хоре. Хорхе не нашли ни в скриптории, ни в его келье. Аббат приказал начинать богослужение.

После вечерни, когда все направились в трапезную, я зашел за Вильгельмом. Тот одетый возлежал на кровати, вытянув ноги, в глубокой задумчивости. По его словам, он не думал, что уже так поздно. Я коротко пересказал ему все, что происходило в его отсутствие. Он покачал головой.

У дверей трапезной мы столкнулись с Николаем. В последний раз мы видели его, когда он вел Хорхе в аббатские покои. Вильгельм спросил его, сразу ли Хорхе был принят Аббатом. Николай ответил, что нет, пришлось довольно долго дожидаться перед дверью, потому что у Аббата были Алинард и Имарос Александрийский. Потом Хорхе вошел, некоторое время говорил с Аббатом, а он, Николай, ждал снаружи. Выйдя, Хорхе попросил проводить его в церковь. Это было за час до вечерни, и в храме в это время было совершенно пусто.

Аббат заметил, что мы говорим с келарем. «Брат Вильгельм, – вмешался он, – вы все еще

ведете следствие?» И пригласил его, как обычно, пройти к своему столу. Бенедиктинское гостеприимство превыше всего.

Ужинали тише, чем обычно. Все были печальны. Аббат, погруженный в тяжелые думы, почти не касался еды. Через некоторое время он велел братии поживее собираться к повечерию.

Алинард и Хорхе снова отсутствовали. Монахи шептались и указывали друг другу на пустующее место слепца. По окончании службы Аббат призвал всех прочесть еще одну молитву – о спасении Хорхе Бургосского. Никто не понял, о телесном ли спасении идет речь или о спасении души. Но все почувствовали, что над аббатством нависло новое несчастье. Молитву прочли, и Аббат приказал всем без обычных промедлений разойтись по кельям и лечь в кровати. Он объявил, что ни один человек, – ни один, произнес он с особым ударением, – не имеет права находиться вне здания почивален.

Первыми храм покинули перепуганные послушники, опустив капюшоны, наклонив головы, даже и не думая на этот раз шушукаться, пихать друг друга локтями, лукаво пересмеиваться и тайно, коварно подставлять друг другу подножки, хотя обычно они только этим и занимались. Ибо послушники, пускай они уже и монашки, на самом деле все еще полудети, и тщетны все укоризны наставника: он не в силах сразу отучить их от ребяческих шалостей, к которым подталкивает юный возраст.

Когда стали выходить взрослые, я пристроился, не подавая виду, к той группе монахов, которых я теперь мысленно называл «итальянцы». Пацифик прошептал на ухо Имаросу: «Ты думаешь, Аббон правда не знает, где Хорхе?» А Имарос ответил: «Скорее всего, знает. И знает, что оттуда, где он есть, ему уже не выйти. По-видимому, старик слишком многого хотел. А Аббон не захотел больше терпеть его».

Чтобы не вызвать подозрений, мы с Вильгельмом сделали вид, будто возвращаемся в странноприимный дом. Не успев отойти, мы увидели, что из церкви выходит Аббат, поспешно направляется к Храмине, поднимается на крыльцо, открывает незапертую дверь трапезной и входит внутрь. Вильгельм шепнул, что надо обождать. Мы замедлили шаг. Когда на улице не осталось ни одного человека, мы бегом пересекли открытое пространство и снова оказались в церкви.

Шестого дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки

Мы притаились, как двое убийц, около входа, за колонной, откуда было хорошо видно часовню с черепами.

«Аббон пошел закрывать Храмину, – прошептал Вильгельм. – Когда он заложит двери засовами изнутри, он сможет выйти только через оссарий».

«А потом?»

«А потом посмотрим, что он будет делать».

Но что он делал пока что – мы видеть не могли. Минул час, а его все не было. «Наверно, пошел в предел Африки», сказал я. «Может быть», – ответил Вильгельм. Но меня уже приучили выдвигать сразу несколько гипотез, и я продолжал: «А может быть, он снова вышел через трапезную и отправился искать Хорхе». Вильгельм в ответ: «Возможно и это». «Может быть, Хорхе уже мертв, – философствовал я дальше. – А может быть, он засел в Храмине и сейчас убивает Аббата. А может, наоборот, они с Аббатом заодно, а кто-то третий поджидает их в засаде. Чего добивались “итальянцы”? И почему так трясся Бенций? Не был ли его испуг личиной, нарочно надетой, чтобы сбить нас с толку? Зачем он задержался в скриптории во время вечерни, если не знает, ни как запереть Храмину, ни как выйти после этого? Пробовал пробраться в лабиринт?»

«Все может статься, – отвечал Вильгельм. – Но только одна вещь точно сталась… с какой-то стати… с меня сталось… Радуйся, Адсон! Бесконечное милосердие Божие наконец ниспослало нам твердую уверенность хотя бы в чем-то!»

«В чем?» – спросил я, озаряясь надеждой.

«В том, что брат Вильгельм из Баскервиля, который до сих пор считал, что может понять все на свете, оказался бессилен понять, как входят в предел Африки. В стойле наше место, Адсон, в стойле. Пошли».

«А если налетим на Аббата?»

«Притворимся привидениями».

Этот выход показался мне не самым лучшим, но я промолчал. Вильгельм на глазах терял самообладание. Мы вышли из-под северного портала, пересекли кладбище. Ветер неистово выл нам в уши, и я как мог молил бога избавить нас от встречи с настоящими привидениями – поскольку неприкаянных душ этой ночью в аббатстве витало сколько угодно. Наконец мы добрались до конских стойл и услышали, что кони беспокоятся еще сильнее, видимо из-за разгула стихий.

Поперек главного входа в конюшню был уложен на уровне человеческой груди толстый железный брус. Поверх него можно было заглянуть внутрь постройки. В темноте еле различались тени лошадей. Я узнал Гнедка – он занимал крайний слева денник. Немного дальше, третий в том же ряду конь поднял голову, учуяв нас с Вильгельмом, и заржал. Я усмехнулся: «Третий в конях».

«Как?» – переспросил Вильгельм.

«Да никак. Вспомнил беднягу Сальватора. Он собирался какие-то чудеса творить над этим конем. И звал его на своей дикой латыни “третий в конях” – “tertius equi”. То есть “u”».

«Почему “u”?» – снова переспросил Вильгельм, следивший за моей болтовней вяло, без всякого интереса.

«Ну, потому, что “третий в конях” означает не “третий конь”, а третья буква в слове “конь”. То есть по-латыни – “u”. Глупость, конечно…»

Вильгельм остановившимися глазами смотрел на меня. Даже в темноте я, казалось, видел, что происходит с его лицом. «Да благословит тебя Господь, Адсон, – произнес он, когда снова смог говорить. – Ну разумеется, suppositio materialis[95], определение дается de dicto, а не de re[96]. Боже, какой я идиот!» Со всего размаху, открытой ладонью он нанес себе такой удар по лбу, что раздался треск, и я решил, что ему станет худо. «Мальчик мой! Второй уже раз за сегодняшний день твоими устами глаголет истина! Сперва во сне, а теперь наяву! Беги, беги в свою келью, бери лампу, вернее обе лампы, которые у нас есть. Только смотри не попадись. И скорее возвращайся. Я буду ждать в церкви. Никаких расспросов! Беги! Живей!»

Я и побежал без расспросов. Обе лампы были спрятаны у меня под тюфяком и хорошенько заправлены маслом. Об этом я позаботился заранее. В рясе у меня имелось огниво. Схватив свои драгоценные орудия, я снова помчался в церковь.

Вильгельм, примостившись под треногой, перечитывал пергамент с выписками Венанция.

«Адсон, – сияя, окликнул он меня. – “Первый и седьмой в четырех” значит не первый и седьмой из четырех, а первая и седьмая буквы в слове “quatuor” “четыре”!»

Я не сразу понял, но скоро дошло и до меня. «Super thronos viginti quatuor! Надпись! Стих Апокалипсиса! Слова, выбитые над зеркалом!»

«Бежим, – торопил Вильгельм. – Может, еще успеем спасти его!»

«Кого?» – спросил я. Но Вильгельм был уже возле черепов, вертел там что-то, тыкал пальцами в глазницы, открывал проход в мощехранилище.

«Того, кто этого не заслуживает», – отвечал он мне на бегу. Мы мчались по подземному коридору, свет мигал и трясся в такт нашему бегу, на нашем пути встала дверь, ведущая в кухню.

Я уже говорил, что коридор упирался в эту деревянную дверь, выходящую в кухню, как раз за хлебной печью, у подножия винтовой лестницы, которая вела наверх в скрипторий. Так вот, как раз когда мы взялись за эту дверь и она подалась под руками, мы вдруг услышали слева от себя, внутри стены, глухие стуки. Они доносились из толщи стены, откуда-то рядом с дверью, где кончалась череда ниш с черепами и костями. Там, где должна была быть последняя ниша, вместо нее шел участок глухой стены, сложенной из крупных квадратных каменных блоков, а в середине была вмурована старинная гробовая плита с какими-то затертыми буквами. Удары слышались вроде бы из-за этой плиты, или из какой-то более высокой точки, то ли из стены, то ли откуда-то чуть ли не с потолка.

Если бы подобная история случилась с нами в первую ночь, я, конечно, перепугался бы покойных монахов. Но сейчас я уже привык ожидать самого худшего от монахов живых. «Кто бы это мог быть?» – прошептал я.

Вильгельм широко распахнул дверь, и мы выбрались в кухню из-за хлебной печи. Удары были слышны на всем протяжении стены, огибавшей винтовую лестницу. Как будто кто-то бился, находясь внутри этой самой стены.

«Кто-то заперт там внутри, – сказал Вильгельм. – Я всегда предполагал, что должен существовать еще один ход в предел Африки, раз уж в этой Храмине такое множество всяких тайных лазов… Вот он и существует. Из мощехранилища. Можно не идти через кухню, а отвести кусок стены и попасть на лестницу, параллельную вот этой, только упрятанную в стене. И подняться прямо в замурованную комнату».

«Но кто же там сейчас бьется?»

«Второй человек. Первый сидит в пределе Африки. Второй хотел до него добраться. Но тот,

что сверху, заблокировал подъемник, управляющий обеими дверьми. Таким образом, посетитель угодил в ловушку. И не удивительно, что он там колотится, потому что, думаю, в эту хитрую кишку воздух почти не поступает».

«Кто же это? Надо спасти его!»

«Кто это – мы очень скоро узнаем. А что касается спасения, для этого надо разблокировать подъемник сверху, потому что снизу мы не умеем. Не знаем секрета. Так что бежим!

И мы побежали. Пронеслись через скрипторий, взлетели по ступеням в лабиринт и довольно скоро домчались до южной башни. Не меньше двух раз я был вынужден укрощать собственный бег, потому что ветер этой ночью бушевал так сильно и с таким неистовством врывался в амбразуры, что ледяные дуновения пронизывали все залы и коридоры, подхватывали в воздух листы, оставленные на столах, и я по необходимости замедлял шаг, загораживая руками огонь.

Но все-таки довольно быстро мы добежали до южной башни, до комнаты с зеркалом. Сегодня мы не испугались его уродливых призрачных отражений. Подняв повыше лампу, мы осветили надпись, венчавшую зеркальную раму: Super thronos viginti quatuor. Ныне тайна была разгадана. В слове quatuor семь букв. Нажимать следовало на q и r. Вне себя от возбуждения, я заторопился сделать это сам. Чтоб освободить руки, я резко поставил фонарь на стоявший посреди комнаты стол, но не рассчитал движение, пламя выхлестнулось из лампы и лизнуло корешок какой-то лежавшей на столе книги.

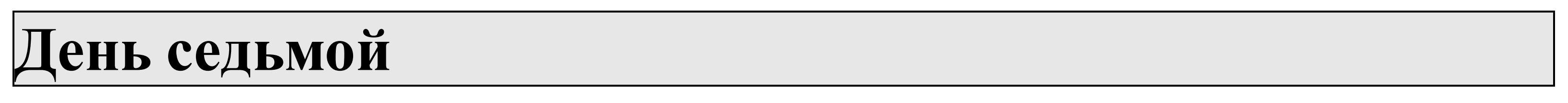
«Тише, дурень! – вскрикнул Вильгельм, бросаясь задувать огонь. – Ты что, решил спалить библиотеку?»

Я ахнул, стал извиняться и вытащил было огниво, чтобы снова зажечь лампу. «Ладно, не трать время, – остановил меня Вильгельм. – Хватит и моей. Бери ее и посвети мне, потому что буквы все равно слишком высоко. Ты не дотянешься. И давай поскорее».

«А если тот, кто там, вооружен?» – спросил я в то время, как Вильгельм в потемках, почти на ощупь, нашаривал роковые буквы, вставши на цыпочки – при его-то росте! – и еле дотягиваясь до апокалиптической надписи.

«Подыми лампу, ради всех чертей, и не трусь. Господь с нами!» – отвечал он мне довольно-таки непоследовательно. Наконец его пальцы отыскали в слове quatuor букву q. Я, стоявший чуть поодаль, лучше него мог видеть, что он делает. Я уже говорил, что буквы всех надписей в лабиринте были не то вырезаны, не то инкрустированы в камне. А буквы слова quatuor совершенно явно были залиты краской в металлические профили. К этим-то профилям и крепился таинственнный упрятанный в стене механизм. Буква q, как только за нее взялись и потянули на себя, выскочила из стены, издав сухой щелчок, и то же самое повторилось, когда Вильгельм нащупал r и потянул за нее. Вся рама зеркала как будто отпрыгнула от стены, и зеркальная поверхность осталась сзади, отдельно от рамы. Зеркало – это и была дверь, подвешенная на петлях за левую боковину. Вильгельм просунул руку в выемку, открывшуюся между правым краем зеркала и стеной, и потянул на себя. Скрипя, дверь подалась и стала медленно поворачиваться. Вильгельм поднажал, и открылась щель, достаточная, чтоб ему пролезть внутрь. Я скользнул вслед за ним, держа лампу высоко над головой.

Через два часа после повечерия, при скончании шестого дня, в самую сердцевину ночи, открывавшей собою следующий, седьмой день, мы с Вильгельмом попали в предел Африки.



День седьмой

Седьмого дня
НОЧЬ,

где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам

Мы стояли на пороге комнаты, точно такой же, как три прочие безоконные семиугольные комнаты, занимающие середины башен. В нос ударил запах затхлости и отсырелых книг. Светильник в моей поднятой руке озарил сначала потолочные своды, потом луч переместился ниже, вправо, влево, и неяркие блики заметались вдалеке по стенам, по книжным шкапам. Наконец осветился посреди комнаты стол, заваленный бумагами, а у стола сидящая фигура, которая как будто дожидалась нас неподвижно, в полной темноте. Если только это был живой, а не мертвец. Луч светильника еще не добрался до его лица. Но Вильгельм без колебаний заговорил.

«Добрая ночь, достопочтенный Хорхе, – сказал он. – Ты ждешь нас?»

Мы сделали еще несколько шагов, и луч света попал наконец на лицо старика, обращенное навстречу нам – как будто он мог нас видеть.

«Это ты, Вильгельм Баскервильский? – спросил он. – Я жду тебя целый вечер. Я поднялся сюда еще до вечерни. Я знал, что ты придешь».

«А Аббат? – спросил Вильгельм. – Это он бьется на лестнице?» Хорхе ответил не сразу. «Он еще жив? – спросил он. – Я думал, он уже задохся».

«Прежде чем начнется разговор, – сказал Вильгельм, – мне хотелось бы выпустить его. Ты можешь открыть дверь с этой стороны?»

«Нет, – устало ответил Хорхе. – Уже не могу. Механизм управляется снизу нажатием на гробовую плиту, а тут сверху работает рычаг и открывает дверь. Сзади, за полками, – и он указал через плечо. – Ты можешь видеть там у шкапа колесо с противовесами, действующими на рычаг. Но когда я услышал, что рычаг поворачивается, и понял, что Аббон вошел в нижнюю дверь, я перерезал веревку, на которой висели грузы. Обе двери захлопнулись навсегда. Теперь открыть их невозможно ни с той, ни с этой стороны. Оборвавшуюся связь и тебе не восстановить. Аббат уже мертвец».

«Зачем ты его убил?»

«Сегодня он меня вызвал и сказал, что благодаря тебе он открыл все. Он не знал и так и не узнал, за что я сражаюсь, что защищаю. Он никогда не понимал, в чем ценность и смысл библиотеки. Он захотел, чтобы я разъяснил ему то, чего он не знал. Он захотел, чтобы предел Африки открыли. Группа итальянцев потребовала от него положить конец, как они выразились, “секретности”, созданной мною и моими предшественниками. Эти люди взбудоражены идеей обновления…»

«И ты, вероятно, обещал, что пойдешь сюда и положишь конец собственной жизни, как положил конец чужим. Что честь аббатства не пострадает. Никто ни о чем не догадается. Потом ты объяснил, как ему самому прийти через некоторое время, чтобы удостовериться в твоей смерти. И засел здесь, чтоб убить его. А если бы он пришел через зеркало?»

«Нет. Аббон малого роста. Он не дотянулся бы до надписи. Я рассказал ему о тайной лестнице. Я один, из живых, знал о ней. Это дорога, которой я ходил много лет. В темноте она самая простая. Только добраться до часовни, а потом мерить путь по мертвым костям. До конца

прохода».

«И ты велел ему прийти, заранее зная, что убьешь его?»

«Я уже не мог верить и ему. Он был напуган. Он добыл свою славу в Фоссанова, сумев спустить мертвеца по винтовой лестнице. Пустая слава. Он погиб, не умея поднять по такой же лестнице себя самого».

«Ты использовал его сорок лет. Заметив, что слепнешь и скоро не сможешь управлять библиотекой, ты все обдумал. Ты выдвинул в аббаты доверенного человека. Библиотеку ты передал сначала Роберту из Боббио, которого обучил по своему усмотрению, а потом Малахии, который вообще не мог работать без твоей помощи и не ступал ни шагу, не спросясь тебя. Сорок лет ты был полновластным хозяином аббатства. Именно это поняла группа итальянцев. Именно это твердил Алинард, которого не слушали, считая слабоумным. Так ведь? Но ты зачем-то сидишь тут и ждешь меня, хотя механизм зеркала ты не сможешь сломать – он замурован в стену. Зачем же ты меня ждал? И откуда ты знал, что я приду?» Это был вопрос, но по тону Вильгельма чувствовалось, что он предугадывает ответ и ждет этого ответа, как награды за работу.

«С первого дня я понимал, что ты поймешь. По голосу, по тому, как ловко ты сводил разговор на темы, которые я не велел обсуждать. Ты был лучше других. И я понял, к чему это приведет. Ты-то знаешь – нужно только вдуматься и воссоздать в своем сознании мысли другого человека. Вдобавок, я слышал, какие вопросы ты задаешь монахам. Правильные вопросы. Но ни одного вопроса о библиотеке. Как будто секреты библиотеки тебе были уже известны. Ночью я стукнул в дверь твоей кельи. Тебя не было. Я понял, что ты здесь. Из кухни пропали две лампы. Я слышал, как служки их искали. И наконец – когда Северин заговорил с тобой в сенях капитула, я убедился, что ты идешь по моему следу».

«Но ты сумел вырвать у меня книгу. Ты отправился к Малахии, который ни о чем не подозревал. Он сходил с ума от ревности. Растравлял себя мыслями, будто Адельм переманил его ненаглядного Беренгара, которого потянуло на свеженькое мясцо. Он только не понимал, при чем тут Венанций. Ты постарался еще сильнее сбить его с толку. Ты сказал, что Беренгар имел связь и с Северином, и в уплату дал тому книгу из предела Африки. Не знаю точно, что ты ему сказал. Малахия совсем ошалел, бросился к Северину и убил его. Но книгу, описанную тобой, найти не успел, потому что появился келарь. Так было дело?»

«Более или менее».

«Но ты не хотел, чтоб Малахия умер. Он, думаю, ни разу не дотронулся до книг из предела Африки. Он верил в тебя, уважал твои запреты. Аккуратно зажигал на ночь травы для устрашения возможных нарушителей. Травы он брал у Северина. Именно поэтому Северин открыл Малахии дверь лаборатории. Решил, что это обычный дневной приход за травами. Травы составлялись ежедневно по особому распоряжению Аббата. Я угадал?»

«Ты угадал. Я не хотел, чтоб Малахия умер. Я велел ему любой ценой разыскать книгу и принести сюда, не открывая. Я сказал, что в ней сила тысячи скорпионов. Но впервые в жизни этот недоумок действовал своим умом. Я не хотел его смерти. Он был хороший исполнитель. Но довольно. Не стану больше слушать твои догадки. Я знаю, что ты знаешь. Не хочу тешить твою гордость. Утром в скриптории ты спросил Бенция о “Киприановом пире”. Я понял, что тебе остается шаг до истины. Не знаю, как ты разгадал секрет зеркала. Но когда Аббат сказал, что ты говорил с ним о пределе Африки, я понял, что скоро ты будешь здесь. Паэтому я пошел тебя ждать. Говори, чего ты хочешь?»

«Я хочу видеть, – сказал Вильгельм, – последнюю рукопись из тома, в котором она переплетена вместе с одним арабским текстом, одним сирийским и с латинской переделкой или стихотворным переложением “Киприанова пира”. Я хочу видеть грекоязычную копию,

выполненную, скорее всего, арабом или испанцем и найденную тобой, когда ты, числясь одним из помощников Павла Риминийского, добился, чтобы тебя отправили на родину за лучшими Апокалипсисами королевств Леона и Кастилии, за чудесным приданым, которое тебя и прославило в этом аббатстве, после чего ты захватил место библиотекаря, по праву принадлежавшее Алинарду, старшему тебя на десять лет. Я хочу видеть эту греческую копию, переписанную на хлопчатой бумаге, которая тогда была большой редкостью и производилась именно в Силосе, неподалеку от Бургоса, твоего родного города. Я хочу видеть книгу, которую ты, прочитав, увез с собой, так как не хотел допустить, чтоб ее прочитал хоть кто-нибудь еще. Ты спрятал ее здесь, тщательно продумав тайну хранения. Ты не уничтожил ее. Потому что такие люди, как ты не могут уничтожить книгу, а могут только спрятать ее и следить, чтобы никто ее не касался. Я хочу видеть вторую часть "Поэтики" Аристотеля. Ту часть, которая считается утраченной или вовсе не написанной. И которая существует в твоих руках, надо думать, в единственном на свете экземпляре».

«Какой замечательный библиотекарь вышел бы из тебя, Вильгельм, – произнес Хорхе с восхищением, но и с печалью. – Значит, ты знаешь все. Иди сюда. С той стороны стола должен быть табурет. Садись. Вот твоя награда».

Вильгельм сел и поставил рядом лампу, взяв ее у меня. Лицо Хорхе осветилось снизу. Старик поднял книгу, лежавшую перед ним на столе, и протянул Вильгельму. Я узнал переплет: это была та книга, которую я раскрыл в лаборатории и тут же закрыл, посчитав за арабскую рукопись.

«Читай, ну же, листай же, Вильгельм, – настаивал Хорхе. – Ты победил».

Вильгельм глядел на книгу, но не притрагивался к ней. Он вытащил из рясы пару рукавиц. Но это были не обычные рукавицы с открытыми кончиками пальцев, которые он надевал прежде, а другие, снятые с рук убитого Северина. Он медленно приподнял ветхую, истертую крышку переплета. Я подошел ближе и склонился к его плечу. Хорхе своим редкостным слухом уловил мое приближение. И сказал: «Ты тоже тут, мальчик? Я и тебе покажу… Потом…»

Вильгельм быстро пробежал первые листы. «Это арабская рукопись о речениях каких-то глупцов, как говорится в каталоге, – сказал он. – О чем это?»

«А, вздор. Болтовня неверных. Доказывается, что глупцы умеют говорить весьма красно, чтобы одурачивать священников и очаровывать халифов».

«Вторая рукопись сирийская, но в каталоге описана как египетская книжица об алхимии. Почему она сюда приплетена?»

«Это египетское сочинение третьего века нашей эры. Оно перекликается с последующим, но не так опасно, как то. Никто не примет всерьез бредни какого-то африканского алхимика. Он пишет, что мир сотворился от Божьего смеха». Хорхе поднял лицо к потолку и прочитал наизусть, почти не напрягая свою волшебную память – память гениального читателя, сорок лет повторяющего в уме то, что он прочитал, еще обладая зрением: «"Когда Бог засмеялся, родились семь божеств на управление миром; когда захохотал, стал свет; когда снова захохотал, стала вода, а на седьмой день Божьего смеха стала душа…" Чушь. Как и далее идущее сочинение одного из неисчислимых глупцов, толкующих "Вечерю". Но тебя же не они интересуют».

Вильгельм действительно не задержался на первых рукописях, а поспешил открыть греческий текст. Сразу было видно, что листы сделаны из другого, более мягкого материала. Начало было полуоторвано, поля изъедены, усыпаны бледными пятнышками, которые обычно появляются на книгах от старости и сырости. Вильгельм прочитал первые строки сначала по-гречески, потом перевел на латынь и продолжал читать уже по-латыни с тем, чтобы и я мог следить за начальными рассуждениями роковой книги:

«В первой части мы говорили о трагедии, как она посредством сострадания и страха совершает очищение подобных страстей. Теперь же, как обещано, скажем о комедии (а также о сатирах и мимах): о том, как комедия, извлекая приятное из смешного, тоже способна очищать подобную страсть. До какой степени подобная страсть заслуживает внимания – мы говорили уже в книге о душе, заметив, что единственный среди всех животных – человек одарен способностью смеяться. Определим же, какому виду поступков подражает комедия, затем рассмотрим средства, которыми она вызывает смех, и эти средства суть действие и речь. Покажем, как в действии смешное рождается от уподобления лучшего худшему и наоборот, от неожиданного обмана, от всего невозможного и противоречащего законам природы, от незначительного и непоследовательного, от принижения характеров, от употребления площадных и непристойных пантомим, от нарушения гармонии, от выбора наименее достойных вещей. Затем покажем, как смешное в речи происходит от двусмысленности, то есть от употребления сходных слов для различных вещей и различных слов для сходных вещей, от заикания и путаницы, от игры словами, от уменьшительных слов, от погрешностей выговора и от варваризмов…»

Вильгельм переводил с напряжением, подыскивая слова, часто останавливаясь. При переводе он улыбался, будто текст предлагал ему именно то, что он рассчитывал найти. Он перевел до конца первого листа книги, потом умолк, как бы утратив интерес, и быстро просмотрел следующие несколько листов. Но оказалось, что листать эту книгу не так-то просто. Вдоль верхнего поля и вдоль обреза ее листы слиплись, склеились. Так бывает, когда книга отсыревает из-за дурного хранения. Ее бывает невозможно открыть. Пергаменты перестают отделяться один от другого, превращаясь в плотную клейкую массу. Хорхе заметил, что шорох перевертываемых листов смолк, и снова обратился к Вильгельму:

«Ну что же ты! Читай, листай! Это твое, ты это заслужил!»

Вильгельм в ответ расхохотался, и я увидел, что происходящее его действительно забавляет. «Невысокого ты мнения обо мне, Хорхе! А говорил, что считаешь меня умным чертовском. Ты не видишь – но я в рукавицах. Пальцы закрыты. Я не смогу отделить листы один от другого. Мне бы снять рукавицы, работать голыми руками, смачивая пальцы о язык, как я и делал сегодня утром в скриптории – благодаря чему вдруг, счастливым озарением, сумел разгадать и эту тайну. А по твоему замыслу я должен был листать и листать, покуда яд не перешел бы с пальцев на язык во вполне достаточном количестве. Тот яд, который ты однажды много лет назад выкрал из лаборатории Северина, наверное, уже тогда забеспокоившись, наверное, уже тогда услышав, как кто-то в скриптории проявляет неуместный интерес то ли к пределу Африки, то ли к утраченному сочинению Аристотеля, то ли к тому и другому вместе. Ты долго хранил эту склянку, не пуская отраву в ход. Выжидал, когда понадобится. А понадобилось несколько дней назад. Ты учуял опасность. С одной стороны, Венанций слишком уж близко подошел к теме этой книги. С другой стороны, Беренгар из тщеславия, из похвальбы перед Адельмом повел себя не так сдержанно, как был обязан. Тогда ты пошел наверх и отравил приманку. И как раз вовремя. Потому что очень скоро, ночью, Венанций забрался сюда, нашел книгу, унес ее и стал листать с нетерпением, с почти плотоядной жадностью. Через положенное время он почувствовал себя дурно и бросился за спасением в кухню. Там он и умер. Я не ошибаюсь?»

«Нет, продолжай».

«Дальше все просто. Беренгар нашел тело Венанция в кухне и испугался, что начнется расследование. Потому что, по сути говоря, Венанций смог попасть ночью в Храмину только из-

за нескромности Беренгара, выболтавшего секреты Адельму. Теперь надо было что-то делать. Что – он не знал. Он взвалил труп на плечи, дотащил до бочки со свиной кровью и бросил, надеясь, что все подумают, будто тот утонул».

«Откуда ты знаешь, что это было так?»

«Оттуда же, откуда ты. Я видел, как ты повел себя, когда у Беренгара нашли окровавленную простыню. Этой простыней он весьма неосторожно вытирал руки, навозившись с трупом и бочкой крови. Однако и сам он пропал. А пропасть он мог не иначе как с книгой, содержанием которой и он заинтересовался. Поэтому ты ждал, что с минуты на минуту его найдут где-нибудь, но не окровавленным, а отравленным. Дальше все еще проще. Книга попадает к Северину, потому что Беренгар перед смертью принес ее в лечебницу, собираясь читать вдали от любопытных глаз. Посланный тобой Малахия убивает Северина. Но умирает и сам, зачем-то пожелав узнать, что такого запрещенного содержится в предмете, из-за которого его сделали убийцей. Вот, пожалуйста, объяснение для каждого трупа. Какой идиот…»

«Кто?»

«Я. Хватило одной фразы Алинарда, чтобы я вообразил, будто череда преступлений повторяет музыку семи апокалиптических труб. В случае Адельма – град; а это было самоубийство. В случае Венанция – кровь; а это была нелепейшая мысль Беренгара. В случае самого Беренгара – вода. А это была чистая случайность. В случае Северина – третья часть небес… А Малахия попросту ухватился за звездный глобус как за первый попавшийся тяжелый предмет. Наконец, Малахия и скорпионы… Зачем ты сказал ему об этой тысяче скорпионов?»

«Нарочно. Для тебя. Алинард делился и со мной догадками насчет Апокалипсиса. Тогда же кто-то из монахов сказал мне, будто ты готов в это поверить. И я осознал, что некий божественный порядок определяет эту цепочку смертей, а я за них не в ответе. И предупредил Малахию, что если он будет любопытствовать, он погибнет согласно тому же божественному порядку. Что и произошло».

«Вот, оказывается, как вышло! Я сочинил ошибочную версию преступления, а преступник поддался под мою версию… И в то же время именно эта неправильная версия помогла мне выследить тебя. В наши времена все бредят книгой Иоанна. Но ты, по моему ощущению, озабочен ею больше, чем другие. И не только из-за своих занятий Антихристом. А еще и потому, что ты родом из страны, создавшей лучшие в мире Апокалипсисы. Сначала я услышал от кого-то из монахов, что самые красивые рукописные копии этой книги, имеющиеся в библиотеке, привезены тобой. Потом Алинард упомянул о своем таинственном противнике, что тот ездил за книгами в Силос. Меня, признаться, сбили с толку его слова, что враг "до времени отбыл в страну теней". Можно было подумать, что он умер. А он намекал на твою слепоту! Силос расположен рядом с Бургосом. Сегодня утром я проследил по каталогу большую партию приобретений, включающую все испанские Апокалипсисы. Все это куплено в период, когда ты либо уже заступил, либо готовился заступить на место Павла Риминийского. В ту же партию входит и эта книга. Но я не мог быть полностью уверен в правоте своего вывода. Мне нужно было последнее доказательство. И тут я узнал, что похищенная и искомая книга переписана на хлопчатой бумаге! Силос – центр бумагопрядения. Это решило дело. Разумеется, по мере того как оформлялась гипотеза о книжке и ее ядовитой силе, отодвигалась гипотеза об апокалиптической схеме. И все-таки я никак не мог уяснить, почему и от книжки и от семи апокалиптических труб следы идут к тебе. Чуть-чуть лучше я начал разбираться в истории с книжкой только после того, как двинулся по апокалиптическому следу и снова нашел там тебя с твоей борьбой против смеха. А сегодня вдобавок, когда в апокалиптический план я уже не верил, но все-таки решил наведаться к стойлам, откуда могла прозвучать шестая труба, – именно там, в стойлах, по чистой случайности Адсон открыл мне ключ к тайне предела Африки».

«Ты с такой гордостью демонстрируешь, как по указке разума смог выследить меня. Но выходит, что указка была совершенно ошибочной. Что же ты хочешь сказать?»

«Ничего. Тебе – ничего. Я немного забылся, вот и все. Но я здесь».

«Господь дал греметь своим трубам. И даже тебе, погрязшему в ошибочности, дал услышать смутное эхо трубного гласа».

«Это ты говорил и во вчерашней проповеди. Пытаешься уверить себя, что вся эта история развивалась по божественному умыслу – лишь бы не признаваться, что ты просто убийца».

«Я никого не убивал. Каждый из них скончал жизнь по собственному предопределению и по собственным грехам. Я был только средством».

«Вчера ты сказал, что и Иуда был только средством. Это не спасло его от проклятия».

«Я принимаю риск проклятия. Господь отпустит мне грехи, потому что знает, что я действовал в его славу. Мой долг был защищать библиотеку».

«Только что ты готовился убить и меня, и этого мальчика».

«Ты острее других, но не лучше других».

«Что же теперь, когда я тебя раскрыл?»

«Посмотрим, – сказал Хорхе. – Я не настаиваю на твоей смерти. Может, я сумею тебя убедить. Но ответь сначала, как ты догадался, что речь идет о второй части Аристотеля?»

«Конечно, для этого мало было одних твоих проклятий смеху и тех обрывков твоих речей, которые мне пересказали, описывая памятную дискуссию. Больше всего мне помогли записи, оставленные Венанцием. Сначала я вообще не мог понять, о чем там говорится. Но потом я обратил внимание на слова о бесстыдном камне, катящемся по равнине, о цикадах, которые будут петь с земли, и о достопочтенных фигах. Они показались мне знакомыми. Что-то похожее я уже читал. За несколько дней я выяснил, что это было. Эти примеры приводятся Аристотелем в первой книге “Поэтики” и в “Риторике”. Затем я припомнил, что Исидор Севильский определяет комедию как то, что повествует о лишении девства и о позорной любви… Так постепенно в моем сознании стала вырисовываться вторая книга Аристотеля. Вернее, то, чем она должна быть. Я могу пересказать тебе ее почти целиком, даже не читая, не дотрагиваясь до ее смертоносных листов. Комедия рождается в kornai, то есть в крестьянских селениях. Она рождается как потешный праздник, как завершение трапезы или торжества. Она рассказывает не о лучших и знаменитых людях, а о худших, низких, но не опасных, и не должна кончаться смертью персонажей. Она вызывает смех, показывая обыкновенных людей, их недостатки и пороки. Аристотель рассматривает наклонность к смеху как добрую, чистую силу. Смех у него имеет и познавательную ценность. Смех обучает людей: иногда – посредством остроумных загадок и неожиданных метафор, иногда – показывая вещи даже неправильно, не такими, каковы они есть, а вводя нас в обман и этим понуждая внимательнее рассмотреть предмет. Рассмотрев, мы говорим: вот как, оказывается, обстоит дело, а я и не знал! Так истина добывается через показывание людей и мира худшими, нежели они есть или мы о них думаем, и во всяком случае гораздо худшими, нежели они выводятся в героических поэмах, трагедиях, житиях святых. Что, я правильно рассказываю?»

«Более или менее. Ты пришел к этому, читая другие книги?»

«Да. Я читал труды, с которыми работал Венанций. Думаю, Венанций давно охотился за этой книгой. Он, должно быть, обнаружил в каталоге то же описание, которое нашел и я, и сразу понял, что это та самая, необходимая ему книга. Но он не знал, как попасть в предел Африки. Когда же он подслушал, что Беренгар толкует Адельму о чем-то подобном, он рванулся по следу книги, как гончий пес по следу зайца».

«Так оно и было. Я тоже сразу понял. Понял, что пришло время защищать библиотеку когтями и клыками».

«И пустил в дело мазь. Трудно, наверно, тебе было… В темноте».

«Теперь мои руки видят не хуже, чем твои глаза. От Северина я в свое время вынес особый помазок. И я, как и ты, работал в рукавицах… Хорошая была идея, ведь правда? Тебе ведь трудно было догадаться?»

«Да. Я вообразил более сложное устройство. Отравленный шип или что-то в этом духе. Должен сказать, что твое решение – идеальное. Жертва отравляет себя сама. Именно в той мере, в какой она интересуется книгой».

Я слушал их и с содроганием видел, что эти люди в эти минуты, сойдясь для смертельной схватки, поочередно восхищаются друг другом, как если бы оба трудились единственно, чтобы заслужить одобрение другого. Меня пронзила мысль, что все искусство, употребленное Беренгаром для совращения Адельма, и все те простые, естественные движения, которыми давешняя девица возбуждала мое желание и страсть, – ничто по сравнению с безумным мастерством, с чудовищным арсеналом очарования, пущенным в ход на моих глазах этими двумя, стремившимися соблазнить друг друга. Нить, сладострастно связующая их, распутывалась семь дней, и каждый из двоих всякий раз назначал другому, так сказать, невидимое свидание, и каждый тайно вожделел одобрения другого, в то же время боясь и ненавидя его.

«А сейчас ответь мне на один вопрос, – продолжал Вильгельм. – Почему? Почему эту книгу ты охранял крепче, чем любые другие книги? Почему другие книги ты хотя и старался утаить – но не ценой преступления? Трактаты некромантов, сочинения, в которых – скажем даже – поносилось имя Господне? И только ради вот этой книги ты погубил собратьев и погубил собственную душу? Существует очень много книг, посвященных комедии, и очень много книг, восхваляющих смех. Почему именно эта внушала тебе такой ужас?»

«Потому что это книга Философа. Каждая работа этого человека разрушала одну из областей знания, накопленных христианством за несколько столетий. У отцов было сказано все, что требовалось знать о значении слова Божия. Но как только Боэций выпустил свое толкование Философа, божественная тайна Слова превратилась в сотворенную людьми пародию, основанную на категориях и силлогизмах. В книге Бытия сказано все, что требуется знать о строении космоса. Но достаточно было заново открыть физические сочинения Философа, чтобы произошло переосмысление устройства мира, на этот раз в материальных терминах, в категориях глухой и липкой материи; благодаря этим сочинениям араб Аверроэс сумел убедить почти всех в постоянстве мира. Мы знали все об именованиях Бога; но доминиканец, похороненный Аббоном – и соблазненный Философом, – переиначил эти именования, ступая высокомерной тропой природного разума. Ныне и мировой космос, который, по Ареопагиту, должен представляться всякому, кто умеет глядеть горе, светородящим истоком образцовой первопричины, превратился в склад важных для землян примет, и к космосу обращаются тогда, когда есть нужда наименовать какое-либо абстрактное начало. Прежде мы глядели на небо, а мерзостную материю еле удостаивали брезгливым взглядом; ныне мы смотрим на землю, а в небо веруем благодаря земным свидетельствам. Каждое из слов Философа, на которых сейчас клянутся и святые, и князи церкви, в свое время перевернуло сложившиеся представления о мире. Но представления о Боге ему пока не удалось перевернуть. Если эта книга станет… Если эта книга стала бы предметом вольного толкования, пали бы последние границы».

«Но что тебя так испугало в этом рассуждении о смехе? Изымая книгу, ты ведь не изымаешь смех из мира».

«Нет, конечно. Смех – это слабость, гнилость, распущенность нашей плоти. Это отдых для крестьянина, свобода для винопийцы. Даже церковь, в своей бесконечной мудрости, отводит верующим время для смеха – время праздников, карнавалов, ярмарок. Установлены дни осквернения, когда человек освобождается от лишних гуморов, от лишних желаний и

замыслов… Самое главное – что при этом смех остается низким занятием, отдушиной для простецов, поруганьем таинства – для плебеев. Это говорил и апостол: чем разжигаться, лучше вступайте в брак. Чем сопротивляться порядку, заведенному Господом, смейтесь и развлекайтесь своими жалкими пародиями на порядок, смейтесь после вкушения пищи, после опустошения кувшинов и фляг. Выбирайте царя дураков, дурачьте себя ослиными и поросячьими литургиями, играйте и представляйте ваши сатурналии вверх тормашками… Но тут, тут, – и Хорхе упорно долбил пальцем по столу рядом с книгой, лежавшей перед Вильгельмом, – тут пересматривается функция смеха, смех возводится на уровень искусства, смеху распахиваются двери в мир ученых, он становится предметом философии и вероломного богословия. Ты видел вчера, насколько легко простецами перенимаются и проводятся в жизнь самые смутные ереси. Это от незнания законов Бога и законов природы. Но для церкви не опасна ересь простецов, они сами себя обрекают на гибель, их подтачивает необразованность. Невежественное сумасбродство Дольчина и иже с ним никогда не приведет к кризису божественного порядка. Оно проповедует насилие и погибнет от насилия, оно, это сумасбродство, не оставит следов, оно исчерпывается, как исчерпывается карнавал, и не так уж страшно, если во время праздника на земле будет воспроизведен, в кратком и преходящем виде, обряд крещения навыворот. Важно, чтобы в данном случае событие не выразилось в записи, чтобы то, что говорится на народном языке, не обрело переводчика на латынь. Смех освобождает простолюдина от страха перед дьяволом, потому что на празднике дураков и дьявол тоже выглядит бедным и дураковатым, а значит – управляемым. Однако эта книга могла бы посеять в мире мысль, что освобождение от страха перед дьяволом – наука. Надсаживаясь с хохоту и полоща вином глотку, мужик ощущает себя хозяином, потому что он перевернул отношения власти; но эта книга могла бы указать ученым особые уловки остроумия – они стали бы уловками ученого остроумия – и тем узаконить переворот. Тогда среди умственных процессов стали бы числиться те, которые до сих пор в неосмысленном обиходе простолюдинов оставались, слава Богу, процессами утробными. Что смех присущ человеку, это означает лишь одно: всем нам, увы, присуща греховность. Однако из этой книжки многие распущенные умы, такие как твой, могли бы вывести конечный силлогизм, а именно что смех – цель человека! Смех временно отрешает мужика от страха. Однако закон может быть утверждаем только с помощью страха, коего полное титулование – страх Божий. А из этой книги могла бы вылететь люциферианская искра, которая учинила бы во всем мире новый пожар; и смех бы утвердил себя как новый способ, неизвестный даже Прометею, уничтожать страх. Когда мужик смеется, в это время ему нет никакого дела до смерти; однако потом вольница кончается, и литургия вселяет в мужика снова, согласно божественному предопределению, страх перед смертью. А из этой книги могло бы народиться новое, сокрушительное стремление уничтожить смерть путем освобождения от страха. А во что превратимся мы, греховные существа, вне страха, возможно, самого полезного, самого любовного из Божиих даров? Века за веками доктора и отцы скапливали благоуханнейшие токи священной науки, дабы иметь возможность изживать, с помощью божественного помышления о том, что вверху, гадкое убожество и возмутительность того, что внизу. А эта книга, в которой утверждается, что комедия, сатира и мим – сильнодействующие лекарства, способные очистить от страстей через показывание и высмеивание недостатка, порока, слабости, могла бы подтолкнуть лжеученого к попытке, дьявольски перевертывая все на свете, изживать то, что наверху, через приятие того, что внизу. Из этой книги вытекала бы мысль о том, что человек имеет право желать на земле (к чему приближался и твой Бэкон, рассуждая о природной магии) такого же изобилия, как в стране Кукане. А мы не должны и не можем этого иметь. Посмотри на монашков, бесстыдно передразнивающих Писание в шутовской «Киприановой вечере»! Какое дьявольское извращение Слова Божия! Но они все-таки сознают, что поступают дурно. Однако в

тот день, когда авторитетом Философа будут узаконены маргинальные игры распутного воображения, о! В этот день действительно то, что было маргинальным, побочным, перескочит в середину, а о середине утратится всякое представление. Народ Божий превратится в ассамблею чудовищ, изрыгнутых из пропастей неисследованной земли – terra incognita, – и в тот же день окраина изведанной земли сделается сердцем христианской империи, и взлезут аримаспы на кафедру Петра, нехристи попадут в монастырь, толстопузые уроды с огромными головами будут хранителями библиотек! Рабы начнут издавать закон, мы (но имей в виду – и ты с нами) будем подчинены отсутствию всякого закона. Говорил же греческий философ, которого приводит здесь твой Аристотель (самым негодным образом, как союзника и авторитет), что следует развенчивать серьезность противников – смехом, а смех противников – серьезностью. Благодаря великой предусмотрительности наших отцов выбор давно определился: если смех – услада простонародья, любое простонародное вольнодумство может быть укрощено, усмирено и устрашено серьезностью. А у простонародья нет в распоряжении средств, чтобы заострить свой смех и сделать из него оружие против серьезности пастырей, которые призваны повести его к вечной жизни и упасти от искушений брюха, чрева, пола, пищи, от всех его отвратительных вожделений. Однако ежели кто-либо в какой-либо день, потрясая словами Философа и, значит, выступая от имени Философа, преподнесет искусство смеха как своеобразное острое оружие; если риторика убеждения вытеснится риторикой осмеяния; если такая аргументация, как постепенное и утешительное созидание картины воскрешения из мертвых, заменится иной аргументацией – безудержным развалом, искажением уже созданных, самых священных и самых почитаемых картин, – о, в этот день и ты и вся твоя наука, Вильгельм, будете сметены!»

«Почему? Я бы побился. Мое остроумие против чужого. Все-таки такой мир, по-моему, лучше, чем тот, где огонь и каленое железо Бернарда Ги воюют с огнем и каленым железом Дольчина».

«Тебе бы самому не избежать силков лукавого. Ты сражался бы на противной стороне в годину Армагеддона, когда будет решающая схватка. Однако к этому дню церковь должна суметь настоять на своих правилах боя. Нам не страшны проклятия народа, потому что даже в богохульстве мы умеем услышать опосредованные отголоски гнева Иеговы, обрушенного на ангелов-мятежников. Нам не страшна злоба тех, кто убивает пастырей во имя какой-то мечты об обновлении, потому что это та же злоба, с которой князи стремились уничтожить народ Израилев. Нам не страшны жестокость донатиста, самоубийственное безумие обрезанца, похотливость богомила, спесивая нищета альбигойца, кровожадность флагелланта, коловращение зла, проповедуемое братьями свободного духа. Мы знаем их всех и знаем, что у их грехов тот же корень, что у нашей святости. Эти люди нам не опасны. И мы прекрасно знаем, как уничтожать их, то есть как устроить, чтобы сами они себя уничтожали, упрямо доводя до зенита ту жажду гибели, которая зарождается в глубинах их надира[*]. Более того. Я твердо убежден, что и само их существование необходимо, неоценимо, поскольку именно их уравновешиваем в Божием мироздании мы. Их греховность поощряет нашу добродетель, их поносные речи воодушевляют нас петь хвалы, их оголтелое покаяние умеряет нас, приучает к разумности в жертвованиях, их безбожие оттеняет нашу набожность, так же как и князь тьмы был потребен миру, с его протестом и с его безысходностью, дабы ярче всего сущего воссияла слава Господня, сие начало и сей конец; всяческого упования. Но если бы в один прекрасный день, и уже не в качестве плебейского дозволенного буйства, а в качестве неотъемлемого права мудрецов, закрепленного столь священным документом, как эта книга, – стало бы дозволенным искусством, свойственным даже и благородным и свободным людям, а не одним плебеям, – искусство осмеяния! О! Если бы хоть однажды сыскался хоть один, посмевший сказать (и быть услышанным): “Смеюсь над Пресуществлением!” О! Тогда у нас не нашлось бы оружия против

его богохульства. Тогда пошли бы в наступление темные силы плотского вещества, те силы, которые проявляются в рыгании и газопускании, и газопускание и рыгание присвоили бы себе то право, которым пользуется один только дух, – дышать где хочет!»

«Ликург поставил статую смеху».

«Ты вычитал это в книжонке Хлориция, который старается оправдать мимов. Он пишет, что какого-то больного излечил врач, велевший рассмешить его. Зачем надо было его излечивать, если Господь постановил, что земной его день близится к закату?»

«Не думаю, чтобы он излечил больного от болезни. Скорее научил его смеяться над болезнью».

«Болезнь не изгоняют. Ее уничтожают».

«Вместе с больным».

«Если понадобится».

«Ты дьявол», – сказал тогда Вильгельм.

Хорхе как будто не понял. Если бы он был зряч, я бы мог сказать, что он ошеломленно уставился на собеседника. «Я?» – переспросил он.

«Ты. Тебя обманули. Дьявол – это не победа плоти. Дьявол – это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда бы ни шел – он всегда приходит туда, откуда вышел. Ты дьявол, и, как дьявол, живешь во тьме. Если ты старался убедить меня – у тебя ничего не получилось. Я тебя ненавижу, Хорхе, и если бы я мог, я выставил бы тебя там, на улице, голым, с воткнутыми в зад птичьими перьями, с лицом, размалеванным, как у фигляра или шута, чтобы весь монастырь смеялся над тобой и никто бы тебя больше не боялся. Я бы с удовольствием вымазал тебя медом и вывалял в пуху, и таскал бы тебя на поводке по ярмаркам, и показывал бы всем: вот тот, кто возвещал вам истину и уверял, что у истины вкус смерти. А вы верили не столько его словам, сколько его важному виду. А теперь я говорю вам, что в бесконечном коловращении вероятностей Господь дозволяет вам вообразить даже и такой мир, в котором бывший провозвестник истины – всего лишь поганое пугало, бормочущее несколько слов, заученных сто лет назад».

«Ты хуже дьявола, минорит, – сказал тогда Хорхе. – Ты шут. Как тот святой, который всех вас породил. Ты как Франциск, который de toto corpore fecerat linguam[97]; который проповедовал, устраивал позорища, как акробат; который потешался над скупцом, вкладывая ему в руку золотые монеты; который изгалялся над благочестием монахинь, отчитывая им Miserere вместо проповеди; попрошайничал по-французски; подражал деревянной палкой движениям игрока на скрипке; одевался оборванцем, чтобы устыдить братьев, живущих в роскоши; кидался нагишом на снег; разговаривал со зверьми и травами; устраивал даже из таинства рождения Христова представления деревенского вертепа; выкликал вифлеемского агнца, подражая блеянию овцы… Хороший подал пример. Что, разве не минорит этот брат Диотисальви из Флоренции?»

«Минорит, – улыбнулся Вильгельм. – Тот, который пришел в монастырь проповедников и заявил, что не согласится принимать пищу, пока ему не выдадут кусок облачения брата Иоанна, и это для него будет реликвия. А когда ему дали этот лоскут, он вытер им зад и бросил в отхожее место, а потом взял шест и стал ворошить дерьмо палкой с криками: “О горе, помогите, братики дорогие, я потерял в нужнике святую реликвию!”»

«Тебе эта история нравится, по-моему. Может, ты еще расскажешь, как другой минорит, брат Павел Миллемоска, однажды поскользнулся на льду и упал, а горожане над ним посмеялись и один спросил, не лучше бы было подложить под себя что-нибудь мягкое, а тот ответил: “Да, твою жену…” Вот так вы ищете истину…»

«Так учил людей Святой Франциск – воспринимать вещи с другой стороны».

«Ничего, мы вас переучили. Ты посмотрел вчера на своих собратьев, правда? Они вернулись в наши ряды. Они уже не говорят на языке простецов. Простецы вообще не должны говорить. А в этой книге доказывается, будто речь простецов может содержать что-то вроде истины. Эту мысль невозможно пропустить. И я ее не пропустил. Ты говоришь, что я дьявол. Ты не прав. Я был перст Божий».

«Перст Божий созидает, а не утаивает».

«Существуют границы, за которые переходить нельзя. Господь пожелал, чтоб на некоторых документах стояло: “Hic sunt leones”[98]».

«Господь и разных гадин создал. И тебя. И обо всем этом позволил говорить».

Хорхе дотянулся дрожащими руками до книги и придвинул ее к себе. Она лежала перед ним открытая, но перевернутая, так что Вильгельм мог бы по-прежнему читать написанное на листах. «Тогда почему же, – снова заговорил Хорхе. – Господь дозволил, чтобы этот труд в течение многих столетий оставался в неизвестности, в небытии, и чтобы сохранилась одна-единственная копия, и та пропала неведомо куда, и чтобы единственная копия с этой копии пролежала еще множество лет погребенная в собрании язычника, не понимавшего по-гречески, а после этого и вовсе потерялась в подвале старой библиотеки, куда я, именно я, а не ты, был прислан провидением, чтобы разыскать ее, увезти с собой и прятать в своем тайнике еще очень много лет? Я знаю, знаю так же ясно, как будто это написано передо мной диамантовыми буквами, перед моими очами, которыми видно то, чего тебе не увидать, я знаю, что в этом-то и проявилась воля Господня, исполняя которую я сделал то, что я сделал. Во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Седьмого дня
НОЧЬ,

где случается мировой пожар и из-за преизбытка добродетелей побеждают силы ада

Старец умолк. Обеими раскрытыми ладонями он придерживал книгу, как будто лаская ее листы, как будто разглаживая бумагу, чтобы удобней было читать. А может быть, прикрывая ее от чьей-нибудь хищной хватки.

«В любом случае все это было бесполезно, – произнес Вильгельм. – Игра окончена. Я нашел тебя, я нашел книгу, а мертвые умерли напрасно».

«Не напрасно, – ответил Хорхе. – Слишком многие – это да, это возможно. Если нужно доказывать, что эта книга проклята богом, – вот тебе еще одно доказательство. Но умерли они вряд ли напрасно. И чтобы они точно не напрасно умерли – пусть добавится еще один мертвец».

И выговорив это, он взялся своими бесплотными, почти прозрачными руками за один из листов и медленно потянул его на себя, отрывая полоску, потом еще одну, и еще, раздирая на клочки мягкие листы рукописи и запихивая обрывки один за другим к себе в рот и старательно жуя, будто гостию святого причастия, которая должна перейти в плоть его собственной плоти.

Вильгельм сидел и смотрел, как завороженный, казалось, не сознавая, что происходит. Еще не выйдя из оцепенения, он перегнулся к старику и крикнул: «Что ты делаешь?» В ответ Хорхе ощерился, обнажив бескровные десны, и желтоватая слюна потекла с бледных губ на седую, с проплешинами, щетину, покрывавшую подбородок.

«Ты ведь ждал седьмой трубы – разве не так? Слушай же, что говорит голос с неба! “Скрой то, что говорили семь громов, и не пиши сего, а пойди возьми раскрытую книжку и съешь ее: она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед”. Видишь? Вот я и скрываю то, чему не следует звучать, скрываю в своей утробе и сам становлюсь ему могилой».

И он смеялся, Хорхе. Впервые за все время я услышал, как он смеется. Он смеялся гортанью, так странно и невесело кривя губы, что казалось, будто он не смеется, а плачет. «Ты не ждал такого, Вильгельм, правда? Не ждал такой развязки? С Божьей помощью старик снова перехитрил тебя, правда?» И поскольку Вильгельм все тянулся, стараясь ухватить книгу, Хорхе, улавливая его движение по какому-то неощутимому колыханию воздуха, отстранился от стола, левой рукой притискивая книгу к самой груди, а правой продолжая раздирать ее на части и класть эти части в рот.

Между ними находился стол. Вильгельм, не в силах дотянуться до старика, бегом кинулся в обход стола, но зацепился подолом за табурет, тот рухнул на пол, и по его грохоту Хорхе разгадал уловку противника. Тогда он захохотал снова, на этот раз еще громче, и с неожиданным проворством вытянул правую руку, нашаривая лампу; струи нагретого воздуха безошибочно указывали ему, где она; поднеся ладонь к пламени, он схватился за фитиль, как будто не чувствуя боли. Свет потух. Все покрылось мраком, и в третий, последний раз послышался смех Хорхе, кричащего: «Ловите меня теперь! Теперь я вижу лучше вашего!» Смех оборвался. Больше ничего не было слышно. Ходить он умел, как мы знали, совершенно бесшумно, что и делало всегда такими внезапными его появления. И только время от времени в разных местах комнаты раздавался резкий звук рвущейся бумаги.

«Адсон! – заорал Вильгельм что есть мочи. – Стой на дверях, не давай ему уйти!»

Но он опоздал со своими распоряжениями. С самого начала я прикидывал, дрожа от

нетерпения, как мне схватить старика; и, чуть только погас свет, я ринулся ему наперерез, предполагая обогнуть стол с другой стороны, не с той, где стоял Вильгельм. Слишком поздно я сообразил, что тем самым открываю Хорхе свободный проход к двери, тем более что старик перемещался в темноте с необыкновенным проворством. И действительно, звук рвущейся бумаги послышался уже у нас за спинами, и так глухо, как будто шел из соседней комнаты. Вместе с ним до нас донесся и другой звук – натужный, нарастающий скрип заржавелых дверных петель.

«Зеркало! – взвыл Вильгельм. – Он нас запирает!» И мы бросились на шум, туда, где, должно быть, находился выход. Я налетел на скамейку и больно стукнулся ногой, но почти не заметил этого, потому что мозг, как молния, пронизывала мысль: если Хорхе захлопнет дверь, нам отсюда живыми не выйти. В темноте мы не сумеем открыть замок, тем более что неизвестно, ни где спрятана пружина, ни как она действует.

Думаю, что Вильгельма вела та же сила отчаяния, что и меня, потому что тела наши столкнулись в ту самую секунду, когда мы, добежав до порога двери, приняли на себя удар зеркальной рамы, захлопывавшейся нам в лицо. Видно, мы поспели более чем вовремя. Дверь, встретив сопротивление, дернулась, ослабела и подалась. Мы напирали: она пошла назад и открылась. Вероятно, Хорхе почувствовал, что силы неравны, бросил дверь и снова ударился в бегство. Итак, из проклятой комнаты мы спаслись, но оставалось только гадать, в каком направлении улепетывает старец. Тьма была непроглядная. Внезапно я сообразил, что выход есть.

«Учитель, да ведь у меня огниво!»

«Так чего ты ждешь! – завопил Вильгельм. – Ищи лампу, зажигай скорее!» Я снова бросился в темноту, обратно, в предел Африки, вытянув руки, ощупывая все вокруг в поисках фонаря, и наткнулся на него почти сразу же – по-моему, это было одно из чудес Господних. Сунув руки в складки рясы, я отыскал огниво. Руки у меня дрожали, и зажечь фонарь удалось только с третьей или четвертой попытки. А Вильгельм, стоя в дверях, все подгонял: «Скорее! Скорее!» Наконец лампа засветилась.

«Быстрее! – крикнул Вильгельм, бросаясь в темноту. – Иначе он сожрет всего Аристотеля!»

«И умрет!» – горестно вторил я, устремляясь за ним в глубины лабиринта.

«Велика важность, что он умрет, проклятущий! – отвечал Вильгельм, обшаривая глазами тьму и вращая головой во все возможные стороны. – Все равно он уже так наелся, что надеяться ему не на что. Но книга!»

Потом он остановился и заговорил более спокойно. «Погоди. Так мы его никогда не поймаем. Ну-ка замри и молчи». Мы застыли в полном безмолвии. И только благодаря этому безмолвию смогли расслышать где-то очень далеко шум столкновения тела с чем-то твердым и звук падения нескольких книг. «Он там!» – вскрикнули мы одновременно.

Мы рванулись в сторону, откуда доносился шум, но тут же обнаружили, что быстро бежать не можем. Дело в том, что вся библиотека, за исключением предела Африки, была пронизана воздуховодами, откуда в эту ночь внутрь здания проникали потоки шипящего и стонущего воздуха, то усиливающиеся, то ослабевающие в зависимости от скорости ветра на улице. Эти перемещения воздуха вкупе с быстрым перемещением огня грозили загасить свет, с таким трудом нами добытый. Так что быстрее продвигаться мы не могли. Надо было как-то задержать Хорхе. Я ломал голову, как бы это сделать. Но Вильгельма осенила противоположная мысль, и он громко прокричал: «Эй, старик, считай, что мы тебя поймали! Мы теперь с фонарем!» И это была замечательная мысль, потому что, услышав такое, Хорхе, по-видимому, засуетился и наддал ходу, нарушая свой привычный темп, всегда позволявший ему путешествовать в потемках, как зрячему при ярком свете. И, должно быть, поэтому очень скоро опять послышался грохот. Когда, бросившись на шум, мы вбежали в залу Y (YSPANIA), мы увидели, что Хорхе упал

на землю, по-прежнему с книгой в руках, и теперь, силясь встать, барахтается в куче других книг, обрушившихся на него со стола, о который он споткнулся и, свалив его, свалился сам. Он пытался встать на ноги, но в то же время продолжал разрывать страницу за страницей, как будто цель его была – как можно полней и скорее насытиться добычей.

Когда мы подбежали, он уже встал на ноги и, расслышав наше приближение, пятился, не отворачивая от нас незрячее лицо. Лицо это в красном отливе фонарного луча предстало совершенно чудовищным. Черты были искажены, болезненный пот струился по лбу и щекам. Глазницы, обычно белые, как смерть, сейчас набухли кровью. Изо рта торчали концы пергаментных полос, как у сказочного чудища, так наполнившего брюхо, что новая еда не идет уже в желудок и лезет обратно из пасти. Корчи страдания, распространение яда, в избытке змеившегося по всем кровеносным сосудам, и отчаянная, дьявольская тяга к самоуничтожению сделали свое дело. То, что прежде составляло почтенную наружность седого старца, превратилось в нечто уродливое и позорное. В другое время это могло бы вызвать неудержимый смех. Но сейчас наши души не отзывались на смешное: мы как будто сами превратились в каких-то зверей, в собак, учуявших подбитую дичь.

Ничто не мешало нам спокойно задержать старика. Вместо этого мы налетели со всего размаху. Он вывернулся, обнимая руками книгу, крепко прижатую к груди. Я действовал одной левой, правой в это время пытаясь поднять как можно выше лампу. Но как-то вышло, что дыхание огня тронуло его лицо. Он почувствовал жар и с полузадушенным воем, с хрипеньем, роняя изо рта полупережеванные листы, высвободил правую руку, удерживая книгу только левой, вцепился рукой в лампу и с дикой силой рванул на себя, размахнулся – метнул ее куда-то вперед, как можно дальше от нас.

Фонарь упал на самую середину кучи книг, ссыпавшихся со стола и валявшихся одна на другой в распахнутом, растрепанном виде. Масло потекло из лампы. Огонь мгновенно схватился за хрупкие пергаменты, как за связку сухих сучьев. Все случилось в течение нескольких секунд. Книги вспыхнули с такой яркостью, как будто их тысячелетние страницы с незапамятных времен вожделели очистительного пламени и ликовали теперь, найдя возможность утолить лютую жажду пожара. Вильгельм, увидев это, на мгновение ослабил хватку. Старец вырвался и тотчас отбежал на несколько шагов. Вильгельм махнул руками, не зная, что предпринять (по правде сказать, долговато он решал!): хватать ли снова Хорхе или кидаться сбивать пламя, плясавшее на вершине небольшого костра. Одна из книг, самая старая, вдруг полыхнула ярко и резко выбросив к потолку длинный язык огня.

Тоненькие сквозняки, способные загасить слабый огонь, на живое, сильное пламя действовали противоположным образом: они раздували его и вдобавок подхватывали обрывки горящей бумаги и возносили их к потолку.

«Гаси огонь, скорее! – закричал Вильгельм. – А то все сгорит!»

Я подскочил к костру и остановился, не зная, что предпринять. Видя мое замешательство, подбежал и Вильгельм. Голыми руками сделать ничего было нельзя. Мы метались, вытягивали руки, ища, чем бы сбить огонь. Тут меня как будто осенило. Я схватился за подол рясы, задрал ее, стаскивая через голову и набрасывая на пылающее пламя. Но пламя было уже слишком сильным, оно обхватило мою одежду и пожрало ее в мгновение ока. Я еле успел выпростать обожженные руки, повернулся к Вильгельму и увидел за его спиной Хорхе, неслышно подкравшегося к нам. Жар был уже так силен, что он прекрасно знал, куда идет. Уверенным движением он занес над головой руку и швырнул Аристотеля в самое пекло.

Вильгельм издал непонятный вопль и с дикой жестокостью, со всей силы толкнул старика. Тот отлетел к шкапу, ударился головой об угол и рухнул на землю… Но Вильгельм, с уст которого сорвалось, мнится мне, ужаснейшее ругательство, даже не поглядел на упавшего. Он

кинулся к книгам. Слишком поздно. Аристотель, вернее, то, что осталось после стариковского угощения, уже догорал.

Тем временем самые живые искры, покружившись под потолком, липли к стенам, и переплеты книг в одном из пристенных шкапов начали выгибаться, видимо, поддаваясь натиску огня. Стало ясно, что в комнате занялись уже не один, а два пожара.

Вильгельм понял, что голыми руками мы не сможем их погасить, и решил спасать книги – книгами. Он схватил том, который вроде бы был крепче переплетен и более тяжел, чем остальные, и попытаются им, как дубиной, разгромить враждебную стихию. Однако молотя коваными застежками по книжному костру, он достигал только того, что взлетали новые искры. Он стал затаптывать пламя, но снова только повредил делу, потому что крохотные легкие частицы почти испепеленного пергамента взметнулись и закружились, как нетопыри, по воздуху, в то время как воздух в союзе со своим пылающим сородичем помогал им задевать и зажигать земную материю новых и новых листов.

Какой-то злой воле было угодно, чтоб это случилось в одной из самых беспорядочных комнат лабиринта. С полок по всем стенам свисали рыхлые трубки манускриптов, очень и очень затрепанные книги высовывали из своих переплетов, как из разинутых ртов, языки телячьей кожи, засохшие за много десятилетии; вдобавок и на столе, судя по всему, накопилось великое множество разных рукописей, которые Малахия в эти несколько дней не успел, видимо, расставить по местам. Таким образом, комната после разгрома, учиненного Хорхе, была вся завалена пергаментами, которые только и ждали возможности совокупиться со стихией воздуха.

Короче говоря, это была уже не зала, а сковорода, или неопалимая купина. Шкалы тоже, в самозабвенном порыве к гибели, начинали легонько потрескивать. Я вдруг подумал, что весь этот лабиринт – не что иное, как чудовищных размеров жертвенный костер, заботливо уложенный, ожидающий первой искры.

«Воды, воды нужно!» – воскликнул Вильгельм. И сам себе возразил: «Да где ж найти воду в этом аду?»

«В кухне, внизу, в кухне», – закричал я.

Вильгельм посмотрел на меня в замешательстве, лицо его было розово от бушующих отсветов. «Да, но пока мы спустимся и поднимемся… К черту! – вдруг прокричал он. – В любом случае эта комната пропала, и следующая, наверное, тоже. Бежим скорее вниз, я буду искать воду, а ты позовешь людей, здесь понадобится много рук!»

Мы кое-как нашли путь к лестнице. Зарево освещало и соседние комнаты, хотя по мере удаления идти становилось все темнее, а в последних залах мы искали дорогу почти на ощупь. На втором этаже было тихо. Бледный ночной свет еле-еле озарял скрипторий. Мы сбежали ниже, в трапезную. Вильгельм бросился в кухню за водой, а я к наружной двери. Я тряс засов, не в силах сообразить, как он отодвигается. От возбуждения я не владел ни головой, ни руками и потратил на этот засов уйму времени. Наконец я справился с ним, распахнул дверь и вылетел на улицу, метнулся было к спальному корпусу, но тут же понял, что слишком долго придется будить всех монахов по очереди. И тут меня снова осеняло, и я побежал к церкви, на ходу стараясь вспомнить, откуда идет лестница на колокольную башню. Задыхаясь, взлетел я на колокольню. ухватился сразу за все канаты, идущие от колоколов, к стал раскачивать языки. Я тянул что было мочи; канат главного колокола, расходившись, возносил меня все выше и выше. В библиотеке я обжег тыльную сторону рук. Ладони тогда не пострадали. Их я изранил теперь, сдирая кожу о канаты, пока не полилась обильно кровь и мне не пришлось ослабить хватку.

Но шуму и так должно было хватить. Я снова скатятся вниз с лестницы – как раз в то время, когда первые монахи выскакивали из спального корпуса, а издалека долетали голоса разбуженных служек, толпившихся на порогах своих жилищ. Ко мне обращались, меня

расспрашивали, но внезапно я забыл все слова и не мог ничего сказать, а потом с уст почему-то посыпались звуки моей родной речи. Окровавленной рукой я указывал на окна южного крыла Храмины, в которых за гипсовыми стеклами колыхался необычно яркий свет. По силе свечения я догадаются, что в то время, пока я бегал и звонил в колокола, огонь перекинулся уже в другие залы. Все окна Африки и весь переход между южной и восточной башнями озарялись алыми сполохами.

«Воду, носите воду!» – кричал я.

Сначала никто меня не понимал. Монахи настолько привыкли считать библиотеку заклятым, недоступным местом, что не могли даже помыслить, будто ей угрожает самая глупейшая опасность, как обыкновенному крестьянскому домишке. Те, кто первыми поднял глаза на окна Храмины, осеняли себя крестом и бормотали что-то перепуганное, и я понял, что они поверили в новые знамения. Я стал трясти их за одежду, за плечи, умоляя понять, и насилу кто-то наконец перевел мои всхлипывания на нормальный человеческий язык.

Это был Николай Моримундский. Он сказал: «Библиотека горит!»

«Ну да», – пробормотал я, падая на землю как подкошенный.

Николай проявил необыкновенную энергию, отдал приказания слугам, определил, что должен делать каждый монах, кого-то послал открывать вторые ворота Храмины, кого-то отправил за ведрами и любой, какая есть, посудой для воды, перечислил и указал все источники и хранилища влаги внутри монастырских стен. Скотникам он велел выводить всех мулов и ослов и грузить кувшинами… Если бы подобные распоряжения отдавал человек, наделенный властью, его бы послушались мгновенно. Но служки были приучены исполнять приказы Ремигия, писцы – Малахии, все монахи – Аббата. Увы, никого из троих там не было. Монахи искали глазами Аббата, чтоб получить от него утешение и поддержку, и не находили, и один только я знал, что Аббат уже мертв, а если не мертв, то умирает в эту минуту, замурованный в аппендиксе стены, в душегубке, которая превратилась уже в печку, в Фаларидова быка.

Николай направлял скотников в одну сторону, но кто-то из монахов, движимый самыми добрыми намерениями, гнал их в противоположную. Многие собратья явно утратили присутствие духа, другие не могли стряхнуть сон. Я старался объясниться с ними, я уже снова обрел дар речи, но достаточно вспомнить, что я был почти гол, моя ряса осталась в пламени, и вид такого мальчишки, окровавленного, почернелого от копоти, постыдно безволосого телом, одуревшего от холода, вряд ли мог внушать им доверие.

Николаю кое-как удалось согнать перепуганных монахов и служек к дверям кухни. Тем временем кто-то сшиб замки. Кто-то еще догадался принести факелы. Нашим глазам открылся полнейший разгром: я понял, что это Вильгельм метался по кухне, ничего не видя, пытаясь отыскать воду и какую-нибудь посуду для ее переноски.

В это время дверь, ведущая в трапезную, приоткрылась и высунулся Вильгельм: обожженное лицо, тлеющая ряса, в руках большая кастрюля. Меня охватила ужасная жалость к нему. Это была аллегория человеческого бессилия. Я понимал, что если даже ему удалось дотащить горшок с водой до третьего этажа в полной темноте, и даже если он сумел проделать это не один раз – все равно он мало чего добился. Я вспомнил из жития Св. Августина, как ему явился мальчик, вычерпывавший ложкой море. Мальчик был ангел и таким манером потешался над святым, вознамерившимся проникнуть в тайны божественной природы. И как тот ангел, заговорил ко мне Вильгельм, прислонившись в изнеможении к косяку дверного проема: «Это невозможно. Нам этого не одолеть. Даже со всеми монахами аббатства. Библиотека погибла». В отличие от ангела, Вильгельм плакал.

Я прижался к нему, в то время как он срывал скатерть со стола и укутывал ею мои плечи. Обнявшись, мы наблюдали, обессиленные, убитые горем, за тем, что происходило вокруг.

Люди бестолково метались во все стороны, многие бежали с голыми руками вверх по винтовой лестнице и сталкивались с другими, которые с такими же голыми руками, движимые безрассудным любопытством, уже побывали наверху, а теперь спускались за какой-нибудь посудиной. Более расторопные с самого начала запасались ведрами и ковшами и лишь после этого обнаруживали, что воды в кухне явно недостаточно. Внезапно в залу ввалилась вереница мулов, тащивших кувшины с водой. Мулы метались и взбрыкивали, погонщики ударами усмиряли их, снимали кувшины и, нагрузив на спины, направлялись с ними к очагу пожара. Но они не знали дороги в скрипторий, и дополнительное время терялось на то, чтобы узнать от кого-нибудь из писцов, как пройти. Дальше, взбираясь по лестнице, они сталкивались с теми, кто в ужасе бежал вниз. При этом возникала толкотня; несколько кувшинов разбилось, и вода без толку протекла на пол; другие кувшины, придерживаемые доброхотными чужими руками, благополучно доплыли до верху лестницы. Я бросился следом за погонщиками, но дальше скприптория пройти мне не удалось. С лестницы, уходившей в библиотеку, валил густой дым, и последние из тех, кто пытался прорваться вверх по лестнице восточной башни, отступали, корчась от кашля, с красными глазами, уверяя, что в этот ад войти уже невозможно.

Тут я увидел Бенция. С перекошенным лицом, надрываясь под тяжестью огромного кувшина, он спешил наверх с первого этажа. Услышав горькие слова отступавших, он выкрикнул, обращаясь к ним: «Ад все равно поглотит вас, трусы!» Потом оглянулся, как будто ища поддержки, и увидел меня. «Адсон, – прорыдал он, – библиотека… библиотека!» Ответа он не ждал. Дотащил свой кувшин до лестницы, взвалил его на плечи и скрылся в дыму. Больше я его никогда не видел.

Я услышал треск откуда-то сверху. С вольт скриптория валились куски камня вперемешку с кусками извести. Замок вольты, вылепленный в форме цветка, отделился и рухнул на пол в нескольких вершках от места, где я стоял. Пол лабиринта начал подаваться.

Я сбежал на нижний этаж и выскочил на улицу. Там самые рьяные служители орудовали приставными лестницами, пытаясь подобраться к окнам верхних этажей и поднять воду через них. Но и наиболее высокие лестницы едва-едва доходили до окон скриптория, а те, кому удалось вскарабкаться туда, все равно не могли открыть окна снаружи. Послали сказать, чтоб окна распахнули изнутри, но никто уже не отваживался подняться на второй этаж.

Тем временем я глядел на окна третьего этажа. Вся библиотека, по-видимому, уже превратилась в большую огнедышащую жаровню, и пламя быстро шло из комнаты в комнату, набрасываясь на новые и новые тысячи пересохших листов. Все окна были теперь озарены, черный дым вытягивался через крышу: огонь, должно быть, уже завладел и балками чердачного свода. Храмина, всегда казавшаяся такой надежной, такой четвероугольной, сейчас представала хрупкой, жалкой, в расщелинах, с проеденными насквозь стенами, с полуразрушенной кладкой, позволявшей теперь пламени беспрепятственно добираться до деревянного каркаса везде, где он был упрятан в толщу стен.

Внезапно несколько окон лопнуло со звоном, как будто бы изнутри их выдавила неведомая сила, и искры выпорхнули наружу, сияя, как стая светляков в темноте ночи. Ветер переменил направление, стал слабее, и это тоже было к несчастью, потому что сильный ветер, возможно, загасил бы эти искры, а легкий их поддерживал и раздувал, и вместе с искрами кружил и нес по воздуху обрывки пергамента, истончившиеся от внутреннего жара. В это мгновение прозвучал гул разлома; пол лабиринта провалился в нескольких местах, рассыпая свои брызжущие огнем балки на нижний этаж, и я увидел, как взметнулись языки пламени, овладевающего скрипторием, который тоже был наполнен книгами и рукописями, расставленными по стенам и наваленными на столах, ждущими только приглашения жадного пламени… Я услышал, как вопль отчаяния вырвался из уст писцов, стоявших поодаль; защищая волосы руками, некоторые

героически пытались пробраться наверх, чтоб спасать свои любимые пергаменты. Бесполезно. Кухня и трапезная напоминали прибежище проклятых Богом душ, метавшихся в разных направлениях, сталкиваясь и мешая друг другу. Люди спотыкались, падали, те, кто нес воду, проливали драгоценную влагу, а мулы, оказавшиеся на кухне, почувствовав близость огня, с топотом рвались к выходу, сбивая с ног людей и не щадя собственных перепуганных погонщиков. Было очень хорошо видно, как в каждом отдельном случае эта смешанная толпа простолюдинов и господ, образованных, но крайне неумелых людей, лишенная руководства, только мешает сама себе и не добивается даже и того, чего в общем можно было еще добиться.

Весь монастырь был охвачен ужасом. Но это было только начало катастрофы. Торжествующая, рокочущая огневая туча, вывалившись из окон и через крышу потонувшей в огне Храмины, на крыльях ветра пронеслась по воздуху и обрушилась на перекрытия церкви. Кто не знает, сколько величайших соборов погибло от нападения огня! Ибо хотя дом Господен с виду прекрасен и защищен подобно Иерусалиму небесному своей каменной оболочкой, которой он по праву кичится, но при этом его стены и перекрытия стоят на уязвимой, хотя и превосходной деревянной конструкции. И хотя собор построен из камня и походит на чудный лес своими колоннами, расходящимися к вышине, как ветви, переплетенные с вольтами потолка, колоннами, величественными, как вековые дубы, – все же часто самая его основа и вправду состоит из дуба, так же как из дерева состоит все его внутреннее убранство: алтари, хоры, расписанные доски, скамьи, седалища, канделябры. Так же была устроена и аббатская церковь с ее непревзойденным порталом, поразившим меня в первый же день. И занялась она в считанные минуты. Монахи и все обитатели монастырской ограды поняли, наконец, что дело идет уже о выживании всего аббатства. И забегали еще более решительно и бестолково, стараясь дать отпор бедствию.

Конечно, церковь была гораздо доступнее и поэтому гораздо защищенное, чем библиотека. Библиотека была приговорена с первой минуты в силу самой своей непроницаемости, таинственности, оборонявшей ее столько лет, в силу крайней затрудненности доступа к хранилищу. Церковь же, по-матерински распахнутая для всех в часы молитвы, распахнулась для всех и в час, когда ей потребовалась помощь. Но в аббатстве уже не было воды. Вернее, ее было очень мало. Были исчерпаны или подходили к концу все накопленные запасы, а из источников вода поступала равномерно, но очень скудно. Природа в своей равнодушной медлительности не желала сообразовываться с требованиями момента. Пожар в церкви потушить было можно, но никто уже не понимал, с какой стороны за это браться. К тому же огонь шел сверху вниз. Непонятно было, как попасть наверх, чтобы сбивать оттуда пламя, душить его землей и тряпками. А когда огонь добрался до низа, бросать в него землю и тряпки было уже бесполезно, потому что тогда обвалилась и крыша, похоронив под собой немало сражавшихся с пожаром.

Так к воплям, оплакивающим дивные богатства, присоединились и возгласы боли. У многих были обожжены лица, переломаны кости, много тел навеки исчезло под камнепадом рушащихся вольт.

Ветер дохнул с новым пылом, и с новым пылом забушевала чума над несчастным аббатством. Сразу после церкви загорелись конюшни и хлевы. Обезумевшие животные, порвав цепи, своротили стойла, вышибли ворота и, одурев от ужаса, заметались по подворью, оглашая воздух ржанием, мычаньем, блеянием, хрюканьем. В гривы нескольких лошадей залетели горящие искры, и потрясенному взору тех, кто мог еще видеть, явились адские существа: огненные кони, летящие по равнине, круша все на своем пути, не зная ни цели, ни предела. Я видел, как дряхлый Алинард, чудом уцелевший в суматохе, стоял и озирался, не понимая, что творится вокруг него. Со всего разбега на него налетел красавец Гнедок, объятый пламенем, сшиб с ног и пронесся сверху, втоптав его в пыль. Он остался лежать – бедная бесформенная

оболочка. Но я не мог, не успевал ни подбежать к нему, ни оплакать его кончину, потому что подобные страшные зрелища окружали меня со всех сторон.

Загоревшиеся кони разнесли огонь повсеместно, туда, куда ветер еще не добросил языки пламени и искры. Горели уже и кузни, и дом послушников. Толпы народу метались по площади без всякой цели или с совершенно бесполезными целями. Я увидел Николая, с пробитой головой, в продранной одежде, побежденного отчаянием. Он стоял на коленях возле въездных ворот, посылая проклятия проклятию Господню. Я увидел и Пацифика Тиволийского. Даже не пытаясь помочь тушившим пожар, он ловил пробегавшего мимо испуганного мула. Схватив мула и вскочив на него верхом, он встретился глазами со мною и крикнул, чтобы я скорее следовал его примеру и бежал отсюда, спасаясь из этого жуткого подобия Армагеддона.

Тут я вдруг ужаснулся и подумал: а где Вильгельм? Не пострадал ли и он под каким-нибудь обломком здания? Я стал разыскивать его – и наконец обнаружил недалеко от церковного двора. В руке он держал свой походный мешок. Когда огонь уже подобрался к странноприимному дому, он зашел в келью, чтобы спасти хотя бы свои драгоценные орудия. Он захватил и мой мешок, где я нашел во что переодеться. Переводя дыхание, мы остановились и оглянулись вокруг.

Аббатство было обречено. Почти все его постройки в большей или меньшей степени были затронуты пламенем. То, что еще не горело, должно было загореться с минуты на минуту. Все в природе, от расположения стихий до действий спасателей, способствовало тому, чтоб монастырь сгорел дотла. Огня не было только на участках, где не было и строений, – на огороде, в саду перед церковным двором. Больше ничего нельзя было сделать, чтобы спасти постройки. Оставалось бросить всякую надежду спасти их и, отойдя в безопасное место, спокойно смотреть, как все погибает.

Ближе всего к нам была церковь, которая сейчас горела уже совсем вяло. Это общее свойство подобных больших строений – разом вспыхивать всеми деревянными частями, а потом дотлевать по многу часов, иногда по многу дней. Совсем иначе горела Храмина. В ней питание для огня было гораздо более богатое. Пламя, целиком завладев скрипторием, спустилось уже в помещения трапезной и кухни. А третий этаж, в котором прежде на протяжении многих сотен лет располагался лабиринт, был уничтожен почти полностью.

«Это была самая большая библиотека христианства, – сказал Вильгельм. – Сейчас, – продолжил он, – Антихрист, должно быть, действительно возобладает, потому что нет больше знаний, чтобы от него защищаться. Впрочем, сегодня ночью мы уже смотрели ему в лицо».

«Кому в лицо?» – ошеломленно переспросил я.

«Хорхе. В этом лице, иссушенном ненавистью к философии, я впервые в жизни увидел лик Антихриста. Он не из племени Иудина идет, как считают его провозвестники, и не из дальней страны. Антихрист способен родиться из того же благочестия, из той же любви к Господу, однако чрезмерной. Из любви к истине. Как еретик рождается из святого, а бесноватый – из провидца. Бойся, Адсон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других. Иногда – еще до того, как отдать свою. А иногда – вместо того чтоб отдать свою. Хорхе совершил дьявольские деяния потому, что он так сладострастно любил свою правоту, что полагал, будто все позволено тому, кто борется с неправотой. Хорхе боялся второй книги Аристотеля потому, что она, вероятно, учила преображать любую истину, дабы не становиться рабами собственных убеждений. Должно быть, обязанность всякого, кто любит людей, – учить смеяться над истиной, *учить смеяться саму истину,* так как единственная твердая истина – что надо освобождаться от нездоровой страсти к истине».

«Учитель, – выговорил я с мучением, – вы сейчас рассуждаете так потому, что ранены в

самую душу. Но ведь существует же истина, та, которую вы открыли сегодня, та, к которой вы пришли, истолковывая знаки, собранные в предыдущие дни. Хорхе победил, но вы победили Хорхе, потому что обнажили его замысел».

«И замысла не было, – сказал Вильгельм, – и открыл я его по ошибке».

В этих словах имелось внутреннее противоречие, и я не понял, действительно или Вильгельм хотел допустить его. «Но ведь правильно, что отпечатки на снегу обозначали Гнедка, – сказал я, – правильно, что Адельм покончил с собой, првильно, что Венанций не утопился в бочке, правильно, что лабиринт был устроен именно так, как вы предположили, правильно, что предел Африки открывался с помощью слова quatuor, правильно, что загадочная книга принадлежала Аристотелю… Я мог бы и продолжать список правильных открытий, которые вам удалось совершить с помощью вашей науки…»

«Я никогда не сомневался в правильности знаков, Адсон. Это единственное, чем располагает человек, чтоб ориентироваться в мире. Чего я не мог понять, это связей между знаками. Я вышел на Хорхе через апокалиптическую схему, которая вроде бы обусловливала все убийства; а она оказалась чистой случайностью. Я вышел на Хорхе, ища организатора всех преступлений, а оказалось, что в каждом преступлении был свой организатор, или его не было вовсе. Я дошел до Хорхе, расследуя замысел извращенного и великоумного сознания, а замысла никакого не было, вернее сказать, сам Хорхе не смог соответствовать собственному первоначальному замыслу, а потом началась цепь причин побочных, причин прямых, причин противоречивых, которые развивались уже самостоятельно и приводили к появлению связей, не зависящих ни от какого замысла. Где ты видишь мою мудрость? Я упирался и топтался на месте, я гнался за видимостью порядка, в то время как должен был бы знать, что порядка в мире не существует».

«Однако, исходя из ошибочных порядков, вы все-таки кое-что нашли».

«Ты сейчас очень хорошо сказал, Адсон, спасибо тебе. Исходный порядок – это как сеть, или как лестница, которую используют, чтоб куда-нибудь подняться. Однако после этого лестницу необходимо отбрасывать, потому что обнаруживается, что хотя она пригодилась, в ней самой не было никакого смысла. Er muoz gelîchesame die Leiter abewerfen, sô Er an ir ufgestigen ist…[99] Так ведь говорят?»

«На моем языке звучит так. Кто это сказал?»

«Один мистик с твоей родины. Он написал это где-то, не помню где. И не так уж необходимо, чтобы кто-нибудь в один прекрасный день снова нашел эту рукопись. Единственные полезные истины – это орудия, которые потом отбрасывают».

«Вам не за что себя упрекать. Вы сделали все, что могли».

«Все, что мог человек. Это мало. Трудно смириться с идеей, что в мире не может быть порядка, потому что им оскорблялась бы свободная воля Господа и его всемогущество. Так свобода Господа становится для нас приговором, по крайней мере приговором нашему достоинству».

Я осмелился в первый и в последний раз в моей жизни вывести богословское умозаключение: «Но как это может быть, чтобы непреложное существо не было связано законами возможности? Чем же тогда различаются Бог и первоначальный хаос? Утверждать абсолютное всемогущество Господа и его абсолютную свободу, в частности от собственных же установлений, – не равнозначно ли доказательству, что Бог не существует?»

Вильгельм взглянул на меня без какого бы то ни было выражаемого на лице чувства и проговорил: «Скажи, как бы мог ученый продолжать делиться своими познаниями после того, как ответил бы “да” на твой вопрос?» Я не понял смысла его слов: «Вы имеете в виду, – переспросил я, – что перестали бы существовать познания, которыми можно делиться, так как

утратился бы самый критерий истины, или что вы не могли бы впредь делиться своими познаниями, потому что другие вам бы этого не позволили?»

В эту минуту часть перекрытий спального корпуса рухнула вниз с ужасающим грохотом, выбросив к небу снопы сияющих искр. Стадо овец и коз, мечущееся по двору, отбежало поближе к нам с надрывающим душу блеянием. Служки толпой промчались в другом направлении, крича и вопя, чуть не свалив нас с ног.

«Слишком большая сумятица тут, – сказал Вильгельм. – Не в смятении, не в смятении Господь».

Последний лист

Аббатство горело три дня и три ночи, и никакие усилия ни к чему не привели. Уже утром на седьмой день нашего пребывания в тех местах, когда все уцелевшие увидели, что ни одну из построек спасти они не в силах, когда стены самых великолепных зданий рассыпались в порошок, а церковь, изогнувшись вокруг оси, проглотила собственную башню – тогда уже ни у одного человека не осталось желания бороться против Божьей кары. Все более устало тащились люди со своими жалкими ведрами к источнику за водой. В отдалении тихо истлевала капитулярная зала, над ней горели пышные аббатские покои. Когда огонь дополз до задворок кузни, служки, заблаговременно вынесшие оттуда всю ценную утварь, даже не пытались тушить пожар, а предпочитали гоняться по склонам горы за разбежавшейся скотиной, которая в ночной суматохе сумела как-то найти выход за монастырскую ограду.

Я видел, как некоторые служки рылись на пепелище церкви. Я понял, что они, наверное, ищут ход в крипту с сокровищами, хотят награбить ценностей, прежде чем удариться в бегство. Не знаю, удалось ли им что-нибудь откопать, не знаю, не ушла ли под землю крипта, не знаю, не ушли ли вместе с нею в земные недра и безрассудные грабители, польстившиеся на церковное добро.

Понемногу стали подходить мужчины из деревни, то ли предложить помощь, то ли посмотреть, не найдется ли и для них какой-нибудь поживы. Мертвые как лежали, так и оставались лежать среди тлеющих развалин. На третий день, перевязав раненых, похоронив те трупы, к которым можно было подступиться, монахи и прочие жители окрестностей собрали что могли и оставили еще курившуюся дымом гору как место, проклятое Богом. Не знаю, куда они все потом делись.

Мы с Вильгельмом покинули эти места верхом на двух лошаденках, пойманных поблизости в лесу. Мы посчитали их res nullius[100]. Дорога лежала к востоку. Прибывши снова в Боббио, мы получили худые известия об императоре. В Риме он был коронован народом. Считая отныне для себя невозможным всякое примирение с Иоанном, он избрал антипапу, Николая V. Марсилий был назначен духовным наместником в Риме, однако по его вине или, может быть, по его слабости произошли в этом городе вещи, которые довольно грустно рассказывать. Там пытали священников, преданных папе и не желавших служить мессу; приора августинианцев бросили в львиный ров на Капитолии. Марсилий и Иоанн Яндунский провозгласили Иоанна еретиком, а Людовик приговорил его к казни. Император управлял дурно, ожесточал против себя местных феодалов, забирал деньги из народной казны. По мере того как до нас доходили эти новости, мы замедляли свое продвижение к Риму, и я понял, что Вильгельму не хочется оказываться свидетелем событий, которые были столь оскорбительны всем его упованиям.

Когда мы въехали в Помпозу, нам сказали, что Рим взбунтовался против Людовика, который ушел оттуда в Пизу, в то время как в папскую столицу победоносно вступили легаты Иоанна.

В это время Михаил Цезенский осознал, что пребывание в Авиньоне не приносит никакой пользы и, наоборот, угрожает его жизни, и бежал, присоединившись к Людовику в Пизе. Император тем временем лишился и поддержки Каструччо, владетеля Луккского и Пистойского, потому что тот умер.

Короче, предвосхищая ход событий и зная, что Баварец намерен отступать в Мюнхен, мы изменили свой путь и решили увидеться с ним там; вдобавок и Вильгельм чувствовал, что Италия становится для него небезопасна. В последние месяцы и годы окончательно развалился союз Людовика с феодалами-гибеллинами. Через год антипапа Николай сдался на милость

Иоанна, придя к нему с веревкой на шее.

Добравшись до Мюнхена Баварского, я вынужден был расстаться, обливаясь слезами, с моим добрым учителем. Его будущее было смутно. Мои родители предпочли, чтобы я возвратился в Мельк. С той ужасной ночи, когда Вильгельм делился со мною своим отчаянием у падающих стен аббатства, мы по какому-то молчаливому соглашению ни разу больше не говорили о том, что было. И ни словом не коснулись этого предмета во время нашего горестного прощания.

Учитель дал мне много полезных советов относительно предстоящего ученья и подарил стекла, сделанные Николаем, так как к нему тогда же вернулись его собственные. Ты еще совсем молод, сказал он при этом, но наступит день, когда они тебе понадобятся (и точно, сейчас они на носу у меня, пишущего эти строки!). Потом он крепко обнял меня, с отеческой нежностью, и уехал.

Больше я его не видел. Очень много лет спустя я узнал, что он умер в моровую язву, опустошившую Европу в середине нашего века. Не устаю молиться, чтобы Господь принял его душу и простил ему многочисленные приступы гордыни, которым он был подвержен из-за дивной смелости своего ума.

Через много лет, уже довольно-таки зрелым человеком, я возымел возможность совершить путешествие в Италию по поручению своего аббата. Не удержавшись от соблазна, на обратном пути я описал довольно большой крюк, чтобы увидеть, что еще осталось от аббатства.

Две деревеньки у подножия горы были безлюдны, земли вокруг – заброшены. Я добрался до верхнего плато, и зрелище запустения и смерти открылось моему взору, затуманенному слезами.

От огромных великолепных построек, украшавших собою место, оставались разрозненные руины, как от памятников древнего язычества на римских пустырях. Плющ затянул собою обломки стен, колонны, редкие сохранившиеся архитравы[*]. Дикие злаки заполонили площадку, прорываясь повсюду, и даже нельзя было увидеть, где были много лет назад огород и сад. Только место, где было кладбище, все еще узнавалось по нескольким могилам, до сих пор выступавшим из земли. Единственные представители живого, высокогорные хищные птицы охотились на ящериц и на змей, которые, как василиски, гнездились между камнями и прятались во всех провалах стен. От портала церкви остались жалкие обломки, поедаемые плесенью. Тимпан уцелел наполовину, и я смог разобрать размытые природной влагой и затянутые зловещими лишайниками левый глаз Христа восседающего и какую-то часть морды льва.

Храмина сохранилась почти целиком, кроме разрушенной южной башни. Она, казалось, сумела выстоять, бросив вызов бегу времени. Две наружные башни, повисавшие над пропастью, казались совершенно нетронутыми, но окна по всем сторонам зияли пустыми глазницами, из которых сочились наружу, как гнои, дурно пахнущие вьюнки. Внутри Храмины порождение искусства, полууничтоженное, смешивалось с порождением природы, и в просторной кухонной половине взору открывалось высокое небо, видимое сквозь второй и сквозь третий этаж, потому что все перекрытия были обрушены вниз, точно падшие ангелы. Все, что не было зелено от мха, было до сих пор черно от копоти, насчитывавшей несколько десятилетий.

Разрывая обломки, я то и дело натыкался на мелкие пергаменты, слетевшие с этажа скриптория, выпавшие из библиотеки и пережившие все эти годы, как переживают время сокровища, зарытые в земле; и я стал подбирать их, как будто намереваясь сложить разлетевшуюся по листам книгу. Потом я увидел, что в одной из бывших башен до сих пор вьется вверх, ненадежная, но почти не разрушенная, винтовая лестница в скрипторий, а оттуда, карабкаясь по покатой стенке, можно было забраться и на высоту библиотеки; но библиотека

теперь была только путаницей переходов, прижимавшихся ко внешним стенам и выходивших, в каждом своем конце, в пустоту.

Около уцелевшей стены я вдруг увидел шкаф, непостижимо достоявший до самого того года, плотно прислоненный, как бы сросшийся с камнями. Не знаю уж, как ему удалось продержаться против нападений огня, водяной гнили и насекомых. Внутри еще сохранялось несколько листов. Другие обрывки я подобрал, роясь в нижних развалинах. Бедная жатва была уготована мне, но я провел целый день за ее сбором, как будто от этих disjecia membra[101] библиотеки я ожидал получить какое-то послание. Одни куски пергамента непоправимо выцвели, другие позволяли разобрать тени каких-то линий, иногда – призрак одного, двух слов. Очень редко, но попадались и куски, на которых можно было прочесть целые фразы; бывало, что я находил вполне сохранные переплеты, уцелевшие благодаря защите того, что некогда было металлической оковкой… Привидения книг, наружной видимостью еще напоминавшие книги, но выеденные, пустые изнутри. И все-таки иногда, в некоторых случаях, мог оставаться в середине лист, пол-листа, удавалось разглядеть заставку, заглавие…

Я подобрал все реликвии, которые сумел найти, и набил ими две большие дорожные сумки, выбросив полезные вещи, лишь бы поместилось мое нищее сокровище.

Во время обратной дороги и потом, в Мельке, я провел многие и многие часы за расшифровкой этих клочков. Иногда по одному слову, по следу слова я догадывался, о каком произведении идет речь. Когда с течением времени мне в руки попадали другие экземпляры тех же книг, я занимался ими с особенной любовью, как будто судьба нарочно посылала мне этот подарок, как будто те знаки, по которым я определял и называл уничтоженную книгу, были ясным небесным знаменьем, почти что говорившим: «Возьми и читай». К окончанию моей кропотливой работы собралось что-то вроде «малой библиотеки» – лишь слабый намек на ту великую, пропавшую – библиотека, составленная из обрывков, цитат, неоконченных предложений, обрубков, культяпок книг.

Чем чаще я перечитываю этот список, тем больше убеждаюсь, что он – результат чистой случайности и никакого послания в себе не таит. И все-таки его полуоборванные страницы сопровождали меня всю жизнь, которую мне было суждено прожить с того времени, и часто я обращался к ним за советом, как будто к оракулу, и по какому-то странному наитию меня посещает чувство, что все написанное на этих листах, все читаемое сейчас тобою, неведомый читатель, не что иное как центон, фигурное стихотворение, громадный акростих, не сообщающий и не пересказывающий ничего, кроме того, о чем говорили старые книжные обрывки, и я уже не знаю, я ли до сей поры рассказывал о них, или они рассказывали моими устами. Но какая из двух возможностей ни восторжествует, все равно, чем больше я сам себе повторяю ту повесть, которая родилась из всего этого, тем меньше я понимаю, было ли в ней какое-либо содержание, идущее дальше, чем естественная последовательность событий и связующих их времен. И довольно тяжко ныне старому монаху, на пороге кончины, не уметь понять, содержат ли написанные им строки некий тайный смысл, или несколько, или множество, или никакого.

А может быть, мое неумение видеть – провозвестие великой тьмы, которая надвигается на нас и набрасывает свою тень на одряхлевший мир.

Est ubi gloria nunc Babylonia?[102] Где прошлогодние снега? Земля танцует танец Макабров, иногда мне кажется, будто по Дунаю идут корабли, набитые сумасшедшими, идут в темную землю.

Мне остается только молчать. O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo[103]! Скоро уж я возвращусь к своим началам. И я уже не верю, что это

будет Господь славоносный, как говорили мне аббаты моего ордена, или Господь великой радости, как уповали давешние минориты, а может быть, даже и не Господь милосердия. Gott ist ein lautes Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier…[104] Скоро уж я поступлю туда, в наиширочайшую пустыню, совершенно гладкую и неизмеримую, где подлинно честное сердце изнывает в благостыне. Я погружусь в божественные сумерки, в немую тишину и в неописуемое согласие, и в этом погружении утратится и всякое подобие, и всякое неподобие, и в этой бездне дух мой утратит самого себя и не будет больше знать ни подобного, ни неподобного, ни иного; и будут забыты любые различия, я попаду в простейшее начало, в молчащую пустоту, туда, где не видно никакой разности, в глубины, где никто не обретет себе собственного места, уйду в молчаливое совершенство, в ненаселенное, где нет ни дела, ни образа.

В скриптории холодно, палец у меня ноет. Оставляю эти письмена, уже не знаю кому, уже не знаю о чем. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus[105].

---

notes

Елена Костюкович.
Краткий глоссарий

Аверроэс (Ибн Рушд, 1126–1198) – арабский философ и врач, последователь Аристотеля.

Аквинат (Фома Аквинский, 1225–1274) – знаменитый схоласт-доминиканец, систематизатор науки, автор компендиумов («сумм»): «Сумма против язычников» (1258) и «Сумма теологии» (1261).

Алан Лилльский («Универсальный доктор», ок. 1128–1202) – один из величайших философов и поэтов средневековья, бенедиктинец (цистерцианец).

Альберт Великий (Альберт граф Больштедтский, ок. 1193–1280) – выдающийся теолог и философ, доминиканец.

Альбигойцы – участники гностико-манихейского еретического движения в Южной Франции (XII–XV вв.). У истоков их учения стоит армянская секта павликиан (со второй половины VII в.), исповедовавшая абсолютный дуализм, чтившая, наряду с Верховным Богом-Отцом, Богом добра, и Бога зла – Сатанаила. Павликиане отвергали почти все книги Ветхого Завета, опирались на Евангелие, Апостол и Апокалипсис. Следующую ступень в развитии этой ереси представляют собой болгарские и далматские богомилы (они же, по греко-славянским памятникам, манихеи, мессалиане, евхиты), придерживавшиеся воззрений умеренного дуализма. С Балкан через Далмацию ересь распространилась в Италию, где ее приверженцы стали именоваться патаренамн, публиканами (публичными братьями), газзарами. В Германии и во Франции последователи богомилов получили имена катаров, текстарантов (ткачей), тулузских или провансальских еретиков. С конца XII в. они стали зваться альбигойцами.

Во всех этих объединениях проповедовались идеалы аскетического подвижничества, нестяжания и нищеты. Их доктрина соприкасалась с апостольским христианством, однако апостолики, в отличие от альбигойцев, не исповедовали дуализма. Будучи в массе отлучены от церкви, катары и альбигойцы подвергались гонениям мирских и церковных властей (Альбигойские войны 1209–1219 гг.). С 1219 по 1400 г. катаро-альбигойская ересь уже не составляет целостную оппозицию римской церкви, а служит предлогом для проведения политических акций королей и пап. В этот период борьба с альбигойской ересью становится прерогативой инквизиции (доминиканской, францисканской).

Амфисбена *(греч.)* – по Плинию Великому, Лукану – обоюдоглавая змея.

Анагогия *(греч.)* – толкование текста в высшем, символическом значении. Например, слова Ветхого Завета «Да будет свет!» толкуются как прорицание евангельского Преображения, и прочее. Данте Алигьери в XIII эпистоле к Кан Гранде делла Скала предполагает четыре уровня рассмотрения текста: буквальный, аллегорический, моральный, анагогический. Анагогия была особенно развита в иудейско-александрийском богословии (Филон Александрийский и др.).

Андрогин (*греч.* «мужежена») – гермафродит.

Апостолики (апостольские братья) – общее наименование нескольких христианских сект XII–XV вв., последователей секты апотактиков, образовавшейся в III–IV вв. Апостолики (вальденцы, гумилиаты, лионские нищие) протестовали против обмирщения церкви и проповедовали возвращение к апостольской простоте. В XII в. апостоликами стала называться также часть катаров. Учение апостоликов исповедовали Джерардо Сегалеклли (Сегарелли), Дольчино и их последователи.

Ареопагит Псевдо-Дионисий – греческий философ VI в.

Аримаспы – мифический скифский народ одноглазых (по Геродоту, Помпонию Меле, Авлу

Геллию).

Армагеддон *(евр.)* – место Страшного Суда (Откровение Св. Иоанна, 16:16).

Архитрав – балка, лежащая на капителях колонн.

Бегины (бегарды) – имя, принимавшееся в XIII и XIV вв. францисканцами-**полубратьями**, а также братьями и сестрами Свободного Духа, когда они, спасаясь от преследований инквизиции, примыкали к мирским женским союзам бегинок (полумонашеский орден, существующий с XII в.) Но и в новом качестве бегины подвергались гонениям инквизиции.

Беда Достопочтенный (672 – ок. 735) – англосаксонский монах-летописец, автор комментариев к Писанию и церковной истории англов.

Бенедиктинский орден – самый богатый и сиятельный монашеский орден средневековья. Основан Св. Бенедиктом Пурсийским в 529 г. в Монтекассино. Согласно уставу («Правилу») бенедиктинцам вменялся в обязанность труд, как физический (земледелие), так и – в первую очередь – умственный: воспитание юношества (послушников), перевод, толкование и изготовление книг, собирание библиотек. Внутри ордена существовало несколько мощных ветвей (клюнийцы, цистерцианцы и др.). Всего в XII–XIV вв. насчитывалось более 15 тысяч бенедиктинских монастырей. Именно благодаря ученым-бенедиктинцам до наших дней сохранились шедевры древнегреческой, древнеримской и средневековой литературы.

Боэций Апиций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524) – христианский философ и римский государственный деятель, автор «Утешения философией» и переводов на латинский язык логических сочинений Аристотеля. Боэций – проводник в Европе идей греческой философии; его толкования аристотелевских сочинений в неоплатоническом духе оказали определяющее влияние на развитие средневековой мысли.

Буридан Жан (XIV в.) – схоласт, ректор Парижского университета, ученик Оккама, автор комментариев к «Этике» Аристотеля, один из главных представителей номинализма.

Бэкон Роджер (ок. 1214–1292) – францисканский философ, считавший первостепенным эмпирическое изучение естественных наук. По легенде, изобретатель телескопа, пороха, очков.

Вильгельм Оккамский (Уильям Оккам, 1285–1349) – знаменитый францисканский философ и политик, главный представитель средневекового номинализма.

Гашишины (ассассины) – по средневековым хроникам, члены шиитской секты VII–XIII вв. (впоследствии – персидские и сирийские исмаилиты, они же федави – «жертвующие собой»). Ассассины, чаще всего в состоянии наркотического опьянения, выполняли приказы своего повелителя Гасана ибн Сабба («Горного Старца»), являя чудеса отваги и самопожертвования.

Гвельфы (от нем. княжеской фамилии Вельф) – одна из двух основных политических партий в средневековой Италии. Поддерживали папскую власть, боролись против гибеллинов – приверженцев императора. Гвельфами чаще всего были правители республик, большинство тиранов – гибеллинами. Обе партии запрещены буллой папы Бенедикта XII в 1334 г.

Глоссы – толкования текста (изначально – текста Библии), вписываемые между строк или на полях.

Гостия (от *лат.* «жертва») – облатка из пресного пшеничного теста, обычно с изображением агнца и креста. Употребляется при причастии в католическом и лютеранском богослужении вместо хлеба. В восточной церкви в этом качестве употребляется просфора.

Градуал *(богослужебн.)* – часть обедни, между чтением послания и Евангелия.

Декреталии (эпистолы, декретальные эпистолы) – письма или послания папы в ответ на вопрос, обращенный к нему по частному делу, но разрешение которого может служить общим правилом.

Дипсада *(греч.)* – ядовитая змея, укус которой якобы вызывал смертельную жажду (по

Плинию Великому, Лукану, Силию Италику).

Доминиканский орден («Псов Господних»), или орден братьев-проповедников – основан Св. Домиником (1170–1221) в Тулузе как нищенский, миссионерский орден. Вскоре орден стал ревностно заниматься церковной проповедью и богословием; с первых дней своего существования вступил в борьбу с альбигойцами, обратившись к мечу. Вскоре доминиканцам была доверена высшая церковная цензура и инквизиция. Позднее они были оттеснены от этой деятельности иезуитами.

Донатисты (IV–V вв.) – последователи карфагенского епископа Доната, настаивавшие на личном совершенстве священнослужителя как залоге действия благодати. Непримиримо относились к любым провинностям священослужителей, в том числе к совершенным до прихода их в общину донатистов.

Инвеститура (от лат. «покрытая рука»), изначально – процесс торжественной, при свидетелях передачи любой власти. Новый владелец получал, как символ власти, перчатку старого – отсюда название. В католическом церковном праве – утверждение избранных общиной или клиром, или назначенных императором епископов. После Вормсского конкордата, заключенного в 1311 году между папой Каликстом II и императором Генрихом V, церковь обладала правом самостоятельного назначения епископов (инвеститура кольцом и посохом), но таким же правом самостоятельно обладал и император (инвеститура скипетром).

Иероним (330–410) – один из отцов церкви, автор многих толкований к Писанию и латинского перевода библии (Вульгаты).

Инкуб – бес в обличье мужчины, соблазняющий спящих. См. также *суккуб*.

Исидор Севильский (Гиспаленский, 570–636) – испанский епископ, выдающийся ученый, автор богословских, политических, физических и исторических сочинений.

Капитул – коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре.

Катон (Марк Порций К. Старший, 234–149 гг. до н. э.) – римский консул, писатель, поборник строгих патриархальных нравов.

Кемпиец (Фома Кемпийский, 1379–1471) – бенедиктинский писатель-схоласт, автор «Подражания Христу», сочинения, в котором излагается набор общехристианских истин и проповедуется смирение.

Кивот (от *греч.* «ящик», «ларь») – поставец для св. икон: в иудейской церкви в кедровом кивоте хранится Пятикнижие; в христианской церкви – дарохранительница, ковчег для мощей.

Конгрегация – 1) союз монастырей; 2) религиозное братство, члены которого не приносили монашеских обетов.

Кремотартар (от *лат.* «татарский камень») – белый винный камень, в средние века употреблявшийся в медицине и в кондитерском деле.

Крипта – часовня под храмом, служившая для захоронения или для размещения церковных сокровищ.

Кукана (от *фр.* Кокань) – по средневековым легендам, сказочная страна дураков и лентяев.

Лукреций (Сп. Л. Трицицитин) – римский сенатор и городской префект при Тарквинии Гордом, консул в 509 г. до н. в., символ доблести и мужества.

Лупанарий, Лупанар*(лат.)* – публичный дом, от lupa («волчица») – блудница, проститутка.

Мантихор (искаж. от *перс.* людоед») – баснословный индийский зверь с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона (по Плинию Великому).

Марсилий Падуанский (1275–1343) – политический мыслитель, утверждавший в трактате «Защитник мира» идею общественного договора, выступавший против притязаний папы на светскую власть. В 1327 г. был отлучен от церкви.

Минориты («младшие братья») – ветвь францисканского ордена. Исповедовали крайний аскетизм.

Михаил Пселл (1018–1096/97) – знаменитый византийский писатель, автор историко-мемуарного сочинения «Хронография».

Михаил Цезенский (из Цезены, ок. 1270–1342) – францисканский деятель, сыгравший крупную роль в истории ордена. Изначально принадлежал к ортодоксальному крылу францисканства – конвентуалам, вследствие этого отрицательно относился к учению и деятельности спиритуалов. Конвентуалы, осуществлявшие в начале XIV в. руководство орденом, выдвинули Михаила на должность генерального министра. Тогда же новый папа Иоанн XXII открыл борьбу с либеральными течениями среди францисканцев и издал буллы Ad condilorem canonum (8 дек. 1322) и Cum inter nonnullos (12 нояб. 1323), настаивая на том, что и францисканцы обладают правом собственности; это явилось подрывом самых оснований ордена. Уильям Оккам, а вслед за ним Михаил Цезенский с Бонаграцией Бергамским встали на защиту традиционного учения. Так Михаил стал главой догматической оппозиции папе. В 1327 году он был призван папой в Авиньон и над ним было назначено следствие. Не дожидаясь приговора, Михаил бежал ко двору Людовика Баварского, откуда продолжал борьбу с папой. В 1329 году был заочно осужден и лишен сана. К концу жизни Михаил был предан Людовиком. Последующим папам легко удалось склонить францисканский орден к повиновению курии и к отказу от прежних убеждений.

Надир *(араб.)* – точка, противоположная зениту. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой.

Нартекс *(позднегреч.)* – притвор, помещение с западной стороны христианского храма, предназначавшееся для лиц, не имевших права входить в храм.

Оккам – см. Вильгельм Оккамский.

Палимпсест *(греч.)* – рукопись, нанесенная на писчий материал (гл. обр. пергамент) после того, как с него счистили прежний текст.

Парацельс (*псевд.; наст. имя* – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм, 1493–1541) – знаменитый врач и алхимик.

Подеста (от *лат.* «власть») – в средние века высшее административное лицо во многих итальянских городах и в некоторых городах Прованса, исполнявшее полицейские и судебные обязанности. Назначался на год и был облечен диктаторской властью, хотя его постановления можно было обжаловать.

Полубратья (фратичелли) – монахи-францисканцы низшего разряда, в наибольшей мере сохранявшие свои мирские связи, но в то же время считавшиеся монахами.

Понтифик *(лат.)* – в Древнем Риме член коллегии жрецов; в христианской церкви – епископ, прелат, впоследствии – папа (почетное звание епископа); папа римский.

Пребенда – материальные средства, получаемые духовными лицами в виде земельных владений, домов для жительства клира, доходов по церкви, денежного жалованья.

Пруденций (Аврелий II Клеменс, ок. 348 – ок. 410) – римский христианский поэт, родом из Испании, автор гимнов, аллегорических произведений и поэмы о мучениках – «Перистефанон» («Книга о венцах»).

Респонсорий *(богослужебн.)* – ответная партия в антифональном, т.е. попеременном пении двух хоров.

Стагирит – прозвище Аристотеля по месту его рождения – Стагире.

Суккуб – 1) бес в обличье женщины, соблазняющий спящих; 2) тот или та, кто сочетается во сне с инкубом.

Схолия *(греч.)* – комментарий, пояснение.

Трагант *(лат.)*, трагакант, адрагант – род камеди (растительная слизь). Добывается из коры кустарника астрагалла. В средневековье применялся в ситцепечатании, медицине, кондитерском деле и проч.

Флагелланты («бичующиеся») – участники покаянного религиозного движения, широко распространенного в Западной Европе в XIII–XV вв. Сходны с пенитентами («кающимися»), но те бичевали друг друга, тогда как флагелланты бичевали себя сами. По словам их духовного предтечи Петра Дамиани (XI в.), самоистязающиеся достигали четырех целей: 1) подражали Христу; 2) принимали мученичество; 3) смиряли плоть; 4) искупали грехи. В пример ревностного самобичевания Петр Дамиани ставит Св. Доминика, основателя доминиканского ордена.

Францисканский орден – нищенствующий монашеский орден, учрежденный Франциском Ассизским (1182–1226). Франциск углубил идею бедности, изначально присутствовавшую в христианстве, и из отрицательного признака (отречение от мира) вывел положительный идеал (бедность как подражание Христу). Традиционное монашеское отшельничество Франциск заменил апостольским миссионерством. Францисканец, отрекаясь от мира, должен был оставаться в миру.

Однако к середине XIII в. францисканцы стали верными слугами папской курии и вместе с доминиканцами осуществляли инквизицию над еретиками. Появились францисканские монастыри. Дошло до того, что нищенствующие францисканцы собирали церковные подати в пользу Рима.

Тогда же внутри ордена выделилась партия, не желавшая допускать отступлений от духа и устава ордена. Руководясь учением Иоахима Флорского, эта партия отходит от ордена и принимает имя «братьев Свободного Духа» («мужей духа», «спиритуалов»). Во главе «спиритуалов» становится Пьетро ди Джованни Оливи. Отпадает от папы и другая, более умеренная часть ордена во главе с Уильямом Оккамом. Михаилом Цезенским и Понаграцией Бергамским. Эта часть заключает союз с противником папы – императором Людовиком Баварским.

аль-Хорезми Мухаммед бен Муса (787 – ок. 850) – автор основополагающих трактатов по арифметике и алгебре, переведенных на латынь в XII в.



Примечания

1

Переводчик благодарит П.Д. Сахарова за ценные консультации.

2

Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l’Abbaye de la Source, 1842. *(Прим. автора.)*

3

Монастырь *(лат.)*. Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, – *прим. перев.*

4

Древняя антология, или Собрание древних трудов и сочинений любого рода, как-то: писем, записок, эпитафий, с немецкоязычным комментарием, примечаниями и исследованием предодобного отца, доктора теологии Жана Мабийона, пресвитера монашеского ордена Св. Бенедикта и конгрегации Св. Мавра. Повое издание, включающее жизнь Мабийона и его сочинения, а именно записку «О Хлебе причастия, пресном и квасном» к Его высокопреподобию кардиналу Бона. С приложением сочинений Ильдефонса, епископа Испании, на тот же предмет, и Евсебия Романского к Теофилу Галлу послания «О почитании неведомых святых»; Париж, типография Левек, при мосту Св. Михаила, 1721, с разрешения короля *(лат.)*.

5

Монтален, набережная Сент-Огюстен (у моста Сен-Мишель) *(лат.)*

6

La Repubblica, 22 сент. 1977 г. *(Прим. автора.)*



Liber aggregationis seu liber secretonim Alberii Magni, Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Fletebrigge, MCCCCLXXXV. *(Прим. автора.)*



Les admirables secrels d’Atbert ie Grand, A Lyon, Ches les Hèritiers Beringos, Fratres, à l’Enscigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalislique du Petit Albert, A Lyon, ibidem. MDCCXXIX. *(Прим. автора.)*

9

Schneider Edouard. Les heures Bénédictines. Paris, Grasset, 1925. *(Прим. автора.)*

10

в зеркале и в загадке; в отражении и иносказании *(лат.)*

11

дословно *(лат.)*

временно *(лат.)*

13

Ирландия.

14

Нортумберленд (самое северное графство Англии).

обращения к детям, подросткам и женщинам *(греч.)*.

16

распутник *(греч.)*

общее понятие *(лат.)*

18

Монастырь без книг *(лат.)*



19

по желанию *(лат.)*

разъятые члены *(лат.)*

21

великому уподобление жалкого *(лат.)*

22

«Древо крестной жизни» *(лат.)*

23

«Братья и бедные отшельники отца Целестина» *(лат.)*

в виде загадки *(лат.)*

25

Вот невиданное дело:
На небо земля взлетела,
Выше неба залетела! *(старонем.)*

Облако-то под ногами,
А земля над облаками –
Чудеса за чудесами! *(старонем.)*

примеры *(лат.)*

стекла в металлической оправе *(лат.)*

29

стекла для чтения *(лат.)*

30

Благословите *(лат.)*

31

Едят убогие *(лат.)*

32

«Тебе, Господи» *(лат.)*

33

по природе своей *(лат.)*

34

Перев. М.Л. Гаспарова

35

по существу *(лат.)*

солоноватые *(лат.)*

37

«О нравах и беседах монашеских» *(лат.)*

38

«Бога нет» *(лат.)*

39

а) Ты – камень; б) Ты – Петр *(лат.)*

40

Тут из зада излетел гадкий звук *(лат.)*

41

интонация *(лат.)*

42

вода – источник жизни *(лат.)*

43

тайна предела Африки… *(лат.)*

44

А на престолах двадцать четыре старца *(лат.)*

45

имя ему смерть *(лат.)*

46

И помрачилось солнце и воздух *(лат.)*

47

И сделались град и огонь *(лат.)*

48

Но в те дни когда *(лат.)*



49

Первенец из мертвых *(лат.)*

50

И упала с неба большая звезда *(лат.)*

51

Конь белый *(лат.)*

52

Благодать вам и мир *(лат.)*

53

Третья часть земли сгорела *(лат.)*

54

Стекла для чтения *(лат.)*

55

Успокоятся от трудов своих *(лат.)*

56

«Практика должностного расследования еретических уклонов» *(лат.)*

57

об этом довольно *(лат.)*

58

за Господа умереть нам *(лат.)*

59

Ирландия *(прим. перев.)*



О тебе речь *(лат.)*

61

вожделеющая часть души *(лат.)*

62

хорошо весьма *(лат.)*

63

все было хорошо весьма *(лат.)*

64

всякая тварь грустна после соития *(лат.)*

65

ничто общее никогда из частных посылок не следует *(лат.)* – 8-е правило образования силлогизмов

66

в какой-либо из двух посылок средний термин должен быть общим *(лат.)* – 3-е правило образования силлогизмов

67

проявления чувственного аппетита постольку, поскольку приводят к телесному преображению, должны именоваться страстями, а никак не осуществлением воли *(лат.)*

аппетит тяготеет к действительному познанию предмета, который его вызывает, дабы был положен конец волнению *(лат.)*

любовь ведет к тому, чтобы любимый предмет с любящим каким-либо образом соединился; и любовь познавательнее, чем само познание *(лат.)*

и внутри и снаружи *(лат.)*

71

вследствие великой любви, которую имеет к сущему *(лат.)*

корона царства от руки Божией *(лат.)*

73

венец правительства от руки Петровой *(лат.)*

расценок на священное покаяние *(лат.)*

75

Вдрызг мирские, рыча, разрушает море причалы,
Трепетаньями гряд крушит, верзит границы,
Низвергая валы, ропщет, гремит валунами,
Воздымая со дна многорядные горы вихрей.
Шорох грозный и вой рокового водоворота
Взроет хляби, взморщит, вострясет недра пучины *(лат.)*

76

Первым пробую петь, пускай поэтический подвиг, под покровительством папы, провозгласится! Поэзию плавлю, прозой пронзаю, и панегирик пусть поразит поднебесье! *(лат.)*

77

во имя отца и дщери *(лат.)*

источник Адама *(лат.)*

79

Ахея *(греч.)*



О тебе речь *(лат.)*



81

черная и горькая *(лат.)*

любовное переполнение *(лат.)*

тонусы *(лат.)*

84

в нашем добре *(лат.)*

85

Неточность: в главе XIX.

общественное право *(лат.)*

87

Имена суть производные от вещей *(лат.)*

божественный побег от корня веры *(лат.)*

дьявольская связь *(лат.)*

Восседают князи,
Собираются против меня,
Замышляют неправедно,
На меня ополчились.
Пособи мне, о Господи,
Боже мой, упаси же меня.
Сотвори по великой твоей милости *(лат.)*

91

мельчайшие различия запахов *(лат.)*

92

«День гнева» – заупокойное песнопение, реквием *(лат.)*

93

Всем полопаться от смеха, скорчиться от хохота! *(лат.)*

94

монашьи забавы *(лат.)*

95

подмена предмета *(лат.)*

о словах, а не о вещах *(лат.)*

всем телом был язык *(лат.)*

98

«Тут львы» *(лат.)*

98

Следует отбросить священную лестницу, взойдя на нее *(старо-нем.)*

100

ничье добро *(лат.)*

101

разрозненные члены *(лат.)*

102

Где ныне слава Вавилона? *(лат.)*

103

О, сколь полезно, сколь весело и сладко сидеть в тиши, молчать, говорить с Богом! *(лат.)*

104

Бог – полное Ничто, его не касаются ни «теперь», ни «здесь» *(нем.)*

105

Роза при имени прежнем – с нагими мы впредь именами *(лат.)*